ИЛЬЯ
ЭРЕНБУРГ

4

ИЛЬЯ
ЭРЕНБУРГ

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

СОЧИНЕНИЯ
В ПЯТИ ТОМАХ

ТОМ
ЧЕТВЕРТЫЙ

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, СТИХОТВОРЕНИЯ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1953



ПОВЕСТИ

ДЕНЬ ВТОРОЙ

1

У людей были воля и отчаянье — они выдерживали. Звери отступили. Лошади тяжело дышали, забираясь в прожорливую глину; они потели злым потом и падали. Десятник Скворцов привез сюда легавого кобеля. Кобель тщетно нюхал землю. По ночам кобель выл от голода и от тоски. Он садился возле барака и, томительно позевывая, начинал выть. Люди не просыпались: они спали сном праведников и камней. Кобель вскоре сдох. Крысы попытались пристроиться, но и крысы не выдержали суровой жизни. Только насекомые не изменили человеку. Они шли с ним под землю, где тускло светились пласты угля. Они шли с ним и в тайгу.

На дороге сидел Захар Силкин, которого односельчане называли Халабруем, бывший кулак Веневского уезда, ныне переселенец и строитель шамотного цеха. Он сидел нагишом и злобно щипал свою рваную рубаху, стараясь уничтожить несметных врагов. Он сказал Васе: «Эти граждане заведутся, от них не избавишься». Но Вася ничего не ответил, он только уныло почесался.

В редакции газеты «Большевистская сталь» Шольман, торопясь, дописывал статью о дезинфекции: «В бараке № 28 кишмя кишат клопы. Когда мы положим конец подобной некультурности?» В бараке № 28, как и в других бараках, люди выкидывали из тюфяков сено и забирались в полосатые мешки. Начесанные бока горели.

Но люди не звери: они умели жить молча. Днем они рыли землю или клали кирпичи. Ночью они спали.

Когда люди пришли сюда, здесь было пусто и дико. Кривой Артем из деревни Бессоновка здесь пас коров. Он сидел на пне и не то пел, не то кричал: «Э-э-э!» Его визгливый голос больно въедался в тишину степи. Иногда приходил сюда фельдшер Злобин из Кузнецка. Фельдшер собирал травы для лечебных настоек. Завидев Артема, всякий раз он лениво спрашивал: «Пасешь?» И так же лениво Артем отвечал: «Ага». Фельдшер сгонял Артема с пня и начинал рассказывать о тайнах апокалипсиса: у фельдшера была своя страсть — он любил непонятное. Он говорил про число зверя, и, слушая его, Артем недоверчиво зевал.

В стороне был город — Кузнецк. Над городом белели развалины крепостной церкви. Когда партизан Рогов взял Кузнецк, он спалил церковь и увез попа. Возле развалин люди останавливались по нужде. Здесь был чудесный вид и на реку Томь, и на перепуганные домишки кузнецких мещан, но воздух здесь был трудный.

Иногда в ясный день показывались голубые горы. Там жили шорцы. Никто не знал толком, как они живут. Они уходили из своих улусов в тайгу, били медведей, выдр и белок. Шаман ударял в большой бубен и на непонятном языке разговаривал с духами. Духи любили мясо и пушнину. Охотник пел песню: «Птицы, птицы! Не клюйте моих мертвых глаз!» Шорка кормила длинной свисающей грудью пятилетнего мальчугана, и тот урчал, как медвежонок.

Когда пришли сюда люди с машинами, шорцы смутились. Машины бегали по степи и рычали. Пришельцы начали рубить тайгу. Тогда шорцы ушли прочь. Они передавали из одного улуса в другой: «Казаки идут!» «Казаками» они называли русских. Как от лесного огня, неслись шаманы, дети, медведи и выдры. В августе то и дело горела тайга. Шаманы говорили, что злые духи разгневаны.

Люди пришли сюда со всех четырех концов страны. Это был год, когда страна дрогнула. В Москве нехватало бумаги, шла в ход папиросная и оберточная. Из старых лабазов вытаскивали конторские книги прошлого века. Люди старались писать бисерным почерком, чтобы сберечь четвертку листа. Бумага нужна была для проектов, для смет, для таблиц. Трещали одуревшие ундервуды. Как

бешеные бегемоты, ворочались ротационные валы. На заседаниях от цифр першило в горле и захватывало дух. Члены коллегий заболевали грудной жабой. Счетоводы и регистраторы начали пить чай вприкуску; засыпая, они мечтали о плюшках.

В стране надрывались паровозы. Из их груди исходил мучительный свист: они никак не могли поспеть за людьми. За одну ночь на вокзальных перронах, как сказочные горы, выросли тюки, корзины, узлы. Оседлая жизнь закончилась. Люди понеслись, и ничто больше не могло их остановить. Среди узлов вопили грудные младенцы. Старики отхлебывали суп из ржавых жестянок. Здесь были украинцы и татары, пермяки и калуцкие, буряты, черемисы, казахи, шахтеры из Юзовки, токари из Коломны, комсомольцы, бородатые рязанские мостовщики, безработные шахтеры из Вестфалии или из Силезии, раскулаченные, сухаревские спекулянты и растратчики, приговоренные к принудительным работам, энтузиасты, жулики, сектанты. Все эти люди неслись куда глаза глядят. Они не знали, куда они несутся. Но все они неслись на восток, и это знала Москва.

По базарам Украины ходили вербовщики: они набирали рабочих. Глухие деревни Севера всполошились, узнав, что в Кузнецке людям дают сапоги. В Казахстане раскулаченные баи успели вырезать скот. Казахи угрюмо щерились: они не знали, как им жить дальше. Они никогда не видали ни заводов, ни железнодорожного полотна. Им сказали, что где-то на Севере еще можно жевать и смеяться. Тогда, подобрав полы своих длинных халатов, они пошли. Женщины тащили на спине ребят. Плевались измученные верблюды. Потом запыхтело железное чудовище, и у казахов замерли сердца. Они приехали на стройку, полные восторга и ужаса. Их повели к бараку, где сидел заведующий рабочей силой. Они не вошли в барак. Они сели на землю, скрестив худые ноги.

На стройке было двести двадцать тысяч человек. День и ночь рабочие строили бараки, но бараков нехватало. Семья спала на одной койке. Они развешивали вокруг коек тряпье, пытаясь оградить свои ночи от чужих глаз, и бараки казались громадным табором.

Человек приходил на стройку и тотчас начинал рыть нору. Он спешил — перед ним была лютая сибирская зима,

и он знал, что против этой зимы бессильны и овчина и вера. Земля покрылась сотнями землянок.

Люди жили, как на войне. Они взрывали камень, рубили лес и стояли по пояс в ледяной воде, укрепляя плотину. Каждое утро газета печатала сводки о победах и о прорывах, о пуске домны, о новых залежах руды, о подземном туннеле, о мощи моргановского крана. Люди глядели на кран, который шутя подхватывал огромные болванки, и они понимали, что победа обеспечена. Они забирались в свои землянки. Крохотные печурки дымили. Находила зима. Мороз выжимал из глаз слезы, и от мороза плакали бородатые сибиряки — красные партизаны и староверы, не знавшие в жизни других слез. В трепете припоминали мечтатели из полтавщины вишенники и темный, как сказка, Юг. Ясными ночами на небе бывало столько звезд, что казалось, и там выпал глубокий снег. Но небо было далеко. Люди торопились с кладкой огнеупорного кирпича. Они устанавливали что ни день новые рекорды, и в больницах они лежали молча с отмороженными конечностями.

«Почему ты приехал сюда»? — всердцах спросил Вася Смолин рыжего Ястребцова. Тот, усмехнувшись, ответил: «Будто ты сам не знаешь. Вот получу спецовку и смоюсь». Тогда Вася Смолин, отчаянно сплюнув, отошел в сторону и громко сказал: «Гады! Мы строим гигант, а они пользуются».

На стройку приезжали летуны. Они получали сапоги и одежду. Потом они уезжали на другую стройку. Они увозили с собой казенное одеяло и презрение к человеческой вере. Они готовы были запрезирать весь мир. Но Вася Смолин их презирал — он отказался от премиальных: он строил гигант.

Бригада мостовщиков побила рекорд. Ее чествовали. На эстраде сидели начальник строительства, секретарь ячейки и фотограф с большущим аппаратом. Фотограф все время приговаривал: «Отвратительное освещение». Трубачи надували щеки; без передышки они играли «Интернационал». На эстраду поднялся Антип Сорокин. Это был старый мостовщик, владимирец. Всю жизнь он мостил мостовые тихих, степенных городов. Когда большевики надумали мостить сибирские болота, кряхтя он поехал в Сибирь. Он взошел на эстраду, хитро щурясь: он всегда

хитро щурился, когда он чего-нибудь не понимал. Председатель прочел по списку: «Товарищ Антип Сорокин». Играла музыка, и кто-то дал Антипу книгу. Тогда старый мостовщик заплакал: он не выдержал света, звуков и счастья. Он не мог прочесть эту толстую книгу — он читал по слогам. Но он слышал, как молодые говорили: «Мы строим гигант», — и он сочувственно поддакивал. Потом он вспомнил о своей собственной жизни: нет валенок, Петрушову дали гармошку, а гармошку легко загнать на базаре, это не книга, и, вытерев рукавом мокрые глаза, он снова принялся хитро улыбаться.

Варя Тимашова кончила в прошлом году педтехникум. Она учительствовала на стройке. Ей было девятнадцать лет, и она любила переводные романы. Она думала, что она похожа на Ингеборг Келлермана. Она могла бы любить столь же глубоко и красиво, но у нее нет для этого времени... У Вари не было времени даже для мечтаний. Романы она читала только на каникулах. Она преподавала в ФЗУ, и у нее каждый день было по десяти или по одиннадцати уроков. Из школы она возвращалась ночью. До Верхней колонии, где она жила, итти надо было добрый час. Не было ни тротуаров, ни фонарей. Варя вязла в глине. Иногда вода приходилась по колено, и Варя сердито ругалась. Она никак не походила на Ингеборг. Это была курносая русая девушка, с крепкими икрами и с добрым сердцем. Придя домой, она валилась на койку как мертвая, но вдруг приподымалась и, схватив тетрадь, она записывала свои мысли. Она писала: «Надо объяснить ребятам наглядно отличие спор от семян. Чернов ужасный прохвост. У нас с 21-го объявлено соцсоревнование. Все-таки до чего прекрасна жизнь, и как я счастлива!..»

Летуны приезжали, чтобы сорвать спецодежду. Приезжали также крестьяне из ближних колхозов — «подработать на коровку». Приезжали и комсомольцы, товарищи Васи Смолина: они строили гигант. Одни приезжали изголодавшись, другие уверовав.

На пустом месте рос завод, а вокруг завода рос город, как некогда росли города вокруг чтимых народом соборов.

Из других стран приезжали специалисты. Они жили здесь, как на полюсе или как в Сахаре. Они удивлялись всему: энтузиазму, ухабам и морозам. Жили они отдельно

от русских, у них были свои дома, свои столовки и своя вера. Они верили в доллары, в долларах им и платили.

Американцы щеголяли в широкополых шляпах. Они походили на ковбоев с экрана. Им казалось, что это Аляска и что они ищут золото. Они развязно хлопали по плечу русских инженеров и улыбались комсомольцам. По вечерам они заводили патефоны и танцовали друг с другом.

Англичане жили сухо и загадочно. Они ничего не осуждали и ничему не радовались. Они ели утром пшенную кашу с молоком. Вечером они пили водку с нарзаном. Они рассказывали друг другу детские анекдоты и время от времени громко смеялись. Их лица при этом оставались невеселыми, и смех был страшен.

Немцы жили с семьями. Они копили деньги, ругали уборщиц и при любом случае говорили русским, что в их прекрасной Германии нет ни вшей, ни эпизоотии, ни прогулов. Им хотелось добавить, что в их прекрасной Германии нет и революции, но они дорожили хорошим местом и дружно привскакивали, когда оркестр исполнял «Интернационал».

Итальянцы ставили трибуны. Они пели романсы и писали на родину длинные письма с орфографическими ошибками и с доподлинной поэзией. По вечерам они волочились за девушками, пытаясь их соблазнять то пылкостью чувств, то мармеладом, который отпускали в распределителе для иностранных специалистов.

Все иностранцы говорили: постройка такого завода требует не месяцев, но долгих лет. Москва говорила: завод должен быть построен не в годы, но в месяцы. Каждое утро иностранцы удивленно морщились: завод рос.

В тифозной больнице строители умирали от сыпняка. В бреду они еще пытались бежать вперед. На место мертвых приходили новые.

Однажды рухнули леса. Инженер Фролов и двадцать строителей обсуждали сроки работы. Настил не выдержал. Люди упали в ветошку и задохлись. Их торжественно похоронили. Каждый день с запада неслись длинные поезда. Люди высаживались возле маленькой будки, которая называлась «станцией». Ветер кружил летом пыль, зимой снег, и, болезненно щурясь, люди шли через пустыри туда, где шумела стройка.

Так четвертого апреля зажглись огни первой домны. Небо стало оранжевым, а воздух наполнился скрежетом и смрадом. По проводам понеслась короткая «молния»: «Москва. Кремль. Выдали первую плавку чугуна в 64 тонны. Чугун бесперебойно принят разливочной машиной. Чугун прекрасного качества, 4 процента кремня. Все агрегаты и самая домна работают совершенно нормально».

2

В тот день, когда начальник строительства послал «молнию» о пуске первой домны, все праздновали победу. В клубе итеэров всклокоченные от счастья специалисты говорили речи и пили ячменный кофе с печеньем «Пушкин». В землянке Сидорчука, которую шутя называли «рестораном Порт-Артур», стоял дым коромыслом: Сидорчук тайно торговал водкой. Кто лез к сонливой жене Сидорчука, кто, перепившись, буянил. В красном уголке комсомольского барака Вася Смолин читал доклад: «Первый форт взят». После доклада состоялись коллективные игры. Маня визжала: «Не тронь! Я щекотливая!..» Смолин вышел с Верой на улицу. Ночь была холодная, и Вера вздрогнула. Вася сказал: «Так, Вера, делается история...» Вера в ответ тихо погладила его руку. В столовой для иностранцев косой Смитс пил пиво и кричал, что он выиграл у Хайнца пари: он говорил, что домну пустят в срок. Словом, в тот день все волновались.

Коля Ржанов улыбался. На его лице нельзя было ничего различить, кроме одной огромной улыбки. Впрочем, улыбались в тот день двести двадцать тысяч строителей. Улыбались моргановские краны и пестрые платочки киргизок. Улыбалось апрельское небо — оно сулило шумные ливни, зелень, горячую неразбериху сибирского лета. В тот день можно было и не заметить Ржанова, спутать его с Федоровым или с Чеборевским. Улыбка съедала и щеки и глаза. Но у Коли Ржанова было свое лицо. Несмотря на его молодость, у него была и своя жизнь.

Отец Коли работал в Свердловске (тогда говорили — Екатеринбурге) на Верхне-Исетском заводе. Коля помнит, что отец любил пить вино. Когда приходили товарищи.

отец подолгу с ними спорил. Мать, раздосадованная, говорила: «Опять они наследили...» Отца расстреляли белые... Глотая слезы, мать шептала: «Тише, Коля! услышат...» Возле пруда Коля увидел офицера. Офицер смеялся и ел конфеты. Коля тотчас же подумал, что этот усатый человек убил его отца. Он уже умел ругаться, как взрослые. Он подошел к офицеру и громко крикнул: «Ирод!» Офицер не побил Колю. Он и не рассердился. Смеясь попрежнему, он дал мальчику карамель. Коля зажал конфету в кулак и бросился бежать. Потом он остановился. Растерянно поглядел он на карамель. Бумажка была красивая. Он знал, что конфету следует бросить, но он поддался искушению: он засунул ее в рот. Он долго сосал. Его лицо выдавало не счастье, но смятение. Ночью он испугал мать внезапным плачем. Мать думала, что ему жаль отца, и тихо она проговорила: «Может быть, и умереть легче, чем так жить...» Но Коля не думал об отце. Он ненавидел себя. Он бил себя маленькими розовыми кулаками. В ту же ночь он узнал, что жизнь не легка. Ему было тогда семь лет.

Он рос быстро и неровно, то гнулся в сторону, то поникал. Его мать была верующая, и в углу висела икона. Коля был пионером. Икону он снял. Он попробовал объяснить матери, что все это неправда. Христос воскрес только потому, что народы весной сеют, а у кита крохотная глотка и кит никак не мог проглотить Иону. Он говорил наставительно и долго. Мать заплакала. Тогда Коля растерялся. Он сказал: «Можешь повесить свою икону. А насчет кита — это факт».

Он учился в заводском училище. Из уроков он любил военизацию и родной язык. Он маршировал, стрелял и жадно повторял принципы стратегии. Он знал, что нет большей радости, нежели побеждать. На уроках родного языка он пропускал мимо ушей скучный синтаксис. Зато, как завороженный, он слушал стихи Пушкина. Он даже выучил наизусть две первые песни «Руслана». Его записали на черную доску за нарушение дисциплины. Он признал: «Правильно!» Когда был субботник по учету скота, он работал больше всех. Он видел, что счастье в труде, но у него было горячее сердце, и труд казался ему скучным. На уроках алгебры он читал романы Джека Лондона. В мастерских он затевал игры. Потом он кончил училище,

и его послали в цех ширпотреба. Он вынимал из-под пресса кастрюли, и он тосковал.

Как-то в заводском клубе показывали картину: «Вечный грех». Это была старая американская картина. К ней приделали русские надписи, и надписи поясняли, что бессердечный хозяин решил для забавы погубить одинокую конторщицу. Коля жадно глядел на красавицу с голыми плечами, на молодого шелопая, который пил ликер, на гонку автомобилей. Нельзя было угадать: догонит ли отец Джона или не догонит? Они мчались так быстро, что болели глаза и голова шла кругом.

После этого вечера Коля зачастил в клуб нарпита. Там танцовали польку и вальс. Коля танцовал с девушками и пристыженно улыбался. Ему казалось, что он танцует хуже всех и что девушки над ним смеются. В душе он был растерян. Он часто спрашивал себя: должен ли комсомолец танцовать? Он не знал, как ему жить. Кругом люди работали день и ночь. Они не умели веселиться. Чтобы найти полузапретное веселье, нужна была сноровка. У Коли появился учитель — некто Сотов. Этот Сотов числился комсомольцем, но он только и делал, что гулял с девушками или резался в карты.

Сотов спросил Колю: «Ты куда ходишь с девчатами?» Коля густо покраснел. Он хотел было соврать: «В рощу». Но он не умел врать... Он признался Сотову, что он еще не знал в жизни женщин. Сотов долго смеялся. Из его огромного рта вылетали брызги, а зеленые глаза весело туманились.

Несколько дней спустя Сотов сказал Коле: «Приходи сегодня к Павлику». Потом он помолчал и многозначительно добавил: «Будет весело». Коля понял и взволновался. Долго пытался он щеткой пригладить чуб, но чуб упорствовал.

У Павлика была настоящая пьянка. Выпив три стопки, Коля охмелел. Сотов прижимал к себе Аню из упаковочной. Коля подсел поближе — ему хотелось послушать, о чем говорят влюбленные. Сотов, который был груб и насмешлив, говорил с Аней непривычным голосом. Он говорил о своих чувствах, о том, что у Ани «глаза, полные сердечности», о том, что любовь теперь свободна, «не как в романах Толстого». Говоря это, он смотрел за тем, чтобы

Аня пила, и, поднося ей рюмку, каждый раз приговаривал: «За самое большое одну малюсенькую...» Аня, пьянея, бессмысленно хохотала. Когда она на минуту отошла от Сотова, тот, не забывая своей роли опекуна, деловито сказал Коле: «Ты, Колька, не зевай. Вот Маруська не у дел. Подпои, а потом — в рощу. Будет вырываться — ничего: это они всегда так, а потом сами рады...»

Коля послушно выполнил все предписанное. Он дал Марусе большую стопку. Когда та сказала, что у нее кружится голова, он вежливо предложил выйти на свежий воздух — проветриться. Маруся ему не нравилась: у нее были коровьи глаза и она глупо улыбалась. Когда он нагнулся, чтобы поцеловать ее в губы, он услышал запах духов. От этого запаха его начало мутить. Почему-то он сказал: «Комсомолка не должна душиться». Маруся перепуганно улыбнулась и ответила: «Это не духи, это одеколон, и плохой...»

В роще Коля вспомнил: надо бы поговорить о чувствах, как Сотов... Но слов у него не было; а когда он понял, что слова надо придумывать, ему стало скучно, как в школе на уроках немецкого. Неожиданно, не только для нее, но и для себя, он повалил девушку на мокрую траву. Маруся закричала: «Пусти!» Коля виновато съежился. «Это я пошутил. А теперь пора и по домам. Сыро здесь — ты простудишься...»

Потом, припоминая эту ночь, он неизменно морщился, как от приступа зубной боли. Он стал избегать Сотова. Он больше не ходил на пьянки. Он забросил и танцульки. Он понял, что жизнь, которая на экране ему показалась веселой и стремительной, так же скучна, как алгебраические формулы.

Он работал теперь исправно. По вечерам он ходил на собрания. Он много читал. Но в душе он был холоден ко всему: и к борьбе с оппортунистами и к стихам. Его глаза, цвета светлой резеды, глядели на мир печально и отчужденно. Они ни на чем не задерживались. Это были глаза слепого.

Шаров сказал ему: «Знаешь, я записался на ускоренные. Заниматься придется по ночам. Зато через четыре года буду инженером». Коля удивленно посмотрел на Шарова. Зачем напрягаться, хитрить, пробиваться вперед?

Коля молчал, пока Шаров с восторгом рассказывал ему о своем будущем. Тогда Шаров, желая, чтобы его счастье разделили все, сказал: «Почему бы и тебе не налечь? Подготовиться можно за лето...» Коля ответил равнодушно: «Не всем быть инженерами. Нужны и рабочие». В его голосе не было ни зависти, ни обиды. Но вечером он отбросил роман Шолохова, судорожно зевнул и подумал: «Везет же такому Шарову! А я?.. Нет, мне уже поздно начинать...» Коля решил, что он — неудачник, и это его несколько успокоило.

Умерла мать. Умерла она в больнице. Перед смертью она захотела причаститься. Одна из сиделок согласилась сходить за священником. Поп пришел в пиджаке, робко поглядывая на служителей. По утрам он сидел в санитарном тресте и регистрировал исходящие. Но перед умирающей он вспомнил свой сан и величественно помахал грязными жилистыми руками. Сиделки отвернулись. Мать Коли блаженно улыбалась... Эту улыбку и застал Коля. Он знал, что мать с двенадцати лет работала на прядильной. Двое детей ее умерли, мужа убили, а Коля вырос чужой и неласковый. Она не видала в жизни ни отдыха, ни участия. Но она верила в своего бога, и она была счастлива. Коля пренебрежительно морщился, но в душе он завидовал матери, как он завидовал и Шарову.

Ему было девятнадцать лет, но он думал, что это — старость.

После смерти матери он жил в общежитии. Как-то он не вышел на работу: поранил палец. Он оказался вдвоем с уборщицей Нюшей. Нехотя читал он статью в «Известиях» о черной металлургии. Нюша подошла к нему и, пахнув на него щами, засмеялась. Она была веселая, ее так и звали: «Нюша-хохотуша». У Коли помутнело в глазах, как будто он залпом выпил стакан водки. Он приподнялся и пробубнил: «Вот что...»

Потом он ничего не мог припомнить, кроме запаха щей и этого смеха на «о». Он выбежал на улицу. Была оттепель. Пахло гнилью. Черные пятна на снегу казались болячками. Коля глубоко дышал. От сырого тумана кололо в груди. Он растерянно глядел на небо, на дома. Возле него висела афиша — поверх старой газеты было написано чернилами: «Боевик!», «Пламя любви». С ненавистью погля-

дел Коля на расплывшиеся буквы. Снова закололо в груди. Отстегнув ворот, он положил руку на грудь, но тотчас ее отдернул: ему было ненавистно собственное тело. Он долго бегал по улицам. Торчали остовы домов. Старый город был наполовину снесен, новый только строили. Между железными скелетами чернел снег. Люди радовались весне, и они ругались, попадая в глубокие лужи. Коля бежал по талому снегу, ничего не замечая, полный глубокого, непонятного ему страха. Он думал, что его жизнь закончилась, и в этом тяжелом разложении зимы видел нечто себе родственное.

Он выходил каждое утро на работу, но его преследовала одна мысль: уехать! Может быть, распростившись с родными ему местами, он освободится от сердечной пустоты? Долгачев, глядя на Колю, говорил: «Парень-то наш заскучал».

Весна шла быстрая и расточительная. В одну ночь она смыла ливнем снег, который еще прятался от солнца. Она взломала лед на пруду. Она начала швырять на грустный город, в котором не было ни реки, ни тенистых садов, ни бульваров, то желтые цветочки, запестревшие среди щебня, то душистый вздор черемухи, то беспричинные улыбки, и эти улыбки бесцеремонно вмешивались в порядок дня очередных заседаний.

В шумное яркое утро Коля Ржанов понес на вокзал маленький сундучок. В сундучке лежали три рубашки, старые сапоги и пестрый галстук, купленный еще в те времена, когда Коля шлялся по танцулькам. Он ехал на стройку.

Всю дорогу он молчал. В окно глядеть было скучно: с утра до ночи тянулась все та же степь. Кругом люди безумолку говорили. Говорили они только о стройке: какие там харчи, правда ли, что дают по два кило сахара, не холодно ли зимой в бараках? Какой-то вертлявый человек повторял с глубоким восторгом: «Ровно на шестой день выдадут спецовку, честное мое слово!» В углу дремала бледная женщина. Она ехала к мужу. Выходя на минуту из забытья, она неизменно спрашивала соседей: «Вы мне скажите, а не страшно в Сибири? Я ведь по сложению слабая...» Коля трясся в такт колесам и сосредоточенно молчал. Он не знал, зачем он едет, он не знал, что с ним будет

на новом месте, да, сказать правду, он и не волновался. Его светлые глаза хранили все ту же отрешенность.

Но когда локомотив, облегченно вздохнув, остановился среди поля, когда из грязных, прокуренных вагонов, которые казались людям уютными, как родной дом, выкатились на землю сундуки, корзины и узлы, когда обдал приезжих острый беспокойный ветер, Коля болезненно вздрогнул.

3

Вместе с Колей Ржановым на стройку приехали и другие. В тот день приехало двести сорок новых строителей. Позади у них были разная жизнь и разное горе.

Егор Шуляев приехал прямо из колхоза. Он говорил: «В деревне теперь не житье. То — сдавай картошку, то — «красный обоз», то — «коллективный хлев строим». Нет человеку спокойствия! Здесь никому до тебя нет дела. Отработал, получил пропуск в столовую, похлебал щей — и гуляй». Егор Шуляев привез с собой двести целковых. На стройку он приехал с женой. Оба стали на работу как землекопы. Вечером они пошли подыскивать себе кров. В деревне говорили, будто за две сотенных можно купить теплую землянку.

Инженера Карпова прислали из Москвы. С тоской он думал о жене, о друзьях, о премьерах в Художественном театре, о залитой огнями Тверской. Он, однако, храбрился. «Конечно, работа здесь интересная. Можно сказать, внимание всего мира сосредоточено... Это вам, Сергей Николаевич, не проекты разрабатывать, это настоящее дело!..» Ему казалось, что он у себя в Столешниковом и что он спорит с Сергеем Николаевичем. Но он сидел один в столовке итеэров. Он пил жидкий чай и нервно постукивал ложечкой о стакан. Кругом него люди спеша засовывали в рот картофельное пюре. Никому не было дела до Карпова. Допив чай, Карпов пошел на работу; он был специалистом по монтажу рольгангов.

Три сестры Кургановых прятались одна за другую: они никогда не видали столько людей. Они жили в деревне Игнатовка и продавали молоко. Когда началась коллективизация, коров отобрали. Потом пришло письмо Сталина

о «головокружении». Коров развели по дворам. Две коровы Кургановых без присмотра околели. Девушки попробовали работать в колхозе, но с непривычки им было тяжело. Они вырабатывали мало трудодней. Тогда они решили уехать на стройку. Услыхав пыхтение экскаватора, они в перепуге заметались. Младшая — Таня — со страха начала икать. Но Варвара, заглянув в барак, восхищенно сказала: «Чай-то у них фамильный!..» Двух Кургановых послали на кладку кирпича — подавальщицами. Таня была определена уборщицей в барак № 218.

Старый партизан Самушкин приехал на стройку потому, что его грызла тоска. Десять лет он рассказывал всем, как он гонял по Алтаю белых. «Только мы подходим, а они уже ставят на колокольню пулемет. Я говорил: «За кровь товарищей вы безусловно ответите». И действительно, трудно сосчитать, сколько церквей мы спалили». Самушкин рассказывал об этом односельчанам и случайным попутчикам, сотрудникам ОНО в Бийске и бабам на базаре. Вначале слушатели охали, поддакивали, волновались. Но мало-помалу гражданская война становилась историей. Самушкина перебивали: «Да ты об этом уже говорил!..» Он сидел в ОНО и писал бумаги: «Сельсовет Михайловского, несмотря на все директивы центра, отказывается отпустить для школы дрова...» Как-то вузовец, услышав в десятый раз рассказ о пулеметах и колокольне, насмешливо спросил Самушкина: «Может, ты и при Бородине сражался?..» Самушкину стало в жизни неуютно: не было ни опасности, ни побед. Тогда он ушел со службы, сославшись на болезнь: старая рана, ревматизм. На самом деле он решил посмотреть, что такое стройка. Он сразу попал в какую-то канцелярию. Молоденькая девушка, даже не глядя на него, закричала: «Что же вы стоите! Надо сейчас же позвонить Шольману — на мартене только что сняли шестьдесят землекопов...» И, не переспрашивая, Самушкин кинулся к телефону.

Гришке Чуеву в Москве пришлось туго. Он продавал на Сухаревке сахар, который получал от заведующего распределителем Булкина. Этого Булкина недавно накрыли. Гришка понял, что пора менять местожительство. Четырнадцать лет революции он прожил кочуя. Он торговал контрабандным сукном в Батуме. В Ростове он работал

на госмельнице, отпуская любителям крупчатку «по себестоимости». Потом его занесло на Днепрострой. Там он сводил инспецов с машинистками. В Харькове он подыскивал комнаты. Теперь он приехал в Кузнецк. Опытным взглядом он оглядел бараки: здесь много людей, — значит, здесь найдется дело и для Гришки! Он решил покупать у американцев крепкие напитки. Вечером он уже доказывал Дорану, что два червонца за коньяк «Конкордия» — красная цена.

Писателю Грибину надо было написать новый роман. Критики его донимали. Они утверждали, что Грибин уклоняется от современных тем. Грибин взял в журнале аванс под роман о стройке и заказал место в международном вагоне. Он стоял возле заводоуправления и рассматривал проходящих. Рядом с ним какой-то клепальщик перематывал портянки. Грибин, морщась, вспомнил, что жена забыла вложить в саквояж одеколон. Он подумал о жене, о своем кабинете с портретом Пушкина, о далеком уюте и загрустил. Но надо было работать. Он вынул из кармана записную книжку и записал: «Большая постройка. Зовут «кауперы». Грандиозное впечатление. Вставить в главу, где ударник влюбляется». Утомившись, он зевнул и поплелся в столовую для иностранцев.

Шорец Мукаш приехал из улуса Сары-Сед. В улусе было четыре имама. Мукаш был охотником. Пушнину он отвозил русским в «Интеграл». За хорошую выдру ему давали до восьмидесяти рублей. В улус Сары-Сед приехал русский. Этот русский сказал, что стройка находится в стране шорцев и, следовательно, шорцы должны вместе с русскими строить гигант. Подумав, шорцы послали Мукаша — Мукаш был младший. Мукаш не понимал, что именно строят русские: дом, крепость или город. Он привез с собой трубку и божка. Трубка была из березового дерева с медной покрышкой. Ее сделал дядя Мукаша, хромой Ато, который считался лучшим стрелком. Кто сделал бога, Мукаш не знал. Бог висел над люлькой вместе с крохотным луком. У бога были короткие руки и большая круглая голова. Бог охранял Мукаша от пули и от мух. Мукашу сказали, что он должен ехать в Тельбесс на копи. Там добывают руду, и там работает бригада шорцев. Ему сказали также, что он у себя дома, что эта страна — Шория и что

большевики строят в Шории гигант. Мукаш ничего не ответил. Он запел. Русские не знали, о чем его песня — он пел на своем языке.

Елена Александровна Гарт приехала на стройку как переводчица. Она знала английский и немецкий. Она работала в тяжпроме, но Маня Королева ей написала, что на стройке работать куда интересней. Правда, в Кузнецке нет театров. В распределителе для инспецов можно достать все: шелк, береты, даже дамские туфли. Вдруг какой-нибудь специалист влюбится в Елену?.. Мечтая, она зажмурилась. Инженер Гармин в нетерпении крикнул: «Переведите — блюмсы сечением триста на триста отсюда направляются к шпеллерам...» От страха Елена похолодела...

Все эти люди приехали на стройку вместе с Колей Ржановым; эти и другие, много других. Их записали в книгу. Никто не спросил, как они жили раньше. Их сосчитали, чтобы не ошибиться при выдаче хлеба. Людей распределили по цехам. Колю Ржанова послали в доменный.

В тоске Коля оглядел барак. Люди лежали на койках не разувшись. Воздух был густой от махорки и пота. В углу безумолку кричал грудной младенец. Коля попробовал было читать, но лампочка была тусклая, и у него быстро заболели глаза. Тогда он прошел в «красный уголок». Два котельщика играли в шашки. Они чесались и однообразно приговаривали: «А я через нее сигану...» На стене висел старый номер стенгазеты. Коля прочел: «Галкин предается азартным играм, а на просьбы прекратить дебош отвечает бурным матом минут на двадцать. Когда же мы сразим огнем пролетарской самокритики это безобразие, унаследованное от царизма?»

Коля подумал: зачем он сюда приехал? В Свердловске было чище и спокойней. По вечерам он мог читать. Скучно? Но скучно повсюду... Разве можно жить в таком хлеву... Коля прочел все в той же стенгазете: «Мы строим гигант!» Он недоверчиво усмехнулся: он видел вокруг себя усталых и несчастных людей.

Дня три спустя Коля пошел в клуб. Там он встретился с Васей Смолиным. Смолин начал ему рассказывать про ударную бригаду комсомольцев. Коля улыбнулся. Нельзя было понять, радуется он словам Смолина или насмехается. Потом, все так же улыбаясь, он сказал: «А вот я

видал в распределителе — конфеты только для ударников. Как же это: с одной стороны — энтузиазм, а с другой — кило карамели?..» Смолин не смутился: «Премии или чествования — это ерунда. Вся штука в том, что мы строим. Это — как микроб. По-моему, доктора могут найти такую болезнь: «кузнецкая лихорадка». Ты на себе это почувствуешь. В жар и холод кидает. Люди не едят, не спят. Помыться — и то нет времени». Коля больше не улыбался. Задумчиво постучал он папиросой о коробку и ответил: «Может быть. Я такого еще не видал».

Коля попал в бригаду Тихонова. Рабочие из других бригад смеялись над тихоновцами: «Они кауперы к сороковому году закончат...» Их звали «тихоходами». Колю это злило. Он вспоминал школьные годы. Его группу дразнили «Кувыркалы» за то, что при состязании в беге они сплоховали. Мальчишки из пятой группы даже сочинили песенку: «Кувыркала фыркала». Коля тогда не вытерпел: отлупил обидчиков.

Слыша, как рабочие смеются над «тихоходами», он досадливо пожимал плечами. Он глотал обиду, как глотают слезы.

Он говорил с инженером Соловьевым. Тот объяснял, как надо прикреплять листы. Тогда подошел Богданов. Это был краснощекий веселый парень. Улыбаясь, Богданов сказал Соловьеву: «Вы, Иван Николаевич, на них не полагайтесь. Эти тихоходы уже месяц как валандаются и все бестолку». Коля даже сгорбился от обиды. Он хотел обругать Богданова, но сдержался. Он отошел к товарищам и вдруг тонким, не своим голосом сказал: «Что ж это такое, ребята? Чем мы хуже других?..» Он сказал это и покраснел от стыда. Ему казалось, что рабочие в ответ засмеются: «Конфетки захотелось?..» Но рабочие молчали. Только Фадеев проворчал: «Кормить не кормят, а тут еще рекорды ставь».

Отступать было поздно. С минуту постояв в нерешительности, Коля полез прикреплять лист к колесу. Он работал до изнеможения. Ночью он долго не мог уснуть. В ушах гудело, и, забываясь, он конвульсивно вздрагивал, как будто кто-то его будил.

Так началась борьба. Коля не думал ни о гиганте, ни о стране, ни о революции: он думал о цифрах: обогнать! Он

шел на все хитрости. Он соблазнял Фадеева: «Премировать будут сапогами». Он льстил молоденькому Крючкову: «Ты у нас первый». Он подзадоривал Тихонова: «Тебя выдвинут». Для себя он не хотел ни сапог, ни похвал, ни курсов. Он хотел одного: перегнать обидчиков.

В третью декаду бригада Тихонова выполнила задание на сто девять процентов. Впереди шли только богдановцы. Увидав цифры на доске, Коля весь вспыхнул. Он вспомнил полотно экрана, мигание и гонку двух автомобилей.

В Свердловске у Коли были товарищи, которые увлекались спортом. Телемисов играл в футбол. Он только и говорил о том, что они обязательно побьют челябинцев. Коля тогда над ним подтрунивал. Теперь он жил той же страстью. Каждое утро, просыпаясь, он думал: «Сегодня, может быть, и перегоним...»

В июле Тихонов слег. Бригадиром выбрали Колю. Фадеев подсунул ему бутыль — спрыснуть. Колька не хотел спорить с Фадеевым — он отхлебнул. Он даже не почувствовал едкости спирта: он был пьян другим. Ночью он проснулся. В тревоге он подумал: «Неужто я пьян?» Он встал. Кружилась голова. Он разбудил Крючкова и жалобно спросил: «Скажи, Мишка, я пьян, что ли?..» Крючков со сна выругался. Коля, застыдившись, вышел из барака. С утра он был на работе.

Перегнать богдановцев было не просто. Но Коля достиг своего: в сентябре его бригада стала первой.

Тогда неожиданно для себя он загрустил. Казалось, он должен быть счастлив. Он может теперь спокойно глядеть на краснорожего Богданова. На собрании актива Колю поздравили. Соловьев с гордостью сказал: «Это наши — ржановцы». Что же дальше?.. Несколько дней он проходил молчаливый и скучный.

Соловьев его спросил: «Когда же мы закончим восьмой каупер?» Коля как-то сразу очнулся. Он понял, что его жизнь теперь неразрывно связана с жизнью этих больших и грубых чудовищ. Когда писатель Грибин, обходя цеха, сказал, что мартеновские трубы «куда изящней», Коля обиделся: для него кауперы были самыми нужными и самыми прекрасными.

Он забыл обо всем, о самолюбии, о цифрах, о красной доске, о богдановцах, которые снова ухитрились перегнать

колину бригаду. Он работал только ради кауперов. Он видел, как они растут, и с волнением беременной женщины, с ее причудами и страхом, он следил за их таинственным ростом. Кауперы для него были не кирпичами и железом, не печами для нагревания воздуха, не сложным сооружением, которое позволит людям плавить чугун. Они жили своей отдельной жизнью. В «Порт-Артуре» землекопы пили водку и буянили. Старая киргизка искала насекомых на голове дочери. Строители ругались: «За ноябрь еще не выдали сахара». Кругом шла обычная жизнь. Но над этой жизнью жили кауперы.

В январе стояли лютые морозы. Термометр показывал минус пятьдесят. Даже старые сибиряки приуныли. Прежде чем выйти из теплого вонючего барака на улицу, люди сосредоточенно замолкали: их брала оторопь. Работа, однако, не затихала. Газета каждое утро повторяла: «Стране нужен чугун» — и каждое утро люди шли на стройку — они торопились. Были в этом отвага, задор и жестокость — сердца людей полнились той же неистовой стужей. Промерзшее железо жгло, как будто его накалили. Люди строили завод не с песнями и не со знаменами. Строя, они не улыбались. Порой они валились без сил. Но они продолжали строить, и революция снова жгла сердца людей, как в годы Чапаева сибирских партизан и конармии.

В один из самых жестоких дней Коля стоял возле каупера. Он увидал, что канат на мачте застрял: нельзя подымать листы. Тогда, не задумываясь, Коля полез наверх. Наверху было еще холоднее. Коля с трудом дышал. Большие круги света поплыли перед его глазами. Ему показалось, что он падает. Но он не испугался: в ту минуту для него не было смерти. Потеряв на миг равновесие, он успел ухватиться за канат. Перед ним была вся стройка: кауперы, тонкие трубы мартена, бесконечно длинный блюминг, экскаваторы, краны, лебедки, мосты. Все это дрожало в холодном, как бы искусственном свете. Воздуха не было. Были трубы и машины. Над стройкой висел крохотный человек. Он должен был выпрямить канат. Он это и сделал.

Он оставался наверху свыше часа. Когда он спустился вниз, он больше ничего не понимал. Люди толпились

вокруг. Кто-то крикнул: «Качать!» Его несколько раз подкинули вверх. Он молчал. Партизан Самушкин, стараясь скрыть волнение, выругался, а потом крепко сжал руку Коли. Соловьев проворчал: «Да ты, брат, того — герой». Коля не улыбался. Он глядел наверх — теперь все в порядке!

Так работал Коля Ржанов. Так работали и другие. Их называли «ударниками». Одни надрывались, чтобы получить леденцы к чаю или отрез на штаны. Других подгоняло честолюбие: они не хотели остаться позади. Третьи работали так, как играют в железку: это был свой строительный азарт. Четвертые мечтали выйти в люди: стать обермастером, попасть на курсы в Свердловск, променять кирку или кувалду на портфель красного директора. Пятые боготворили завод. Машины для них были живыми. Они звали домну «Домной Ивановной». Они звали мартеновскую печь «дядей Мартыном». Шестые верили, что стоит достроить завод, как людям сразу станет легче: будут рельсы, а по рельсам понесутся сахар, чай, сукно и сапоги. Ударники были разные, но все они работали скорее, нежели могли. Они работали скорее, нежели могли работать люди.

На кладке огнеупорного кирпича французские специалисты говорили: «Человек может положить в день полтонны». Каменщик Щеголев выслушал переводчицу и ничего не сказал. Его бригада вышла на работу в шесть утра. Щеголовцы работали до ночи. Они не курили, чтобы не терять ни минуты. Когда они сдали работу, на человека вышло по полторы тонны.

В январе месяце строили ряжевую плотину. Запальщики взрывали лед. Рабочие стояли в ледяной воде. Беляев простоял в воде одиннадцать часов. Термометр показывал минус сорок восемь.

Бригада Гладышева торжественно обещала закончить клепку кауперов в двадцать дней. Рабочие не ходили в столовую. Они жевали хлеб и работали. Они простаивали на работе по восемнадцати часов без передышки. Они закончили клепку в четырнадцать дней.

У строителей были лихорадочные глаза от бессонных ночей. Даже в июле землекопы нападали на промерзшую землю. Люди теряли голос, слух и силы.

В душной темноте бараков строители обнимали женщин. Женщины беременели, рожали, кормили грудью. Но среди грохота экскаваторов, кранов и лебедок не было слышно ни поцелуев, ни воплей рожениц, ни детского смеха.

Жизнь Коли Ржанова едва начиналась. Он почувствовал на себе доверчивые взгляды товарищей и впервые поверил в себя. Его походка стала живой и точной, глаза как бы сгустились, голос погрубел. Прежде ему казалось, что он ничего не может: ни работать, ни учиться, ни любить. Теперь он ощущал, как живет и растет его тело. Иногда, работая, он вскрикивал «ого» только затем, чтобы услышать свой голос. Когда он выходил из темного барака, радовался не только он, радовались его глаза, зрачки сужались, весело они облетали мир — абрис труб, нестерпимую белизну снега, крохотных, как жучки, людей и желтое зимнее солнце. Он понял, что он силен, что ему ничего не стоит поднять тяжелую полосу железа, что его ноги ловко обхватывают канат, что он может карабкаться, прыгать и при этом улыбаться.

Он чувствовал в себе глубокое веселье. Он перестал чуждаться товарищей. В те скудные часы досуга, которые оставались после дня работы, он шутил, смеялся. Он пел с другими глупые частушки: «Сашка в красном уголке с Машей обнимаются. На строительстве прорыв его не касается...» Он пел, не думая о том, что поет, и он смеялся.

Как-то после доклада в комсомольском бараке были игры. Коля поймал Варю Архипову. Они оказались возле стены. Варя тяжело дышала — она запыхалась. Не думая ни о чем, Коля крепко поцеловал ее в губы. Варя не отняла своих губ; губы у нее были розовые и горячие. Кто-то сзади крикнул: «Ай да Колька!..» Тогда Варя побежала снова в круг. Больше ничего и не было между ними, кроме этого случайного и в то же время необходимого для обоих поцелуя.

Только на следующее утро, работая, он вдруг набрал в рукавицу снега и прижался к снегу губами. Снег был сухой и обжигал. Коля задумчиво усмехнулся. Никогда потом он не вспоминал о поцелуе возле беленой стены.

Как-то Коля проходил возле мостового крана. Он знал, что этот кран отличался огромной грузоподъемно-

стью. Он глядел на него, как глядят на собор или на скелет мамонта. Ему хотелось понять ход колес и рычагов. Он жадно выслушал объяснения инженера. Ему показалось, что он понял. Но несколько дней спустя, когда он вздумал объяснить Крючкову, как работает кран, он сразу запутался. Он загрустил: до чего это трудно! Вот его выбрали бригадиром. Но разве он понимает, как движутся эти сложные машины? Он готов был пасть духом.

Вечером он увидел у Смолина книгу — там были рисунки различных кранов. Коля просидел над этой книгой две ночи и наконец-то понял. Он даже улыбнулся — как это просто! Он начал присматриваться к другим машинам. В нем проснулось огромное любопытство.

В доменном цеху работал немец Грюн. Этот Грюн до войны живал в России. Вернувшись в свой Эльберфельд, он только и рассказывал, что о русских диковинах: «Россия куда богаче Германии, да и русские не варвары — они скоро нас переплюнут». Когда он оказался без работы, он поехал в Сибирь на стройку. Беседуя с русскими, он неизменно расхваливал Германию: «Там люди умеют работать». У него были две родины, и его душа двоилась. Он обижался на молодых рабочих: они скалили зубы, когда немец начинал ворчать. Он никому не мог прочесть длинную нотацию, а без этого он не умел жить. Он весь просиял, когда Коля робко спросил его о работе на немецких заводах. Он обстоятельно рассказал Ржанову о различных способах коксования угля и об использовании колошникового газа. Коля решил, что нет ничего увлекательнее химии. Он подосадовал на себя, что в училище не налег на химию. Он раздобыл учебник и решил каждый день проходить одну главу.

Грюн пошел с Колей на электрическую станцию. Учебник химии долго лежал с закладкой на тридцать четвертой странице: Коля увлекся электричеством.

Он понял, как он мало знает. Он сразу хотел узнать все. Это было чувство острое и мучительное, как голод. Он спрашивал Грюна: как по-немецки мост? А уголь? Какие в Германии прокатные станки? Ну, могут они прокатить болванку в пять тонн? Как одеваются немецкие рабочие — вроде наших или по-другому? А у вас много театров? Правда ли, что среди немецких рабочих много

фашистов? Почему Грюн эсдек — это ведь значит — предатель? В газете было, что ученые нашли в Берлине синтетический глицерин — это правда? Зачем за границей учат латынь — кому это нужно? А почему рецепты пишут по-латыни?.. Он спрашивал сбивчиво и несвязно — он торопился узнать.

Его любопытство не довольствовалось этими беседами. Каждый вечер он уносил из библиотеки новую книгу. Он спал теперь не больше четырех-пяти часов — по вечерам он читал. Он кидался от одного к другому: от Петра Великого к анатомическому атласу и от путешествий Нансена к политической экономии. Он разыскивал в клубе товарищей, которые могли бы ему объяснить, каково положение японского крестьянства, как работают муфеля на беловском заводе, что такое фресковая живопись и о чем писал Сен-Симон. С жаром он говорил о полетах в стратосферу и о цветном кино. Он видел перед собой тысячи дверей, и он метался, не зная, куда раньше всего кинуться. Он не хотел стать химиком или инженером. Он просто жил и хотел понять эту жизнь. Он думал, что можно узнать все.

Он продолжал с прежним упорством работать на стройке. Но мир его вырос. В этом огромном мире кауперы казались ему маленькими кустиками. Он понял, что нужно много кауперов и много домен, много заводов, машин, рук и лет, что путь к счастью долог. Но длина этого пути его не смущала. Он даже радовался ей. Он не понимал, как можно перестать строить. Он только-только открыл занимательную книгу, и он радовался, что в этой книге много страниц и что ее нелегко дочитать до конца.

Теперь он искал уединения. Но он не чувствовал себя одиноким. Он видел товарищей: как он, они сидели по углам бараков с растрепанными, зачитанными книжками. Та же лихорадка трясла и других. Это не была редкая болезнь. Это была эпидемия.

Из деревень приходили новички. Перепуганно они косились на машины. Когда инженер говорил: «Нельзя дергать за рычаг», — они недоверчиво ухмылялись: инженер казался им врагом.

Потом люди шли в плавку, как руда. Воздуходувки нагоняли раскаленный воздух, и металл отделялся от шлака. Одни продолжали жить, как они жили раньше.

Они уныло работали — клали кирпич или копали землю. Они подолгу скручивали цыгарки, препирались друг с другом. Они старались выиграть на этом пять или десять минут. Они жаловались: «щи в столовке жидкие», «сил нет — клопы заели», «нельзя ходить по этакой грязище без сапог». Иногда эти люди казались Коле преступниками. Он думал, что их надо судить, отобрать у них хлебные карточки, послать их на принудительные работы. Иногда в смущении он сам себя спрашивал: может быть, это обыкновенные люди? Может быть, и впрямь нельзя требовать от людей, чтобы они так страдали ради будущего?.. Это были минуты упадка и усталости. Тогда Коля глядел на мир глазами виноватыми и несчастными. Он походил на загнанную лошадь. Он старался отделаться усмешкой: называл это «ликвидаторскими настроениями». Но усмешка не помогала. Помогала молодость. Помогали также другие люди: не все жаловались и не все ругались.

Когда плавят руду, шлак, который легче чугуна, плавает поверху — его выплескивают. На стройке росли не только кауперы, росли и люди. Курносая Шура зубрила азбуку. Стыдясь, она спрашивала Колю, правда ли, что самолет летает без пузырей! Вася Смолин готовился в вуз и ночи напролет просиживал над тригонометрией.

Коля знал, что главный инженер строительства Бардин умен и знаменит. В «Известиях» о нем была большая статья с портретом. Этот инженер, на вид скромный и застенчивый, для Коли был человеком, который знает все. Но вот Кралец из управления рассказал Коле, что Бардин получает кипы журналов. По ночам он читает. Он следит за всеми изобретениями в области металлургии — боится отстать. Коля понял, что и главный инженер продолжает учиться. Это его испугало и обрадовало. Он вспомнил, как он впервые взобрался на верхушку каупера — кружилась голова, мир сверху казался игрушечным. Коля взволнованно дышал: перед ним открывалось самое большое.

Как-то в клубе комсомольцев был литературный вечер. Из Новосибирска приехал актер Лаврушин. Он читал стихи Некрасова и Маяковского, а потом смешные рассказы. Коля со всеми аплодировал, когда Лаврушин кричал: «левой, левой», и доупаду смеялся над «Аристократкой». С тех пор как он приехал на стройку, он не читал

больше ни романов, ни стихов. Он думал, что это — забава и что на забаву не стоит тратить времени. Как-то, еще в Свердловске, он пошел в театр, но пьеса ему не понравилась, и он клевал носом. Теперь все его занимало: гримасы актера, рифмы, смешные словечки.

После Лаврушина два комсомольца читали собственные стихи. Один из них клялся, что Кузнецк не уступит Магнитогорску. Другой был лириком, он восклицал: «Твои физкультурные губы!» Обоим много аплодировали.

Час был поздний, но комсомольцы не расходились. Они упрашивали Лаврушина почитать еще. Шура крикнула: «Что-нибудь покрасивей!» — и покраснела от смущения. Лаврушин достал из портфеля книжку и начал читать. Коле показалось, что он уже читал это. Может быть, в школе?.. Сначала было очень смешно... Потом Коля услышал слова странные и необычные. Он знал эти слова. Он даже часто слышал их: «дорога, душа, пыль, грусть». Но никто перед ним не повторял этих слов в столь неожиданном и прекрасном сочетании. Казалось, что это написано на чужом языке. От волнения захватывало дух. Коля не видел больше ни товарищей, ни Лаврушина, который то закатывал вверх глаза, то, багровея весь, ударял кулаком по столу.

Все шумно зааплодировали. Коля не мог шевельнуться. Он хотел спросить, что же с ним приключилось, откуда берется такая сила, какой человек мог написать эту книгу? Но он еле слышно пробормотал: «Что это?..» Чапылов, который сидел рядом с Колей, ответил: «Не знаю». Потом Чапылов подошел к Лаврушину, заглянул в книжку и вернулся с обстоятельным ответом: «Сочинения Н. В. Гоголя». Коля не слушал его. Рассеянный, он прошел в свой барак. Он лег, но не мог уснуть. Он продолжал слышать странные слова. Они заполняли мир, и Коля растерянно прислушивался к их гуду. Он понял, что, кроме вещей, есть слова и что эти слова живут отдельной жизнью. Мир, который и прежде казался ему необъятным, снова вырос.

В ту ночь он не спал. Он много думал. Мысли его были путаными. Он вдруг догадался, почему в роще не мог ничего сказать большеглазой Марусе. Кроме знания, существовало другое: звуки, беспричинная боль и огромная непередаваемая радость.

Когда начало светать, он вышел на улицу. До работы оставался час. Все мягчало, капало, гудело: была оттепель. Значит, скоро год, как он здесь... Весна с ее раздвоением, с дыханием, полным слез, цветочного сока и карболки, с ее зудом, гулом и глубокой немотой теперь не показалась Коле мучительной. Она шла на него как счастье. Когда в голубоватом тумане показались кауперы, Коля подумал: домна будет пущена к сроку!

Так строят завод. Так строят и человека.

4

Революция одних людей родила, других убила. Коля Ржанов рос и радовался: он только начинал жить. Курносая Шура из Криводановки ходила как именинница: она сразу получила все — и азбуку, и городские туфельки, и кино, и собрания. На собраниях, вместе с другими, она решала, как быть и что делать. Вася Смолин поступил в Институт черной металлургии. Их было много, неуклюже и весело они вступали в жизнь.

В Свердловске Коля часто встречал нищего, который приговаривал: «Гражданин, подайте отверженному!» Это был Иван Гаврилович Благонравов, бывший профессор духовной академии. Он был стар, немыт и нечесан. Когда ему удавалось набрать несколько рублей, он жадно тянул из горлышка горькую. Его тощие ноги дрожали. Он спал в подвале развалившегося дома. Он был болен, и никто за ним не смотрел. Когда-то он любил открытки с видами Крыма и «Осеннюю песню» Чайковского. Он забыл об этом. Его воспоминания были несвязны и назойливы: он видел то полы, натертые воском, то стерлядку на длинном блюде, то пухлые руки покойного ректора. Он еще дышал и двигался, но он был мертв.

Сын предводителя дворянства Станевич молодость провел в Оксфорде, он изучал английское право и высшую школу верховой езды. Теперь он промышлял извозом. Он кряхтел, сквернословил и старался ни о чем не думать.

Любимица Екатеринбурга Ася Муратова, которая лучше всех пела «Поцелуем дай забвенье», в «Деловом

клубе» мыла сальные котлы. Она уносила с собой пшенную кашу в платочке.

Так умирали те, которые не могли больше жить.

На стройке работали комсомольцы. Они знали, что они делают: они строили гигант. Рядом с ними работали раскулаченные. Их привезли издалека: это были рязанские и тульские мужики. Их привезли с семьями, и они не знали, зачем их привезли. Они ехали десять суток. Потом поезд остановился. Над рекой был холм. Им сказали, что они будут жить здесь. Кричали грудные дети, и женщины совали им синеватые тощие груди.

Они были похожи на погорельцев. Называли их «спецпереселенцами». Они начали рыть землю: они строили земляные бараки. В бараках было тесно и темно. Утром люди шли на работу. Вечером они возвращались. Кричали дети, и все так же измученные бабы приговаривали: «Нишкни!»

На осиновских рудниках работали заключенные: они добывали уголь. Руда с углем давала чугун. Среди заключенных был священник Николай Извеков. Когда Извекова вычистили из санитарного треста, он начал проповедовать «близость сроков». Он переписывал послания апостола Павла и продавал списки по пяти целковых. Он также служил тайные панихиды по усопшему государю. Теперь он грузил в шахте уголь. Рядом с ним работал Шурка Турок. Шурка прежде торговал кокаином. Извеков говорил Шурке: «Нечестивцы будут брошены в озеро, кипящее огнем и серой». Он говорил это, но он больше ни во что не верил. Шурка в ответ ругался. Зловеще посвечивал уголь.

В Топольниках в однодневном доме отдыха молодые казашки играли с комсомольцами. Они весело смеялись. Петя Гронцев стоял над микроскопом: он глядел на каплю воды. В воде неведомые существа трепетали и росли. Капля воды была огромным миром, и Петя Гронцев задыхался от непомерной радости узнавания. Ирина Травина, работница механического цеха, читала товарищам стихи Маяковского. Ирина недавно вступила в «бригаду Маяковского» — члены этой бригады читали на вечерах стихи любимого поэта. Волнуясь, Ирина декламировала: «Наш бог — бег, сердце наш барабан». Она не понимала смысла этих слов, но они ее веселили, как весенний ветер. Коля Ржанов стоял на берегу Томи. Он глядел на ледоход.

Огромные льдины, скрипя и торопясь, надвигались одна на другую. Казалось, не река это движется, но мир, и Коля, раскрыв широко глаза, не слыша ни шуток товарищей, ни суматохи — из прибрежных домиков выносили добро, — глядел на реку: река шла.

Одних людей революция сделала несчастными, других счастливыми: на то она была революцией.

Судьбу людей разделили и города. Когда-то города рождались, отстраивались, копили добро и не спеша старились. Революция прошла над городами. Тогда одни из них выросли как в сказке. Другие смутились, примолкли и стали рассыпаться, как будто они были сделаны из снега или из песка.

Был уездный городок Ново-Николаевск. Люди в нем жили тихо и нехотя. Пристав Глашков пил зубровку, а директор прогимназии Клосовский признавал только померанцевую — собственной настойки. По главной улице гуляли свиньи. Дома были низенькие деревянные. Сапожники в праздники буянили. Чиновники играли в преферанс. Ученики прогимназии читали Леонида Андреева и рисовали на заборах похабные картинки. Это был город, как тысячи других. Потом настала революция. Город брали белые и красные. Потом революция победила. Город переменил имя: он стал Новосибирском. Он переменил не только имя: он начал другую жизнь.

Отовсюду пришли в Новосибирск новые люди. Жилья для них не было. Они строили лачуги и копали землянки. Их поселки называли «Нахаловками». Новые люди и впрямь были нахальны: они хотели во что бы то ни стало жить. Новосибирск стал областным центром. Из Москвы приехал товарищ Зайцев. На нем были модный френч и сапоги из шевровой кожи. Он носил немецкий портфель с двойными ремешками. Появились в городе форды. Сотрудницы ОНО и «Лесотреста» ходили теперь с яркомалиновыми губами. В театре ставили пьесы Шекспира и Афиногенова. Приехал из Харькова Кронберг и начал по знакомству поставлять заграничный коверкот. В клубе имени Ленина состоялось совещание красных эсперантистов. Открылся «ресторан повышенного типа» с водкой и с музыкой. Из Иркутска прибыли братья Фомичевы — знаменитые по всей Сибири взломщики.

Старые дома сносили. Улиц больше не было, и весь город превратился в стройку. Он был припудрен известкой. Он пах олифой, нефтью и смолой. Автомобили прыгали по ухабам, вязли в грязи и, тяжело дыша, вырывались на окраины. На окраинах было ветрено и пыльно.

Начали строить большие дома: они были сделаны по последнему слову моды и казались выставочными павильонами, но в них жили люди. Их строили второпях, и через год они покрывались старческими морщинами.

Гордостью города была новая гостиница. Ее звали «Динамо». В номерах расставили громкоговорители и самый лучший из номеров назвали «наркомовским». В гостиницу как-то приехал настоящий нарком из Москвы. Он смущенно оглядел комнату: в ней не было ни зеркала, ни полотенца. Жизнь в городе начиналась с большого: с громкоговорителей. В вестибюле гостиницы сидели чистильщики сапог. Ветхие ботинки, привезенные из Старого Света, начинали блестеть как новорожденные. Но у дверей гостиницы была непролазная грязь. Калоши оставались в грязи, и люди их привязывали бечевками. При гостинице имелся большой зал. Там собирались съезды и совещания. Делегаты из глухих сел Алтая слушали доклады об апатитах и о лицемерии «Лиги наций». Имелся при гостинице и ресторан. На двери висел грязный листочек, карандашом было выведено: «Сиводни вужен». Заведующий не был тверд в правописании, зато он умел достать на ужин рыбу — нельму или максуна, и он был полон энтузиазма.

В город приезжали тунгусы, остяки, ойроты. Они требовали дроби, керосина, учебников. Дул холодный ветер. Товарищ Ишамов бодро говорил: «В полосе вечной мерзлоты скоро зацветут яблони!» Раскосые люди просиживали часами на заседаниях. Они молчали. Потом они начинали говорить. Они говорили о величии коммунизма и о том, что в их поселки надо поскорее послать врачей.

Возле города строили большой завод, чтобы изготовлять комбайны. Вокруг завода колосилась пшеница. Город распределял, наставлял и правил. Не переводя дыхания, днем и ночью город повторял: «Слушали — постановили». Даже сны его были протоколами. В городе было не менее тысячи машинисток. В городе были обком и

облисполком. Город все рос и рос. По переписи в нем значилось двести пятьдесят тысяч жителей.

Приезжали мечтатели из Иркутска, из Барнаула, из Тобольска: они искали удачи. Из Москвы приезжали лекторы, певцы и жокеи. Появились гербы иностранных консульств. Еще больше разрослись разные «Нахаловки» и «Порт-Артуры». Люди слетались из окрестных деревень на яркий свет управлений, трестов и кино.

Такова была судьба одного города.

У другого города позади была долгая жизнь. Томичане издавна гордились своей родиной. В те времена, когда люди любили классический стиль и велеречие, они шутя называли Томск «сибирскими Афинами». В этом городе декабрист Батенков строил замысловатые дома с бельведерами. Польские ссыльные читали стихи Мицкевича и Словацкого. Когда в Томске венчался бунтарь Бакунин, посаженым отцом был губернатор, а посаженой матерью местная мещанка Бардакова. В Томске проживал старец Федор Кузьмич, бродяга, наказанный плетьми. Народная молва превратила царя в бродягу, как не раз она превращала бродяг в царей. В томском монастыре содержалась невеста Петра II, Катя Долгорукова, девица семнадцати лет от роду, постриженная по приказу императрицы Анны Иоанновны. Имелись в Томске свои масоны. Они образовали ложу «Восточное светило». Томичане мечтали о справедливости и о просвещении. Их арестовывали и посылали на рудники. Просветитель Сибири, краевед, историк и писатель Потанин был приговорен к пяти годам каторги. Серафим Шашков поместил в «Томских губернских ведомостях» статью: он говорил, что в Томске надлежит создать университет. Серафима Шашкова обвинили в государственной измене. Он был присужден к двенадцати годам каторжных работ.

Университет все же был создан. В нем читали профессора с европейским именем. При университете имелась обширная библиотека. Она получила в дар книги графа Строганова. В библиотеке хранились французские книги, которых не было даже во Франции. Ученые приезжали из Парижа в Томск, чтобы ознакомиться с сочинениями Жана-Поля Марата, который до революции писал труды об электричестве. Томские студенты устраивали тайные

кружки. Они читали Маркса и Михайловского. В городе было несколько тюрем: для каторжан, для пересыльных, для подследственных. В тюрьме сидели студенты и рабочие из депо. Осенью 1905 года черносотенцы подожгли дом томской железной дороги: там шел митинг. Люди выскакивали из горящего здания. Их били дубинками и нагайками. Напротив пожарища, в кафедральном соборе епископ служил благодарственный молебен.

До постройки сибирской магистрали через Томск проходил тракт. По первопутку люди возили в Москву китайский чай и шелка. Сибирь посылала золото, масло, пушнину. Москва слала чиновников и конвойных; между конвойными звенели кандалами каторжники. У каторжников была выбрита половина головы.

Томские купцы богатели на золоте. Федот Попов открыл прииски на реке Закроме близ Томска. Его брат Степан оборудовал первый в России свинцовоплавильный завод. Сын Степана, получив наследство, умилился и пожертвовал в томский собор крест, украшенный сто двадцатью шестью бриллиантами и сто десятью яхонтами. Купец Горохов построил дом с садом. Один сад обошелся ему в триста тысяч рублей... В саду были статуи, бельведеры, беседки: «Храм любви» и «Убежище для уединения». Горохов намывал в год золота на два миллиона рублей.

Губернатор Лерхе требовал, чтобы ему приводили ежедневно девушек, особенно он любил гимназисток. Начальник тюрьмы был знаменит тем, что, глядя, как порют на кобылке какого-нибудь Ивана Непомнящего, он повторял: «Богородица дево, радуйся!» Были в Томске и знаменитые грабители. Они катались в кошевках и крючьями стаскивали с прохожих шубы. В нижней части города жили татары, они были лошадниками, и Томск славился лихачами.

В театре играли «Детей Ванюшина» и «Синюю птицу». Жены профессоров увлекались стихами Бальмонта. Они повторяли: «Будем как солнце». В садах цвела персидская сирень. Летом томичане перебирались на другой берег Томи — там, среди кедровника, были расположены дачи.

Имелись в Томске депо, спичечная фабрика, литейный завод, мыловарня, несколько типографий. В казармах, где жили рабочие, большевики подолгу спорили с меньшеви-

ками. Потом началась революция. Вырос Новосибирск. Покряхтев, Томск сдался.

В голодные и холодные годы люди разбирали дома на топливо. Новых домов не строили. Построили только новый цирк. Дома гнили и падали, старые кондовые дома с резными воротами и затейливыми ставнями. Вместо тротуаров были деревянные настилки. Они истлели. Когда человек ступал на доску, доска подпрыгивала. Это было забавно, но томичане предпочитали ходить по мостовой. В верхнем городе сломали заборы: там предполагали устроить общественный сад. Но сада так и не устроили — остался пустырь. На кладбище, где были похоронены Потанин и другие сибирские мечтатели, года два сряду резвились беспризорники. Они посбивали все памятники. Лошади лихачей, отощав, стали походить на допотопных чудовищ. Люди понаходчивей и пободрей уехали из Томска в Новосибирск, в Кузнецк или в Москву. Остались растяпы, чудаки и лишенцы. Лишенцы, прикрыв плотно ставни, зажигали лампадки перед иконами. В собор свезли картошку, но картошка сгнила. В церкви Вознесенья тощий попик аккуратно служил панихиды по «убиенным».

Жил в Томске купец Макушин. Он был известен как поборник просвещения и благотворитель. Он построил технологический институт. После революции его выбрали почетным председателем «общества ликвидации безграмотности». Он работал в томском наробразе. Потом он умер. Он завещал похоронить его не на кладбище, но во дворе построенного им института, а на могиле, вместо креста, поставить памятник: кусок рельса, лампочка и надпись — «Путь к знанию». Завещание было в точности выполнено. Лампочку, однако, вскоре стянули: все в городе знали, каков путь к знанию, но лампочек в городе не было.

В Томске имелось несколько фотографов. Над их заведениями значилось: «Друг детей», — часть выручки фотографы отдавали на содержание детских колоний: этим они откупались от суровости времени. В театре зимой было холодно, но когда ставили «Коварство и любовь», зрители согревались аплодисментами и чувствами. В театральном буфете можно было получить чай без сахара, славянскую минеральную воду и красивые коробки для конфет.

Судьбу различных городов легко было распознать на вокзале: достаточно было поглядеть, какой хлеб едят местные жители. Там, где люди строили гиганты, хлеб был светлосерый и нежный. В Томске хлеб был черный, мокрый и тяжелый.

Профессора университета между лекциями становились в очередь возле распределителей: они ждали, когда привезут хлеб. На базаре мальчики продавали грязные кусочки сахара, и старые бабки глядели на этот сахар глазами, полными умиления.

Так жил город, который, казалось, должен был умереть. Его не могли спасти ни шумная история, ни строгановская библиотека, ни рвение томичан, проектировавших постройку завода дорожных машин. Томск был в стороне и от магистрали и от жизни.

Но революция была своенравна и богата на выдумки. Она спускала в ту же шахту раскулаченного и комсомольца. Она признавала только два цвета: розовый и черный, и эти цвета она клала рядом.

В Томске жил раввин Шварцберг из Минска. Его привезли сюда с женой и с маленьким сыном. Жена шила платья, а раввин с утра до ночи проклинал мир. Он проклинал жену, сына и себя. Он проклинал Минск и Томск. Он проклинал революцию и жизнь. Он ел черный мокрый хлеб, и он выл от боли. У него была язва желудка, и он чувствовал, что он скоро умрет. Его жена работала и плакала. Ее слезы лились безостановочно, как дождь в осенние дни. Она старалась не залить слезами платья, но слезы лились и лились. «Да будет проклят день, когда он увидел свет», — говорил раввин Шварцберг, глядя на маленького Иосика. Иосик не понимал отцовских проклятий, он улыбался. Накануне праздника жена раввина весь день бегала по городу: она искала свечу. Она достала свечу и зажгла ее. Тогда Иосик спросил: «Почему свеча, когда сегодня горит электричество?» Иосик знал, что электричество в Томске часто гаснет, но в этот вечер станция работала, и он не мог понять, почему мать зажгла свечу. Мать ответила: «Завтра праздник». Иосик обрадовался: «Значит, завтра все будут ходить с флагами?» Старый раввин не слыхал этого, он молился своему злому и ненавистному богу. Мать сказала Иосику: «Нет, Иосик, завтра другой — еврейский

праздник». Но Иосик не унимался. «А почему евреи не ходят с флагами?» Он не понимал скорби матери. Резвясь, он задул свечу. Он был весел, и он хотел вместе с другими ребятами ходить по городу и махать флагом. Ему было пять лет, и он доверял миру.

Томск мог умереть, но в Томске был университет. В Томск приехали десятки тысяч студентов. Они не знали истории города. Им были безразличны и причуды купца Горохова, и страданья Потанина, и деревянная резьба на воротах старых усадеб. Они приехали, чтобы изучать физику, химию или медицину. Они читали как евангелие «Основную минералогию», «Расстройство пищеварения» или «Болезни злаков». Они ели тот же мокрый и тяжелый хлеб, но он им казался вкусным, как пряник: у них были крепкие зубы, здоровые внутренности и голод молодых зверей. Они заполнили Томск грохотом и смехом. Они забирались в дома, где доживали свой век лишенцы. Они делились с лишенцами паечным хлебом и сахаром, и лишенцы их пускали в свои каморки, полные пыли, моли и плесени. Они могли спать на козлах, на нарах, на полу. Они спали тем сном, о котором говорят, что он непробуден. Но рано утром они вскакивали и бежали к рукомойнику с ледяной водой. На ходу они повторяли химические формулы или названья черепных костей. Их было сорок тысяч. Среди них были буряты, остяки, тунгусы, якуты. Они знали, что через несколько лет они будут управлять страной, лечить и обучать, строить заводы, налаживать совхозы, буравить горы, чертить планы мостов и, забираясь в самую глушь необъятной страны, весело тормошить сонных людей.

Так Томск зажил второй жизнью.

5

Вася Смолин приехал в Томск, чтобы учиться: он мечтал стать специалистом по постройке доменных печей. Илья Саблин записался на физическое отделение: он хотел разыскивать новые залежи цинка и меди. Коренков предполагал по окончании медицинского факультета уехать на крайний Север и там бороться с цынгой. Ажданов изучал

различные породы корнеплодов. Они не занимались ни философией, ни поэзией. Они изучали точные науки, и они в точности знали, зачем они их изучают.

Они не знали, что с ними станет через несколько лет. Жизнь всей страны менялась из года в год, но все они знали, что в этой текучей и переменчивой жизни им обеспечено верное место. Оттого их смех был весел, а сны спокойны.

Были, однако, и среди вузовцев отщепенцы. Они не умели искренно смеяться. Невольно они чуждались своих товарищей. Они не были ни смелей, ни одаренней других, но они пытались итти не туда, куда шли все. Их легко было распознать по беглой усмешке, по глазам, одновременно и презрительным и растерянным, по едкости скудных реплик, по немоте, которая их поражала как заболевание.

Таким был Володя Сафонов. Профессор Байченко сказал Сафонову: «Вы типичный изгой». Володя заглянул в словарь. Там значилось: «Изгой — исключенный из счета неграмотный попович, князь без владенья, проторговавшийся гость, банкрот». Володя усмехнулся — профессор прав. Сафонова надлежит исключить из счета. Только по недосмотру он еще состоит в жизни. Он, например, не верит, что домна прекрасней Венеры. Он даже не уверен, что домна нужнее, нежели этот кусок пожелтевшего мрамора. Он — неграмотный попович. Он сдал, как все, диамат. Но если просмотреть его мысли так, как просматривают школьную работу, придется подчеркнуть красным карандашом любой день. Все его существо — ошибка. Он не объясняет скуки доктора Фауста особенностями периода первоначального накопления. Когда на дворе весна и в старых садах Томска цветет сирень, он не вспоминает Маркса. Он знает, что весна была и до революции. Следовательно, он ничего не знает. Он туп и неграмотен. Он даже сомневается в том, что он — попович; у него подозрительное происхождение, его отец читал Мирбо и Короленко.

Сафонов — князь без владенья. Князь теперь не титул, это скорее клеймо. Мотыльки не помнят ни тяжелого копошения гусеницы, ни того, как замирал кокон, мотыльки весело порхают. А у князя избыток памяти. Он хил, тщедушен и, говоря откровенно, ничтожен. Трудно перечислить

его наследственные болезни. Он готовится к параличу, и, однако, он сиятелен. Сафонов — князь не по родословной, он князь по несчастью.

Какие же у него владения? Койка в общежитии? Книжка Пастернака? Дневник? Разумеется, его владенья необозримы. Он недавно беседовал с Блезом Паскалем во дворе парижского Порт-Рояля. Он может оседлать коня и отправиться с поручиком Лермонтовым в самый дальний аул. Ему ничего не стоит подарить любимой Альгамбру или Кассиопею. Но эти владенья не признаны законом. Перед людьми он нищ. У него нет комсомольского билета. У него нет даже завалящейся надежды.

Вернее всего он — проторговавшийся гость. Не пора ли признаться, что они банкроты? Они торговали верой, сердечным жаром, передовыми идеями. Они торговали и проторговались. Мечтая о справедливости, они не забывали о сложных рифмах. Невинности они не соблюли. Что касается капитала, то он был достаточно условен. Этот капитал ликвидировали заодно с капитализмом. Говорят, будто могила Кюхельбекера в Тобольске разворочена. От Достоевского остался только каторжный халат. Змею «Медного всадника» остается сдать в зоопарк. Что же добавить? Обезумевшего старика на станции Астапово? Стриженых курсисток? Декадентов? Земских врачей?

Блок во что бы то ни стало хотел услышать «музыку революции». Услышав ее, он умолк. Другие еще живут. Они живут молча. Когда-то банкротов сажали в долговую тюрьму. Теперь одних вывели в расход. Другие сбежали в Париж: лечат больную совесть на французских водах. Третьи? Третьи еще валяются: это мусор на стройке.

Почему Володя Сафонов должен повторять монологи давно истлевших персонажей? Он не Онегин, не Печорин и не Болконский. Ему двадцать два года. Он не помнит былой жизни, и он о ней не жалеет. Он учится на математическом отделении. Он мог бы весело гоготать, как его товарищи. Что же ему мешает?

Он знает, что он не один. В Томске можно отыскать еще десяток-другой таких же печальных чудаков. В Москве их, наверно, несколько тысяч. Профессор Байченко называет их «изгоями», Вася Смолин — «классо-

выми врагами», Ирина — «обреченными». Они все правы: и профессор, и Смолин, и Ирина.

Так думал Володя, валяясь на койке в общежитии. На соседних койках лежали его товарищи. Одни готовились к зачету, другие читали, третьи, отдыхая, курили и глядели в окно. В окно был виден кусок синего неба. По небу неслись озабоченные облака.

Кто знает, что так всполошило Володю? Разговор с профессором Байченко? Ирина, которую он встретил утром на улице Фрунзе? Или, может быть, бег облаков, их хаотичность и поспешность, передававшая тоску весеннего дня? Володе захотелось услышать живой голос. Тоскливо он оглядел комнату. Вот Петя Рожков, вот Шварц, вот Гриша, вот Коробков. Он их знал, знал, как они учатся, какой у кого голос, кто любит ходить в кино, кто играет в футбол. Он знал, в каких девушек они влюблены. Но с тревогой он подумал, что он их не знает. Вокруг него были незнакомцы.

Он решил поговорить с Рожковым. Он не знал, с чего начать. Он сказал: «Вот, Петя, и весна...» Это вышло неожиданно для него самого. Он поморщился: до чего глупо! Рожков на минуту оторвался от книги. Перед его глазами пронеслись облака. Потянувшись, он сказал: «Не будь этого зачета, я поехал бы в Городок...» И он снова взялся за физику.

Володя подошел к Коробкову. Тот читал «Войну и мир». Володя спросил: «Нравится?» Коробков подобрал под койкой окурок, закурил и, недоверчиво глядя на Володю, сказал: «По-моему, ерунда».

Гриша ничего не делал. Он только сладко позевывал. Володя сел на его койку. Он не выдержал и сказал Грише напрямик: «Поговорить хочется. Что называется — по душам».

Гриша был веселый кудластый мальчик. Он любил петь частушки и дразнить девушек. Как-то Маня Шестакова, за которой Гриша приударял, подошла к нему в садике перед университетом. Маня думала, что Гриша ей скажет что-нибудь ласковое. Но Гриша загорланил: «Не гляди, красавица, на меня в упор! Я тебе не Гарри Пиль, не багдадский вор». Потом все долго смеялись над Маней.

Услышав признание Володи, Гриша растерялся. Он начал несвязно говорить: «Ты что это придумал? Здра-пожалста! Как в романах, честное слово! «По душам!» Мы с тобой, кажется, не девахи...» Он долго еще огрызался. Володя попросту ошалел! Это от весны. Ему бы с девчатами погулять. Гриша шутил, но глаза у него были беспокойные. Махнув рукой, Володя вернулся к себе на койку.

Ему казалось, что он возвращается в осажденную крепость, вылазка не удалась. Он осужден на вечное одиночество. Нельзя разговаривать с колесами крана. Они способны потеть, как потеют люди. Но у них нет чувств: они передвигаются согласно плану.

Глаза Володи на одну минуту столкнулись с глазами Гриши, и Гриша первый отвернулся. Володя увидел, что Гриша встревожен, но он не попытался возобновить беседу. Томление Гриши показалось ему томлением глухонемого, который смутно чувствует, что есть на свете нечто для него недоступное.

Тогда Гриша запел. Другие товарищи подхватили. Володя зарылся в подушку. Потом он вытащил из сундучка тетрадку и начал лихорадочно писать. Рожков спросил его: «Ты что это сочиняешь?» Володя покраснел: «Это работа по механике». Рожков оставил его в покое. Рожков забыл сейчас и о своем зачете и о больших пушистых облаках: он пел. Ему нравилось, что его голос попадает в общий гул и этот гул растет. Хорошо итти в ногу со всеми: тогда не чувствуешь усталости! Хорошо и петь хором: это громкая песня. Хорошо знать, что ты не один, что у всех те же мускулы, то же дыханье, та же воля. «Ну, ребята, еще разок!..»

Володя писал: «Вновь убеждаюсь в том, что они не способны разговаривать. Они могут говорить о практике, о зачетах, о столовке. Девчата, кроме того, говорят о платьях. На собрании заранее известно, кто что скажет: надо только заучить несколько формул и несколько цифр. Но говорить так, как говорят люди, то есть ошибаясь, косноязычно, с жаром, говорить о своем, личном они не умеют. Я где-то читал, что обезьяны из породы шимпанзе иногда пытаются подражать человеческой речи, но у них ничего не выходит, от ярости они ломают ветки. Гриша глядел на

меня как затравленный зверь. Но ведь они — строители новой жизни, апостолы, призванные вещать, диалектики, не способные ошибаться. Они, а не я. Я только изгой. Затравлен я, а не они. Откуда же это беспокойство?.. Потом Гриша запел, и все тотчас же подхватили. Я заметил, что, когда они не могут друг с другом разговаривать, они начинают петь. Очевидно, пенье избавляет от необходимости думать. Я недавно прочел книгу одного военспеца. Кажется, автор — Свечников — бывший генерал. Он вспоминает, как во время империалистической войны он приказывал солдатам, которые шли в бой, петь. Он говорит, что солдат, который поет, ни о чем не думает. Наши ребята в точности следуют этому совету. Они берут с боя диференциалы или химические формулы. Когда они строят плотины или мосты — это как на фронте, и они стараются ни о чем не думать. Но, очевидно, думать присуще человеку. Тогда они начинают петь: хотят отогнать искушение. Говорить друг с другом они не могут хотя бы потому, что им не о чем говорить: все известно заранее. Притом у них нет слов. Слова рождаются в муке. Они идут изнутри. Ребенок видит улыбку матери, солнечный луч на стенке, большую кудластую тень. Тогда он произносит первое слово. В изумлении он прислушивается к нему. Он озадачен и внезапной музыкой и глубоким значением. Он понимает, что стоит сказать «мама» — и мать покажется. Он заклинает. Он исповедуется в сокровенных чувствах. Слова заставляют его думать. Каждое слово вводит его в мир. Но стоит ли ему расти? Дикарь обходится тремя сотнями слов. Сколько слов нужно Пете Рожкову?! Иногда мне хочется завыть, — завыть, как воют звери, от тоски, от одиночества, от сознания, что никогда не выскажу того, о чем я все время думаю. Может быть, услыхав этот звериный вой, они на минуту смутятся».

Вечером того же беспокойного весеннего дня Гриша сидел на берегу Томи с Варей Шустовой. Он говорил: «Раньше я тоже думал, что любовь — предрассудок. А теперь я вижу: это вот здесь сидит. Шутками от этого не отделаешься. Вот ты мне нужна, ты — Варя, а не Катя и не Шура. Я и сам не знаю почему, но только это — правда. Вчера ночью проснулся, вспомнил, как ты улыбаешься, и сердце будто с петли сорвалось. Я при тебе другим челове-

ком становлюсь. Мне хочется найти особенные слова. Я не так с тобой говорю, как со всеми. Кажется, умей, я стихи писал бы. Мне, например, хочется тебе показать, как я могу работать. Я ведь не лентяй. Я сейчас весь мир готов перевернуть. Вот попаду на стройку — увидишь. День и ночь буду работать. Ты меня, Варюша, приподымаешь...»

У Гриши были глаза серые и нежные. Он не шутил и не смеялся. Даже его чуб, пристыженный, лег на сторону. Вечер был светлый и прохладный. На другом берегу огоньки то вспыхивали, то гасли: там работали колхозники. Токовали бекасы. Они не боялись ни огней, ни грохота трактора. Варя поцеловала Гришу в щеку. Поцелуй был неловкий: Варя никогда еще не целовала мужчины. Тогда Гриша вскочил и завертелся. Чуб его снова привстал. Он крикнул: «Давай бросать камни в воду — кто дальше! Да ты не по-бабьему, ты снизу...»

Вася Смолин был в театре. Давали оперу «Евгений Онегин». Выйдя из театра, Смолин растерянно поглядел на толпу, на базарную площадь с забитыми ларьками, на ржавую вывеску кооператива. Ему казалось, что его разбудили. Он жил другой жизнью. Он страдал, как Ленский. Потом он усмехался вместе с Онегиным. Он поздно понял, в чем счастье: он так рвался к Татьяне!..

Вася Смолин остановился — что за галиматья? Какое ему дело до этих людей? Это люди не его класса. Это чужие и к тому же мертвые люди. Но вот они ожили. Они звучат. У каждого своя мелодия. Голова Васи заполнена звучанием. И Вася сказал Иваницкому, который шагал рядом: «Большое дело искусство! Без него нам никогда не разобраться — что и как. Головой понимаешь, но это надо прочувствовать. Конечно, мы строим новую жизнь. Но мы должны взять у них самое лучшее. Красота-то какая! Я не знаю, как ты, а я — будто меня осчастливили. Может быть, я преувеличиваю, все равно! Я теперь на собраниях буду настаивать, чтобы ребята налегли на искусство. Эх, Егорка, сколько у нас еще впереди! Подумаешь — голова идет кругом».

Коробков в общежитии спорил с Шварцем о Толстом. Шварц говорил, что Толстой устарел. Коробков горячился: «Что же ты думаешь, теперь нет такой Наташи? Сколько

угодно! Даже среди наших вузовок! Надо уметь отличать чувства от обстановки. Возьми Машкову. Вот тебе, с одной стороны, активная комсомолка, а с другой — материнство. Будь у нас Толстой, он так ее описал бы, что — не оторваться. Когда Петя спутался с Кошелевой, она хотела сделать аборт. Отказали — четвертый месяц. Сколько она намучилась: «Не хочу я ребенка! Куда мне одной», — ну и так далее. Говорила, что сейчас же его отдаст. А вот я зашел к ней вчера насчет проведения кампании — сидит, кормит. Меня и то проняло. Ничего здесь нет плохого! Мы, кажется, комсомольцы, а не монахи. Какого чорта нам отмахиваться от жизни? Я Толстого ценю не за идеи. Идеи — это особая статья. А Толстой для меня — как учебник. Не химии. Жить я у него учусь. Чувствовать. Понимать чужую жизнь. Я теперь, может быть, и с девушкой буду подругому разговаривать. Я вот Володе Сафонову ничего не ответил. Задается он: дескать, все знает. А я могу те же книжки прочитать. И чувствовать могу. Только бы времени хватило, а жить мы сами научимся».

Петя Рожков сидел в библиотеке и читал стихи Пушкина. Он хотел было почитать историю России, но неожиданно для себя взял Пушкина. У него был тяжелый день. Таня сказала ему напрямик, что в Козулино она поедет не с ним, но с Чистяковым. Петя впервые узнал, что такое ревность. Морщась, он припоминал лицо Чистякова, зеленые глаза, веснушки, бесшабашную улыбку. Такому Чистякову на все наплевать. Может быть, этим он и понравился Тане?.. Что же, Петя проживет и без любви! Теперь время горячее: зачеты. А потом на практику — в Кузнецк. Так он уговаривал себя, но сердце не сдавалось. Весь день он проходил как в чаду. Вечером ребята пошли в кино. Он не пошел: он хотел жить сурово и трудно. Он хотел победить свое чувство в открытом бою.

Перед ним оказалась книжка стихов. В десятый раз он перечитывал: «Для берегов отчизны дальней...» Он думал при этом о Тане. Он понимал, что все это — вздор. Таня ушла от него не ради какой-то «отчизны», но ради быстроглазого Чистякова. Стихи, однако, передавали его грусть. Он никогда не смог бы сказать об этом так хорошо. Он вновь и вновь повторял полюбившееся ему стихотворение. Мало-помалу музыка стихов вытеснила из сердца обиду.

Выходя из библиотеки, он улыбнулся, рассеянный и счастливый. Он был так счастлив, как будто он сам сочинил эти необычайные стихи.

Володя Сафонов не был с товарищами. Он не знал ни их восторгов, ни их сомнений. Он не слышал, как в напряженной тишине пыльных уличек рождались мысль и слово. Он был один, со своей отверженностью и со своей немотой.

Желая уйти от себя, он пошел в кино. Он ждал, что мельканье и зыбкость, улыбки, горы, автомобили, вся эта бестолочь если не утешит, то хотя бы оглушит его, подготовит его к тому тяжелому, глухому сну, который один помогал ему справиться с жизнью. Но на этот раз даже пестрядь экрана не могла отвлечь его от унылых, назойливых мыслей.

Показывали заграничную картину. В ресторане люди танцовали фокстрот. Володя не раз читал об этом, но увидел это он впервые. Люди прижимались друг к другу и подолгу тряслись. Перед ним были не люди, но колеса, шестерни, приводные ремни. Это показалось ему низким и оскорбительным. Зачем они это делают? Наверное, чтобы не думать. Значит, и там мысль людям не под силу. Они тоже пытаются жить так, как живут машины или заводные игрушки. Они не поют хором. Они танцуют фокстрот.

С гримасой отвращения Володя вышел из кино. Холодный ветер, доходивший с реки, показался ему враждебным. Он ежился. Жить становилось все труднее.

Вернувшись в общежитие, он снова вытащил тетрадь: это был единственный друг, с которым он еще мог разговаривать. Он начал писать: «Паскаль назвал человека «мыслящим тростником». Одно из двух: или он был визионером, или человечество с тех пор выродилось. Во всяком случае из тростников делают дудки. На дудке можно сыграть все: камаринского мужика, фокстрот и реквием. Это дело вкуса. Но лучше всего прижать дудку к губам и не дышать».

На соседней койке лежал Петя Рожков. Его губы едва заметно двигались: он все еще повторял прекрасные стихи. Он повторял их про себя, и Володя не мог догадаться, о чем думает его сосед, отходя ко сну.

Между ними были один метр и вся жизнь.

6

Отец Володи Сафонова был врачом в Тамбове. Лечил он главным образом бедняков. Люди с достатком к нему не обращались: у него была плохая слава. Он как-то публично признался, что благодаря неправильному диагнозу погубил вдову Шерке. Он часто говорил пациентам, что от их болезней медицина не знает средств, и больным это не нравилось.

Он сказал счетоводу Соловьеву, который жаловался на кашель: «Лекарства вам не помогут. Вам, голубчик, надо в Крым. Будь у меня деньги, я вам дал бы. А у меня у самого шиш. Вот и судите, как мне вас лечить?» Соловьев недоверчиво посмотрел на Сафонова. Он пошел к другому врачу, и тот выписал ему длиннущий рецепт.

Жене прокурора Власьева доктор Сафонов сказал: «Ваш супруг — сифилитик. Родить от такого ребенка — это, сударыня, преступление». В «Охотничьем клубе» прокурор Власьев ударил доктора Сафонова по лицу. Доктор подобрал с пола разбитые очки и печально улыбнулся. Он сказал своему молодому коллеге, доктору Гринбергу: «Себе я могу поставить диагноз: у меня гипертрофия того предполагаемого органа, который обычно зовут «совестью».

Революцию доктор Сафонов встретил с улыбкой неуклюжей и виноватой. Эта улыбка прояснила его отекшее печальное лицо, когда он в больнице глядел на красное тельце новорожденного или когда, ранней весной, выходя из дому, он щурился от солнца и пробовал ногой в огромном ботике пробить слабеющий лед на лужах. Сафонов не знал, что ему думать о революции, но безотчетно он ей радовался.

Он легко сносил и лишения, и грубость сиделок, и тесноту. В его квартиру вселили братьев Крапницких. Крапницкие шумели, играли на гармошке, выпивали, а встречаясь с Сафоновым, ухмылялись: «Товарищ доктор, вы бы нам выписали спирта, а то у нас бессонница».

Сафонов проходил мимо мелких обид. Он строго сказал доктору Ямшину: «Напрасно вы всё переносите с больной головы на здоровую. Если они невежественны, в этом виноваты мы». И он работал не покладая рук.

Но порой сказывалась его давняя и, видимо, неизлечимая болезнь. Он вмешивался в то, что его не касалось. Так было, например, когда арестовали преподавателя реального училища Фомина. Сафонов размахивал руками и кричал: «Вы поймите, товарищ Васильев, нельзя человека сажать в тюрьму за то, что он пятнадцать лет назад состоял в этой, — чорт бы их всех побрал, — кадетской партии! Да я его великолепно знаю. Он ничего не понимает, кроме своей зоологии. Ему седьмой десяток пошел. Это, товарищ Васильев, безобразие!..»

Вначале на выходки Сафонова никто не обращал внимания. Он слыл чудаком. Но время было тяжелое. Со всех сторон наседали белые. В городе не было хлеба. Обыватели шушукались: «Скоро им крышка!» По ночам раздавались выстрелы.

Как-то в больницу пришли два человека. Они потребовали, чтобы им указали, где скрывается некто Михайлов. Сафонов вспылил, закричал, что больница не митинг, что у Михайлова паратиф и что в палату он никого не пустит. Тогда люди нахмурились. Они сказали Сафонову: «Вы, гражданин, собирайтесь». Он просидел пять недель. Потом его выпустили. Он стал прихварывать. Он дышал с трудом: казалось, нет больше горючего. Он умер весной двадцатого года. Володе тогда было одиннадцать лет.

Отца Володя любил отнюдь не сыновьей любовью: он его жалел. Он говорил отцу: «Ты как медведь на цепи». Он не понимал, почему отец так волнуется за судьбу больных. Володя с ранних лет понял, что больные умирают. Смерть ему казалась простой и естественной, как конец считалки: «Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять». Но когда он вошел в мертвецкую при больнице и увидел на столе отца, он вскрикнул: отец был необычно суров. Потом Володя поглядел на волосатые руки отца, на пальцы, желтые от табачного дыма, и расплакался.

От отца осталась меховая шапка, которую отдали Володе, и несколько слов, глубоко засевших в голове мальчика. Он часто вспоминал, как отец говорил: «Эх, Володька, тот же блин, да подмазан!..»

Володю взяла тетка. Ее муж, ветеринар Соколов, вскоре после Октября ухитрился пролезть в партию. Он даже прочел публичную лекцию «О классовом подходе в

борьбе с эпизоотией». Дома ветеринар распоясывался и, хитро щурясь, бормотал: «С волками жить — по-волчьи выть — это и есть правильная установка».

Тетка не любила Володю: он был чересчур вежлив и замкнут. Он еще ходил в коротких штанишках, но держал себя, как квартирант. Тетка шипела: «В папашу!» Она не любила и своего покойного брата. О докторе родные говорили, что это был вздорный человек, он ни с кем не мог ужиться: ни с губернатором, ни с большевиками. Не будь Соколовых, мальчонок пошел бы в беспризорные!..

У Соколовых был сын Миша, ровесник Володи. Мальчики учились в той же группе. Миша был краснощеким веселым мальчуганом. Он играл в городки, во время демонстраций носил знамя пионерского отряда, продавал значки Доброхима и выменивал перья на яблоки.

Володя тоже был пионером. Он никогда не задумывался, почему он пионер. Ребята должны быть пионерами. Это было для него очевидным, как правило орфографии: надо писать «в течение» через *е* — так все пишут. Он выступал на собраниях и писал статьи для стенгазеты. Когда пионеров мобилизовали для работы в совхозе, он работал с таким усердием, что не выдержал и слег. Он делал это искренно, но не радостно, сомнения уже начинали его терзать. Он склонен был подмечать все нелепое и смешное. Он трунил над стенгазетой: «Скатываем из «Правды». Он не верил в искренность товарищей: «Аля для базы написала поэму об английских горняках. А что она пишет подругам в альбомчики? «Розу алую срывала, слезы капали на грудь...» Он возмущался непорядками в совхозе: «На свинарне большущий плакат, а внутри такая грязь, что свиньи, и те сдохли».

Но именно эти сомнения и заставляли его работать с двойным усердием: он как бы чувствовал, что его место в жизни зыбко, и он старался его сохранить. Пионеры были для него раскрытым окном — в окно дул ветер.

Окно вскоре закрылось. Володе было четырнадцать лет, когда он вышел из пионерской организации. На один день в вежливом и молчаливом мальчике проснулась беспокойная душа доктора Сафонова.

На собрании Миша Соколов предложил исключить из организации Сашу Власьева за то, что Саша скрыл от

товарищей свое происхождение: он — сын царского прокурора. Миша говорил как настоящий оратор. Он стучал по столу и кричал: «Кто знает, сколько революционеров повесил его отец!..» Саша сидел в углу и молча грыз ногти.

Володя не любил Сашу. Он никогда не слыхал о пощечине в «Охотничьем клубе», но он считал Сашу «подлизой». Кроме того, у Саши на голове была противная парша. Володя сидел в классе позади Саши и, глядя на голову, покрытую струпьями, брезгливо морщился. Но теперь он неожиданно взбеленился. Всегда бледный, даже зеленоватый, он покраснел. Он поднял руку: он просит слова. Он произнес речь, горячую и сбивчивую. «По-моему, никто не может отвечать за родителей. Чем Саша виноват, если его отец был прокурором? Что Саша соврал, это нехорошо. Но в этом виноват не он. У меня есть своя теория. Я хочу сказать об этом. Человек врет не для своего удовольствия. Только больные врут для своего удовольствия. А если человек врет, — значит, его заставляют врать. Говорят, что таковы обстоятельства. Но я не верю в обстоятельства. Это глупый фатализм. Это придумано, чтобы успокоить себя. Человека заставляют врать другие люди. Значит, он побоялся, что мы его не поймем. Если его исключить, он пойдет к врагам, а мы должны его успокоить. Я, товарищи, решительно выступаю против подобной меры».

Речь Володи не произвела никакого впечатления. Шрамченко крикнул: «Довольно болтать! Миша, ставь на голосование!» Против голосовал только Володя. Саша был исключен из организации. Начали обсуждать вопрос о первомайском спектакле. Тогда Володя снова встал и сказал: «Ввиду принципиальных разногласий я выхожу из организации. Я хочу вам еще сказать, что вы не пионеры, а трусы». Он выбежал на улицу.

Дома дядюшка, которому Миша успел рассказать о выходке Володи, злобно сказал: «Ты еще за охранников начни вступаться». Володя поглядел на него и спокойно ответил: «Я, дядя, не знаю, может быть, и вы в этой охранке состояли. Папа мне говорил, что вы — черносотенец». Ветеринар побагровел от злобы, но ничего не ответил. Он только шепнул жене: «Змею растим. Такой побежит и донесет».

Володя всю ночь метался. Он не заметил, как упала на пол подушка. Он был в жестоком полусне. Он задыхался от лжи и лицемерия, от подлости дядюшки, от трусости товарищей. Среди черной духоты этой долгой ночи он учился молчанью и одиночеству. Он встал наутро с синяками вокруг глаз и с новой невеселой улыбкой.

Он остался один. Вокруг него шла жизнь: люди верили, спорили, притворялись и гибли. Захолустный город казался ему полным скрытых шумов и борьбы. Он слышал глухое сердцебиение города, видел, как набухают его жилы, как показывается пот возле створок рта. Одни хотели выдвинуться, другие спасали свою шкуру. Это были годы нэпа, и жизнь была лихорадочной. Прикидывались и люди, и вывески лавок, и газетные статьи, и дома. Старые купеческие домишки почему-то заново покрасили. Они стали нежнорозовыми и голубыми. Никто из обитателей этих домов не знал, где он закончит день: в кабаке или в остроге. Но никогда еще люди не были так падки на жизнь, как в те годы, прозванные «передышкой». Володя томился: его мудрость еще не могла справиться с возрастом.

Он организовал литературный кружок при школе. Он читал доклады: об Есенине, о формализме, о «Шоколаде». Он теперь мог говорить обо всех затаенных обидах. Он клеймил ханжество и малодушие, он требовал «революции быта». Он призывал на помощь Маяковского и молодость.

Об одном из его докладов была заметка в местной газете. Его тщеславие было ребяческим: он долго носил в кармане вырезку из газеты. Но важнее газетного отчета было сознание, что в кружке он — первый. Ни Башкирцев, ни Вайскопф не могли с ним тягаться. Когда они выступали с докладами, Володя легко их разбивал. Он говорил о Башкирцеве: «Тургеневская сантиментальность». Вайскопфа он выслушивал с усмешкой: «Вульгаризация марксизма».

Члены кружка не любили Володю: он был заносчив и неуступчив. Он слишком много читал и слишком ловко спорил. Рядом с ним другие казались глупыми и невежественными. Володя не замечал этой неприязни. Он готов был принять молчание за восторг. Он не умел разбираться в человеческих чувствах, и беда застала его врасплох.

Казалось, ничто не могло сблизить Башкирцева с Вайскопфом. Башкирцев, сын бывшего инспектора гимназии,

был вял и беспечен. В каждой тамбовской девушке он видел Дженни или Асю. Он писал тайком стихи и, влюбляясь, всякий раз думал, что это его первая и последняя любовь. Вайскопф приехал в Тамбов недавно: его отца прислали сюда для партийной работы. Это был тощий прыщеватый мальчик, признававший в жизни только химию и революцию. Он презирал стихи, говорил: «Настоящая литература — это социальные полотна». С Башкирцевым его сблизила общая нелюбовь к Володе. Башкирцев не мог простить Сафонову унижения: Володя в присутствии Глаши Дурилиной пренебрежительно сказал о Башкирцеве: «Так можно тренькать на балалайке, а стихи так не пишут». Глаша обидно смеялась. Поэтому, когда Вайскопф сказал, что Сафонов «вредный элемент», Башкирцев тотчас же поддержал его.

На очередном собрании кружка Володя объявил: «Сегодня я сделаю доклад о литературе гражданской войны». Вайскопф его прервал: «Прошу слова к порядку дня. Я считаю, что работа кружка ведется в корне неправильно. В течение трех месяцев мы выслушали семь докладов Сафонова и всего четыре доклада других товарищей. Это — во-первых. Во-вторых, темы, которые выбирает Сафонов, отмечены враждебным подходом. Он, например, ни разу не говорил о настоящих пролетарских поэтах. Все свое внимание он сосредоточил на представителях буржуазной литературы. Поэтому я предлагаю произвести перевыборы и от имени группы товарищей я вношу список кандидатов: Башкирцев, Коровин, Чижевский, Вайскопф».

Володя сложил листки, которые он приготовил для доклада. Он был спокоен, даже улыбался. Он спросил Башкирцева: «Ты, значит, тоже думаешь, что у меня буржуазный подход?» Башкирцев смутился, но ответил: «Я согласен с Вайскопфом». Тогда Володя сказал: «Я сам хотел просить, чтобы меня освободили от моих обязанностей, — у меня теперь слишком много работы». Он высидел до конца собрания. Он голосовал за предложенный Вайскопфом список. Больше на собрания кружка он не приходил.

Он пережил второе поражение легче и спокойней. У него был опыт. Кроме того, он знал теперь утешение: книги. Он читал запоем. Кончая книгу, он тотчас принимался за новую. Он забывал не только об уроках, но и об еде. Ночи

напролет он проводил с книгой, и голубоватый рассвет сливался в его сознании с позорным или прекрасным эпилогом длинного повествования. Мир настоящий понемногу бледнел. Он напоминал о себе только назойливыми подробностями: надо сделать задачи, отлетела пуговица, если не сходить в кооператив за сахаром, тетка будет браниться... Он жил тысячами чужих жизней, и каждая из них казалась ему необычайной и увлекательной.

Так прошли школьные годы, и так настал день, когда Володя столкнулся с настоящей жизнью, упрямой и грубой; ее нельзя было перелистать как книжку — она была рядом и требовала дел.

Миша Соколов больше не бегал по пыльным улицам. Он увлекался радио: он даже смастерил приемник. Он работал в комсомоле. Его выбирали делегатом на конференцию. Его будущее не смущало ни его самого, ни близких. Ветеринара при одной из чисток исключили из партии. Он был уже стар и хлопотал о пенсии. Он не унывал: «Теперь за Мишкой черед — Мишка меня вывезет...»

Володя задумался, что же с ним будет? Он не хотел слышать о службе: пыль канцелярий, исходящие, рубашки дел и скука, серая, как вата между двойными рамами. Думая о службе, Володя неизменно вспоминал заведующего ОНО, которого он называл: «Товарищ Кувшинное рыло».

Володя хотел учиться. Он любил историю и стихи. Но изучать он хотел математику. Он не верил ни рифмам, ни подвигам. Тысячи книг оставили в нем ощущение неудовлетворенной жажды. Он полюбил математику за ее отчужденность, за ту иллюзию абсолютной истины, которая другим открывалась в газетном листе или в живых людях. Он видел перед собой аудиторию университета, цифры и одинокое служение суровой, но пламенной науке.

Попасть в вуз было, однако, не столь просто: вся страна рвалась в эти старенькие тесные аудитории, как на пышные пиршества. У Володи не было никаких прав на знание, он мог представить только справку о том, что доктор Сафонов сидел в тюрьме за контрреволюцию.

Миша сказал Володе со всей вескостью человека, который знает государственный аппарат ничуть не хуже смастеренного им радиоприемника: «Два года у станка. Поработаешь на заводе, и сразу все двери раскроются».

Володя не удивился и не опечалился. Он отнесся к этому просто, как к воинской повинности. С легким сердцем он покидал родной город. Только разлука с Верой Сахаровой его несколько огорчала. Вера когда-то приходила в литературный кружок на его доклады. Они подружились. Она верила в то, что Володя — необычайный человек. Вероятно, она была в него влюблена. Но она никогда ему не говорила об этом. Это была высокая некрасивая девушка с добрыми туманными глазами. Узнав о том, что Володя решил уехать на завод, она всю ночь проплакала.

Последний вечер они провели вместе. Они сидели в садике, полном теплой сырости, желтых листьев и зарниц: в тот год была жаркая осень. Вера говорила: «Володя, ты не должен подчиниться!.. Таких, как ты, немного. Ты можешь стать великим ученым. Нельзя потерять два года зря. Поезжай в Москву. В Москве ты чего-нибудь добьешься. Я могу продать мамино серебро. Если б ты знал, как я страдаю от невозможности тебе помочь!» Володя ей отвечал: «Не стоит. Ничего страшного не предвидится. Два года — пустяки. Я еще молод. Потом — к чему ломаться — я не герой. Когда мне было четырнадцать лет, я пробовал бунтовать. А теперь мне восемнадцать, и я научился хитрить. Я обхожу препятствия. Значит, я поступаю, как все. Значит, из меня ничего не выйдет. Но только ты, Вера, не убивайся!..»

Он говорил долго, и все же он чувствовал, что не может утешить Веру. В темноте он видел, как ее глаза полнятся слезами. Тогда он замолк. Они несколько раз поцеловались. Эти поцелуи были долгие и грустные: они что-то должны были выразить, может быть боль разлуки, может быть страх перед жизнью. Они сидели, прижавшись друг к другу. Потом теплый ветер кинул в лицо охапку мокрых листьев. Открылось окно, и мать Веры закричала: «Веруся, где же ты? Ветер какой! Сейчас гроза начнется». Тогда они молча расстались.

Прокочевав несколько недель, Володя осел в Челябинске. Он стал шлифовальщиком. Он работал исправно, но без увлечения. С товарищами он был обходителен, никого не задевал и ни на что не жаловался. Когда у него бывали деньги, он угощал товарищей пивом. Они смеялись или пели, а он молча улыбался. О нем говорили: «Хороший

парень. Только любит играть в молчанку». Никто не знал, о чем он думает, стоя у станка или забираясь вечером в свою тесную комнату.

Вторая подпольная жизнь Сафонова продолжалась. Ее не могли заглушить ни шум машин, ни шутки товарищей. Он читал. Когда же усталые глаза закрывались, среди горячей ночной тишины он думал. Его мысли были воспаленными, как у человека, больного горячкой.

Как-то товарищ Володи Чадров спросил его: «Почему ты, Володька, не в комсомоле?» Чадров знал, что Володя мечтает о вузе, и эта мечта была понятна Чадрову: он сам записался на ускоренные курсы. Все в жизни Володи казалось ему понятным, все, кроме одного — Володя не был комсомольцем.

Володя ответил не сразу. Он глядел в сторону. Он давно научился молчать, но ему трудно было лицемерить. Он ответил Чадрову: «Видишь ли, прежде всего я со многим не согласен...» Чадров рассмеялся: «Брось дурака валять! Ты вот думаешь, что без общественной нагрузки скорее выбьешься. А по-моему, времени для всего хватит. Конечно, можно и беспартийному работать, даже на передовых постах...»

Володя не возражал: он решил, что уместней всего промолчать. Но, придя домой, он не смог взяться за книгу. Он жалобно глядел на лампочку, на обои, на портрет усатого вояки, вероятно родственника квартирной хозяйки. Сколько он дал бы за живого собеседника! Он не мог разговаривать с обоями или с фотографией.

На столе лежала тетрадка: Володя занимался немецким. Здесь же, под спряжениями, он начал быстро писать— перо едва поспевало за мыслями. «Чадров мне не поверил. Они не могут допустить, что существуют люди, которые думают иначе, нежели они. Чадров считает, что я — беспартийный потому, что мне это выгодно. Он не упрекнул меня за это. Он даже улыбнулся. Так, наверное, улыбались священники грешникам. Они принимают грех. Зато они никак не могут принять ереси. До чего утомительна история человечества! В каком-то романе имеется герой, который не может объясниться в любви потому, что до него те же слова произносили миллионы. Причем каждый из миллионов думал, что эти слова произносятся им впервые. Этот

герой, конечно, сумасшедший. Нормальных людей повторность не пугает. Отец говорил: «Тот же блин, да подмазан». Впрочем, к чему хитрить? Есть две правды. Одна — временная. Она у них. Другая — вечная, и другой нет ни у кого. Она не во времени и не в пространстве. Об ее существовании можно только догадываться по совокупности отрицаний. Что касается меня, то у меня ничего нет, кроме пошлых сравнений и кукиша в кармане».

Он в ярости отшвырнул тетрадку. Но час спустя он перечел написанное. Он удивился: никогда раньше он не думал о других людях как о чем-то цельном и отличном. Теперь он написал: «они», «они принимают грех», «у них правда». Значит, он — это он, а против него все люди. Володе стало страшно. Как в детстве, он натянул на голову одеяло.

Его мечта исполнилась раньше, нежели он предполагал. Он был принят в Томский университет. От Тайги он ехал с другими вузовцами. Там он впервые увидал Петю Рожкова. Рожков несколько лет тому назад пас в деревне баранов. Быстро прошел он путь от букваря к вузу, и жизнь казалась ему быстрой: она неслась, как курьерский. Володе жизнь казалась нерасторопной и глупой. Зачем-то он работал на заводе. Зачем-то поезд без конца стоит на несчастных полустанках. Зачем-то он будет завтра ходить на лекции и хлебать щи. Петя Рожков весело спросил: «Где вылезать? На Томске первом или втором?» Володя виновато улыбнулся: «Право, не знаю...»

7

Кузнецкий завод люди строили в сердце Азии. Земля промерзала на три метра. Ломы ее не брали, строители шли с клинами. Часовая стрелка двигалась слишком быстро. На заснеженных полустанках цепенели обессиленные паровозы. Вокруг были болота и тайга. Людям приходилось бороться с природой.

Людям приходилось также бороться с людьми. Это была жестокая борьба.

В метельные ночи, казалось, можно было слышать, как стонет страна. Новый мир требовал мук и крови. Так

строили Магнитогорск и Караганду, Коунрад и Анжерку, Бобрики и Хибиногорск. Так строили и Кузнецк. Среди строителей были герои. Среди строителей были вчерашние кочевники и суеверные бабы. Среди строителей были воры и рвачи. Но больше всего среди строителей было обыкновенных людей. Они были способны на стойкость и мужество, но они дорожили своей жизнью, теплой и кудластой, как овчина.

Их отцы знали только тупой подъяремный труд и то горькое вино, в котором они топили му́ку. На силу они отвечали хитрой уверткой. Они крестились на иконы, но уважали расстриг, плутов, беглых каторжников и великодушных разбойников.

Они говорили друг о друге: «орловцы голову раскроят», «Елец всем ворам отец», «с вятчанами ночевали — онучи пропали», «хлыновцы краденую корову в сапоги обули», «валдайские горы, любанские воры», «ржевцы отца на кобеля променяли», «шуйский плут хоть кого впряжет в хомут», «нижегород — либо вор, либо мот, либо пьяница», «костромичи на руку нечисты», «казанский сиротой прикидывается», «в Сибири человека убить, что кринку молока испить».

Они говорили друг о друге: «ухорезы», «головотяпы», «ротозеи», «слепороды», «сажееды», «гробокрады».

Они говорили о жизни: «как ни мечи, а лучше на печи», «работа не медведь — в лес не убежит», «на мир не наработаешься», «что ни двор, то вор», «правдой жить — живым не быть», «доброму вору все впору», «кок да в мешок», «что плохо положено, то брошено», «пускай будет по-старому, как мать поставила».

Крали министры и карманники, форточники и губернаторы. Инженеры, строившие железные дороги, брали взятки с купцов. Околодочные требовали осетрового балыка и почтения. Прокуроры были картежниками и хабарниками. Штабс-капитаны выбивали по десяти зубов у вестовых. Солдат пороли розгами. Погромщикам выдавали наградные: красненькую или часы из накладного золота. Сановники купали в шампанском шансонеток и ползали на брюхе перед образами святой Параске́вы или святого Пантелеймона. Во дворце сидел бородатый мужик и, щекоча сальной бородой придворных, бормотал молитвы —

он камлал, как камлает шаман в шорском улусе. Студентов загоняли нагайками в манеж. Жандармы насиловали курсисток. Нижние чины становились во фронт. Они лихо рявкали: «Рады стараться!» В одну ночь богатели подрядчики и интенданты. Слепли в деревнях сифилитики, и сочились кровью десны цынготных. Так жила страна.

Когда настала революция, против нее поднялись силы тьмы. По Украине носились десятки «батьков». Они жгли и грабили. На Кавказе англичане раздавали головорезам пулеметы и золото. Горели нефтяные вышки, и на дорогах стонали умирающие. В Туркестан ворвались басмачи. В Сибири разбоем промышляли семеновцы. В стране не было хлеба, и на Волге люди умирали от голода.

Прошли годы. Страна начала строиться. В Кузнецк приехал Коля Ржанов. Вместе с товарищами он строил кауперы. Но на стройке было много людей, которые помнили дедовы наказы.

В селе Горбуново сдохли все овцы. Это были овцы колхоза «Красная Сибирь». К овцам был приставлен колхозник Болдырев. Болдырев не поехал за ветеринаром. Он почесал затылок и сплюнул: «Пущай их...» Он считал, что овцы принадлежат колхозу, — следовательно, они ничьи. Он хитро ухмылялся: ему казалось, что он перехитрил всех.

Колхозник Клюев ехал в Кузнецк: он вез молоко для яслей. В семи километрах от Кузнецка телега сломалась. Клюев бросил телегу и поплелся назад. Он сказал Ваньке Хмарову: «Надо бы за телегой съездить. Теперь ты поезжай. А мне надо картошку копать». Хмаров ответил: «Ты сломал, ты и вытаскивай». Хмаров пошел в избу и лег спать. Клюев не поехал за телегой. Он и не пошел копать картошку. Он сидел возле избы на лавочке и скучал. Он глядел, как кобели бегают за сукой, и кидал в собак камнями.

На деррике работал некто Добромыслов. Он приехал из Ленинграда. Ему дали двух комсомольцев, Медведева и Федорова, чтобы он научил их работать на деррике. Добромыслов купил в Старом Кузнецке водку. Он сказал комсомольцам, что работа потерпит, а человеку надо и порадоваться. Комсомольцы вначале отнекивались, но Добромыслов умел спаивать. Комсомольцы напились и пробастовали три дня. Это было в самое горячее время.

В бараках по вечерам степенные землекопы говорили о том, что Матюшин здорово провел всех: «Получил спецовку и смотал удочки». Они говорили также о рыжем Иванове, который стащил четыре одеяла. Они говорили об этом эпически, как о подвигах богатырей. Потом они пели воровские песни: «Шел с дамой шикарный пижон...» Это были не воры, но обыкновенные крестьяне из Славгородского района.

В доменном цеху собирали кожухи. Строители установили мачту. Они ее закрепляли. Ночью злоумышленники разобрали мачту. Мачта упала и придавила двух строителей.

В коксовом цеху строители домкратом вытаскивали сваи. Тогда они увидали, что в машину насыпан песок. Они потеряли рабочий день. Ночью они тревожно думали — кто среди них враг?

Строитель Петров, приехавший недавно из колхоза, попробовал повернуть рычаг. Рычаг не поддавался. Петрова взяла злость. Он решил переупрямить машину. В деревне, серчая, он хлестал мерина. Он налег на рычаг, и рычаг подался. Но машина была испорчена. В цеху работал спецпереселенец Воронков. Подозрение пало на него. Воронков сначала божился, что он ни в чем не повинен. Потом он примолк. Петров злобно глядел на Воронкова: Петров твердо верил, что машину испортил Воронков. Он сказал ему: «гадина», и вытер рукавом мокрый лоб.

Лукьянов праздновал свадьбу: он женился в шестой раз. Он буянил в бараке и бил посуду. Зайцев строго спросил его: «Как ты, член партии, столь безнадежно разложился?» Лукьянов ничего не ответил, он лег на койку и захрапел. Его исключили из партии. Зайцев предложил выбрать в секретари товарища Горохова: «Хоть он малограмотен и знания получил по тощему пайку, но он умеет работать». Лукьянов тем временем шумел в землянке Сидорчука: «Вот возьму и застрелюсь! Тогда-то они увидят, что Ваня Лукьянов был честный боец».

В бараке № 29 был объявлен культпоход: барак решили вычистить, выбелить и подвергнуть дезинфекции. Работница Шакирова села на койку и закричала: «Только через мой труп перейдете!..»

Клепальщик Паршин подбил ребят: они не вышли на работу. Они кричали: «Даешь спецуру!» Партизан Егоров сказал: «Товарищ Паршин, стране нужна сталь! Неужели мы истекали кровью на всех фронтах, чтобы теперь бузить из-за какой-то спецовки?» Паршин не смутился. Он помолчал, а потом, не глядя на Егорова, крикнул осипшим голосом: «Даешь спецуру!» Три дня спустя он получил спецовку и тотчас уехал в Караганду.

Люди, которые строили Кузнецкий завод, не были слепыми: они видали темноту, равнодушие, косность. Но они знали, что стране нужна сталь. Они знали, что здесь будут построены четыре коксовых батареи, четыре доменных печи и пятнадцать печей мартена. Они знали, что Кузнецкий завод будет выпускать ежегодно миллион четыреста тысяч тонн стали.

Шор следил за пуском деревянной галлереи на Томи. Работали всю зиму. Ковш замерзал. Тогда люди обмазывали паклю мазутом и зажигали паклю, чтобы отогреть ковш. Галлерею на ночь подымали.

Шор жил в Верхней колонии, далеко от реки. Как-то он проснулся под утро. Он проснулся от непонятного рева: была пурга, и барак перепуганно скрипел. Шор в ужасе подумал: что будет с галлереей? Он поглядел на часы: без четверти пять. Значит, на реке — никого. Вокруг электрического фонаря в бешенстве носились белые стаи. Шор быстро оделся. В темноте он побежал к Томи. Метель сбивала его с ног. Спускаясь вниз, он упал, и сугроб на минуту поглотил его. Но тотчас он выбрался из-под снега. Он растерянно шарил руками вокруг — искал шапку. Боясь потерять время, он побежал к реке без шапки. У него была одна мысль: вдруг галлерея опустилась?.. Он не чувствовал, как мороз жжет его уши. Он добежал до реки. Здесь для метели был простор, и метель здесь была страшна. Но галлерея стояла на месте. Шор улыбнулся. Он побрел в ближний барак. Горело лицо, и мысли путались. Кто-то тер ему уши снегом. Он чувствовал необычайную слабость. Он едва проговорил: «Скажите, чтобы прислали лошадь».

Приехав домой, он лег. Он не мог дышать. Сердце замирало. Левое плечо томительно ныло. Шор знал, что он болен. В Москве доктор Шведов строго сказал Шору: «Сердце никуда не годится. Так, голубчик, вы долго не про-

тянете. Поезжайте сейчас же в Кисловодск!» Шор поехал не в Кисловодск, но в Кузнецк. Как он мог думать о каких-то сердечных клапанах? Его голова была полна мыслями о чугуне.

Он расстегнул ворот рубашки и подумал: сегодня проваляюсь! Но в девять затрещал телефон. Шор привскочил: неужто с галлереей?.. Звонил Гордин: с клепкой неладно — все время останавливается компрессор. Шор ответил: «Сейчас приеду». Он робко пощупал свою грудь. Он как бы просил беспокойное сердце повременить с развязкой. На ходу он хлебнул какое-то горькое лекарство.

Полчаса спустя он шутил с клепальщиками: «Мороз-то настоящий ударник!» Он вспомнил, как бежал к реке и вдруг закричал: «Что за безобразие! Сейчас же ступайте отогреться! Так можно и замерзнуть, чорт бы вас всех побрал!» Он всегда чертыхался, когда хотел сказать людям что-нибудь ласковое.

Он пошел в управление. Разумеется, он никому не рассказал о своей ночной тревоге, но кучер Василий доложил Чернышеву, и Чернышев строго спросил Шора: «Что же это, Григорий Маркович? Вы бы себя поберегли». Шор растерянно улыбнулся: «Ничего особенного. Очень просто — могла и опуститься. А тогда, как прикажете — начинать сызнова? И при чем тут «беречь себя»? Это даже полезно, что называется моцион».

Шор работал с ожесточением, он часто забывал поесть, порой уходил на работу не помывшись. Когда приехали американцы, Герасимов отвел его в сторону и шепнул: «Григорий Маркович, вам нужно того — побриться». Шор подозрительно дотронулся до своей щеки, которая поросла неровной щетиной, и закивал головой: «Обязательно».

Он работал так, как в старину люди любили девушек или молились богу. На советы взять отпуск он отвечал раздосадованно: «Ну и глупо! Вам самому надо полечиться — у вас цвет лица нехороший. А я здоров, как бык. Потом, если все начнут отдыхать, кто же будет строить? Партия это не Иван Иванович, с партией нельзя шутить».

Трудно было молодым понять то, как Шор выговаривал это слово: «партия». Для Чернышева партия была государственным аппаратом. Она делилась на области и районы. В ней были умницы и дураки. Она отпускала средства на

строительство и определяла сроки пуска домен. Партия для него была огромным управлением многими заводами и многими шахтами.

Герасимов вступил в партию два года тому назад: он понял, что без партбилета трудно и работать и жить. Он не задумывался над принципами. Он любил свое дело. Он легко связывал эстакады с пунктами программы, а резолюции с тоннами чугуна.

Коля Ржанов был членом комсомола потому, что он был рабочим. Это было просто и очевидно: если рабочий умеет глядеть и думать — он в комсомоле или в партии.

Когда Шор вступил в партию, партия казалась ему крохотным кружком. Они собирались на квартире у Фишберга: товарищ Егор, товарищ Варя, товарищ Смирнов. У них были пальцы, запятнанные чернилами: они наливали в противень желатин и тискали бледные листочки. Мысли были ясные, но буквы туманились, как будущее. Это было двадцать четыре года тому назад. Теперь партия казалась Шору огромной, как мир. Она строила комбинаты, распахивала степь, гнала нефть по трубам и зажигала огни мартенов. Она пестовала полтораста миллионов. Путь партии был длинен. Этот путь был жизнью Шора.

Его жизнь была величественна и скромна. Он сидел в тюрьме по делу о смоленской организации РСДРП. Его товарищем по камере был некто Чайков — эсер. Днем Шор неизменно доказывал Чайкову: «В деревне можно опереться только на беднейшие элементы». По вечерам, когда тюрьма замирала, когда с воли доходили сырая весна и детские крики, Чайков читал вслух стихи: «Я звал тебя, но ты не оглянулась, я слезы лил, но ты не снизошла». Шор слушал молча. Потом Шор ворчал: «Вздор! Декадентство! Распад! Как вам может нравиться этакая ерунда? Ну-ка, прочтите еще разок — я вам докажу, что это — ерунда». Чайков снова читал стихи. Шор ничего не доказывал. Он вбирал в себя грусть слов. Она сливалась с синевой вечера и с голосами ребят.

Он убежал из тюрьмы. Он очутился в Париже. Неприязненно он косился на роскошные магазины, на огни кафе: он вспоминал явки, собрания, рабочие казармы с их запахом махорки и пота — он тосковал. Он вклеивал в картон тонкие листочки — так партийная газета проходила в

Россию. Он ходил с лесенкой и с ведрами: мыл стекла — это был его заработок. Потом он грыз жареную картошку, протирал платком очки и садился за книги. Он читал Каутского и Плеханова. Один раз случайно ему попалась под руку книга Мопассана. Он прочел ее не отрываясь. С удивлением он почувствовал, что его горло сжимается: ему хотелось плакать. Он ненавидел людей, которые оскорбили Пышку. Потом он обругал себя: можно ли тратить на это время? Он взялся за Энгельса.

Иногда вечером он заходил к Наташе Ляминой. Он недоверчиво осматривал комнату. На столе был букетик фиалок. Наташа не умела жить. Шор строго спрашивал: «Вы обедали?» Наташа молчала. Тогда Шор уходил. Он возвращался с большим свертком. Он угрюмо приговаривал: «Вот колбаса, кажется не собачья, настоящая...» Наташа спрашивала: «А вы?» Шор сердился: «Я фиалок не покупаю. Я уже обедал. В ресторане. Четыре блюда и вино. Вот как!» Он говорил неправду, на деньги, которые ему уплатили за мытье стекол, он купил две почтовых марки и еду для Наташи. Но он не дотрагивался до колбасы — он боялся, что колбасы мало.

Один раз он даже принес букетик фиалок. Он принес его в кармане: стыдился нести цветы. Это был тяжелый для него вечер: Наташа заговорила о чувствах. Тогда Шор начал доказывать, что всему свое время: «А работа?..» Он говорил и сердито кашлял. Он чувствовал, что с каждым словом он слабеет, что, когда он глядит на Наташу, его горло сжимается — как когда он читал рассказы Мопассана. Наташа молчала. Шор помял и без того мятую шляпу и пошел к себе.

Революция застала его в Туруханске. Он вскочил на какой-то ящик и загрохотал: «Не время радоваться!» Он поехал в Петербург. Он говорил в цирках и в казармах, на грузовиках и на цоколях императорских памятников. Он был с солдатами возле Зимнего дворца. Потом его отправили на фронт.

Возле Чернигова они поймали белого. Допрашивал его Шор. Это был высокий ушастый мальчишка. Сначала он отвечал стойко: он за Россию, против предателей. Но потом он не выдержал. На вопрос Шора, давно ли он у деникинцев, он ответил невпопад: «Мне восемнадцать лет. Я в

первой гимназии, в седьмом классе. У меня в Киеве мать и две сестры: Ольга, а младшая Надя». Тогда Шор вскочил и зарычал: «Ах ты, сволочь! Туда же лезет. Застрелить тебя мало! Снимай-ка шинель. Все снимай, сукин сын! Вот тебе штаны и рубаха! Хватит с тебя и этого! Воин! И сейчас же проваливай к чорту! К этой самой матери! Чтоб я тебя больше не видел! Попадешься — застрелю, как собаку. Понял?»

Его послали в Лондон: продавать лес. Он встретился с крупным английским инженером. Англичанин спросил Шора: «Как вы работаете в столь мизерных условиях? Я читал, что в России редко у кого из специалистов ванна, не говоря уже об автомобиле. Может быть, вы мне скажете, сколько зарабатывает специалист, как вы?» Шор поглядел на англичанина, и в глазах Шора показалось глубокое веселье. Он ответил: «Это называется — партмаксимум. Ерунда! Меньше, чем швейцар. Может быть, как дипломат, я должен говорить иначе. Но, по-моему, правда куда лучше. У меня, например, нет машины. Иногда я жду трамвая полчаса и, не дождавшись, иду пешком. Мыться приходится в бане: два часа потеряны. Наша страна еще очень бедная. Вы меня спрашиваете, сколько я получаю. Я мог бы вам ответить: столько-то — в рублях. Перевести на фунты трудней. Но и не в этом дело... Я получаю радость. А сколько, по-вашему, стоит настоящая радость — ну, хотя бы в фунтах?..» Англичанин вежливо улыбнулся.

Когда Шор вернулся в Москву, все только и говорили что о коллективизации. Он поехал на хлебозаготовки. Кулаки ночью накрыли его мешком и избили. Он провалялся с месяц в пензенской больнице. Он говорил врачу: «Я видал в одном колхозе бабу — умница! Всем заправляет. Пчельник устроила. Она мне жаловалась: «Церковь у нас не прикрыли. Звонят. Не могу я этого слышать — душу они из меня звоном вытряхивают...» Я слушал эту бабу, как Пушкина. Скажите, доктор, долго я еще буду валяться? Вы должны меня выписать — я не умею отдыхать».

Шор вышел из больницы прихрамывая. В Москве он попал на заседание, посвященное Урало-сибирскому комбинату. Он запросился в Кузнецк. Он говорил: «Большое дело!» Он никому не говорил о том, что это дело увлекает

его своей трудностью. Он знал, что такое Сибирь. Он знал также, что такое люди.

Такова была его жизнь, похожая на анкетную справку. Но за жестокой, как бы металлической жизнью был еще сутулый человек, близорукий и добродушный, который то и дело поправлял плохо повязанный галстук, который с восторгом нюхал резеду в станционном садике и спрашивал девочку: «Девочка, что это за цветок, то есть как он называется», который кричал, что Горбунов «лентяй и разиня», а потом шел в Цека и упрашивал, чтобы Горбунову дали отпуск, так как он «совсем зашился».

Когда он приехал в Кузнецк, он ничего не смыслил в металлургии. В такой-то раз он брался за новое дело. Он осилил когда-то политическую экономию и шифры. Потом он узнал международную политику и тюремную азбуку — перестукивался с соседями. Он научился стрелять из винтовки и говорить прибаутками. Он стал разбираться в стратегии. Он различал, какой лес годен для верфей. Он очутился в деревне. Он не мог отличить пшеницы от овса. Месяц спустя крестьяне говорили: «С очкастым держи ухо востро — это дошлый...»

Он приехал на стройку. Он должен был сразу понять, что такое блюмсы, фурмы, деррики, грейферы и скруберы. Он взялся за работу. Он забыл о хлебе, о лесе, о стратегии. Ему казалось, что всю свою жизнь он только и делал, что строил заводы. Он знал теперь в точности, сколько кирпича могут выложить рабочие, когда закончат клепку, как вычерпывать грунт для галлереи и как ставить болты.

В комнате Шора висела небольшая акварель — он привез ее из Москвы. Кто знает, почему он таскал с собой двадцать лет подряд эту картину? Отрываясь на минуту от работы, он глядел на акварель: это был Париж, крыши домов, трубы, а над ними немного неба, едва голубоватого. Небо было положено художником с болезненной осторожностью, оно ничего не весило, глаза скорее догадывались о нем, нежели его видели. Глядя на акварель, Шор улыбался. Он не мечтал о городе, в котором когда-то прожил несколько лет. Он с трудом мог себе представить, что этот город еще существует: для Шора существовал только завод. Но, глядя на крыши и на легкое небо, Шор улыбался.

Кроме этой картины, ничто не выдавало прошлой жизни Шора. Когда к нему заходили товарищи по делу, он открывал шкаф и подолгу в нем рылся: он искал коробку с конфетами. Он угощал инженеров карамелью и ласково посмеивался. В шкафу все лежало вместе: белье, доклады, лекарства и где-то среди носков — старая пожелтевшая фотография. На фотографии вихрастый юноша в косоворотке улыбался. Рядом с ним стояла девушка в большой шляпе — такие шляпы носили до войны. От шляпы легла густая тень, и лица девушки не было видно. Шор никому не показывал карточки, да и сам никогда на нее не смотрел. Он только время от времени, хмурясь, проверял, лежит ли она под книгами или под бельем.

Инженер Шалов спросил Шора: «Вы читали «Гидроцентраль»? Это, знаете, удивительно!» Шор покраснел от смущения: «Как-то времени нехватает. А в общем — распущенность. Спасибо, что надоумили. Теперь я обязательно прочту».

Он действительно взял книгу и начал читать. Но вдруг он вспомнил, что в шамотном цеху рабочие ворчат из-за сапог, и кинулся к телефону: «Нельзя ли раздобыть сапоги? Это безобразие!..» Он так и не прочел романа.

Когда Коля Ржанов взлез на каупер, чтобы выправить канат, Шор пришел в цех. Все решили, что он пришел поздравить Колю. Но Шор зарычал: «Что это за головотяпство? Ты мог замерзнуть или того — сорваться. Что, у нас много таких рабочих? Надо, чорт возьми, беречь себя!» Он говорил и улыбался. Он видел глаза Коли, полные смущения и радости. У Шора никогда не было детей. Когда он приходил к семейным товарищам, он ползал с ребятами по полу и смешно хрюкал. Теперь он глядел на Колю как на своего сына. Он был горд и умилен. Потом он побежал в управление и забыл о Коле.

Коля не забыл о Шоре. Он говорил: «Ну и старик!» Шору было сорок восемь лет, но Коле он казался очень старым. Когда Колю охватывали сомнения, когда он видел вокруг себя корысть или малодушие, он вспоминал «старика». Тогда работа спорилась, и Коля снова веселел.

В то самое утро, когда Шор, обезумев, побежал к реке поглядеть, не упала ли галлерея, рабочие колиной бригады обсуждали — выходить ли на работу? Фадеев говорил

Коле: «Андрюшка был в управлении. Говорит: на градуснике ничего не видать. Нет больше градусов — спрятались. Значит, пятьдесят или того холодней. А по контракту мы обязаны работать до сорока пяти. Умирать, милый, никому не хочется». Коля спокойно ответил Фадееву: «Нам не о градусах надо думать, но о сроках. Вторая декада февраля, а домну обещали пустить к апрелю. Вы, ребята, как знаете. Можете здесь валяться. Я и один пойду». Он опустил наушники шапки и, не глядя на товарищей, пошел к выходу. Тогда Вася Морозов сказал: «Что ж это, ребята? Неужто одному ему мерзнуть?» Он вышел вместе с Колей. Вслед за ними пошли остальные.

Это был тревожный день: кто-то подпустил лебедку. Листы упали. Рабочие мрачно глядели друг на друга: в их бригаду затесался враг. Они жили дружно, вместе работали, пели песни, старались обогнать богдановцев, иногда выпивали и балагурили. Но вот кто-то подпустил лебедку, и сразу они оказались друг другу чужими. Они приехали сюда с разных концов страны. Фадеев думал, что виноват Андрюша: эти сибиряки хитрые, говорит: «быват, быват», а сам нож точит. Тихонов был сибиряком, и он считал, что лебедку подпустил Панкратов: кулаки убежали из России, а здесь вредительствуют.

Они подымали листы молча, среди метели и вражды. Молча они вернулись в барак. Андрюша попробовал запеть, но никто не подхватил, и голос его затонул в душной полутьме барака.

Коля думал: кто же?.. Он перебирал в мыслях всех товарищей: этот, этот, этот?.. Перебрав всех, он решил, что лебедку подпустил чужой. Когда они уходили в обеденный перерыв, он и пробрался. Мало ли на площадке вредителей?

Коля подумал вслух: «Нет, это не наш». Фадеев в ответ проворчал: «Зачем так далеко искать?..» Коля строго сказал ему: «Если думаешь на кого — скажи. А зря болтать нечего. Только людей мучаешь, да и себя». Фадеев никого не назвал. Коля продолжал: «Нет, ребята, это не наш. Надо охрану ставить, вот что». Мало-помалу все успокоились. На следующее утро они работали, как всегда, дружно и бойко.

Происшествие с лебедкой имело, однако, неожиданные последствия. Маркутов решил проверить, кто работает на

кауперах. Тогда-то и выяснилось, что Вася Морозов подчистил свои документы. Он говорил, что он батрак. На самом деле он был сыном кулака Николая Морозова.

Когда Фадеев узнал о прошлом Морозова, он весь затрясся от злобы: «Так я и думал! Лебедку это он подпустил. Все ходил и допрашивал: как да что? Вредитель несчастный!» Вася сидел на койке, опустив низко голову. Он молчал. Потом он не выдержал и крикнул: «Не я это сделал! Меня там и не было. Я со всеми в столовку ходил. Вот тебе мое слово комсомольца, что не я». Фадеев засмеялся: «Хорош комсомолец! Ты вредитель. Вот кто ты. Змея ты, а не товарищ!» Фадеев теперь не смеялся. Его лицо было искривлено злобой, а глаза под лохматыми бровями горели, как угли. Он подошел вплотную к Васе и сказал: «Трус поганый! Уходи отсюда, чтобы чего не вышло. Я человек горячий. Я тебя прикончить могу».

Вася медленно встал. Он ни о чем не думал. Он вышел на мороз и остановился возле отхожего места. Была ясная ночь. Звезды были крупные, как в сказке. Прошла в уборную старуха Сидорова. Она злобно провыла: «Ты что, паренек, заглядываешь?..» Потом из барака вышел Тихонов — его вызвали в ячейку. Вася стоял не двигаясь.

Когда Фадеев ругал Васю, Коля молчал. Но потом он задумался: неужели это Вася подпустил лебедку? Он вспомнил, как Вася улыбался, когда они обогнали богдановцев, как он первый пошел за Колей, когда ребята бузили. Нет, лебедку подпустил не он!.. Коля весь просветлел: он понял, что связан с товарищами и что эта связь глубока. Он оделся и пошел за Васей.

Он помнил о том, что Вася подделал документы. Он подошел к Васе и сурово сказал: «Ты чего здесь стоишь?» Вася не откликался. Тогда Коля потряс его за плечо: «Ну?..» Не глядя на него, Вася сказал: «Лучше бы мне в бараке остаться! Вот Фадеев грозился, что убьет. А зачем мне такому жить?» Коля прикрикнул: «Нечего языком трепать. Ты мне прямо скажи — почему ты это сделал?»

Тогда Вася вышел из себя. Он смолчал Фадееву. Но вот и Коля с ними. Вася гордился тем, что он работает в бригаде Ржанова. Он говорил: «Погодите — Колька красным директором станет». Он считал, что Коля умней всех рабочих. Ради Коли он готов был пойти в огонь и в воду.

И теперь Коля — заодно с Фадеевым. Вася закричал: «Если ты на меня думаешь, я и разговаривать с тобой не желаю. Ты мне тогда не товарищ. Я над этими кауперами, как ты, работал. Я, кажется, жизнь отдам за них. А ты говоришь мне, что я вредитель. Как же мне после этого жить? Уйди от меня, Коля! Не верю я больше в товарищей. Все только и ждут, чтобы съесть человека живьем».

Коля в душе радовался этим злобным словам: они укрепили его веру. Он снова подумал: нет, это не Вася! Он строго сказал: «Я тебя не о лебедке спрашиваю. Я тебя о документах спрашиваю. Почему ты обманул партию?»

Вася недоверчиво поглядел на Ржанова: «Ты мне сначала ответь — ты веришь, что это не я подпустил лебедку? Если веришь, я тебе все расскажу. А нет — уходи! Лучше мне тогда молча погибнуть, чем с тобой разговаривать».

Они прошли в барак. Койка Морозова находилась в углу. Рядом спал старик Зарубов. Вася говорил тихо, и никто, кроме Коли, не слыхал его слов:

«Мы сами тульские. Здесь в Сибири у крестьян по пяти лошадей было, и не раскулачивали — говорят: «середняки». А у отца было две лошади и корова. Только деревня наша бедная. Он, значит, и оказался в кулаках. Я не спорю, он в душе был настоящий кулак. Я сначала этого не понимал — мальчишкой был. А потом и я возмутился. Приходит к нему Жданова. Ее муж в Красной Армии служил. Она говорит: «Иван Никитович, разреши к тебе хлеб ссыпать». Отец сейчас же прикидывает: «Вот тебе муженек подарки привез. Мне бы ситчика на рубашки». Жданова — в слезы: «Нет у меня ситца». Но отца слезами не разжалобишь. Он говорит: «Тогда и ссыпай, куда хочешь». Вот он где, настоящий кулак! Но я только спрашиваю: откуда он мог другого набраться? Разве это его вина?»

Коля прервал Морозова: «Мы с тобой не попы. Незачем в душу залезать. Так ты скажешь, что и царь не виноват — он, дескать, родился царем, только то и знал, что стрелять в народ. Мы не рассуждать должны, а бороться. Ты, Васька, это оставь. Ты мне скажи про себя: почему ты подделал документы?»

«Я отца и не защищаю. Я тебе сразу сказал, он настоящий кулак. Его отправили на Магнитку. Он, наверно, на

стройке работает. Конечно, жаль мне его, но я сам понимаю — ничего другого и не придумаешь. Если он плачет, то и Жданова плакала. Я только хотел сказать, что это его судьба. Если кто-нибудь здесь подпускает лебедку, он сознает, что делает. Это безусловный враг. А мужики жили, как жилось. Взяли помещичью землю и обрадовались. Потом отец купил мерина, и сразу душа у него перекосилась. Начал он людей мучить. Очень много зла в человеке! Ты меня спрашиваешь — почему я подчистил документы. Я тебе прямо скажу: со страха. Можешь меня запрезирать. Скажи, как Фадеев, что я трус. Только не такой уж я трус. Помнишь, когда на каупер лезли и ты сказал «держись»? Андрюша говорил: «боязно». А я — ничего. Скажут мне завтра — «защищай революцию от японца» — я не испугаюсь. Но одно дело умирать со всеми. А здесь сиди и жди, пока тебе не скажут: «Ах ты, кулацкое отродье!..» Вот я и струхнул. Я на стройку приехал без мыслей. Шкуру спасал. А потом присмотрелся, и как-то все во мне проснулось. Я только тут и понял, зачем мы это строим, за что мучаемся. А ночью лежу, думаю: вдруг узнают?.. Я боялся, что меня из комсомола вычистят. Куда я тогда денусь? Я, Коля, одну семью потерял. А теперь меня из второй гонят. Да еще такое на меня возвели, как насчет этой лебедки. Я вчера себя чувствовал героем труда, а сегодня на мне клеймо. Сегодня я жалкий вредитель. Как же мне после этого жить?..»

Вася долго говорил, по многу раз повторял те же жалобы и упреки. Коля дал ему выговориться. Он понимал, что Вася не может молчать, что его страшит одиночество. Когда же Вася, измученный, наконец-то умолк, Коля потрепал его по плечу и сказал: «Ложись спать. Завтра что-нибудь да придумаем. А теперь мне надо в горком, на заседание».

Коля пошел к Маркутову: он хотел отстоять Морозова. Он говорил: «За Морозова я отвечаю. Поговори с ним — никогда ты не скажешь, что это сын кулака. Он на стройке переродился. Не бузит. Только спросишь: «Кто за это возьмется?» — сейчас же — Васька. Я тебя, Маркутов, не понимаю. Конечно, кулаков надо держать на цепи. Но Морозов не кулак, он настоящий комсомолец».

Маркутов постучал карандашом по столу, и карандаш сломался. Тогда он стал подписывать бумаги пером. Перо было ржавое, оно скрипело и плевалось: листы были покрыты лиловыми брызгами. Маркутов не глядел на Колю. Он подписывал бумаги и говорил: «Ты, Ржанов, молодчина! Только ты еще здорово молод. Не разбираешься в людях. Откуда ты знаешь, что не Морозов подпустил лебедку? Кто у нас вредительствует? Именно такие. Просачиваются. В комсомол, в партию. Им доверяют, а они вредительствуют. Если Морозов один раз обманул, почему ты думаешь, что он и теперь не обманывает?»

Коля глядел на серые листы, покрытые лиловыми брызгами, и злился. Он понимал, что Маркутов говорит резонно и что возразить ему трудно. Однако попрежнему он твердо верил, что лебедку подпустил не Морозов. Он так и сказал Маркутову: «Я Морозову верю». Маркутов усмехнулся: «Верят верующие, а коммунисты рассуждают».

Маркутов в жизни видел много лжи и обмана. Он был подкидышем и детство провел в омском приюте. Заведующая говорила ребятам: «Разнюнились, нюнечки?» Голос у нее был нежный, как будто она все время пела. Потом она хватала ухо мальчика и начинала его мять, крутить, дергать.

При Колчаке Маркутов был партизаном. У него был друг Красицкий. Этот Красицкий выдал Маркутова белым. Маркутова били в разведке. Отбили ему легкие — с тех пор он кашлял и покрывался болезненным потом. Он жалел об одном: когда пришли красные, не он расстрелял Красицкого.

Он работал в деревне по раскулачиванию. В Михайловском кулаки убили учительницу. Они говорили, что учительница пишет в газете, сколько у кого коров. Они раздели труп, отрезали груди, а голову вымазали калом. Потом они взвалили все на слабоумного Антипку. Маркутов нашел труп в овражке.

Он работал упорно и угрюмо. Он видел, как вокруг него люди крали, отлынивали от работы, портили машины и пьянствовали.

Маркутов сердито сказал: «Савченко до тебя приходил. Сволочи, в хлеб запекают гвозди! Не понимаю — вредительство это или разгильдяйство? А рабочие ворчат: «Хлеб

пожевать — и то страшно...» Маркутов нажал всердцах на перо. Перо не выдержало. Он прижег огромную кляксу папиросой и замолк. Потом он снова начал ругаться: «Для жалости теперь не время. Это как на фронте. Только тогда мы знали: здесь свои, а здесь белые. Теперь все перепуталось. Надо глядеть в оба. Не возись ты с этой дрянью. Он на словах коммунист, а сам только норовит что поджечь или сломать. Я это племя знаю!»

Коля попробовал возразить: «Я его вовсе и не жалею. Я с тобой о деле говорю, а не о глупостях. Нет в нем никакого кулацкого духа. Парень перестроился. Мы кирпичи и то бережем. Как же людьми швыряться?» Прервал Колю телефонный звонок. Маркутов схватил трубку. «Да. Я самый. Это какой же Окунев? Из Свердловска? Машинку? В ГПУ звонил? Я сейчас приду». Бросив трубку, Маркутов сказал Коле: «Вот полюбуйся! Приехал будто бы инженер. Конечно, документы сам сделал. Стянул восемьсот целковых и машинку».

Коля поглядел на Маркутова. Он увидел, что глаза у Маркутова серые и грустные. Они вышли вместе и тотчас распрощались. Коля подумал: Васе — крышка!

Коля растерялся от незнакомого ему чувства. Прежде он был уверен, что легко объяснит любую вещь: ход машин, резолюции съезда, поступки людей. Каждая книга ему открывала новую правду. Когда книга была написана врагом, Коля читал ее, насторожившись, понимал, в чем ее ложь. Но вот он говорил с Маркутовым. Маркутов партиец. Он знает куда больше Коли. Почему же он не понял, что Коля прав? Коля старался говорить толково, но выходило, что прав Маркутов. А здесь еще этот телефон помешал... Нет, телефон ни при чем. Дело ясно: подчистил Морозов документы? Подчистил. Правда, это было давно. С тех пор он изменился. Но об этом знает Коля. Маркутов об этом не знает. А Коля знает и не может доказать.

Был сильный мороз. Воздух казался твердым. Коля остановился. У костра грелись строители. Они перетаптывались на месте. Снег был, как камень. Коля подумал: ну и холодище!.. Он чувствовал себя одиноким. Он повернул к бараку, но сейчас же снова остановился: Васька-то наверное не спит!.. Ну хорошо, пусть накажут за документы!

Но ведь с лебедкой это не он. Неужели никто этого не поймет?..

Коля вспомнил о «старике». Шор все понимает. Он — старый большевик. Потом глаза у него добрые. Он и ругается как будто шутит. Может быть, попробовать?

Так Коля очутился в комнате Шора. Испуганно поглядел он на акварель, на кипу чертежей. Шор не ругался и не шутил. Коле показалось, что Шор его плохо слушает: он поглядывал по сторонам и шевелил губами, как будто что-то жует. Когда Коля кончил говорить, Шор буркнул: «Ты его завтра пришли. Я с ним потолкую. Только я боюсь, что Маркутов прав. Уж очень много этой шпаны завелось. Листы-то вы подняли? Я у вас три дня не был. А теперь ступай. Мне еще работать надо. Я вот на двенадцать разговор с Москвой заказал».

Возвращаясь в барак, Коля думал: нет, и «старик» не поверил. Но на душе у него было спокойно. Может быть, его утешило обещание Шора поговорить с Васей, может быть, глаза «старика», серьезные и ласковые.

Шор позвонил в горком: «Что за история с этим... как его?.. Да, Морозовым?..» Потом Шор говорил с Москвой. Было плохо слышно. Он кричал: «Транспорт!.. Понимаете? Транспорт! Ведь это не паровозы, это чорт знает что!» Потом он сел за проекты подземного туннеля. Он лег только под утро. Засыпая, он вспоминал Колю, и, как тогда, возле каупера, его сердце наполнилось нежностью. Он подумал: «Хорошие у нас ребята! Теперь и умереть не страшно. А этот... как его? Да, Морозов... Чорт его знает! Может быть, Маркутов и перестарался? Конечно, если не мы — их, они — нас. Только этот еще молод. Мог и вправду перемениться. Страшное это дело: отец, сын — как веревка! Может быть, отец такого Коли тоже кулак?..»

Шор вспоминал своего отца. Отец Шора был мелким лавочником. Когда Шора арестовали, отец сказал матери: «Я прокляну его самым страшным проклятьем!» Потом он побежал в тюрьму с колбасой и колбасу выбрал самую большую: «Чтобы хватило на всех мерзавцев». Шор засыпал, и мысли его путались. Он видел отца, Колю, кулаков, которые напали на Шора, тюрьму.

Когда на следующее утро к нему пришел Морозов, он встретил его ревом: «Хорош! Эх ты, Батрак Батракович!

Здесь тебе нечего делать. Здесь люди завод строят. А ты спец по другой части. Тебе бы на Сухаревку — там для таких раздолье. Ну, чего ты рот разинул? Никто тебя здесь не держит. Можешь хоть сейчас убираться ко всем чертям».

Морозов стоял не двигаясь. Шор громко высморкался и спросил: «Деньги на дорогу есть?» Морозов не ответил. Тогда Шор подошел к нему вплотную и снял очки. Его глаза стали сразу бессильными и добрыми. Он сказал: «Ну, чего тебе еще надо?» Тогда Вася ободренный и голосом Шора и его глазами, начал говорить. Он говорил долго и несвязно. Он клялся, что это не он подпустил лебедку. Он объяснил, что ему некуда ехать: он хочет работать на стройке. Он не предатель, он честный комсомолец. Шор молчал. Вася тоже замолк, а потом, глупо выпятив нижнюю губу, сказал: «Я без партии как без дома».

Слова Васи потрясли Шора. Он понял, что этот парнишка говорит о партии так, как о ней думает сам Шор, что и для него партия не только государство, не только тактика или строительство, но нечто бесконечно близкое, что разлука с ней — это разлука с жизнью. Чтобы скрыть свое волнение, Шор еще раз высморкался и проворчал: «Мальчишка!» Потом он позвонил Маркутову: «Морозова я возьму к себе, на галлерею». Он прикрикнул: «Только у меня, брат, смотри! Я этих штук не люблю». Он крепко сжал руку Васи и, рассердившись на себя, вслух заметил: «Рукопожатья, что называется, отменены».

Когда Морозов рассказал Коле о своей беседе с Шором, Коля просиял. Он радовался не только потому, что спас товарища, он радовался и потому, что жизнь снова ему казалась ясной и глубокой. Он увидел, что, помимо книг и слов, существуют глаза и что глаза способны разговаривать. Его силы удвоились. Он как бы получил право на чувствования.

Он сказал Васе: «Я видал в управлении плакат: Кузнецк три года назад, и Кузнецк теперь. Красота! Сначала — голое поле. Потом все эти кауперы, батареи, мартены. Вот если бы нарисовать такой плакат: Коля Ржанов три года назад и теперь. Я ведь тогда ничего не понимал. А думал, что все знаю. Мне жизнь казалась скучной-скучной. Я теперь на жизнь другими глазами гляжу. Хорошо

быть настоящим человеком. Как старик. Он действительно все знает: и насчет галлереи, и как туннель рыть. Я у него на столе такие чертежи видел, что, кажется, всю жизнь учись, и то не разберешься. А ко всему еще он — человек. Я, Васька, думаю, что при коммунизме все такими будут». Он улыбнулся и, уже шутя, добавил: «Разве что помоложе и без очков».

8

Была северная весна, как всегда громкая и неожиданная. Шумели ливни, и от яркого солнца люди хмурились. Тайга наполнилась новым шумом. Тетерева бормотали. Глухари охали. Еще в оврагах было много снега, но снег хирел.

В улусе Кады слегла старая шорка Мара. Ее сын пошел за шаманом. Шаман сначала не хотел итти: он боялся комсомольцев. Потом шаман все же пришел: он помнил, что у Мары черный баран, а он хотел мяса. Он пришел отощавший, но величественный. Его одеянье звенело побрякушками: это были звери, птицы и рыбы. Шаман, камлая, посылал зверей, птиц и рыб, чтобы они расспросили духов. Звери ломали лесную чащу; птицы неслись к небу, и глубоко ныряли медные рыбы. Духи потребовали черного барана. Сидя на корточках, шаман ел баранину. Он вытер сальные руки о священное одеянье. К вечеру Мара умерла. Тогда шаман сказал ее сыну: «Духи не смягчились. Весной жизнь, как река: одни переходят через реку, другие остаются. Мара была очень стара. Ты не должен доносить на меня в комсомол. Я тоже очень стар. Я чувствую, что эта весна для меня последняя».

На стройке люди пели и ругались. Они пели потому, что им хотелось счастья, и они вязли в грязи. Земля как будто задумала проглотить людей. Проваливаясь в желтую глину, строители ругали и своих товарищей, и стройку, и весну.

Землекопы нашли скелет мамонта. Он был древен, как мир. Увидев находку, Коля вспомнил, как Смолин говорил: «Мы строим гигант». Ему стало весело и страшно. В его голове прошлое смешивалось с будущим. Жизнь казалась ему непрерывной, и эта жизнь была полна чудес.

Землекопы нашли скелет мамонта. Рабочие возле Томи нашли цветы: первоцветы, одуванчики, куриную слепоту. Переселенец Яшка Крюков вспомнил заливные луга возле своей деревни и сердито отвернулся. Комсомолки в выходной пошли на реку. Они визжали, аукали, а Груша Тренева сплела всем веночки.

Зимой на стройке любовь была бессловесной и тяжелой. Ваня Мятлев как-то привел в барак смешливую Нюту. Нюта не смеялась. Она робко глядела на спящих людей. Сосед Вани, рыжий Камков, не спал. Он почесывал голый живот и сквернословил. Ваня боялся, что Нюта уйдет, и шопотом приговаривал: «Только на четверть часика!»

На постройке ГРЭСа, возле чадных жаровень по ночам скрещивались руки. Люди любили жадно и молча. Вокруг них была жестокая зима. Они строили гигант. Они хлебали щи. Они не знали ни нежности, ни покоя.

Весна была шумлива, и сразу потребовала слов. Люди заверещали, как птицы. Весна раскрывала людям глаза. Парни уводили девушек за реку. Там щекотала щеки трава, а по ночам кричали совы. Ваня Мятлев увидел грудь Нюты. Грудь у нее была крутая и смуглая. Ваня хотел пошутить, но осекся. Его лицо стало светлым и сосредоточенным. Он тихо сказал: «Ты, Нюта, красивая».

Вечерами строители обнимали женщин, и женщины становились тяжелыми.

Работа на стройке шла во-всю. Никогда еще люди так не торопились. Демьянов кричал в бреду: «Подавай кирпичи! Да, мать твою, скорей!..» У Демьянова было воспаление легких. Он умер на третий день.

В тот же день умер американский инженер Герл. Его тело отправили в Москву. Иностранцы провожали гроб. Они надели цилиндры и котелки. Они чинно ступали по грязи, и они глядели то на эту жестокую грязь, то на мальчишески синее небо с облаками, которые играли вперегонки. Иностранцы думали о том, что жизнь здесь не легка, что Герл был еще молод и любил играть в футбол, что смерть подкрадывается к человеку внезапно, как весна на Севере. Позади шли комсомольцы с красными флагами. Герл умер на боевом посту, и ему отдавали революционные почести. Комсомольцы пели похоронный

марш, но он выходил у них бравурным. Гроб положили в товарный вагон. На вагоне значилось: «Срочный возврат».

Из Москвы приехали корреспонденты газет и кинобригада. Все готовились к торжеству. Строители работали исступленно. В этой лихорадочности, помимо плана и сроков, помимо голода и веры, была еще воля весны, ее поспешность и сила, ее тоска.

Так впервые заскрежетала воздуходувка. Этот скрежет с непривычки был страшен, но строители улыбались: завод начал дышать. Услышав ужасные звуки, смутились старые казашки и шорки: они припоминали камланье шаманов. В крохотное оконце можно было увидеть нутро бога, но глядеть на него человек не мог: огонь слепил, как солнце. Чтобы следить за утробной жизнью домны, люди вставили в оконце синее стекло. Домна дышала с трудом, и, вдыхая доменный газ, люди задыхались. Из печи вытекали струи расплавленного металла. Это было величественнно и просто.

Кузнецку весна принесла спешку, эпидемию, любовь за рекой, пуск первой домны, празднества и грохот. Весна заглянула и в старенький Томск. Она смыла несколько прогнивших домиков и на фасадах правительственных зданий развесила несколько флагов. Про запас у нее были ливни, солнце и смех сорока тысяч томских вузовцев. У вузовцев была горячая пора: они сдавали зачеты. В курсы химии или физики вмешивались непрошенные советчики: то запах черемухи, то зайчик на стене, то веселый смех: «Это Женька...»

Сады сразу расцвели, и Томск наполнился цветочными запахами, зеленой пылью, вздохами. Вздыхали и старые лишенцы, припоминая прошлое, и курносые стриженые вузовки — они чувствовали, что подходит любовь. Вечерами все смешивалось: «я сегодня у Королькова перехватила зачет», «послезавтра поедем в Городок», «со звуком плохо, ничего не знаю», «ты почему гулял вчера с Аней?», «вот поеду на практику, пришлю тебе подарок», «ну, раз дай поцеловать, тоже недотрога», «милый ты мой, как я с тобой счастлива», «в столовке ни черта не дают, жрать совершенно нечего», «как у тебя с ботаникой?», «помнишь Есенина: «все пройдет, как с белых яблонь дым». «Шура,

давай поженимся», «ну куда ты, ну как же, ну милый»... Весна не обошла Томск, и старый город, весь изношенный и злосчастный, сиял наново. Его глупая каланча с шарами встречала солнце, не смущаясь своего ничтожества, как будто это и не каланча, а кузнецкая домна.

Перед университетом устроили цветник и фонтан. Милиция не позволяла лежать на траве. Тунгусы глядели на фонтан и одобрительно вздыхали. Старый профессор Ивашов сказал раздраженно: «В Европе такие фонтаны на каждом шагу, а здесь это мировое событие». Профессор был болен печенью. Он страдал от плохой пищи и от невежества вузовцев. Он презирал фонтан. Тунгусы ели с восторгом щи, и фонтан им казался затейливым, как сон.

На собрании, посвященном взаимной чистке, Петя Рожков произнес горячую речь: «Мы должны помнить о темпах! Стране нужны специалисты. Каждый день, потерянный нами, отразится на успехах второй пятилетки. Товарищи, вузы — это та же стройка, и перед нами пример героев Кузнецка!..» Петя Рожков больше не думал ни о стихах Пушкина, ни о Тане. Он думал только об органической химии и о великом строительстве.

Рабфаковец Сеня Крамов сказал Ирине: «Я тебе открою мою тайну». Ирина печально вздохнула. Они сидели в роще, вокруг цвела шальная черемуха, и Ирина думала, что Сеня будет говорить о любви. Ирина не хотела слушать признаний: она сама знала, что такое любовь. Она не спала по ночам, и мысли у нее путались. С тех пор, как она познакомилась с Володей Сафоновым, она жила растерянно и беспокойно. Но Сеня Крамов не собирался говорить о любви. Ирина ему сказала, что она любит стихи, и Сеня решил раскрыть ей свою тайну: «Я тоже пишу стихи. Но я не знаю, может быть это ерунда. Я работал в Прокофьевске на шахтах. Туда прислали одного англичанина специалиста. Я как-то услышал — этот англичанин говорил с переводчицей. И вот тогда мне захотелось так же писать стихи, то есть пронзительно и красиво. Ты не подумай, что по-английски. Нет, по-русски. Но не так, как все говорят. Иначе. Я искал неожиданного сочетания звуков. У нас был кружок рапповцев. Я прочел им. Лашков мне ответил, что это «буржуазный футуризм». Я очень горевал, но стихов не бросил. Я тебе как-нибудь почитаю.

Когда вот такое кругом, меня распирает... Приду в общежитие и пишу, пишу. Кажется мне, что замечательно, а может быть, ерунда. Только нет сил, чтобы удержаться...»

Ирина с удивлением поглядела на Сеню. Она его много раз видала. Они занимались вместе немецким. Но ей показалось, что она видит его впервые. У него были большие глаза, светлосиние, и чуть приоткрытый рот, как у ребенка. Она почувствовала к нему большую нежность и тихо сказала: «Ты настоящий поэт. Так может говорить только поэт. «Внезапное сочетание звуков» — это уже стихи...» Они помолчали. Потом Сеня проводил Ирину до дому. Прощаясь, он крепко пожал ее руку и, не выпуская руки, заглянул в ее глаза. Тогда Ирина снова смутилась: Сеня в нее влюблен, он понял ее слова как ответное признание. Вся покраснев, она сказала: «Я, Сеня, очень несчастна. Я люблю одного человека, а он меня не любит. Впрочем, и это вздор. Надо заниматься — завтра зачет».

Ирина спешила домой потому, что к ней обещал зайти Володя Сафонов. Они встречались теперь каждый вечер. Они никогда не говорили о любви. Они говорили о стихах, о весне, о жизни. Володя все знал, он казался Ирине большим и мудрым. Она робко его слушала. Иногда она прерывала его вскриком: «Вот хорошо!..» Иногда она начинала смеяться, и смех ее был звонкий, веселый. Володя не умел смеяться. Когда Ирина смеялась, он пробовал улыбаться, но улыбка получалась грустная, казалось, он сейчас заплачет. Тогда Ирина неожиданно говорила: «У тебя на рубашке нет пуговицы. Ты, наверное, и нитку вдеть не умеешь... Дай я на тебе пришью».

Когда Володя бывал с ней, она ни о чем не думала. Ей было хорошо, и она отдавалась счастью. Но, оставаясь одна, она начинала терзаться. Она думала о том, что она глупа. Ирина как-то сказала: «Я не умею думать об отвлеченном». Брат Лелька потом ее дразнил: «Философ!» Конечно, она дура, и Володе с ней скучно. Зачем же он приходит к ней? Может быть, ему нравится ее лицо? Ирина недоверчиво гляделась в зеркало. Круглое лицо, скулы, маленький носик. Лелька ее звал «курнофейкой». Как она может нравиться Володе? Володя сказал: «Красота — вещь условная. Для нас это обычно — греческие каноны...» Ирина видела в томском музее гипсовую Диану. Ирина на

нее никак не похожа. Позавчера Володя гулял с Варей Калинниковой. Варя куда красивей ее!..

Так Ирина терзалась, когда она ждала Володю. Но после разговора с Сеней она чувствовала себя приподнятой. Слова Сени ее настроили на иной лад. Володя сразу заметил, что Ирина чем-то взволнована. Он спросил: «Ты что это рассеянная? Приключилось что-нибудь?» Ирина молчала. Володя почувствовал себя одиноким. Он сел на стул и, покачиваясь, начал говорить: «Надоело. Все надоело. Самокритика. Взаимная чистка. Тунгусы в роли спасителей цивилизации. Ну и так далее. Как видишь, я не из приятных собеседников. Данте, изображая ад, многого не предвидел. Например: обыкновенный взрослый человек среди торжествующих недорослей. Варианты: человек среди патефонов, человек среди попугаев и так далее. Ну, а вы что соизволили делать? Самочистились? Или стояли в очереди за хлебом?»

Ирина ответила: «По-моему, ты не прав. Почему ты надо всем смеешься? Конечно, ты умней других. Но все-таки ты не прав. Я сегодня разговаривала с Сеней Крамовым. Ты его, кажется, не знаешь. Это рабфаковец. Шахтер из Кузбасса. Он, оказывается, стихи пишет. Я знаю, что ты снова будешь смеяться. Но он меня растрогал...» Ирина повторила Володе слова Сеньки.

Сафонов нахмурился, его рука с окурком долго шарила по столу — он думал. Потом он начал говорить. Он говорил медленно и мучительно, как будто убеждал себя: «Еще одна иллюзия! Конечно, такой Сеня умнее рапповских критиков. Но почему я, Владимир Сафонов, обязан умиляться? Когда ребенок начинает говорить, все стоят вокруг и ждут, что он скажет. Он, разумеется, говорит: «ма-ма». Обождите, но кто умиляется? Та же мама. Или папа. Или бабушка. А здесь должны умиляться все. После Платона, после Паскаля, после Ницше — не угодно ли: Сеня-шахтер заговорил! Причем, ввиду столь торжественного события, обязаны тотчас и навеки замолчать все граждане, которые умели говорить до Сени. Бернард Шоу от восхищения давится икрой, а потом спешит в Лондон. Там он сможет говорить, не считаясь с Сенями. Разрешите задать еще один вопрос. Хорошо. Сеня говорит. Он на рабфаке. Он будет красным профессором. Он научится носить

галстуки и цитировать Маркса по первоисточнику. Его сын будет выбирать галстуки, сообразуясь с цветом пиджака, и цитировать не только Маркса, но даже Канта. Спрашивается, что будет делать его внук? Писать поэмы о галстуках? Опровергать Маркса с помощью Ницше? Нюхать кокаин от мировой тоски? Или, может быть, подготовлять новую революцию? То, что меня раздражает, Ирина, это не жестокость эпохи, это ее бессмысленность».

Ирина не сдавалась: «Ты не о том. Ты всегда стараешься обобщить. А это живой человек. Он говорил, как настоящий поэт. Ты подходишь к нему с готовым мнением. Чем ты лучше критика, который ему говорил о «буржуазном футуризме»?

Володя досадливо отмахнулся: «Я не об этом Сене говорю. Какое мне до него дело? Допустим, что он гениальный поэт. Тогда он через пять лет замолчит. Или сойдет с ума. Или повесится. Можешь почитать историю русской поэзии: она началась с двух трупов и двумя трупами кончилась. Скучно, Ирина, так скучно, что, кажется, встал бы и завыл, как собака!..»

Володя с отвращением поглядел на большой букет черемухи. С детских лет он боялся весны: она его выгоняла из норы. Сердце билось неровно, он судорожно зевал или задыхался, то его клонило ко сну, то он бестолку слонялся по мокрым крикливым улицам. Весной он не мог читать: книга с первой же страницы казалась ему знакомой, как будто он ее читал прежде. Особенно смущали его весенние запахи. Он не мог удержаться от соблазна: он зарывался лицом в ворох сирени и тотчас отбегал прочь. Он сам дивился, почему он не может, как все — понюхать, поискать «счастье», а потом сесть за книгу. Цветы для него были пыткой. Так было и с букетом черемухи, который Ирина притащила утром, думая им украсить полутемную грустную комнату. Он понюхал и мучительно отвернулся. Тогда он увидел перед собой глаза Ирины. Он понял, что на этот раз весна его перехитрила.

Он вдруг стал послушным, ни о чем не думал, только глядел на Ирину и радовался. Мир, который всегда казался ему страшным и враждебным, сузился, он вошел целиком в глаза Ирины, — в глаза, полные такой печали и доброты, что Володя, глядя на них, улыбался. Кажется,

впервые за долгие годы его улыбка не сбивалась в гримасу. Так мальчиком он улыбался отцу, когда отец сажал его на колени и говорил: «Ну, коза-егоза, скучно тебе с доктором Сафоновым?..» Глаза Ирины стали очень большими. В них была воля, не самой Ирины, не Володи — чужая, и, подчиняясь этой чужой воле, Володя подходил все ближе и ближе. Он шел, как лунатик, выставив руки вперед. Крохотное расстояние между ним и Ириной казалось ему непреодолимым. Он испуганно остановился. Его руки неловко коснулись плеча Ирины. Она не отодвинулась. Он прижался губами к ее губам. Губы Ирины были горячие и слабые. Она вся как-то поникла. Он обнял ее, чтобы она не упала. Потом он вздрогнул, как будто кто-то его окликнул. Он бережно посадил Ирину на стул, а сам отошел к окну.

В голове его появились мысли неясные и жестокие. Они походили на первые мысли человека, которого разбудили непривычно рано. Сейчас она спросит: «Хорошо тебе?..» Так спросила Таня. Так и в романах спрашивают... Он снова почувствовал знакомую ему тоску, как от букета черемухи. Он робко ждал, что скажет Ирина. Но Ирина молчала. Он заставил себя оглянуться. Ирина плакала. Володя растерялся. Он подошел к ней и, виновато дотронувшись до ее руки, забормотал: «Ну чего ты? Я ведь искренно. Да ты сама знаешь. А если тебе неприятно, я больше не буду. Только не плачь. Ну, перестань!»

Ирина сказала: «Не обращай внимания! Я сама себя не понимаю. Глупо — разревелась, как девчонка. Но ты не думай, что это от горя. Я еще никогда не была так счастлива! Слышишь меня — никогда!» По ее лицу бежали большие частые слезы, но, говоря с Володей, она улыбалась. Володя ничего не мог понять. Он несколько раз пробежался по комнате. Ему было страшно: никогда прежде он не думал о том, что́ для него Ирина. Теперь, глядя на ее лицо, затуманенное слезами и радостью, он вдруг догадался, что приходил к Ирине совсем не потому, что она охотно выслушивала его рассказы. Ирина не Таня. Это не случайная связь. Кажется, никогда он не сможет от нее уйти!.. В его голове не было слов: он не пытался взвесить или определить. Он только чувствовал, что неожиданно приключилось нечто очень важное.

Он снова подошел к Ирине. Он начал ее целовать. Он целовал мокрые щеки, глаза, лоб. Потом он поцеловал ее в губы. Он откинул ее голову и целовал отрывисто, жадно, с каким-то веселым отчаяньем. На минуту высвободившись, Ирина прошептала: «Замолчи, ну, замолчи, милый...» А Володя ничего не говорил.

Володя сразу выпрямился. Он стоял посередине комнаты, высокий и нескладный. Он вынул папиросу, но не закурил. Он подумал: вот катастрофа! Он попытался отделаться шуткой: «Знаешь, Анатоль Франс говорил, что...» Не досказав, он выбежал из комнаты. В палисаднике на него сразу обрушился душный запах сирени. Он прикрыл лицо горячими сухими ладонями.

Он долго бегал по улицам. Улицы назывались громко и торжественно: Красноармейская, Пролетарская, Интернациональная. Все они походили одна на другую: те же деревянные домики, те же лавочки у ворот, та же теплая пыль. В домиках кряхтели лишенцы: они терли мазью поясницу и заправляли лампадки. В домиках вузовцы зубрили оптику или патологию. Они украдкой читали стихи и писали любовные цыдулки. Гриша спрашивал Рожкова: «Единственная — через два «н»?..» Навстречу Володе кидались то флаги, то черемуха, то парочки. Влюбленные шли, как на экзамен. Но глаза их не умели прикидываться. В этих глазах был ворох нежных кличек и вздохов, задыхание поцелуев, запах примятой травы, несколько рифм и несколько торопливых слезинок, — все, чем жив обыкновенный весенний вечер. Володя бежал по улицам, а за ним бежала весна. Он чувствовал, что его глаза полны того же смятения. По его глазам всякий может догадаться, что он сдался на милость счастья, что он не одинокий чудак, не советский Печорин, но попросту вузовец, который целуется и сдает зачеты, который должен работать, жениться и жить. Так вот почему он боялся цветов!..

Он остановился, измученный, и присел на лавочку. Он хотел привести в порядок не только глаза, но и мысли, понять, что с ним. Он думал, что мысли будут сложными и путаными. Но первое, что пришло в голову, было простым и в то же время решительным: он любит Ирину. Разгадка испугала его своей точностью. Но потом он вспомнил глаза Ирины и улыбнулся.

Однако не зря он готовился к мучительным мыслям: они пришли с небольшим запозданием. Они не касались ни его чувств, ни чувств Ирины. Он не гадал о том: любовь это или не любовь? На него накинулись другие мысли. Они снова погнали его по улицам: вниз, наверх, на горку, к реке. Старые татарки таинственно верещали. Овраг был заполнен огоньками, которые метались как светлячки. Кто-то сказал: «Наденька, вот тебе слово, что не я!..» Потом звонили в церкви. Потом громкоговоритель зарычал: «По выполнению хлебозаготовок...» Володя все бежал и думал. Он думал не о любви, он думал о себе.

Когда, наконец, он осмелился свалиться на койку и вытащить из сундучка тетрадь, он уже знал все. Он сам прочитал себе приговор и, выслушав этот приговор, прикусил губу, чтобы не расплакаться. Он старался сохранить спокойствие. Когда он раскрыл тетрадку, ему захотелось тотчас выписать имя Ирины. Но он не поддался соблазну. Он писал, не отрываясь, до поздней ночи:

«Сегодня, в итоге некоторых событий, выяснилось, что я осужден. Началось все с разговора о каком-то поэте-рабфаковце. Тема сама по себе незначительная. Но она послужила проверкой многого. Если Ирина после этого разговора не прогнала меня, но даже сказала о своем счастье, это доказывает, что любовь лежит в ином плане. Конечно, Ирина живет чувством. Я старше ее и обязан думать за нас обоих. Разговор о рабфаковце принимает первостепенное значение. То, что мне рассказала Ирина, действительно трогательно. Я ей ответил чересчур резко. Возможно, что это от ревности: меня обидело, что такой рабфаковец мог ее взволновать чуть ли не до слез. Но дело не в тоне. От главного я не отрекаюсь: я глубоко безразличен к такой жизни. Что для меня этот Сеня? Нечто вроде Рожкова, который сейчас лежит рядом со мной. Разве я могу поручиться, что Рожков не пишет стихов? Отнюдь нет. Это вовсе не звери. Это люди. Но это люди иного класса, а следовательно, иного душевного возраста. В чем я их упрекаю? Только в том, что они младенцы. Официально им двадцать лет, и они «строители новой жизни». По моим соображениям, им от трех до семи лет, и они учатся грамоте. Это не мои сверстники, и мне с ними нечего делать.

Тетка говорила, что отец тоже не мог ни с кем ужиться. Он все время ругал губернатора, чиновников, купцов и пр. Но он жил среди подобных себе. Он был несколько честней их и поэтому возмущался несправедливостью. Он мог работать. Он мог не соглашаться и спорить — ему было с кем спорить. Я работал на заводе. Учусь. Буду, наверно, честным спецом. Но все это навязано мне извне. Сердцем я никак не участвую в окружающей меня жизни. Искренно я пишу только дневник.

Живи я сто лет назад, я был бы вполне на месте. Я тоже презирал бы людей. Но это были бы существа моей породы. Нельзя презирать пчел или дождь. Притом я не имею никаких прав на презрение. Будь у меня поэтический талант или хотя бы воля, достаточная, чтобы совершить какой-нибудь безрассудный поступок, я был бы вправе презирать всех этих Рожковых. Но, видать, я заурядный человек. По классовому инстинкту или по крови, или, наконец, по складу ума я привязался к культуре погибающей. Значит, для стройки я не пригоден. В горном деле это, кажется, называется «пустой породой». Она не стоит разработки. Конечно, в иную эпоху человек мог любоваться горными вершинами, не думая, выйдет ли из этого ландшафта хороший чугун. Лермонтов на Кавказе отыскал не руду, а демона. Что же, всему свое время. Владимир Сафонов осужден историей как несвоевременный феномен. Ему остается ждать другого суда, менее эффектного. Во всяком случае впереди у меня мрак. Отсюда прямой вывод: я не имею права губить Ирину.

Я говорю не о моральном праве. Какой-нибудь Рожков верит в пролетарскую мораль (причем эта мораль меняется в зависимости от последней статьи). Профессор Шологин ходит в церковь из протеста: он считает, что революция поставила у власти хамов, что хамы отобрали у него дом и что поэтому он должен класть поклоны перед каким-то плюгавым попиком. Нечто вроде тунгусов! Я понимаю, что мораль христианства по-своему высока. Но для меня это такой же вздор, как телефонный справочник на 1916 год. Говорят, что профессор Шологин бережет этот справочник и читает его, как евангелие. Однако по старым номерам никого не вызовешь: ни культуру, ни господа бога, ни городового.

О какой же морали может итти речь? Отец не верил ни в бога, ни в Маркса. Но у него еще что-то получалось. Он говорил: «нехорошо». Следовательно, он подозревал, что именно хорошо. Это была интеллигентская мораль: смесь Льва Толстого и либеральных газет. Мне даже этого не досталось. Если у меня имеются единомышленники, мы вправе претендовать на звание «беспризорных».

Когда я говорю, что не имею права губить Ирину, я не исхожу из каких-то абсолютных норм. Дело много проще. Мне неприятно об этом писать: я ведь начал дневник для борьбы с обязательным младенчеством, а вовсе не для сантиментальных излияний. Все же следует признать, что речь идет о чувстве. Будь на месте Ирины Таня или еще кто-нибудь, я спокойно проделал бы все, а потом ушел бы. Ну, было бы неприятно, и только. В конечном счете я не скопец, и это, увы, не первое увлечсние. Но сегодня я понял, что Ирина мне бесконечно дорога. Говоря откровенно, это единственное, к чему я привязался. Некоторые слова очищены долгим молчанием. После «Собачьих переулков» и «девах» Рожкова, я могу, не стыдясь, сказать, что я люблю Ирину. Именно любовь запрещает мне быть счастливым. Конечно, Ирина куда тоньше других девушек, которых я здесь встречал. Она любит Блока, а не Жарова, — это уже достаточно, чтобы почувствовать одиночество. Все же Ирина веселая, живая девушка. Она прекрасно уживается со своими товарищами. Ее может растрогать какой-нибудь Сеня. Никто ей не скажет, что она «изгой». Она крепко стоит на земле. Неужели я потащу ее туда, где я сам вижу только смерть, даже без красивого жеста? Если бы я был туберкулезным, я никогда не осмелился бы ее поцеловать. Но ведь моя болезнь еще страшней. От туберкулеза лечат, а от этого нет лекарств. Ирина мне доверяет. Я никогда не забуду, какими глазами она сегодня смотрела на меня. Она сама на грани — нельзя безнаказанно читать дневники Блока, а потом итти на взаимную чистку! Мне легко передать ей мою болезнь. Возможно, что в социальном плане я негодяй. Но в любви я постараюсь быть честным. Никогда я еще не писал так глупо! Это сбивается на дневник влюбленной девчонки. Недостает только поставить инициалы или нарисовать пронзенное сердце. Но от таких вещей никто не защищен.

Прощай, Ирина! Прощай, любимая!»

Володя провел три дня, ни с кем не разговаривая. Он сидел над учебниками или бродил один по окраинам. Он не вынимал из сундука тетрадки. Он решил пережить испытание сухо и молча.

На четвертый день случайно он встретил Ирину. Она его окликнула: «Володя, ты что же не приходишь?» Он смутился: «Очень занят был — сразу два зачета...» Ирина позвала его к себе: «Я иду домой». Володя подумал: отказаться глупо. Надо побороть чувство, даже оставаясь с ней.

Они пили чай. Володя пробовал шутить. Ирина один раз засмеялась, но тотчас снова стала серьезной. Она чего-то ждала. Володя это чувствовал и пуще всего боялся молчания. Он говорил безумолку. Казалось, все в тот день его занимало. Он говорил не только о пьесе «Швейк», которую ставили в местном театре, но даже о пуске кузнецкой домны. Он рассказывал Ирине, как смешивают кокс с рудой. Говоря это, он вспомнил о пустой породе и невпопад заметил: «получается шлак».

Ирина его не прерывала. Она не пробовала заговорить о другом. Но она чего-то ждала, и, не вытерпев паузы, Володя вскочил: «Мне пора заниматься». Ирина его не удерживала. Она проводила его до двери. Неожиданно в сенях они заговорили. Они говорили так долго, что на голоса выбежала соседка Ирины Гвоздева. Тогда они вернулись в комнату Ирины. Говорил Володя. Ирина иногда подсказывала слова, иногда, вбирая в плечи голову, тихо переспрашивала: «Разве?..» Володя поспешно отвечал: «Разумеется».

Это был странный разговор. Не его ждала Ирина. Его не предвидел и Володя. Он начался с вопроса Ирины: «Когда же ты теперь придешь?» Володя увидал перед собой глаза Ирины, как в вечер их первого объяснения. Ему захотелось поцеловать Ирину. Это желание было внезапным и острым. Володя понял, что он слабеет. Тогда он резко ответил: «А зачем приходить? Глупо! Когда я тебя поцеловал, ты расплакалась. Ты меня прости, но я все же мужчина...»

Потом Володя сам не мог понять, почему он это сказал. Он хотел резкостью оттолкнуть от себя Ирину. Но чувство

оказалось достаточно сильным. Он был сбит с толку. Он думал, что грубыми словами он ее расхолодит. Вышло наоборот: он настаивал на любви. Ирина робко положила свою руку на его ладонь: «Ты не должен на меня сердиться. Я не потому плакала. Я сама не знаю, как тебе это объяснить... Ты знаешь, все эти дни я так ждала тебя!..»

Володя вздрогнул. Он почувствовал себя разбитым. Он не отдернул своей руки. Он готов был здесь же, среди ящиков и щеток, поцеловать Ирину. Но он совладал с собой. «Напрасно ты мне доверяешь. Возможно, что с моей стороны это только минутное увлечение. Если я расскажу тебе про мой донжуановский список, ты сразу меня прогонишь. Я не умею любить. У меня, с одной стороны, философия, а с другой — животное чувство. Мне гораздо лучше спутаться с какой-нибудь «девахой», как говорит Рожков. Я буду для нее двадцатым, а она для меня двадцать первой». Он долго говорил. Он старался очернить себя. Он уверял, что никого не любит. Но неожиданно он сказал: «Если я эти дни и думал о тебе, то только потому, что я тебя ненавижу». Тогда-то выскочила Гвоздева, и Ирина сказала: «Пойдем ко мне. Здесь неудобно разговаривать». Володя спросил: «Стоит ли? Кажется, договорились...» Но Ирина взяла его за руку и повела по темному коридору. Она готова была поверить, что он ее не любит, что он любит Варю или другую женщину, что в тот вечер он просто над ней посмеялся. Но когда Володя сказал, что он ее ненавидит, она вздрогнула и в темноте едва приметно улыбнулась: ей показалось, что она спасена.

Володя продолжал говорить с той же злобой. Теперь он доказывал, что любовь устарела. «Кто еще способен влюбляться? Разве что профессор Шологин. Или твой рабфаковец: они ведь подражают античным образцам. Человеку теперь не до любви. Он отливает чугун, а время от времени совокупляется».

Ирина, наконец, не выдержала. Она была измучена непонятной ей жестокостью. Она тихо сказала: «Володя, ты не то говоришь. Я ведь знаю, что это не так. Я не могу с тобой спорить. Я очень устала за все эти дни». Тогда Володя собрался с силами. Он нарочно медленно закурил папиросу и совсем спокойно, так, как он обычно разговаривал с товарищами, сказал: «Ты совершенно права. Все

мои разговоры о ненависти — аффектация. Просто со скуки. Когда-то были ряженые. Теперь приходится довольствоваться монологами под Шекспира. На самом деле я к тебе равнодушен. А так как ты ждешь другого, нам лучше не встречаться. По крайней мере в ближайшее время. Советую взять себя в руки. Заняться чем-нибудь другим. Например, стихами Сени. Или еще лучше — вопросом о выплавке чугуна».

У него хватило сил договорить это до конца, пожать холодную руку Ирины, спокойно выйти на улицу, даже медленно дойти до угла. Он шел, как заводной, — ему казалось, что Ирина еще смотрит на него. На углу его походка сразу переменилась. Он побежал. Лицо теперь выдавало муку. Он бессмысленно повторял: «Ирина, ну, Ирина, ну!..» Он производил впечатление пьяного, и какой-то прохожий брезгливо на него покосился. Он не помнил, как пришел к себе и свалился без сил на койку. Он подумал: может быть, уснуть?.. Но тотчас привскочил и снова начал бормотать. Впервые он не замечал, что вокруг него люди. Он забыл о гордости. Он сидел на койке, обняв руками колени, и медленно раскачивался. Может быть, движениями он хотел утишить боль. Его лицо то и дело скашивала судорога.

Петя Рожков сначала прикинулся спящим. Он знал, что Володя скрытен, и старался не глядеть на соседа. Но вскоре Петя услышал бормотание. Он привстал и поглядел на Сафонова. Он увидал глаза, мутные от горя. Тогда он тихо подсел к Сафонову и сказал: «Брось, Володя! Если с девушкой что — не стоит, уладится. Ну перестань! Нечего расстраиваться!» Слова едва доходили до Володи. Он ничего не понимал. Но когда Рожков дружески хлопнул его по плечу, он не выдержал и заплакал.

9

«Володя, дорогой мой! Я сама не знаю, зачем я тебе пишу. Я уже тебе писала много раз, но рвала письма. Не знаю, отправлю ли это. А вот нет сил удержаться — когда я пишу тебе, мне кажется, что ты рядом. Не смейся — это не от меня зависит. Я стараюсь быть сдержанной и не

вспоминать о прошлом. Я и сейчас решила писать тебе обо всем, только не о любви.

Прежде всего я хочу рассказать тебе о моих планах. Я, наверное, скоро уеду из Томска. Я хочу учительствовать где-нибудь на стройке. Это вместо «чистой науки», о которой ты мне говорил как об единственно достойном. Представляю, как ты сейчас иронически улыбнешься. Может быть, ты даже вспомнишь, что сказал об этом Анатоль Франс?.. Только, пожалуйста, не думай, что я ухожу в работу от несчастной любви, как тургеневские героини уходили в монастырь. Я иду навстречу жизни, и я никак не обольщаюсь насчет того, что мне предстоит. Это не тихая обитель, но настоящее пекло. Работа трудная и неблагодарная. Все же я склоняюсь к этому решению. Я тебе расскажу все, что я передумала за это время. Ты выслушай, а потом скажи, глупо это или нет.

Ты, знаешь, я часто думаю — в какое великое время мы живем! Это не слова из газет, но мое чувство. Когда я в кино увидела «Турксиб» — как старый киргиз встречает паровоз, я чуть было не расплакалась: так это прекрасно! Ты всегда издевался над «чугуном». Недавно я познакомилась с одним комсомольцем. Он проработал год на стройке. Хороший парень, толковый, не хвастает, видит все как есть. Он рассказал мне о Кузнецке. Это — как сотворение мира. Все вместе: героизм, рвачество, жестокость, благородство. Страшно подумать, в каких условиях они работают! Почему ты можешь понять красоту этого, когда ты об этом читаешь в книге, как о далеком прошлом, а того, что рядом с тобой, не видишь?

Есть у нас такие блаженные (или ловкачи) — они замечают только хорошее. Читают в «Известиях», сколько тонн чугуна отлито, и улыбаются. Возьми Вадима — ты его тоже знаешь. Его считают прекрасным спецом. А помоему он дурак или прикидывается. Я с ним как-то шла вечером, попала в лужу — вода по колени. Я, конечно, выругалась: «Черти, досок не могут положить!» А он говорит: «Как вы можете обращать на это внимание? Если у нас грязь, то ведь это потому, что мы строим». Как дятел! Забыл даже, что он не в Новосибирске, а в Томске и что здесь ничего не строят. Или я рассказала при нем о Федотове. Это возмутительный случай! Он влюбился в девушку

из детдома. Девушке этой восемнадцать лет. Они решили пожениться. А Павченко приревновал и объявил, что Федотов в качестве инструктора «развращает малолетних». Федотова вычистили из комсомола. Два месяца просидел. Потом все от него отшатнулись. Словом, зарезали парня. Так вот я рассказываю об этом, а Вадим говорит: «Почему вас интересуют подобные мелочи? Что представляет один случай рядом с ростом миллионов?» И пошел, пошел. Я таких презираю. Это, по-моему, не борцы, но настоящие оппортунисты.

С другой стороны — ты. Ты умней многих, больше знаешь. Но ты ничего не делаешь, чтобы жизнь стала лучше. Ты замечаешь только плохое и насмехаешься. Ты думаешь, я сама не вижу, сколько вокруг безобразия? Наша стройка происходит не в прекрасной, чистой лаборатории. Малодушие, двурушничество, мелкие интересы! Минутами мне страшно за все и за всех. Вот именно поэтому я и считаю, что мы должны бороться, а не усмехаться или рассказывать шопотом глупые анекдоты.

Ты пойми — меня возмущает несоразмерность. С одной стороны, эпоха требует от нас чего-то большого. Я убеждена, что внуки нам будут завидовать. С другой стороны, я вижу ужасные будни. О чем мечтает такой Вадим? Получить заграничную командировку и накупить в Берлине разного тряпья. Гвоздева говорит: «Вот поеду в Кузнецк — там у итеэров замечательная столовая — каждый день мясо». На занятиях девчата только о том и толкуют, что Жене муж прислал из Москвы шелковое платье и т. п. Это отвратительно! Но, по-моему, ты делаешь то же самое. Только ты культурней, тоньше, и тебя занимают не галстуки и не столовка, а твои собственные переживания. Есть у нас люди, которые брезгают есть в столовке. Это еще можно понять — такая там грязь, я и сама до сих пор не могу привыкнуть. Но вот ты брезгаешь не есть с другими, а жить. Это, Володя, страшно!

Ты скажешь, что я повторяю чужие слова, что меня завели, как патефон, и т. д. Но посуди сам — кто мог мне это внушить? Ребята сами не успевают все как следует продумать. Если я пришла к таким мыслям, то в этом повинна только жизнь. Да еще, может быть, ты. Смеешься? Возмущен? Бегаешь по комнате и бормочешь: «Ну-с, еще

что?..» Милый, я тебя представила, и так захотелось хоть немного побыть с тобой! Ведь я тебя не видала четыре месяца, если не считать того раза летом, возле библиотеки. Но погоди, я теперь говорю о другом. Это не шутка — в моем повороте отчасти повинен и ты. Ты, наверное, не подозреваешь, скольким я тебе обязана. Когда ты рассказывал, я чувствовала, как расту. Ты дал мне куда больше, чем школа или книги. Ты научил меня ненавидеть все пошлое и низкое, как ты это сам ненавидишь. Тогда я и задумалась — откуда такая тоска?..

Ты ответишь, что люди всегда пошляки, что прекрасны только исключения и что «нельзя строить общество на подчинении меньшинства большинству». Так ты мне сказал в роще, когда мы говорили о стихах в «Красной нови». Тогда я ничего не сумела ответить — ты меня застал врасплох. Но теперь я знаю, что ты не прав. Людей можно переделать. Все то низкое, что творится вокруг, происходит от невежества одних, от трусости других. Гордина с утра до ночи полирует ногти — она убеждена, что это и есть культура. Лена объявила мне, что Маяковский «ерунда на постном масле». Бривцов хвастается, что он умеет «срывать зачетики», а сам «ни в ус». Примеров можно привести тысячи. Но отчего это? Оттого, что низка социалистическая идея? Или оттого, что люди еще полны старой низости? Здесь не может быть двух ответов! Я хочу со всеми вместе бороться и со всеми вместе ошибаться, только что-то делать, а не сидеть сложа руки!

Когда я тебе рассказала про Сеню, ты начал издеваться. Потом я нашла у Пастернака, в той книге, которую ты мне подарил, замечательные стихи: «Так начинают года в два, от мамки рвутся в тьму мелодий...» Почему ты понял это в книге, а когда это приключилось рядом с тобой, в городе Томске, ты счел нужным сказать с иронией: «Сень-ка по-эт?..»

Это первое письмо к тебе без клякс. Я пишу и не плачу. Прежде не могла — только подумаю о тебе, как будто — кран открыли. Теперь я нашла в жизни опору. Я не скажу, что я счастлива — зачем врать? Я очень страдаю и не могу отделаться от моего чувства. Но я увидела, что нельзя замкнуться в своем горе — это смерть. Отсюда мое решение заняться общественной работой и пр. Но, конечно, я

еще не стою крепко, то и дело шатаюсь. Надеюсь, что стану умней и выдержанней. Пока во мне все двоится. Я вот начала это письмо чуть ли не с барабана, а сейчас сбиваюсь на есенинскую гитару. Обещала вначале ничего не писать о любви, а возвращаюсь к тому же. Но что тут поделаешь? Это, как говорит наша уборщица Шура, «бабьи слезы». После того разговора в сенях я целый месяц ходила как помешанная. Девчата спрашивают: «Ты что это все шепчешь?» Я смеюсь. Хочется плакать, но гордость мешает, говорю: «Смешно!»

Я тебе скажу откровенно, Володя, что меня мучает. Минутами я начинаю во всем сомневаться. Мне кажется, что в последний вечер ты передо мной ломался. Ты прости это грубое слово. Но как иначе определить? Когда я думаю, что, может быть, ты ко мне не так равнодушен, как сказал, я теряю голову. Мне тогда хочется побежать к тебе и сказать: «Вот видишь — я все поняла!» Конечно, я не имею на это никакого права. Я знаю, что ты меня не любишь. Иначе как бы ты мог встать и уйти? Потом — ни слова. Когда встретились возле библиотеки, притворился, что не узнаешь. Все это так. Но иногда мне кажется, что ты ко мне немного привязался. Ты ведь очень одинок. Как же я могу тебя оставить? Конечно, с моей стороны это сумасшествие, после того как ты определенно заявил, что я тебе «ни к чему». Но я в данном случае не рассуждаю. Я говорю только то, что у меня на сердце. Если бы я могла угадать твои мысли!.. Я согласна на обиды, на издевку, на все, что угодно, только чтобы отогреть тебя. Да, Володя, с любовью не так просто!..

Я перебираю в памяти все, о чем ты тогда говорил, и никак не могу успокоиться. Ты рассказал о каком-то «списке» — что у тебя было много любвей. Я не знаю, правда это или ты нарочно придумал, чтобы меня обидеть. Но знаешь — это мне все равно. Я не отрицаю, что я способна на ревность. Это ужасное чувство, но оно еще крепко в нас сидит. Когда ты одно время часто встречался с Варей, я у себя втихомолку плакала. И все же какая это ерунда по сравнению с самой любовью! Потом, как я могу тебя ревновать к прошлому? Ты всего на два года старше меня, но когда я с тобой, мне кажется, что я маленькая девочка. Я знаю, что у тебя позади целая жизнь. Если ты любил

других женщин, я не понимаю только одного... Ты мне сказал, что ты не умеешь смеяться. Неужели ни одна из этих женщин не смогла тебя утешить, обрадовать, развеселить? Здесь что-то не так! Может быть, ты их любил, а они тебя не любили. Или наоборот. Но только я убеждена, что настоящая любовь сильнее и твоей иронии и даже самого мрачного характера.

Сильней любви разве что жизнь... Я тебе никогда не говорила про Юру Шестакова — это мой «список», как видишь, он недлинный. Когда мне было четырнадцать лет, я была влюблена в Юру. Мы вместе учились в семилетке. Когда мы оставались с ним вдвоем, мы или готовили уроки, или играли в такие игры, где надо ответить, «кого любишь». Один раз на лестнице он меня поцеловал в губы и сам перепугался. Мы оба были детьми. Потом мы кончили школу и больше не встречались. Юра умер прошлой весной от тифа. Я случайно узнала. Прибежала на похороны. Мне казалось, что я потеряла самого близкого человека: у меня до тебя никого не было. Даже подруг. Потом я часто приходила на могилу Юры — там мне легче было о многом думать. Вот позавчера я шла с вокзала мимо кладбища и вдруг вспомнила, что с тех пор, как я с тобой познакомилась, я не была на могиле Юры. Я пошла на кладбище. У Юры вместо креста на могиле сердце — это его мать так захотела. Я увидала сердце, и мне стало не по себе. Я запрезирала любовь — это только красивое слово или вот такое сердечко из дерева. Но потом я подумала, что детство прошло, что надо учиться, жить, работать, и тогда мне показалось, что я перед Юрой не виновата. Я даже подумала о тебе, и когда я заплакала, я сама не знала почему: оттого, что мне жаль Юру, или оттого, что я вспомнила, как ты мне сказал: «Человек теперь не может любить».

Володенька, это неправда! Человек теперь может любить, и он может любить еще лучше, чем раньше. Конечно, не потому, что легко развестись, или потому, что девушки стали «сговорчивей», как у нас думают некоторые. Все это низость! Но жизнь теперь такая трудная, такая напряженная, такая большая, что и любовь растет. Трудно, очень трудно теперь любить! Наверное, куда трудней, чем раньше. Но зато и любовь выше.

Вот ты говорил: «теперь не любовь, а чугун», и повторял: «чугун, чугун» — тебе это почему-то смешно. А это совсем не смешно. Скажи сам, что сейчас важнее: читать твоего Франса или отливать рельсы, чтобы, наконец, стало в стране немного больше хлеба или ситца? Но люди сейчас не только отливают чугун. Или нет, они действительно только отливают чугун, но в этом чугуне не только кокс и руда, в нем еще что-то другое. Вот как Сеня «рвется в тьму мелодий», так сейчас рвутся все — выше и выше! Это и домны, и стихи, и любовь. Я не знаю, сумела ли я это тебе высказать, но я это глубоко чувствую. Мне кажется, что, поворачиваясь к грубой работе, я не изменяю любви. Нет, я еще больше тебя люблю! Я так люблю тебя, мой бедный мальчик, так люблю, что сейчас я, кажется, готова...»

Это письмо не было ни дописано, ни отослано.

10

Они познакомились на докладе профессора Зарьялова: «Перспективы черной металлургии». Ирина слушала доклад внимательно, но ей трудно было сосредоточиться. Зарьялов иногда пробовал шутить, однако Ирина ни разу не улыбнулась. Ее лицо выдавало напряжение. Ей казалось, что профессор говорит о вещах загадочных и далеких.

Ирина считала, что она обязана интересоваться всем. Она не пропустила ни лекции Горнштока о проблеме жизни на других планетах, ни очередного диспута о целесообразности изготовления бумаги из водорослей, ни доклада Белоусова о введении латинского алфавита в обиход ойротов. Она смутно надеялась, что эти старые и умные люди расскажут, как надо жить.

Она аккуратно читала газеты. Она читала и книги. Но эта напечатанная правда была для нее слишком общей. В ней не чувствовалось ни дрожи человеческого голоса, ни возможности снисхождения, ни понимания того, что люди отличны друг от друга и что жизнь не прямое шоссе, но тысячи тропинок, которые идут через густую тайгу.

Правда, помимо книг, у Ирины был живой учитель — Володя. Но она боялась его слов: Володя надо всем сме-

ялся. Как-то он написал в ее тетради: «Ты меня спрашиваешь — как жить? Спроси лучше об этом Луначарского. Или гадалку. Что касается меня, то я постараюсь ответить тебе вполне серьезно: живи не всерьез! Лучше обкрадывать анонимного автора, нежели Безыменского. Поэтому, если ты должна кому-нибудь подражать, я тебе советую подражать соловью, а не патефону. Кто придумал соловья — я не знаю. Но патефон придуман американцем Эдисоном и достаточно распространен как в цивилизованных, так и в полуцивилизованных странах».

Ночью Ирина долго не могла уснуть: она думала о том, что Володя написал в тетрадке. Ей казалось, что она погружается в горячую темную жизнь. Странные, сбивчивые звуки — это и есть птичий язык, который непонятен человеку. В испуге она повторяла привычные ей слова: «Володя... уснуть... лекции... Лена...» Но это ее не успокаивало. Тогда она встала, зажгла свет и недоверчиво взяла в руки тетрадь. Она увидала не слова, но почерк, ровный и все же напряженный. Только концы строк, неожиданно спадавшие вниз, выдавали волнение. Ирина не перечла написанного — она знала все наизусть. Она вытянула листок из тетради и заколебалась, но потом разорвала его. Так вечером она выносила из комнаты черемуху или жасмин, — выносила с жалостью и с опаской, зная, что от цветов болит голова. Она легла, успокоенная, и быстро заснула. Это было давно — тогда Володя еще приходил к ней.

Профессор Зарьялов долго говорил о будущем Кузнецка. На юг от Тельбесса находятся малообследованные пространства. По данным разведки, там имеются огромные залежи руды. Возможно, что через несколько лет Кузнецк перестанет нуждаться в уральской руде. Дальше Зарьялов приступил к характеристике пород, и здесь-то Ирина, на минуту забывшись, потеряла нить его слов. Произошло это потому, что Зарьялов упомянул о «пустой породе». Ирина вздрогнула: об этом говорил и Володя в тот последний вечер... Она досадливо нахмурилась: ей показалось недостойным и унизительным во время серьезной лекции думать о своих мелких невзгодах.

Она снова внимательно слушала, но теперь она плохо понимала. «Четыре процента кремня представляют собой...» Ирина вдруг почувствовала, что она зевает. Она

покраснела от смущения. Она встала сегодня в шесть: надо было приготовиться к немецкому, наверное не выспалась...

Рядом с Ириной сидел Блюм. Он что-то писал. Ирина решила, что он записывает доклад, и поглядела: «Как будто я не вижу, как ты вешаешься на шею Левке!..» Тогда Ирине стало снова стыдно за свою слабость. Она ведь тоже думала о Володе!.. Для кого же говорит Зарьялов?.. Растерянно она оглянулась. В заднем ряду она увидала лицо, которое ее поразило. Вернее было бы сказать, что поразили ее глаза, радостные и возбужденные, лица разглядеть она не успела. Она тотчас же отвернулась и до конца доклада просидела не шелохнувшись, как пристыженная школьница.

Когда доклад кончился, она сразу узнала человека, глаза которого ее так поразили. Он теперь с жаром говорил соседу: «Вот и в Темир-Тау много руды...» У выхода слушатели долго толпились. Ирина оказалась рядом с незнакомцем. На улице было темно и тепло: стояла пригожая сибирская осень. Под ногами уютно бормотали листья, а звезды были ясные, раздельные и сосредоточенные.

Он спросил Ирину: «Товарищ, как мне на Красноармейскую пройти?» Ирина ответила: «Направо. Да и мне туда же. Я вам покажу». Они разговорились. Он сказал, что он комсомолец. Работает в Кузнецке. Приехал сюда на десять дней — партийное совещание. Потом, вспомнив о докладе Зарьялова, он начал рассказывать, какие в Кузнецке замечательные домны.

Он говорил, захлебываясь от счастья. Все его волновало: и то, что профессор сулил Кузнецку великое будущее, и то, что рядом с ним идет милая девушка, которая внимательно его слушает, и то, что вокруг него большая строгая осень, звезды, голоса расходящихся по домам вузовцев, огоньки в окнах, теплый ветер, молодость. Он как будто попал в другую страну. Он не слышал скрежета воздуходувки, не видел перед собой оранжевого зарева. Здесь не было ни кранов, ни землянок, ни напряжения. Люди здесь листали толстые книги, слушали в аудиториях лекции, бродили по роще, о чем-то подолгу спорили. В этом странном и чужом мире он чувствовал себя послом

Кузнецка. Это происходило не от скромного мандата, который он сдал для прописки, но от сознания, что он — один из кузнецких строителей. Ему хотелось рассказать этим спокойным людям о кауперах и о бараках, но он был застенчив: начиная говорить, он тотчас же замолкал. Сегодня вечером ему выпало двойное счастье. Сначала перед притихшей аудиторией знаменитый профессор восторженно говорил о Кузнецке, о домнах, о чугуне. Потом, в темноте этой теплой ночи, он наконец-то нашел человека, способного его выслушать и понять.

Они дошли до Красноармейской, Ирина сказала: «Вы очень интересно рассказываете. Хотите, дойдем до того угла?» Они прошли и до того угла и до следующего. Они ходили взад и вперед по пустой и тихой улице. Он говорил о жестоком холоде и о воле людей: «Пятьдесят мороза...» Хотя ночь и была теплой, Ирина ежилась: «Наш бригадир влез на каупер. Все думали — сорвется. В такой-то холод! Шапка у него упала. Значит, без шапки. Целый час он там пробыл. У него сначала голова закружилась. Удержался. И так, знаете, ему было весело наверху, так весело, что и не расскажешь...» Ирина остановилась. При мутном желтом свете, едва доходившем из окошка, она пыталась разглядеть глаза собеседника. Это были те самые глаза, которые ее смутили во время доклада. В тревоге она спросила: «А это не вы?.. То есть я хотела спросить — это не вы тот бригадир?..» Ему стало не по себе. Он сразу превратился в хвастунишку, который рассказывает девушке о своих подвигах. Он ответил сухо: «Ну, что вы! Это Андрюша. Мой товарищ. Да я вам вовсе не о людях рассказывал. Я вам хотел объяснить про кауперы. А теперь, знаете, поздно. Пора по домам...»

Попрощавшись, он вдруг вспомнил, что не спросил даже, кто она. Он усмехнулся: зачем ему это?.. Но все же он окликнул Ирину, которая еще стояла на крыльце. «Вот, товарищ, я и не знаю, как вас звать? Я не из любопытства. Но только я здесь еще останусь деньков шесть или семь. Может быть, и увидимся...» Ирина поспешно сказала: «Обязательно! Вы в котором часу освобождаетесь?.. Вот и приходите. Я вам Томск покажу. Особенно глядеть нечего, но все-таки интересно. Это номер восемь. Третий дом от угла. А зовут меня Ирина Коренева. Запомните?» Он

широко улыбнулся. «Значит, до завтра! Я вам и не сказал, кто я, то есть имя. Ржанов Коля».

На следующий день Ирина повела его по горбатым улицам Томска. Она объясняла важно, как директор музея: «Здесь был дом декабриста. Я забыла имя. Он недавно сгорел. Вот поглядите, какой смешной мезонин! А здесь в пятом году помещалась большевистская типография. Доску хотели прибить. Мне нравятся такие старые домики: сгорбились, кажется, подуешь, — и упадут. Я люблю вечером заглядывать в окна. Это, конечно, не очень похвально, но трудно удержаться. Кажется, поглядишь, — и сразу станет понятно, как живут люди. Только обыкновенно — тоска. Сидят, зевают, пьют чай или еще ссорятся. Иногда страшно от нужды. А иногда даже нужды не замечаешь, только скука. Какая-то бессмыслица!..» Коля усмехнулся: «Этого у нас на стройке нет. То есть нужды сколько угодно. Даже не понимаешь, как еще люди держатся. А скуки вы у нас не найдете. Чаю попить и то не успеваешь. Если уж выпадет свободная минута, это такое наслажденье!.. Вот как и здесь. Мне ваши говорят: «В Томске со скуки все мухи сдохли». А мне весело. Я даже с вами согласен, что эти домики очень хорошие. Конечно, надо бы построить что-нибудь поновей. Но пока стоят — интересно на них поглядеть. Это оттого, что для меня такая жизнь — как выходной день. Для меня Томск не город, а сплошной университет. Вузовцы вчера жаловались: «Тесно, шумно». А по-моему, тишина прямо как на лекции. И места много. А времени — сколько хочешь. Я здесь за три дня столько передумал, сколько в Кузнецке и за год не передумаешь. По правде сказать, — не сидится... Хочется туда. Вот я утром проснулся и сразу — как там ребята?.. Ведь у нас скоро должны вторую домну пустить...»

Он не вытерпел и снова начал говорить о своем любимом деле. С удивлением Ирина чувствовала, что рассказы Коли ей кажутся увлекательными, что ей хочется самой поглядеть на эту необычайную жизнь. Она несколько раз бывала на спичечной фабрике возле Томска. Там все ей казалось понятным, даже приветливым: запах свежераспиленного дерева, большие печи, похожие на те, в которых пекут пироги, этикетки, пестрые, как переводные картинки. Батальоны спичек послушливо передвигались, потом наде-

вали шапочки. Проверяя спичку, мастер искоса глядел на крохотный огонек. Дерево было Ирине родным и близким. Но когда Володя ей рассказывал об уральских заводах, она сразу становилась грустной. Она чувствовала, как в ее глаза летит черная пыль, уши заполняются грохотом, лицо жжет ужасный огонь. Когда она была еще маленькой, соседка Иванова повела ее в церковь. Ирина увидала на стене огонь и чертей. Она расплакалась. Ей казалось, что плавильные заводы похожи на тот ад. Ее смущало и то, что она не могла себе представить вещей, ради которых столько страдают эти люди. Когда же она их представляла, они не радовали, но пугали. Это не были ни спички, ни ситец, ни чашки. Она видела то снаряды, то рельсы с их визгливым напоминанием о близкой разлуке, то листы толя, стальные кубы, жестокую неумолимую проволоку.

То, чего не могли сделать газеты, сделал Коля. Когда он упомянул о Магнитогорске, Ирина шутливо его перебила: «Да ваш Кузнецк это и есть магнит. Я уже чувствую, как меня тянет...»

Ирина попрежнему думала о Володе, но встреча с Колей укрепила в ней волю к жизни. Может быть, она и написала последнее письмо Володе только потому, что почувствовала в себе новую силу. Из-за Коли она написала это письмо. Из-за Коли она его и не отправила. Она не хотела жить прошлым. Она начала готовиться к переезду: решила стать преподавательницей в кузнецком ФЗУ. Володя оставался «любимым» — засыпая, Ирина все еще говорила с его тенью. Но он не был больше учителем. Она теперь сомневалась и спорила. Шопот был нежен, но она не уступала.

Каждый день она встречалась с Колей. Они уже говорили друг другу «ты». Ее удивляла его сила. О чем бы он ни говорил, в его словах была уверенность. Он не прикидывался всезнайкой. Он охотно признавал, что он не прав. Но даже, когда он говорил: «этого я не знаю» или «ну и сел в лужу» — в его голосе слышалось веселье. Все ему было интересно, и все он воспринимал не так, как Ирина. Она ему пересказала некоторые истории, которые она услыхала от Володи. Ей казалось, что эти рассказы грустны и безвыходны. Но Коля, слушая, усмехался: «Здо-

рово!..» Она начала сомневаться: да полно, правда ли, что все это так мрачно?..

Володя как-то сказал Ирине, что его преследует биография одного немецкого композитора. Ирина забыла имя. Этот композитор написал замечательную симфонию. Он был беден и продал симфонию какому-то бездарному дилетанту. Когда симфонию исполняли впервые, зал безумствовал: люди плакали от счастья. Они вызывали автора. Дилетант застенчиво улыбался. Старик поцеловал его руку. Женщины кидали ему цветы. Он вышел из зала с красивой девушкой. А в темном зале все еще плакал бедный композитор. Служители думали, что он плачет, умиленный гармонией. А он плакал оттого, что увидел, до чего жестока жизнь. Ирина сказала Коле: «Правда — настоящая трагедия?..» Коля пожал плечами: «Конечно, свинство; что надули... А трагедии я здесь не вижу. Трагедия была бы, если бы тот негодяй изорвал ноты. А ведь композитор своего добился: он хотел что-то рассказать людям и рассказал. По-моему, это главное. А кому руку поцеловали — это ерунда. Вопрос самолюбия. Возьми Кузнецкий завод. Разве дело в том, кто составил проект? Важно, что завод по этому проекту построили. Ты, Ирина, все усложняешь!..»

Ирина была озадачена. Слова Коли ей казались детскими и в то же время умными. «Ты все как-то странно берешь. Я не могу тебя понять: ты фанатик или ты, правда, по-другому видишь?.. Вот мне интересно, что ты на это скажешь. Мне один знакомый сказал, что лучше подражать неизвестному автору, чем Безыменскому. Или, говоря иначе, лучше подражать соловью, чем машине». Коля рассмеялся. «Почему тебе приспичило подражать? Машина — это машина. Это для дела. А соловью пусть соловьи подражают. Есть такие охотники: они привозят особенно голосистого. Вроде как соловьиный вуз. Кому же человеку подражать, как не человеку? Вот ты сказала — Безыменский. Конечно, живи теперь Пушкин, он не стал бы подражать Безыменскому. А наоборот, по-моему не мешало бы...»

Он немного помолчал, а потом, улыбаясь, уже по-другому сказал: «Я соловьев люблю. Знаешь, когда гусачком или лешевой дудкой... У них все колена замечательные.

Я вообще птиц люблю. Какой-нибудь щеглячий напев — что это за прелесть!..» Он долго рассказывал о птицах, так же восторженно и подробно, как о домнах. Ирина сбоку поглядывала на него и смеялась. Ей казалось, что вокруг нее раскричались соловьи, щеглята, малиновки.

В детстве Ирина была веселой, но Володя отучил ее смеяться. С Володей она боялась и пошутить, и признаться, что она ночью всплакнула над книжкой, и похвалить какую-нибудь новую подругу. Володя молча выслушивал, а потом начинал говорить. Выходило, что ничего нет смешного, что книжка дрянь, а Таня или Лиза — «образцовые дуры».

Ирина пошла с Колей в кино. Показывали какую-то глупую картину: ударники в новеньких рубашонках строили завод, совсем так, как играют в мяч — «раз-два». Они пели хором и, не прерывая песни, «утирали нос» очкастому американцу. Коля насупился: «Халтурщики! Ведь они и не нюхали, чем пахнет стройка...» Но когда показали поле со скирдами, он вздохнул: «Красота!» Ирина подумала: «А ведь, и правда, красиво... Володе не понравилось бы... Володя сказал бы: «Мармелад для советских барышень, чтобы не скучали о настоящем мармеладе...» Она поймала себя на ужасной мысли: она радовалась, что рядом с ней не Володя, но этот простой и веселый человек. Она готова была встать и уйти. Она ненавидела себя. Она не глядела больше на экран. Она была благодарна темноте, которая покрывала ее позор. Когда вспыхнул, наконец, свет, она поспешно отвернулась от Коли.

Они вышли молча. Коля не улыбался. Его светлые глаза были несколько темнее обычного. Он тоже досадовал на себя: почему он не радуется? Ведь завтра он едет в Кузнецк. Там его ждет настоящее дело. Почему же ему грустно расстаться с этим никчемным, тихим городом?.. Он не сразу ответил себе. Он не сразу догадался, что дело не в отдыхе, не в лекциях, не в золотых печальных садах. Когда же он дошел до правды, он откровенно перепугался. Он был один в непроходимой тайге и не знал, куда итти, что делать. В его голове толпились тысячи слов нежных и оскорбительных. Но он не знал, уместны ли здесь слова. Да и как говорить? Хорошо поэтам — они вроде щеглов. Но каково обыкновенному человеку?.. Уж очень это

нескладно — будто говорил о деле — какие кауперы или еще что, и вдруг, ни с того, ни с сего — любовь. Коля подумал: как же другие?.. Он вспомнил Андрюшу с крепкой веснушчатой девушкой. Они сидели возле барака. Андрюша говорил: «Ты того...» Она в ответ смешно фыркала. Потом Андрюша сказал Коле: «Теперь-то хорошо — на травке можно. А зимой я намучился...» Кто же научит Колю? Как это Ирина говорила: соловей? машина?.. Интересно — со «стариком» это бывает? Ну, не теперь, прежде — ведь наверно бывало. Но «старик» говорит глазами — у него такие глаза, лучше всяких слов. А у Коли глаза большие и глупые — они ничего не могут рассказать. Да Ирина и не хочет на него смотреть — идет рядом, а как будто она далеко-далеко...

Коля, наконец, придумал нечто очень сложное и важное. Он хотел сразу высказать все: и свое смятение, и радость, и то, как они будут вместе работать на стройке, и еще, что у Ирины очень смешные губы, когда она дуется — совсем как у ребенка. Но вместо длинного признания, густо покраснев, он едва-едва вымолвил: «Вот я и уезжаю. Ты что же, приедешь в Кузнецк?»

Ирина снова почувствовала, что этот человек имеет над ней непонятную власть. Она обрадовалась вопросу. В мыслях она уже завязывала старенький мамин чемодан, бежала, запыхавшись, на вокзал, протискиваясь в темный вагон, чтобы лечь на верхнюю полку, и, сжавшись вся, ждать, когда покажутся огни этой сказочной стройки... Ирина удивилась — вот он, магнит!.. Потом она рассердилась, как тогда в кино. До чего она ветрена! Любовь в жизни одна. Как она могла забыть о Володе? Коля — это минутное увлечение. Она любит Володю. Кузнецк для нее не радость, не чувства, не Коля, а работа. Вот как она писала в письме: «грубая работа»... Она ответила Коле сухо, почти неприязненно: «Приеду. Работать». Она сделала ударение на последнем слове, чтобы Коля не принял ее готовности за измену тому, другому. Но Коля не знал о другом. Он не вникал в оттенок слов. Он был полон своим внезапным смущением. Он шел молча, большой и непривычно слабый. Никогда его ноги еще не касались земли с таким печальным недоверием. Казалось, он плывет. Его щеки горели. Кружилась голова. Он был как в жару.

Кругом была осень, яркая и лихорадочная. В пестроте раскраски, в особой прозрачности воздуха, в птичьей суматохе, во всем была тоскливая приподнятость разлуки. Казалось, не только люди, но и тополя в рощице понимали, какое им предстоит испытание. Неумолимость зимы, ее хруст и скрип, ее ночная тишина, ее отчаянные метели — все это придавало последним теплым дням особую грусть, способную растрогать даже седого деда, который торговал на площади кедровыми орешками. Он время от времени поглядывал на небо и что-то бормотал в желтую бороду. Девушка купила орешков, погрызла, поплевала и вдруг крикнула своему усатому кавалеру: «Вот возьму и кинусь в воду! Тогда будешь смеяться!..» Крикнула и снова взялась за орешки.

Ирина и Коля попрежнему шли молча. Они с трудом прокладывали путь среди густой, как сон, тишины. Наконец Коля не выдержал. Он стыдливо дотронулся до рукава Ирины: «Ты что это загрустила?» Может быть, он смутно надеялся, что Ирина ответит: «А ты?» Тогда окажется, что у них одна тоска и одна жизнь. Но Ирина сказала: «Вздор! Я тебе об этом ни разу не говорила. Но если ты спрашиваешь, я скажу. Лучше без недомолвок. Видишь ли, у меня большая беда. Я полюбила одного парня. Только он особенный. Я сейчас сказала «парень», и мне самой смешно. Конечно, с виду он, как другие. Вузовец. Но только он не парень. Он и не человек. Иногда мне кажется, что он чорт. А иногда мне его жалко, как маленького мальчика. Впрочем, дело не в этом. Когда любишь, не выбираешь. Я, вероятно, была бы с ним счастлива. Хотя он очень страшный — не с лица, душой. Только он мне сказал, что он меня совсем не любит. Понимаешь — вот никак. Сказал и ушел. Может быть, он любит другую. А может, никого — он такой, что я поверю — ни-ко-го! Вот я и осталась... Ты, пожалуйста, не подумай, что я скулю. Я умею с этим бороться. Я тебе сказала, что приеду в Кузнецк, это правда. Но только, когда я о нем думаю, мне так больно, что и жить неохота».

Коля ждал всего, только не этого. Он впервые понял, что значит «не судьба». Здесь никто не мог ему помочь: ни книги, ни люди. Он похолодел, сжался. Его глаза стали темными. Даже со щек слезла краска. Он не походил на

себя. Только где-то внутри еще барахтались нежные слова. Там, далеко, под всей видимостью разумного человека, Коля еще просил, жаловался и негодовал. Так внутри чугунной болванки, застывшей на холоду, еще краснеет разгоряченное сердце.

Ирина, высказав все, почувствовала облегчение. Она теперь не боялась измены, не стыдилась, что идет рядом с Колей. Она даже поглядела ему в глаза — они стояли возле ее домá. Она увидала, что глаза Коли переменились. Он где-то далеко, как будто они уже расстались. Робко она спросила: «Что с тобой, Коля?..» Коля ответил: «Со мной? Не знаю. Наверно, то же самое... Понимаешь? А теперь до свиданья. Встретимся на стройке».

11

В старой книге сказано, что всему свое время: время кидать камни и время их собирать. У революции было мало времени и много сил. Она все делала разом. Гудели экскаваторы среди степи, и печальная трава покрывала площади бывших губернских городов. В селе Криводанове из шестисот домов сто двадцать пустовали. У них были выколотые глаза и на боках раны. Это были хорошие, крепкие дома, но хозяева их бросили, и дома гнили. Одних хозяев раскулачили, другие ушли на стройку. Криводаново умирало. В десяти километрах от села находился совхоз. Там с утра до ночи люди строили: они строили свинарни и крольчатники, амбары и бараки. Там было шумно и тесно. Люди жили в землянках и говорили о перевыполнении плана.

Люди научились кидать камни и убегать от камней. Каждый спасал то, что ему было дорого. Бывшая томская мещанка Баранова спасала свою жизнь. Когда в Томск пришли белые, она натерла маслом иконы. Когда город взяли красные, она сняла иконы и начала всем рассказывать, как ее покойного мужа в пятом году избили казаки. Когда объявили принудительные работы, она достала у доктора свидетельство с большой печатью. Когда по ее карточке перестали выдавать хлеб и подсолнечное масло, она уговорила племянника Мишу вступить в партию: «Ты,

Мишенька, за меня похлопочи!..» В годы нэпа она пекла пирожки с мясом и продавала их на базаре. Когда Широкова посадили, она прокляла торговлю и поступила на службу. Она была курьершей в санитарном отделе. Она ползала по полу с тряпкой и думала, где бы раздобыть сахар. Она сносила все в свою нору, как зверь перед зимой: старые газеты, соль, веревки, яблоки. В сундуке у нее были запасы монпансье и спичек. Она боялась, что завтра ничего не будет, и она отстаивала свою жизнь. Потом ее решили сократить. Она тихонько помолилась перед иконой троеручицы и пошла на заседание комиссии. Она заявила, что Маслов говорит за царя и крадет мыло. Она не чувствовала к Маслову никакой злобы, но она хотела жить. Она продержалась на службе еще год. Потом ее все же сократили. Она ходила к Розенфельдам мыть полы. Там ей давали крупу и масло. Когда открыли торгсин, она понесла туда колечко. Она принесла из торгсина муку, положила ее в сундук и облегченно вздохнула. Она ела мало, но она спала на сундуке и, просыпаясь ночью, с радостью думала, что муки хватит до осени и что она отстояла свою жизнь.

Розенфельд оказался в Томске случайно: он ехал в Нарым. Он во-время заболел не то воспалением легких, не то острой неврастенией. Он вцепился в Томск и остался. Он говорил, что его преследует «злой рок». В бумаге значилось куда суше, что Розенфельд выслан из Москвы за злостную спекуляцию. У Розенфельда были свои вкусы. Он не хотел ни чистить улицы от снега, ни жить на скромное жалование, ни строить кузнецкий гигант. Он торговал с ранних лет, и он хотел торговать. Он был ловок и недогадлив. Он понимал, как надуть фининспектора, но он не мог понять, что на дворе революция. Встречая человека с портфелем, он пугливо озирался, но жил он бурно и бесстрашно. Он торговал всем, чем мог. Он сидел в чека четыре раза. Каждый раз он прощался с жизнью и плакал навзрыд. Но никогда он не забывал о главном: он спасал добро свое и своей семьи. Его сын поместил в газете объявление: «Настоящим заявляю, что с 1926 г. порвал всякие отношения с моим отцом Наумом Розенфельдом». Он прочитал объявление и усмехнулся. Он не обиделся на сына. Он сказал рыжему Кану: «Я должен работать, чтобы мои

дети вышли в люди». Его дочка вышла замуж за партийного. Она отказалась взять у отца сорок червонцев и браслет. Розенфельд на минуту задумался, а потом сказал жене: «Рая взбесилась! Но ты увидишь — она придет ко мне через месяц. Или через год. Я должен работать, чтобы ты и наши дети жили хорошо». Он жил в Томске убого, но полный надежд. Он продавал касторку, электрические лампочки и мармелад. Он купил у Барановой золотую брошку, отнес брошку в торгсин, в торгсине купил сахар, сахар продал на базаре и на вырученные деньги купил у Шелгунова портсигар с золотой монограммой. Ложась спать, он стонал от десяти болезней, и, однако, он улыбался: у него были припрятаны восемь английских фунтов, два бриллианта и ящик со столовым серебром.

Партизан Чашкин спасал революцию. Он спасал ее с винтовкой и с ржавым пером. Он гонял по Алтаю белых. Он поджег вокзал. Он расстрелял охранника. Он командовал отрядом — у него было сорок отчаянных ребят. Когда красные победили, он начал писать доклады. Он устраивал субботники. Он учил тунгусов новой жизни. Он ездил по деревням и уговаривал крестьян сдавать хлеб. Он шел впереди красного обоза, состоявшего из семи телег, запряженных клячами, как он шел некогда во главе отряда, который брал города. Он сидел и думал о том, как бы улучшить жизнь. Он увидел на заводе железные обрезки и придумал, как из этих обрезков делать вилки. Он написал об этом статью в газете «Красное знамя». Когда его жена купила у Розенфельда стеганое одеяло, он угрюмо сказал: «Если ты будешь способствовать спекуляции, я не посмотрю, что жена...» Он кричал на своего сына: «Ты должен быть сознательным пионером, а ты что же, — перышки вымениваешь?..» У него было хорошее место и квартира из трех комнат. Он бросил все и уехал в Кузнецк. Он чувствовал, что там идут бои, и он хотел вместе с другими итти на приступ. Он знал в жизни одно: он спасал революцию.

Наталья Петровна Горбачева не спасала ни свою жизнь, ни добро, ни революцию. Она спасала книги. Она была одинока, немолода и некрасива. Никто не знал даже, как ее зовут, говорили, «библиотекарша». Глядя на нее, люди думали, что она похожа на книжного жучка и что в

ее голове только номера каталога. Они не знали Натальи Петровны. На самом деле ее жизнь была шумной и полной героизма.

В начале революции она ошеломила город. На заседании совета обсуждался вопрос, как отстоять Томск от белых. Чашкин, надрываясь, ревел: «Товарищи, мы должны умереть, но спасти революцию!» Тогда на эстраду вскарабкалась маленькая, щуплая женщина в вязаном платке и закричала: «Сейчас же уведите этих солдат! Они сидят внизу и курят. Каждую минуту может начаться пожар!..» Председатель сурово прервал ее: «Товарищ, вы говорите не к порядку дня». Но женщина не унималась. Она подняла руки вверх и закричала: «Разве вы не знаете, что в нашей библиотеке десятки инкунабул!..» И хотя никто не знал, что такое «инкунабулы», люди, обмотанные пулеметными лентами, смягчились: они увели из библиотеки красноармейцев.

Не одну ночь Наталья Петровна провела на боевом посту. Ей казалось, что она может отстоять книги и от людей и от огня. Она молила бородатых крестьян: «Это народное добро! Это такое богатство!» Она кричала на щеголеватых офицеров: «Вы не смеете так говорить! Это не казарма! Это строгановская библиотека!» Она старалась понять, как нужно разговаривать с этими несхожими людьми. Они стреляли друг в друга. Они хотели победы. Она хотела спасти книги.

Город зяб и голодал. Наталья Петровна получала восьмушку мокрого хлеба и спала в большой насквозь промерзшей комнате. Весь день она просиживала в нетопленной библиотеке. Она сидела одна — людям в те годы было не до книг. Она сидела, закутанная в пестрое тряпье. Из тряпья торчал сухой острый нос. Глаза тревожно посвечивали. Изредка заходил в библиотеку какой-нибудь чудак. Увидев Наталью Петровну, он шарахался прочь: она походила не на человека, но на сову.

Как-то Наталья Петровна повстречалась с профессором Чудневым. Профессор стал жаловаться на голод и холод. Он жаловался также на грубость жизни: «Это ли Томск?.. Вы только вспомните: художественное училище, четыре музыкальных школы, концерты, выставки. Вместо этого — цирк, дурацкие афиши и невежество. Иногда я завидую

тем, которые уехали. Конечно, на чужбине трудно. Но они спасли себя. Они все-таки живут среди культурных людей. А здесь... Вот вы, Наталья Петровна...» Наталья Петровна его прервала: «Что же, я очень счастлива! У меня интересная работа. Я вас не понимаю, Василий Георгиевич! Значит, по-вашему, я должна была все бросить и уехать в Париж? А что стало бы с библиотекой?»

Она раскрывала старые книги и подолгу любовалась фронтисписами. Музы показывали дивные свитки, и они играли на лютнях. Титаны поддерживали земной шар. Богиню мудрости сопровождала сова. Могла ли Наталья Петровна догадаться, что она похожа на эту грустную птицу? Она рассматривала гравюры: сон в летнюю ночь или подвиг Орлеанской девы. Иногда ее волновало начертание букв. Она прижимала к груди книжку и повторяла, как завороженная: «Эльзевир!» Когда она брала с полки первое издание стихов Баратынского, ей казалось, что это не книга, но письмо от близкого человека. Баратынский ее утешал. Потом ее веселил лукавый Вольтер. Рядом с ней были газеты французской революции. Они чинно стояли на полках в красивых сафьяновых переплетах. Она заглядывала в эти газеты, и газеты кричали: «Нет хлеба! Нет топлива! Мы окружены врагами! Мы должны спасать революцию!» Она слышала голоса людей. Это говорил Чашкин. Тусклые пожелтевшие листки помогали ей понять ту, вторую жизнь, которая шумела вокруг здания библиотеки. Когда же, измученная, она готова была пасть духом, она раскрывала «Лоджи» Рафаэля и замирала в темной холодной библиотеке перед той красотой, которую не вмещали ни громкие годы, ни маленькое человеческое сердце.

С тех пор прошло немало времени, и библиотека наполнилась гулом. Сотни вузовцев поспешно листали книги: они хотели узнать все. Наталья Петровна могла бы радоваться: самое трудное было позади. Она отстояла библиотеку. Чашкин полушутя, полувсерьез сказал: «Вы, товарищ Горбачева, молодчина! Вам нужно выдать орден Красного Знамени». Наталья Петровна смущенно покраснела: «Глупости! Но я хочу вас попросить об одном: достаньте дрова. Библиотеку то топят, то не топят. Я лично привыкла, но книги от этого очень портятся».

Она попрежнему не знала покоя. Внизу, под библиотекой, устроили кинематограф. Как некогда, призрак пожара преследовал Наталью Петровну. Она боялась, что книги погибнут от сырости. Она боялась также, что приедут люди из Москвы и увезут самые ценные книги. С недоверием она поглядывала на новых читателей: они слишком небрежно перелистывали страницы. Она подходила к ним и жалобно шептала: «Товарищи, пожалуйста, осторожней!» Она страдала оттого, что никто не чувствовал к книгам той любви, которая переполняла ее сердце. Они брали книги жадно, как хлеб, и у них не было времени на любование.

Иногда Наталья Петровна спрашивала себя: неужто никто не может разделить ее чувства? Среди людей, которые сидели над раскрытыми книгами, она искала одного, как она, влюбленного в эту рябь букв, в этот шелест листов, в пыль, в блеклое золото переплетов. Она проверяла глаза, движения рук, улыбки и почерк. Требовательные записки ее волновали, как письма. Она знала читателей так же хорошо, как книги, знала, что читает каждый из них, что он оставляет не дочитав, что перечитывает.

Когда она, наконец, нашла того, которого так долго искала, она не сразу ему поверила. В течение нескольких месяцев она за ним неотступно следила. Она заметила, как его взволновал Сенека. Она заметила также, что, читая Свифта, он нервно усмехался. Она знала все, что он брал в библиотеке. В списке значилось: «Чаадаев, святой Августин, Розанов, Дидерот, Кальдерон, Тютчев, Жерар де Нерваль, Хомяков, Гейне, Ницше, Паскаль, Соловьев, Анненский, Бодлер, письма португальской монахини, Пруст, история Византии, Джемс, апокрифы, дневники Талейрана, словарь Даля, д'Оревильи, Декамерон, библия».

Как-то он взял «Похвалу глупости». Наталья Петровна видела, что он делал пометки на листочке. Он при этом морщился, как будто книга причиняла ему боль. Уходя, он забыл листок в книге. Наталья Петровна долго колебалась: вправе ли она посмотреть?.. Может быть, это что-нибудь личное? Но соблазн был велик, и она достала записку. На листочке стояла выписка из Эразма: «Мудрая природа окутала младенцев покровом глупости, который, чаруя родителей и воспитателей, награждает их за труды,

доставляет малюткам любовь и опеку». Тогда Наталья Петровна поняла, что этот человек мог страдать от книг, как другие страдают от неудачи или от обиды. На требовательной записке значилось: «Владимир Сафонов», и Наталья Петровна несколько раз повторила это имя.

Она теперь встречала его улыбкой. Она находила, что его глаза свидетельствуют о высоком уме и о глубине чувств. Он казался ей одним из тех титанов, которые на старых фронтисписах поддерживали мир. Ее не смущали ни его тщедушность, ни очки. Очки ей даже нравились. Она делила все вещи на свои и враждебные. Враждебными были: винтовки, калоши, мяч, снег, коньки, телеги и огонь. Своими были: стол, лампа, тетрадки и очки. Ей было сорок шесть лет, но, думая о Сафонове, она краснела, как школьница.

Она решила заговорить с ним, заговорить сразу о самом главном: не о себе, не о нем, но о книгах. Она улучила минуту, когда Володя остался один: библиотеку закрывали. Он еще сидел, сгорбившись над Плотином. Наталья Петровна бесшумно подошла к нему и, задыхаясь от волнения, сказала: «Я заметила, что вы не как другие. Вы любите книги, и вы...»

Володя вздрогнул от неожиданности. Никогда прежде он не замечал лица библиотекарши. Она показалась ему большой уродливой буквой. Ее голос походил на шорох листов. В библиотеке никого не было, и на минуту Володе стало страшно. Он стоял молча. Молчала и Наталья Петровна. Она хотела сразу спросить его обо всем: почему его смутил Свифт, что означает выписка из Эразма, какие переплеты он больше любит, видал ли он ранние издания Шекспира... Но она ни о чем его не спрашивала. Она только еще раз сказала: «Вы ведь любите книги?» Тогда Володя усмехнулся — так он усмехался, читая Свифта. «Вы думаете, что я люблю книги? Я вам скажу откровенно: я их ненавижу! Это как водка. Я не могу теперь жить без книг. Во мне нет ни одного живого места. Я весь отравлен. Что же вы мне прикажете делать после Плотина? Строить домны? Гулять с «девахами»? Я спился. Вы понимаете, что значит спиться? Только алкоголиков лечат. А от этого нет лекарств. Бессмыслица, но факт... Будь это в моих силах, я поджег бы вашу библиотеку.

Принес бы керосина, а потом — спичкой... Ах, как это хорошо было бы! Представьте себе...» Он не докончил фразы: он поглядел на Наталью Петровну и сразу замолк. Она дрожала, как в лихорадке. Володя спросил: «Что с вами?» Она не ответила. «Вам воды надо... Пожалуйста, успокойтесь!..» Наталья Петровна молчала. Тогда Володя крикнул: «Эй, товарищ! Вы бы воды дали!..» Служитель Фомин принес кружку, полную доверху. Он бормотал: «Довели! Паек-то у нее — кот наплакал. Глядеть страшно: кожа да кости...» Наталья Петровна, опомнившись, сказала: «Уберите воду, — вы можете замочить книги». Потом она строго поглядела на Сафонова: «Уйдите! Вы хуже всех. Вы варвар. Вы поджигатель». Володя неловко помял кепку в руке и вышел.

Для Натальи Петровны настали мучительные дни. Она приходила в библиотеку, просматривала списки, тревожно проверяла градусник и возмущалась кинематографом. Все это она делала по привычке. В ее душе было смутно и неспокойно. Кажется, ничего не изменилось. Попрежнему вузовцы читали книги. На третий день она увидала Сафонова. Он снова сидел над Плотином. Проходя мимо нее, он отвернулся. Но Наталье Петровне он был теперь безразличен. Она думала не о нем. Она думала о книгах: впервые она усомнилась в их правоте.

Студенты занимаются: они готовятся к зачетам. Но кому нужны те, другие книги, тени Гамлета, и Дон-Жуана, летописи и рифмы, ворохи слов, то нежных, то жестоких? Эти книги утешали Наталью Петровну в голодные годы. Но, может быть, она больна, как тот сумасшедший в очках? Может быть, ей нужны эти книги только потому, что у нее нет ни дома, ни семьи, ни живой работы? Она в страхе проводила рукой по лбу, как будто желая понять, что происходит в ее голове. Она больше не раскрывала любимых книг. Она готова была погибнуть, и Фомин, глядя на нее, уныло сморкался. Он бормотал что-то о «бесчувственных людях».

Наталья Петровна вечером проверяла шкапы. К ней подошла крепкая девушка с крутыми скулами и с деревенским румянцем, Наталья Петровна уныло подумала: химия или медицина? Они сдают зачеты. Что им Шекспир или Лермонтов? Девушка, смущенно переминаясь, ска-

зала: «Товарищ заведующая, можно мне с вами поговорить наедине?» Наталья Петровна удивленно пожала плечами: должно быть, снова кто-нибудь крадет книги... Она ответила: «Хорошо. Только обождите, пока закроют».

Когда они остались вдвоем, Наталья Петровна присела на табурет и, глядя в сторону, спросила: «Ну, в чем дело?»

«Вы меня простите, что я вас занимаю такими глупостями. Но мне не с кем посоветоваться. Мне вот придется вам рассказать целую историю. Только вы мне скажите — вы, может быть, торопитесь?» Наталья Петровна никуда не торопилась. Дома ее ждала холодная постель и чай без сахара. Но она была в размолвке с книгами и с людьми. Она хотела ответить: конечно, тороплюсь. Но она посмотрела на девушку. Она увидела доверчивые глаза и рот, чуть приоткрытый от смущения. Она ответила: «Можете говорить. У меня времени много». Она забыла сказать посетительнице, чтобы та села. Девушка говорила стоя, она волновалась и теребила полу пальто.

«Я, знаете, из Чернышевки. Отец сначала вошел в колхоз. Потом поссорился и вышел. Ну, а хлеба все равно не было. У старшей сестры муж работал на стройке, в Кузнецке. Он написал: «Пусть Валя приезжает сюда. Здесь хоть сыта будет». Я и поехала. Меня поместили уборщицей в бараки. Потом пришел Грольман и заметил, что чисто. Он спросил меня: «Как тебя звать?» Я сказала. А на следующее утро меня вызвали и сказали, что я буду работать в служебном вагоне как проводник. Я сначала очень обрадовалась: в вагоне чисто, да и работа легкая. Но до меня там работала Шаболова. Она вышла из вагона на станции размять ноги, а здесь-то все стянули, — одеяла, даже тарелки. Мне сказали: «Ты смотри не отлучайся». Так я и оказалась вроде как в тюрьме. Даже когда в Кузнецке стояли, я не выходила. Разве что попрошу кого-нибудь покараулить и сбегаю к сестре. Вот в этом вагоне я и начала читать. Я прежде только что грамоту знала. А которые ездили, они оставляли в вагоне разные книжки. Романы я не любила: роман прочитаешь, и все уж известно — неохота перечитывать. А книг было мало. Я каждую с жалостью дочитывала. Но там один инженер забыл книжку. Я сначала ничего не понимала. Раз сорок я ее прочитала и

наконец-то поняла. Это «Диспетчерское руководство движением поездов». Для втузовцев. Один товарищ ехал из Томска. Я ему показала. Он рассмеялся: «Да ты ничего в этом не понимаешь! Это по специальности». Но я ему по чертежам все показала: рычаги, лампочки, пусковую кнопку. Он очень удивился и сказал, что мне надо готовиться в транспортную школу. Написал на листочке, какие книги читать. Я некоторые достала в Новосибирске. Начала зубрить математику. За лето очень много успела. Грольман ко мне очень хорошо отнесся. Сказал: «Мы тебя выдвинем для начала в рабфак».

Я здесь уже два месяца. Столько узнала, что самой страшно! Я даже не думала раньше, что можно столько знать. А я ведь еще ничего не знаю, если меня сравнить с профессором или с вами. Я все время занимаюсь. Но только нет у меня полной удовлетворенности. Я, конечно, понимаю, что на первом месте должна быть специальная подготовка. Но вот и товарищи говорят, что нельзя быть узким специалистом. Мне хочется понять очень многое до самой глубины. Я знаю, есть книги, которые не по программе, но они очень развивают. Я вот читала Пушкина, это мне очень помогло. Только я сама не знаю, что мне читать в свободное время. Вот я и решила вас спросить как заведующую. Очень много здесь книг! Сама я никогда не разберусь. Вы мне, товарищ, помогите!..»

Наталья Петровна вскочила и обняла девушку. Хотя она была куда ниже ростом, ей казалось, что она обнимает свою дочь. Не раз ее спрашивали: «Что мне читать?» В этих вопросах она чувствовала любопытство, скуку или корысть. Люди брали книги, чтобы подготовиться к зачетам или чтобы развлечься. Но эта девушка хотела от книг правды. Наталья Петровна глотала слезы. Наконец-то она увидела, что не зря трудилась, что стоило охранять книги от огня и от людей. Пришла девушка из какой-то Чернышевки и поняла, зачем здесь собраны все эти старые темные книги.

Нескладно всхлипывая, Наталья Петровна говорила: «Книги — большая вещь! Он это зря сказал, их нельзя сжечь, их надо хранить. Вы, товарищ... Как вас зовут? Валя? Вы, Валя, идете к настоящей правде. Я вам сейчас покажу замечательные книги. Пойдемте наверх!»

Она повела девушку на верхний этаж. Там хранились самые ценные книги, и Наталья Петровна никогда не пускала туда посетителей. Она сразу хотела показать Вале все: и Баратынского, и газеты французской революции, и Минерву с совой. Она говорила: «Вот возьмите эту большую... Вы сильней меня. Я не могу поднять — ослабла. Хлеба мало. Но это пустяки. Я ни на что не жалуюсь. Наоборот, я так счастлива! Вот эту... Дайте сюда, скорей! Это — «Лоджи» Рафаэля. Посмотрите — какая красота, какая красота!..»

12

В Кузнецк часто наезжали иностранные посетители. Они глядели на домны и на землянки. Они фотографировали раскосых шорцев. Они спрашивали: «Где здесь ударники?» Потом, удовлетворенные, они садились в спальный вагон. Они ехали дальше: в Шанхай или в Москву. К чудесам, достойным обозрения, к снегам Монблана и к египетским пирамидам бюро путешествий приписали еще одно: советскую стройку.

Томск лежал в стороне, и редко кто из иностранцев добирался до Томска. В Москве имелись кремлевские соборы и мавзолей Ленина, в Свердловске — небоскребы, а также подвал ипатовского дома, в Новосибирске — соцгород и «нахаловки». В Томске ничего не было: ни древних церквей, ни образцовых яслей, ни бараков. Это был город без достопримечательностей.

Случалось, однако, судьба заносила и в Томск непоседливых чудаков. Они приезжали с большим путеводителем и с мясными консервами. Они глядели на томичан, и томичане глядели на них. Понять друг друга они не могли — здесь были бессильны и словари и переводчики.

В Томск приехал профессор Иенского университета Плихтер. Он изучал камланье шаманов. Он покупал у шорцев и ойротов деревянных божков или бубны. Он подружился с профессором Черницким. Они беседовали о костюмах тунгусов и о гончарном искусстве монголов. Черницкий сказал Плихтеру: «Тунгусы — франты. У нас говорят: «Тунгусы Сибири — французы». Плихтер долго

хохотал: он стал весь лиловый от смеха и, смеясь, приговаривал: «Вот так французы!..»

Накануне отъезда Плихтер пришел к Черницкому. Они пили чай, и Черницкий угостил гостя коржиками с черемухой. Плихтер пил чай вприкуску: он успел ознакомиться с бытом Томска. Черницкий вдруг сказал: «Ну и жилет у вас — прелесть! В таком не замерзнешь...» Плихтер расчувствовался: «Разрешите, я вам его оставлю?» Черницкий поспешно ответил: «Что вы! У меня такой же. Я не ношу только потому, что очень жарко в нем». Плихтер с грустью оглядел Черницкого: он был плохо одет, на локтях блестели неуклюжие заплаты, а коржики он ел бережно и углубленно, как ребенок ест конфету. Плихтер сказал: «Вы работаете в ужасных условиях». Черницкий промолчал. «За границей вы могли б куда больше сделать, даже в вашей области». Черницкий снял очки и удивленно заморгал. «Конечно, здесь не жизнь, а чорт знает что. Но это ведь мелочь. Зато какие у нас возможности! Я вот привык к моим тунгусам. Сначала они меня побаивались, а теперь я у них вроде как свой. Мне удалось кое-что сделать для борьбы с суевериями. У них, знаете, насчет гигиены — беда!.. Женщина рожает — ужас берет. Мы здесь как-то поневоле распыляемся. Вот сказал: «поневоле» — и глупо. По самой что ни на есть воле. Так что вы меня не жалейте. Я замечательно живу. Дайте я вам налью еще стаканчик. Только, позвольте, я сахар положу, а то вы не привыкли...»

Когда профессор Плихтер читал в Иене доклад о верованиях сибирских народов, он вдруг вспомнил Черницкого. Он сказал невпопад: «Вообще я должен отметить, что все население Советской России, включая даже передовые умы, охвачено мистицизмом, который абсолютно непонятен для европейского сознания».

У Давида Гольдфильда был в Нью-Йорке меховой магазин. Он объезжал Сибирь, прельщенный советской пушниной. Его сопровождал сотрудник «Интеграла». Гольдфильд был родом из Белой Церкви. Он с удовольствием ел селедку и объяснялся, не прибегая к помощи переводчика. Он говорил вместо «билет» — «тикет», а секретаря горсовета называл «мистером Хоршковым». Он любил слушать русские песни. Он подошел в парке к Пете Рож-

кову и сказал: «Если вы споете про ухаря, я подарю вам доллар». Петька едва сдержался, чтобы не прыснуть. «Я пою, как немазаное колесо. Вы лучше пойдите в «Коммерческую столовую» — это рядом с цирком. Там, если вам угодно, споют, там даже кубарем вертятся». Гольдфильд обиженно поморщился: «Я не люблю, когда вертятся. Я люблю, когда красиво поют».

Он побывал в музее. Увидев картину Венецианова, он восхищенно вздохнул и спросил: «Сколько — в валюте?..» Над ним тихонько посмеивались, но сотрудник «Интеграла», памятуя о долларах, говорил: «Мистер Гольдфильд известен как тонкий ценитель искусства». Мало-помалу Гольдфильд сам начал верить, что он в душе не скорняк, но художник. Он купил в торгсине две иконы и, коверкая непривычные слова, хвастал: «Это уникумы! Одно покрывало девы и одна Параскевья!»

Он ходил в «Коммерческую столовую» и слушал цыганские романсы. Там он встретил Фаддея Ильича. Это был сибиряк с большой бородой и с хитрыми глазенками. Фаддей Ильич налил водку в чайные стаканы. Гольдфильд замер, но попробовал улыбнуться. Он даже сказал: «Ваше здоровье». Тогда Фаддей Ильич, лукаво прищурясь, ответил: «А чо нам болеть?..» Гольдфильд в тоске подумал, что Россия страшная страна.

Его утешила Шура Карцева. Она сидела в «Коммерческой столовой» за кассой. Она сказала Гольдфильду: «Здесь теперь все думают только о хлебе. А у вас, Давид Исаевич, музыкальная душа...» Он готов был прослезиться от умиления. Он дал Шуре два доллара. Шура побежала в торгсин за мукой, а Гольдфильд, вспомнив о выдрах и песчаниках, отбыл в Новосибирск.

Немка Эллен Штейн изучала постановку в Советском Союзе ритмической гимнастики. В Омске она выступила с докладом о необходимости гармоничного развития тела. Она презирала традиции, брак и семью. Она искала нового человека.

В Томске она первым делом пошла к Постникову. С жаром она говорила: «Вы не гнилые европейцы, вы мудры, как звери. Товарищ Постников, я чувствую, что вы — новый человек! У вас суровый взгляд, и вы ходите, как медведь. Вы должны меня научить не только поста-

новке воспитания, по настоящему чувству...» Переводчиком был бывший преподаватель гимназии Перепелкин. Он привык переводить доклады о блюмсах или о соломке для спичек. Однако он не смутился и перевел слова Эллен. Постников поглядел исподлобья на немку: «Переведите ей, что я женат. У меня трое детей. У меня нет времени для такой ерунды. Я занят. При чем тут звери?.. Она может осмотреть ФЗУ и «Дом матери». Он не выдержал и отвернулся: никогда в жизни Постников не видал таких яркокрасных губ. Он закричал: «Знаете что, уберите ее отсюда! Мне вот надо разместить четыре тысячи вузовцев. Голова идет кругом. А тут еще эта баба!..»

Эллен попробовала завести знакомство с вузовцами. Она подозвала Васю Смолина. Вася спросил: «У вас в Германии какие автомобили — форд или свои?» Эллен раздраженно ответила: «Я ненавижу машины! Они убивают чувство. Мне куда милее лошадки». Тогда Вася не стал с ней разговаривать. Она пожаловалась Перепелкину: «У вас очень грубая жизнь». Тот ответил: «Да». Эллен подумала и шепнула: «Приходите вечером ко мне». Перепелкин сначала обрадовался. Потом он пошел домой, поглядел на рваную рубашку — другой у него не было. Подойдя к зеркальцу, чтобы побриться, он увидел большую уродливую плешь. Он уныло подумал: «Волосы лезут, а все потому, что мало жиров...» Он зевнул и не стал бриться. Он был приписан к плохому распределителю и ненавидел жизнь. Он не пошел на свидание.

Эллен Штейн уехала в Красноярск, так и не разыскав нового человека.

Трудно сказать, почему приехал в Томск Джексон. Это был сухопарый, печальный англичанин. Войдя в номер гостиницы, он спокойно оглядел его: так он оглядывал океан или джунгли. Он увидал колченогую кровать и пузатую купеческую конторку. Над конторкой висел плакат: «Плевать воспрещается». Джексон спросил: «Клопы есть?» Дежурная загадочно вздохнула: «Не жаловались». Тогда Джексон отослал переводчика и начал читать книгу, длинную и утомительную. Всю ночь он боролся с героями какого-то романа, а также с насекомыми. Наутро переводчик предложил ему осмотреть тюрьму, превращенную в редакцию газеты, спичечную фабрику и цирк. Но Джексон ответил,

что это его не интересует. Он мрачно шагал по дощатым тротуарам, и тротуары в страхе подпрыгивали. При виде его широчайших штанов вузовцы весело прыскали. Но он не обращал на них внимания.

Он пробыл в Томске четыре дня. Потом он попросил счет. Он взял потрепанный чемодан, весь покрытый наклейками, и направился к выходу. Его остановили, потребовав пропуск. Увидав, как уборщица проверяет, не вынес ли он чего-нибудь из номера, он впервые улыбнулся. На вокзале переводчик спросил его: «Простите нескромность, но почему вы сюда приехали?» Джексон помолчал, а потом ответил: «Я всегда делаю не то, что надо».

Иностранец, с которым столкнулся Володя Сафонов, не был случайным ротозеем. Он твердо знал, зачем он приехал в Томск. Это был журналист Пьер Самен. В Сибирь его послала большая парижская газета. Он не хотел ехать: с детских лет при слове «Сибирь» он ежился — ему казалось, что в Сибири холодно даже летом. Но газета платила хорошо, а Самен недавно купил новый автомобиль и залез в долги. Он поворчал и согласился.

Он любил жену, маленький пляж близ Бордо, весь поросший соснами, марсельские анекдоты и вечера в скромном ресторанчике «У Венсена», где после бутылки хорошего бургонского полушутя, полувсерьез он доказывал осовевшим приятелям, что кто-кто, а он-то знает жизнь. Он говорил: «Погодите! Автомобиль Форда можно сделать и в Париже — раз-два. А вот посадите-ка в Америке бургондскую лозу. Получится не вино, но бурда». Потом он говорил: «Кстати, со вчерашнего дня собакам разрешается ездить в трамваях. Это — сто сорок лет спустя после Великой революции. Спрашивается, стоило ли делать для этого революцию?..» Хотя приятели давно знали все сентенции Пьера, они, стряхивая дрему, смеялись — Пьер был «славный малый».

Самен считал, что человечество заслуживает презрения. Он говорил: «Смерть от заворота кишок, после хорошего обеда, куда достойней смерти на баррикадах. К счастью, с баррикадами дело кончено: у полиции теперь пулеметы и газы. Кто говорит о спасении человечества? Жулики. Или идиоты. Жуликов легко подкупить. А идиотов следует посадить в «Общество покровительства

животным». Или сослать на необитаемый остров. Тогда сразу кончится весь коммунизм». Левая газета его отправила в Италию. Он возмутился страданиями рабочих и написал: «В стране, которая родила Дантона, нет места для Муссолини!» Потом он перекочевал в другую газету. Ему поручили доказать, что большевики страшнее кризиса. Он был толковым журналистом, и он знал заранее все, что напишет.

Он успел побывать в Новосибирске и в Кузнецке. Он видел повсюду то, что хотел увидеть: невежество, печаль, нищету. В Томск он приехал, чтобы написать статью о советской школе. Он искал студента, с которым мог бы поговорить без переводчика. Ему указали Володю Сафонова.

Они разговаривали в саду, перед университетом. Самен прежде всего спросил: «Может быть, вам неудобно говорить со мной? Вы мне скажите откровенно: я ведь знаю ваши порядки. В Свердловске одна дама рассказала мне много интересного: про хищения, и как коммунисты кутят. Но если бы вы видели, до чего она боялась!.. Мне пришлось тряхнуть стариной — когда-то я встречался «конспиративно» с одной замужней женщиной, конечно, при других обстоятельствах... Если у вас имеются сомнения, мы можем отложить наш разговор...» Володя поморщился: «Глупости! Мне интересно с вами поговорить».

Самен закидал Володю вопросами: «Сколько раз в месяц ваши товарищи едят мясо? Как обстоит дело с квартирами? Наверно, студенты развратничают? Потом я хотел спросить вас о школе — как поставлено преподавание общеобразовательных наук, например древней истории? Допустимо ли объективное изложение идеалистической философии? Но ведь студенты должны страдать от такого деспотизма!..»

Володя отвечал кратко, как бы нехотя: «Мясо я ел в последний раз месяца два назад. Суп, каша. Сплю в общежитии. Нас шестнадцать человек. Страшная скученность. Разврата никакого. Древней истории вовсе не преподают. Все освещается с точки зрения диамата. Вы не понимаете? Это диалектический материализм. Вузовцы, по-моему, отнюдь не страдают. Что касается меня, то я не типичен. Я — островитянин. Товарищи, те всегда веселы. Вероятно, от этого я и страдаю».

Эти ответы были столь скудны и неинтересны, что Самен еще раз спросил: «Может быть, вы мне не доверяете?..» — «Я вам ответил, как мог. Но, по-моему, вы не о том спрашиваете. Если вы хотите говорить о вузовцах, надо забыть о древней истории. А если вас интересую лично я, то при чем тут мясо или жилплощадь? Мои лишения — несколько в иной области. Я так рад, что я вас встретил! Я знаю Францию только по книгам. Вы для меня — человек «оттуда». Вы не сердитесь, что я вас задержу расспросами...»

Володя спрашивал горячо и сбивчиво. Боясь забыть о главном, он прерывал себя. Он иногда замолкал, выжидая, что скажет его собеседник. Но тот слушал молча. И Володя снова начинал говорить: «Я вот читал о «беспокойстве». Это, кажется, основная тема ваших молодых писателей. Что их тревожит? Механизация жизни? Окостенение? Гибель культуры? Я не могу уловить чего-то главного. Мне кажется, что я слышу тревожные сигналы, но я так и не знаю, в чем дело — пожар, наводнение, обвалы?.. Хотя бы сюрреалисты... С одной стороны — культ сна, утверждение некоторой сверхреальности. В философском плане это чистейший идеализм. С другой стороны, они тяготеют к коммунизму. Может быть, это в виде протеста?.. Я не знаю, понимают ли они, что такое коммунизм?.. На земле. Скажем, в Томском университете. Наши ребята и фрейдизм! Это нелепость! Отсюда я никак не могу в этом разобраться. Я хотел достать новые сборники стихов. Но здесь опять — непонятное: у меня создалось впечатление, что во Франции больше не пишут стихов. Это так? Почему?.. Какова же роль Валери?.. В особенности интересно, каково его влияние на молодежь?.. Если бы я мог перенестись туда на один час! Вы, наверное, знаете что-нибудь о философских кружках среди студенчества. Какие течения сейчас доминируют?..»

Самен был раздосадован: ему казалось, что этот студентик хочет щегольнуть перед иностранцем случайными и поверхностными знаниями. Он сердито ответил: «Вы видите не Францию, но карикатуру. «Беспокойство!» Это все болтовня! Это выдумали несколько снобов. А сюрреалисты — мальчишки. Притом добрая половина из них иностранцы. При чем тут французская культура? Конечно, Валери знаменитый поэт. Его выбрали в Академию. Но если

на то пошло, я вам скажу откровенно: я его никогда не читал. Да и не собираюсь читать. Его никто не читает. Это такая скучища! Похуже Пруста. Бросьте вы эту канитель! Наши студенты, право же, куда умней. Учиться, так учиться. Диплом, так диплом. Но они умеют и повеселиться. Когда я здесь в вашем Томске вспоминаю Буль-Миш, тоска берет. Буль-Миш — это улица. Латинский квартал. Там кафе и все сплошь студенты. Ну и девчонки! Посмотрели бы вы на «мономы» — это они устраивают шествия и поют...»

Володя встал. Не глядя на Самена, он проговорил: «Петь и у нас умеют. Спасибо за информацию. От меня, я думаю, вы все уже узнали. Если хотите еще спросить, пожалуйста... Мясо чрезвычайно редко. Вы так и хотели? Значит, все в порядке. О Гомере слыхали только редкие идиоты. Их зовут «изгоями», я затрудняюсь перевести — это архаизм. Что касается идеализма и прочего, я вам расскажу смешную историю. Вам, наверно, понравится. К тому же — лестно для национального самолюбия. Здесь в позапрошлом году несколько вузовцев устроили кружок. Назвали «Ша-Нуар» — в честь парижского кабаре. Читали вслух стихи. Про красоту. Как вы сказали, «скучища» — вроде Валери. Ну, их и проработали. Теперь вам еще сильнее захочется на веселый Буль-Миш. Что же, счастливой дороги!» Он вежливо откланялся.

Он шел, как всегда, угрюмый и отчужденный. Он не мог понять, почему разговор с французом настолько расстроил его. Вероятно, где-то в глубине его сознания жила робкая надежда, что он не одинок, что далеко отсюда, на другом конце света, у него имеются неведомые друзья. Он часто пытался представить себе этих далеких единомышленников. Он видел усмешку и пытливый взгляд. Он знал, что жизнь и там лишена пафоса. Он равно презирал и Форда, и неокатолицизм, и демократию. Но отчаянье того, другого, мира ему казалось настолько глубоким, что оно переходило в надежду. Как любитель у радио, он ловил звуки. Над миром стояла тишина. Ее прерывали только вскрики отчаявшихся и мяуканье саксофона. Прислушиваясь к этой тишине, Володя верил, что она может стать новым словом.

Он понимал, что журналист, с которым его свела судьба, пошл и ничтожен. Но все же эта встреча его обескура-

жила. Он увидел, до чего мал тот мир, в котором еще живут его воображаемые друзья. Он шел и думал о спертости мира. Сам того не замечая, он что-то напевал. Он поймал себя на этом — он пел дурацкую песенку: «Смотрите здесь, смотрите там...»

Тогда он собрался с мыслями. Он забыл о французе. Его голова была занята другим. Он чувствовал, что не может дольше молчать. После разрыва с Ириной он не произнес ни одного живого слова. Молчание настолько пугало его, что порой он начинал разговаривать сам с собой, косясь, нет ли кого-нибудь поблизости, — ему казалось, что он сходит с ума.

Неделю тому назад он увидал в столовке объявление о собрании вузовцев, посвященном «культурному строительству». Предстояло еще одно, десятое или сотое собрание с бесхитростным докладом и с путаными прениями, похожими то на школьный урок, то на горячую сбивчивую исповедь. Он решил пойти туда и выступить с речью. Это решение пришло внезапно. Однако он верил, что оно медленно в нем вызревало, что его дневник был только подготовкой к этому неизбежному объяснению, что уже в Челябинске, под грохот машин, он впервые репетировал речь, которая должна походить на выстрел.

Когда он почувствовал, что наконец-то заговорит, он облегченно улыбнулся. Он понимал, до чего жалок и унизителен сарказм его дневников. Не будучи трусом, он был обречен на осторожное юродство, на проглоченные насмешки, на двойное существование. Как все, он слушал лекции, читал книги, обедал в столовке, пытался шутить с товарищами. Он был обыкновенным вузовцем. О другой жизни знали только тетрадки в сундуке. С завистью он глядел на своих товарищей: они мало говорили, но они что-то делали. Как бы ни были повторны и заимствованы их поступки, они могли осуждать, радоваться, надеяться. Они готовились к живому делу: сложные теоремы или загадочные термины включались в план строительства, усваивание истины становилось процессом, родственным коксированию угля или плавке чугуна.

Володя был обречен на бездействие. Все, что он делал — от работы на заводе до математических формул — было только отдачей чужой жизни. С неприязнью он огля-

дывал свое прошлое. Он видел все превосходство отрочества: тогда тормозы еще не работали. Он начал хорошо — только дураки могут смеяться над Дон-Кихотом. Не все ли равно, что Миша или Васька Башкирцев не заслуживали таких страстей? Ветряные мельницы — те же враги. Они ничтожней людей, но их еще трудней уничтожить. Они встают на пути и требуют поединка.

Он только и делал, что уклонялся от боя. Он боялся встретиться с жизнью глаз на глаз. Он лгал и в ответах на анкеты, и в разговорах с товарищами. Он уступил Ирину какому-то Сеньке. Даже Ирине он лгал: он играл в благородство, как будто он не человек, а герой романа. С кем он осмелился быть откровенным? Да только с несчастной библиотекаршей. Почему-то он ее обидел. Она ни в чем не виновата... Она только буква. А книги?.. Книги — ничьи.

Они хотят из книг построить заводы. Это плохой кирпич. Это тонны бумаги. При соприкосновении с некоторыми чувствами они превращаются во взрывчатые вещества. Он, однако, не поднес спички. Он шел к гибели, не пытаясь уничтожить хотя бы частицу враждебного ему мира. Он выше окружающих. Почему же свое превосходство он превратил в проказу? Почему даже Ирину — после того вечера, после черемухи и губ, после сеней, почему и ее он не отстоял, не схватил, не отнял? Он вздумал спасать ее от заразы. Это самый трусливый поступок во всей его жизни. Петька Рожков или Шварц вправе его презирать. Он выбрал трезвость. Он даже написал в дневнике: «К чему донкихотствовать?» Следовательно, он записался в двурушники. Он — один из многих. Другие двурушничают ради куска мяса, ради новых ботинок, ради карьеры. А он? Ради приличия? Ради законов истории? Или, может быть, ради подражания литературным предшественникам? Не для того ли он осудил Дон-Кихота, чтобы повторить Печорина? Как Печорин, он болен бессильным отчаянием, которое прикрыто любезной улыбкой.

Эта суровая оценка и продиктовала решение: он скажет все. Он заранее вдохновлялся враждебными криками. Он был счастлив, что наконец-то окажется один против всех. Они увидят, кто он. Они заревут в злобе. Может быть, они кинутся, чтобы стащить его с эстрады... Продлевая удо-

вольствие, он заглядывал дальше: его вычистят из университета. Мысль о расплате его приподымала. Он стал живей и моложе. Исчезла болезненная вялость. Он глядел на мир если не с задором, то с той незнакомой ему отвагой, которая внезапно сказывалась в беглой усмешке, в блеске раздразненных глаз, в румянце, набегавшем на щеки, при одной мысли о предстоящем. Впервые он подумал об Ирине без приниженности. Он не давал себе отчета в том, что ее образ, память о неловких и горьких объятиях, что вся эта история неудавшейся любви придавала ему силы для бессмысленного и в то же время необходимого выступления.

Он вытащил дневник и попробовал набросать черновик речи: «Вас, наверно, удивят мои слова. Вы привыкли к молчанию. Одни молчат потому, что вы их запугали, другие — потому, что вы их купили. Простые истины теперь требуют самоотверженности. Как во времена Галилея, их можно произносить только на костре. Вы хотите обсуждать вопрос о культуре. Но вряд ли кто-нибудь из вас понимает, что такое культура. Для одних культура — сморкаться в носовой платок. Для других — это покупать книжки «Академии», которых они не понимают, да и не могут понять. Вы устранили из жизни еретиков, мечтателей, философов, поэтов. Вы установили всеобщую грамотность и всеобщее невежество. После этого вы сходитесь и по шпаргалке лопочете о культуре. Вы можете построить тысячу домен, и все же вы не преодолеете вашего невежества. Муравьиная куча — образец разумности и логики. Но эта куча существовала и тысячу лет тому назад. Существуют муравьи-рабочие, муравьи-спецы и муравьи-начальники. Но еще не было на свете муравья-гения. Шекспир писал не о муравьях. Акрополь построен не муравьями. Закон тяготения нашел не муравей. У муравьев нет ни Сенек, ни Рафаэлей, ни Пушкиных. У них есть куча, и они работают. Они носят прутики, кладут яйца, едят друг друга, и они счастливы. Они много честнее вас: они не говорят о культуре».

Володя остановился и перечел написанное. Он подумал: все это литература! Надо говорить проще, прямей. Он решил не писать черновика, но довериться чувству. Его голова была наполнена едкими сравнениями. Он скажет все,

как получится. Это будет куда сильнее приготовленной заранее речи. С отвращением посмотрел он на исписанные листочки: они напомнили ему о годах молчания.

Он сказал Пете Рожкову: «Я сегодня приду на собрание». Петя улыбнулся: «Вот это хорошо! А то у нас мало кто может работать на культфронте. Вася правильно говорит, что надо налечь на искусство. А из ребят никто не знает, с чего начать».

Когда Володя вошел в аудиторию, он увидел лампу и много лиц. У него закружилась голова. Он понял: сейчас это должно произойти!.. Он машинально прошел к трибуне и записался в список ораторов. Он не помнил сейчас ни об Ирине, ни о муравьях, ни о разговоре с французом. Только когда председатель назвал одного из докладчиков: «Товарищ Валерьянов», — в голове Володи встало: Валери — «скучища», Буль-Миш... Он тотчас отогнал от себя эти мысли. Он хотел сосредоточиться и приготовить начало речи. Тогда он почувствовал, что в голове у него пусто. Он растерянно хватался за обрывки несвязных фраз. Как перевести «изгой» по-французски?.. Конечно, все это не случайность, но исторические законы... А стихов у них все-таки не пишут... Может быть, Ирина здесь — она ведь ходит на собрания... Как странно — сидят и слушают... О чем они говорят?..

Володя попробовал прислушаться к речам. Говорил Вася Смолин: «Некоторые товарищи высказывались против оперы. В Новосибирске целый диспут высказался против «Майской ночи»: будто там показывают обнаженные тела, и это искусство классового врага. Я видел здесь две оперы: «Евгений Онегин» и «Кармен». Это большие вещи. Это, что называется, отражает всю эпоху, и потом это так приподымает, что с двойной энергией садишься за работу. Мы не должны отказаться от такого мощного орудия, и поскольку здесь говорили о создании музыкального кружка, я предлагаю...» Володя отвернулся. Он больше не мог слушать. Почему-то он вспомнил противный фильм и фокстрот. Он растерянно усмехнулся: тоже отражает эпоху! Как все это непонятно!.. Нет, Ирина, видно, не пришла... А это кто? Уж не ее ли Сеня?..

Он внимательно оглядел нового оратора. Это был деревенский паренек. Он с жаром говорил о поэзии: «Я вот сна-

чала Маяковского не понимал. Как начну читать — будто язык ломается. Это оттого, что у него необыкновенные размеры. Теперь я вижу, что это настоящая поэзия».

Володя снова задумался. Он вспомнил стихи: «И никого не трогало, что чудо жизни с час...» Эти слова его увели куда-то далеко. Он с болью подумал: хоть бы Ирина пришла!.. Он всполошился: с час. Всего только с час! Кому же нужно другое: споры, муравьи, подвиг? Все это пыль. А жизни нет. С Ириной — кончено. Ирина с таким. Или с его товарищем. Как все глупо сложилось! Он не подумал раньше... Прозевал. А может быть, так и надо: оттенять счастье других. Вот этот — он счастлив? Почему нельзя подойти и прямо спросить: «Ты читал о чуде? У тебя есть? Настоящее? Задыхаешься? Плачешь? Сходишь с ума?» Да нет, у них самообразование, и только. Все-таки странно, что такой читает стихи. Вот бы выпустить его на Буль-Миш... Смешно! Все в мире перепуталось: Маяковский, муравьи, Валери, Володя...

Он снова заставил себя прислушаться к речам. Он увидел девушку. Она очень стеснялась и прятала большие красные руки. Она говорила: «Библиотекарша мне показала некоторые иллюстрации. Это помогает многое понять. Например, трагедии Шекспира — огромный мир! Я как будто увидела живых людей, все их страсти...»

Володя подумал: «Кажется, я записан после девушки... О чем же я буду говорить? Начну так: «Чтобы вырастить плодовые деревья, нужны века. Их скрещивают, прививают дичкам новые ветки. Тогда...» Он не закончил фразы: председатель сказал: «Слово предоставляется товарищу Сафонову».

Когда Володя поднялся на трибуну, он сразу понял, что не знает, о чем ему говорить. Это не был страх перед толпой: он ощущал теперь спокойствие. Ему казалось, что он под водой. Но у него не было ни мыслей, ни слов. В одно мгновение он пережил все события дня: разговор с журналистом, улыбку Пети Рожкова, тетрадку с муравьями, речи говоривших перед ними вузовцев — Кармен, остроносую библиотекаршу. Он начал, как и предполагал: «Плодовые деревья выращиваются веками...» Он запнулся. Ему показалось, что в глубине зала стоит

француз. Он досадливо поморщился: наблюдает! Он отвернулся. Тогда он увидел Петю. Петя, приоткрыв рот, внимательно слушал: ждал, что скажет Сафонов.

Володя заговорил. Ему казалось, что это говорит не он. С удивлением он прислушивался к своему голосу. Голос был взволнованным и полным чувства, но для Володи он был чужим. Он говорил, не останавливаясь, как будто он заранее знал все, что скажет. Он больше не видел раздражавших его глаз. Смутно проплыла в дыму восторженная улыбка Пети. Потом все слилось в одно: это был желтый масленый свет. Он зажмурился, но продолжал говорить:

«Деревья долго выращивают. Потом они дряхлеют и гибнут. У дичков богатая кровь. Им прививают черенки. Впрочем, все это дело садоводов. Я хотел сказать о другом. Я сегодня говорил с одним французом. Это журналист. Он мне рассказал, что во Франции студенты не читают стихов. Они хотят развлекаться. Они учатся ради диплома. Они много знают, но они ничего не могут. Есть во Франции поэт Валери. Его трудно понять. Он иногда темен, как Пастернак. Это настоящий поэт. Француз сказал мне, что Валери никто не читает потому, что это «скучища». Валери где-то написал: «Чтобы действовать, надо многого не знать». Я прежде тоже так думал. Я думал, что вы можете строить заводы потому, что вы не знаете Данте. Это звучит как парадокс, но это не так глупо. Однако теперь я думаю, что Валери не прав. Он живет без воздуха. Можно знать и действовать. Есть знание, которое обрекает на бездействие — я его хорошо знаю: это мертвое знание. Чтобы построить завод, надо что-то знать: это точное, ограниченное знание. То, к чему вы стремитесь, это живая вода. Я скажу прямо: вы очень мало знаете. Но вы уже знаете куда больше, чем эти французские студенты с их дипломами и Буль-Мишем. Я не сравниваю программ. Я говорю о подходе к знанию. Они знают то-то и то-то. Для них важно занять место в готовой жизни, а вы хотите эту жизнь создать. Поэтому вам важно знание как таковое. Можно ли сомневаться в том, за кем будущее? Я это чувствую особенно остро потому, что лично я скорей всего обречен. Я хочу быть со всеми. Я стараюсь хорошо работать. Но надо мной висит какое-то проклятие. Только

не подумайте, что я говорю со стороны. Я действительно пойду со всеми на приступ. Но мое знание не нужно. У профессоров вы учитесь. У Шекспира. У Маяковского. Это и есть те черенки, которые прививают. А я просто ветка. Ее можно отрезать. Листья на ней есть, поэтому и кажется, что я молод. Но плодов не будет. Впрочем, и это вздор! Надо уметь быть смелым. Дело не во мне, дело в нас. Я твердо говорю это слово «мы». «Мы» это означает — против них. Мы должны победить. Мы должны взять у них самое ценное — не как боевые трофеи, но как нашу жизнь, нашу силу, нашу кровь. Культура не рента: ее нельзя хранить в шкапу. Она создается ежечасно — каждым словом, каждой мыслью, каждым поступком. Я здесь слышал — вы говорили о музыке, о поэзии. Это и есть рождение культуры, ее рост, мучительный, трудный рост. Поглядите, что там, на Западе — я это сегодня понял. Музеи и несколько одиноких чудаков. Это смерть. А жизнь. Жизнь здесь...»

Когда Володя кончил, к нему подбежал Петя Рожков. Он схватил руку Володи и закричал в ухо: «Это ты замечательно сказал». Потом подошел Смолин: «Это ты хорошо! Такая самокритика поможет и нам, и тебе. Это большое дело — суметь перестроиться. А теперь я хочу тебя спросить о другом: может, ты войдешь в наш литкружок? Надо помочь ребятам разобраться...» Володя ничего не ответил. Перед ним попрежнему был густой желтый туман. Он пошел к выходу.

У двери кто-то остановил его. Он вздрогнул, почувствовав на своей руке чью-то руку. Он узнал голос. Ирина тихо сказала: «Володя, я так рада за тебя...»

Тогда он поглядел на нее и как будто проснулся. Слова Ирины его оскорбили. За ними ему почудились хлопки какого-то Сеньки. Он, вероятно, ревновал. Впервые за долгое время он увидел Ирину, и сразу понял, что ничего не изменилось. Он был бессилен перед клубком теплых путаных чувств.

Он мучительно морщился. Все происшедшее казалось ему тяжелым сном. Он говорил, как Петя. Потом Петя жал ему руку. Смолин сказал: «самокритика». Наверное они думают, что он хочет примазаться. Ему предложили войти в литкружок. Конечно, что же ему теперь остается?

Как он кричал: «Мы, мы!» Кто это «мы»? Пастернаки? Шекспиры? Сафоновы? Муравьи? Он ни слова не сказал о муравьях. Он сам залез в кучу.

Он раздраженно ответил Ирине: «Почему ты, собственно говоря, радуешься? Может быть, ты думаешь, что я стал Сенькой? Просто двурушничаю. Как все. У меня две жизни: думаю одно, а говорю другое. Я тебе никогда не говорил, что я герой. Ты даже можешь сказать, что я трус. Я не обижусь. Только, пожалуйста, не спутай меня с твоим Сенькой!»

Ирина вся похолодела. Ей показалось, что Володя говорит это, чтобы ее обидеть. Она слышала его речь и знала, что перед всеми он говорил искренно. В тоске она подумала: «До чего он меня ненавидит!» Она попробовала улыбнуться, но улыбка вышла виноватая: «Прощай, Володя! Я послезавтра уезжаю в Кузнецк». Он вдруг приостановился, внимательно на нее посмотрел и шепнул: «Хоть бы там ты была счастлива!» Он сказал это с такой болью, что сам изумился. Ирина крикнула: «Володя, погоди!..» Но он убежал.

Придя к себе, он обрел спокойствие. Он как-то окаменел. Он больше не испытывал ни ревности, ни подъема, ни сожалений. Он раскрыл книгу, как будто ничего и не произошло. Он ответил Пете, что в кружок войти не сможет, так как очень занят. Может быть, потом...

Поздно ночью он вынул тетрадку. Он нетерпеливо улыбался: так пьяница нюхает водку. Он перечел еще раз черновик предполагаемой речи и написал под ним: «То, что не было сказано». Потом он начал писать:

«Самое любопытное, что я говорил искренне. Во всяком случае не от страха. Но я говорил не то, что думал. Или: то и не то. За меня как будто говорили другие. Я наблюдал этот феномен и прежде. Например, в литературе. Я говорил так на собрании не потому, что я трус, но потому, что я калека. Трусость еще можно преодолеть, но нельзя приделать половинку души. Видимо, я быстро приближаюсь к развязке. Что же сказать в дополнение? То, что Ирина уезжает в Кузнецк? Одного этого достаточно для развязки. Но я обещал себе не писать больше о любви. Что касается возможного эпилога, то револьвер — не перо, и за револьвер не бывает стыдно».

13

Школа встретила Ирину неласково. Когда она пришла на первый урок, ребята закричали: «Теперь не родной язык, а школьное собрание!» Она не хотела показаться придирчивой. Она села на заднюю скамью. Какой-то рыжий мальчуган произнес речь: «Во-первых, мы должны поставить вопрос насчет пищи. Почему мне дают суп, а там червяк? Потом, уборщицы швыряются тарелками, как будто мы собаки. А насчет уроков я тоже выражаю протест. У нас увеличили на три часа математику, а от этого происходит переутомление. В прошлом году пятая группа вовсе не проходила немецкий, а нас заставляют. Кому это нужно? Два умывальника, такая очередь, что нельзя помыться. Мыла не дают, а Марья Сергеевна нахально сказала, что мы все равно сопрем. Потом, Иван Николаевич проходит предмет как безусловный вредитель. Почему он нас заставляет прорабатывать историю, как будто это может нас интересовать? Я предлагаю для протеста сегодня не заниматься».

Рыжего мальчугана звали Костей. Это был, видимо, коновод. Его слушали. Но когда одна девочка начала говорить, что на школьном собрании нельзя обсуждать программу, ее тотчас же прервали дружными криками: «Манька, утри нос!.. Учи сама, если хочешь!.. Эх ты, дердидас!.. Она в Ивана Николаевича втюрилась!..» Девочка покраснела и крикнула: «Прогульщики вы!» Миша, который сидел на задней скамье, рядом с Ириной, встал и пробасил: «Я предлагаю устроить общее нарушение дисциплины». Миша измазал мелом спину Маньки. Потом в Ирину полетела грязная тряпка. Откуда-то ребята притащили кота. Кот фыркал и кричал. В углу малыш ревел: «Мои чернила пролили!» Костя строго сказал Ирине: «Можете итти домой. Урока сегодня не будет».

На стройке было много тысяч детей. Они жили с родителями в бараках или в землянках. Отец и мать уходили на работу: они строили завод. Ребята носились по грязи и по снегу. Они кидали камни в автомобили, дразнили старых казахов, дрались, сквернословили.

Паша, сын землекопа, кричал: «Кротов завел Анютку в барак...» Отец говорил Паше: «Замолчи, пащенок! Убью

тебя за такие слова!» Но Паша его не боялся. Он приехал сюда из Владивостока. Он считал, что мир мал как землянка и что он, Паша, нигде не пропадет. Вместе с Темой Челышовым они стянули у немца Гюнтера большую колбасу и четыре бутылки пива. Они выпили пиво и, охмелев, пошли купаться в прорубь. Когда Тема подрался с косым Павликом, Павлик пырнул его перочинным ножиком. Тема не почувствовал боли. Он и не заметил, что у него на животе кровь. Он только кричал возмущенно: «Паскуда! Полушубок изрезал!..»

Тема изводил грабарей. Он пугал коня. Он шел и пел: «Эй ты, царь-грабарь!..» Но Тема любил стройку и, когда в январе, из-за сильных морозов, наружные работы были частично приостановлены, он пошел к Соловьеву: «Вот дурачье — хотят бетон заморозить! Я могу с ребятами пойти на грелки — у меня пимы во какие».

Костя хвастал, что он в столовке получает каждый день два обеда — такой он ловкий. Ваня, которого звали «Ежиком», забрался в Топольники на спортивную площадку и гвоздем пробил два мяча. Тот же Ваня, когда пионеры постановили принять активное участие в постройке ФЗУ, две недели подавал кирпичи, не отрываясь ни на минуту от работы. Когда Леша сказал ему: «Пойдем, я тебе покажу скворца», он прикрикнул: «Отстань ты! Здесь дело делают, а ты вон с чем!..» Он не поддался искушению, хотя он давно мечтал поймать скворца.

Учителя были перегружены работой: с утра до ночи они сидели в школе. Родителям было не до ребят. Дети росли как придется. Стройка для них была джунглями. Они глядели на краны и на оравы разноплеменных людей. Они мечтали как можно скорее стать инженерами и чертить диковинные планы. Но в возмущении они отвертывались от скучных теорем.

Они дрались из-за гнилого яблока. Иногда кто-нибудь из самых отчаянных выменивал теплую шапку на две коробки папирос. Они терялись, когда преподаватель обществоведения спрашивал их о революции пятого года: это казалось им глубокой стариной. Зато они хорошо знали все марки автомобилей. Они знали также, кто записан как ударник, а кто как прогульщик. Они уважали стройку, но им казалось, что взрослые строят завод слишком мед-

ленно. Они пренебрежительно усмехались, глядя на бородатых землекопов или на жалкие тачанки. Они признавали только экскаваторы.

Ругаясь, они кричали: «Эх ты, подкулачник!» Девчонок, которые любили стихи и пестрые ленточки, они называли «твердозаданками». Они строили игрушечные самолеты. Начиная драку, они сурово оговаривали: «Не ладошами — кулаками». Они набирали песок в карманы и на уроке немецкого языка устраивали «газовую войну». Они мечтали о том, как бы пробраться в кино без билета. Они знали все фильмы. Они говорили о Гарри Пиле: «Этот что надо!» Они в точности знали все столовки и кооперативы. Без запинки они могли ответить, где что дают. Они знали, почем на базаре яйца. Они знали также, как работает домна. Писали они с ошибками и в душе не признавали бесспорности орфографии.

Костя сказал англичанину, который работал на ГРЭСе: «Вот вы угнетаете индусов, а когда индусы станут сознательными, от вашей Англии ни черта не останется». Англичанин улыбнулся и спросил: «Откуда ты это знаешь?» Костя не оробел. Он ответил: «Читаю «Комсомольскую правду». А когда я кончу школу, я поеду в Индию, чтобы бороться против англичан». Косте было одиннадцать лет.

Иван Николаевич, измученный ревом, сказал: «У вас, ребята, совести нет». Мишка ему преспокойно ответил: «Нет — так нет! Можно прожить и без совести». Когда Ольга Владимировна предложила ребятам издавать стенгазету, Мишка просидел над газетой всю ночь. Утром он сказал матери: «Если коллектив от меня требует, — значит, я должен это выполнить».

Среди них были изобретатели, любители похождений, драчуны, поэты и чудаки. Когда учителя находили слова, которые доходили до их сердца, они забывали и о камнях и о базаре. Они сосредоточенно слушали и цыкали, если кто-нибудь шопотом спрашивал, скоро ли кончится урок.

Ирине еще не было двадцати лет. Она хорошо помнила, что такое лукавый язык весны, которая забирается в раскрытые окна школы. Она сама еще любила коньки, ауканье в лесу и карамель. Может быть, о Кузнецке она мечтала так же, как мечтал рыжий Костя об Индии.

Увидев ребят, она растерялась. Она была слишком взрослой, чтобы говорить с ними как равная. Посмотреть на них со стороны она еще не умела. Она по-детски на них обиделась. Как они смеют говорить о вредительстве?.. Надо объяснить им...

Она растерянно оглядывалась. Она попробовала сказать: «Ребята!..» Но Костя, взобравшись на плечи Мишки, заорал: «Собрание закрыто, за исчерпанным порядком дня!» Ребята засмеялись. Они сразу оценили все: и носки, и румянец смущения, и дрожь голоса. Они поняли, что Ирина их боится. Они прыгали вокруг нее и пели: «Мишка во как скаканул, Иру обнимает, оттого такой прогул — угля нехватает». Ирина стояла посередине комнаты, прижимая к груди тетрадку. «Ира» — значит, они уже знают, как меня зовут... Но почему они хотят меня обидеть?..» Она почувствовала, что не выдержит и расплачется. Тогда она быстро вышла.

В тот день у нее больше не было уроков. Она бродила по площадке. Она говорила себе, что смотрит на стройку. Но весь день она думала об одном: что же ей делать?.. Она упрекала себя: до чего она легкомысленна! Какой нужен опыт, чтобы работать с такими ребятами! Это не Томск. Здесь и дети другие. Напрасно она сюда приехала — толка не будет. Она даже подумала: может быть, уехать?..

Все здесь казалось ей непонятным и страшным: скрежет воздуходувки, ругань строителей, воздух, полный зловонья, черная пыль, землянки. Не было ни деревьев, ни спокойных людей, ни места, где можно было бы отдохнуть, собраться с мыслями.

Но тотчас же она возмутилась своим малодушием. Конечно, это не Томск! Это — война. Восторженно и робко она поглядела на струи расплавленного металла: это и есть чугун, тот чугун, которого слишком мало, о котором, что ни день, пишут в газетах? Да, здесь трудно. Товарищи Ирины предпочли Новосибирск: там и снабжение сносное, и спокойно. Она предпочла Кузнецк. Она знала, что жизнь — здесь. Надо только увидеть не уголь или чугун, — людей.

Она вспомнила улыбку Коли. Ей захотелось тотчас разыскать его: он поможет, скажет, как быть. Но она

пристыдила себя. Коля знает свое дело. Он строит кауперы. Он не прячется за спины других. Она не может пойти к нему с жалобами. Она должна сначала справиться с работой. Потом она пойдет к Коле.

Вокруг нее люди работали. Они справлялись с землей и с камнями, с рудой, с углем, с огромными машинами и с водой, которая проступала из-под земли. Она им завидовала: она не знала, как ей справиться с сердцем суровых и шумных детей.

Когда стемнело, она сразу почувствовала, до чего она устала. Но она не хотела итти к себе. Ее поместили временно с какой-то старой учительницей. Та, не умолкая, плакалась: «Дети нахальные... ботинки продрались... ноги болят — сыро здесь...» Вчера Ирина спокойно ее слушала. Теперь она боялась, что не сможет вытерпеть причитаний. Несмотря на усталость, она продолжала ходить.

Она спросила рабочего: «Это что за место, товарищ?» Тот уныло ответил: «Сад-город». Ирина жалобно посмотрела вокруг: та же пыль и землянки. Она подумала вслух: «Почему сад?..» Тогда позади кто-то весело рассмеялся. «Названия у нас глупые. Это, говорят, подрядчик был Садов, в его честь. А насчет садов здесь слабо». Ирина оглянулась и увидела Колю. Она даже рассмеялась от радости. Быстро схватила она его широкую руку. То, что она встретила Колю случайно, среди тысяч и тысяч людей, не пошла к нему, решила не итти и все же встретила, — показалось ей редкой удачей. Это позволило забыть всю тяжесть дня. Коля спросил: «Ну, как тебе у нас понравилось?» Ирина ответила: «Очень. Я так рада, что приехала». Она не лгала: в ту минуту она и вправду радовалась.

Завод вечером был прекрасен и страшен. Пламя печей рвалось наружу. Это походило на пожар. Казалось, огонь, зажженный людьми с такими усилиями, всесилен и его теперь не погасить. Там, возле печи, стояли люди в синих очках. Светились окна управления — другие люди проверяли цифры. Для них огонь был тоннами чугуна. Но издали огонь был только огнем. Когда Коля сказал «здорово», Ирина не смогла даже ответить: как завороженная, она глядела на огонь.

Потом она сразу вспомнила рыжего Костю и перепугалась. Завтра у нее шесть уроков. Что она им скажет? Вдруг они снова будут кричать и петь? Она не знает, с чего начать, как их приручить, как сделать, чтобы они ее приняли. Она стала грустной, и Коля заметил это. «Ты чего приуныла? Не ладится что-нибудь? Я и не спросил, как у тебя с ребятами?» Ирина поспешно ответила: «Я весь день проходила, устала. А с ребятами все в порядке. Сегодня у них было собрание, так что не пришлось заниматься, а завтра начну».

Она старалась говорить весело, чтобы Коля не почувствовал лжи. Она не могла признаться в позоре. Что он о ней подумает? Он ее запрезирает. Она почувствовала, до чего это важно: сказать — «я свое сделала». Даже не сказать — подумать про себя. Как Коля в тот первый вечер, когда он рассказал про кауперы. Она ведь сразу догадалась, что это он лазил... Он не сказал по скромности. Другое дело теперь — ей нечем похвастать. Надо сказать прямо: «сплоховала». Но этого Ирина не могла сделать. Ее удерживал страх: что, если она потеряет Колю? Тогда она останется одна на свете. Она не спрашивала себя о чувствах. Спроси ее об этом Коля, она, вероятно, ответила бы, что любит Сафонова. Но за весь день она ни разу не подумала о Володе. Как ей хотелось разыскать Колю! Она сама не знала почему. Но она чувствовала, до чего он ей дорог. Поэтому она и ответила, что «с ребятами все в порядке».

Коля сказал: «Я так и думал. Ребята здесь хорошие. Конечно, стервецы они ужасные, но молодчаги. Я смотрю в оба, чтобы они чего не попортили. Но, знаешь, весной ко мне пришел один: «Дай-ка я заместо тебя полезу. Ты не смотри, что я маленький, я на дерево какое хочешь влезу и без веток — прямо». Нет, ребята славные! Только болтаются они, вроде как беспризорники. Придется тебе с ними повозиться. Но если сказать: это, ребята, дело, это завод строят, а не то, чтобы собак гонять, — они поймут».

Больше они не говорили о школе. Ирина расспрашивала Колю о его работе. Он отвечал нехотя: встреча с Ириной настолько его обрадовала, что он не мог говорить о привычных вещах. Ему казалось, что они идут по тихим

улицам Томска. Он хотел говорить о другом — о чем — он и сам не знал.

«Я недавно прочел несколько книг. «Герой нашего времени» — я прежде знал Лермонтова только стихи. Потом один французский роман — Стендаля. Очень хорошо! Я как кончаю такую книгу, мне кажется, что я еще одну жизнь прожил, уж не просто Коля Ржанов, но еще кто-то. Замечательно написано! Но читаю — не могу оторваться, а в душе все время возмущение. По-моему, о смерти они писали правдиво. Я видел, как мать умирала. Я это хорошо чувствую. Но про жизнь они говорят как-то сторонкой. Все это сильно выражено. Самый ничтожный человечек становится огромным. Но чего-то нехватает. Мне кажется, что эти люди не едят, не работают, не любят. Столько все время чувств, что я читаю и спрашиваю, где же чувство? Понимаешь? Я сам не могу это толком выразить. Вот, погляди, какая у них любовь. Если — несчастье, тогда я им верю, я понимаю: над этим можно плакать, у меня у самого в горле стоит. А без несчастья они не могут. Или он чересчур самолюбивый, или она скрытная, или они плохо друг друга поняли, или кто-то третий затесался. Иногда мне даже кажется, что они нарочно старались подбавить несчастья, чтобы вышло красивей. Счастье у них какое-то приспущенное, и если люди радуются, то им самим стыдно. О счастье щегленок — и тот лучше расскажет. Вот ты мне скажи — почему это?..»

Ирина вспомнила рассуждения Володи: «Животные страдают от недостатка в корме или оттого, что им не дают случаться. Это относится и к двуногим разновидностям». Ирина тогда спросила его: «А люди?» Володя ответил: «Люди страдают не от того-то, но для того-то. Только страдая, человек становится непохожим на других». Так думал Володя. Наверно, так думали и старые писатели. Ирина ответила Коле: «Должно быть, они стыдились простых чувств. А у нас другой подход. Да и любовь теперь другая».

«Это, конечно, верно. Мораль у нас не та. Для них труд был проклятьем, а я вот от этого «проклятья» ожил. Но мне все-таки кажется, что они писали не о живых людях. Я думаю, что и тогда люди любили просто. Знаешь,

без разговоров, но так, что дохнуть — и то трудно. Только об этом трудно написать...»

Ирина почему-то перепугалась. Она тихо сказала: «Говорить тоже трудно». Она боялась, что Коля начнет спорить, но он молчал. Тогда она огорчилась: почему же он молчит?.. Она сказала: «Холодно! Дни хорошие, а ночью здесь холодно. Я совсем замерзла. Ты меня проводишь? Я живу наверху».

Они шли молча. Прощаясь, Коля спросил: «Скоро увидимся?» Он почувствовал, что у Ирины рука совсем захолодела. Заботливо он сказал: «Ложись скорей, отогрейся». Ирина послушно ответила: «Да».

На следующее утро, проснувшись, она сразу подумала: «Чего я испугалась?» Она весело пошла в школу. Ребята ее встретили молча, но недоверчиво. Она читала главу из «Войны и мира». Читала она хорошо, и дети внимательно слушали. Но когда она кончила, Костя злобно сказал: «А все-таки это ни к чему!» Ирина была довольна, что ей удалось довести урок до конца, но понимала, что еще ничего не сделано: между ней и ребятами была стена.

Она начала работать медленно и упорно: так осаждают крепость. Она вспомнила о рукомойнике. Она пошла в управление. Там на нее сердито прикрикнули: «Не до вас!» Но Ирина настаивала. Ей удалось получить ордер на четыре рукомойника. В «Стандартстрое» сказали: «Пришлем рабочего». Ирина отказалась.

Как будто мимоходом она сказала Косте: «Это ты бузил насчет рукомойников? Я вот достала четыре штуки. Только рабочих не дают. Может быть, ты за это возьмешься?» Костя был польщен тем, что столь ответственное дело доверили ему. Он тотчас же набрал «бригаду строителей». На следующий день он гордо заявил Ирине: «Рукомойники будут поставлены в трехдневный срок». Это было не дружбой, но началом примирения.

Вскоре после этого Ирину послали в Гурьевск: надо было показать в ФЗУ, как применяются «тесты» для определения профессиональных способностей. Ирина поехала на день. Она взяла с собой несколько ребят, в том числе Костю и Мишу.

По грязным улицам Гурьевска бродили плешивые куры, но улицы назывались возвышенно, например «Твор-

ческий проезд». На заводских воротах значилось: «Чугуноплавильный и железоделательный завод». Это было почтенно и комично. Завод был построен в начале прошлого века. Сто лет тому назад люди раздули первую домну. Они клали в нее древесный уголь — кругом была тайга.

Завод был обнесен крепкими острожными стенами с башнями для часовых. Внутри еще можно было различить следы колец: на заводе прежде работали каторжники. Отцеубийцы и государственные преступники, злодеи и мечтатели стояли у неуклюжей печи: они плавили чугун. Об одних писал стихи Пушкин: «Не пропадет ваш скорбный труд!» О других пели блатные песни в ночлежках и на больших дорогах.

За сто лет завод мало переменился.

Вместо вагонеток двигались старые клячи. На паровых машинах, как на памятниках, стояли солидные даты: «1859». Деревянный кран подымал болванки. Стены были толстые, окон вовсе не было, и в мастерских стояла темь, как под землей. На дворе, заваленном мусором и шлаком, добродушно пыхтел старенький паровоз. Какой-то находчивый инженер приделал к нему длинную трубу, и паровоз шел за машину.

Ребята глядели на лошадей и на деревянный кран. Они весело смеялись: помнили машины Кузнецка. Как скучный урок, выслушали они рассказ о каторжниках. Недавно им показывали скелет мамонта... Они не верили в труд мертвых людей. Им казалось, что жизнь началась вместе с ними, тогда-то среди степи родился Кузнецкий завод.

Ирина, поглядев на кран, невольно улыбнулась. Она представила себе рядом два крана: вот этот, деревянный, и моргановский. Она почувствовала, как быстро идет жизнь. Не успеешь опомниться, и мир уже другой. Непонятно, как люди прежде жили? Потом она задумалась: почему же вещи меняются быстрее людей?.. Нет, и люди меняются. Разве можно сравнить этого инженера с невежественным начальником, который кричал на каторжников?.. Только меняются не все вещи, да и не все меняется в людях. Конечно, автомобиль не похож на телегу, а вот колесо осталось колесом. Нельзя без смеха глядеть на эту

печь. Но разве смешон Пушкин? Коля не мог оторваться от Стендаля. А ведь Стендаль — ровесник этого завода.

Ее смущала неравномерность развития: как будто у человека росла только одна рука, или плечи, или голова. Жизнь менялась как на экране, — вот прошло десять лет — не узнать Сибири, а жизнь оставалась неизменной. Коля сказал ей: «Люди и тогда любили просто». Значит, тоже любили, рожали ребят, радовались, умирали. Нет, лучше об этом не думать! Это та жизнь, которая идет сама собой — вне мыслей, вне плана, вне истории. Думать надо о другой жизни, быстрой и понятной: о работе, о кранах, о школе.

Она сказала ребятам: «Смешной завод? А вот вы не знаете, что он поработал на Кузнецк. Мне инженеры говорили, что без Гурьевска трудно было бы управиться. Здесь отливали для Кузнецка различные части. Да и теперь много заказов. Все, что здесь делают, это для Кузнецка. Конечно, потом завод сломают или перестроят. Но свое он сделал: старик, а помог молодому».

Она сказала это просто, как будто невзначай. Никто не мог бы догадаться, что ради этих слов она привезла сюда ребят. По тому, с каким вниманием выслушивали ее дети, она поняла, что, может быть, впервые они почувствовали уважение к труду их предшественников. Костя сказал, показывая на деревянный кран: «Крепкий-то какой — держится!»

Когда они возвращались в Кузнецк, Мишка тихонько сказал Косте: «Она — ничего. Конечно, девчонка, но свое дело знает. Это не Марья Сергеевна». Костя неопределенно хмыкнул.

На уроке Костя сказал Ирине: «Почему вы все время говорите — «так нельзя сказать?» Кому они нужны, эти правила?»

Ирина стала объяснять, что такое язык. Она сама увлеклась. Она говорила о том, как трудно найти слова простые и точные. Потом она упомянула о музыке. Она повторяла различные слова, и дети, насторожась, слушали: слова пели. Их было много, как деревьев в лесу. Одни старились и умирали, другие рождались, но лес шумел, лес оставался лесом. Волнуясь, она прочитала стихи: «И если туча оросит, блуждая, лист его дремучий, с его

ветвей уж ядовит стекает дождь в песок горючий». Волнение Ирины передалось ребятам. Они сами не понимали, почему их так увлекли стихи. Они даже не думали о страшном дереве. Они были смущены силой слов. Так прошли минута-две. Потом Маня робко сказала: «До чего красиво!..» Ирина в изнеможении села на стул.

Дня три спустя, после урока, к Ирине подошел Костя. Он что-то хотел сказать, но мялся и переступал с ноги на ногу. Наконец он сунул в руку Ирины тетрадку и тотчас убежал прочь. В тетрадке были переписаны два стихотворения Кости. Одно называлось «Гигант стали», другое — «Александр Пушкин». Ирина много раз перечитала неуклюжие строки. Она не могла сдержать свою радость. Она все время улыбалась: улыбалась в школе, в столовке, улыбалась и когда шла к Коле.

Она не видала Коли с того вечера. Как-то они столкнулись в клубе, но Ирина сразу ушла. Она не хотела его видеть, пока не добьется своего. Она постучала в окошко. Коля высунулся. Не вытерпев, она закричала: «Есть, Коля!» Она весело вбежала в комнату. «Я теперь знаю, что могу работать. Я говорю и чувствую — слушают. Не так, как раньше. Я тебе не говорила... Но это было здорово трудно. Такой Костя... Он хороший мальчишка. Только сначала я думала, что я от него повешусь. А он стихи пишет. Нет, ты ничего не понимаешь!.. Я вздор мелю — все вместе. Но ты пойми, я так счастлива!..»

Она не могла больше говорить. Она взяла Колю за руки, и Коля начал ее кружить вокруг себя. Они оба смеялись, и оба не знали, почему смеются. Они хотели о чем-то заговорить, но разговор не вышел.

Ирина сказала: «Пойдем ко мне, я тебя антоновкой угощу». В комнате Ирины было темно. Она не зажгла света. Она выбрала самое большое яблоко и дала Коле: «Вот тебе». Он не взял. Он подошел к Ирине и крепко поцеловал ее. Тогда Ирина строго сказала: «Ешь яблоко!» Коля в темноте не мог разглядеть ее лицо. Она улыбалась. Он только догадывался об этой улыбке. Он послушно грыз яблоко и тоже улыбался. Потом Ирина сказала: «А теперь иди! Мне нужно работать — в шестой группе трудный урок. Я завтра за тобой зайду».

Она просидела еще часа два за книгой. Иногда она глядела в сторону и улыбалась. Она не вспоминала при этом Колю и ни о чем не думала. Она просто радовалась.

В соседней комнате жила Варя Тимашова. Она преподавала в ФЗУ природоведение. Это была та самая Варя, которая мечтала об Ингеборг и записывала в тетрадку свои мысли. Иногда ночью она заходила к Ирине. Они терли глаза — глаза закрывались: обеим хотелось спать. Но еще сильнее обеим хотелось говорить, и, борясь со сном, они говорили о книгах, о ребятах, о жизни.

Варя пришла из школы в десять вечера. Ее провожал инженер Глотов. Всю дорогу он говорил о деррике. Потом он зашел в комнату Вари, и Варя забеспокоилась. Она сказала: «Я живу не одна. Здесь еще Марья Сергеевна живет. Она должна сейчас притти». Глотов молчал. Варя сказала: «Вот вы говорили, что на этом деррике...» Она не докончила — Глотов больно сжал ее плечи. У нее потемнело в глазах, и она сама к нему придвинулась. Потом она в страхе крикнула: «Да ты с ума сошел! Сейчас Марья Сергеевна придет!..» Она оправила волосы и тихо сказала: «Завтра я весь вечер одна». Глотов ушел. Варя хотела выбежать и сказать ему, чтобы он вернулся: насчет Марьи Сергеевны она выдумала — Марья Сергеевна уехала на шесть дней в Новосибирск. Но она не позвала Глотова. Она даже с улыбкой подумала: «Здорово я сочинила!..» Потом ей стало грустно. Она попробовала было вынуть тетрадь и записать мысли, но мыслей не нашлось. Тогда она пошла к Ирине.

Она спросила Ирину: «Ты не знаешь, что такое в точности этот деррик?..» Ирина начала объяснять, но Варя ее прервала: «Я тебя об этом завтра спрошу, а то сейчас ничего в голову не лезет». Она помолчала, а потом, сев рядом с Ириной на кровать, тихо сказала: «Когда читаешь романы, так все красиво, и любить они умеют. А у нас ни на что нет времени. Вот и остаются эти деррики... Ты знаешь, я хотела бы жить на каком-нибудь острове. Чтобы деревья, и никого. Только он. Вот тогда это настоящая любовь...» Ирина тоже вздохнула. Они еще долго о чем-то говорили, взволнованные и растерянные. Потом, доверясь друг другу, тихонько поплакали. Они не понимали,

откуда эти слезы. Им казалось, что они плачут оттого, что жизнь страшна и непонятна. Но это были легкие слезы, и они плакали от счастья. Они уснули с мокрыми щеками. Сон был ровный, глубокий — сон до утра.

На следующий вечер Ирина зашла, как обещала, к Коле. Они не шутили и не смеялись. Они пошли к Ирине. Шли они торопясь, хотя торопиться было незачем. Над трубами мартена висела луна, большая и близкая. Ирина поглядела на нее и недовольно отвернулась: она не хотела ничего видеть. Когда они пришли в комнату, она первая обняла Колю.

В комнате было темно и тихо, и это длилось долго, — так долго, что нельзя было поверить свету, голосам, памяти. Ничего и не было до этой ночи: жизнь только начиналась. Эта жизнь не спешила, она была горячей и неподвижной, она признавала только мельчайшие движения: вот Ирина вздохнула, вот Коля бережно поцеловал ее плечо. Они прислушивались к дыханию; как неведомый мир, они открывали выпуклость лба, мускулы рук, горькую сухость кожи; много времени прошло, прежде нежели человеческий голос решился вмешаться в эту сосредоточенную тишину — Коля тихо сказал: «Ирина!..» Она не ответила. Она не могла говорить, не могла даже шелохнуться — до краев она была полна спокойствием.

Они вышли на улицу под утро: Ирина сказала, что хочет проводить Колю. Она боялась остаться одна в этой комнате. Уходя, она настежь раскрыла окно.

Они шли теперь медленно и рассеянно. Навстречу прошли рабочие с ГРЭСа. Один из них крикнул: «Что, Коля, гуляешь?» Коля не откликнулся. Вдруг Ирина поскользнулась. Она чуть было не упала в яму. Коля ловко подхватил ее и рассмеялся. Засмеялась и Ирина: «Совсем как пьяная...» Оба обрадовались этому происшествию: все сразу переменилось, стало простым и ясным. Они могли теперь болтать о пустяках. Возле мостика Ирина сказала: «А теперь я пойду домой. Еще два часа до школы — попробую соснуть». — «Может, проводить тебя?» Ирина отказалась: ей хотелось остаться одной.

Она пошла назад. Она ни о чем не думала. Она только повторяла про себя последние слова Коли: «Значит, завтра...» Она снова была спокойна и счастлива.

Подымаясь в гору, она услыхала позади шаги. Сначала она подумала, что это случайный попутчик. Но потом ей стало не по себе, она приостановилась. Остановился и человек. Она услыхала, как чиркнула спичка — наверно, закуривает... Она пожурила себя: что за трусость? Здесь и нет никаких грабителей. Но все же она не успокоилась, хотела заставить себя оглянуться, но не могла. Она то останавливалась, то шла очень быстро. Человек не отставал. Она тревожно поглядывала на темные бараки. Кругом никого не было. Что же это такое?..

Она остановилась, — не могла итти дальше: сердце колотилось — вот-вот разорвется. Она прислонилась к стене барака. Тогда человек подошел к ней вплотную. Она тихо вскрикнула — это был Володя.

14

«Я видал однажды в кино смешную картину: весенняя лужица была заснята первым планом. Все думали, что это бурный водопад, Ниагара. Труднее показать другое: до чего каждая капля бушующего океана живет скучной и мизерной жизнью! Конечно, издали все это весьма величественно, а вблизи — стоячая вода: распределители, карьера, сплетни. Поэтому я затрудняюсь сказать, что я решил «переменить жизнь». Это слишком громко. Вернее — я решил переменить местожительство. Я подал заявление о переводе на отделение черной металлургии. Придется приналечь на физику и химию, но это легко — уровень, разумеется, низкий. В математике я сильнее всех. Словом, особых трудностей, к сожалению, не предвидится.

Итак, капитуляция! Ирина с полным основанием скажет (как после знаменитого «выступления») — «я за тебя рада». В поединке между чугуном и Сафоновым победил чугун.

Вполне возможно, что я ищу примирения с жизнью или, выражаясь менее возвышенно, пробую приспособиться. Мне надоело переть против рожна. Кому нужна сейчас абстрактная наука? Конечно, они гордятся Павловым, но это как памятник старины! Павлову могут дать замеча-

тельную лабораторию, двойной паек. Но молодому ученому не стоит обольщаться — его задача ясна: это все тот же тришкин кафтан. Один сидит и думает, чем бы заменить гуммиарабик, так как это импортный продукт. Другой ищет суррогат глицерина. Третьему поручено добиться изготовления бумаги из водорослей. Я читал в газете, что какой-то прохвост придумал, как изготовлять валенки из человеческих волос.

Я охотно признаю, что они правы. Когда человеку нечего жрать, он плюет на логарифмы. Если сейчас какой-нибудь советский астроном откроет новую планету, я первый усмехнусь: нашел что открывать! Какое нам дело до планет, когда нет штанов? При таких обстоятельствах «чистая наука» становится не только подвигом, но зачастую и свинством, как чистая поэзия и прочее.

Я не могу уехать на другую планету. За границу мне и самому не хочется, особенно после разговора с тем французиком. Значит, я собираюсь жить в стране, именуемой СССР. Вывод ясен: этой стране нужен чугун, и ей совершенно не нужна абстрактная математика.

Я хочу быть прежде всего честным. Можно ли презирать инженера, который работает на заводе? Он — тот же землекоп или каменщик. Это настоящая работа. А как только отступаешь от прямого дела, начинается фиглярство. Поэты пишут стихи о домнах, художники изображают театральных ударников, историки литературы объясняют романтизм справками о развитии паровой машины и т. д. Я лично предпочитаю чугун.

Помимо этих общих соображений, мной, повидимому, руководит страх — желание спастись, ухватиться хотя бы за щепочку. Я столько слышал про эти стройки — все ими захвачены. Вдруг и Володя Сафонов после Сенек уверует в святую Домну?.. Если это массовый психоз, то почему я не могу ему поддаться? Во всяком случае я поеду туда с искренним желанием разделить чувства других.

Я перечел все написанное, и мне самому смешно. Конечно, все это так. Это — мои мысли. Но позвольте, товарищ Сафонов, поставить маленький постскриптум: отделение черной металлургии, как вам известно, находится в Кузнецке. Там же находится Ирина. Вы говорите, что вас влечет к себе чугун? Всякое бывает!.. Но не думаете

ли вы, что это весьма напоминает скверный бульварный роман?»

Володя записал это еще в Томске. С тех пор прошло два месяца. Он приехал в Кузнецк. Он познакомился с разными людьми: с инженером Костецким, с Толей Кузьминым, с Соловьевым. Он не встретил Ирины. Он не знал, как ее разыскать, и в душе этому радовался: боялся встречи. Он хотел убедить себя, что приехал в Кузнецк отнюдь не ради Ирины.

Он попробовал увлечься металлургией. Ему показалось, что это живое дело. Он провел вечер в беседе с Костецким. Костецкий рассказывал об американских заводах. Когда они расстались, Володя подумал, что наконец-то он врастет в жизнь. Тогда с еще большей силой ему захотелось увидеть Ирину.

Он теперь часто видел ее во сне. Тогда все менялось — Володя был настойчив, даже груб. Он так крепко обнимал Ирину, что та кричала, и Володя просыпался. В столовой или в клубе он жадно вглядывался в лица женщин. Но Ирины не было.

Он увидел ее поздно ночью, возвращаясь с работы. Она стояла возле мостика с каким-то незнакомым ему человеком. Володя подошел настолько близко, что услышал шопот: «Значит, завтра...» Они его не заметили. Володя сразу понял, что он опоздал. Это было просто, как с комнатой или с калошами, — его место занял другой.

Он хотел было убежать. Он не признавал борьбы: счастье либо сразу дается, либо оно и не счастье. Но он не убежал, он поплелся вслед за Ириной. Он понимал, что это глупо, но он не мог ни окликнуть ее, ни отстать. Он шел, как лунатик, ничего не соображая.

Когда Ирина, увидав его, вскрикнула, он бросился прочь. Он бежал, как воришка, которого накрыли с поличным. Он понял, что Ирина его боится, и ему стало страшно. Зачем он ее преследовал? Он ненавидел себя, и, если бы человек умирал от одного нежелания жить, он, наверно, умер бы среди этих землянок, с глупой гримасой страха и с лицом, мокрым от бессмысленного бега. Он хотел вытереть лицо, но, дотронувшись рукой до лба, брезгливо вздрогнул. Он обрадовался дневному свету и рабочим, которые шли на стройку. Впервые с признательностью

он подумал о чугуне, который обещал ему несколько часов передышки.

Вечером снова все встало: испуг Ирины, потный лоб и простая, короткая мысль: «Опоздал!» Он вдруг всполошился: может быть, Ирина попросту испугалась? Ведь она не знала, что он в Кузнецке. Но тотчас же он вспоминал широкие плечи того, третьего. «Значит, завтра...» Вот оно и наступило, это «завтра»! Сейчас они вместе. Почему-то Володе показалось, что это должно происходить в Томске, в комнате Ирины. Он видел, как тот, с широкими плечами, обнимает Ирину. А на столе — черемуха. Но ведь это уже было с Володей. Он усмехнулся: по требованию публики спектакль повторен. Сенька или Петька. Такой, конечно, не ведет дневников. Ему и в голову не придет разыгрывать благородство. О чем тут говорить? Он потерял Ирину — это просто и ясно. Ирина ушла к чугуну, и не так, как Володя, — без позы, без снисхождения, без страха. Утром — в школу, вечером — с этим... Через год-другой можно будет поздравить социалистическое отечество с новым гражданином, который пригодится для пятой пятилетки. Вот и все.

Кругом него люди жили, как прежде. Они жили, сжав зубы: они строили завод.

Инженер Костецкий выписал из Москвы жену; жена, приехав, сказала: «Какой ужас!..» Костецкий спокойно ответил: «Никакого ужаса. Мы вот вторую домну пустили. В столовке сносно — да ты сама увидишь. А одному трудно — пуговицу пришить, и то некому. Хожу, как босяк. Ну пока!.. Мне пора на заседание».

Толя Кузьмин сочинил стишки о безобразии на кухне: «У поваров Федьки, Мани и — Романа вино ни-ни — не выводится — приблизительно — и при окончании работенки — у ребяток наших робких — ни капли не осталось водки — утешительно». Эти стихи были помещены в стенгазете.

Шор теперь взялся за блюминг. У него был жестокий припадок, но, провалявшись два дня, он прибежал в цех и весело крикнул: «Ну-ка, пристыдите прогульщика, покажите, что вы тут понаделали». Немец Вагнер сказал Шору: «Мой контракт кончается, но я хочу остаться. Я буду работать как русский». Шор крепко пожал руку

Вагнеру. Тогда Вагнер осмелел. Он спросил Шора о том, что давно его смущало: «Когда я говорю — «надо выписать то-то из Германии», русские смеются. Один раз я понял — они сказали: «Это немецкие штучки». Они отвечают, что это можно сделать руками. Конечно, можно, но сколько тратится сил!..» Шор улыбнулся ласково и чуть грустно. «В Германии мы должны расплачиваться валютой. У нас другая экономика. Да и нервы другие. А главное, помимо расчета, у нас имеется... Как бы вам это объяснить?.. Официально это называется «энтузиазмом». Одним словом, замечательная страна. Поживете еще год-другой, тогда и поймете!» Шор сказал и схватился за грудь — доктор строго-настрого запретил ему двигаться. Потом он побежал дальше.

На стройку понаехало самотеком много разного народа: казахи, чуваши, мордвины. Молодой тунгус, увидев велосипед Фадеева, обмер. Он сказал: «Автомобиль мы видали. Самолет тоже видали. Они идут потому, что внутри машина. Но эта штука идет сама собой!»

Ударная бригада шорцев приняла резолюцию: «Так как гигант строится на нашей шорской земле, мы даем торжественную клятву перевыполнить задание, чтобы помочь совхозам, а также защитить советское отечество от хищников международного империализма». Бригадир, шорец с хитрыми глазами и печальной улыбкой, пососал трубку, а потом сказал Соловьеву: «Отпусти меня на два месяца! Теперь время итти на охоту. Теперь время бить выдру и соболя. Я пойду в тайгу. Железо может ждать, а зверь не ждет». Тогда выступил комсомолец Морич: «Ты говоришь не как сознательный. Ты говоришь как зажиточный. Мы строим этот гигант. Страна не может ждать, стране нужно железо. Если ты уйдешь, я первый скажу, что ты дезертир». Бригадир вздохнул и остался.

Выпал снег, и наступила еще одна зима.

Варя Тимашова как-то ночью зашла к Ирине и сказала: «Чорт знает что! Прибавили еще два урока. Сегодня у меня было одиннадцать. Я говорю с ребятами и чувствую, что засыпаю. Васька написал работу об уме собак. Так здорово, что я думаю послать в Москву. Он три года был подпаском: знает все об овчарках. А у тебя как?» Варя постояла еще несколько минут, а потом, повернув-

шись к стене, сказала: «Кстати, ты знаешь Глотова? Высокий. На деррике. Так мы с ним поженились. Вчера. Пожалуйста, не смейся!..» Вся красная, она выбежала из комнаты.

Ирина попрежнему работала в школе. Миша спрашивал, что такое ямб. Ребята писали: «Задание третье. Тема: «Неделя» Лебединского. Целевая установка: разобрать, как показывает автор героическую борьбу коммунистов в период военного коммунизма. План проработки: чтение произведения, краткий доклад бригады, анализ содержания».

Костя писал: «Коммунисты тогда совсем забывали про личную жизнь. Все внимание они сосредоточивали на революционной борьбе. Например, Робейко. Он был болен туберкулезом, и ему трудно было говорить, но он делал доклады о заготовке дров».

Потом Костя говорил Ирине: «Интересно они жили! У нас многие парни все норовят получить путевку в дом отдыха. Но когда начнется война с империалистами, будет по-другому». Ирина, улыбаясь, показывала ему на рвы, насыпи и землянки: «Чем тебе не война?»

Ирина быстро оправилась после встречи с Володей. Иногда она еще плакала, но стыдилась этих слез: не хотела жить прошлым. Томск теперь ей казался детством — милым и никчемным. Володю нельзя было пожалеть — тотчас же она вспоминала насмешливый голос: «Сень-ка по-эт»... Он не хотел, чтобы Ирина жила, как все. Он хотел ее запрятать в душное подполье, где только он и книги. Думая так, Ирина радовалась, что она не с Володей.

Она много работала. Коля записался на вечерние курсы. Их встречи были короткими и напряженными: столько надо было вместить в один тесный час! Но они были счастливы: они твердо знали, что это и есть та «простая любовь», о которой говорил Коля, прочитав Стендаля.

Ирине казалось, что все в ее жизни ясно и понятно. Но когда среди редких хлопьев снега, как бы рассеянно падающих сверху, она увидала лицо Володи, она сразу растерялась. Растерялся и Володя. Он теперь не пробовал убежать. Они стояли друг против друга в нерешимости. Потом на лицах проступила улыбка: еще ни о чем не думая, они попросту обрадовались. Ирина почувствовала,

что эти серые глаза — не чужие. Она робко попросила: «Володя, может зайдешь ко мне? Надо нам поговорить».

Володя покорно пошел с ней. Они шли молча. Они больше не улыбались, и, когда они пришли к Ирине, Ирина с испугом подумала: а ведь говорить не о чем... Она спросила: «Хочешь чаю?» Володя вежливо отказался. Они снова помолчали. Потом Ирина сказала: «Ну, как тебе здесь живется?» — «Спасибо. Как всем. Обучаюсь. Строю, конечно, гигант. Хворал гриппом. В общем ничего особенного». Он говорил нехотя, как будто его клонило ко сну. Ирина не поверила ни словам, ни голосу. «Ты это для стиля... Хорошо, что ты сюда приехал. Это не Томск. Для тебя это не просто переход с одного отделения на другое. Это шаг к жизни».

Володя усмехнулся, и сразу все напомнило Ирине Томск: глаза Володи, голос злой и в то же время трогательный, докучливые рассуждения, подлинная боль, вся откровенная нелепость его жизни. Она подумала: «Милый», — но тотчас же спохватилась и поправила себя: «Бедный... бедный и чужой».

«Я здесь говорю исключительно о руде, о сере, о процентах кремня. Эти дни я был так занят, что не было времени даже подумать. Но я попробую тебе ответить. Это не шаг к жизни. Если ты хочешь обязательно, чтобы я шагал, это скорее шаг к смерти. В Томске еще были вещи, которые меня привязывали: библиотека, деревья в садах, профессора, собаки на улицах. Словом, хлам. А здесь никуда не запрячешься. Это прекрасная школа — я говорю, конечно, не о втузе. Я здесь с каждым днем избавляюсь от глупой привязанности к жизни. Конечно, в этом отношении сегодняшняя встреча — ошибка. Но это неважно — я ведь никак не обольщаюсь...»

Он помолчал. Ирина увидела, как он злобно изорвал окурок. Она боялась с ним заговорить, боялась, что любое слово будет ложью. Заговорил снова Володя. Он посмотрел на Ирину и спросил: «Как его зовут?.. Да ты понимаешь, кого... Сень-ка? Или Петь-ка?»

Ирина вскочила. Она была вне себя от гнева. Впервые Володя увидел ее такой. «Ты не смеешь так говорить! Уходи! Сейчас же уходи! Ты думаешь, что они ниже тебя?

Они на сто голов выше! Ты хочешь поглядеть свысока, а выходит низко, очень, очень низко...»

Володя прикрыл лицо рукой. Он тихо сказал: «Ты что же хочешь сказать? Что я его презираю? Куда там! Я ему завидую. Всему. Что у него вот такие плечи. Что *он* с тобой сумел по-другому, не как я. Что его, наверно, всерьез интересует, сколько процентов кремня в чугуне. Я и злюсь оттого, что завидую. Я совсем не герой, Ирина. Скорей ничтожество. Даже хуже...»

Гнев Ирины прошел, остались усталость и какое-то глубокое удивление, она как будто впервые увидела Володю. Она спрашивала себя: «Неужели я его любила? Ведь это не человек, это труп. О таких прежде писали в романах... Если есть в нем живое чувство, то одна только ненависть. Он ненавидит меня, ненавидит Колю, всех ненавидит. Он и себя не любит. О чем он еще говорит?..» Она заставила себя прислушаться к словам Володи. Он сидел попрежнему, закрыв руками лицо, и разговаривал скорее с собой, нежели с Ириной:

«Религия вообще нелепость. Но все же Христос на кресте — это не дядя Мартын. Я понимаю, что можно строить заводы. За границей тоже строят. Ну, не теперь, теперь не строят — кризис, чересчур много понастроили. Но там печь — это печь. Нельзя в двадцатом веке ввести примитивный фетишизм... Ты думаешь, что история — это прогресс, а это попросту толчея — как на базаре: взад и вперед. Все, конечно, меняется, только никому от этого не легче. Иллюзия движения, иллюзия цели, иллюзия...»

Он не докончил фразы — в дверь постучали. Нехотя он отдернул руку от глаз. Он увидал человека с широкими плечами. Он хотел сразу уйти: пускай воркуют о чугуне! Удержало его самолюбие: вдруг Ирина подумает, что он испугался? Он первый протянул руку: «Сафонов». Коля приветливо улыбнулся, и эта улыбка еще больше разозлила Володю.

Коля даже не задумался — кто этот человек: преподаватель ФЗУ, вузовец, инженер. Он был занят своим; волнуясь, рассказывал: «Двух землекопов сегодня пришибло. Насмерть. Они тащили из котлована щит. Деревянный. Они его на себе таскают. Один повернулся неловко — и бац. Чорт побери, ведь какое безобразие!..»

Ирина молчала. Она видела двух бородатых людей в меховых шапках. Они лежали на снегу. Над ними голосили женщины. Бороды были гладкие и расчесанные, а лица измараны кровью. Она видела это так ясно, как будто была там. День показался ей страшным: кровь, слова Володи и вой ветра за окном — начиналась метель.

Володя, выслушав Колю, сказал: «Я не понимаю, чему вы удивляетесь? Конечно, Кузнецкий завод — чудо техники и прочее и прочее. Но строят его так, как строили пирамиды. Имеются экскаваторы, деррики, грейферы, но землю они таскают на себе. Месят ногами. А грабари — видели?»

Коля пристально поглядел на Володю: «Вы кто же, товарищ? Из ФЗУ? Или так, проездом?» — «Я втузовец. Работаю здесь». Тогда Коля нахмурился. «Я вас не понимаю. Так только враги могут рассуждать. Конечно, у нас мало средств. Этого нет, того нет...» Володя его перебил: «Могло бы все быть. За границей не так строят. Да и живут там иначе...»

Коля возмущенно поглядел на Ирину, как бы спрашивая: откуда такой взялся? «Конечно, могло бы быть все. Только нас бы тогда не было. То есть сидели бы здесь господа из какого-нибудь «Копикуза», а мы бы на них работали. Может быть, поставили бы еще десяток грейферов. По-моему, лучше землю руками таскать. Теперь по крайней мере мы знаем, что это для нас. Разве в самом заводе дело? Вы думаете, я не знаю, что в Америке большие заводы? Для меня это — как крепость взять. Конечно, у нас многого нехватает. Но ведь мы только-только начинаем. Директор, а он пять лет назад свиней пас. Или казахи — ведь вчера они были кочевниками. Да вы это сами знаете. Нечего митинговать. Я о другом хочу вас спросить. Вот вы втузовец. Вы мне можете помочь. Я, видите ли, что надумал — надо землекопов выручить. Если нет настоящих кранов, почему бы не смастерить деревянный? Чтобы щиты подымал. Сразу полегчает. Да с краном не может быть такого безобразия — ведь задавило их!.. А сделать, по-моему, нетрудно. Вот посмотрите — я нарисовал...»

Володя поглядел на чертеж и рассмеялся: «Каменный век! Вы не сердитесь, но только это очень смешно. Теперь вечную спичку изобрели. Вот и представьте себе, что

является изобретатель: «Я придумал усовершенствованный трут».

Коля не смутился. Он спрятал чертеж в карман. «Что ж, если нет спичек, и трут придумаешь. Это вопросы практические. Нечего тут спорить о принципах. Я вот увидел, как людей зашибло, и подумал — почему бы не устроить такое?.. А не хотите, я другого спрошу. Или сам попробую...»

Ирина молча слушала спор. Но, увидав все ту же снисходительную улыбку Володи, она не вытерпела: «Сейчас как раз время поглядеть на мир свысока. Что людей задавило, на это тебе наплевать. И вообще на все наплевать. Ты, Коля, его не слушай! Он сам мертвый и не хочет, чтобы другие жили...»

Володя тихо ответил: «Я собственно не о том думал... Впрочем, это неважно. Я вот засиделся, пора за работу!» Он неловко простился и вышел. Напряжение Ирины сразу спало. Она заплакала. Коля растерянно спросил: «Что с тобой?» Она не ответила. Он понял, что это не случайный посетитель. Он вспомнил, как в Томске Ирина ему сказала, что любит другого. Никогда прежде он ее об этом не спрашивал. Теперь, нагнувшись к Ирине, Коля спросил: «Он?» Ирина ответила: «Да».

Коля отошел в сторону. Он сам не понимал, что с ним. Вдруг он решил, что Ирина его не любит. Коля ненавидел этого втузовца — как он смеялся над его рисунком! Нарочно — при Ирине...

Ирина подошла к нему сзади и руками обняла его шею. Оглянувшись, он увидел, что Ирина улыбается. Тогда он сразу забыл обо всем. Он виновато пробубнил: «Странный он — задается». Ирина покачала головой: «Нет, он просто несчастный. Но я не хочу о нем больше думать. Покажи мне, что ты там нарисовал — какой это кран?»

Они долго сидели над рисунком. Коля объяснял: «Вот это хвост, здесь — лебедка...» Потом, на минуту оторвавшись от чертежа, он сказал: «А знаешь, Ирина, я ведь приревновал. Ужасно глупо! Ты меня можешь презирать — вот говорим то да это, а сколько у нас внутри старья!.. Ну скажи, презираешь?» Ирина спокойно ответила: «Нет, люблю».

Володя не пошел работать, как он сказал Ирине. Он не знал, куда ему деться. Он отгонял мысли об Ирине, но все время он возвращался к тому же — противно! Почему он возмутился? Пора бы привыкнуть! Никто его не преследует. Он не в чека. Он и не лишенец. Государство его учит, кормит. Он не может сказать, что он — жертва.

А жить он тоже не может. Все теперь ясно. Он мог быть философом. Он занят чугуном. Он мог говорить о поэзии с людьми, равными ему. Он говорит с Петей о пользе туалетного мыла. Он мог любить Ирину. Но Ирину они отобрали. Это в порядке вещей. Это, наверно, вытекает из так называемого истмата. А засим?..

Он увидал Толю Кузьмина. Машинально спросил он: «Ты куда?» Толя шепнул: «В Кузнецк — за водкой». Володя быстро сказал: «Я с тобой! Выпьем...» И Толя весело загоготал: «Да еще как! С огурчиком! Чтобы все завертелось...»

15

О Толе Кузьмине Маркутов сказал: «Шут его знает! Не то он анархист, не то просто летун». Никто не знал толком, откуда Толя взялся. Вася, услыхав его разглагольствования, в злобе сказал: «Ты незаконченный тип». Толя усмехнулся: «Конец — делу венец, а теперь и венцов нету, только серп и молот».

Он любил глупые прибаутки и пиво. Он осторожно отодвигал губами пену и полоскал рот горьким пойлом. Он сыпал в пиво соль. Щипало в носу, он пил и улыбался. Он умел танцовать все танцы: барыню, матлоты, коробочку, даже фокстрот. «Па-де труа» он называл «под утро». Танцовал он залихватски, глядя хитро в сторону, и приговаривал: «А еще, а еще!» Он вытирал лоб и кричал музыкантам: «Ну-ка, поджазбань матлота!..» Он умел плеваться тонким плевочком, не шевеля при этом губами. Он умел также, набрав в рот пива, пускать дым кольцами. Ругался он неожиданно: «Эх ты, Перегиб Емельянович!» Если в трамвае какая-нибудь гражданка просила его: «Станьте, пожалуйста, боком» — он пренебрежительно отвечал: «Сама ходи конусом». Выпивая, он мрачно горланил: «Товарищ, товарищ, за что мы боролись!» Он

никогда ни за что не боролся, но ему казалось, что он страдал и узнал разочарование.

Прежде он был доверчив. Прочитав «Цемент», он растрогался и решил строить новую жизнь. Всю зиму он аккуратно ходил на собрания. Секретарь ячейки Розанов говорил: «Необходима квалификация». Розанов был худ, бледен и близорук. Он никогда не смеялся. То и дело он глотал какие-то пилюли: у него были боли в желудке. Толя зашел как-то к Розанову. Он увидел, что Розанов пишет. Толя спросил: «Сочиняешь?» Ему показалось, что Розанов тайком ото всех пишет замечательный роман, вроде «Цемента». Но Розанов писал письмо в редакцию «Комсомольской правды»: «В номере от 14 мая я прочел: «марксизм-ленинизм» — через дефис. Я прошу ответить, разделяет ли редакция такое толкование и если да, то:..»

Толя рассмеялся: «Тебе, брат, в попы надо!..» Розанов обиделся: «Меня интересует теория». Толя продолжал смеяться. «Разве ты человек? Ты знак препинания. Мог бы цельный роман написать, а ты о запятых пишешь...» Розанов возмутился: «Такая вещь важнее десяти романов...» Толя в досаде махул рукой. Он вдруг почувствовал, до чего ему надоели и Розанов, и собрания, и красные доски, и политграмота.

Он влюбился в Лизу Аксюнину. Лиза была красивой рослой девушкой. Она чуть косила. Голос у нее был глухой, и, когда она говорила самые обыденные слова, казалось, что она говорит о чем-то сокровенном. Она любила пестрые платочки и духи. Увидев ее, Толя опешил. Он не знал, как к ней подойти. Он попробовал заговорить о «Цементе», но Лиза сказала: «Я книг не читаю. Я молодая, мне жить хочется. Вот пойдем завтра в клуб танцовать». Так Толя научился матлотам. Он шепнул Лизе: «У меня квалификация — во какая!..» Лиза прогуляла с ним несколько дней. Потом она сказала: «Здесь немка туфли продает. По случаю. Настоящие, заграничные. И номер мой». Толя испуганно спросил: «Сколько?» — «Восемнадцать червонцев — это недорого». Толя сплюнул. «Да ты с ума спятила?» Он решил, что Лиза перебесится. На следующий день Лиза ему сказала: «Я сегодня иду с Петрицким в цирк». Толя разозлился. «Я с таким спекулянтом и раз-

говаривать не стану». Лиза повела своими раскосыми глазами. «Не разговаривай. Я и сама сговорюсь». Так кончилась первая любовь Толи.

Он тосковал и хотел как-нибудь утешиться. Рядом с ним работала Настя. Ее дразнили «соней» — она сладко зевала и терла кулачком зеленые ласковые глаза. Настя была комсомолкой. Она сказала Толе: «Очень мне нравится Жаров — как он пишет про наших нахальных комсомольцев». Слово «нахальные» она произнесла с гордостью. Толя подумал: эта тертая!.. Он поймал ее в темном коридорчике. Настя строго сказала: «Не смей! Я тебе не Лиза. Я с Ильей живу». Толя выругался и, мрачный, пошел домой. Жизнь ему не давалась.

Он был слесарем-инструментальщиком, и свое дело он знал. Говоря с девушками, он любил щеголять непонятными словами. Настя о нем сказала: «Этот паршивец все знает». Но Толя не любил читать. Когда он видел книгу, ему сразу становилось скучно. Его знания были случайны и спорны. Он знал, что Пушкин ревновал свою жену, что в Мексике было много революций, что организм требует витаминов, что за границей правят фашисты или социал-предатели, но магазины там набиты товарами и можно повсюду танцовать фокстрот.

Прочитав какую-то старую книжицу, Толя важно сказал товарищам: «Главное — это индивидуальность». С тех пор за ним установилась репутация анархиста. Недостаток знаний он покрывал находчивостью. Его трудно было переспорить. В душе, однако, он часто смущался. Он ждал, что кто-нибудь надоумит его, как жить.

Он сидел в пивной с Мухановым. Об этом Муханове все говорили, что он человек «отпетый». Толя давно собирался с ним побеседовать: он верил теперь только людям, которых другие осуждали. Муханов сразу сказал Толе: «Вот если бы Маркс дожил до нашего времени, интересно, что бы он сказал? Поглядел бы он на распределители...»

Толя внимательно посмотрел на Муханова и спросил: «Вы что же — меньшевик?» Муханов рассмеялся. «Ну и дурак ты, Толька! Наплевать мне, что большевики, что меньшевики. Я жить хочу, и не как-нибудь, но по первой категорий. Значит, по-ихнему, я шкурник. Мне вот пять-

десят стукнуло. При таких темпах я скоро, что называется, сдохну. Очень мне интересно, что после моей смерти будут всякие кисели. Нет, ты мне сейчас подай этого киселя! Можно день подождать, ну год, а здесь всю жизнь только и делай, что жди. Тогда получается, что это вовсе не жизнь, а очередь. Я сегодня был в кооперативе — три сорта кофе: из японской сои, из гималайского жита, еще из какого-то ванильного суррогата — так и напечатано. Спрашиваю: «А нет ли у вас, гражданочка, кофе из кофе?» Погляди на себя — тебе самое время гулять. Работаешь по шестому разряду. Только спрашивается, что делать с этими бумажонками? Разве, что сою жрать. А ты мог бы галстучек купить, барышню в ресторан повести, покатать ее на резвых. Вот тебе и вся история».

Толя внимательно слушал Муханова. Он вдруг понял, почему ему так скучно. Вот и Лиза ушла... Он пробормотал: «Это гибель индивидуальности». Муханов ответил: «Правильно». Потом они молча тянули пиво — за бутылкой бутылку.

На стройку Толя приехал, соблазнившись деньгами. Он вырабатывал пятьсот, а то и шестьсот рублей. Он говорил: «Я работаю ради денег, как настоящий пролетарий». Он доставал в Кузнецке водку и пиво. Жил он от всех в стороне, работал исправно, но без рвения, а в душе попрежнему тосковал. Он больше ничего не ожидал от жизни.

Тогда жизнь неожиданно вспомнила о нем. На строгальном станке работала Груня Зайцева, и, взглянув на нее, Толя понял, что он еще хочет жить.

Груня приехала на стройку прямо из деревни. Она была из села Михайловского. Это было старое сибирское село. Когда-то михайловцы были ямщиками. Потом троечные кошевки заснули в сараях: провели железную дорогу. Крестьяне хлебопашествовали и промышляли извозом.

При Колчаке свыше восьмидесяти человек ушли в партизаны. Они попали в отряд Несмелова. Этот Несмелов говорил, что он большевик, но коммунистов у себя не терпит. Партизаны пускали под откос поезда. Они приволакивали в деревню пачки царских ассигнаций, купеческие дохи и пузатые портсигары. Многие поднакупили овец и поставили новые крыши. Село разбогатело.

Нагрянул карательный отряд. Белые повесили шесть человек за то, что они были родственниками партизан. Потом белых прогнали из Сибири.

Крестьяне с гордостью говорили: «Мы красные партизаны, у нас и билеты с печатью». Они жили крепко. Они говорили, что Ленин был великим человеком, но рабочих ругали «дармоедами». Они не хотели давать городу хлеб.

Когда началась коллективизация, в село приехал Вася Шишкин. Он боялся, что кулаки убьют его, и все время хватался за револьвер. Он произнес речь: «Государство выдаст колхозам тракторы и прочий инвентарь. Значит, кто хочет добровольно итти в колхоз, тот будет строить социализм. А кто не хочет, тот в полном праве. Но я скажу, что с такими наш разговор короткий — душу вон, кишки на телефон». Дня через три в овраге нашли труп Васи Шишкина. Арестовали шесть кулаков. Из Томска приехал Никитин, он начал раскулачивать.

Марья Ефимовна, увидав, что пришли за ее коровой, начала кричать, как оглашенная: «Хоть до утра оставьте! Ведь и скотина чувствует. Куда вы ее на ночь ведете?» Громов сказал: «Дура! Своей пользы не понимаешь. Может быть, ей прививку от болезни привьют». Марья не унималась. Тогда Громов прикрикнул: «Вот тебя раскулачат, тогда будешь орать!» Марья мигом примолкла. Два дня спустя она исчезла вместе с ребятами.

Мужики поразъехались — кто в Новосибирск, кто в Кузнецк, кто в Прокопьевск. Остались бабы. Бабы ходили сердитые и ругались. В колхозе «Красная заря» работал Шатохин. Он был прежде столяром в Иркутске и не знал крестьянских распорядков. Когда начался падеж скота, Шатохин поехал в город за ветеринаром. Тем временем Архипов надумал лечить скотину огнем. Он спалил общественный двор и сено. Архипова судили за поджог. Он плакал и клялся, что хотел уберечь коров.

На Шатохина ночью напали. Убийцы вспороли ему живот и всунули туда солому. Сельсовет принял резолюцию: «Постановляем обеспечить семью борца революции Шатохина, а от пролетарского суда ждем беспощадного наказания преступников».

Марья Ефимовна прислала сестре письмо. Она работала в большом совхозе неподалеку от Новосибирска.

В письме она жаловалась на харчи, но жизнью была довольна. «Детишкам здесь хорошо. За ними смотрят, даже приехала учительница из Томска. Я зашла в ихний барак, а они все лежат и спят, мои тоже спят, а она сказала, что это называется мертвый час и что дети безусловно отдыхают. Я очень радуюсь, что приехала сюда. Здесь теперь купили пятьсот свиней и берут на работу всех, кто только приходит. Так что, дорогая сестрица, приезжай скорей!» Сестра Марьи усмехнулась и начала вязать в узлы добро.

Из города прислали Бакулина. Бакулин нахмурился и сказал, что надо подписать контракт и всем итти на лесозаготовки. Работа была тяжелая. Людей донимала мошкара. Бабы не выдерживали и сбегали.

Груня работала с отцом в колхозе «Могучий комбайн». Потом отец поссорился с Громовым. Он принес газету и сказал: «По газете выходит, что я могу выйти из колхоза и никто меня за это не может преследовать». Он повесил в избе портрет Сталина, а когда предсельсовета спросил его: «Ты что это мутишь?» — он гордо ответил: «Я по закону одноличник».

В сентябре кто-то поджег стога. Сгорело триста пудов хлеба. Калачев, который уже двадцать лет как был в ссоре с Зайцевым, сказал Громову: «Никто другой, как Зайцев. Он это в отместку поджег». Громов позвал к себе Зайцева, отослал всех и глухо сказал: «Признавайся!» Зайцев сначала божился, что это не он поджег, а потом, глядя злыми глазами на Громова, прошептал: «Убить тебя мало, гад ты этакий!..» Зайцева куда-то возили, допрашивали, а потом сказали, что он ни в чем неповинен: стога поджег Фомка Матюшин.

Зайцев возненавидел односельчан. Он сказал жене: «Нет мне здесь житья!» Кряхтя, понес он сундучок на станцию. Потом пришло письмо: Зайцев писал, что он работает в Осиновке на рудниках. Семью он к себе не звал: «Живу в бараке, а работа тяжелая». Жена Зайцева запросилась назад в колхоз, но ее не приняли. Тогда она сказала Груне: «Уезжай! Бог даст, я с ребятами и одна управлюсь. А ты молодая. Зачем тебе здесь погибать? Замучают они тебя». Так Груня попала в Кузнецк.

Сначала она дичилась людей. Она привыкла к тому, что люди — враги. Она боялась, что ничего не сможет сде-

лать и что за любой проступок ее отдадут под суд. Еще больше людей ее страшили машины. Она не понимала, зачем они и как к ним подступить. Ее голова была полна вопросами, но заговорить с кем-нибудь она не решалась. Выручил ее старый слесарь Головин. Он как-то посмотрел на Груню и, покачав головой, сказал: «Да ты, девушка, не бойся!..» Он ласково улыбнулся. Никогда еще Груня не видала такой улыбки. Она подошла к нему и доверчиво спросила: «Можно листы класть налево?..» В первый день она увидала, что Федотов клал листы направо, и она решила, что иначе нельзя. Головин рассмеялся, но смех его не был обидным.

С этого дня они подружились. Груня его спрашивала о рычагах, о людях, о непонятных ей словах, о чугуне, о партии. Головин охотно объяснял. Он как-то сказал: «У меня дочка, как ты. Тоже светленькая. Она теперь в университете — вот как!..»

Груня быстро росла. Она поступила на курсы по повышению квалификации. Головин сказал ей: «Ты что же в комсомол не идешь?» Груня ответила: «Глупа я — ничего не понимаю». Но несколько дней спустя она сказала секретарю ячейки, что хочет записаться в комсомол. С волнением она пошла на первое собрание: ей казалось, что она идет в университет, как дочка Головина.

Вскоре она познакомилась с Колей Ржановым. Коля дружески улыбнулся и дал ей книгу: «Вот почитай, а не поймешь чего, скажи — может, я смогу объяснить». В тот вечер она написала письмо матери. Она писала: «Теперь я вижу, что мы несправедливо ругали коммунистов. Если такой Громов плохой человек, это не потому, что он коммунист. Я теперь многое поняла и, когда я приеду, расскажу тебе. Но ты не должна говорить против коммунистов, потому что твоя дочь член комсомола и гордится этим».

Она уверовала в коммунизм твердо и страстно. Коммунизм для нее был букварем: по нему она училась читать. Те небольшие поручения, которые ей давали, она выполняла немедленно и тщательно. Она никому не говорила о том, как она счастлива. Только раз ни с того ни с сего она сказала Головину: «Спасибо тебе, Иван Никитович!..» Ее голос выдал волнение, и Головин смущенно забормотал: «Ну, чего там...»

Ничто не могло поколебать ее веру. Она знала, что Ванька — рвач, когда ему предложили остаться на сверхурочные работы, он ответил: «Очень нужны мне ваши три рубля!» Ловцович в доме отдыха завел ее под дерево и там начал тискать, она в гневе сказала: «Подлец ты, а не комсомолец...» Комсомольцы могли быть плохими. Комсомол оставался комсомолом, и за него Груня готова была отдать свою жизнь.

Она не гуляла с парнями, и в ее жизни был пробел, который напоминал о себе только внезапным румянцем и минутами тоски, когда Груня спрашивала себя: кому я нужна такая?.. Тогда ей казалось, что она соскучилась по матери, что она глупа и необразована, что никто не хочет с ней знаться. Она не понимала, откуда эта тоска. Она никогда не думала о любви. Она была хороша собой, и парни часто ее задевали, но она отругивалась. Ее звали «нетрожкой» потому, что на заигрывания она отвечала: «Не трожь!» Она видела, как легко девушки сходились с парнями, но считала, что это — нехорошо: так можно было жить в Михайловском, но так не может жить работница и комсомолка.

Толя Кузьмин ей сразу понравился. Он не рассказывал скверных анекдотов, не хвастал, что гуляет с девушками, не пробовал ее целовать. Он только нежно глядел на нее. Она охотно его слушала. Он умел рассказывать: он говорил о Пушкине, о неграх, о кино. Он сказал как-то: «Пойдем в клуб танцовать». Она заупрямилась: «Нехорошо это, я ведь комсомолка». Он сказал: «Мало комсомолок танцуют?» Груня возразила: «Это не танцы, а физкультурная пляска. Если коллективные игры, я это понимаю...» Толя начал над ней смеяться — не все ли равно, какие танцы? Тогда Груня рассердилась и сурово сказала: «Бесстыдные эти танцы, жмутся друг к другу — не хочу я...» Она вся покраснела, и Толя, неожиданно сам для себя, сказал: «Может быть, ты и права».

Толя не понимал, что с ним. Он больше не пил, не балагурил. Он пробовал образумить себя: «Втюрился в дуру!..» Но и это не помогало. Он теперь жил теми часами, когда бывал с Груней. Головин работал до позднего вечера: надо было спешно сдать части «Водоканалстрою». Груня ему помогала. Толя говорил: «Я тоже останусь на

сверхурочные». Он добавлял: «Надо на табачок заработать!» Но оставался он только для того, чтобы выйти вместе с Груней — он ее провожал до дому.

Груня его спросила: «Неужели ты ради денег остаешься?» Толя поглядел на нее и ответил: «Нет!» Она обрадовалась: «Я так и знала. Ты все смеешься над ударниками, а ты сам ударник — понимаешь, что это дело чести». Толя остановился, сказал: «Наплевать мне на вашу честь! Не верю я в такие разговоры. А если остаюсь — только ради тебя». Груня возмутилась словами Толи, но то, что он остается ради нее, ее удивило и обрадовало.

На следующий день они снова начали спорить. Груня сказала: «Столько ты знаешь, а не в комсомоле». Толя ответил: «Знал бы меньше, может быть и пошел бы, как баран. Это я тебя должен спросить — почему ты пошла в комсомол? Тебя это унижает». Груня сказала: «Если работать только ради денег, жить скучно. Так у нас в деревне жили. Водку пили, дрались. А я теперь знаю, зачем я живу. Вот мы строим социализм — и это такое великое дело, что даже кто кирпичи кладет, чувствует: совсем он другой человек». Толя притворно зевнул: «Эх ты, балалайка! Ты даже не способна по личному вопросу поговорить. Объелись вы политическим винегретом! Слушаю тебя, а как будто это Нюша говорит или Манька — все на один голос. А ведь ты, Груня, другая. Сердце у тебя нежное. Я тебе скажу стихи. У меня книжка есть «Чтец-декламатор» — старая, с ятями. Там стихи — читаешь — красота! Ты только послушай: «Хочу я зноя атласной груди! Мы два желанья в одно сольем!» Вот это жизнь. Я, Груня, не как-нибудь — побаловаться. Если я такое говорю, это от чувства. Я тебе вот что скажу — давай поженимся!..»

Он говорил это среди покрытых снегом землянок. Вокруг никого не было, и, остановившись, он крепко поцеловал Груню. Впервые Груня не стала отбиваться. Она сама подставила Толе губы. Потом она пошла в барак, и тотчас же поняла, что поступила плохо. Ей хотелось выбежать на улицу, нагнать Толю, сказать: «Я это по глупости, а больше — никогда! Если ты такое говоришь про комсомол, я тебе не товарищ. За честного пойду, а не за рвача!»

На следующий вечер, когда Толя пошел с ней, она сказала: «Ты, Толя, на меня не рассчитывай. Я комсомолка. Ты меня стихами не заговоришь. Я сама знаю, как нужно жить. А провожать меня не к чему».

Толя продолжал итти рядом. Он чувствовал, что Груня от него уходит, и терял голову. Он снова принялся ругать комсомольцев: «Знаю я этих героев! Говорят, как попугаи, «дело чести», а сами — обыкновенные шкурники. Продались за тряпки. Какие же это герои, если они работают ради карточек? Так и при капитализме работают: чтобы побольше выгнать». Груня возмутилась: «У меня вот карточка ударника, а я ею не пользуюсь. Я понимаю, что мы строим». — «Ну, значит, дура. Это всегда так: на сто жуликов один дурак. Ты вот посмотри на других — кто ради сапог, кто ради гармошки, а если девахи, то — подавай им тряпки...»

Груня ничего ему не ответила, но, когда, прощаясь, он хотел поцеловать ее руку, она закричала: «Отстань от меня, рвач ты несчастный!» Она закричала потому, что вспомнила, как Толя ее поцеловал и как тогда ей было хорошо: она испугалась себя.

Прошло еще два дня. Головин сказал: «Надо, ребята, налечь, чтобы сдать все к двадцатому». Толя заворчал: «Успеется». Тогда Груня громко сказала: «Мы это сделаем — наша бригада, а рвачей нам не нужно». Вечером было собрание, и Груня говорила о том, что надо обязательно выполнить работу к двадцатому. Она сказала: «Это для нас вопрос чести. Вот Толя Кузьмин говорит, что мы продались за тряпки. Мы должны показать, что мы не рвачи, а настоящие ударники». Груне аплодировали. На следующее утро Федюшин отозвал в сторону Толю. Он сказал: «Ты что же это, сволочь, баламутишь? Кто тебе за это платит?..»

Поздно вечером Груня возвращалась домой. Вдруг она увидела Толю — он ее караулил. Толя сказал: «Я всегда говорил, что у нас надо хвост держать пистолетом. Скажи слово, голову раскроят». Груня спокойно ответила: «Не раскроили. Мало ты болтаешь?» — «А ты хочешь, чтобы меня сейчас же прикончили? Очень это с вашей стороны деликатно! Я с тобой интимно разговаривал. О любви. Душу открыл. А ты на собранье побежала. Как же мне

после этого жить?» Он долго упрекал ее, жаловался и грозился. Наконец Груня сказала: «Замолчи! Ты думаешь, мне легко? Я ведь и правда хотела за тебя замуж выйти. Я до тебя не целовалась — не такая. Если бы ты на меня сказал, я бы спустила, а ты комсомол оскорбил. Я перед этим ночь не спала, все думала: сказать или нет? А потом поняла — если не скажу, я себя запрезираю. Значит, я тогда не комсомолка, а баба. У нас в Михайловском кулак человека зарезал, а жена его штаны пошла стирать, чтобы кровь отмыть. Скажут застрелить тебя, застрелю. Таким людям у нас не место. Не говори ты со мной больше!» Толя схватил Груню за плечи: «Погоди!» Она сказала: «Пусти, я людей позову!»

С этого дня Толя совсем отбился от рук. Он начал пить, три дня вовсе не выходил на работу. Его не рассчитали только потому, что он числился хорошим рабочим, а слесарей было мало.

Он познакомился на работе с одним втузовцем: это был Володя Сафонов. Толя сразу подумал: этот не как все. Он почему-то вспомнил Муханова, но сейчас же усмехнулся — Муханов был темным человеком, до революции он торговал скобяным товаром, а это — настоящий студент, наверно будет профессором. Он прислушивался к каждому слову Володи. Володя его спросил: «Ну как вы здесь, довольны жизнью?» Толя ответил: «Извиняюсь, но жизни у нас нет. Жизнь, что называется, реквизнули. Остались только ставки и распределители, а на это я не жалуюсь». Володя с удивлением посмотрел на него: «Вы не философствуйте. Это вредно для здоровья. Куда лучше не думать». Толя рассмеялся: «Совершенно правильно! В санитарных целях думать теперь запрещено. Можно даже дощечки поставить, вроде как «запрещается плевать».

Володя подумал: любопытный парнишка! Только смех у него неприятный — будто он нарочно смеется... Толя стал к нему захаживать. Он приносил с собою пиво, рассказывал анекдоты о пятилетке и все ждал, что Володя объяснит ему, как надо жить. Но Володя отмалчивался.

Толя не забыл Груню, он чувствовал, что жизнь без нее пуста. Он теперь понял, что никогда не любил Лизу. Он ходил как в чаду. Он и с лица изменился — похудел,

а глаза стали красными и припухшими. Когда он проходил мимо Груни, Груня отворачивалась. В ее сердце злоба еще боролась с тоской.

Груня переживала трудные дни. После разрыва с Толей она почувствовала свое одиночество. Мать написала, что дети хворают, нет ни хлеба, ни картошки. Отец не шлет денег. Мать писала также, что она плакала над письмом Груни — зачем это Груня пошла к комсомольцам? Груня послала матери два червонца, а на письмо не ответила.

Она встретила Колю. Коля спросил: «Как работа?» Она ответила, что в ячейке работа идет хорошо, у них теперь кружок — двенадцать ребят, изучают историю партии. Потом, помолчав, она неожиданно для себя добавила: «Только жить трудно!..» Эти слова взволновали Колю. Он не знал истории Груни, но он попробовал ее утешить. Он говорил о Томске, о хороших книгах, о Шоре — «старик все понимает!..» Груня его плохо слушала, но она ему была благодарна за то, что он говорит с ней. Она сказала: «Товарищей много, а иногда поговорить не с кем». Коля крепко пожал ее руку. «Есть у меня девушка. Она в ФЗУ работает. Хорошая. Ты приходи — я тебя с ней сведу. Вот и потолкуете. Я ведь знаю, что с нашим братом вам не сговориться». Сказав это, он рассмеялся. Рассмеялась и Груня. Потом они распрощались.

Они не видели, что сзади шел Толя: он теперь неотступно ходил за Груней. Толя не слышал, о чем они говорили, но ему казалось, что так можно говорить только о любви. Он сразу возненавидел Колю — вот кто подбивает Груню!

Когда Груня осталась одна, он ее нагнал. Он говорил как в бреду: «Груня! Грунечка! Не могу я без тебя! Оставь ты его! Он, как все ребята — побалуется, а потом бросит. Я тебе честно говорю — поженимся! Я пить не буду. Я и пью с горя, видишь, вся морда распухла... Ну, скажи мне хоть слово!» Груня ускорила шаг. Она ничего не отвечала. Тогда Толя сказал в гневе: «Не хочешь? Что ж, тогда я с ним поговорю. Убью я его! Вот тебе слово — убью! Я знаю, где он живет. Подкараулю — и трах! С ними у меня разговор короткий...»

Груня вспомнила Михайловское — как нашли Шатохина. Живот ему вспороли... Она повернулась к Толе и

сказала: «Не убьешь! Вот не убьешь! Я ему скажу. Всем скажу. В ГПУ пойду! Тебя под замок посадят. Собака ты бешеная, а не человек!»

Она не помнила себя от возмущения. Взглянув на нее, Толя отвернулся. Он сразу поник. Прошла ярость, осталась только тупая, назойливая боль. Он оставил Груню и пошел назад. Лениво он подумал: донесет, обязательно донесет! Ну, значит, крышка... А теперь бы выпить!..

Он повернул к Томи: решил сходить в Кузнецк за водкой. Не доходя до моста, он повстречал Володю Сафонова. Они пошли вместе.

16

Улицы старого Кузнецка были тихи и безлюдны. Маленькие домики скрипели под снегом. Стоял метельный ноябрь, и, что ни день, росли сугробы. Городишко походил на медведя, который сосет свою лапу. Жили в Кузнецке по большей части старики — ремесленники или лишенцы, жили плохо. Только и было радости, что опрокинуть стопочку. Закусывали огурцом или ломтиком сухого хлеба. Выпив, приободрялись, крякали, неуклюже переваливались с ноги на ногу, а потом засыпали.

На стройке продажа крепких напитков была запрещена. За водкой строители ходили в Кузнецк. Они презрительно поглядывали на деревянные домики, на кряхтящих или крякающих обывателей, на гору мусора, которая осталась от разрушенной церкви, на жизнь, незатейливую и сонную. Засунув бутыль за пазуху, они шли назад в шумные бараки.

Одна из улиц Кузнецка называлась «улицей Достоевского», но об этом не знали даже люди, которые на ней проживали. Как-то приехали со стройки немцы. Из домов повысыпали разные людишки — поглазеть на красивый автомобиль и на людей, одетых по-заграничному. Вышел и Одинцов. Когда-то у Одинцова была богатая вывеска: «Военный и штатский портной». Теперь он шил «из материала заказчиков». Но никакого «материала» у лишенцев не было, а Одинцов клал заплаты и угрюмо хлебал пустые щи. Одинцов подошел к немцам поближе и сказал: «Вот

это фасончик!» Немцы его спросили, где здесь находится дом Достоевского. Одинцов обиделся. Он сказал, что живет в Кузнецке тридцать четыре года, но такого человека не знает и не знавал. Одинцов подозвал Тихомирова, бывшего псаломщика, который теперь выводил клопов. Тихомиров, подумав, сказал: «Ага, инженер со стройки? Как же, он в том доме живет, на углу. Только сейчас его нет». Немцы рассмеялись. Тихомиров вежливо улыбнулся и шепнул Одинцову: «Вот что значит иностранцы — веселые!» Немцы долго бродили от одного дома к другому. Впереди бежали мальчишки и кричали: «Иностранцы писателя спрашивают».

Потом из кривого дома вышел старичок. У него была желтая борода, а говорил он тихо и задыхаясь. Он сказал: «Это третий дом отсюда. Я сейчас проведу вас. Здесь проживал Федор Михайлович. Он приехал сюда из Семипалатинска и был в большом волнении. Может быть, вы знаете, что здесь его дожидался предмет его воздыханий? Когда пьяница Исаев умер, Мария Дмитриевна никак не могла решиться, с кем ей соединить свою судьбу. Федор Михайлович повстречал здесь учителя Вергунова, а этот Вергунов сделал предложение Марии Дмитриевне. Вот у этого окна Федор Михайлович писал о несчастненьких». Потом старик показал на кучу мусора и добавил: «В этой церкви Федор Михайлович венчался». Один из немцев, прижав к глазу фотографический аппарат, спросил: «Где же церковь?» Старик виновато зашамкал: «Стар я, забываю, что говорю...»

Самый главный из немцев сказал приятелям: «Не зная Достоевского, трудно понять душу этого народа». Они вошли внутрь дома. На маленькой печурке старуха готовила оладьи, и в комнатах стоял чад. Казалось, ничего здесь не изменилось за семьдесят лет; те же лапчатые кресла, те же фикусы и фуксии. На стене, среди старых картин, изображавших крестьянскую свадьбу и охоту на волков, немцы увидели портрет Ленина. Ленин был в кепке. Он стоял и говорил.

Старичок объяснил, что теперешние хозяева — внуки ссыльного; ссыльный был приятелем Достоевского — часто они проводили вечера в спорах. Немцы посмотрели на внуков: это были два мальчика, погодки лет тринадцати —

четырнадцати. Они сидели у того самого окна, у которого Достоевский писал свои повести. Они тоже писали: они готовили уроки. Немец, который знал русский язык, взял тетрадку и прочитал: «В Америке на семь душ приходится один автомобиль, но к концу второй пятилетки мы безусловно перегоним Америку...» Он спросил мальчиков: «А вы читали Достоевского?» Мальчики ответили: «Нет». Немец еще раз повторил: «Без Достоевского здесь нельзя ничего понять». Мальчики выбежали на улицу и, как завороженные, замерли перед автомобилем. Немцы погудели и уехали. Одинцов, глядя им вслед, сказал: «Жирные! А пальтишко видел? Настоящий коверкот! Вот и бесятся...»

Не будь немцев, кто бы подумал, что эта улица чем-нибудь примечательна? Люди шли на базар, там поблизости была и лавка, где продавали вино, и фотограф, который снимал подвыпивших парней на фоне самолета, украшенного надписью: «Ударник». На улицу Достоевского никто из посторонних не захаживал. Но в тихий зимний вечер среди сугробов показались две тени. Один был с очками, он медленно шел, другой все время размахивал руками и гримасничал.

Никто, впрочем, за ними не следил: час был поздний, и люди спали: спал Одинцов со своей старухой, спал Тихомиров, покрывшись рваной шубенкой, спал и старичок с желтой бородой, один возле печи, спали лишенцы, дети и столяры из трудовой артели, спала вся улица Достоевского. Кто скажет, что снилось этим людям? Жирные пельмени? Весна? Первая любовь? Или та чепуха, которая чаще всего снится человеку: пропасти, пустые орехи, приблудная собака и какой-нибудь доморощенный упырь с мордой сварливой соседки?

Пробежал инженер Каринский. Он работал на стройке, а жил здесь, спутавшись с одной разбитной вдовушкой. Любовь заставляла его каждый день бежать по снежным полям и пустырям. Он бежал и что-то мурлыкал под нос. Он думал об использовании доменного шлака для мостовых и о пухлых плечиках своей Машеньки. Он даже не посмотрел на двух полуночников.

Приятели уже успели побывать у кривого Медведева, который пускал загулявших строителей к себе на кухню.

Медведев выставил бутыль водки и грибков. Хлеба у него не было, но гости и не потребовали хлеба. Они пили водку из больших стаканов жадно и сосредоточенно, как будто их мучила жажда. Медведев, поглядев на них, тихо сказал жене не то с удовлетворением, не то с завистью: «Ишь, как лакают!..» Гости мало разговаривали, а допив бутылку до донышка, сейчас же встали. Они сказали Медведеву: «Надо голову проветрить». Водка приятным жаром доходила до кончиков пальцев. В голове гудело. Они шли, не глядя, куда ступают, и ныряя в сугробы. Кое-где в окнах желтели слабые огоньки, но ярче их были густые зимние звезды.

Толя, бегая вокруг Володи, говорил: «Если я пью, то от любовной катастрофы. Что меня обижает, это полное отсутствие глубины. Я, можно сказать, душу обнажил, страдал, хотел даже застрелиться. А она, простите меня, все это обратила в вульгарную анкету. Честное слово. Теперь меня посадят. Будто бы я на убийство покушаюсь. За такие дела могут и к стенке приставить. Только мне наплевать! Я давно с жизнью простился. Важен голый факт — почему она меня обидела? Зазубрила, как дятел: «комсомол и комсомол». Я понимаю, можно человека бросить ради чего-нибудь возвышенного. Я видел оперу «Демон» — я это очень хорошо чувствую. Но что ей этот комсомол? На черную доску записывать? Или — сидят и лопочут: «Промежуточные элементы колеблются». А вот вы спросите их — они даже не знают, что такое элемент. Со стороны глядеть — и то противно! У меня была любовная трагедия, а у нее строгальный станок. Если вы пописываете, вы об этом можете интересный роман написать. Почище «Цемента»! Только не напечатают — побоятся. Бездны побоятся, потому что такая жизнь — это и есть настоящая бездна!»

Голос Толи срывался. Он говорил то патетически, как оратор на трибуне, то жалостливо, со слезой, будто перед ним Груня. Володе было тяжело его слушать. Ему вдруг показалось, что и нет никакого Толи. Все это скверный сон, выпил — вот и померещилось. Он в досаде пробормотал: «Ты что юлишь?» Толя обиженно ответил: «Я не юлю, а иду с вами рядышком». Потом Толя снова начал говорить: «Это такая драма, такая драма!..»

В голове Володи мелькнуло: «Что за ерунда? Как будто нарочно, чтобы меня высмеять... Даже с Ириной... А может быть, он выдумал? Я не хочу, чтобы надо мной смеялись! Ирина не такая. Да и все у меня не такое...» Он прикрикнул на Толю: «Замолчи!»

Толя испуганно поглядел на Володю и ответил: «Довольно я на моем веку молчал. Я одного жажду: свободы...»

Володя съежился, как будто его ударили. Вот и о свободе говорит!.. Ну, чем не Сафонов? Наверно, и книжки почитывает... Голос у него противный... Значит, деревянный кран, чтобы поднимать щиты?.. Что ж, наверно этот Колька прав: надо сделать кран. Вообще все правы. Они правы потому, что могут жить. Сейчас он у Ирины... Целуются... Честный отдых после трудового дня. Не то что он: напился и разговаривает с этим вьюном... Каждому свое! Только напрасно он у Ирины погорячился. Она подумала, что он ревнует. А это подло и ни к чему. Он должен был тоже улыбнуться, как Колька. Он ведь хочет, чтобы она была счастлива. Но он не умеет улыбаться, пробовал — не выходит... Надо обязательно научиться...

Володя больше не слушал Толю. Он шагал, отрешенный от всего. Каждый раз, когда его нога погружалась в мягкий снег, ему казалось, что он тонет, и он смутно радовался. Он подошел к забору, чтобы закурить. Машинально он прочел: «Улица Достоевского». Он никогда еще не был здесь. Несколько раз он повторил про себя: «Достоевского, Достоевского». Все внезапно переменилось, эта пьяная ночь, среди сугробов, оказалась продолжением других ночей, столь же темных и диких.

Когда он читал Достоевского, он заболевал. Это были не книги, но письма от близкого человека. Он негодовал, усмехался, разговаривал сам с собой. Иногда, измучившись, он бросал книгу. Он давал себе слово никогда больше этого не читать. Час спустя, с виноватыми уловками, он раскрывал книгу на той самой странице, которая его так возмутила. Он облегченно вздыхал — час передышки был вдвойне трудным. Он зарывался в чащу нелепых сцен, истерических выкриков и вязкой горячей боли. Иногда ему казалось, что вот-вот и он сам забьется в падучей. Он однажды сказал Ирине: «Есть писатель, кото-

рого я ненавижу — это Достоевский. Это самое постыдное из всего, что у нас было. От Достоевского пошли все эти мировые масштабы, батальоны смерти, Рамзины, словом белиберда». Это было после того, как он прочел «Идиота». Он был убежден, что только один человек сказал всю правду о людях. Это та правда, которая бесспорна и смертельна. С ней нельзя жить. Ее можно выдавать умирающим. Для того чтобы сесть к столу и пообедать, надо о ней забыть. Чтобы родить ребенка, надо вынести из дома все эти приложения к старой «Ниве» в коленкоровых переплетах. Чтобы построить государство, надо запретить даже повторять это имя.

Прочитав надпись на дощечке, Володя не то проснулся, не то погрузился в новый глубокий сон, и тот монолог, который он произнес на заснеженной улице, перед Толей и сугробами, был сказан как бы во сне:

«Итак, вы не побоялись назвать улицу его именем. Вам нельзя отказать в смелости. Впрочем, что значит это имя для какого-нибудь Сеньки? Сопоставление прекрасно: улица Достоевского, а рядом «гигант стали». Между ними несколько километров и мост. Причем, я не забываю о культурных достижениях. Достоевского в Омске выпороли. Теперь никого не порют. Были тюремщики, взяточники, холуи. Теперь — инженеры. Ирина — преподавательница в ФЗУ. Я все это знаю. Я готов вас приветствовать. Я хочу только сделать маленькую сноску — для неисправимых чудаков. Я хочу продолжить сопоставление. С одной стороны, человек, обыкновенный человек — борода, рулетка, патриотические вирши, любовные неурядицы, болезни, ссоры с издателями. С другой — все грандиозно — самый большой в мире блюминг, не картишки, но диамат, не вшей искать, но взаимная чистка, рекорд кладки кирпича, наилучшая сталь, конвейер и прочее. Какой апофеоз человека в 1932 году! Стыдитесь, Федор Михайлович! У вас была слабость — пожалеть «несчастненького». Вы выгоняли чахоточную единицу на улицу, чтобы она била в игрушечный барабан. Это прием ярмарочного шарлатана! На жалости вы составили себе мировое имя. Мой отец, доктор Сафонов, попался на вашу удочку. Он говорил: «Такого надо пожалеть!..» Но ведь это архаизм! Это и есть «промежуточные элементы». Вместо жалости у нас

классовая солидарность. Мы уничтожаем не личностей, но класс. Важно то, что мы перегоним Америку. Федор Михайлович, вы напрасно презирали комфорт. Мы научились его ценить. Не улыбайтесь в вашу бороду! Она пахнет нафталином. Ее можно сбрить — кисточки для бритья подвергаются теперь дезинфекции. Мысли тоже. Никаких микробов! Раньше в тюрьму сажали петрашевцев, а теперь спекулянтов и валютчиков. Значит, вредных мыслей больше нет. Ваши письма выходят в издании «Академии». Будет много, много книг и домен много, мы обязательно перегоним американцев. Мы не будем жевать резинку. Мы будем заниматься диаматом. Мы начнем даже...»

Он запнулся, потеряв нить мыслей. Пристыженно, по-детски он сказал Толе: «Зачем ты мне столько подливал?» Но Толя, который с восторгом слушал Володю, ответил: «Причем тут водка? Я тоже пьян. Но мне наплевать, сколько я выпил. Я Достоевского не читал, но я вас прекрасно понимаю. Я то же самое чувствую. Я вас давно хочу спросить, что же мне теперь делать?»

«Что делать? Не знаю. Пей водку. Если ты веришь в господа бога, запрись в нужнике и клади поклоны. Можно еще написать в тетрадке: «Протестую во имя свободы мысли», а тетрадку запереть. Словом, лучше всего быть сволочью, как я. Я ведь болтаю, болтаю, а все это слова. Просто прочитал книжки и повторяю. А перед кем я говорю? Разве можно домну пронять словами? Машина сама знает, что ей делать. Если сказать: «Я не согласен», — она не смутится. А если повернуть рычаг в другую сторону, тогда она сломается — вот и все...»

Толя весь просветлел, как будто что-то его озарило. Он цыкнул на Володю: «Тише! Не кричи!..» Но Володя снова не замечал его. Он говорил теперь об отце, о каких-то пионерах, о тетрадке в сундуке, и Толя его не понимал. «Ирина, родная! Ты меня не слушай! Я все это — от зависти. Он крепкий. Да и все вы крепкие. Только мне надо убираться во-свояси...»

Когда Володя наконец замолк, Толя подошел к нему вплотную. Он прижался губами к его уху. Володю затошнило от запаха сивухи и духов: у Толи были жесткие волосы, и он их мазал какой-то душистой помадой. Толя

шепнул: «Это ты правильно сказал — повернуть в другую сторону. Только ты, Володька, помалкивай!..»

Володя посмотрел на него ясными бессмысленными глазами. Он не мог понять, о чем говорит Толя. Но слово «Володька» его раздражило, как запах помады. Он строго сказал: «Есть Петьки и Сеньки. А я Володя. Или Сафонов».

Толя вдруг расчувствовался. «Я, наверно, скоро умру. Грунька ужасная сволочь, а кавалер ее со связями. Он к Маркутову ходит. Так мне пожить и не удалось! Ты, Володя, моей тоски не понимаешь. Я вот стихи люблю. Я знаю напамять много и красивые. Вот я тебе прочитаю — это, может быть, всю мою трагедию выражает...»

Он стал в позу возле сугроба и хриплым, пьяным голосом начал декламировать: «Я хочу горящих зданий! Я хочу кричащих слов!..»

Володя не дал ему дочитать до конца. Он снова почувствовал страх перед этим человеком. Он закричал: «Почему у тебя голова воняет?» Толя ничего не ответил. Тогда Володя мучительно поморщился: он хотел что-то вспомнить. Ему показалось, что все это уже было: и сугробы, и стихи, и противный запах. Наконец он сказал: «Я, по-твоему, умный человек?» Толя ухмыльнулся: «Комплиментов захотелось? Ну, умный. Это слов нет — умный». — «Стой! А со мной приятно разговаривать?» — «Если говорю, — значит, приятно». — «Вот теперь повтори: с умным человеком и поговорить приятно». Толя растерянно моргал. Володя больно сжал ему руку. Тогда Толя послушно, как урок, повторил: «С умным человеком и поговорить приятно». Володя оттолкнул его. «Это ты нарочно подстроил! Смеешься надо мной? Смердякова разыгрываешь?..»

Он бросился бежать прочь. Толя попробовал его догнать. Добежав до угла, Володя услышал, как он кричал: «Погоди! Да куда же ты?» Володя побежал еще быстрей. Он падал в сугробы и снова подымался, он скользил, его лицо было в снегу, горели руки, но он, не помня ничего, все бежал и бежал.

Остановился он только, увидев перед собой огни стройки. Тогда он сел на снег и, наклонив низко голову, пробормотал: «Вот я и выпил...» Он просидел так с час;

потом почувствовал, что ему холодно. Он встал, стряхнул с себя снег и поплелся домой. Он больше не думал ни о Достоевском, ни о Толе, ни о своем позоре. Все время ему казалось, что кто-то глядит на него и ласково неуклюже улыбается. Сначала он подумал — Ирина! Но потом вспомнил: нет, не Ирина, это отец, именно отец так улыбался...

17

Оставшись один, Толя припомнил все обиды сумбурной ночи. Володя над ним посмеялся. Почему он заставил Толю повторять какие-то слова? Конечно, Володя много знает. Насчет рычага он правильно сказал, но только он трус!

Хмель начал выветриваться, и Толя приуныл. Что же с ним будет? Груня, наверно, уже все рассказала Ржанову. Тот побежит к Маркутову. Вызовут, станут допрашивать. Разве они поверят, что он просто хотел припугнуть девчонку?

Толя не хотел сознаться, что он сам трусит. Он уверял себя: наплевать! Но вместе с морозом в него забирался страх. Он бегал по пустым улицам, как будто за ним гнались. От холода гудели ноги. Наконец, не вытерпев, он постучался к Медведеву.

Сон у Медведева был крепкий, и Толя успел закоченеть прежде, нежели раздалось в сенях шарканье. Перепуганный голос спросил: «Кто тут?» Толя ответил: «Свои». Медведев выругался: «Вот, чорт, напугал! Ты что это придумал человека среди ночи будить? Не пущу! Ни за что не пущу...» Толя сказал: «Два червонца». Медведев помолчал, а потом начал отодвигать тяжелые засовы.

От тепла Толя сразу размяк. Он клевал носом. Вдруг, сквозь сон, он вспомнил: расскажет, обязательно расскажет! Сон сразу прошел. Умоляюще он посмотрел на бутыль: только она и могла ему помочь. Он выпил залпом стакан. Внутри жгло. Сидя на сундуке, он ругался долго и вязко.

От Медведева он ушел часов в пять, и, когда он подходил к стройке, рабочие уже спешили на работу.

Гаврюша спросил Толю: «Ты что это — на именинах был?» Толя приостановился и визгливо крикнул: «Не болтай! Нет теперь никаких именин! Теперь у нас октябрины!» Гаврюша строго сказал: «Иди спать. Лодырь ты несчастный!» Но Толя в ответ выругался.

Он дошел до горкома и спрятался за будку. Ему казалось, что все люди заняты теперь одним: преступлением Толи Кузьмина. Он увидел, как приехал Маркутов. Глаза у Маркутова были серые и злые. Он долго соскребал снег с сапог. Пока он топотал возле двери, Толя в ужасе думал — вот сейчас раскроет папку и скажет: «Где этот Кузьмин?» Ждать было так трудно, что Толе захотелось подойти к Маркутову и сказать: «Вот я! допрашивай!» Но он спрятался подальше за возок.

Он подумал: может быть, Груня не скажет?.. Тогда он уедет на Магнитку. Там его никто не знает. Но тотчас же он усмехнулся: чорта с два! Так его и выпустят! Он вспомнил ночь, сугробы и тихий голос Володи: «Если повернуть рычаг...»

Он громко вздохнул. Бывает — задумаешь что-нибудь и не выходит. Так и его жизнь не вышла. Стихи об этом хорошие: «Сны мимолетные, сны беззаботные снятся лишь раз». А впрочем, и стихи ерунда! Кто это придумал — слова в ряд, потом рифма?.. Беззаботные, мимолетные, безработные... Еще что?.. Животные... Глупо! Да и все глупо! Вот один раз поцеловался с Груней, а потом она побежала — доносить. Лизка, та спуталась с рвачом — туфельки ей потребовались! Даже выпить хорошенько не дали. Как это очкастый говорил? У Достоевского мировое величье, а у нас сортир. Тьфу! Медведев — жулик: не водка у него, а дерьмо. Тошнит от нее...

К возу подошел рабочий. Толя отбежал в сторону. Он постоял еще немного посредине площади, а потом поплелся как будто на работу. Он сам не понимал, что с ним. Он еще пытался себя образумить. Тупо он повторял: «Вот тебе мостик, вот это мартен, а вот и Васильев!..» Он хотел быть трезвым и спокойным. Так же безразлично он сказал: «Вот тебе рычаг!» Тогда в его. голове снова встали слова Володи. Он оглянулся. Кругом никого не было. Он даже успел подумать: ну и бездельники! Потом от злобы у него потемнело в глазах. Он подкрался и, как будто

перед ним человек, навалился на рычаг. В ту минуту рычаг для него был живым: Груней, Ржановым, комсомольцами.

Рычаг не поддавался. На лбу Толи вспухли жилы. Он не помнил себя. Он напрягся, и рычаг, наконец, уступил. Тогда Толя радостно ухмыльнулся: он был теперь с жизнью в расчете.

Он хотел было побежать прочь, когда кто-то вцепился в его плечи. Он стал вырываться, но человек не отпускал его. Они оба упали. Они катались по земле, хрипели и давили друг другу горло.

Сын кулака Вася Морозов, которого прошлой весной обвинили в том, что он подпустил лебедку, увидал, как Толя ломал рычаг. В ярости он бросился к нему. Впервые в своей жизни он видел живого вредителя, и вся злоба, которая была в нем, теперь сказалась. Он не только спасал машину, он сводил счеты со своим старым врагом.

Он был крепок, но неповоротлив. Опасность сразу протрезвила Толю. Он выскальзывал из рук Морозова, как угорь. Привскочив, он ударил его по лицу. Морозов его повалил. Толя изловчился и укусил Морозова в ухо. Тот закричал и выпустил Толю. Толя побежал, но Морозов быстро нагнал его и снова начал душить.

Подбежали рабочие. Их едва разняли. У Морозова лицо было в крови. Улыбаясь, он приговаривал: «Поймал!» Он в упор глядел на Толю, которого держали два рослых парня. Не вытерпев, он плюнул в него и закричал: «Вот тебе, вредитель!»

Сергеев сказал Морозову: «Брось, Вася. Теперь в ГПУ разберут». Но Морозов не мог оторвать глаз от Толи. Он глядел на него и все что-то говорил. Слов не было слышно, только губы шевелились. Толя дрожал как в лихорадке, и Сергеев, усмехаясь, сказал: «Ишь, дрожит!» Рабочие стояли кругом, молчаливые и злые. Только Головин проворчал: «А еще слесарь!..» Морозов все так же глядел на Толю. Он даже лица не вытер. У него были мокрые губы, а глаза темные и горячие.

Толю, наконец-то, увели. Тогда Морозов в изнеможении сел на ящик. «Меня товарищ Шор к себе вызывал. Раз я кулацкий сын, я должен оправдать доверие пролетариата. У меня вот отец на Магнитке. Он, может быть, за чужие грехи страдает, если он от рождения кулак.

А этот подлец сбоку приполз. Кусаться полез. Как собака. И зачем с таким разговаривают? Перебить их надо!..» Морозов в тоске закрыл глаза. Сергеев ласково ему сказал: «Не расстраивайся! Ты свое сделал. Его по головке не погладят. Ах, подлец, два дня из-за него простоим!..»

Коля Ржанов обрадовался за Морозова: теперь все увидят, что Вася честный парень. Да и «старик» будет доволен... Он пошел к Морозову, но Морозова увезли в больницу: к вечеру у него сделался жар. Подумав о Кузьмине, Коля почувствовал, как в нем подымается злоба. Он никогда не видел этого человека, но он думал о нем, как о своем личном враге. Вот они кладут кирпичи, роют землю, ставят машины, а потом приходит такой и портит!.. Коля знал, что его чувство разделяют все, и это его радовало. Он радовался всякий раз, ощущая свою связь с тысячами незнакомых ему людей. Он радовался силе и простоте чувства: здесь не о чем думать, это борьба насмерть.

Груня узнала о вредительстве Толи позже других. Головин знал, что Толя приударял за Груней, и не торопился с рассказом. Рассказала обо всем Груне рыжая Таня — ей давно хотелось поддеть «нетрожку». Она спросила: «Ты, говорят, с ним путалась?» Груня ей ничего не ответила. Но Головину она сказала: «Я себя во всем виню. Он мне вчера сказал, что хочет убить Ржанова. Я ему ответила, что расскажу всем. А потом я подумала, что он меня запугивает. Не поверила я, что он на такое способен. А он вот что придумал!..» Она не выдержала и заплакала. Плакала она громко, подвывая, как плакала ее мать, когда отца повели на допрос. Головин ее утешал: «Ты-то при чем? Ты, можно сказать, первая его разоблачила. На собрании выступила...» Груня вытерла лицо и взялась за работу. Но она не успокоилась. Это — ее вина! Она должна была сейчас же рассказать Ржанову или Головину. В душе она упрекала себя за другое: за поцелуй возле барака, за глупые свои мечты, за то, что ей тогда было хорошо и радостно.

Одного человека все происшедшее должно было особенно взволновать: борьба с рычагом была прямым продолжением ночной беседы среди сугробов. Но Володя весь день проспал. Никто не видел, как он вернулся. Под вечер

к нему заглянул Костецкий. Володя сказал, что у него, должно быть, грипп. Про историю с Толей он узнал только на следующее утро, развернув газету. В первую минуту он смутился. Он хотел что-то припомнить, но его мысли путались. Он никак не мог восстановить час за часом пьяную ночь в Кузнецке. Он помнил только сугробы, отдельные слова Толи и рябую морду Медведева. Кажется, они ходили по улице Достоевского. От Толи скверно пахло. Потом Володя чего-то испугался и убежал. Наверно, и Толя был пьян. Он это сделал с пьяных глаз...

Суд над Толей устроили показательный в клубе «Красный металлист». Большой барак был набит доотказа. Володя сначала не собирался итти на суд, но в последнюю минуту передумал: этот нелепый человек его чем-то привлекал. Володя помнил, как Толя приходил к нему с бутылками пива и с глупыми анекдотами — это была смесь пошлых словечек, наивных рассуждений и почти нестерпимой тоски. На процесс Володя пошел с тревогой и с отвращением.

Он теперь чувствовал себя все более и более растерянным. Он понимал, что на стройке ему больше нечего делать. Надо было на что-нибудь решиться. Он походил на слепого щенка. Он вдруг останавливался и прислушивался к чужим разговорам. Бородатый итэер сердито ворчал: «Я масла на рынке не покупаю — совесть мне этого не позволяет...» Володя бессмысленно повторял про себя: «Совесть... а что это совесть?» Кто-то обронил в столовке письмо. Володя прочел: «Дети здоровы, это главное...» Он всполошился: почему он не подумал об этом раньше? В Томске Ирина его любила. У них могли бы быть дети. Час спустя он издевался над собой: Володя Сафонов с пеленками. Его неуверенность росла с каждым днем. Она начинала походить на душевное заболевание. Порой с опаской он присматривался к себе: вероятно, так сходят с ума!

Он пошел посмотреть на Толю. Ему вдруг показалось, что этот напомаженный философ сумеет пристыдить и судей, и публику, и Володю.

Но Толя на суде держал себя трусливо. Он уверял, что ничего не помнит: «Напился, простите, как стелька». О Володе он не заикнулся, боясь, что стоит ему расска-

зать про ночную беседу, как его объявят «идейным вредителем». Он сказал, что в Кузнецк пошел еще днем, купил литровку и все время пил; что было потом, не помнит, помнит только, как под утро он встретил Гаврюшку и Гаврюшка его спросил: «Где это ты так нализался?»

Груня выступила как свидетельница. Она сказала, что Толя — классовый враг. Он ругал комсомольцев, грозил убить Ржанова. Помолчав, она добавила: «Я хочу перед всеми сказать, что я очень плохо поступила. Пускай меня из комсомола вычистят. Я вот сразу увидала, что он враг. Он мне говорил, что у нас нет свободы. Я этих кулаков в деревне видала. Они у нас Шатохина убили. Я должна была сразу его отшить. А я поступила как несознательная. Он мне сказал, что хочет на мне жениться. Я, товарищи, с ним целовалась, перед всеми это говорю. Меня надо за это наказать. Только я скажу, что без комсомола мне теперь не жизнь. С родителями я порвала на политической почве. Ничего у меня теперь не осталось, кроме комсомола. А вот и этого не смогла уберечь!»

Пока Груня говорила, все примолкли, председатель прикрыл лицо листом бумаги, даже Маркутов и тот отвернулся. Горе Груни дошло до всех, и все облегченно вздохнули, когда председатель сказал: «Вы ни в чем не виноваты. Вы себя показали честной комсомолкой».

Тогда Толя вскочил и завизжал: «Вот она, любовная трагедия!» Он хотел еще что-то сказать, но вдруг запнулся и уже другим голосом, тихим и жалостным пробубнил: «Ничего такого я и не говорил. Я болтаю по глупости, а потом выходит, что это идея. Идей у меня нет. То есть есть, но как у всех...»

Председатель брезгливо поморщился. «Напрасно вы от всего отнекиваетесь. Скажите откровенно, что вас на это толкнуло? Пьянство еще ничего не объясняет. Пьяный может поскандалить. Но вы сами знаете, что сломать рычаг не так-то просто».

Толе вдруг показалось: придумал! Он заговорил с пафосом: «Толкнул меня вроде как дух. Я, конечно, в духов не верю как убежденный материалист. Но это было мое заболевание. Я прочитал книжку писателя Достоевского, и там написано, что это мировое величие, то есть люди, а машины никому не нужны, и, если повернуть рычаг,

значит так надо. Я, конечно, читаю такие книги критически. Но когда эта деваха меня, можно сказать, смертельно обидела, я был в нервном потрясении и потерял тормоза. Потом я увидел, как она гуляет с Ржановым, и здесь-то началась драма. Я это говорю вполне откровенно пролетарскому суду. Я напился, и вот здесь я слышу этот голос: «Поверни рычаг!» Это, товарищи, как настоящая галлюцинация. Я согласен, чтобы меня доктор осмотрел. Все слова этой книжки я слышал подряд. Я говорю себе: «Стыдно, Кузьмин! Ты слесарь-инструментальщик. Ты строишь этот завод как честный пролетарий». А он мне нашептывает: «Поверни! поверни!» Так я и пошел на преступление. Я прошу только об одном: дайте мне загладить вину работой! Потому что это не вредительство врага, а исключительно личная трагедия».

Восемьсот человек жадно следили за лицом Толи: они ему не верили. Володя стоял в толпе строителей. Когда Толя заговорил о духе, он весь побелел. Это было внезапным прояснением: перед ним встала ночь в Кузнецке и сумасбродный монолог. Он не помнил в точности, что он тогда говорил, но в словах Толи он услышал искаженный отзвук тех признаний, о которых знала только тетрадка в сундуке. Первой мыслью Володи было: надо сказать. Он стал протискиваться вперед. Кто-то прикрикнул на него: «Не толкайся! Всем интересно!»

Володя вдруг задумался. Первый порыв прошел. Он говорил себе: необходимо выступить! Я трус и двурушник, но я не подлец. Я должен подойти к председателю и сказать: «Дух — это я. О Достоевском говорил тоже я. Он никогда не читал этих книжек. Он ничего не понял. В общем он не виноват. Виноват я. Меня зовут Сафонов, и вы можете меня судить. Я не вредитель. Я вообще слишком труслив для поступков, я только рассуждаю. Он оказался глупее и смелее. Я никогда не мог бы сломать машину хотя бы потому, что презираю машины. Бороться с ними так же глупо, как и поклоняться им. Я книжная крыса и скептик. Я человек другого круга и, наверно, другого класса. Я знаю, что Достоевский выше этого рычага, но рычагу нет никакого дела до Достоевского. Следовательно, все в порядке, и вы можете меня торжественно осудить».

Он повторил про себя эту речь. Он даже увидал себя на трибуне. Почему-то он подумал: надо снять очки, без очков лучше... Но тотчас же он усмехнулся: рядом с таким пошляком!.. Он теперь не мог без отвращения смотреть на Толю. Наверно, и председатель думает: почему от него воняет?.. Он весь какой-то напомаженный... Значит, Сафонов будет осужден вместе с этим юродивым за вредительство. После Сенеки — рычаг. До чего это глупо!..

Володя забыл приготовленную речь. Он теперь чувствовал только страх: вдруг Толя назовет его? Он боялся не наказания, но позора. Он сказал себе: «трус», и сейчас же попробовал оправдаться: «Нельзя отвечать за чужие поступки». Представив себе, что его могут посадить рядом с Толей, он покраснел от стыда. Он решил уйти. На него зацыкали, но он протиснулся к двери. Остановила его мысль: если Толя назовет — отложат... Лучше уж сразу!..

Председатель сказал Толе: «Насчет Достоевского вы оставьте, это не литературный диспут. А если вы говорите, что вас подговорил «дух», то у этого «духа» имеется имя. Кто же ваши сообщники?»

Все замерли: вот сейчас назовет! Кто они? Монархисты? Эмигранты? Шпионы? Толя ответил не сразу, и Володя пережил тяжелую минуту: он видел, как губы Толи складываются, чтобы выговорить «Сафонов». Он готовился пройти вперед и ответить: «Владимир Сафонов, родился в 1909 году, сын врача...» Он теперь не произнес бы никакой речи. Он ответил бы на вопросы председателя послушно и тихо, как школьник.

Наконец Толя сказал: «Сообщников у меня нет. Разве что водка и жизнь. Очень меня жизнь озлобила. Еще Груня. А потом я чересчур много думал о глупостях, вроде как о философии. Вот и результаты...»

Напряжение спало. Володя вынул из кармана платок и осторожно вытер лоб. Он сказал соседу: «Очень жарко». Тот ответил: «Ну и сволочь этот Кузьмин!» Потом говорили какие-то люди. Володя их не слушал. Толя просил о снисхождении. Наконец председатель прочитал приговор: пять лет.

Володя вышел из клуба вместе со всеми. Он теперь радовался, что стоял позади и что Толя его не увидел. Он

подумал: а ведь Толя герой — он так и не назвал Володю. О себе Володя старался не думать. Его мутило от страха и от гадливости. Но надо было что-то делать: итти в столовку или на занятия. Тогда он отчетливо понял, что он не может больше оставаться на стройке. Он должен уехать, все равно куда. Он зашагал по направлению к вокзалу. Потом он вспомнил про тетрадку и пошел домой. Он взял сундучок и сказал Костецкому, что едет в Томск на неделю. Он назвал Томск — это было первое, что пришло в голову.

Столь же машинально он спросил бородатого железнодорожника: «Когда поезд на Томск?» Поезд шел через час, и Володя этому обрадовался. На станции было много народу: провожали какую-то делегацию. Володе показалось, что среди провожающих — Ирина. Он подбежал, чтобы проститься, но оказалось, что это — не Ирина, он ошибся.

Он подумал об Ирине, подумал о ней просто и ласково, как о чем-то очень далеком. Он хотел, чтобы ей было хорошо, жалел, что не повидал ее, не сказал: «Спасибо, Ирина!» Только это и мог он теперь ей сказать: она была давно, в другой жизни. Тогда Володя еще мог радоваться. Она была с ним очень добра. Когда он отчаивался, она его утешала. Но как давно это было! Теперь все кончено, все, все... Вот и поезд!

18

На стройке не было ни театров, ни деревьев, ни улиц, но стройка числилась городом, и в этом городе были: горком, бюро красных партизан, техникум овощеводства, литконсультация по поэзии, клуб нацменов и фотоартель. Стройка, однако, оставалась стройкой. Как прежде, клепальщики на морозе клепали кауперы, а в душных бараках строители ругали харчи и говорили о большевистских темпах.

На третьей домне стал электромотор. Бригадир Антомонов сказал: «Снова прорыв!..» У него оборвался голос, и он уныло махнул рукой. Мотор подали к вечеру. Тогда Антомонов собрал рабочих: «Ребята, не уйдем, пока не

кончим!» Его бригада проработала три смены подряд. Первый каупер третьей смены был закончен. В тот же день ударные бригады бетонщиков начали фундамент под новую домну: это была домна четвертая, и она рождалась так же напряженно и мучительно, как первая.

Когда зажгли первую печь Мартена, строители стояли вокруг в молчаливом восторге: колхозники, монтажники, казахи, мордвины, спецпереселенцы, втузовцы. Шор в волнении отвернулся, но сейчас же закричал: «Что вы делаете, чорт бы вас побрал? Надо нагреть изложницы!..»

Инженер Гаврилов диктовал Ластовой: «Сегодня выдана десятая плавка: 155 тонн». Ластова, отстучав, улыбнулась — она радовалась победе. Потом она тихо шепнула Загребиной: «Кажется, завтра будут выдавать монпансье».

Маркутов выступил на пленуме с докладом. Он говорил: «Необходимо форсировать газопровод! Наш лозунг: бить морозы в лоб!» Потом Осицкий сказал: «Предлагаю почтить вставанием память товарища Ромашовой, которая погибла на боевом посту». Все встали. У Маркутова глаза были еще серее и грустнее обычного: Ромашова была его женой. Она умерла от плеврита, простудившись на ночной работе. Маркутов снова попросил слова и сказал: «Морозы нас не могут остановить. Мы должны закончить в этом квартале пятьдесят тысяч кубометров бетонных работ».

Куликова представила доклад о постройке детской площадки на семьдесят человек. Тапчаев положил резолюцию: «Категорически нет средств». Куликова не успокоилась. Она поехала на лесозавод и произнесла горячую речь. Рабочие постановили сделать сверх плана стулья, столы и кровати. На торжественном открытии площадки выступил Батиков. Он сказал: «У нас многие работницы не выходили на работу — не на кого было оставить ребятишек. Теперь семьдесят работниц смогут принять активное участие в стройке. Я предлагаю выбрать товарища Куликову ударницей коксового цеха». Куликова взяла на руки двухлетнего мальчугана и зачмокала: «Тю-тю!» Мальчуган от страха заревел. Девочка постарше подошла к Куликовой и деловито спросила: «Когда будут давать кашу?»

На вечере, посвященном культурному строительству национальных меньшинств, выступил казах Имамбаев. Он сказал: «Когда я приехал сюда, меня поставили землекопом на строительстве доменного цеха. Я не знал, что такое цех. Были здесь казахи, которые приехали до меня. Я их спрашивал, что такое цех. Они тоже не знали. Я спросил комсомольцев, и комсомольцы мне объяснили. Я понял, что такое цех, и рассказал другим казахам. Теперь они хорошо понимают, что такое цех, и никто из них не поедет домой. У нас, когда нет дождя, нет хлеба, и казахи сидят голодные. Зачем гонять скот, когда можно работать в цеху? Мы теперь только начинаем жить». После Имамбаева говорила молодая казашка: «Мы прежде жили хуже скотины. Мужчины ели мясо, а женщины стояли позади и ждали, когда кинут кость. А теперь я в ударной бригаде. Я вчера на курсы записалась...» Она смутилась и больше ничего не могла вымолвить. Ей долго аплодировали. В углу сидел старый бородатый казах. Он хитро щурился. Он сказал: «Ну и бесстыдница», а потом начал аплодировать.

Зубаков сказал Путилову: «Необходимо устроить театр. Вот в Анжерке замечательная труппа: четыре заслуженных артиста». Путилов помолчал и вдруг сказал Зубакову: «Знаете, я ведь приехал сюда в апреле двадцать девятого. Тогда здесь ничего не было, ровно ничего. Нас приехало сто сорок человек. Два шофера. А дорог никаких. Теперь я гляжу и глазам не верю. Смешно?» Зубаков сказал: «Грандиозно! Но как же насчет театра?»

Возле стройки находились осиновские рудники. Прежде там была деревня Осиновка. Деревню снесли. Осталось кладбище: на нем хоронили рабочих. Кладбище было занесено снегом, и только один крест повыше других торчал из-под снега. В солнечное утро на кладбище пришли два инженера: Власов и Ройзман. Власов подошел к деревянному кресту и снял шапку. Он сказал Ройзману: «Здесь похоронен доменный мастер Курако. Это очень странная история. Давно, еще до войны, Курако мечтал о постройке кузнецкого завода. Он работал над проектами. Я видал один из проектов — это гениально. Никто не хотел его слушать. Он жил в бедности. Он умер от сыпняка в девятнадцатом году. Тогда людям было не до

стройки...» Ройзман поглядел на лицо Власова, которое сразу стало суровым, и тоже снял шапку. Он не знал, что ему сказать. Тогда Власов неожиданно его спросил: «Почему у вас перебои с углем?» Они заговорили о работе.

Вербовщики продолжали вербовать крестьян. За одну декаду прибыло девятьсот тридцать человек завербованных и сто восемьдесят четыре самотеком. Из Чехословакии приехали безработные шахтеры. Жена Франца Кубки, вздохнув, сказала: «Франц, как же мы будем здесь жить? Здесь нет ни кофе, ни сливок, ни масла». Франц Кубка обозлился и закричал: «Мало я намучился? Здесь есть работа, и то хорошо».

Засыпало землей четырех землекопов. Резанова откопали живым. Тарасов его спросил: «Куда же вы, дураки, полезли?» Резанов не ответил. Он молчал час, два. Иногда он хватался за голову и начинал мычать. Пришел доктор и сказал, чтобы Резанова тотчас же отвезли в лечебницу. Тарасов насупился: «Вот тебе — человек языка лишился! Не хочу я здесь работать! Это не работа, это чорт знает что!» Панасенко ему ответил: «Если ты приехал за длинным рублем, уезжай! А я останусь. Я приехал сюда, чтобы строить».

Шумели бураны, и пронзительно кричала воздуходувка. Люди продолжали строить. Они строили новые кауперы, туннели, мосты, газопроводы и шахты. Как прежде, они строили день и ночь.

Коля Ржанов ходил хмурый и молчаливый. Он был занят теперь одним: он хотел построить свой кран. Все свободное время он что-то чертил. Ирина его спросила: «Ты завтра пойдешь в кино?» Он невпопад ответил: «Если под углом, обязательно подцепит...» Ирина рассмеялась, рассмеялся и Коля. Он в смущении крепко ее расцеловал, а потом проворчал: «Все-таки я его построю!..»

Коля показал чертежи Соловьеву, тот рассмеялся: «Кому это теперь нужно?» Так говорили и другие инженеры: они знали, что существуют настоящие краны, и чертежи Коли им казались игрушкой. Только слесарь Головин внимательно выслушал Колю и сказал: «Попробуем. Может, и выйдет».

Три недели спустя Коля и Головин подтащили к яме диковинное сооружение из бревен. Деревянное чудище

вытянуло шею над ямой. Коля закричал Головину: «Верти за хвост!» Лебедка тотчас же подняла щит. Землекопы сначала недоверчиво глядели на кран, но когда они поняли, что кран и вправду подымает щит, что больше не нужно таскать этот щит на плечах, они весело заулыбались. Головин сказал: «Ребята, качай Колю!» Коля подлетел высоко, чуть ли не до морды своего деревянного зверя.

Подошел инженер Херсонский. Сначала он иронически прищурился: «Что за белиберда?» Ему показали, как кран подымает щит. Херсонский проворчал: «Да, конечно... Все-таки лучше бы поставить настоящие краны...» Он не завидовал успеху Коли, но он знал свое дело и никак не мог понять это дикарское изобретение.

Однако, встретив Шора, он сказал: «Ну, у нас теперь не только моргановский кран, но и свой, доморощенный. Посмотрите, все-таки интересно, простой рабочий, а додумался...» Шор возле крана застал Колю. Он сразу узнал его и вспомнил разговор о Морозове.

Кто знает, сколько людей перевидал на своем веку Шор? Он тотчас же забывал их имена, но он помнил лица. Он помнил лица лавочников, тюремщиков, парижских консьержек, солдат, английских дипломатов, крестьян, он помнил тысячи лиц. Все чаще и чаще среди ночной тишины эти люди обступали Шора, и он мучительно морщился: у него не было времени для воспоминаний.

Шор, посмотрев на кран, закричал: «Здорово! Ведь подымает, да еще как!» Потом, задумавшись, он сказал Соловьеву: «Конечно, это выпадает из стиля. Но ничего не поделаешь: из курной избы в небоскреб сразу не прыгнешь. Лучше уж такая штуковина, чем на спине таскать». Он подозвал к себе Колю. Коля, волнуясь, следил за глазами Шора — глаза улыбались. Тогда Коля робко сказал: «У меня никакого технического образования...» Шор прикрикнул: «Сразу видно! Но вот голова у тебя на плечах — это главное. Образование пригоним. Ты что, на курсах? Ну вот и хорошо. А с осени мы тебя в Томск пошлем. В техникум. Я сейчас запишу. Голова у меня дурацкая: помню, что не нужно». Он крепко пожал руку Коли, и Коля готов был запрыгать от радости. Но он сдержался, простоял не двигаясь, пока Шор не ушел.

Потом он побежал к Ирине — на счастье, у нее был выходной день. Он вбежал в ее комнату и закричал: «Старику» понравилось! Сказал, что меня в техникум пошлют. В Томск. Сказал, что хорошо придумано. Четыре раза при нем проверяли. Он и в книжку записал...» Он хотел все сразу рассказать Ирине, но не мог рассказать о самом важном: о том, как ласково светились глаза «старика», когда он глядел на Колю. Он только, смущаясь, добавил: «Он со мной хорошо говорил, очень хорошо».

Они долго и шумно радовались, и все, что они делали, было праздничным. Пили чай, как в гостях — с медом, — Ирина достала где-то банку. Коля обсасывал ложечку и смеялся. Потом Коля показал, как Херсонский разговаривает с немцами, и это было очень смешно, а может быть, и ничего смешного здесь не было, но они смеялись. Ирина сказала: «Вот ты в Томске увидишь профессора Ивашева. Он в пенсне и вдруг забывает, что говорит, и говорит «господа», честное слово!..» И они снова рассмеялись.

Коля сказал: «В Томске хорошо заниматься. Тихо. Только скучно мне будет без стройки. Зато научусь. Буду инженером. Тогда-то начнется самое интересное. Построим завод раза в два больше этого. К тому времени у нас только и начнут строить по-настоящему. Ведь еще ни черта не сделано. Я на Урале видал эти старые заводишки — все надо сломать. Или в Восточной Сибири — какая там дичь! Вот туда и пошлют. В разведку. Я сделаю проект...»

Он снова размечтался. С его лица теперь не сходила улыбка. Ирина ему рассказывала о Томске, о профессорах, о зачетах. Он слушал внимательно и в то же время рассеянно, как слушают дети сказку. Он не мог себе представить, что скоро это будет его жизнью и что эта прекрасная жизнь в больших, светлых аудиториях окажется только вступлением к другой, с чертежами, эстакадами и мостами. Он сказал: «Чудно̀ — Колька, и вдруг инженер...»

Потом Ирина неожиданно сказала: «Значит, осенью расстанемся, и надолго...» Коля перестал улыбаться. Он постарался как можно беспечней ответить: «Ничего, я на практику сюда приеду». Но это не утешило ни Ирину, ни его самого. Тогда он сказал: «Зачем теперь думать о том,

что будет осенью! До осени далеко». Они сразу развеселились: полгода для них были целой жизнью. Коля признался: «А трудно будет без тебя!..» Ирина просияла — если так, значит, они никогда не расстанутся. Она сказала, улыбаясь: «Ничего, привыкнешь». Но Коля ответил: «Ты, Ирина, не смейся! Это всерьез». Больше они не могли разговаривать, они сидели молча друг против друга и улыбались.

Вдруг Коля снова рассмеялся: он вспомнил свой кран. «Ты знаешь, Ирина, и во сне такое не приснится! Я видал в атласе жирафа. Вот если сделать жирафа из спичек... Твой Сафонов правильно сказал «каменный век». Скажи, Ирина, ты с ним встречаешься?..»

Ирина удивленно посмотрела на Колю. Он смутился. «Ты что это думаешь? Я и забыл. Вскипятился тогда и все... Я это просто спросил. Он, кажется, умный парень. С таким поговорить интересно. Мы в тот раз сцепились. Я-то знаю почему. А он принципиально. Хотя, может быть, и он из-за этих чувств... Это ведь как по голове трахнут — ничего не понимаешь. Меня что обижает — вот вы встречаетесь, говорите, наверно, о книгах, о людях, мне ведь тоже интересно... Неужели через такое нельзя перешагнуть?»

«Не знаю... Вот если бы ты полюбил Варю, разве я могла бы сидеть и слушать, как вы разговариваете? Не так это просто переделать. Может быть, через сто лет... А пока что трудно. Я Володю с того вечера не видала. Мне это самой странно. Я думала — сжились по-человечески — настоящая близость. Но и это не выстояло. Он не приходит. Наверно, так лучше. Все-таки обидно — я даже не знаю, что он теперь делает. Он мне сказал, будто приехал, чтобы окончательно во всем разувериться. Но это слова. Он из-за меня приехал. А когда встретились, оказалось, что и говорить не о чем. Вот, как нарочно: он — в одну сторону, я — в другую. Если рассуждать логически, выходит, я его обманула. Только в этих делах нельзя рассуждать. Я когда о нем думаю, сердце сжимается: не может он жить, никак не может!..»

Коля еще никогда не видел Ирину такой печальной. Он быстро поддался ее чувству. Он не думал о Сафонове. Он был полон беспричинной грусти. Он боялся что-либо

сказать, боялся неосторожным словом еще больше огорчить Ирину. Наконец он робко проговорил: «Может быть, и не так это. Может быть, он увлечется работой...»

«Я его прежде понимала. Не совсем, но все-таки понимала. Теперь — не знаю: я сильно переменилась. А он не меняется. Один только раз я почувствовала, что я старше его. Я не могу тебе рассказать, как это было. Но я тогда расплакалась, а он ничего не понял. Впрочем, это чепуха. Он не то старше, не то старей. Я хочу тебе объяснить и не могу: у меня для этого слов нехватает. Я себе сейчас представила, как он усмехается. Вроде гримасы. Но это не от злости. Мне всегда в такие минуты казалось, что он задыхается. Знаешь, как рыба, когда ее вытащат. Он говорит, что теперь безобразная жизнь. А я вот думаю — как жила моя мать? Училась в гимназии. Танцовала. Ходила в театр. Потом вышла замуж. Папа работал в депо. Он с утра уходил. Она сидела дома или ходила в лавки или к сестре. Нянчилась с нами. Скучно это, так скучно, что страшно подумать! А что будет через сто лет, я не знаю. Может быть, будет замечательно. А может быть, тоже скучно: все построят, наладят, научат всех думать. Это, конечно, хорошо. Только куда интересней теперь. Все приходится делать своими руками. Как ты — этот кран. Я говорила Володе, а он отмахивался. Может быть, он не во-время родился. Раньше такие люди были счастливы. То есть счастливы они не были, наоборот. Но тогда всем казалось, что быть несчастным — это очень благородно. Он был бы в своей среде. А это для человека главное. Его горе в том, что он честен, ни за что не хочет приспособиться. Сколько у нас таких — в душе на все плюют, а публично распинаются! Володя не умеет обманывать. Он и себе не врет. А верить — он ни во что не верит. Как же ему тогда жить? Иногда мне кажется, что мы все перед ним виноваты, виноваты тем, что живем, работаем, веселимся. А иногда меня злоба берет. Посмотришь кругом: ужас, землянки, бараки, люди надрываются, надо дело делать, минуту потерять — и то страшно, а он ходит с цитатами. Тогда я, кажется, сама готова сказать: «Уж лучше стреляйся!»

Ирина выговорила залпом, и, выговорив, она сразу успокоилась, как будто ее освободили от чего-то очень

мучительного. Она часто вспоминала Володю, но только теперь, рассказав о нем Коле, поняла, как много времени утекло с Томска, как отошла она от того, что тогда ей казалось жизнью.

Коля сидел молчаливый и сумрачный. Он был силен, когда приходилось сталкиваться с жизнью лицом к лицу, но, попадая в чащу сложных чувствований и противоречий, он неизменно терялся. Он не понимал, что происходит в душе Ирины. Почему она так безжалостна к этому Сафонову? Он сказал: «Здесь, Ирина, что-то не так. Если даже он чужой, он может перестроиться. Возьмем Васю Морозова. Его не узнать. А ведь это кулак, темнота. А Сафонов другой, он думает. Он и не похож на врага. Я это тогда зря сказал. У врагов зубы. Какой-то он неприкаянный, выпал, а на место его не поставили. Вот я тебя слушал и все время думал: может быть, это наша вина? Очень быстро мы людей отшиваем: раз-два — и прощай! Я буду с тобой говорить откровенно. Ты пойми: с моей стороны это не любопытство. Я никогда не спросил бы... Но вот вы, что называется, друг дружку любили. Ты хорошо видишь жизнь. Я с тобой душевно вырос. Два человека мне так помогли: ты и «старик». Почему же ты его не выволокла? Это легко сказать: «стреляйся». Но я в это не верю. Человеку надо помочь. Да и ребята у нас неплохие. Только заняты все по горло, некогда, спешат. А потом человек и вправду стреляется. Это, Ирина, не дело...»

Ирина спокойно его выслушала. Ее лицо стало сразу строже и взрослей. Она сказала: «Вот всегда так — в жизни вы умные, а как дело доходит до чувств, девчонка и та скорей поймет. Ты что думаешь, если я тебе сказала, это, значит, мне сейчас в голову пришло? Я и сказала потому, что все это кончено. Не о чем больше толковать. Может быть, останься я с ним, он был бы на столько-то счастливей. Но ты с твоим Морозовым поговорил по душам, и все. А здесь надо не по плечу хлопать, но жизнь отдать. На это я не согласна. Не могу. Просто я не такая. У меня это выйдет как в театре. Для него наша жизнь — пошлость. А для меня он не настоящий. Ты подумай, как это звучит просто: краны, школа, выходные дни, столовки. Если так перечислить, получится ерунда. Да и у нас

с тобой: ну, встретились, ну, любят. Даже романа об этом не напишешь. Вот Варя все время жалуется: «В романах хорошо, а у меня ничего не выходит». Я слушаю и смеюсь — может быть, у нее с Глотовым куда лучше, чем в романе. Только нет таких фраз. Времени на фразы нехватает. А может быть, и охота у людей прошла... Я думаю, что жизнь у нас замечательная, и любим мы друг друга по-настоящему. Но трагедии, конечно, не поставишь — «Ирина и Коля». Для трагедии я курносая...»

Она вдруг рассмеялась. Улыбнулся и Коля, — улыбнулся нерешительно, как будто стыдясь своей улыбки. Потом он встал, обнял Ирину, сказал: «Я тоже так думаю». Это показалось ему глупым. Он пробормотал: «Ну и положил резолюцию!» Обоим теперь было весело и легко.

Они подошли к окну. Из окна была видна вся стройка. Трубы и огни договорили остальное. Ирина и Коля были на своем месте.

Коля посмотрел на часы, заторопился: у него была ночная работа. Ирина сказала: «Да ты застегнись — простудишься». Он весело ответил: «Никогда!»

19

Кладбище находилось по соседству с исправительной тюрьмой. Новых покойников хоронили возле главных ворот, и редко кто из посетителей забирался в глубь кладбища. Там было дико и неприютно. На земле валялись деревья, вырванные бурей, и сбитые с могил кресты.

Пятнадцать лет революции изменили население города. Мало в нем осталось старых томичан. У покойников больше не было ни родственников, ни друзей, ни врагов. Это было кладбище древнего племени, заселявшего некогда город. Могильные эпитафии казались сделанными на чужом языке. Только Володе и могло притти в голову расшифровывать эти имена и даты.

Могила купца первой гильдии Феофана Санникова была некогда пышной. Часовню окружала чугунная решетка екатеринбургской работы, с ангелочками и вензелями. Решетка была поломана, а в часовенке валялись

осколки бутылок. На двери было написано: «Блаженны плачущие!»

Рядом с Санниковым был похоронен классный надзиратель Виссарион Крачевский. Его могила была украшена эмалированной фотографией. Володя увидел густые усы, выпуклые рачьи глаза и высокий воротничок с углами. Над фотографией значилось: «До свиданья там! Твоя безутешная супруга».

Среди кустарников торчал старый восьмиконечный крест. Имя на нем стерлось, сохранились только стихи: «Прохожий, не гордись, мой попирая прах. Я дома, ты в гостях». Володя долго простоял возле этого креста. Он как будто обрадовался, среди скучных имен и лицемерных клятв разыскав эту грустную сентенцию. На минуту ему показалось, что он сидит в библиотеке. С недоумением он поглядел вокруг: солнце, снег, кресты. Он еще, кажется, в гостях. Да и нет у него никакого дома!..

Потом он задумался: что они делали, эти вздорные мертвецы? Супруга педеля, наверно, вскоре утешилась. Она носила большие корсеты. Может быть, купцу первой гильдии и довелось расстегнуть ее корсет? У купца была бакалейная лавка где-нибудь на Воскресенской горке и доходный дом. Он драл семь шкур. Никогда в жизни он не плакал. После обеда он храпел на весь Томск. Когда, наконец-то, он умер, его сыновья на радостях напились до положения риз: сколько лет они молились, чтобы господь прибрал этого скупердягу! Потом они заказали памятник: «Блаженны плачущие!»

А этот философ? Что он поделывал в гостях у жизни? Чем торговал — воском или белорыбицей? Может быть, он просто валялся на оттоманке и бил по щекам краснорожую Груньку? Ведь глубина мысли определяется степенью безделья. А тогда не было темпов... Володя поморщился и повернул к выходу.

Кругом высились столбики, украшенные пятиконечными звездами: это были могилы коммунистов. Кой-где лежали рыжие замерзшие цветы. Рабочий поплевал на ладонь: земля не поддавалась. Кладбище сразу ожило: здесь оно сливалось с городом.

Накренился последний крест: «Здесь упокоился раб божий, красный партизан Иван Медведев». Вокруг кре-

ста было много звезд: «Здесь покоится Василий Перлов. Член ВКП(б) с 1918 г.». «Здесь похоронен Марк Гольвиц. Ударник».

Володя усмехнулся: что же переменилось? Они говорят: «энтузиазм». Прежде это называлось верой. Она родилась в тот самый год, когда палили иконы и потрошили мощи. «Член ВКП(б)». «Марк ударник». Так хоронили бессеребренников. Но эти не были в гостях. Они были у себя дома. Наверно, они строили кауперы или крольчатники. Вроде Коли. Потом они надорвались. Как это величественно и как глупо! Володя пожал плечами: суета стройки продолжалась. Он еще раз пробормотал: «Величественно и глупо».

Он собирался было уйти, когда его остановил старичок в плешивой шапчонке: «На могилку пришли?» Володя ответил нехотя: «Гуляю». «Ну, это и лучше. А я вот пришел посмотреть, не стащили ли чего. Сын у меня здесь. Комсомолец. Хотел я его похоронить по-православному, товарищи не дали. Звезду поставили. Я политики не касаюсь, но крест, по-моему, куда чувствительнее. Вот вы — человек молодой, интересно, как вы на этот счет думаете?» Словоохотливый старичок раздражил Володю. Он ответил сухо: «По-моему, все равно. Умер и умер». Старичок не унимался: «Ну, а все-таки, что, по-вашему, больше соответствует человеческому чину?» Тогда Володя повернулся к нему и крикнул: «Ни креста, ни звезды! Поняли? Просто кол. Осиновый». Он быстро убежал.

Он больше не давал себе отчета в своих поступках. Зачем он пришел на это кладбище? Зачем полдня просидел на вокзале, среди чайников и узлов? Зачем, наконец, приехал в Томск?..

Всю дорогу он пролежал, прикидываясь спящим. Он не пошел в общежитие. Увидев издали Петю Рожкова, он бросился прочь. Потом подошел вечер. Надо было где-нибудь приютиться. Володя растерянно оглянулся и побрел к Фадею Ильичу.

Фадей Ильич когда-то был конским барышником. Он любил с гиканьем носиться на резвых. После революции он присмирел, но не увял. Он заведовал конюшнями горсовета. Когда на него находила тоска, не задумываясь он шел в «Коммерческую столовую». Водку он пил из чайных

стаканов и называл ее «водицей». Выпив бутыль, он багровел и начинал говорить о тщете жизни. Он говорил о том, что зря обидел покойницу Машу, что прежде были кони, а теперь пошли коняги, что все мы окачуримся и что не стоит человеку парить в небесах, если из него вырастет лопух.

Фадею Ильичу оставили его маленький домишко возле самой Томи. Володя робко сказал: «Я в командировке. На несколько дней. Вы меня пустите, Фадей Ильич. Я вам заплачу». Фадей Ильич посмотрел на Володю и буркнул: «Ладно! Только баб ко мне не води. Я человек нравственный. Не могу я бабья видеть — кровь во мне играет. Мигом отобью!» Он загоготал. Володя напряженно подумал: кажется, надо улыбнуться... Ему все казалось, что он в клубе «Красный металлист» и что Толя говорит: «Дух — это Сафонов».

Ночью он плохо спал. Лезли в голову глупые мысли. Может быть, уехать в Китай и поступить там в какую-нибудь армию? Все равно в какую, лишь бы не знали, кто он. Потом он решил отправиться утром в милицию. Он скажет: «Меня следует задержать — это я подбил Толю Кузьмина». Он вспомнил сугробы и Достоевского. Прежде легко было каяться: выслушивали, жалели, романы об этом писали. А теперь? Пошлют к чорту: «Не мешайте, гражданин, работать». Или скажут: «Ладно! Виноват так виноват». Отправят на рудники. Снова уголь. Потом чугун. Потом сталь. Потом прокат. Блюминг еще не пустили... Зачем же книги? Зачем Достоевский? Приходится отметить: духа в окрестностях не замечено. Вот только Толя увидел... Дух — это Сафонов. Злой дух. Нет, слишком громко сказано. Не бес, а бесененок. Такого можно носить в кармане, никто не заметит. Можно с ним пойти на собрание, даже выступить: «Товарищи, жизнь только здесь!» Смолин одобрит. Кстати, как звали этого Смолина? Кажется, Васька... А Толя? На каком основании он — Толя? Самозванство. Он попросту Толька. Достоевский — и ломать рычаг — этакая гадость!..

Он вышел из дому рано утром. Фадей Ильич шутил, смеялся. Володя молча прошел мимо. Ржали лошади. Он пошел, не думая ни о чем, к библиотеке. Но у ворот он остановился. Наталья Петровна еще тогда крикнула:

«Уйдите! вы хуже всех!» Она первая догадалась, что он преступник...

Володя не пошел в библиотеку. Он долго бродил по молчаливым улицам. Он старался не замечать ни домов, ни людей: он боялся воспоминаний. Он купил газету и прочел ее от начала до конца. Он даже подумал: здорово, на мартенах Кузнецк обгонит Магнитку...

Под вечер он очутился на улице Фрунзе. Там жила Ирина. Он вспомнил, как он тогда ломался: закурил папиросу, медленно дошел до угла. Он своего добился: Ирина его ненавидит. Что же, так лучше! Если есть кто-нибудь близкий, страшно умереть. А у Володи никого нет. Почему же все-таки страшно?.. Страшно от одиночества. Хоть бы попался кто-нибудь знакомый! Все новые лица. Общежитие переехало. «Товарищ, вы не знаете Рожкова? Петю? Или Шварца? Ну, кого-нибудь с математического?» Вузовец, которого Володя остановил, ответил: «Я в педтехникуме». Володя тоскливо подумал: как Ирина. Ирины теперь нет. Ирина в Кузнецке. Он один. Совсем один.

Он увидел огни и людей. Он кинулся туда — это был цирк. Он старался улыбаться и аплодировать. Когда эквилибрист прыгнул с трапеции, он смутно подумал: вот так бы!.. Он больше не глядел на арену. «Поставить точку» — это Маяковский когда-то написал. Что же, он поставил. Отец лежал в покойницкой. У него лицо было твердое и суровое. Значит, он успел обо всем подумать. Какие сугробы были в Кузнецке! Никогда он не видал таких сугробов. Скоро стаят. Это ужасно: тогда начнется самое глупое. Например, черемуха. Ирина любила... Нельзя нюхать цветы! Почему никто не понимает, что это провокация? Впрочем, никого и нет... «Тишина, ты лучшее из всего, что слышал...» Вокруг Володи шумела толпа. Но ему казалось, что он один, с тишиной. Он старался понять: о чем это он думает? Потом он догадался. Он кинулся к выходу, расталкивая людей. Он повторял про себя: об этом нельзя думать, нельзя, нельзя!..

В тумане мелькнули борода Фадея Ильича, противные разводы на обоях, шнурки ботинок. Почему-то Володя долго не мог развязать шнурки. Он лег и с отвращением подумал: нет, я на это не гожусь. Когда застрелился Чер-

нов, говорили — трусость. А сколько для этого нужно сил! В голове все путалось. Он вдруг рассердился на себя: даже шнурки развязать не умею! Потом на него нашло оцепенение. Он робко подумал: может быть, это и не так страшно? Одуреть и — раз-два. Он машинально добавил: «Три, четыре...» Он уснул считая.

Утром он очутился на кладбище, а после кладбища — перед домом профессора Грима. Он сам удивился: почему он пришел сюда? Растерянный, он сел на лавочку и все старался понять, что его привело к этому дому с резными воротами? Прошлой весной Грим сказал ему: «Как-нибудь зайдите, потолкуем». Это было давно. В другой жизни. Если позвонить, Грим спросит: «Что вам угодно?» Как ему объяснить? Да и нужно ли еще объяснять? Кажется, все досказано, исписана тетрадка, пережит позор суда, Ирина сдана по назначению, остается тот конец, который почудился ему вчера за ловким прыжком эквилибриста.

Володя знал труды Грима. Он знал, что Грим не педагог средней руки, застрявший в провинции, но крупный ученый. Грим не ходил на собрания, не подписывал деклараций, и в своем дневнике Володя называл его «непримиримым». Прежде, когда Володя еще мечтал о научной работе, он думал: буду как Грим! Один раз ему довелось поговорить с профессором. Он проводил Грима до дому. Он говорил о релятивизме. Грим улыбался, и Володя никак не мог понять, что означала эта улыбка. Потом он жадно всех расспрашивал: «Вы его знаете?» Но Грима мало кто знал: он жил замкнуто. В Томске говорили, что это замечательный математик, однако большой дурак. Верней всего, его не замечали, как не замечали старых домов. Ему было шестьдесят два года.

Грим не любил говорить о том, что он называл «посторонними вещами». Эти «посторонние вещи» были для него всей жизнью. Охотно Грим разговаривал только о математике. Он думал, что ничего не понимает ни в политике, ни в любви, ни в людях. Жена сказала ему: «Муся хочет выйти замуж за Кольчугина, а по-моему, этот Кольчугин негодяй». Грим, смущенно поморгав, ответил: «Я его мало знаю. Мусе видней — раз хочет, — значит, он ей нравится». Жена хлопнула дверью и, не вытерпев, сказала

заплаканной Мусе: «Твой отец не человек!» Это было давно, еще до войны. Муся вскоре развелась с Кольчугиным и вышла за Каплана. У нее было трое детей. Когда она спросила отца: «Куда лучше отдать Гришу — в десятилетку или в ФЗУ», Грим все с той же виноватой улыбкой ответил: «Не знаю. Да это и все равно. Он потом сам разберется...»

Вокруг Грима шла твердо налаженная жизнь. Жена требовала в распределителе, чтобы «ученому с мировым именем» выдавали балык. Муся собирала у себя дам Томска. Они танцовали фокстрот или играли в преферанс. Каплан носился с проектами новой стройки. Гриша играл с товарищами в мировую войну. Они вырезывали из газеты противогазы и били японцев. Орали ребята, гнусаво скулил патефон, Каплан размахивал руками, Муся разгуливала в заграничной пижаме, жизнь в доме кипела. Вся эта жизнь держалась на одном: в маленькой комнате сидел Грим и работал.

Он работал с утра до ночи, и жена, вздыхая, приговаривала: «Как машина!» Грим скрывал от близких, что он очень болен. Доктор, измерив давление крови, покачал головой, и Грим понял, что ему осталось немного. Он торопился: хотел закончить свою основную работу. Об этой работе знали в Москве. Два года тому назад Грим выступил с докладом в «Московском математическом обществе». После этого в Томск было послано специальное распоряжение: обеспечить Гриму сносные условия для работы. Домашние ожили. Жена кинулась в распределитель: «Вы обязаны выдать три кило масла!» Каплан стал приговаривать шопотом: «Я, знаете, зять Грима — того самого...» Даже Гриша в школе заявил: «Я задачи не сделал — со мной дед разговаривал». Грим не думал ни о бумаге из Москвы, ни о распределителе, ни о проделках Каплана. Он продолжал работать.

Когда в его комнату провели Володю, он печально вздохнул — сколько раз он просил никого не пускать!.. Наверно, насчет зачетов... Мог бы в университете спросить... Он тихо сказал: «Что вам?» Володя приготовился к этому вопросу. Он быстро заговорил: «Вы как-то позволили зайти к вам. Помните, я говорил тогда о релятивизме. Я вас не хотел отрывать от работы. Но сегодня у меня дей-

ствительно важное дело. Я вас называл про себя «непримиримым». Это, конечно, наивно, но это выражает мое отношение. Я теперь совсем запутался. Не знаю, как из этого выйти. Да и стоит ли? Я пришел, чтобы задать вам дурацкий вопрос: как по-вашему, я могу еще жить или нет?»

Грим сказал: «Прежде всего сядьте. Давайте поговорим спокойно. Почему вы не можете жить? Что вы такое наделали?» — «Собственно говоря, ничего. Можно, конечно, придраться. Я, например, говорил перед одним сумасшедшим о Достоевском. Он ничего не понял и пошел ломать машину. Это похоже на бред, но это так. Впрочем, об этом и говорить не стоит. Это деталь! Еще с Ириной... но это тоже деталь. Главное, вот что — я не могу так жить. Вы не подумайте, что я какой-нибудь контр. Я прекрасно понимаю, что они правы. Но мне-то от этого не легче. Вы, наверно, не знаете, что такое Домна Ивановна! Зато моих сверстников вы знаете — это ваши ученики. Я их зову «Петьками». Они учатся культурно сморкаться. От этого можно сойти с ума! Я все перепробовал. Я бросил математику — кому это теперь нужно? Конечно, вас признают, но вы мировая слава. Я уехал на стройку. Не помогло. Что же мне теперь делать?»

Грим сердито барабанил мундштуком по столу: «Должно быть, я и вправду выжил из ума. Я вот ничего не понимаю. Моим дамам теперь тоже не нравится: «на базаре грубияны» или «таким мылом нельзя мыться». Но ведь вы говорите о другом. У вас, например, Достоевский. Почему вы так озлоблены? Я, правда, вижу только кусочек жизни. Но студентов я знаю. Чем они вам не нравятся? Подготовка, конечно, слабая. Зато какая энергия! Я помню старых студентов. Были и среди них идеалисты, но много было дельцов. Вроде моего зятя. Я лично предпочитаю теперешних. Они с таким жаром учатся, что даже страшно. Вот вы говорите насчет стройки. По-моему, если строят, — значит, так нужно — вопрос статистики. Теперь все говорят о чугуне. Вероятно потому, что ничего нет. Построят, будет вдоволь гвоздиков или еще чего-нибудь, тогда заговорят о другом. О поэзии, что ли... Я во время войны читал, что немцы все сады превратили в огороды. Роза от этого не стала картошкой. У них в это время Эйнштейн работал... Наверно, и поэты были. А о чем, собственно говоря, жа-

леть? О томских купцах? Для науки это не подходит. Теперь в ОНО сидит... Забыл фамилию — рабочий, слесарь. А в каком-то плане я или слесарь — это одно и то же. Я и не хочу, чтобы на меня смотрели иначе. Все эти приказы из Москвы — меня лично это стесняет. Не будь семьи, я бы от всего отказался. В чем дело? Грим такой же рабочий. Просто область более отвлеченная. Главное, что они теперь работают — и не только для себя. Был бы я помоложе, обязательно пошел бы с ними работать».

Володя слушал его, спокойный, но очень бледный. Он сказал: «Хорошо. Что же мне делать? Мне — вот такому, как я есть. Это глупо, что я вас спрашиваю. Я ведь сам знаю... С моей стороны это трусость. Но вы куда старше. Вы это верней чувствуете. Скажите мне прямо, как по-вашему — это очень страшно?»

Грим не понял, придвинув к Володе большое волосатое ухо, он переспросил: «Что?» Володя ответил: «Умереть».

«Я об этом никогда не думал. То есть о смерти я часто думаю. Но в связи с работой: страшно, что кончить не успею... А потом? Кажется, что просто. Как и все в жизни. Можно, конечно, накрутить: так и этак. А можно без фокусов. Но почему вы об этом говорите? Вы мне во внуки годитесь. Вам о зачетах надо думать, а не о смерти».

Грим внимательно поглядел на Володю. Володя попробовал улыбнуться. Тогда Гриму стало его жалко. Он вытер платком очки, пожевал воздух и забормотал: «Ну, ну! Хватит! Я вот старик. Нагляделся. Жить приходится, как говорят, сжав зубы. У меня-то зубов нет. Все равно сжимаю. Со стороны кажется все замечательно. Бумага из Москвы. Внуки. А поговорить не с кем. Спросите их — они скажут: «из ума выжил». В карты играют. Патефон... Такая тоска берет! Вот и умру за этим столом. Да и с работой бывает трудно... Ничего, держусь. Даже доволен. Я вам завидую. Вы-то увидите, как это кончится. Нехорошо, когда каждый только о себе думает. Наука — тоже самопожертвование. Такой слесарь — он в математике ничего не понимает, а подход у него правильный. Я как-то спросил его: «Трудно?» Он засмеялся: «Мы не увидим, дети увидят». Вот и выходит, что мы для вас работаем».

Володя встал и глухо проговорил: «Нет, Иван Эдуардович. Для них, но не для меня. Их детей вы вывели в жизнь,

а своих собственных вы выдали с головой». Грим вспылил. На крик прибежала Муся, но он замахал руками: «уйди!» Он кричал: «Кто это вас выдал? Предатели за границу убежали. Я ни одной лекции не пропустил! Стыдно вам, молодой человек! Старика обижаете. А только потому, что я в этих вещах ничего не понимаю...»

Когда Грим умолк, Володя тихо сказал ему: «Вы меня не поняли. Я вас не хотел огорчить. Конечно, вы никого не предали. Хорошо, что я к вам пришел. Я в жизни видел много чудовищного. Дядю. «Классовая эпизоотия». Наверно, он был охранником. Потом другой дядя — Мартын. Потом — Толя. Вы — настоящий человек. Хотя бы напоследок... Но почему вы сравниваете меня с собой? У вас был фундамент. Наука. Вы можете их учить. Они вас слушают. А я? Я должен с ними жить. Вы даже не понимаете, что это значит! У меня тетрадка в сундуке, а у них хоровое пение. Они отобрали Ирину, и это вполне естественно. В итоге, с кем я оказался? С юродивым. Он помадится. Повернул рычаг. А потом — суд в клубе. Я себя чувствую сообщником. Это уже безумие. Знаю, знаю — «история, неизбежность, смена культур». Это — в библиотеке. Вы знаете, я так напугал несчастную женщину. С моей стороны это свинство! Но вы все же поймите, что мы остались ни к чему. Почему вы не запретили выдавать нам книги? Того же Сенеку. Надо было сразу сказать: «Готовьтесь к чугуну!» Не теперь — десять лет тому назад. Я прочитал и свихнулся. С одной стороны — князь Мышкин, с другой — агрегаты. В мыслях я жил с какими-то «персонажами», а рядом храпел Петя. Он очень славный, добряк, он меня пробовал утешить. Вообще по отношению к ним я негодяй. Но что же мне делать? Для меня они не люди. Все как один. Называется «коллектив», проще говоря — стенка. Вот я и расшиб себе голову. На них я не могу сердиться. Они из другого теста. Например, Коля. У него вот этакие плечи... А вы, как отец. Он читал Чехова. У него была гипертрофированная совесть. Отец умер. Я, должно быть, о нем вспомнил — оттого и пришел. Все на вас выместил. Как ребенок. Ужасно глупо! Но я больше не буду. Я вас очень прошу: не сердитесь! Я теперь постараюсь все уладить. Тихо, без шума. Больше я не хочу никого обижать. Хватит! Надо, как они говорят, смыться...»

Голос Володи задрожал. Он быстро выбежал из комнаты. Грим крикнул: «Погодите! Муся, да не пускай его! Нельзя его так отпустить!.. Пусть он с нами чаю попьет. У тебя валерьянка есть?» Муся презрительно ответила: «Вот ты всегда с такими психопатами нянчишься!..» Грим сам побежал вниз, но у него дрожали ноги, и когда он добежал, Володи не было. Грим увидал в конце улицы согнутую спину. Тогда он поднялся к себе и снова сел за работу.

Вечером пришли гости. Муся хвасталась: «У меня зубровка — замечательная!» Патефон визжал: «Пей, моя девочка!» Каплан рассказывал еврейские анекдоты и, захлебываясь от смеха, повторял: «Понимаете — Мойша!..» Грим сидел у себя, закутав ноги в одеяло, и все еще работал. Потом, прислушавшись к голосам, он зевнул и впервые подумал: хоть бы скорее все это кончилось...

В «Коммерческой столовой» было, как всегда, шумно и чадно. Фадей Ильич пришел около одиннадцати. Официант сразу подлетел к нему и, фамильярно улыбаясь, спросил: «Водички?» Фадей Ильич мрачно кивнул головой. Официант шепнул кассирше: «С гнедым-то сорвалось — не в духе». Фадей Ильич молча опорожнил бутылку. Потом он подозвал гитариста Сашку: «Пей!» Сашка попробовал рассказать, какой вчера приключился скандал: «Он, значит, сказал: «Это моя деваха», — и как заедет Боткину! Васька за милицией побежал...» Фадей Ильич прикрикнул: «Помолчи!» Он налил Сашке еще стакан. Он сердито подсапывал. Присела Маруся Чикова, но Фадей Ильич отмахнулся: «Иди! Не до тебя!»

К полночи посетители начали расходиться. Официанты уже сдвигали столы. Фадей Ильич крикнул: «Ну-ка, еще водицы!» Он залпом выпил стакан. Наконец-то он заговорил. Он сказал Сашке: «Подлец, как он меня обидел! Ну пустил — живи. Не надо мне твоих червонцев! А он такое со мной выкинул! К вечеру приходит и спрашивает: «Что, Фадей Ильич, коня покупаете?» Я даже удивился: с чего он такой разговорчивый? Два дня прожил — слова не сказал, а тут о коняге. Я ему отвечаю: «Это, милый мой, не конь, а коняга». Ты-то знаешь — гнедой. Мы у депо купили. Для водокачки. На осмотр мне его привели. Он меня

выслушал и улыбнулся. К себе пошел — наверх. Я повозился внизу и подымаюсь — у него в шкафу книги лежат. Надо, думаю, записать конягу. А он висит на веревке и язык высунул. На меня смотрит. Да будь он живой, я бы его на месте раздавил! Подлец этакий! Мне, Сашка, что обидно? Почему он меня о коняге спросил? Если у него такое в голове было, какого чорта ему о коняге спрашивать? Пятьдесят шесть лет живу, а никто меня еще так не обидел!»

Фадей Ильич вытащил большущий старый кошелек. Там лежали медяки, гвоздики, квитанции и всякая дребедень. Он порылся в кошельке и вынул кусочек веревки. «Вот смотри! Отрезал. Ты думаешь — на счастье? Не верю я в счастье! Нет, это чтобы себя помучить...» Сашка весь побледнел. Он жалобно пролепетал: «Фадей Ильич, закрывают, а вы вот такое на ночь...»

20

Шли дни и дни. Гудели грейферы. Молча работали люди. В коксовом цехе монтеры проложили электрическую линию слишком близко к дереву. Тепляк сгорел. Он горел быстро, и люди не успели остановить огонь. Тогда они начали строить новый тепляк. В шамотном цехе сорвалась вагонетка и придавила шестерых строителей. В Прокопьевске засыпало шахту, и четыре дня не было угля. Потом на лесозаготовках рвач Огранов подбил рабочих: они потребовали сапог и сахара. У крепильщиков не было леса, и Шор кричал в телефонную трубку: «У нас нет угля! Понимаете, уг-ля!» Доменная печь № 1 простояла двадцать девять часов. В шахте Коксовая № 1 шахтеры работали стоя в воде. Когда они шли домой, одежда на них замерзала. Шахтер Семенов сказал: «В Кузнецке стоит домна. Надо, ребята, налечь!» Шахтеры проработали две смены подряд. Домна № 1 снова пошла полным ходом. Газета печатала сводки: 806 тонн чугуна.

На пуск третьей домны приехали делегаты из Америки. Для них был устроен торжественный обед. Повара Купрясова в давние времена приглашали на купеческие свадьбы. Он решил показать американцам свое искусство и приго-

товил мороженое в виде домны, бисквиты были облиты пылающим ромом, а из окошечек вытекал малиновый сироп.

На обеде Шор сидел рядом с американским журналистом, который громко жевал, а между двумя блюдами, тупо глядя на Шора, спрашивал: «Все это хорошо, но где же у вас квалифицированные рабочие?..» Шор кротко отвечал: «Наши рабочие учатся». Американец снова принимался за еду.

Шор с трудом разговаривал. Еще утром он почувствовал недомогание: кололо в груди, а ноги отмирали. Он даже подумал: может быть, взять отпуск? Но сейчас же он вспомнил о блюминге — надо раньше закончить блюминг. У нас сталь отстает... Пока американец жевал, он думал о газопроводе: налечь бы на газопровод!

Американец удивленно посмотрел на Шора: «Аппетит у вас плохой». Шор застеснялся: неудобно, еще подумают, что мы не умеем принимать. Он заставил себя проглотить кусок мяса. Когда принесли мороженое, американец улыбнулся. Он сказал Шору: «У русского народа аристократическая душа. Такие штуки вы делаете лучше, чем настоящие домны». Шор рассердился. Он ответил: «Плохо или хорошо, но мы теперь что-то строим, а не только разрушаем...» Американец не понял иронии и примирительно сказал: «Мороженое замечательное!»

В это время к Шору подошел Соловьев: «Григорий Маркович, на домне что-то не ладно. Будто пожар...» Шор хотел вскочить, но сейчас же подумал, что надо скрыть переполох от американцев. Он шепнул Соловьеву: «Никакой паники! Через пять минут я буду там». Потом, беспечно улыбаясь, он повернулся к американцу и загрохотал: «Вот у вас мороженое едят вместе с содовой. Я пробовал — интересно...» Он высидел несколько минут, а потом сказал соседям по столу, что должен отлучиться на четверть часа — необходимо проверить работу домны. Он обещал вернуться к кофе.

На домне люди потеряли голову. Иванников кинулся к телефону, но станция не отвечала. Тогда он крикнул Коле Ржанову: «Беги скорей!» Коля бежал так быстро, что в ушах гудел ветер. На станции он увидел сразу Бачинского. Бачинский был весь белый. Он едва пролепетал:

«Здесь тоже горит... кто-то поджигает...» Коля услышал запах гари. Вспыхивали сигнальные лампочки. Дежурные метались из угла в угол — никто не работал. Какая-то рыжая женщина валялась на полу без чувств. Коля закричал: «Что же вы, сволочи, не соединяете?..» Никто на него не поглядел. Тогда он кинулся к Бачинскому: «Давай револьвер!» Он отобрал у Бачинского револьвер и крикнул: «Все по местам! Стрелять буду». Телефонистки побежали к аппаратам. Только рыжая женщина попрежнему валялась на земле. Звонили отовсюду: стройка волновалась — пожар? где пожар? Бачинский, немного успокоившись, начал осмотр здания. Огонь оказался вздорным: загорелся ящик с бланками. Пожар погасили до того, как приехали пожарные. Коля вытер рукавом лоб и сказал: «Рыжую водой облейте!»

Когда Шор подбежал к домне № 3, он на мгновение закрыл глаза. Он успел отчетливо подумать: тогда все к чорту!.. Потом он закричал на Баренберга: «Где пожарные?» Баренберг улыбнулся: «Ничего нет. Ложная тревога. Это Иванникову показалось. А на телефонной — чепуха. Уже погасили». Тогда Шор начал бессмысленно приговаривать: «Здорово! Вот так здорово! Вот так штучка...» Он стоял, неуклюже расставив ноги, и улыбался.

Потом он собрался с мыслями и стал ругаться. Он ругал всех: Иванникова, Соловьева, Баренберга, американцев, ругал крепко, настойчиво, как будто делал серьезное дело. Коля прибежал со станции. Он рассказал, как Бачинский струсил. Шор даже не поглядел на Колю и принялся ругать Бачинского: «На минуту их нельзя оставить! А еще ударники! Чорт бы их побрал!..» Потом Шор замолк: он вдруг почувствовал, как утром, дурноту. Захотелось прилечь и вытянуться.

Подошел Соловьев — он прежде не решился показаться. Заикаясь, Соловьев спросил: «Григорий Маркович, вы к американцам поедете?» Шор сердито отмахнулся: «А ну их!.. Там и без меня обойдется. Не могу я сейчас с ними разговаривать. Не до этого...» Соловьев поглядел на него виновато и недоуменно: «Может, все-таки поедете?» Тогда Шор тихо сказал: «Мне что-то нездоровится. Я к себе пойду». Соловьев предложил, что он отведет Шора домой. Но Шор снова рассердился: «Вы вот идите скорей к

американцам! А меня оставьте. Сам дойду. Я, кажется, еще не умираю!»

Соловьев знал, что Шор упрям, и не стал настаивать.

Шор стоял, как прежде, расставив ноги. Под ногами скрипел уголь. Мимо него прошел Коля. Шор его остановил: «Ну, как твой кран?» Коля успел позабыть о своем изобретении. Он ответил: «Хорошо». Шор усмехнулся: «Что же, скоро будем клепать кауперы для четвертой?» Коля сказал: «Скоро». Тогда Шор схватился рукой за грудь. Коля перепугался: «Позвать кого?..» Шор слабо проговорил: «Не нужно. Со мной это часто бывает. Ты меня доведи до дому. Да не так — ходить я и сам могу. Просто вместе пойдем — веселей...» Шор ни за что не хотел сдаться. Он не оперся на руку Коли. Он старался бодро шагать. Он даже улыбался. Только глаза у него были мутные, больные.

Шор жил неподалеку от доменного цеха. Они быстро дошли до дому. По дороге Шор иногда спрашивал: «Как с рудным краном?.. Я вот не знаю бетонщиков на четвертой. Там теперь Ногайцев, он что — толковый?..» Коля подробно отвечал. Потом Коля сказал: «Теперь вы отдыхайте!» Он хотел уйти, но Шор его удержал. Это было неожиданной для самого Шора слабостью: он побоялся остаться один. Он сказал Коле: «Ты подымись. Я тебе книжку покажу о подъемных кранах». Они вошли в комнату Шора, но Шор забыл о книжке. Он сразу скинул и меховую куртку и пиджак. Он расстегнул ворот рубашки. Коля, не вытерпев, сказал: «Я лучше доктору позвоню». Шор прикрикнул: «Никаких докторов! Я сам знаю, что со мной. Я вот лягу, а ты посиди. Поговорим. Ты, значит, в Томск едешь?..»

Шор лег. На минуту ему стало легче. Он сказал: «Паникер я. Вроде Иванникова. Еще четвертую пущу — вот что...» Он поправил подушку. «Ко мне американец приставал: где у нас квалифицированные рабочие? Ему бы тебя показать. У них на заводах — «бюро изобретений». Долларами соблазняют. Нет того, что у нас... А теперь ты мне расскажи про этого Ногайцева. Как они — управятся с фундаментом?» Коля ответил: «Я вам уже говорил...» — «Ну, еще раз скажи, я прослушал». Коля начал рассказывать о бригаде Ногайцева. Вдруг он заметил, что Шор его

не слушает. Глаза Шора стали еще мутней. Он с трудом дышал. Коля подошел к кровати и сказал: «Может, воды дать?» Шор ответил не сразу. Коле показалось, что из груди Шора идет свист. Наконец он прошептал: «Дай лекарство... вот там, в шкафу... отсчитай — двадцать капель...»

Шор теперь лежал тихо и глядел на стену. Перед ним была все та же старая акварель: крыши и бледное небо. Когда Коля поднес ему чашку, он сказал: «Не нужно». Потом он напрягся и внимательно посмотрел на Колю, он спросил: «Как тебя зовут?.. Вот по имени не помню... Коля? Ну, прощай, Коля! Ты не волнуйся. Это дело конченное. Чувствую — крышка... А ты того... Ну как это?.. Бетонщиков подгони! Дышать не могу... Ты иди! Зачем тебе это?..»

Коля побежал к телефону. Он кричал: «Скорей доктора!» Когда он вернулся к кровати, Шор лежал не двигаясь. Коля сел на пол возле кровати и закрыл голову руками. Он вспомнил, как умирала его мать. Поп что-то бормотал... Она крестилась... А «старик» про бетонщиков спрашивал!.. Коля не выдержал и заплакал.

На следующее утро газета сообщила о скоропостижной кончине товарища Шора. Рядом с черной каемкой стояли цифры: домна № 3 — 382 тонны.

21

Весна в тот год была необычно ранняя: с середины марта зима стала поддаваться. Стояли теплые пасмурные дни. Снег набухал и темнел. Шорцы, которые работали на рудниках в Тельбесе, нюхали воздух и пели свои непонятные песни. Руда шла в Кузнецк через Монды-Баш. В Монды-Баше строили обогатительную фабрику. Поликарпов злобно глядел на серый болезненный снег. Жена ему сказала: «Вот, Федя, и весна! Дождались!..» Она стосковалась по теплу: это была молодая смуглая армянка. Поликарпов раздраженно ей ответил: «Ты лучше подумай о котлованах. Как хлынет эта водица, все пойдет к чорту». Он почертыхался, а потом побежал на стройку: надо было обносить котлованы земляной насыпью.

Торопились люди, торопилась и весна. Снег не выдержал. Все покрыла вода. Она бежала, шумела, кружилась.

Старый шорец сказал Маслову: «Мы из толокна абырху варим. Выпьешь — и веселей». Маслов замахал руками: «Вот, чорт, надоумил!» Маслов сразу понял, что тоска у него от весны, что он не может забыть Сокольники и Наташу, что надо поскорей достать водки, тогда-то он развеселится. Он побежал к Чюмину, но Чюмин сказал, что с плотиной плохо, надо сейчас же ехать. Маслов забыл и про весну и про печаль. «Ты набери ребят, мы это мигом уладим!»

Ариша Колобова писала мужу в Кузнецк: «Дорогой Ваня! Я хочу тебе сказать, что мы с Глашкой не управимся, и ты приезжай скорей, а то у нас весна, и я не знаю, кто будет работать...» Колобов прочел письмо, задумчиво свистнул и пошел на работу. По дороге он вспомнил, как пахнет вспаханная земля, как хорошо весной в Ивановке, какая Ариша теплая и ласковая. Он еще раз свистнул и повернул назад. Вечером он уехал к себе в деревню.

Ройзман морщил лоб. Он спросил Соловьева: «Ну, как их удержишь?» Соловьев ответил: «Говорят, на Березняках ударникам в качестве премиальных давали дубовые стулья. Думали — пожалеют бросить. А они, черти, все равно смылись». Тогда Ройзман махнул рукой: «Шут с ними! Вылезем и так...»

Дрыгин погиб во время несчастного случая на электрической станции: он зазевался, и через него прошел ток. Дрыгина хоронили с музыкой. Четыре комсомольца несли раскрытый гроб. Дрыгин лежал, покрытый красным кумачом. На его лице осталась гримаса, но в светлый весенний день эта гримаса казалась улыбкой. Сема Хомутов изо всех сил дул в трубу. Маня ему сказала: «Здорово вы наяриваете!» Сема весело посмотрел на Маню и, оторвавшись от трубы, сказал: «Потому боевой гимн». Им было весело, и они не думали о Дрыгине.

Немец Шрейдер обсуждал с Броницким проект моста. Броницкий говорил, что мост надо сделать из бетона. Шрейдер спорил: «Бетонный мост это на пять лет...» Броницкий усмехнулся: «Зато его можно сделать сразу. А металлический останется на бумаге. Пять лет для нас боль-

шой срок. Через пять лет мы построим другой, настоящий...» Тогда Шрейдер, отложив чертежи, сказал: «Я здесь ровно ничего не понимаю. Я привык рассуждать логически. Когда я приехал в Москву, мне показалось, что я сошел с ума. Штейнберг повел меня в ресторан. Я спрашиваю, что это такое? Официант отвечает: «Петушиные гребешки». У нас даже Крупп этого себе не позволит. Потом прихожу к тому же Штейнбергу. Жена его месит глину. Она очень культурная женщина, она меня спрашивала о театре Рейнгардта. Я заинтересовался, что она делает; мне показалось, что она занимается скульптурой. Оказалось, что она приготовляет мыло из мыльного порошка для бритья. Вы это, например, понимаете? Возле моего отеля был почтовый ящик. Я поглядел, когда вынимают письма. Написано: «12 часов 29 минут». А когда я ехал сюда, наш поезд запоздал чуть ли не на сутки. Проводник говорил: «Может, завтра к вечеру и доедем». Но ведь это абсурд! Почему не привести все к одному знаменателю?» Броницкий, смеясь, сказал: «Петушиные гребешки, должно быть, из распределителей, это — результат коллективизации. А проводник — это результат отсталости. Но вы не отчаивайтесь! Это не так трудно понять. Просто у нас другой подход: мы должны торопиться». Немец вспомнил, как утром он чуть было не потонул в весенних лужах. Со страхом он поглядел в окно: ручьи неслись отовсюду, бесстыдные и крикливые. Он сказал: «У вас и природа какая-то нетерпеливая. Ну, давайте посмотрим проект...»

В одну из землянок возле Верхней колонии, кряхтя, вошел землекоп Алтынов. Он принес с собой все пожитки. Девочка лет четырех, увидав его, заплакала. Алтынов сказал: «Не плачь, девочка! Скажи, как тебя звать? Я тебе конфету дам». Девочка продолжала всхлипывать. Алтынов, осмотрев по-хозяйски землянку, начал расставлять козлы. Он постелил одеяло. Потом он сказал девочке: «Я теперь здесь жить буду. С мамкой. Вот мамка скоро придет, спечет оладьи. У меня масло в бутылке. Ну, что же ты разрюмилась? Девочка? А девочка?»

Люба говорила Егоровой: «Боря, значит, и сказал: «Буржуазка ты, а не комсомолка. Понятия у тебя отсталые». Я скажу прямо: страшно! Он со сколькими гулял! Как с гуся вода. А мне потом расхлебывать. Я не об али-

ментах говорю. Но что же это, если ребенок без отца! Сразу вроде сироты. Ты мне скажи, Маша, что мне теперь делать?» Егорова ответила решительно: «Отшей!» Вечером Боря поджидал Любу возле столовки. Ухмыльнувшись, он сказал: «Айда!» Люба грустно вздохнула, но пошла за ним.

Болтис допрашивал Степу Жукова: «Вы признаете, что вы с ней сожительствовали?» Степа насмешливо улыбался: «Сожительствовать не сожительствовал, а за речку, конечно, ходили». Болтис рассердился: «Шутки вы оставьте! Дело касается алиментов». Степа фыркнул и, выпятив свою широкую грудь, сказал: «Десяток у меня — наработал. Откуда же я столько денег выгоню? Они гуляют, — значит, это ихнее дело — должны за собой следить».

В больницу прибежал кочегар Харламов. Он был весь черный от сажи. Поглядев на сиделку в белом халате, он застеснялся и тихо проговорил: «Харламова Аксинья». Сиделка ушла куда-то, а потом вернулась довольная: «Сегодня утречком — и мальчика». Харламов на радостях хотел схватить ее руку, но во-время вспомнил, что пришел немытый, и сказал: «Вот баба — молодец!.. Это у меня пятый — и все мальчонки. А я теперь побегу — работать. Вы уж ей скажите, что муж приходил...»

В яслях при мартеновском цехе пол блестел от весеннего солнца. Ребятишки ползали по полу, кувыркались и визжали. Заведующая яслями, нацепив на нос пенсне, писала: «Если не будет налажена регулярная доставка молока, я снимаю с себя...» Вдруг она услышала крик. Она побежала к ребятам. Кричал Мишка: он ударился о косяк двери. Она взяла Мишку на руки и быстро затараторила: «Сорока-ворона...» Мишка схватил пенсне и засмеялся.

У Вари Тимашовой был выходной день. Она не пошла ни в клуб, ни к Ирине. Она сидела у себя и писала письмо Глотову. Ее губы при этом смешно двигались, а, не находя нужного слова, она то и дело морщила лоб. Она писала: «Дорогой мой Петька! Бегемот ты несчастный! Что же ты мне не отвечаешь? Я совсем замучилась. Рассказываю ребятам про разных перепончатокрылых (понял? ну чем это не твои деррики?), а сама все думаю: будет сегодня письмо

или нет? По-моему, с твоей стороны это даже некрасиво! Ты можешь понять, как я к тебе привязалась. У нас в Кузнецке совсем весна. Грязь непролазная — тонем, зато весело. Началось сразу. 12-го у меня был выходной, и был такой холод, что я чуть нос не отморозила. Мы ходили с Ириной на лыжах. А три дня спустя все потекло.

Ты, наверно, читал в «Известиях» про смерть Шора? Я была на похоронах. Сначала говорил Маркутов, он говорил очень хорошо: о том, что Шор — это старый большевик. Он был в Сибири в ссылке, много перенес, а потом приехал сюда строить, и он так описал его жизнь, что я подумала: какие это были люди! После должен был говорить Ржанов — помнишь, тот, что к Ирине ходил. Он выступил от комсомола. Он был очень расстроен и только сказал что-то о старике и о том, что надо торопиться с фундаментом. Я стояла далеко, так что, может быть, и не все расслышала. Но говорил он с таким чувством, что у меня слезы подступили к горлу — чуть-чуть не разревелась. Было очень, очень красиво! Цветов не достали, но Ирина пошла с ребятами в лес, и они сделали красивые гирлянды из елки.

В школе мы посвятили два часа рассказу о жизни Шора. Ребята слушали хорошо, один мне сказал: «Таким бы быть!» Вот тебе и все кузнецкие новости. Хотят к Первому мая пустить блюминг. Тогда, наверно, приедут разные делегации, и мы заживем совсем как в Москве.

Представляю себе, как ты там наслаждаешься. Уж одно то, что можешь увидеть настоящие театры! Мы как-то с Ириной просидели до трех ночи и все переживали по газетным объявлениям, какие в Москве постановки. Я не могу себе даже представить, как это у Станиславского? Егорова говорила, что в театре многие плачут, так это жизненно, например «Дни Турбиных» или «Страх». А Ирина все мечтает о «Клопе». Я ей давно сказала, что она «футуристка». Она вот из поэтов признает только Маяковского. Вообще у нее странные вкусы, но она очень хорошая, и без нее я совсем бы раскисла. Когда мы говорили о театрах, она сказала: «Тебе, наверно, Глотов все пишет». А я ей сказала: «Он пять недель как уехал, а прислал только одну открытку, что занят и что скоро выступит с докладом». Она перепугалась, что меня обидела, и на-

чала доказывать, что все это — правда, теперь столько работы — не до театров, даже на письма нехватает времени. Я ей, конечно, ничего не ответила. Но я-то знаю, что просто ты меня не любишь.

Вот написала — и сразу клякса. Чорт знает что! На себя поглядеть противно — разве можно так привязаться к одному человеку? В особенности, если это не человек, а бегемот! Кому ты теперь говоришь «лисанька» или что-нибудь в этом роде? Скажи прямо! Ты не сердись — я это не всерьез. Я недавно всю ночь продумала и твердо решила никогда больше не ревновать. Это унизительное чувство, и оно никак не подходит к нашим понятиям.

Словом, все написанное можешь не читать. Главное, не огорчайся! У тебя, должно быть, и без этого много неприятностей. Я все ждала сообщения, как прошел твой доклад, а ты мне так и не написал. Попросила у Грольмана «Экономическую жизнь», но там ничего не было. Я даже не знаю, как ты устроился. Когда ты уехал, ты был совсем простужен, я боюсь за тебя — теперь и в Москве наверно оттепель, это самое опасное время. Если ты не купил себе новых ботинок, то очень прошу, отдай эти в починку, день или два можешь проходить и в сапогах. Что они некрасивые, это неважно, ты и в сапогах сможешь обольстить какую-нибудь московскую красавицу, честное слово!

Я тебе сейчас пишу, Петька, о пустяках, потому что не знаю, как написать самое главное. Я даже не знаю, — радоваться мне или плакать? Логически выходит, что надо радоваться, а я вот реву, как белуга. Дело в том, что вышла неприятность. Помнишь, в тот вечер, когда ты пришел после разговора с Броницким о командировке и мы сначала ссорились?.. Я, кажется, никогда не была так счастлива, как в тот вечер! Я давно почувствовала, что со мной не ладно. Вскоре после твоего отъезда. Но не хотела подымать панику. Очень меня тошнило, но это, понятно, ерунда. Пошла, наконец, к врачу, тот сейчас же все установил. Сказал: «Все вполне нормально». Я скажу тебе откровенно, что совсем потеряла голову. Тебя нет, и не с кем даже посоветоваться. Первое, что пришло в голову — это: немедленно аборт. Я спросила врача. Он объяснил, что необходимо пройти через комиссию. Вряд ли утвердят.

Тогда придется сделать платный в Новосибирске. Это, конечно, трудно, но я все-таки сумею наскрести восемь червонцев. Я хотела купить себе пальто, не куплю, это неважно.

Но когда я совсем было решилась, я вдруг начала сомневаться. Зачем я это делаю? Ведь это не случайно! Понимаешь меня? С моей стороны это настоящая любовь. Может быть, я никогда в жизни не переживу таких минут! Конечно, я еще молодая, но когда становятся старше, больше рассуждают, а любят не то чтобы меньше, но как-то тише. Я это вижу на других. Я подумала о мальчике. Мне почему-то кажется, что обязательно будет мальчик. Тогда я увидела, как он похож на тебя. Пожалуйста, не смейся! Но я увидела: маленький, а морщит лоб, как ты, когда ты говоришь о разных твоих дерриках. Вот я сижу и мучаюсь: не могу ни на что решиться.

Я тебе об этом не писала, не хотела волновать. Все-таки это наше бабье дело, а у тебя и так много забот — вот даже мне не хочешь написать двух слов. Как же я полезу к тебе с моими глупостями? Но сегодня вдруг стало невтерпеж. Кто-то прошел по коридору, и мне показалось, что это твои шаги. Я сразу вспомнила, как ты приходил, и тот вечер вспомнила. Ты не думай, что я закрываю глаза на все трудности. От тебя я не хочу ничего брать, тебе самому нужно. А я теперь получаю 112 рублей, причем вычти займы и пр. Маме посылаю 10 руб. в месяц. Картина, как говорят, ясная. Даже, принимая во внимание ясли и т. п., с деньгами плохо. Потом — работа. Но все это на втором плане. Главное, меня пугает, что тебе это совсем ни к чему и что ты возмутишься. Тогда я, конечно, сейчас же сделаю аборт. Напиши мне немедленно, что ты обо всем этом думаешь. Не расстраивайся: я здорова и весела. Но только напиши! Без твоих писем я схожу с ума. Мне кажется, что ты болен или попал под автомобиль. Егорова говорила, что в Москве очень много автомобилей, они несутся не глядя, и много несчастных случаев. Я гляжу на твою карточку, знаешь, та — с трубкой — и плачу. А здесь еще ужасное состояние: тошнит, спать не могу, все в голове путается. Надо держать себя в руках: вчера было тринадцать уроков, пришлось заменить Сахарову, у нее ангина, — словом, не легко! Но ты не думай, что я ною.

Я вполне спокойна. Завтра иду с Ириной в кино — прислали новый фильм «Путевка в жизнь». Все говорят, что замечательно. Видишь — живу хоть куда! Смотри береги здоровье! Не забудь про ботинки, хуже всего промочить ноги. Крепко, крепко целую пасть дорогого моего бегемота! Как поживает марксистская бородка — подстриг? Не обращай внимания на кляксы и прочее — лень переписывать. Я тебя очень люблю, мой родной! А ты? Забыл, вот наверно знаю, что забыл! Ну, не сердись, лучше обними меня, как раньше. Я лягу и засну у тебя на руке. Знаешь, стоит только вспомнить... Нет, не буду больше! Прощай, мой любимый! Твоя Варя».

Три дня спустя Варя объясняла ребятам, что такое полынь: «Это многолетнее растение, сорняк, на вкус она очень горькая...» У Вари вдруг закружилась голова, и она села на скамейку. Костя поднял руку: «Про полынь я знаю. У нас в деревне такую песню пели: «Я полынь не сеяла, сама уродилась...» Варя сказала: «Вот, вот... В окрестностях Кузнецка много полыни, будем гулять, я вам покажу...» Раздался звонок. Ребята понеслись к двери. Варя попрежнему сидела: она боялась шелохнуться. Но пришел Сидоров и сказал: «Для вас письмо». Тогда Варя сразу вскочила и, обгоняя ребят, понеслась вниз. Письмо было, конечно, от Глотова. Варя вдруг поняла, что не может его прочитать на людях. Она решила, что помучает себя и не будет читать письма до самого вечера. Если написал, — значит, все благополучно: здоров и не забыл. Начался урок. Варя весело рассказывала ребятам про белок и бурундуков. Она забыла о своих хворостях. Время от времени она заглядывала в портфель: там среди тетрадок лежал тонкий конверт.

Из школы Варя вышла окруженная ребятами. Мишка Калинников начал ей рассказывать, как он словил бурундука: «Он, Варвара Васильевна, ручной был, орехи у меня грыз...» Варя машинально повторяла: «Да, да». Она все ждала, что Мишка сейчас повернет в сторону, тогда-то она распечатает конверт. Возле фонаря можно прочитать... Но Мишка, увлеченный своим рассказом, проводил ее до дому.

Она быстро пробежала к себе и начала читать: «Дорогая Варя! Прости, что не ответил тебе на твои ласковые письма. Я был очень занят в связи с докладом. Доклад

прошел хорошо, после этого мне предложили остаться в Москве в Тяжпроме. Конечно, обидно, что не увижу теперь, как все у нас достроят. За два года я сжился с нашей стройкой. Но, с другой стороны, работа здесь тоже увлекательная: планируем, а масштаб грандиозный! Отсюда видно, что Кузнецков много и что не стоит придавать столько значения нашим будничным неудачам. Теперь — о тебе. Я не думаю, чтобы тебе стоило сейчас перекочевывать в Москву. Прежде всего здесь очень трудно с квартирами. Я приютился временно у Гавриловых. Все-таки неудобно: они молодожены, и я их очень стесняю. Ищу хотя бы угол. Потом работы по специальности ты здесь не найдешь. В Кузнецке тобой дорожат, а здесь нужна совсем другая квалификация. Ты сама понимаешь, как мне больно расставаться с тобой! Но я не думаю, что мы должны связать нашу жизнь. То, что было, — для меня священно. Но мы оба молоды. У нас все еще впереди. В одном из писем ты говоришь, что любовь в жизни одна. Это очень трогательно, но, прости меня, Варя, до чего это звучит по-детски! Как мужчина, я привык все анализировать. Что такое «любовь»? Для меня существует или увлечение, или привычка. Увлечения проходят... А привычка?.. Какое счастье, что мы свободны от такого тупого, мещанского чувства! Я помню все хорошее, Варя, и только хорошее! Верю, что судьба когда-нибудь сведет нас и мы встретимся как настоящие друзья.

Я буду рад, если ты будешь время от времени мне писать. Не хочу порывать связи ни с тобой лично, ни с Кузнецком. Не переутомляйся и будь здорова! Крепко тебя обнимаю. Твой П. Глотов».

Варя легла на кровать, повернулась к стенке и закрыла глаза. Она не плакала, не пробовала разобраться в том, что случилось. Тихо и медленно она переживала свое горе. Так она пролежала всю ночь. Утром она пошла в школу. Она улыбалась, как будто ничего и не произошло. Увидев Сахарову, она спросила: «Поправилась?» Сахарова поглядела на Варю и вздохнула: «Что это с тобой? Хворала-то, кажется, я». Варя ответила шуткой. Она спокойно рассказывала ребятам о ластоногих. Мимоходом она спросила заведующую, сможет ли получить отпуск на десять дней: «Мне надо обязательно съездить в Новосибирск».

Заведующая ответила: «Что же, Сахарова вас теперь заменит».

Когда Варя пришла домой, она раскрыла чемоданчик и стала зашивать рубашку. Постучала Ирина. Варя не ответила: она побоялась, что Ирина начнет расспрашивать, куда Варя едет. Тогда Варя не выдержит и расплачется.

Потом ей стало так тоскливо, что она сама пошла к Ирине. Она сразу сказала: «Я завтра в Новосибирск еду» — и отвернулась, чтобы глаза ее не выдали. Но Ирина не стала ее расспрашивать. Она рассказывала о детской площадке при коксовом цехе: «Знаешь, эта Куликова — молодец! Я думала, что она не справится. Ты ее видала? Такая морда, что поглядеть страшно. Вроде носорога. А сама добрющая. Сначала ребятишки ее пугались, а теперь души не чают. Я сегодня смотрела, как она играет с ними, и, знаешь, один малыш начал ее передразнивать, наморщил лоб — вот так...» Тогда Варя неожиданно заплакала.

Ирина села рядом с ней, обняла ее и тихо шепнула: «Ну, не горюй! Напишет. Вот увидишь, что напишет». Варя заплакала еще сильней. Все ее тело вздрагивало, а слезы лились и лились. Наконец она сказала: «Написал... Кончено это! Оказывается — увлечение. Он-то в Москве остается. В гору пошел... А я, наверно, для Москвы не гожусь... У них там ногти полированные. Словом, о чем тут толковать? Главное, что не любит...»

Она говорила глухо и несвязно. Ирина дала ей выплакаться. Только когда Варя притихла, она спросила: «Куда же ты едешь?» Тогда Варя снова заплакала. Она постыдилась рассказать обо всем Ирине. Она ответила: «Не скажу!» Они молча поплакали.

Потом Варя все же не вытерпела. Она шепнула: «Не хочу я ехать! Сама знаю — нужно, а не хочу. Знаешь, Ирина, наверно мальчик, я это чувствую...»

Ирине стало страшно. Она еще никогда об этом не думала. Вот, значит, что!.. Может быть, завтра это случится и с ней? Конечно, Коля не Глотов. Он не станет говорить об «увлечении». Он ее любит. Она улыбнулась про себя, вспомнив смущенный голос Коли: «Я тоже так думаю...» Но в этих делах и Коля не советчик. Если его

спросить, растеряется. Одно дело рассуждать. А здесь — ложись и кричи. Что же Варе делать? Трудно как!.. Ирина сконфуженно вытерла глаза и сказала: «Я-то, дура, разревелась...» Но Варя ее не слушала. Она говорила как будто сама с собой: «Это ведь не случайно, не на пьянке. У него, может быть, сто раз было. А я так все переживала, до глубины... Почему эта операция?.. Я не хочу! Это все равно, что себя зарезать. Мама говорила: если сильно тошнит, значит — мальчик... Я с ума сойду!..»

Тогда Ирина сразу стала спокойной. Она еще крепче обняла Варю и начала ей тихо рассказывать: «Я недавно зашла к Рыбиной. Мальчик ее у меня. Смотрю — живот... Оказывается — четвертый. А муж уехал в Иркутск, с кем-то спутался и не шлет ни копейки. Я ее спрашиваю: «Почему вы в таком случае аборта не сделали?» Она как рассвирепела: «Вот еще что придумали! Бабы-то на что-нибудь годятся». Я ей ответила, что теперь женщины работают, как все, одним словом — равноправие. Она на меня закричала: «Я сама работаю в шамотном цехе. Ты что мне о правах рассказываешь? Я свои права знаю. Делегаткой была на конференции. А рожаю, значит — нравится. Ты вот учительница. Сама должна понимать: с ребятами веселее». Вот такая не боится... Варя! А, Варя! Ведь не так это страшно... Как-нибудь да вылезем... Я сейчас подумала, что не нужно тебе ехать. Если над какой-нибудь домной столько людей мучаются, надо, чтобы было для кого. А то что же это получается? Строим, строим — и потом?.. А с деньгами выкрутимся. У меня каждый месяц остается — не знаю, на что тратить, времени нет. Сложимся. Чем я хуже Глотова? Я с Куликовой поговорю. Знаешь, она прямо мировой педагог. И чисто у них. Зато как это весело, Варя! Ты представь себе — расти начнет. А потом вдруг возьмет и заговорит. У Ани девчонка...»

Варя сидела согнувшись. Ирина в страхе думала: да она и не слушает!.. Но когда Ирина сказала «девчонка», Варя упрямо наморщила лоб. «Почему ты говоришь — девчонка? Я ведь тебе сказала, что мальчик». Ирина рассмеялась: «Да, да, мальчик. Обязательно мальчик». Тогда улыбнулась и Варя.

Ирина подошла к окну — вот и ночь прошла! Апрельское утро озорничало, и хоть не было на стройке ни бере-

зок, ни грачей, ни всего, что полагалось ему по чину, оно все же веселилось. Так хлюпали лужи под сапогами рабочих, так усмехались эти неуклюжие бородатые люди, столько кругом было синего неба и нежной, взволнованной воды.

Ирина сказала: «В школу пора!» Она начала натягивать на ноги большие рыжие сапоги — подарок Коли. Она не посмела улыбнуться своему счастью и только тихо-тихо пробормотала: «В сапогах теперь хорошо!..» Потом они пришли в комнату Вари — Ирина хотела вскипятить чай. Там все еще говорило о вчерашнем вечере. Посредине комнаты лежал раскрытый чемодан. Ирина заметила возле подушки конверт — наверно, письмо Глотова... С тревогой поглядела она на Варю. Но Варя отпихнула ногой чемодан и стала мыться: надо было отмыть следы ночных слез. Она намылила лицо и вдруг сказала: «Все-таки в романах это куда красивей! А впрочем, ерунда! Как-нибудь да вылезу. У меня сегодня в пятой группе минералогия. Надо их заинтересовать». Она посмотрела в окошко на огромные лужи и засмеялась: «Ирина, иди сюда, скорей! Посмотри — Соловьев-то... Он калоши в руке несет, честное слово!..»

22

В два часа ночи Маркутова разбудил телефонный звонок. Говорил Скворцов из Монды-Баша: «Очень много воды. Боимся за дамбу...» Маркутов потер сонные глаза и крикнул: «Сейчас мобилизуем».

Два часа спустя комсомольцы заполнили смехом и песнями станционный барак. Поезд довез их до широкой долины, затопленной водой. Здесь кончалась железнодорожная ветка, дальше надо было ехать верхами. Лошади недоверчиво ступали в воду. Дул резкий ветер. Коля Ржанов показал Антипову на огромное дерево, вырванное с корнем: «Здорово!» Антипов зевнул: «Я здесь с августа. Ста шагов нельзя пройти. Грязь, бурелом, тоска».

Тайга была упрямая: она не подпускала людей. Она смыкалась глухой стеной. Навстречу пришельцам она швыряла гигантские стволы. Она вцеплялась в них едким кустарником. Она слала в разведку быстрые потоки, и эти

потоки сносили все. Зимой тайгу сторожил снег, летом — свирепая мошкара. Тайга чувствовала, что люди хотят ее уничтожить, и она не сдавалась.

Тайга была упряма, упрямей тайги были люди. Приехал геофизик Щукин. Он привез с собой восемь вузовцев. Они разбили палатку и по ночам пели частушки. Они ели рыбные консервы без хлеба и пили морковный чай, который пах дымом. Пришел шорец Ато. Он спросил Щукина: «Медведя не боишься»? Щукин засмеялся: «Только нам этого нехватало. Я с кулаками ночевал, когда раскулачивали, а ты меня медведем пугаешь!..» Щукин стал рассказывать о руде, которая скрыта в этих горах. Ато его молча выслушал и снова сказал: «Медведь здесь сердитый — неужто не боишься?..»

Разведчики уехали назад в Кузнецк. Щукин с утра до ночи составлял отчеты. Потом он шел к Леле Ластовой и жаловался: «Я ведь говорил, что на юг от Темира, а Мацкевич не верил. Анализ сделали — не руда — прямо золото! Надоели мне эти комиссии! Скоро снова поедем. Там, Лелька, лафа! Живем, как Робинзоны. Я теперь ружье возьму. Жрать, конечно, нечего. Зато смешно! Ну, чего ты расстроилась? Боишься, что меня медведь съест? Эх ты, дурашка! Давай лучше целоваться!»

В тайгу понавезли рабочих. Падали старые деревья. Пищали пилы. Люди сколачивали бараки. Копылин написал стишки и, послюнявив листок, прилепил его к стенке: «Вот тебе и стенгазета!» Приехал Маркутов, сделал доклад о международном положении. Соколова закричала мужу: «Гляди — тараканы!» Она не то сердилась, не то радовалась: без тараканов жилье ей казалось нежилым. Жизнь в тайге становилась крепкой и ясной. У людей были синие карты с белыми прожилками. Они не глядели ни на верхушки деревьев, ни на белок, которые проворно лазили по стволам, ни на бледноголубое небо. Они глядели только на землю, они рвались в глубь земли: под их ногами было железо.

Далеко окрест были слышны громкие взрывы. Бригадир подрывной бригады Костя Адрианов упал с горы и сломал себе ногу. Шухаев сказал: «Ну, Костя, поедешь теперь в Кузнецк. Там спокойно». Костя стал спорить: «Это, товарищ Шухаев, совершенно неосновательно. Я себя

знаю — через три дня поскачу. Зачем я поеду на эксплоатацию? Мое дело другое». Он поморщился, чтобы не закричать от боли. Раздался взрыв — это работали товарищи Кости. Костя отвернулся к стенке и в тоске забормотал: «Как это я оступился?..»

Стройка ширилась, как весенняя вода. Из Кузнецка люди прошли в Монды-Баш. Из Монды-Баша одни двинулись к Темир-Тау, другие повернули на Тельбесс. Людей было много, и тайга что ни день уступала несколько саженей. Это был поход на тайгу. Снова шли строители: колхозники, казахи, комсомольцы, летуны, раскулаченные. Снова женщины вязали узлы, на кошевках брякали ржавые чайники и вопили разбуженные ребята.

Торжественно открыли новую ветку на Темир-Тау. Шухаев произнес речь: «Большевики переменили лицо Сибири!» Он проработал на стройке два года. Прошлой осенью его жена умерла от брюшного тифа. Ее похоронили в лесу. На похоронах Шухаев сморкался и, стыдясь своей слабости, говорил Крицбергу: «Идите домой! Здесь здорово сыро...» Шухаев много раз ездил по этой ветке на дрезине. Он увидел, наконец, паровоз. Паровоз был украшен красными ленточками, как игрушка. Он выразительно свистнул. Затрубили музыканты. Пронесся Ваня Клюев: ему сказали, будто всем строителям дают ситец и сало. Когда празднество кончилось, Шухаев пошел в лес. Он виновато оглядывался: он боялся, что кто-нибудь его увидит. Он дошел до могилы жены, постоял, сердито посопел и потом сказал: «Вот и достроили!..»

Кассирша, широко улыбаясь, выдала первый билет до Темир-Тау. Билет купила Маша Крашенникова. Она села в вагон и замерла. Вокруг нее люди говорили о пятилетке, о бригадах, о руде. Они говорили о том, как трудно было проложить эту дорогу и как страшно менять спокойный Кузнецк на новую стройку, среди гор, рек и тайги. Они говорили о том, что в Темир-Тау плохо с хлебом, на колхозном базаре пусто, придется, видимо, подтянуть живот. Маша не принимала участия в этих разговорах. Сапожкова спросила Машу: «Ты что, на работу или к кому?» Маша сказала: «Я-то? Я к Вяткину. Может, вы слыхали — Гриша Вяткин? Он прежде в Кузнецке работал. На мартене». Сапожкова ответила: «Нет, не знаю. Много их на

мартене. А он что, муж тебе»? Тогда Маша заплакала: «Я и сама не знаю. Говорил: «давай поженимся». А потом в Темир-Тау уехал. Я ему писала. Не отвечает. А мне скоро рожать. Одной страшно. Верхом-то я не могла. Теперь поезд пустили — вот и поехала...» Сапожкова рассердилась: «Что ты — несознательная? В Кузнецке больница, а ты рожать в лес едешь». Потом она посмотрела на Машу, вспомнила свою молодость и ласково сказала: «А плакать нечего! Там тоже доктор есть. Найдешь твоего Гришу. А не найдешь, так и не надо. Ты баба хорошая — не пропадешь».

В долинах текли бурные реки, они текли испокон веков: Томь, Кондома, Тельбесс. Весной они росли, а в долгую зиму тяжело дышали под толстым льдом. У каждой реки было свое русло. Реки текли среди леса. Они знали перелетных птиц, выдр и белок. Они знали токование глухарей, течку медведицы, звериную страсть и гогот диких гусынь, которые выводили свои крикливые выводки. Людей реки не знали. Люди пришли в спокойные долины. Они угрюмо глядели на светлую воду. Они мерили, чертили, высчитывали. Потом инженер Лиговский пососал погасшую трубку и сказал: «Придется отвести».

Люди отодвинули от себя тайгу. Они захотели также переменить ход рек. Кондома текла не на месте. Надо было построить два моста. Люди решили убрать Кондому в сторону. Лиговский поехал в Кузнецк. Его план был одобрен. Строители начали насыпать дамбу. Эта дамба была длиной в километр.

В весеннюю ночь зазвенел лед, а час спустя зазвенел телефон над ухом Маркутова. На дамбе гудел колокол. Бежали отовсюду люди, и, как вспуганные светляки, метались среди гор сотни фонарей.

Утром рабочие стояли на берегу. Они угрюмо переминались. Федоров сказал: «Полезть-то просто, а ты попробуй — лед! Умирать никому не хочется...» Тогда подошел Коля с товарищами.

Кондома рвалась в свое старое русло. Весна принесла ей силы. Она отыскала лазейку и начала промывать себе путь.

Коля первый полез в воду. За ним пошли и другие. Петя Ножнев не выдержал и закричал: «Ой, и холодная!»

Коля сказал: «А ты не стой на месте! Подавай мешки!» Они выстроились цепью и стали передавать мешки с землей.

С комсомольцами работал партизан Самушкин. Он сидел в конторе, когда пришел Шухаев и сказал, что с дамбой не ладно. Самушкин сейчас же побежал к реке. Всю ночь он, угрюмо поругиваясь, таскал мешки с землей. Увидев комсомольцев, он просиял. Он стоял в ледяной воде и мурлыкал под нос старые партизанские песни. Коля сказал ему: «Ты это, Самушкин, зря! Нам ничего — мы молодые...» Самушкин усмехнулся. Ему было за пятьдесят, но он никогда не думал о своих годах. Он ответил Коле: «Старые на печи лежат. А если я здесь, — значит, я молодой».

К вечеру люди победили реку. Река смирилась, она пошла туда, куда ее пускали люди.

Коля позвонил Маркутову: он обещал ему дать подробный отчет. От холода Коля охрип и с трудом говорил. Он сказал Маркутову: «Сделано. Ты меня хорошо слышишь? Ну вот, значит — сделано. Шухаев мне сказал, что надо остаться здесь. Чорт их знает!.. Здесь оползни. Ребята не управляются. Понимаешь, для зарядки. Народу много, а с комсомольцами ерунда. По-моему, Ванюшин совершенно разложился. Я-то хорошо слышу... А ты?.. Это я осип — говорить трудно. Ну, ладно, завтра еще позвоню. Слушай, Маркутов, к тебе дело. Личное. Ты Ирину знаешь? Нет, нет, мою. Кореневу. В ФЗУ. Так ты ей скажи, что все благополучно. А то я уехал ночью — не успел проститься. Значит, завтра еду в Темир. Пришли газеты. Да смотри не говори Ирине, что я без голоса, она, чего доброго, испугается. Ну, пока!»

Шухаев, ухмыляясь, сказал Крицбергу: «Я этого Ржанова отвоевал. Пусть он теперь у нас поработает. У них в Кузнецке благодать. Прямо тебе Москва. Концерты устраивают. Честное слово! А здесь настоящего народу мало. Чуть что — сразу паника. Пусть он наших ребят поджучит».

К Первому мая начали готовиться задолго. Колесникова обещала выступить с декламацией. Она становилась в коридоре и неожиданно начинала повизгивать: «Мировой Октябрь, ты раздул огни!..» Сема Плихов набрал бригаду

гармонистов. Они репетировали по вечерам возле бараков, и Шухаев мучительно морщился: «Ну и уши у них!..» Овсянникова раздобыла белой муки, масла, яиц. Она сказала мужу: «Я кулич испеку». Овсянников рассердился. «Что это тебе, пасха? Это день пролетариата! Здесь надо речи говорить, а ты с куличами...» Овсянникова ответила: «Речи речами, а кулича покушать каждому приятно. Раз теперь нет пасхи, — значит, самое время куличи печь». Овсянников подумал и тихо сказал: «Изюма-то нет...»

Строители собрались на опушке леса. Рядом была тайга, огромная и непроходимая, — такой она слыла прежде. Строители знали, что они пройдут и через эту тайгу.

Коля посмотрел на деревья, на первую траву, на кустарники, покрытые зеленым пухом. «Чорт возьми, вот и весна!..» Все эти недели он работал не покладая рук: он боролся с весной. Теперь впервые он ей улыбнулся. Он сказал Леше: «Здесь, наверно, птиц много...»

Тогда вышел Сема Плихов с гармонистами. Они поклонились и сыграли «Интернационал». Пришла Овсянникова со всеми своими детишками. У ребят на груди были большие красные банты, и Николаева в зависти зашептала: «Это она флаг стибрила в красном уголке, честное мое слово!» Чернобаев пришел в новеньких калошах, хотя на дворе было сухо. Сема спросил: «Ты что это, одурел? Или ревматизм у тебя?» Чернобаев презрительно сплюнул: «Это для шика, потому — праздник. В Москве все так ходят».

С докладом выступил Шухаев. Он сказал: «Мы должны помнить слова Ленина. Ленин говорил, что железо — главный фундамент нашей цивилизации. Необходимо обеспечить кузнецкий гигант нашей сибирской рудой!»

После Шухаева на трибуну поднялся Самушкин. Он не умел произносить речи, путался, заикался и вытирал рукавом потный лоб. Но говорил он с чувством, и строители его слушали. Самушкин сказал: «Я, как красный партизан, когда-то ходил с ребятами по этой самой тайге. Здесь мы прятались от белых. Здесь вот погиб товарищ Сергеенко. Это был железный боец. Он ходил с раной, а потом его схватила лихорадка. Он пролежал весь день, а вечером

подозвал меня, отдал мне свой маузер и сказал: «Прощай, Самушкин». Мы его здесь и похоронили. Тогда здесь живой души не было. А теперь, товарищи, мы здесь празднуем наше Первое мая. Я, как старый партизан, скажу вам, что смертельный бой еще продолжается, потому что надо построить социализм. Вы все помните, как мы боролись с этой проклятой Кондомой, чтобы отстоять дамбу. Товарищ Шухаев правильно сказал, что по Ленину выходит: это и есть главный фундамент. Это святые слова. Но я хочу сказать теперь другое. Поглядите на Колю Ржанова или на других ребят. Я с ними сражался в Кузнецке, когда был прорыв на кауперах. Я с ними боролся за эту дамбу. Я вам скажу, что это и есть наш главный фундамент. С такими людьми мы добудем и железо, потому что они крепче железа. Я, как старый партизан, скажу, что я могу теперь спокойно умереть, потому что есть у нас, товарищи, настоящие люди...»

1932—1933

НЕ ПЕРЕВОДЯ ДЫХАНИЯ

1

— Что это? — спрашивает Варя.

Мезенцев морщит лоб и, как будто он должен объяснять: «глюкоза, терпентин, канифоль», сосредоточенно говорит:

— Кажется, петунья.

Варя хохочет. А ведь ничего нет смешного в этой петунье — нарядная, платье с оборочками. Уж если смеяться, то лучше над анютиными глазками: они похожи на рабфаковок, которые слушают «терпентин, глюкоза». Но Варя смеется над петуньей. А может быть, и не над петуньей? Может быть, над Мезенцевым?

— Пе-тунья... Так это, Петька, твои цветы: петькины петуньи...

Мезенцев неодобрительно приподымает одно плечо.

— Ничего не вижу смешного. Название. Как Варвара. Вот у вас здесь смешные слова. Шура вчера меня спрашивает: «Варька-то — твоя дроля?» Я даже сразу не понял, что это. У нас говорили «милаша». Дроля!.. Вот это действительно смешно.

Но Варя теперь не смеется. Она вся насторожилась. Она смотрит не на Мезенцева — в сторону. Может быть, на петуньи? Какие они яркие и всех цветов! Но нет, не в петуньях дело. Противная Шура! Зачем ей все знать?.. Впрочем, и это неважно: ну спросила... Что же «важно»? Резеду сразу и не заметишь, но как она пахнет, да и табак — голова кружится... Тихо-тихо Варя спрашивает:

— Что же ты ей ответил?

В тишину вмешался визг соседней лесопилки: тишину он распилил, как свежий ствол, и казалось, слезы — капли смолы — доходят до садика, тишина, распиленная, плачет, Варя ждет, а Мезенцев все еще крепится.

Откуда тут взялись петуньи, среди стружек и скрежета? Об этом может рассказать братан той самой Шуры, которая задает мечтательным комсомольцам чересчур прямые вопросы. Этот «братан» — зовут его Васей — в отличие от своей сестрицы чужим счастьем не занят. Он занят общественной нагрузкой. Ему одиннадцать лет, и он презирает нюни. У него на столе серая потрепанная тетрадка. На обложке напечатано: «Пионеры и школьники, суслик — злейший враг социалистических полей». Эта сентенция пояснена портретом «врага», который премило сидит на задних лапах, передней почесывая мордочку. По правде сказать, глядя на тетрадку, «общественник» частенько мечтает: хорошо бы словить такого суслика, чтобы он жил на подоконнике и чесал себе морду. Во-первых, он здорово служит, совсем как пудель Ганшиных. Во-вторых, можно разузнать у Ивана Никитича, как по-сусличьи «есть» или «пить». Он, наверно, знает. Он ведь рассказал Васе, что бурундуки говорят «трун-трун». Впрочем, все это мечты поздним вечером, когда мама кричит: «Опять за столом уснешь? Ноги помой и спать!..» Это не «трун-трун» — это понятно всем. Что касается содержания тетрадки, то оно далеко от вопросов борьбы с полевыми вредителями. Это протоколы школьных собраний, и на одной из страниц, перепачканной чернилами, — это рыжий Котик отличился, — объясняется происхождение петуний:

«Слово я предоставляю себе. В других городах ребята давно взяли шефство над деревьями. Очень просто. Каждый сажает какое-нибудь дерево, и, значит, он смотрит, чтобы хулиганье не поломало дерево и чтобы ему хорошо рослось. А мы здесь окончательно зеваем, и я вношу предложение, чтобы включиться в кампанию озеленения. Вокруг столовки 34-го завода чорт знает какое безобразие. Конечно, озеленить у нас не так просто, кажется всем ясно, что здесь вместо земли торф, одним словом, это тебе не Крым. Но я предлагаю, чтобы натаскать землю и устроить возле столовки настоящий сад. Я предлагаю закончить озеленение в один месяц и всем начать таскать землю, кроме

слабых и девчонок, а девчонки смогут потом устроить клумбы, сажать цветочки. Но только через месяц пусть все видят, как мы выполнили план. Сейчас я предоставляю слово Мане Соколицкой.

Маня. Я категорически протестую против слов Васи, будто девчата не могут таскать землю. Очень просто, что могут, и будем таскать получше вас, вот что! Так что от имени всех девчат я даю обязательство и прошу Васю в случае чего заткнуться.

Предложение о саде принято единогласно, а воздержавшихся не было».

После этого следует клякса: рыжий Котик на радостях толкнул Васю. После этого и появились петуньи, да не одни петуньи: левкой, табак, анютины глазки, душистый горошек, резеда — цветов много. В июне, когда петуньи цветут, звезды скромно прячутся. Звезды расцветут в августе. Расскажет ли до августа Мезенцев, что он ответил любопытной Шуре?..

Звезд много, и чудесные у них имена: Лебедь, Сириус, Вега, Медведица и, наконец, радость всех «дролей», красавица Полярная звезда.

Зимой мороз выведет цветы на двойных рамах, и бабы, те, что теперь собирают чернику или голубику, сядут за коклюшки. Коклюшки вырезаны из черемухи или жимолости. Они весело постукивают, и текут, как сны, кружева: медведка, мизгиричек, чистянка, речка.

Много на свете звезд, снежинок, ягод. Много и стихов: частушки и коротушки, старины, баллады, терцины, любимец Полярной звезды Пушкин и старый лезгин, который, покачиваясь, поет свои песни о Ленине, сказительница Степановна, та, что знает заговоры и причитания — у нее два зуба, триста бывальщин и все слова о нежном северном солнце, она и Маяковский.

Был поэт Фет, и он написал: «К зырянам Тютчев не придет». Свет Полярной звезды приходит к нам через миллионы лет. Может быть, давно умерла эта звезда, ее древний свет, как воспоминание, прорезает черные дикие миры. Но вот в деревянном Сыктывкаре, в столице коми, или, говоря по-старому, зырян, в клубе «Красный лес» прошлой зимой комсомолец Сидоров, захлебываясь от волнения, декламировал: «Не о былом вздыхают розы и соловей

в ночи поет...» Так Тютчев пришел к зырянам, так скрипели под снегом правительственные избенки новой столицы, и не о былом, совсем не о былом вздыхали снежные розы, когда, кончив чтение, Сидоров вышел с Василисой на улицу и оба они затерялись среди сугробов, звезд и счастья.

О чем же поет в ночи соловей? И главное — почему Мезенцев так долго не отвечает Варе? Скрипит, визжит, сходит с ума лесопилка — надо торопиться: гудят иностранные лесовозы. Много флагов с полосками, кружочками, звездами. Но куда им и до петуний, и до кружева «мизгиричек», и до той звезды, которая скоро засветится на лбу Мезенцева! Что же он молчит? Нельзя вечно слушать справки о количестве распиливаемого леса!.. Ну?

— Шуре я ничего не ответил. Ей бы только болтать. А тебе, Варя, скажу...

Нет, Варя не хочет слушать, она перепугалась и быстро говорит:

— Пойдем лучше к реке.

Река большая, реки нет: она сливается с небом, день сливается с ночью, рука с рукой, жизнь с жизнью. Разве это ночь?..

Мезенцев помнит другие ночи, темные и душные, полные шорохов, внезапных вскриков и такой черноты, что не узнаешь, кто рядом, не глаза ищут — губы. В Воронеже за речкой товарищи гуляли с девчатами. Густая ночь, будто вино, мутила его голову. Он шел один к реке. Он старался думать о хлебозаготовках или о работе с допризывниками, но в эти ясные дневные мысли вмешивался шопот, хруст веток, чужое счастье. Там были ночи, и там не было Вари. Варя оказалась здесь, на берегу большой белой реки, сама белая и большая.

Они встретились в клубе. Она тогда расспрашивала его о Москве. Кто бы мог подумать, что потом он начнет смутно гадать — придет ли сегодня Варя на собрание, — нужно спросить ее, как работают сорокинские станки, обязательно ее, а не Колю и не Шугаева; что ему «случайно достанутся два билета» (так он сказал, на самом деле он едва их вымолил у Штейна), и в кино он не пойдет, потому что у Вари будет ночная работа? Кто бы мог подумать, что после разговоров о станках или о запанях вдруг окажутся петуньи и вопрос Шуры?

А ночи нет, и ничто не может прикрыть смущение Мезенцева. Хорошо еще, что Варя не смотрит!.. Мезенцев недоуменно глядит вокруг себя, как будто он здесь впервые. Все розовое и непонятное. Воздух настолько прозрачен, что, кажется, всмотрись и увидишь море: мир на ладони. Но поверить ничему нельзя: даже самые обычные вещи загадочны и призрачны. Пароходики похожи на сказочных птиц: еще минута, и они нырнут в воду или взлетят ввысь.

Мезенцев не улыбнулся, но, осмелев, наконец-то заговорил:

— Я тебе, Варя, скажу... Дело в том... Да ты и сама знаешь...

В отчаянье он махнул рукой и отбежал к штабелю леса. Доски пахли смолой. Варя подошла к нему и закрыла глаза. Они оказались в лесу. Визжала попрежнему лесопилка, но даже она могла теперь сойти за тютчевского соловья, который никогда не поет о былом.

Когда они вернулись в тот мир, где есть слова, где у всех вещей свои прозвища, где визг лесопилки — это какая-то часть годового задания, а петуньи — гордость «общественника» Васьки, где Шура готова обежать весь город, лишь бы узнать, какая у кого дроля, где имеется «любовь», о которой написано столько книг, что, кажется, на бумагу не может хватить всех лесов севера, — когда они вернулись в большой белый свет (этот свет был вторым или третьим днем шестидневки), они начали говорить. Они говорили о разном, слегка рассеянные и стесненные, говорили громко, хотя в их сердцах еще стояла большая, ничем не потревоженная тишина. О происшедшем возле штабеля можно было догадаться только по тому, как, внезапно замолкая, они улыбались, да еще по беседе рук, беседе отдельной и сосредоточенной, где были и горячие признания, и клятвы, и паузы.

2

По реке шли пароходы, они тащили сплоченный лес. На баржах лежали балансы, пропсы, дрова. У пароходов были разные имена: «Марксист», «Лютый», «Массовик»,

«Крепыш». Важно проплывали огромные стволы. Вся широчайшая река была наполнена лесом: так идет весной лед. Лес шел с берегов Двины, бурливой Сухоны, Юга, Вычегды, Вологды, шел, повинуясь воле людей; он еще жил теплой жизнью ствола, казалось он еще способен трепетать и шевелиться.

В сорокаградусные морозы, когда падали вороны с их птичьими сердцами, сжавшимися от немилосердного холода, — люди рубили эти деревья. В лачугах кипели щи, сушились валенки, стоял пар и кто-то хрипло пел песню о красных партизанах. Снег скрипел под полозьями. Деревья ползли к берегу охваченной льдами реки.

Потом вскипело солнце, дрогнул лед и деревья отчалили от родных берегов.

— Варя, мне вот двадцать три года. А ты знаешь, сколько такому дереву? Сто. Я не вру. Мне Штолов сказал, никак не меньше ста.

Какая странная судьба у дерева! Оно показалось на свет сто лет назад. Так же было весело и ярко в весеннем лесу, гудела мошкара, чирикали птичьи выводки. Никто не заходил в чащу, только светлые летние ливни нянчили молоденькое деревцо. Оно не знало людей. Ему было все равно, что любимец Полярной звезды Пушкин упал, простреленный насмерть. Оно не думало о том, что Пушкин упал, как прекрасное дерево. Оно не слышало плача крепостных девок, которых насильно выдавали замуж. Оно знало в жизни одно: оно росло вверх. Век для него пронесся среди снежных метелей и гогота диких гусей. Пришли люди, и вот дерево плывет по реке: это труп. Но оно пойдет на авиационный завод. Оно снова взлетит вверх, выше самых высоких сосен, выше мошкары, выше диких гусей. Нет, это не труп, это нежное тело, к нему можно прижаться, как к любимой: оно вспомнит тогда о лесном шуме и лаской ответит на ласку. Это узнали Варя и Мезенцев, стоя возле свежераспиленных досок.

Варя говорит:

— На двадцать втором дали образцы: ящики для бананов. Это на экспорт. Знаешь, Петька, я никогда не видала бананов. Какие они?

Мезенцев снова морщит лоб — «глюкоза, терпентин». Он отвечает неуверенно:

— Кажется, круглые.

Они задумались: до чего мир велик! Растут где-то бананы, как у нас шишки на елках. Может быть, эти бананы пахнут вроде резеды? А здесь нет бананов... Мезенцев говорит:

— Апельсины, те круглые. Я в Москве пробовал. Вкусно! У нас их в Батуме разводят. Поеду в Москву, обязательно для тебя раздобуду. А бананов, по-моему, и в Москве нет, но это пока что. Будут и бананы. Вот я был у Ивана Никитича. Знаешь — ботаник? Он говорит: «Здесь все может расти». Понимаешь — арбузы в Заполярье. И ничего нет удивительного: подналяжем, и вырастут.

Они смеются. Они теперь видят лед, а на льду большие полосатые арбузы. Если разрезать, внутри красные...

Варя говорит:

— Апельсины твои, верно, хорошо пахнут...

В столовке, где обедает Варя, пахнет треской и капустой. Жизнь груба и шершава, как кора дерева. Трудно, ох, как трудно рубить лес, трудно вить вицы, плотить древесину и, стоя в воде, баграми подхватывать неповоротливые стволы, трудно на лесопилке оттаскивать длинные доски, крепкие руки нужны и крепкое сердце! Но ведь если приналечь — так ботаник сказал, так думает и Варя, — если хорошенько приналечь, будут у нас даже эти круглые бананы. Рука Мезенцева, широкая надежная рука, снова крепко сжимает руку Вари. Она смеется: до чего велик мир!

Кажется, посмотри получше — Варя забавно щурится — все увидишь. На реке барашки. Вот и Мудьюг — «Остров смерти». Пятнадцать лет назад сюда привезли рабочих. Офицеры, пьяные от крови, от тоски, от страха, хрипло кричали «ура». Выстрелы пугали чаек. Рассерженные волны били камень. Но Мудьюг держался. Его взяли не волны — люди. Тогда еще не было на свете Васи, и никто тогда не думал о петуньях. Дальше — играют нерпы. Поморы, взбираясь на острова, поросшие мохом, палками бьют линючих гусей. Еще дальше — залог мужества — полюс. Льды, льды, льды...

Вдруг Мезенцев меняется в лице. Сердито он говорит:

— Древесины сколько! Запань, что ли, прорвало? Или сплочивают плохо? Теперь в море попадет... А иностранцы, наверно, караулят...

В Белом море покачивается лесовоз «Ставангер». Поморы говорят: «Норвеги-то на охоту пришли». Встретив русское судно, капитан прокричал в рупор: «За лесом! В Архангельск!» Но капитан не повернул на Архангельск. Лениво покачиваясь, он пьет кофе. Он думает о своей семье. Это далеко отсюда: чистая улица, домик рядом с киркой, внутри пальмы, этажерки. Старшей дочке пора замуж. Это фрекен с голубыми глазами. Она любит теннис и смех. Может быть, она также любит Петера? Или долговязого Карла? Но это не касается капитана. Капитан знает: любовь — это замужество, простыни, столовое серебро, кресла, кроны и кроны. Качается пароход, и качается капитан, и лениво капитан прикидывает: если набрать здесь древесину — это тысячи три, а то и четыре.

Утром в правлении Лесоэкспорта было сонно и тихо. Голубев глядел на карту, расцвеченную флажками: два английских, три норвежских, один датский, один греческий. Сейчас догружают «Эдду»... На минуту Голубев задумался. Какой странный край. Свою молодость он провел далеко отсюда, на горбатой уличке старого Киева. Вчера он был на бирже — грузили «Эдду». Он слышал запах дегтя, трески и медового табака. На палубе стояла молодая женщина — может быть, жена или дочь капитана. Голубев натолкнулся на ее синие глаза и вздрогнул. Эти глаза он видел прежде. Но где?.. И вот сейчас, глядя на карту с флажками, он вспомнил: «фру» и «фрекен». Книжки... Это было давно — на горбатой улице. Он терял дух от быстрой ходьбы и счастья. Он говорил Соне Головинской о той стране, где любят неудачно и красиво, где нет ни купцов, ни пошлости, только одинокие чудаки, сосны и фрекен с синими глазами. Соня в ответ обидно смеялась...

Воспоминания прерывает телефонный звонок. Голубев кричит:

— Прорвало?

Он швыряет трубку и, выбежав в соседнюю комнату, ошарашивает всех громовым чертыханием:

— Прорвало! Значит, снова, чорт бы их взял, накрадут эти норвежцы почем зря! Да чтобы их!..

Качается капитан и ждет. Потом приходит старый боцман:

— Начнем?

Вокруг только море и чайки. Быстро подбирают матросы беглую древесину. Капитан усмехается:

— Чудаки эти русские! Говорят, говорят. «План»! А порядка у них нет.

Капитан видит чистую уличку, домик, этажерки. Там настоящий порядок. В воскресенье все идут в кирку. На бургомистре цилиндр. Кто побогаче — впереди, кто победнее — позади. Там знают цену каждому эре. Там не выпустят лес зря. По меньшей мере на пять тысяч!.. Придется только поделиться с хозяином. А дочке, право же, пора замуж!..

Мезенцев теперь говорит не то с Варей, не то сам с собой:

— Какое безобразие! Если с запанью что вышло, почему не вызвали комсомольцев? Не смотрят, гады! Потеряй он копейку, сейчас же повернет назад, пять верст пройдет, только чтобы подобрать. А здесь миллионы, но вот вдолби ему в голову, что это его миллионы...

Он поворачивается к Варе и не то растерянно, не то радостно говорит:

— Эх, Варя, сколько нам придется еще поработать!..— Потом, понизив голос, добавляет:— Иногда, стыдно это, но я тебе скажу, иногда прямо руки опускаются.

Варя гладит милую крепкую руку: разве такая может опуститься? Мезенцев отбирает руку — он увлекся, рассказывает:

— Вот и с колхозами так было. Приехал я этой весной в Хохол, гляди пожалуйста, Егорыч везет меня со станции, остановился, поднял подкову и говорит — прямо тебе хозяйственник из Тяжпрома: «Это для колхоза. Там пригодится». Хотел было я его спросить: как же так, Егорыч? Ты ведь кричал, что колхоз штаны спустит, что бабы все будут под одним одеялом спать, а сеять незачем — все одно большевики отберут. Вот тебе перемена.

А дальше еще чудней. Оказывается, постановили они устроить у себя канализацию. Горшечные мастерские у них, вот теперь и делают трубы. Потом устроили дом отдыха для своих колхозников. Гляжу — Егорыч тут как тут, сидит, слушает патефон. Выражение — сказать не умею. Наверно, так он в церкви когда-то попа слушал. А теперь философствует: «Звуки, говорит, красивые». Нет, ты пойми, Варя, если со стороны — получается вроде как в газете: ну еще одно достижение. Но я ведь там был, когда раскулачивали. Меня, подлецы, убить хотели. Как все обступят, Маркова вопит: «Сопляк! Большевикам продался! Своих мучаешь!» В овражек потащили! Посмотри, здесь — на плече — видишь? Это с тех пор осталось. Я в больнице месяц провалялся. А теперь повели в правление колхоза: «Чайку попей. Это, говорят, мед с нашей колхозной пасеки». Мне сначала даже обидно стало: почему вы, черти, медом потчуете?.. Ну, а потом подумал: к чему разговоры? Одних повысылали, другие сами все поняли, нечего старое вспоминать. Я об этом и не говорю никому. Вот только растревожила ты меня сегодня, я и разболтался. Хочется тебе все сказать; кажется, ста ночей и то нехватит. Скверное было время!.. Нет, это я зря сказал, — хорошее! Всегда — настороже. Где ты тогда была? Как у вас там вышло?..

Варя ничего не отвечает. Мезенцев смотрит на нее, еще раз спрашивает. Тогда Варя тихо говорит:

— Неохота вспоминать. Ты лучше о себе расскажи.

Ничего нет печального в ее словах, но печаль сразу охватывает Мезенцева, как туман.

— Варя, что это с тобой?..

Тогда Варя отходит от него на несколько шагов и, опустив глаза, тихо спрашивает:

— Скажи, Петя, ты мне веришь?

Мезенцев удивлен. Он даже глупо заморгал. Он бормочет:

— Это ты к чему?..

— Нет, скажи — веришь?..

— Ну, верю. А дальше что?

Варя радостно подбежала к нему, взяла за руки, оба повернулись вокруг себя, будто они танцуют.

— «А дальше что»? Дальше — работать. Погляди — шестой час. Скоро мне на завод. Я теперь первая должна приходить: меня вот на красную доску записали.

Мезенцев усмехается.

— Чудная ты. Скрытная. Загрустила, а чтобы сказать почему — этого нет. Вот и насчет красной доски промолчала. Поздравить тебя и то нельзя. Я так не умею. У меня, Варя, все наружу. Мне сейчас хочется всем сказать... Даже этим доскам...

Оба смотрят на штабель. Это, конечно, не просто доски. Они были лесом: прежде, когда у них были ветки, и они были лесом недавно, час назад, когда они помогли Мезенцеву и Варе сказать то, чего никак нельзя высказать. Смеясь, Мезенцев говорит:

— Значит так, товарищи доски!.. Мы с Варей... Ну, и так далее... Одним словом, сами понимаете...

3

Та ночь была исключительной для Мезенцева и Вари, но город не подозревал об этом, город жил своей привычной жизнью, и если эта привычная жизнь все же должна быть названа загадочной, то в этом повинны розовый свет и бессонница, кипы бумаг, мечты одних, горе других, может быть особенность белых ночей, как известно, вносящих путаницу в исчисление времени и в семейный распорядок, а может быть магнетические свойства пятихвостой звезды, видимой даже среди самой белой ночи.

Погрузка на лесовоз «Эдда» заняла ровно семь часов. Бригада Сорокина побила рекорд, и Голубев из Лесоэкспорта весело жал руку курносому Паше Сорокину. Голубев теперь не думал ни о Гамсуне, ни о пропавшей древесине. Глядя на Пашу, он отдыхал.

А Паша ухмылялся:

— Рекорд, говоришь? Смешно! Будто мы в стратосферу слетали.

Голубев рассмеялся:

— Не так глупо, Паша. У каждого своя стратосфера. Живем, что называется, здесь, а схватит за сердце, можем и взлететь.

Этот разговор происходил под вечер. Потом Голубев осматривал транспортеры. Потом было заседание. Голубев защищал проект моста. Шульц возражал: сейчас не под силу, эпоха штурмовщины миновала, надо учитывать человеческие возможности. Голубев, сердясь, приводил цифры и кашлял. Наконец, не вытерпев, он сказал:

— Кстати, о человеческих возможностях. Мезенцева ты отведешь: это якобы исключение. Хорошо. Погляди на погрузчиков. На Сорокина. Говорят, он еще недавно хулиганом был. Песни пел — и только. А теперь? Вот тебе и полет в стратосферу...

Шульц недоверчиво поглядел на Голубева и, наклонившись к нему, сказал:

— Ты, Иван Сергеевич, переработался. Я завтра подыму вопрос о путевке. Надо все-таки беречь себя.

Голубев замахал руками:

— Пойми: мост — это такая экономия сил!..

После заседания Голубев пошел на биржу: ночью грузили греческий лесовоз «Дельфы». Грузили плохо, и Голубев ругался. Потом он пошел к себе. Маша оставила на столе стакан холодного чая и две картофельных котлеты. Голубев начал быстро есть, но вдруг почувствовал, что ноги куда-то уходят. Он виновато улыбнулся и прилег. Фрекен, Киев... Тьфу, какая ерунда!.. Все поплыло. Ему показалось, что он засыпает. Но тотчас же он привскочил: сердце отчаянно колотилось в груди. Он вытер рукавом мокрый лоб. В голове пронеслось: вот тебе и стратосфера!.. Норвегия... Да, а что же с древесиной? Он пересилил себя и сел за стол. Пять минут спустя он уже писал доклад: четыре новых запани. Надо привлечь комсомольцев. Выбрать наиболее надежные места. Правильно поставить медведки... Он отложил перо и задумался... Мало людей! Тогда он увидал перед собой веселое лицо Мезенцева. Он улыбнулся и начал снова писать о медведках. Пошлем Мезенцева!..

В эту минуту и Варя смотрела на Мезенцева. Гудели пароходы, визжала лесопилка, как лес по реке неслась жизнь.

Чем отличается такая ночь от обыкновенного дня? Немного больше тоски и восторга, сердце чуть настороженней, розовей небо. Но по-дневному надрываются лесовозы:

«ууу». Погрузчики, чтобы было им легче работать, кричат все в лад: «Раз трудно, два крепко»; скрипят лебедки, грохочут грузовики.

По широким улицам, полным света и людей, в этот ночной час идет иностранец. На нем широкое пальто с кожаными пуговицами. Это, может быть, капитан лесовоза или турист. Он хорошо говорит по-русски, видимо и раньше он живал в этой стране. Зовут его Иоганн Штрем. На углу двух улиц, возле большого здания, люди суетятся. Штрем вслух говорит: «Ломают...» Он переходит через площадь и снова видит людей: они тащат кирпичи. Штрем говорит: «Строят». Ему неуютно в этой большой и беспокойной стране. Зачем его сюда послали? Краузе — злой человек: он выбрал Штрема. Какие-то дурацкие семена... Краузе теперь работает со шведами. Краузе на этом заработает. Но при чем тут Штрем?.. Ему и так надоело жить, а здесь еще разговоры, рапорты, цифры. Штрем громко зевает среди розовых зорь, кирпичей и пыли.

В его записной книжке адреса и цифры перемежаются записями. Так вчера он записал: «Сплошная бессмыслица. Внешторг вывозит все: лес, кишки для колбас, всемирную революцию. Вношу предложение: пусть вывозят сюжеты для писателей. Если бы я умел сочинять романы, я разбогател бы. В Томске был собор. Я его помню по поездке 1926 года. Там все было очень пышно: купцы постарались. Мне показывали: повсюду золото, пели, конечно, «аллилуйю». Собор снесли. Кирпичи погрузили на баржи. В Архангельске из этих кирпичей построили Лесной институт. Ш. сегодня рассказал мне, что один из тотемских попов, кажется его зовут Тихомиров, агитировал на базаре: «Надо жечь дьявольские склады». Попа послали на лесозаготовки. Дальнейшее легко себе представить: никакой аллилуйи. Поп тупо спрашивает: «Рубка выборная?» Кстати, я был в этом Лесном институте. Деревенские девки. Прошлым летом доили коров, теперь слушают лекции: о Марксе и о терпентине. Из кирпичей можно выстроить что угодно. Но спрашивается: на кой чорт это нужно? И главное: при чем тут я?»

Штрем останавливается. Старинная стена, оконца с решетками, а в них, как серьги, вставлены тяжелые чугунные кольца. Это таможня петровского времени. Ее

ломают. Люди торопятся. Добротные толстые стены тают, как будто они изо льда. Ударная бригада Шуры сегодня осталась на ночь. Штрем долго смотрит на кольца, на чуб Шуры, на груду мусора, позолоченного ранним солнцем. Штрем кривится: «Вот это они любят. У них и в песне сказано: «Мы разроем до основанья, а затем...» Затем — это неважно. Впрочем, и «затем» известно: Лесной институт. Или ясли. Или какая-нибудь селекционная станция. Скучно! Хоть бы сдох этот Краузе! Но вот чубастому весело...» Трудно сказать, негодует Штрем или завидует. Он поднял воротник пальто и пошел дальше.

4

О судьбе старой таможни думали в ту ночь еще два человека: музейный работник Хрущевский и художник Кузмин. Впрочем, беседовали они не только о таможне, но также о белой ночи, о лесорубах, о красоте. Они кричали, обличая друг друга, в ярости швыряли окурки на пол и отбегали по очереди к окну. Каждый из них говорил о своем.

Хрущевский уже не молод. В студенческие годы он был эсэром. Он не признавал тогда ничего, кроме Михайловского и конспирации. Его сослали на север. Он женился на дочери мелкого купца, обзавелся семьей, осел, дошел до глубокой хандры, а потом влюбился запоздалой несчастной любовью в искусство. Он не умел ни писать пейзажи, ни играть на скрипке. После революции он стал работать в музее. Он захотел спасти от гибели прекрасные лохмотья мертвого мира. У него астма, восемь детей, маленький оклад и тяжелая работа. Он умоляет секретаря райисполкома: «Басма — она ведь ничего не весит, а это — красота, шестнадцатый век!..» Он заклинает колхозников, которые устроили в деревянной церкви Спаса-на-лугах склад зерна, пощадить старые фрески. Нехватает ни хлеба, ни сахара, ни сил. Жена говорит: «Лучше бы ты в Лесоэкспорт пошел, там хоть распределитель хороший». Но Хрущевский все еще борется. Он говорит сейчас Кузмину:

— Кому мешала эта таможня? Окна с кольцами, да ведь это уникум! Энгельс сказал: «Чтобы понять новый

мир, надо знать старый». Ленин Бетховена любил. Может быть, Бетховен помог ему бороться? Я убежден, что в Москве это понимают. Но на местах!.. Недавно я ездил в Великий Устюг. Воскресенская церковь — Главнаука признала «вне категории». Какие там изразцы! Церковь разгромили — воры искали золото, чтобы снести в торгсин. Все переломали. Думаешь, один раз? Три раза ее громили. А охрану не хотят поставить. Вот этими сапожищами я должен был ступать по строгановским иконам, по рукописям, по книгам. Разве это не безобразие? Скажи ты, художник, не все ли равно, кто здесь изображен: ударник или святой с собачьей мордой? Погляди только, как выписаны складки!

Странный человек этот Кузмин! Говорят, что он художник, но никто в городе его картин не видал. Между тем с утра до ночи Кузмин работает в своей каморке. Там, среди тюбиков красок, старых холстов и огурцов — он любит грызть огурцы — Кузмин смеется, размахивает руками и в отчаянии часами сидит не двигаясь.

Он работал прежде на прядильне. Вечерами он рисовал. Как-то приехал корреспондент «Правды севера», поглядел на рисунки в стенгазете и усмехнулся:

— Здорово! Надо учиться. Из тебя художник выйдет...

Корреспондент уехал, вслед за ним уехал и Кузмин. Ему повезло: он поступил в художественную школу. В свободное время он ходил по музеям. Когда он впервые увидел Рембрандта, что-то внутри захолонуло, и Кузмин начал бессмысленно смеяться. Чернышев спросил:

— Что это с тобой?..

Кузмин не ответил. До ночи он бегал по улицам, натыкаясь на прохожих. Он осунулся за день. Потом с новым жаром он взялся за работу.

Профессор как-то сказал ему:

— Эти штуки вы бросьте. Это формализм. Почему у вас глаза не на месте? Глаза должны быть на уровне ушей, вы это сами знаете. А делать зеленые щеки попросту глупо.

Кузмин попробовал защищаться:

— Но ведь это тень. Поглядите сами — лицо действительно зеленоватое...

— Тень серая, а это не тень, это футуризм.

Тогда Кузмин вышел из себя. Он закричал:

— Вы не художник, вы фотограф! Кому нужны ваши знаменитые картины. Были Рембрандт, Рафаэль, а потом приходит халтурщик с аршином: «Где уши, где глаза?» Это вам не паспорт выписывать: «Нос обыкновенный, глаза серые, особых примет нет». Как вам только не стыдно? У нас на фабрике скатерти и то делали с вдохновением. А вы вот революцию пишете на заказ. Я вас попросту презираю...

Кузмина торжественно изгнали. Он вернулся к себе на север. Чтобы как-нибудь просуществовать, он теперь делает для музея макеты лесорубки или рисует таблицы: деревьев, мышей, сов. Живет он впроголодь, но не сдается. Одни говорят, что у него «не все в порядке», другие уверяют, будто это «мистик». В городе имеются два признанных художника. Они пишут театральные декорации, и в дни торжественных праздников украшают здание крайкома. Но Кузмин с ними не встречается: он предпочитает лесорубов. Он часто ездит на запани. Там он рисует, калякает с рабочими о том о сем, балагурит. Среди рабочих он слывет весельчаком. Иногда зовет его к себе Хрущевский: они спорят ночи напролет. Хрущевский никогда не видал работ Кузмина, но что-то его привлекает в облике художника. Хрущевскому, однако, кажется, что Кузмин не хочет учиться. Вот и сейчас он не смотрит на святого Христофора со столь замечательно выписанными складками. Он предпочитает смотреть в окно: река, баржи, лес. Он упрямо говорит:

— Не то, все это не то. Конечно, обидно, что зря ломают, но и это деталь. Сто пропадут, триста останутся. Или наоборот. Дело не в количестве. Скажешь, мало людей погибло? Дело совсем в другом. Ты посмотри сюда — какой сейчас свет! Я говорю, что необходимо волнение. У нас есть бури и штиль, но для искусства должна быть легкая зыбь. Ты вот сказал: «Не все ли равно, что изображено?» Это вздор. Можно сойти с ума от образа. Как написано — это потом... Это для тебя, для исследователей, для истории искусства. А мы должны быть чуточку сумасшедшими. Знаешь, когда тема только-только появляется, это опасно. Если во-время не родить, — задушит. Весной

на Бобриковской запани я видел похороны. Девушку зашибло древесиной. Гроб здесь же сколотили. Капли смолы. Солнце. Рядом стоял парень. Не слезы, но то, что могло бы стать слезами... Со стороны — карнавал: река — гроб-то положили в лодку, чем тебе не Венеция? Флаги, героика: «Сплавщики клянутся над этой могилой закончить работу к первому августа!» Значит, и смерти нет. Но вот для одного человека это была не просто ударница, но Маша или Шура, я уж не знаю, как ее звали. Если нет смерти, есть горе. А если сказать, что в жизни нет горя,— это и есть настоящая смерть. Я почему держусь за такую тему? Я хочу показать, что горе тоже наше, жизнь тогда становится полней, это против смерти — понимаешь? Я говорю очень плохо. А написать?.. Вот здесь это сидит... Композицию вижу, краски, а чего-то нехватает...

Хрущевский раздраженно смотрит на Кузмина:

— Учиться тебе надо. А как вы все научитесь без стариков? Послушай, что я видел — это все в том же Устюге. Знаешь деревянную скульптуру? Барокко? Мы притащили десяток Христов из разных церквей: надо сберечь. Некоторым там уже ноги пообломали. Поставили в сарай. Сидят они все рядышком, как будто это приемная комиссариата, и призадумались: что же такое приключилось?.. Ответь мне, Кузмин, что же приключилось? Только, пожалуйста, без уверток. Ты сам знаешь: на религию мне наплевать. Я о другом говорю: как нам теперь быть с искусством?..

Кузмин кричит:

— Искусство не музей, это — вот такая ночь, ударница в гробу, то, что другие шли с песнями, что один — я его хорошо помню, большой, в меховой шапке, он с нее мух сгонял, — что он хотел заплакать и не смог, вот что я теперь хожу, как помешанный, — это все искусство.

Небо в огне, и Кузмин у окошка горит, как будто жгут его на костре. Но Хрущевский не смотрит на Кузмина, он раздраженно бормочет:

— Чорт знает что несешь! Мальчишка! О чем теперь в Москве говорят? О классиках, о Греции, о Рафаэле. Старое искусство...

— Нет старого искусства. И нового нет. Есть просто искусство. А плакаться глупо. Погляди лучше, какая у нас

необыкновенная жизнь! Скажешь, уродливо? Конечно, уродливо. Но ты распили, погляди внутрь. У дерева это называется сердцевиной. Замечательное слово! Я тебе скажу, что после тех похорон у меня болит сердцевина. Можешь спросить кого хочешь — лесоруба, сплавщика — это тебе каждый скажет...

Хрущевский так и не узнал, что именно ему скажет любой сплавщик или лесоруб — под окном кто-то крикнул: «Сергей Васильевич, вы не спите? Про находку слыхали?» Минуту спустя Хрущевский уже был внизу. Он побежал к таможне, к тому самому чубастому Шуре, который привлек внимание Штрема.

Он подбегает к Шуре, он едва говорит от волнения:

— В стене нашли... Деревянная статуя... Семнадцатый век... Венера... Черная... Куда вы ее дели?.. Да что ж это такое!.. Не понимаешь?..

Шура смеется:

— Кукла? Как же. Была. Только ее ребята поломали. Я ведь не знал, что она особенная. А голова тут валяется. Сейчас подберем.

Поискав, он находит среди мусора голову Венеры. Под отбитым носом кто-то ножом вырезал залихватские усы. Хрущевский болезненно сжимает обезображенную голову. Кажется, еще минута, и он заплачет. Его горе доходит до Шуры, и Шура ласково говорит:

— Надо бы предупредить, а то откуда нам знать? Да ты не огорчайся! Вот закончим с главным производством, будем и куклы делать. Получше этой сделаем...

Но слова Шуры не могут утешить Хрущевского. Он попрежнему не сводит глаз с куска черного дерева. Тогда Шура вынимает папиросу и мечтательно улыбается:

— Закури. Знаешь, какие на свете чудаки бывают? Вроде тебя. Вот у нас в деревне — Пахомов. Прошлой осенью помер. Плотничал он, но только как свободное времечко выпадало, сейчас же за куклы. И баб, и лошадь — все мог. Я ему говорю: «Зачем ты это делаешь?» Он строгий был старик: «Не понимаешь? Чтобы веселей было. Нельзя, мол, только кашей жить». Он даже Ленина сделал. Похожий, только голова очень большая. Я его спросил: «Что же ты голову не по мерке сделал?» Он рассер-

дился: «Будто ты сам не знаешь, что Ленин умней всех был...» Да брось ты эту куклу! Ребята постарались: рук, ног нет, не склеишь. Ты потерпи: у нас еще таких баб понаделают...

5

Штрем все бродит и бродит по длинным улицам. Он забыл о чубастом Шуре. Он не знает, что ему делать. Он хотел было зайти в клуб для иностранных моряков, но, подумав, повернул к ресторану: сегодня требуется водка. Штрем умеет быть в жизни сухим и точным. Но иногда ему становится невтерпеж: он забывает о делах, становится болтлив, даже назойлив, пьет виски или пиво, заговаривает со встречными и, очутившись где-нибудь в Гамбурге или Роттердаме, вымаливает у злой, уродливой проститутки толику человеческой ласки. Сегодня его растравила белая ночь. Да и вообще за последнее время он потерял равновесие: все — «зачем» и «к чему»? Хорошо бы сейчас спиртом перебить чересчур ровный ход мыслей!

А в клубе, куда не пошел Штрем, было шумно и весело. Позабыв о штормах, о ночных вахтах, об окриках капитана, моряки танцовали с русскими девушками.

Белокурый Джон прижимает к себе Марусю Степанову. Маруся с зимы изучает английский. Она ласково поглядывает на своего кавалера: у него хорошие серые глаза. От его груди, кажется, исходит соленый дух моря. Он, наверно, английский коммунист. Она улыбается, и в ответ улыбается моряк. Он думает о том, что в этой непонятной стране красивые девушки. Правда, они не умеют как следует танцовать, и потом здесь запрещено нарядно одеваться, — так сказал капитан, — но девушки здесь всетаки хорошие.

Маруся спрашивает:

— У вас тоже есть клуб?

— О да.

— А у вас тоже танцуют?

— О да.

Тогда Маруся, слегка обиженная, поводит плечами.

— А когда же вы сделаете у себя революцию?

Джон ничего не отвечает. Он думает, что девушка шутит. Помолчав, он говорит:

— У нас вообще много веселого. Например, на рождество можно под омелой целоваться с любой девушкой.

Теперь молчит Маруся: она не поняла, о чем говорит моряк. Стыдно признаться, но она еще знает очень мало английских слов.

Потом они выходят, доверчиво прижимаясь друг к другу. Кругом розовое полыхание. Маруся вздыхает: почему этот моряк не здешний? Можно было бы танцовать с ним, вместе гулять, спорить о книжках, даже... Она еще сильней розовеет, но теперь в этом не повинен рассвет. Чем он не дроля?.. Марусе девятнадцать лет: ей пора в кого-нибудь влюбиться. Шура говорила, что Варя теперь гуляет с Мезенцевым. Конечно, Мезенцев славный парень, но у этого моряка глаза куда нежнее...

Вот и угол Поморской улицы. Здесь они должны расстаться. Но Джон крепко держит девушку за руку. Та смутилась, не двигается. Тогда, помявшись, Джон вытаскивает из кармана две пары шелковых чулок.

— Пойдем?..

С минуту Маруся стоит неподвижно: что это значит? Потом она вырывает руку и кричит:

— Подлец!

Она бежит прочь. Все в ней — обида. Особенно она сердится на себя: как она могла сравнить его с Мезенцевым? Наверно, он фашист. Или убийца. Варя правильно говорила, не нужно ходить в этот клуб. Она будет заниматься английским дома. Со словарем. Или можно ходить в клуб, но не танцовать, говорить: о книгах, о производстве, о кризисе. Почему он ее обидел?..

Маруся живет вместе с Женей Пятаковой. Она кричит:

— Женя, молодец ты, что не пошла! Нет, ты подумай, какая сволочь!.. Чулки предлагал, чтобы с ним переспать...

Немного отойдя, она спрашивает:

— А ты что делала? Дрыхла?

Протирая глаза, Женя отвечает:

— Не знаю... Теперь сколько времени? Два? Значит, только-только уснула. Заковыристая эта книжка... «Кон-

суэло». Не могла оставить, пока не дочитала. Но конец ужасный. Ты послушай...

Перед раскрытым окошком суетятся воробьи. Женя тихо рассказывает Марусе о страданиях несчастной певицы.

— Когда плохой конец, я свой придумываю. Вот у них остались дети. Я так, Маруся, думаю: детей кто-нибудь да возьмет. Ну, родственники, что ли. Хоть дети счастливые будут. Как, по-твоему, выходит так или не выходит?

Маруся, засыпая, отвечает:

— Конечно, выходит. А насчет моряка... Все-таки у них в Англии когда-нибудь да будет революция!..

Джон долго стоял на углу Поморской, сжимая в большом кулаке чулки. Он никак не мог понять, что приключилось? Кажется, все шло по-хорошему и вдруг... Непонятная страна!

Джон грустно бредет по улицам. Он проходит мимо ресторана. Завистливо он смотрит на парочку. Это русские. Девушка в носках, как та, с которой он танцовал. Вот этому повезло!.. Джон сердито плюет и вполголоса говорит:

— Все вы стервы!

6

В ресторане большая пальма из темнозеленого коленкора. Рядом с пальмой стоит официант. Он уныл и неподвижен, он похож на памятник.

Инженер Забельский и заведующий распределителем Белкин сосредоточенно пьют водку. Белая ночь тревожит их красные воспаленные глаза, и они отмахиваются от света, как от мошкары. Белкин даже пробовал возмутиться:

— Гражданин услужающий, что это за безобразие?.. Штор, я спрашиваю, почему нет? А если такое освещение мне пить мешает?

Но официант не двинулся с места, только угрюмо пробормотал:

— Что есть на карточке, то подаем. А скандалить здесь не полагается, здесь иностранцы кушают...

Потряхивая вилкой с селедочным хвостом, Забельский говорит:

— Позавчера хоронили Зубакина. Да ты его знал, Иван Сергеевич. Помнишь, в Лесоэкспорте бухгалтер? В больнице умер, пузо ему резали. Везут, значит, открытый гроб, сослуживцы идут за гробом позади и обсуждают, что сегодня выдают в горте, жена ревмя ревет — словом, все, как полагается. Вдруг Зубакин как возьмет да как привстанет из гроба. Должно быть, врачи промахнулись: резали, а не дорезали. Вот покойничек услыхал шум и заинтересовался: какое такое событие? Если бы ты видел, что тут было!.. Жена, сослуживцы давай маху, кто куда. Кац на фонарь взлез. А милиционер выхватил револьвер и кричит: «Стой, подлец! Стрелять буду!» Это, значит, мертвецу... Ну как тебе такое нравится?

Белкин тупо смотрит на Забельского и опрокидывает еще стопочку:

— Очень нравится. Я всегда говорю — большевики и умереть не дадут спокойно. Ты читал, что они теперь придумали? Мертвое сердце бьется. В «Известиях» было. Покойников, черти, воскрешают! Я от них всего жду. Начали с лягушек, потом перейдут на ударников. Проснешься утречком, а здесь тебе декрет: «Трудовому населению умирать строго воспрещается». Понял?

Забельский охмелел. Он шепчет:

— Брось, Вася! Замолчи! Слышишь, замолчи! Я кричать буду.

За соседним столиком сидят Штрем и шведский капитан Томсон. Швед пьет молча, говорит Штрем, говорит он глухо и отрывисто:

— Знаете, о чем беседуют наши соседи? О смерти. Это я здесь слышу впервые. Я эту страну ненавижу за то, что здесь никто не думает о смерти. Сплошной детский сад! Рождают детей, строят заводы, и довольны. Скажите, капитан, что вы об этом думаете? Не о русских, о смерти.

Томсон раздраженно прожевывает кусок балыка: этот болтливый немец мешает ему мирно поужинать.

— Я? Ничего особенного. Вообще умру. А сейчас я не хочу об этом думать.

— Отмахиваетесь? Напрасно. Все равно придется задуматься. Это чертовски трудно — умереть. Лучше с репе-

тицией. Я раз испытал. Это было в Петербурге. В семнадцатом году. Впрочем, об этом не стоит сейчас говорить. Но факт — страшно! Я вам расскажу о другом. Четыре года назад... Я был женат. Полное счастье. Потом жена умерла от родов. Вы понимаете, что это? Я сидел рядом и держал ее руку. А рука уже была мертвая. Я знал на этом теле каждую родинку, оно мне было как мое. И вдруг — труп. Я на редкость крепкий человек, но я свалился без чувств, как девчонка. Мне показалось, что я тоже умер. А когда я пришел в себя, первым делом я обрадовался: умер не я! Я ее страшно любил, но это так. Может быть, вы скажете, что я негодяй? Успокойтесь — все таковы. Только редко кто признается. А дойдет дело до смерти, каждый предаст кого угодно. Это серьезная штука — смерть. Собственно говоря, это единственная реальность. Здесь идиоты ломают, строят, надрываются, что ни человек у них, то герой. А зачем? Все равно и они умрут. Как жалкие капиталисты. Как рабы мистера Форда. Как мыши. Не все ли равно, в какую тряпку завернут труп? Пахнет одинаково. Простите, что я порчу вам аппетит. Этой зимой я познакомился в Берлине с одним журналистом. Он сейчас занимает высокий пост. Он позвал меня к себе. Жена, уют, второго такого добряка не сыщешь. Кошка у них, так он смотрит, чтобы не забыли ей дать молочко. Вот он мне и рассказал, как он шестнадцать человек ухлопал: раз-два. Это вовсе не садизм. Но подумайте: над своей жизнью мы не властны. Вот выйду на улицу, а меня автомобиль раздавит. А если ты распоряжаешься чужой жизнью: «расстрелять», — как-то сразу в своих глазах растешь. Получается суррогат бессмертья. Для человека, который думает, это выход...

Томсон вытер лицо салфеткой и раздраженно крикнул:

— Счет!

Официант тотчас же из памятника превратился в волчка. Кружась и что-то пришепетывая, он поднес Томсону бумажку. Тот заплатил, а потом, устремив на Штрема свои бледноголубые младенческие глазки, спросил:

— Вы что же, фашист?

Штрем рассмеялся. Он впервые рассмеялся за всю эту ночь. Его смех походил на лай охрипшей овчарки.

— По призванию я поэт. А в действительности — представитель торгового дома Краузе. Вполне прозаично. Что я чертовски боюсь смерти, это правда. А остальное — мечты плюс пятнадцать рюмок водки. Я, например, еще никого в жизни не убил. Как видите, попросту неудачник.

Томсон встал. Штрем попытался улыбнуться:

— Спокойной ночи.

Он остался один, глупо приговаривая: «Спокойной ночи... Нечего сказать... спокойная... Ночь как ночь...» Ресторан быстро опустел. Выволокли пьяного Забельского, он упирался, и Штрем, зевая, глядел, как с пальмы сыпалась на официанта густая черная пыль. Наконец Штрем вышел на улицу. Он направился в сквер возле реки. Он знал, что в гостиницу ему итти незачем: там его поджидают английский роман с таинственным сыщиком, обои, испещренные раздавленными клопами, и бессонница. Он больше не искал ни встреч, ни споров. Утомленный, он грузно опустился на скамейку. Он даже не сразу заметил, что рядом с ним сидит молодая женщина. Она тоже глядела на реку. Ее лицо показалось Штрему знакомым. Он ее видел в гостинице. Наверно, командировочная. Но что она делает ночью одна на этом сквере?.. Штрем вежливо приподнял шляпу:

— Если не в ваших принципах разговаривать с чужими людьми, простите.

Женщина повернулась к нему и равнодушно ответила:

— Почему же?.. Я привыкла говорить с незнакомыми: я ведь актриса. Но что вам от меня нужно?

— Абсолютно ничего. Гляжу на реку. Как вы. Раздражен, обессилен. Вероятно, как вы. Такие ночи не сходят даром. Притом личное счастье для меня невозможно. Зачем-то я здесь. Ломают и строят. Иногда это невыносимо скучно, как детская игра в кубики. А иногда хочется взять и выстрелить. Остаются мысли о смерти. Это единственные мысли, достойные живого человека. О чем думают ваши соотечественники? О ширпотребе. Посмотрим, что с ними станет лет через двадцать. Когда у человека всего много, он начинает чувствовать идеальную пустоту. Впрочем, у меня ничего нет: ни денег, ни семьи, ни амбиции. Но я понимаю, до чего это соблазнительно: не быть. К вспомогательному глаголу подставить коро-

тенькое отрицание. Но почему я вам это говорю? Вы не бойтесь — ухаживать за вами я не стану. Во-первых, вы для меня чересчур красивы, во-вторых, у всякого подлеца свои представления о честности. Заговорил я с вами со скуки. Потом я сегодня выпил. Но вот вы мне сказали, что вы актриса. Давайте поговорим. Я когда-то знал актрис. Они были страшно глупы, и потом они каждый день требовали подарков. Но разве это актрисы? Это дерьмо! А одна актриса меня действительно напугала. Знаменитость, вы, наверно, слыхали — Дузэ. Она гастролировала в Мюнхене. Я посмотрел, и у меня под ложечкой засосало. Это или слишком умно для меня, или, простите, какое-то сплошное ребячество. Как можно сдирать с человека кожу? Лучше найти такое средство, чтобы обрасти корой на манер черепах. Честное слово! Вот Дузэ была настоящая актриса. Жаль, не привелось с ней поговорить. Да и вообще, с кем я разговариваю? С купцами. Или с чиновниками. Вы, наверно, большая актриса, и вы сумеете...

Штрем больше не думал о том, с кем он говорит. Он и не прислушивался к своим словам. Он говорил длинно и бесцельно: так шумел ветер в этом большом, еще не засаженном сквере, подымая столбы тонкой едкой пыли.

Но Лидия Николаевна не понимала, что происходит в душе Штрема, и, услышав «большая актриса», перепугалась.

— Что вы! Какая же я большая актриса! Я ровно ничего не умею. Я только в прошлом году кончила студию. Да и вообще я, кажется, совсем бездарна...

Начав разговор, Штрем не ошибся, его случайная соседка тоже была и взволнована, и обессилена белой ночью. После спектакля Лидия Николаевна не пошла в гостиницу. Она бродила одна по площадям и набережным. Было в этом непривычном для нее свете нечто чрезмерно жестокое: она видела не только лица прохожих, пароходы и небо, но всю свою жизнь. Зимой ей исполнится тридцать. Глупо в такие годы начинать все сызнова. Вопрос ясен: кто-то виноват в этом, не то она, не то жизнь, но они не подошли друг к другу. Сначала жизнь называлась школой. Другие ребята увлекались пионерским отрядом, играми, манифестациями. Она была всегда

в стороне. Она списывала в тетрадку стихи Блока о снежной маске. Потом она влюбилась в Курганова. Он говорил: «Мужские клеточки устроены не так, как женские: Тебе нужен герой, а мне женщина». Она плакала, но приходила на свиданье задолго до условленного часа. Курганов тогда был жизнью. Она сказала: «Я боюсь сознаться, но я так счастлива!» Курганов ответил сухо: «Надо записаться на аборт...» Потом жизнью был пианист Певнев. Потом она поступила на службу. Ее послали в Челябинск. Там она встретилась с Кошенко. Они расписались в загсе. Муж был санитарным врачом. Он мыл руки и ворчал: «Сколько в этих бараках вшей! А почему ты на ужин ничего не приготовила?» Она спрашивала: «Что в газете?» Он отвечал: «Читай сама», или «Не твоего ума дело». Ей было очень скучно, и она начала встречаться с журналистом Лембергом. Лемберг говорил о пятилетке, о чугуне, об апатитах. Потом он неожиданно сказал: «У тебя идиотские подвязки, надо же такие придумать!» Муж узнал и выгнал. Она пришла к Лембергу с ночной рубашкой и примусом. Лемберг сказал: «Теперь не такое время, чтобы отдаваться чувствам. Потом, ты сама видишь: в этой конуре мы никак не поместимся...» Она осталась одна.

Она вспомнила свои детские мечты: стихи Блока, спектакли, маски, рифмы, сны. Она попробовала еще раз пойти на мировую с жизнью. Она записалась в театральную школу. Училась она яростно и бестолково. Ее звали на вечеринки, она не шла. Товарищи говорили: «Бездарь, а задается». Никто ее не любил.

Потом она кончила студию. Она думала, что будет играть Шекспира. Но в провинциальном театре, куда ее послали, она играла мелкие роли в глупых комедиях. Один раз ей почему-то зааплодировали. Она улыбнулась, а потом, пройдя в уборную, расплакалась. И вот какой-то чужой человек говорит ей: «Вы большая актриса...»

— Я очень плохо играю. Да и какой у нас репертуар? Я должна повторять дурацкие стишки: «Комсомольцы выступают, и любой работой пьян, так что прямо предъявляют свой великий встречный план». Ведь это набор слов! Публика зевает. И никому это не нужно: ни мне, ни им. Я прежде думала, что театр — это настоящее чудо. Вели-

кая актриса страдает, любит, побеждает. В партере люди плачут и смеются: для них мир растет, они живут все пять актов чужой жизнью... Глупые мечты!.. Я теперь знаю, просто в провинции некуда вечером деться, вот и идут в театр.

Штрем плохо слушал ее. Он думал о своем. Но слова о чуде дошли до него. Он усмехнулся:

— Значит, вы верите в чудеса?

Лидия Николаевна ответила не сразу.

— Я не знаю, как вы это понимаете. Я говорю о чуде по-другому. Не о мощах. Прежде я думала, что чудо — это театр. Я вам об этом сказала. А теперь, когда вы меня спросили, верю ли я в чудеса, я задумалась. Хочется честно ответить. И да и нет. Для себя лично не верю. Но кругом меня такое происходит, что иначе, как чудом, не назовешь. Возьмите Ивана Никитича Лясса. Ботаник. Вы, наверно, читали про него в газетах. Чего он только не делает со своими семенами! Он мне показывал, говорит: «Розы будут цвести в тундре, настоящие розы». Может быть, это потому, что я совершенно безграмотна в таких вопросах, но мне это кажется настоящим чудом. Я никак не могу себе представить, как можно из тундры сделать сад с розами, будто здесь Гурзуф. Почему я вместо театра не взялась за что-нибудь серьезное?.. Толку было бы больше, да и поэзии. В театре я вижу только халтуру и интриги. Но стоит посмотреть кругом — действительно чудеса. И все мимо... То есть я ни при чем. А жизнь у нас необыкновенная. Вот вам конкретный случай. Вы Голубева не знаете? Я потому подумала, что вы здесь, наверно, в связи с лесом. Так вот, в марте нас вызывают играть на Николину запань. Тогда ее только строили, и Голубев жил там с семьей — у него жена, двое ребят. Прислали туда осужденного на работы. Две судимости, одна — за зверское убийство. Естественно, все зашумели: «Не хотим такого! Кто его знает — вдруг кого-нибудь зиганет...» Одним словом, настроились... А Голубев позвал его к себе, говорит: «Слушай, я тебя в моем бараке поселю. Здесь жена у меня, дети, здесь тебе будет спокойней. Я тебе доверяю, как себе. Так что забудь прошлое, а если была у тебя на кого-нибудь обида, это дело конченное». Теперь послушайте: этот убийца на

запани — первый человек. Кажется, разорвется, а всем поможет. В газете портрет его был: лучший ударник. После спектакля он говорит нашим актерам: «Почему вы такую муру показываете?.. Все у вас идет как по накатанному. Я вот, к примеру, человека убил. Значит, не было и для меня жизни. А товарищ Голубев оказал мне доверие, и я живу. Из этого можно сделать такое представленье, чтобы все почувствовали, а вы насчет премиальных...» Скажите, разве это не чудо?

Штрем растерян. Сегодня с него сняли кожу. Он чувствует, как мучительно ему любое слово. Хуже всего, что эта женщина не агитирует, не спорит, не убеждает. Она ласково смотрит на Штрема, и Штрем болезненно морщится.

— Это у меня тик. На нервной почве. Но не в этом дело. Вы рассказали о двух чудесах. Прибавьте третье: Иоганн Штрем сейчас раздавлен вами. Когда его хотели скинуть в Мойку, он вырвался. А сейчас он бессилен. Может быть, то, что вы говорите, и глупо, я об этом сейчас не думаю. Но почему-то мне страшно. Это, наверно, оттого, что я много пил. Сейчас я приведу мысли в порядок...

Он отряхивается, как будто вылез из воды, снимает шляпу, проводит платком по лбу, потом говорит:

— Следовательно, полное спокойствие. О Ляссе я действительно слыхал. Я непрочь с ним познакомиться: меня интересуют эти проблемы. Если вы можете меня представить ему, я вам буду очень признателен.

Лидия Николаевна улыбается.

— Познакомить с Иваном Никитичем? Хорошо. Он замечательный. Вы знаете, он умеет говорить с пуделем Ганшиных — по-собачьи...

Но Штрем не смеется. Без уговора они подымаются и поворачивают к гостинице. В коридоре они прощаются. Штрем вдруг неожиданно просто говорит:

— Спасибо, что не прогнали.

Тогда Лидии Николаевне становится жалко его.

— Не надо так... Я лично очень несчастна, но все-таки я хочу еще жить.

Вбежав к себе, она сразу кидается на кровать. Она плачет, потому что снова был скверный спектакль, потому

что ничего не нашла в жизни — ни любовь, ни славу, ни хотя бы тихий угол, потому что, когда ночь такая белая и дикая, теряешь голову, кажется, на все можно пойти: сойтись с этим страшным человеком, который говорит о смерти, как другие говорят о рубке леса, или кинуться в реку. Она долго плачет. Потом слезы скудеют, в ушах гул, горят щеки. Наконец она засыпает.

Штрем, войдя в комнату, проверил, все ли на месте: английский роман, следы клопов, белый отчетливый свет. Потом он запер дверь на ключ, помылся, сменил ботинки на ночные туфли и сел в кресло возле самого окна. Перед ним лежала записная книжка. С отвращением перелистав несколько страничек, он нашел запись — «Лясс» и поставил рядом крестик. Под крестиком он написал: «Если меня не вызовут в ближайшие дни, случится катастрофа. Впрочем, и это ерунда». Он выронил книжку на пол. Постепенно его глаза освобождались от какого-либо выражения. Это были тусклые стекляшки: такие вставляют в чучело, но он все еще не закрывал глаз.

7

По проводам бежит приказ Голубева: ликвидировать прорыв на Вешнецкой запани. Мимо гостиницы идут комсомольцы. Они улыбаются, и каждому теперь ясно, что ночь кончена, исчезли с ней все призраки. Только что, погудев, отчалил лесовоз «Элизабет», и моряк Джон плывет теперь к Нордкапу. Хрущевского ждут в музее. Скоро Кузмин принесет ему рельефный макет рационализированной плотки. Белкин, с головной болью, направляется в распределитель. Если в кассе окажутся недочеты, придется сослаться на ночной диалог под коленкоровой пальмой. А Забельского занесут на черную доску: пьет третьи сутки. Маруся и Женя давно встали. Женя еще думает о детях бедной певицы, а Маруся, кажется, позабыла о своем англичанине, только где-то в глубине осталась легкая грусть, хочется, чтобы другие смеялись, не то Маруся повесит нос. Смеяться будет, наверно, Варя — ведь вот какая она пришла веселая! Даже старик Щукин, увидав ее, улыбнулся: «Ты что же гладкая такая?.. Дроля платье

подарил?» Варя ответила: «Платье не платье, но распишемся...» Сказав это, она сама рассмеялась: смешно, как все быстро вышло! Рассмеялась и Маруся. Женя, все еще продолжая думать о детях злосчастной певицы, тоже улыбнулась: «Это ты здорово, Варя! По-моему, если без этого — и гулять не стоит. Должен быть хороший конец. Я теперь и книгу не возьму, если плохо кончается. Зачем себя мучить? Если, например, революция в пятом году — читать неохота, заранее знаешь, кого-нибудь да повесят. А если про семнадцатый, и читать весело. Ну, Варя, дай я тебя поздравлю!..» Варя вдруг стала серьезной, нахмурилась, покраснела и крепко поцеловала Женю. Потом она задумалась: где же теперь Мезенцев? Может быть, он совсем по-другому это чувствует?.. Может быть, забыл про Варю?..

Мезенцев идет вместе с другими комсомольцами. Они спешат к пристани, надо ликвидировать прорыв на запани. Они улыбаются: хорошее сегодня утро, еще не жарко и дышать легко. Они привыкли к ночным тревогам, к опасности, к работе немилосердной и отчаянной, когда даже песни замолкают, только громко стучит сердце. Шумов был на Большой Земле: там в ударном порядке строили чум-ясли для ненцев. Жаров рубил лес: они прокладывали тракт через тайгу из Сыктывкара до Усть-Выми. Бочаренко работал на Печоре. Искали нефть и серный колчедан, нашли радий. Иванов помогал организовывать оленеводческий совхоз — далеко за Полярным кругом. Шварц в тундре разводил овощи. Гнедин провел две зимы на лесозаготовках. Кадров зимовал на Колгуевом острове. Они знали жестокие морозы, голод, тяжелый сон на обледенелых досках, зной, густые рои комаров в лесу, болота, лихорадку, насмешки лодырей, ненависть кулаков, жизнь сухую, трудную и мужественную, которую на одну минуту смягчило ласковое слово какой-нибудь Вари, Маруси или Жени.

Кто еще идет там позади? Это Иваницкий. Он умер от цынги, он был зимовщиком. Переносов. Его придавила столетняя сосна. Дейч. Он утонул в Двине — ночью исправлял болты запани. Юшков. Его убили кулаки в Красноборске. Никитин. Он попал под ковш расплавленного чугуна — это была месть двух раскулаченных. Верицкий.

Он сорвался с мачты, поправляя канат. Ковров. Он заблудился в тайге. Его труп нашли весной. Они все умерли за работой. Они умерли, когда им было восемнадцать, двадцать или двадцать пять лет. Их хоронили сурово, с красными полотнищами и сухими глазами. Они умерли, но они идут вместе с другими: надо спешить на запань — ни одного дерева морю!..

Они шли мимо гостиницы и пели. Они еще могли петь, — там, по пояс в воде, когда надо будет вколачивать тяжелые медведки, будет не до песен. Они шли и пели сначала о какой-то нежной дроле, а потом о людях, погибших до них. «О том, как в ночи ясные, о том, как в дни ненастные...»

Мезенцев шел последним. На его лице была радость. Он не думал сейчас о Варе, но Варя уже успела твердо войти в тот мир, где ликвидация прорыва на Вешнецкой запани не горестней, да и не трудней, нежели поцелуй возле штабеля досок.

Штрем вздрогнул от чересчур громкой песни. Он встал, закрыл окно и, наконец-то, опустил свои тяжелые, мясистые веки.

8

— Вот тебе твое платье, держи! Очень оно мне нужно! Живу с тобой, как в монастыре. Куда я его надену?

Шелковое платье полетело в лицо Гени. Хлопнула дверь. Геня только успел крикнуть:

— Некультурно, Лелька!..

Но Леля уже не слышала его слов. Оставшись один, Геня ногой отшвырнул платье и вслух сказал: «Этакая дура!» Потом он поднял платье и положил его на стол, где громоздились куски проволоки, чертежи, напильники, железные полосы, колесики. Он впервые посмотрел на платье, и оно показалось ему красивым: зеленое, с вырезом, две ленточки. Среди проволоки платье было неуместно и трогательно. Геня загрустил: вот постарался, а как все глупо вышло!..

Геню премировали: выдали ему техническую энциклопедию и сто рублей деньгами. На десять он купил про-

волоки, потом взял в ларьке две коробки «Северной пальмиры». Пересчитав оставшиеся бумажки, он решил порадовать Лелю подарком. Он пошел в магазин. Там он встретил Щербакова, который покупал себе рубашку. Щербаков рассказал Гене, что мост решено построить на его участке. Геня возмутился: «Но ведь это бессмыслица! Если ставить мост, то во всяком случае напротив пушковской мельницы». Щербаков возражал. Они увлеклись спором. Продавщица сказала: «Что же вы, гражданин, не выбираете? Я вас в который раз спрашиваю: зеленое или красное?» Но Геня махнул рукой: «Все равно! Клади зеленое». Он и не посмотрел на покупку. Голова его была занята одним: подлец Щербаков срывает всю работу!..

Придя домой, он все же весело крикнул: «А Лелю ждет сюрприз!» Он думал, что она обрадуется, засмеется, поздравит его с премированием. И вот Леля швырнула ему платье в лицо. Зеленое... Тогда она тоже была в зеленом — в вязаной кофточке... Может быть, поэтому он и ответил машинально продавщице «зеленое».

«Тогда» — это очень давно: два года назад. Они встретились на пленуме комсомола. Леля приехала из Котласа. Геня выступил по основному докладу. Блистательно он осветил все недостатки работы. Он говорил: «Мы уделяем мало внимания внутреннему миру комсомольцев. Необходима чуткость!» Ему аплодировал даже краевой секретарь. Леля сидела рядом. Она сказала: «Как ты это здорово схватил — именно чуткость». Кончили они заседать часов в семь. Потом делегатам выдавали билеты в театр. Геня взял два: для себя и для Лели.

Давали «Травиату». Геня все время вертелся: его раздражала слезливая история, притом он украдкой поглядывал на Лелю: у нее на щеке золотой пушок, а глаза синие. Леля не отрывалась глазами от сцены, а когда героиня начала прощаться с жизнью, громко вздохнула и вытащила носовой платок. Они вышли из театра. Накрапывал летний дождик. Смущенно улыбаясь, Леля сказала: «Конечно, если вдуматься, глупо. Но музыка очень трогательная. А в общем у меня сегодня необычайный день: пленум, твое выступление и вот на опере побывала...» Она считала, загибая пальцы: раз, два, три. Потом, отвер-

нувшись, добавила: «Особенно я рада, что мы познакомились...»

Она хотела пойти в гостиницу, где ее поместили с тремя девушками, приехавшими из Вологды. Но Геня сказал: «Там клопов много. Знаешь что — пойдем ко мне. Ты — на кровати, а я на полу устроюсь». Леля согласилась.

Гене не спалось, он все ворочался и думал: чудно, что так близко!.. Вдруг Леля его окликнула: «Ты не спишь? Знаешь что...» Она не договорила. В комнате было темно, и Геня не мог заглянуть в ее глаза. Но он все понял. Он быстро вскочил и, отыскав горячие щеки, прикрытые кудрями, начал неуклюже их целовать. В его голове пронеслось: чудно, что так быстро!.. Но это была короткая мысль, и потом ничего не было, кроме счастья...

На следующее утро Леля уехала в Котлас, а недели через две вернулась с забавным сундучком, на котором были нарисованы розы; будто оправдываясь, сказала: «Сундук не мой, мать дала — видишь, деревенский...» В сундуке лежали четыре рубашки, учебник лесоводства, «Тихий Дон» и новые туфли — Леля берегла их для вечеринок. Зеленая кофта повисла на гвозде, рядом с меховой шапкой Гени...

Геня вздыхает: все же с бабами трудно! Они не рассуждают. Если бы поговорить... Но Леля не слушает доводов, с ней можно или нежничать, или ругаться. Она не хочет понять, что у него голова занята другим. Он и прораб, и ударник, и комсорг. Вот и с изобретением возня — кажется, все придумал, а при проверке не выходит. Потом он засел за немецкий. Он много читает. Одолел «Анти-Дюринг». Гете недавно прочитал. Теперь взял Стендаля. Надо все знать, а времени мало. Он готовится к жизни шумной и большой.

О самом главном Геня никому не скажет: ни Леле, ни Красниковой, ни товарищам. Таких вещей не говорят. На словах они смешны: мечтания провинциала. Но он это докажет: он станет вождем! И вот Леля... Он говорит ей: «Прежде всего я буду секретарем комсомола». А она в ответ начинает ругать его: «Другие живут, а ты как машина. Вальцева вчера меня спрашивает: «Когда вы с Генькой в театр пойдете? Интересная постановка «Страх».

Что я ей отвечу? Гордость мне мешает. Разве ты возьмешь меня в театр? Разве выйдешь вместе? Разве почитаешь книжку? Живем как чужие. Не могу я понять: куда ты торопишься? Все тебе надо сразу: ты и ударник, ты и секретарь, ты и в газету пишешь, ты и кран должен изобрести — погляди, что домой нанес, повернуться негде. Нельзя, Генька, так жить! Это не жизнь получается — крутня. Все впопыхах. Что же мне тогда делать?..» Здесь Леля всхлипывает: дело неизменно кончается слезами.

Геня вспоминает: три года назад его послали в Усу с георазведкой — надо было проверить местонахождение угольных пластов. Шли они густым лесом. Сучья рвали накомарники. Схватится Генька за лицо — вся рука в крови. А тут еще папирос не было — выкурили. Веки искусали. Ничего не видать. А надо итти. Но вот даже с комарами, и то было легче!..

Трудно сказать, как все это случилось. Вначале они много разговаривали. Геня рассказывал о своих поездках, о людях, о книгах. Леля внимательно его слушала. Не ссорились. Только раз у них вышла размолвка. Леля сказала: «Слушай, Генька, почему ты в вуз не идешь? У тебя такая подготовка, что сразу примут. По-моему, из тебя замечательный инженер выйдет». Геня презрительно усмехнулся: «Мало у нас инженеров? Конечно, тебе, может быть, лестно — «жена инженера», но я лично мечтаю о другом. Зачем мне вуз? Там сразу оторвешься от ребят. А это теперь не дело. Надо войти в массы, чтобы потом из масс выйти». Тогда Леля сказала ему: «Это ты зря. Инженеров дельных мало. А потом, какой же ты комсомолец, если ты только о себе думаешь — «я» да «я»? Он ничего не ответил, но по тому, как он захлопнул книгу, Леля поняла, что он обиделся. Она подошла к нему и погладила его жесткие волосы. Он никак не ответил на ласку. Через день они помирились, но никогда потом Геня не посвящал ее в свои планы.

Настоящий разлад начался позже, когда Леля забеременела. Геня сказал: «Ты меня никогда не убедишь, что ради этого стоит потерять целый год. Женской специфики я не понимаю. Впрочем, хочешь рожать — рожай. В конце концов это твое дело». Леля ушла в угол, отвернулась и села за шитье. Но плечи ее вздрагивали: она плакала.

Потом пошло еще хуже. Геня как-то сказал: «Я теперь Мезенцеву нос утру. Посмотрим, что он запоет после речи Молотова...» Леля спросила: «А о чем речь?» Геня рассердился: «Чорт знает что! Ты, Лелька, совсем обабилась. Даже газеты не читаешь. Что же это получается? Когда поженились, активной комсомолкой была, а теперь? Как же ты прикажешь с тобой разговаривать, если ты даже самых простых вещей не знаешь?» Леля старалась говорить спокойно: «Это правда. Думаешь, я мало от этого проплакала? Но только кто в этом виноват? Ты хоть бы подумал — сколько я в хвостах простояла за твоими папиросами? А то сидишь ты, читаешь и нервничаешь: «Папирос нет». Вот я и бегу, как дура. Два часа пропало, а то и три. Может быть, я в это время тоже почитала бы? Так и во всем. Как что: «Лелька, где это?» или: «Лелька, достань!» А потом я оказываюсь для тебя недостаточно культурной. Ты вот с Красниковой разговариваешь. У нее нет забот, она может читать...» Как Леля ни крепилась, но, дойдя до Красниковой, она не выдержала и расплакалась.

Потом родилась девочка. Гени не было в городе: его послали на восьмой участок. Он приехал обветренный и веселый. Вошел и закричал: «Значит, девчонка? Здорово! А как назвала? Даша? Ну-ка, покажи твою Дашу...» Но на Дашу он даже не поглядел, сразу стал рассказывать, как нашел в проекте дамбы четыре непростительных ошибки. Пронин спорил, но Геня «накрутил ему хвост»...

Даша кричала ночи напролет. Как-то Леля попросила: «Посиди с ней. Я хоть часок посплю». Геня поспешно ответил: «Конечно, ложись. Я за ней посмотрю». Сначала Геня с любопытством рассматривал крикливый кусок мяса, изучал его, как новую машину, щупал пальцем мягкий череп, подымал на руки: до чего легкая! .. Но вскоре это ему надоело. Он подумал: завтра заседание, надо просмотреть доклад Фомина о грунте... Леля проснулась от отчаянного крика. С укоризной она сказала: «На минуту нельзя оставить! Эх ты... отец!..» Но Геня ее не слушал — Геня уже был далеко: он прокладывал тракт, он побивал нахального Пронина, и секретарь крайкома тряс его руку: «Без тебя, Генька, ничего бы не вышло...»

Как-то вечером Геня сидел над своей проволокой. Но на сердце у него было смутно и тревожно. Вдруг он вскочил и подбежал к Леле. Это было, как в тот первый вечер, после «Травиаты». Может быть, Красникова и умней, но любит он только Лелю! Так казалось ему, когда, запрокинув голову Лели, он начал крепко ее целовать. Но Леля высвободилась: «Не хочу. Слышишь — не хочу. Чтобы поговорить — глупая. А вот только так... Не в деревне мы. Я этого без чувства не понимаю...» Она ждала, что Геня будет спорить, скажет, что это неправда, что он ее любит, тогда-то придет к ней запоздалая радость. Но Геня пригладил свой чуб и сухо пробормотал: «Нет так нет». Он снова сел за работу. Правда, мысли его были далеко от вычисления углов, но он сидел, уткнув нос в чертежи, как будто и нет на свете никакой Лели. Она не знала, что ему стыдно, больно, сиротливо. Так кончился этот тяжелый для обоих вечер: больше они не обменялись ни одним словом. На следующее утро Геня снова отдался работе, и все вошло в колею.

Тогда случилась беда: заболела Даша. Было все, что бывает в таких случаях: доктор вынимал из футляра разные трубки, Леля старалась не дышать, комната наполнилась запахом лекарств, особенной тишиной и несчастьем. Как-то зашел Николаев, чтобы поговорить с Геней о посылке ребят в подшефный колхоз, но, оглядев комнату, проворчал: «Мы уж как-нибудь сами управимся...» Геня тогда почувствовал, что Даша — это часть его жизни, от нее нельзя просто отмахнуться, как от жалоб Лели. Вот и Николаев так думает: Генька — отец, значит, он не может сидеть сложа руки. И Геня попытался вмешаться. Он поспорил с врачом. Он посмотрел в словаре слово «круп». Он прикрикнул на Лелю: «Молоко слишком горячее, что ты — не видишь!» Но все это он делал настолько по-своему, что его заботливость казалась Леле не то придирчивостью, не то любопытством: изучает болезнь ребенка, как изучает свои краны... Тогда Геня отступился. Время было горячее: на работе оказался прорыв, комсомольцы готовились к конференции, все только и говорили, что о Мезенцеве — словом, хлопот у Гени была уйма. Он забыл о Даше. Он привык и к ее хрипу и к запаху лекарств.

Как-то Леля ему сказала: «Сходи в аптеку. Я заказала по рецепту. Только скорей!» Геня побежал. На лестнице он пропускал ступени. В аптеке он даже не перекинулся словом с Васей. Но когда он уже подходил к дому, он натолкнулся на Мезенцева. Мезенцев сказал: «Поставим вопрос о Гудакове. Парень совсем разложился. Конечно, обидно, но придется исключить». Геня стал спорить. Он и сам думал, что Гудакова лучше всего вычистить: одна история с Холмогорами чего стоит! Его послали на два дня в совхоз, когда из Москвы приехали за производителями, а он просидел дней десять, ничего не делал да еще вывез оттуда какую-то девчонку. Причем парню двадцать два года, а он уже в третий раз женится. Ну, может случиться, погулял там с девчонкой. Но зачем подымать бузу? Жена бегает по городу и всем рассказывает, а беспартийные смеются: «Вот так комсомольцы!..» Одним словом, о Гудакове много говорить не стоит. Но Геня не любил Мезенцева, и всякое предложение, исходящее от него, Геню раздражало. Скорее всего это было завистью; Мезенцева ставили в пример, с ребятами он жил дружно, за что ни брался, все у него выходило. Но Геня не понимал, что он завидует Мезенцеву. Ему казалось, что Мезенцев глуп и самодоволен: говорит бойко, а если вдуматься — ерунда. Поэтому Геня и начал отстаивать Гудакова: «Нельзя швыряться людьми. Ты вспомни, как он здорово провел кампанию на запани. А осенью...» Геня начал припоминать все достоинства Гудакова. Вдруг он спохватился: «У меня дочка что-то расхворалась. В аптеку бегал...» Мезенцев замахал руками: «Чего же ты стоишь?» Когда Геня вбежал в комнату, Леля, одетая, стояла у дверей: она уже хотела итти за Геней. Она вырвала у него пузырек и тихо сказала: «В клуб забежал — поспорить...» Геня не ответил.

На следующий день он остался вдвоем с Дашей: Леля ушла за молоком. Он подошел к кровати, и вдруг незнакомое чувство охватило его: ему стало нестерпимо жалко Дашу. Маленькая, а как мучается! Он почувствовал себя чересчур сильным и здоровым. Он слушал хрип, исходивший из крохотного тельца, и что-то подступало к его горлу. Он бормотал: «Ну, ничего... Пройдет... Обязательно пройдет...» Он говорил это, как будто Даша могла его

понять. Услышав шаги Лели, он быстро отбежал в сторону и закрылся газетой.

Даша умерла четыре дня спустя. Было это вечером. Геня еще бегал за доктором, но доктор пришел уже после того, как Леля все поняла. Леля при докторе не плакала. Не плакала она и при Гене, только сказала: «Слушай, пойди ты куда-нибудь. Я хочу с ней остаться...» Геня покорно надел шапку. Он не пошел ни на собрание, ни к товарищам. Он бродил один по улицам и смутно думал: «Почему она прогнала меня?.. Разве я не отец?.. Странно — вот Даша умерла, а Леля не плачет... Кажется, ей заплакать, как мне слово сказать, чуть что — ревет... А здесь ни слезинки... Почему это?..» Если бы Геня умел плакать, он поплакал бы сейчас на этой набережной, среди снега и тусклых фонарей. Ведь говорят, что от слез становится легче. А ему плохо. Очень плохо. Надо только быстро совладать с собой: скоро конференция... Но как Геня ни старался, он не мог думать о конференции. Ему было холодно. Он ежился, размахивал руками, а придя, наконец, домой и украдкой взглянув на неподвижную Лелю, лег и прикинулся спящим.

Хоронили Дашу только Геня и Леля. У Лели не было в городе ни родных, ни подруг, а Геня хотел было сказать товарищам, но потом раздумал: какое кому дело до его несчастья? Если комсомольца хоронят или пионера — это понятно: речи говорят, поют. А Даше года не было...

На кладбище стояла необычайная тишина, и эта тишина была особенно тягостна. Рабочие торопились. Снег поглощал все звуки. Едва доносились далекие голоса: это за оградой кричали ребятишки. Леля теперь плакала, но слезы катились бесшумно, и мороз быстро сушил их, едва успевали они отделиться от ресниц. Надо было еще подписать какую-то бумагу. Геня долго чистил перо. Он почему-то подумал: а могилу роют неглубоко... Земля, правда, здорово промерзла... Потом он еще подумал: хорошо, что это бывает только раз в жизни! А то можно и самому удавиться...

После похорон он пошел на собрание актива. Он старался не думать о своем горе. Он говорил о международном положении: «Героическая борьба венских рабочих.

Так погиб Валиш...» Он вспомнил маленькую могилу. Мезенцев его осторожно спросил: «Как у тебя дома?» Он ничего не ответил, только махнул рукой.

Поздно вечером он пошел к себе. Он всячески оттягивал эту минуту. Он видел заранее похудевшее, жесткое лицо Лели. Наверно, сидит и думает. Что же ему сказать, когда он придет? Нельзя ведь молчать, как на кладбище. Надо бы утешить ее, приласкать, но только не умеет этого Геня; другие могут, а у него не выходит... Он медленно подымался по обледеневшим ступеням. Так он шел когда-то с Лелей: после «Травиаты». Тогда еще не было никакой Даши, все казалось легким, простым, радостным. Вдруг его окликнула соседка:

— Это ты, Геня? Жена ключ для тебя оставила и письмецо.

Геня перепугался: Леля покончила с собой! Как он оставил ее одну? Он быстро разорвал конверт и прочел: «Генька! Незачем нам теперь жить вместе. Меня Нюта взяла пока в барак, а потом найду комнату. Только после Даши не могу я больше с тобой оставаться. Ты это пойми и не сердись».

Геня оглядел комнату. Все было прибрано. Ни пустых пузырьков от лекарств, ни кукол из тряпок, которые Леля смастерила как-то для Даши. Будто никогда и не было ни зеленой кофточки, ни крохотной девчурки, ни любви, ни ссор, ни двух лет жизни.

Геня сел за стол, раскрыл книгу. Он строго сказал себе: только не думать об этом! Он еще молод и силен.

Все же ему было очень тоскливо. Он сейчас не думал ни о Даше, ни о Леле, но комната казалась ему непонятно пустой, жизнь тоже. Он прикрикнул на себя: это от усталости, завтра все будет по-другому...

Действительно, проснувшись на следующее утро, он почувствовал себя бодрым, как будто он болел тяжелой болезнью и выздоровел. Теперь надо с двойной энергией взяться за работу, — так он думал, весело фыркая у рукомойника.

Воспоминания мало-помалу стирались, и, встретив недели три спустя Лелю, он спокойно ее спросил: «Ну как тебе живется?» Она ответила: «Ничего, живу». Он не

заметил, как дрогнул ее голос и как быстро она спряталась за спину Нюты. Он подумал: вот и обошлось!

После встречи с Лелей он окончательно успокоился. Он даже пошел к Красниковой и говорил с ней о литературе: «Почему нет ни одной хорошей книги о комсомольцах? Писатели дают схемы. А мы, чорт возьми, живые люди! Мы чувствуем...» Красникова почему-то переспросила: «Правда?» — и в смущении отвернулась. Но Генька не смотрел на нее. Он был счастлив: Красникова не Леля, она вузовка, весной она делала доклад о Шолохове, и вот она жадно прислушивается к каждому слову Гени. Видимо, он действительно на голову выше других: он разбирается не только в грунтах, но и в литературе.

9

Не всегда Геня был уверен в себе. Он начал, как и многие другие, с сомнений. Когда инженер Хохлов впервые ему объяснил, что такое взаимное тяготение станков, Геня тоскливо подумал: глуп я! Не понимаю! Вот просто не понимаю!.. Год спустя он выступил с предложением расположить рамы в системе тандем. Хохлов его поздравлял: «Здорово! И как ты это быстро усвоил...» Геня мог бы ответить: «Учусь», или: «Не я один», но он был слишком счастлив, чтобы лицемерить. Улыбаясь, он сказал: «Это только начало». Он знал, что ему предстоит большое будущее. Прошло несколько лет. Геню Синицына теперь можно увидеть на трибуне, за столом президиума, на митингах, на деловых заседаниях. Одна Леля его не оценила, но о Леле он не хочет думать: это описка.

Геня обводит мир деловым и ласковым взглядом: это его мир. Машина на вид сложна, но если разобраться, все в ней просто и законно, надо только знать ее строение. Геня знает, как устроен мир. Он знает те великие идеи, которые определяют жизнь страны. Идеи он любит — они ему по росту, но к людям он равнодушен. Он изучил своих товарищей. Одни из них глупы, другие ленивы. Сенька повесил на стенку почетную грамоту и рад. Кудряшев влюблен в свою жену, вечером они долбят вслух немецкие спряжения или играют в шашки. Шварц ночи напролет

читает романы, все вперемежку: после Леонова — Дюма, а после Конан-Дойля — Тургенев. Лещук обожает танцы. Геня среди них одинок. «Зачем тебе все сразу?» — говорила Леля. А ему наплевать и на галстуки, и на танцульку, и на домашний уют. Он обедает теперь в столовке для итеэров. Но разве он замечает, что перед ним на тарелке? За обедом он продолжает читать: мир хотя прост, но велик, а времени у Гени мало.

Как прораб, он строг и взыскателен. Он не станет болтать о том, что Лещук гуляет с Наташей. Он отмахивается, когда Кудряшев начинает рассказывать, как его годовалый сын уже знает четыре слова. Приятелей у Гени нет. Он старается быть приветливым со всеми. Как-то у него вышла размолвка с Мишей. Миша умный паренек, не лентяй. Геня сказал ему: «Ты что это читаешь? Толстого? Зря. С Толстым можно и подождать, взял бы лучше «Памятку землекопа». Миша разобиделся: «А Толстой для кого? Для тебя?» Геня ничего не ответил, но вечером, столкнувшись снова с Мишей, он услышал, как тот пробормотал: «Самодур!» Геня рассмеялся: «Ну какой же я самодур, хочу подурить и не умею. А ты, Миша, не бузи. Если я тебе что говорю, это для твоей же пользы. Надо подымать квалификацию, вот что...» Сказал это Геня добродушно, но Миша, не сводя с него злых глаз, ответил: «Все равно, что дурить не умеешь, а самодур. Так и все говорят...» Вечером он вспомнил слова Миши, и впервые за последние годы смутился. Неужто ребята его не любят? С ними надо бы попроще... На вечорку, что ли, пойти? Выпить. Конечно, противно, но они это любят: значит, свой, не зазнается. Потом он сел за работу и тотчас забыл и про Мишу, и про самодура, и про все свои сомнения.

Они снова встали перед ним месяца два спустя. Было это так: заглянув в барак к комсомольцам, Геня увидел женщину с грудным младенцем. Геня сказал: «Это, ребята, не дело. Раз комсомольский барак, надо соблюдать порядок». Байков ответил: «А куда мне деться, если в семейном нет местов. Я ребят спрашивал — имеете против, они пустили. У них, понимаешь, в деревне жрать нечего, потому отец ее — единоличник, из-за телки с колхозом они поссорились. Дурак, теперь крапиву сушит, а здесь она на сплаве работает...» Геня, однако, стоял на своем:

барак показательный, нельзя заводить такое безобразие. Байков рассердился: «Ты-то домом живешь: жена, девчонка. Значит, только тебе можно?» Геня ответил не сразу. Он присел на скамью. Месяц прошел с того дня, когда соседка на темной лестнице сунула ему записку Лели. Он забыл о своем горе, и вот оно снова перед ним. Ему захотелось ударить Байкова или крикнуть: «Скотина!» Но он сдержался. Он ответил спокойно, даже сухо: «Я не в бараке живу. А если на то пошло — пожалуйста: девочка у меня умерла, а с женой мы развелись. Так что и завидовать нечему». Он замолчал. В бараке стало тихо. Байков стоял смирно, опустив глаза; жена его теперь смотрела на Геню грустно и ласково. Но Геня не сдался: «А к Байкову это не имеет никакого отношения. Дело ясное. Сюда он въехал как холостой, а потом семью выписал. С такими фактами надо решительно бороться». Тогда Байков подошел вплотную к Гене и тихо сказал: «Значит, ты с женой развелся и другим нельзя жить?» Геня как будто и не расслышал его слов. Он сейчас думал об одном: комсомольский барак — его гордость. Он кровати раздобыл вместо топчанов, патефон достал для красного уголка, цветы повсюду поставили. Неужели все это пойдет насмарку из-за какой-то бабы? Развесит она здесь тряпье... «Знаешь что, Байков, вот тебе моя комната, а я здесь устроюсь. Дай мне только дней десять сроку: я теперь над изобретением сижу, а здесь тесновато». Сказав это, Геня быстро вышел из барака. Ему было не по себе: слова Байкова о Леле его взволновали. Он видел зеленую кофту на крюке и сугробы вокруг могилы.

Он прошагал несколько километров, прежде нежели успокоился. Наконец он нашел душевное равновесие. Он стал вспоминать разговор в бараке. Все хорошо обернулось. Насчет самодура — это Миша бузит. Какой же он самодур? Вот взял и отдал комнату... Работать теперь будет трудно. Ничего — обойдется. Главное, ребята увидали, что он настоящий товарищ. По правде говоря, он к ним привязался. Да и Байков хороший парень. Только вспыльчивый. А с женой ему действительно хлопотно. Вот когда Леля была — сколько забот! Но вдвоем, конечно, веселей... Впрочем, все это чепуха... Самодура Миша пустил. А ребята его любят. Разве он злой?.. Леля его не поняла...

Между прочим, это к лучшему. Красникова вчера сказала: «Заходи вечерком...» Будто насчет литкружка. Но разве Геня не видит, как она на него поглядывает? Прежде Геня робел. Сколько он вздыхал вокруг да около Васиной! А оказалось, что Васина всем только и говорила, что о Гене. Тогда он думал, что не может понравиться девушке. Особенно смущали его веснушки. С ужасом он глядел в зеркало парикмахерской: ну и рожа! Но вот Васину веснушки не испугали. Она говорила: «Ты, Генька, красивый...» А Леля? Она первая его окликнула: «Генька, ты не спишь?..» Теперь Красникова... Могут пойти расписаться. Только комнату он отдал. Впрочем, жить вместе глупо. Пойдет ругня. Он с проволокой, она с пудрой. Лучше встречаться: больше чувств. Да и работать спокойнее. Его проект ледяных дорог, наверно, отошлют в Москву. Оттуда придет «молния»: «Срочно выезжайте дачи разъяснений». А как уехать, если его поставили секретарем комсомола? Сколько впереди боев и побед! Красота!

Беда пришла неожиданно. 11 июня Цветкова задавил экскаватор. Хотя Геня и знал хорошо Цветкова, — они год работали вместе, — он не стал горевать: на то стройка. Собрав рабочих, Геня произнес краткую речь. Он вспомнил, как работал Цветков, когда они строили мост возле Уймы: «Шесть дней подряд не ложился». Потом стали выбирать делегацию для участия на похоронах. Генька знал, что на первом месте будет его имя, — так бывало всегда. Председатель сказал: «Значит, Синицын, Петряков и Овсеенко». Здесь-то и приключилась настоящая катастрофа. Старый землекоп Кобяков — Геня с ним всегда ладил — вышел вперед и сказал: «Если по производству выбирать, тогда Синицына. Но только похороны я понимаю так, что мы оплакиваем дорогого товарища и незачем нам для этого выбирать Синицына». Не дожидаясь, как отнесутся другие рабочие к словам Кобякова, Геня поспешно заявил: «Я и сам снимаю кандидатуру. Мне завтра с утра надо на третий участок». Он не слышал, кого решили послать вместо него. Он тупо глядел на стенной календарь: 11 июня — две черные палочки...

Весь вечер он просидел над планами: готовился к поездке. Он старался не думать о происшедшем. Он проехал верхом сорок километров. Потом пошел с Бутягиным

осматривать работы; напрягаясь, он слушал длинные разъяснения. Когда они переходили через канаву, Геня упал: доска оказалась гнилой. Бутягин и Вася отнесли его в барак. Ночью у Гени сделался жар. В тумане мелькали то две палочки, то зеленая кофта, то глупое слово «самодур»... Он провалялся два дня, потом встал. Оказалось, кость не повреждена. Но на душе у него было смутно и тревожно. Он понимал — произошло непоправимое. Впервые ему не хотелось итти на работу: там Миша, Байков, Кобяков, и все они против Гени. Как это случилось? Виноват он. Он забыл, что люди мелки и ничтожны. Вот Стендаль, какой он замечательный писатель, а герои у него дрянцо. Почему ребята невзлюбили Геню? Он просчитался. Прост-прост мир, а ошибиться легко. Хорошо бы послать всех к чорту! Но без них Генька, как без воздуха. Значит, надо что-нибудь придумать. В газетах это называется «выправить линию».

Геня напросился к Паршиным на вечорку. Пил он много, не отставая от других. Но он не пьянел, трезвыми жесткими глазами глядел он на веселившихся товарищей. Сначала парни пили одни — девчата шушукались в соседней комнате. На столе стояли четыре литровки. Козлицкий, хватая рукой селедку, приговаривал: «У селедочки хвост, а у Манечки косичка?..» Рыжая Манечка показывалась на минуту и прыскала. Девчата в ожидании танцев говорили о том, что Соня заплатила за туфли в комиссионном сто сорок. Не иначе как Белкин... Потом завели патефон. Геня не выдержал и, воспользовавшись тем, что все столпились возле Наташи, которая свалилась без чувств, вышел на улицу.

Была июньская ночь, и высокими дискантами перекликались птицы. Гене показалось, что он вышел из глубокой шахты. Он даже улыбнулся косому лучу солнца, взобравшемуся на мезонин. Потом он вспомнил о вечере. Нет, никогда он не сможет сговориться с этими людьми! Зачем лукавить — он их презирает. А они?.. Они его ненавидят: «Самодур!» Но без них ему не прожить. Значит — конец. Геня подумал, что 11 июня — это дата, с нее пошли неудачи. Его проект ледяных дорог будет забракован. Кранц скажет: «Неуч и нахал». Секретарем комсомола поставят Мезенцева. То, что Мезенцев глуп, никого не испугает:

глуп, зато свой. Мезенцеву ничего не стоит подружиться с тем же Кобяковым. Будут горланить песни и рассказывать друг другу о семейном счастье. Вот говорят, что Мезенцев женится на Варьке Стасовой. Какая все же ерунда жизнь! Но жить чертовски хочется, только жить ему не дадут. Суеверный страх охватил Геню: он возомнил себя неудачником, вся его жизнь теперь делилась на две эпохи — до 11 июня и после. Он не знал, что ему делать.

Может быть, направляясь два дня спустя к Красниковой, он хотел проверить, действительно ли ему изменила удача. Он шел сутулясь и сухо думая о своем несчастье. Красникова для него была только именем и адресом. Он не видел ее лица. Он не мечтал ни о любви, ни о ласке. Но когда Красникова, увидев его, радостно крикнула: «Неужто Генька!» — он сразу очнулся. Он почувствовал, что он жив. Всю свою страсть к жизни, тревогу последних дней, надежду, отчаяние он вложил в те поцелуи, которые так потрясли Красникову. Он был нетерпелив, даже резок — он боялся, что счастье может ему изменить. Его жесты были полны чувств: здесь сказались сложные и мучительные переживания, заставившие Геню притти к Красниковой. Но в душе он был спокоен и холоден. Он следил и за Красниковой, и за собой. Это не было ни нежностью, ни страстью: он просто проверял свой жизненный путь. Была, впрочем, минута, когда, забывшись, он испытал короткую радость, но даже эта радость была злобной: он больно сжал плечо Красниковой, она вскрикнула. Потом он пришел в себя, стал снова вежливым, пригладил чуб и, впервые назвав Красникову по имени, сказал:

— Что, Наташа, хорошо?..

Она ничего не ответила. Она лежала на узкой складной кровати, повернувшись лицом к стене. Она была на два года старше Гени, но разгадай Геня ее мысли, они показались бы ему ребяческими. Она не знала жизни и боялась ее. Ей казалось, что она ни на что не способна. Она работала в Лесном институте. Работе она отдавалась страстно и недоверчиво. Жила она не в городе, да и не в лесу, но в том особом мире, где каждое слово обозначало для нее годы труда и борьбы: клепка, лущение, шпон, слипер, баланс, окорка, филенки, кромка, калевка. Ее считали хорошей работницей, но она упрекала себя в глупости и в

лени. Когда ее заставили прочесть в литкружке доклад о Шолохове, она несколько недель ходила как потерянная. Может ли она понять, что такое стиль, композиция, характеры, сюжет? Жизнь героев Шолохова ей представлялась величественной и загадочной. Он понял, но ведь он писатель, а у нее нет ни таланта, ни душевного опыта. Как же она будет говорить о таких высоких вещах? Она никогда еще не была влюблена, и вот сейчас она должна понять столько новых чувств. Она лежала потрясенная, подавленная. Слова Гени вывели ее из томительного полусна. Она повернулась к нему, внимательно на него поглядела. Ей показалось, что она видит его впервые. Это был хороший парень, она любила его слушать, он говорил с жаром и толково. Когда он долго не приходил в библиотеку, она скучала. Но разве полчаса назад, когда она радостным криком встретила Геню, она могла подумать, что между ними произойдет вот это?.. Ей казалось, что все приключилось помимо их воли, и, глядя на Геню, она искала смятения. Но она увидела его глаза, светлозеленые, спокойные, они приветливо улыбались. Геня взял со стола какую-то книжку и начал ее перелистывать. Она молчала. Тогда он спросил:

— Ну как, ты Панферова осилила?

Красникова встала, в изумлении она подошла к нему, она даже дотронулась слабыми холодными пальцами до его руки, как будто проверяя, кто перед ней.

— Нет... То есть я не о книге. Я, Генька, не понимаю. Так нельзя. Понимаешь — нельзя...

Геня отложил книжку и, добродушно улыбаясь, ответил:

— Почему нельзя? Кажется, хорошо обоим. Можем и расписаться, если хочешь...

Гене теперь казалось, что он любит Красникову. Правда, она ему не нравилась: была в ней какая-то болезненность — в чересчур белой коже, в кругах под глазами, в тонкости очень бледных, будто проглоченных губ, но сейчас он не думал об этом. Он был признателен Красниковой за то, что она избавила его от тяжести сомнений, и в избытке нежности сказал:

— Одним словом, как в романах... Понимаешь — с любовью...

Он сказал это просто, дружески. Тогда Красникова отошла снова к кровати, машинально поправила подушку и тихо проговорила:

— Уйди, Генька... Я тебе сказала: я так не могу. И больше не приходи...

Она стояла молча: она ждала, когда он уйдет. Он медлил. Он думал сначала, что это шутка, что Красникова раскапризничалась, что стоит ее приласкать, и все пройдет. Но она упрямо повторяла: «Уйди». Ее лицо было сухим и сжатым. Только когда он вышел, хлопнув дверью, она свалилась на кровать и начала громко, по-детски всхлипывать.

Геня хлопнул дверью не всердцах — он переживал боль расставания. Ему казалось, что он любит Красникову и что он теряет свое счастье. Впрочем, это длилось недолго. Ночной воздух быстро оживил его. Он даже подумал: хорошо, что кончилось. Он пошел ночевать к Терешковичу. Итти было далеко, и по дороге он успел все передумать. Может быть, Красникова права: ни к чему это. У нее своя жизнь, у Гени своя. Главное — неудачам конец. Геня еще может нравиться. Теперь все пойдет хорошо. Кранц, наверно, одобрит проект. Одно обидно: почему Красникова сказала: «Так нельзя»? Как? Разве у него не было чувств? Разве он не способен переживать? Почему она его обидела? Вот и Леля... Очевидно, женщины представляют себе многое иначе. Впрочем, зачем об этом думать? Он не писатель, у него другие заботы. Он может и вовсе обойтись без женщин: работать, читать, выступать на собраниях, руководить.

10

Несколько дней спустя Геня решил пойти к Кранцу. Начало беседы Геню настолько взволновало, что он даже вскочил и пробежался по длинному кабинету. Кранц ему говорил:

— Я понимаю, что у тебя по партийной линии много работы. Но я поставлю вопрос в горкоме. Способности у тебя необычайные. Необходим втуз. Я поговорю с Голубевым.

Он еще долго убеждал Геню учиться — из него выйдет замечательный инженер. Север только начинает просыпаться: сколько работы впереди! Геня слушал его рассеянно. Он понимал, что та звезда, которая вела его с детства, сияет высоко, ясная и безупречная. Леля? Кобяков? Мезенцев? Это букашки, они где-то внизу. Он один с высоко поднятой головой идет прямо к цели. Когда Кранц на минуту замолк, Геня, смяв от волнения листки с дальнейшей разработкой своего проекта, спросил:

— А как насчет предложения?

— Да о чем я и говорю? Изумительно! Даже где сплошная белиберда, и то чувствуются огромные способности. Только знаний нехватает. Ты там такое накрутил, что смех берет. Хорошо, что ты не попал на какого-нибудь молоденького инженера, знаешь — свеженький — рад, что научился, и презирает всех. Я-то к этому иначе подхожу. Меня в данном случае не проект занимает, а ты...

Геня встал и, не попрощавшись, вышел. Он ненавидел маленького толстого Кранца: вот таких рисуют в «Крокодиле». Бюрократ! Как он ловко издевался над Геней. «Способности»! Пока что садись за начальную геометрию. Вокруг Гени заговор. Хорошо в Москве; там есть к кому пойти, там человеку не дадут зачахнуть. А здесь — болото. Нравится им Мезенцев — и точка. Здесь не хотят ни страсти, ни порыва, ни исключения. Геня здесь задыхается. Другие отводят душу на романах или на девушках. Но Гене наскучили романы. Он прочел и Толстого и Стендаля. Читаешь — оторваться не можешь, а кончишь и спрашиваешь себя, к чему это — скука, жалко потерянного времени. Для Гени сам Геня куда интересней и Жюльена Сореля и Болконского. А с женщинами попадаешь в иной мир: тепло хлева. Это хорошо для дерева — пускать корни и цвести. Геня не может сидеть спокойно: он должен двигаться. Пойти снова к Красниковой? Купить комод? Плодиться? Геня не создан для этого. Почему Кранц отнесся к Гене формально? Он не понимает, что Геня другой. Это Кранц...

Геня теперь беседует с Голубевым. Голубев, весело посмеиваясь, спрашивает:

— Ну как Кранц?..

— Крючкотворец. А может, и хуже — вредитель.

Голубев продолжает смеяться.

— Никакой он не вредитель. И не крючкотворец. Я ведь твою историю знаю. Он мне рассказал. Говорит: «Боюсь, что Синицын разобиделся. А я его, между прочим, очень ценю. Надо его загнать во втуз». Так что оставь ты его в покое. А раз мы с тобой разговорились, я тебе прямо скажу: так легко свихнуться. Я ведь знаю, что ты умница. И работаешь здорово. Можно на тебя положиться. Но вот с ребятами ты не поладил. Это плохо. Ты, главное, на меня не сердись. Тебе сколько лет? Двадцать четыре? Ну вот, а мне сорок семь — вдвое больше. Это я тебе не к тому говорю, что я вдвое умней. Бывают и старики дураки. А у вас теперь жизнь замечательная: за один год можете большему научиться, чем мы когда-то за десять. Я почему о возрасте заговорил? Чтобы ты не обижался. Мише нельзя, а мне можно. Я тебе в отцы гожусь... Хороший ты парень. И вообще и в частности. То есть мне как-то по душе. Вот ведь какой чуб отрастил! Наверно, упрямый. Так ты послушай: нельзя переть напролом. Надо все-таки с людьми считаться. Вот и с этим проектом... Налетел на Кранца. А Кранц добряк. Он с удовольствием тебя хоть в крайком посадит. Я в твои годы куда глупей был. Из гимназии меня выперли. Работал в партии. Помню, в Москве это было. Выступал покойный Дубровинский — Иннокентий: о роли столыпинских хуторов. Я и решил: что-то он не то говорит. Дай-ка я его разнесу. Но сейчас же думаю: а вдруг я не прав? Надо подумать. Подумал и вижу, а ведь прав действительно Иннокентий. Это мелочь, не знаю даже, почему вспомнил, но я это к тому, что нельзя на человека кидаться. Очень у тебя амбиции много: и ударник, и изобретатель, и то, и се. Это, конечно, замечательно, но ты не зарывайся. Перед вами, кажется, все открыто. Что же ты войну начинаешь, будто ты в крепости? Это ты, Генька, брось! Нельзя так жить — неинтересно. Теплоты в этом нет. Да и пользы для партии мало. Лучше чем-нибудь поступиться, а жить с людьми, не как ты — сам по себе...

Геня не возражал, он и не соглашался, слова Голубева не доходили до него. Его сердце было наглухо закрыто. Он проверял умом: прав Голубев или не прав? Получалось, что не прав. Конечно, надо стараться ладить

с ребятами — это он и сам знает. Но надо также стараться выдвинуться. Насчет Иннокентия — просто ерунда. А в общем Голубев начал сдавать. «Как отец» — вот так аргумент для дискуссии — «папаша»!

Все это Геня передумал поздней, когда остался один. Голубеву он ответил уклончиво: «Насчет Кранца я, может быть, и ошибся. Но проект в общем дельный». Голубев почувствовал смятение Гени и обещал просмотреть его проект. На этом они расстались.

Несколько дней спустя было совещание в горкоме: хотели обсудить различные кандидатуры. Геня решил соблюдать полное спокойствие. Наверно, все начнут расхваливать Мезенцева. Что же, Геня подождет. Он засядет за работу. Может быть, он в проекте и напутал. Надо тогда исправить. Кроме того, он напишет большую корреспонденцию в «Комсомолку» о проблемах нового быта. Он свое возьмет. А сейчас пусть они хвалят Мезенцева. Геня и сам скажет, что Мезенцев — хороший работник.

Перед началом заседания Голубев спросил Геню: «Как дела?» Геня ответил веселой улыбкой. Он больше не думал о коварном Кранце. Всей душой он был с товарищами. Как всегда, это ощущение близости веселило его: вот ссорятся они, ругаются, но это — одна семья.

— Слово принадлежит Ушакову.

Геня знал, что Коля Ушаков повсюду следом ходит за Мезенцевым. Сейчас он начнет превозносить своего приятеля. Но Ушаков говорил о Гене. Он перечислял достоинства Гени. Он рассказал и о бараке, и о стенгазете, и о докладах на международные темы.

— Синицын на редкость способный комсорг.

Слушая Ушакова, Геня невольно улыбался: он не мог скрыть своего удовлетворения, и в то же время ожидал подвоха. Чем это кончится?.. Он то нервно кивал головой, то стучал пальцем по столу. Наконец Ушаков перешел к отрицательным сторонам работы Гени: Геня не знает снисхождения. Особенно резко Ушаков критиковал подход Гени к беспартийным. Он обвинял Геню в высокомерии. Кончил он так:

— Нельзя отрываться от масс! Почему ребята ругают Синицина? Очень просто: он на них смотрит сверху. Я, конечно, не отрицаю его качеств. Но надо прямо сказать, что

на первом плане у него вовсе не интересы комсомола, а свои собственные: как бы себя показать. А такие настроения, товарищи, бесспорно чуждый элемент...

Обычно Геня и сердясь сохранял улыбку. Но теперь он не улыбался. Его лицо выражало такую злобу, что Голубев, поглядев на него, отвернулся. Геня говорил быстро, не останавливаясь:

— То есть как это чуждый элемент? У меня жизнь не двойная. Вы можете меня о чем угодно спросить — я за каждый мой поступок отвечаю. Конечно, я ошибаюсь частенько. Это с каждым случается. Но только я не чуждый элемент. Я, товарищи, рабочий и по жизни и по происхождению. Для себя лично я ничего не хочу. Можете проверить, сколько я вырабатываю. Вот в вуз меня гонят. А я боюсь от ребят оторваться. Если мы ругаемся, это от условий. Устают, как черти, а здесь я ошибусь в каком-нибудь слове, и готово. Но вы меня от них не оторвете: это моя семья. Кто тебе, Коля, дал право говорить, что я чуждый элемент? Это пахнет заговором. Почему Мезенцев сам этого не сказал, а подослал Колю? В таком случае я спрошу вас одно. Хорошо, Мезенцев для вас пример. Он умеет обращаться с массами, не то что я. Почему же такой Мезенцев позволяет себе абсолютно все? Понравилась ему девушка, он взял да женился. Ему, например, наплевать, что она действительно классово чуждая...

Мезенцев прервал Геню:

— Это ты, Синицин, зря. Зачем врать?..

— То есть как это зря? Если я говорю такое, да еще на ответственном совещании, значит у меня имеются факты. Почему ты мне говоришь, что я завираюсь? Как будто ты сам не знаешь, откуда твоя Варя Стасова. Но раз ты меня оскорбляешь, я должен это сказать. Можете проверить, если угодно. В Уйме ее отец — раскулаченный. Этой весной колхозники хотели просить, чтобы выслали его. Он мутит: то будто индивидуальных коров отымут, то насчет ширпотреба, что закинули гнилой. А когда сказали ему, что вышлют, он стал плакаться: «У меня дочка на заводе работает, в комсомолки записалась, а я сам скоро сдохну — видите, и ходить не могу...» Он вроде как паралитик. Ходить не ходит, а говорит, как мы с вами. Такое разводит! Одним словом, типичный кулак. Я, между

прочим, хочу быть абсолютно справедливым. Я сразу заявляю, что Стасов говорит, будто дочка у сестры его жила — в Холмогорах, а сестра батрачила. Так что это дело темное, и будь Мезенцев рядовой комсомолец, я не упомянул бы об этом. Но раз его ставят в пример, я могу спросить: почему ты женился на классово чуждой, а потом еще заметаешь следы, и выходит Ушаков и говорит, что чуждый элемент — это Синицын? Разве трудно отказаться от девчонки, если в дело замешаны...

Немного успокоившись, Геня взглянул на Мезенцева. До этой минуты он глядел прямо перед собой, никого не замечая. А теперь, увидев Мезенцева, сразу осекся:

— Если в дело замешаны... Собственно говоря, я уже все сказал...

Он больше не мог отвести глаз от Мезенцева. Да что это с ним?.. Вот так Леля глядела, когда Даша умерла. «Оставь меня с ней!..» Чорт, как все это вышло!.. Геня забормотал:

— А в общем ерунда... То есть, может быть, насчет тетки это правда... Одним словом, я не ставлю так резко вопроса...

Мезенцев встал, большой и грузный: горе как будто сделало его тяжелым.

— Обожди! Такое нельзя замазывать... Я, товарищи, про это в первый раз слышу. Вот вам мое слово комсомольца. А если так, можете меня судить. Вот и билет мой, если я его недостоин...

Он сел, казалось — свалился на скамью. Все взволнованно зашумели. Голубев предложил перенести заседание на 16-е, и, воспользовавшись общим смятением, Геня выбежал на улицу.

Он сразу понял, какая ночь ему предстоит. Он быстро шагал. Он убегал от глаз Мезенцева. Но глаза не отставали: они стояли прямо перед глазами Гени, среди строящихся домов, среди розовой пыли, среди облаков и грустных деревянных домишек. Они были повсюду, и они в эту ночь были жизнью Гени. Так, он вспомнил все: и записку Лели, и слова Красниковой, и то, как его обидел Кобяков: «Если плакать, выберем другого...» Почему никто не понял его? Он любил Лелю. Он не хотел с ней расставаться. Если он бывал груб — надо понять: изобретение,

работа, устаешь за день... Нет, люди не понимают друг друга! Он и Красниковой не хотел зла. Он думал: обоим будет приятно. Откуда ему было знать, что у нее на душе? А с ребятами... Да ведь это его жизнь. Скажут завтра «умри», вот как Цветков умер, разве он испугается?.. Сколько раз он был на волосок от смерти! Если он не плачет, разве это его вина? Каждый переживает по-своему. Да и нельзя теперь плакать, время не такое — загрустишь, и сразу вся работа остановится. Он не хотел обидеть Мезенцева. Это честный парень. Стасов говорил: «Моя дочь в комсомоле». Но кто их там разберет?.. Может, и правда, что Варя жила не с отцом? Только почему Мезенцев так взбеленился? Он-то ведь знает, а прикинулся, будто это для него новость. Неужели она от него скрыла?.. Хотя с бабами ничего не поймешь... Глупо вышло. Очень глупо. Теперь ему здесь не жизнь — пальцами будут показывать: товарища хотел потопить. А он никого не хочет топить. Пусть Мезенцев будет секретарем. Так даже лучше. Дело не в этом. Надо внутри иметь опору. А когда грызет, как теперь, руки опускаются. Жить не хочется — правда...

Геня с изумлением повторил вслух: «Правда». Это с ним было впервые, ему не хотелось больше жить. Он был настолько этим потрясен, что даже приостановился, как будто кто-то его окликнул. Он увидал, что добежал до кинематографа. Сеанс как раз кончился, и Геня машинально считал, сколько проходит людей. Вдруг он заметил в толпе Лелю. Она шла с какой-то девушкой. Кажется, это Нюта... Он подбежал к Леле, сам не знал, зачем он это делает. Надо что-нибудь сказать! Лишь бы не прогнала!.. Тогда он снова останется один. Наконец он сказал:

— Значит, в кино ходила?..

— Да.

Они шли молча. Леля с недоверием поглядывала на Геню. Он долго мялся, потом сказал:

— С Мезенцевым какая-то чепуха получилась. Знаешь Варю? Ну вот, а она кулацкая дочь...

Леля ничего не ответила. Вмешалась Нюта:

— Я ее тетку знаю. Она с теткой жила, а тетка ее в сельсовете. И зачем это зря болтать?

Геня поспешно забормотал:

— Тетку знаешь? Значит, чепуха? Ну и хорошо. Он-то выгородится. Но у меня это здесь сидит. Как-то все не так получилось... Ты послушай, Леля. Так и с тобой... Ты что думаешь, у меня и чувств нет? Что со мной было, когда я твою записку прочел! Я, может, больше твоего страдаю...

Его голос срывался от боли. Ему теперь казалось, что он мучается оттого, что Леля его бросила. Он готов был все отдать, только чтобы она осталась с ним. Леля попрежнему молчала, но на сердце у нее было тревожно. Кто знает, что бы она ему ответила, не вмешайся в дело Нюта:

— Брось ты ее мучить! Только-только она успокоилась, а ты прежнее растравляешь. Я ведь знаю, что ты с Красниковой живешь. Зачем же тебе Лелька понадобилась? Дай ты ей жить спокойно.

Геня не стал спорить. Махнув рукой, он убежал прочь. Белая ночь еще длилась; да и не могла она кончиться: она была днем. Неживым и недобрым светом она заполняла улицы города. Геня бежал, не останавливаясь; он как будто хотел измерить длину этой короткой и нескончаемой ночи, длину широких пыльных улиц, длину своего одиночества.

11

«Необыкновенная у нас жизнь», — сказала Лидия Николаевна Штрему. Они сидели тогда в сквере, среди мусора и пыли. Штрем не понял, о чем говорит Лидия Николаевна, да и не мог он ее понять — жизнь Лидии Николаевны была весьма обыкновенной: случайные связи, неудачное замужество, гастроли в провинции, морозная сцена, режиссер, который мимоходом тискает актрис, приговаривая: «Рельеф не тот», кожа, воспаленная от дурного грима, изо дня в день те же заботы: починить туфли, отложить пятнадцать рублей на сахар, попросить Попова, чтобы записали на чулки. Но у Лидии Николаевны были глаза и сердце. Две недели спустя после ночной беседы с Штремом она снова попала в тот же сквер. Она не узнала его. Перед ней синели цветы, и цветы эти пахли югом. Возле решетки она увидела яблоню. Она любила

яблони с детства. Их весенний цвет походил на глупые сны неуклюжей девчонки, а осенью, когда яблоки падали, этот шум, глухой и важный, заставлял сильнее биться сердце Лидии Николаевны, которую тогда еще звали Лидой. Выдержит ли яблоня здешнюю зиму? И тотчас же Лидия Николаевна улыбнулась: а ботаник? Ведь он обещал сделать из тундры Гурзуф...

Все было необыкновенным в сухой, будничной, что ни на есть обыкновенной жизни. Сидел Голубев и, поругиваясь, листал книжку: «Кролики чрезвычайно подвержены насморку, и в крольчатнике надлежит поддерживать...» Он читал, ругался, а потом не выдержал и окликнул Машу:

— Нет, ты понимаешь? Изучаю болезни кроликов. Ну что ты скажешь? Сорокинские станки изучил. Станки Спицына изучил. Правку пил изучил. Травматические повреждения рабочих при навалке знаю. Программу курсов для вербовщиков на лесозаготовки составлял. Могу тебе рассказать, как получаются пропсы из тонкомерных фаутных хлыстов. Вот я раньше знал, что такое порок сердца. Ерунда! Разве это может сравниться с пороками сердцевины или ствола. Это, Маша, наука! Метики, подсушина, сухобокость, косослой, водослой, серянка, пророcть, отлуп, пасынок, крень, сбежистость, короед, краснина... Тьфу! За один год из нефтяника превратился в лесника. А здесь еще кролики выступают на сцену. Сегодня прибежал Егор, говорит: «У кроликов понос». Вот и сел за эту премудрость, а то возьмут они, черти, и сдохнут...

Маша вздохнула:

— Там тебя кто-то спрашивает... Я не пускала — думала, ты спишь.

Пришел Чижов, и Голубев, забыв о кроликах, бушевал:

— Миски у тебя какие? Это что, балерины у тебя едят или сплавщики? Я говорил Фадееву: супа давать один литр с четвертью, не меньше — понимаешь?..

На почте сидела заспанная Дашкова. Она кричала в телефон:

— Алло, Манька? Запиши телеграммку. «Холмогоры совхоз Алексееву». Записала? «Корова ударница имя Немка умерла ревматизма точка». Дура, ты чего смеешься? Слушай, я дальше говорю, после точки. «Про-

сим обсудить вопрос продаже Холодной или Миляги точка. Просим также предоставить производителя Боевика точка. Подпись Шуев». Зачитай-ка. Слушай, Манька! Запиши еще телеграммку. «Котлас Лесоэкспорт Кончакову. Максимум утопа при молевом сплаве для пропса пять процентов точка. Если утери превосходят норму выезжайте дачи объяснений точка. Шурыгин». Манька, валяй третью. «Усть-Цыльма Печорская опытная станция Борисову. Молнируйте рост шенкурского кормового гороха. Подпись Лясс». Л — как Любка. Да ты что, ботаника не знаешь? Который лает...

Дашкова кончила диктовать. Улыбаясь во все свое широкое скуластое лицо, она кричит:

— Алло! Ты, Манька? Слушай, а наши-то в стратосферу поднялись. Вот тебе слово — сейчас газету принесли. Выше всех. Так и напечатано, что капиталисты не взлетели, а мы взлетели. Интересно как! Я уже и Никитину поздравляла...

Дашкова рассмеялась, сразу с нее сошел сон. Она сидела и радовалась. Вот ведь куда забрались! Оттуда и до звезд недалеко...

Забельский, как всегда пьяный, бубнил:

— Чорт знает что! Ни-че-го не понимаю! Я отправил моего сеттера-лаверака в Ленинград. К брату. Знаешь, сеттер у меня был — медальер. Там ему паек выдают, а здесь он чут-чуть с голоду не сдох. Это — теза. Теперь антитеза. Во-первых, приезжает сюда живой академик. Собираются на полюсе помидоры разводить и не иначе, как под надзором великих умов. Почему же я моего сеттера в Ленинград отправил? Дальше: гастроли московской оперы. Значит, абсолютная колоратура. И наконец, в довершение всего — не угодно ли, читай: «Выставка породистых собак». Нет, ты понимаешь? А мой в Ленинграде. Теперь спрашивается — каков синтез?..

Белкин отвечал:

— Синтез? «Любительская» — вместо сорока градусов пятьдесят шесть.

Перехватив «любительской», Белкин решил пойти на реку выкупаться. Он отплыл от берега метров пятьдесят, стал что-то кричать, а потом нырнул. Больше его не видали.

В курортном отделе разрабатывали проект организации трех курортов краевого значения: Красноборска, Сольвычегодска и Тотьмы. Приятель Мезенцева Сеня Шатов получил путевку в Тотьму: на сплаве он схватил жестокий ревматизм. Тотьма приняла сто тридцать больных: ревматиков и неврастеников. Разместили их в бараке. После ванн курортники направлялись в церковь, темную и сырую: там помещался клуб. Под потолком еще можно было различить огромную богородицу с носом, похожим на птичий клюв. Ее обрамляла надпись: «Здоровое тело необходимо для успешного выполнения второй пятилетки». Больные играли в шашки или слушали хриплый патефон. Вокруг церкви находилось кладбище, его решили превратить в плодовый сад, и неврастеник Гольдберг, сотрудник финотдела, вопил: «Я не могу этого видеть! Поглядите, ведь это совершенно нетронутый труп!» Гольдбергу прописали соленые ванны. Сеня Шатов написал Мезенцеву письмо: «Здорово, Петя! Играю в волейбол и вообще совершенно выздоровел. Как ребята? Здесь, конечно, скучища. Книг нет. Прочел всего Панферова. Потом техническую — кто-то забыл — «О борьбе с малярийным комаром». Может, судьба занесет в Среднюю Азию — там пригодится. Приеду 2-го, если будет пароход. С приветом Шатов».

Труп Белкина вытащили. Он долго лежал на берегу, обсиженный мухами. Потом Захар пришел к Файну и сказал: «Дайте вы мертвецу направление! Пахнет он...»

«Мы воткнем на самый полюс наш флаг, а полюс мы здорово используем, потому что там много полезных ископаемых», — так говорил на школьном собрании Вася-общественник.

Из колхоза «Красный север» приехал обоз с хлебом. Колхозников чествовали в Доме колхозника. Им выдали чай с монпансье и лепешки, обсыпанные тмином. Колхозники пили чай медленно, потея и ухмыляясь. С речью выступил Швагин:

— Я это прямо скажу, что великое дело — колхоз, если, например, я получил шестьдесят трудодней за стихию. Да будь это раньше, пошел бы я побираться, раз мы с женой провалялись в сыпняке два месяца. А теперь я, можно сказать, обеспечен: потому в правлении колхоза признали, что сыпняк — это стихия, и насчитали мне

шестьдесят дней сверх. А если у нас теперь сила над этой стихией, значит можно спокойно пить чай и гордиться, что «Красный север» первый сдал хлеб, не то что «Великий трактор» или даже «Роза»...

Швагину отвечал секретарь райкома Брусков. Он говорил о роли политотделов, потом, засмеявшись, добавил:

— Насчет стихии ты правильно сказал. Мы эту стихию бьем на всех фронтах. Скоро будем белые булки печь — из здешней муки. Морозы — это тоже стихия, а мы ее не боимся. Скажем, что должна здесь расти пшеница, она и вырастет...

Швагин поставил блюдечко на стол, откинулся назад и стал долго, старательно смеяться. Смеялся он сложно: то с переливами, то басом, и, смеясь, приговаривал:

— Ну, это ты загибаешь!.. Белые булки...

12

Недалеко от Дома колхозника на окраине города, в двухэтажном деревянном домишке раздается громкое ворчание, ворчат двое: лохматый пес по прозвищу «Урс» и человек. Причем самое поразительное это то, что человек, как и пес, стоит на четвереньках. Они ворчат друг на друга, а всю сцену наблюдает шестилетний Мишка, сын огородницы Ксюши. В восхищении Мишка спрашивает:

— А ты что ему говоришь?

Человек отвечает:

— Говорю: «Это кость моя, не смей ее трогать».

— А он что говорит?

— Он говорит: «Хочу взять».

После этого человек опять поворачивается к псу. Теперь человек издает странные пронзительные звуки, а пес зычно лает. Мишка озабоченно спрашивает:

— А теперь ты что говоришь?

— Теперь у нас разговор серьезный. Я ему говорю: «Здесь кошка». А он, дурак, кошек не любит. Весной подошел он к кошке по-хорошему. Но только кошачьих порядков он не знает, ну и стал ее нюхать. Кошка, понятное дело, ему бац по морде. Поцарапала. Он с тех пор кошек видеть

не может. Из себя выходит. Вот я ему и говорю: «А кошка здесь».

— А он что говорит?

— Он хорохорится: «Не боюсь кошек. Никого не боюсь. Я эту кошку съем!» Только он говорит-говорит, а на самом деле он боится. Боится и не боится: он ведь не такой уж глупый. Он понимает, что я с ним театр разыгрываю. И все-таки страшновато: вдруг у меня вправду кот за пазухой?

Разговор продолжается еще долго. В нем принимают участие, кроме Урса, Мушка, Байбак и Пропс: у Ивана Никитича четыре собаки. Каждая из них чем-либо знаменита.

Урс молод, но хитер. Когда Ксюша готовит мясные щи, Урс ходит вокруг, заглядывает в глаза Ксюши и умильно стонет. Не вытерпев, Ксюша отливает ему в миску щей, говорит: «Собака, а чувствует...» Она убеждена, что Урс понимает ее душу. Не то что люди! Вот Никитка: лапать — это обязательно, а разве он посидит с ней когда-нибудь, разве спросит, что у нее на сердце? Скотина, она носом чувствует, какое у человека сердце. Так думает Ксюша. А Урс?.. Напрасно Ксюша зазывает его, когда щи у нее пустые: Урс сразу перестает интересоваться человеческими чувствами. Смышлен он на редкость и в поноске первый. Иван Никитич говорит: «Этот далеко пойдет. Только, мерзавец, длинный рубль любит...»

Пропса вырастил сплавщик Евдокимов, тот, что прошлой весной утонул. Пропс тогда все ходил по берегу и плакал. Звали его рабочие в барак — не шел и еды не брал. А когда вытащили тело Евдокимова, Пропс кинулся было с веселым лаем, потом понюхал, поджал хвост и отошел в сторону. Можно сказать, что в эту минуту его собачья душа надломилась. Раньше он был веселым, пугал воробьев, катался с визгом в траве. Евдокимов научил его служить, и он смешил всех сплавщиков. Станет на задние лапы, хвостом подопрет зад и стоит. Сразу он поскучнел, постарел. Покажи ему кость, все равно служить он больше не будет. Живет он теперь у Ивана Никитича, но частенько пропадает дня на три, на четыре. Потом возвращается, скребется в дверь. Никто не знает, куда он ходил. Ксюша как-то сказала: «Его постегать надо, чтобы

не шлялся». Но Иван Никитич ей ответил: «Пропс — собака серьезная. Если он ходит, значит, у него свои дела. А бить его нельзя — он такой обиды не вынесет».

Байбак с виду на байбака никак не похож. Это старый, облезший пес. Скорей всего кто-либо из его предков был лягашом. Байбаком он прозван за сонливость: спит круглые сутки. На охоту он никогда не ходил, сторож никакой, трудно понять, почему Иван Никитич так привязался к этой грузной, скучной твари. Иван Никитич говорит: «Умней его не найдете, другие собаки — специалисты, а это поэт. Вы посмотрите, как он во сне взвизгивает, лапками перебирает, плачет, зубы скалит от удовольствия. Я гляжу и думаю: какие только сны ему снятся!..»

Что касается Мушки, то Мушка — личный секретарь Ивана Никитича. Никогда он с ней не расстается. Он берет ее с собой во все экспедиции. А когда он выступает с докладом в клубе научных работников, Мушка сидит у входа и сторожит рыжие рваные калоши. Это маленькая собачонка на коротких лапах, коричневая с черными подпалинами. Как-то Брусков, выйдя из клуба вместе с Иваном Никитичем, спросил: «Мушка-то ваша какой породы?» Иван Никитич ответил: «А той же, что и Байбак — потомственная дворняжка».

Прежде люди посерьезней думали, что собаки у Ивана Никитича особенные: все же человек он выдающийся, к нему из Москвы ученые приезжают, он книгу написал. Наверно, и собак он держит с научной целью. Но Брусков всем рассказал: «Сам смеется — дворняжки...» Теперь, встречая ботаника с Мушкой или Пропсом, люди улыбаются: ну и чудак! Впрочем, чудачества ему охотно прощают: как-никак, это гордость города.

А детвора твердо верит, что Иван Никитич умеет разговаривать с собаками по-собачьи. Вася-общественник часто просит Ивана Никитича: «Составьте собако-человеческий словарь!» Иван Никитич в ответ говорит: «Работы у меня сейчас много. Но вот освобожусь — обязательно составлю».

Кроме ребят, в умение Ивана Никитича разговаривать с собаками верит и Лидия Николаевна. Приходя к ботанику, она сама превращается в девочку: это лучшие часы ее жизни. Попов дразнит: «Втюрилась ты в ботаника».

Лидия Николаевна краснеет и поспешно отвечает: «Ничего подобного! Просто ты пошляк. Лясс для меня крупный ученый...» Откуда у нее такая страсть к науке, она объяснить не может. Лясс занят своим, казалось бы, скучным делом. Недаром Брусков сказал колхозникам: «Скоро будем печь белые булки из нашей муки», — Иван Никитич твердо решил переселить пшеницу на север. Об этом говорят на заседаниях плановой комиссии, это связано с названиями и цифрами. Что тут может нравиться Лидии Николаевне? Вот Иван Никитич говорит: «Поглядите хотя бы на ячмень. Мы вырастили новый сорт — «выдвиженец», специально приспособленный к северному климату. Результаты — двадцать пять центнеров с гектара...» Лидия Николаевна должна была бы здесь зевнуть, но она слушает рассказ о «выдвиженце» с горящими глазами. Иван Никитич для нее сказочник, кудесник — вот нахмурит брови, подзовет свою Мушку, скажет: столько-то морозных дней, такой-то рост, центнеры, гектары — и на болотах, окружающих город, зацветут красные розы.

— Произведите меня в звание Мушки, — попросила как-то Лидия Николаевна.

— Ну, это вы многого захотели. Я вас произведу в звание Мишки. Ему шесть годиков, но парень что надо.

Лидия Николаевна не обиделась: как Мишка, с восторгом она смотрит на Лясса. Кудесник сделал еще одно чудо; он говорит: «Зачем дубу расти пятьдесят лет, прежде нежели он вырастет? Мы сделаем так, чтобы он вырос за десять лет», — он может из крохотного побега сделать сразу большое дерево, он смог из усталой тридцатилетней женщины, которая больше ни во что не верит, сделать сестренку Мишки, девочку с двумя жидкими косицами и с раскрытым от изумления ртом.

У Ивана Никитича серые утомленные глаза: ему сорок три года, и он многое видел. Когда он говорит серьезно, даже сурово, глаза его еле приметно улыбаются. Зато когда он смеется, глаза грустные-грустные. Это, разумеется, заправский ворчун: иначе, как бы он мог жить со своими собаками? Но никто не относится всерьез к его ворчливым окликам: ни Брусков, ни сотрудники селекционной станции, ни Мушка. Другое дело, когда он рассердится: тогда все вокруг притихают и громовой бас

Ивана Никитича кажется особенно раскатистым. Так было, когда, вернувшись из Сольвычегодска, он стал разносить Павлова:

— Почему это вы сняли со снабжения пожарных и сиделок? Жрать они, по-вашему, должны или нет? Чорт знает что! А если они скажут: до свиданья. Что же, больные без уходу останутся? Город сгореть должен?

Павлов попробовал возразить:

— Это, Иван Никитич, с первого августа. Не дотянули. Раньше-то мы не рассчитали, а теперь приходится зажимать.

Вот здесь-то Иван Никитич и вышел из себя:

— То есть как это «не рассчитали»? А чем же вы заняты, если не можете рассчитать? Что это вам — игры играть? Есть такой зверь — бурундук. Он на зиму в спячку погружается. До весны не ест. А все-таки он с осени натаскивает провианта. Почему? Да вот потому. Бывают суровые зимы. Мороз даже в нору залезает. Бурундук тогда просыпается. Здесь-то орехи и выручают. Имейте в виду, такие зимы редко выпадают: раз в двадцать, а то и в тридцать лет. Он, может быть, ни разу за всю свою жизнь запасов и не использует. А все-таки запасается. Что же это выходит — бурундук, и тот вас умней. Стыдно перед зверьем, когда такое видишь...

Слова его были грубыми или веселыми, а глаза ласково стыдили. Брился он редко, на щеках росла щетина, черная с проседью, и походил он на своего Пропса. Об его работах много писали и в Москве и за границей. Не раз журналисты просили его: «Несколько слов... Коротенькую автобиографию...» Но Иван Никитич отмахивался: «Это еще зачем? Год рождения 1891. А остальное неинтересно. Жил и жил. Как все».

Биография Ивана Никитича, однако, не была столь банальной. Детство он провел в душной, жарко натопленной квартире акцизного чиновника. Отец его страдал астмой и трусостью. Он боялся всего: и околоточного, и сквозняков, и соседей. Когда Ваня привел как-то приблудного щенка, с отцом приключился припадок. Держась за сердце, он лопотал: «Может быть, она бешеная?.. От них глисты заводятся... Блохи заразу разносят...» Между двумя рамами лежали бумажные розы. Отец вечером

сидел у стола: либо подсчитывал расходы, либо разглядывал старый комплект «Нивы», либо просто зевал. Ровно в десять он задувал лампу, и домик погружался в тишину, прерываемую только присвистом, стонами и храпом. Мать в жизни знала две святыни: иконы, которые она подолгу натирала маслом, и полочку с лекарствами. Лекарства она боготворила никак не меньше икон, их имена казались ей величественными: капли доктора Иноземцева, капли датского короля, эфирно-валериановые капли. Мальчик задыхался среди бальзамов, нафталина, сушеных груш и вечно коптившей лампы. У него был приятель Сема Валуев. Они вместе мастерили снежных баб; вместе выдолбили челнок и носились по речке, как хищные индейцы; вместе составляли проекты поездки в Трансвааль для защиты угнетенных буров. Сема был сыном мелкого железнодорожного служащего. Он кончил четыре класса, потом отец забрал его из гимназии: надо было зарабатывать. Приятели расстались. Лясс кончил гимназию, рассорился с родителями и уехал в Омск. Зиму он проходил с охотником Савченко. Они били выдр, соболей и белок. Потом Лясс поступил на службу в экономию. Его заставили вести книги. Все свободное время он проводил на конюшне. Управляющий свел его с купцом Чаловым. Чалов набирал людей для экспедиции на Лену. Лясс превратился в старателя — искал золото. Он начал курить трубку и ругаться: ему было двадцать два года, но он думал, что он тот «дедсевед», о котором когда-то читал в детской книге. Его лицо огрубело от ветра, но в душе он оставался наивным подростком, и когда товарищи начинали говорить при нем о девках, он старался дымить во-всю, чтобы скрыть румянец смущения. Как-то он вспомнил свой давний разговор с Семой. Они мечтали, кто кем станет. Лясс хотел сделаться музыкантом, он сделался охотником, объездчиком, конторщиком, золотоискателем. Сема мечтал стать астрономом: «Глядеть в трубу на все звезды». Интересно, чем стал Сема?..

Лясс поссорился с десятником Левченко. Десятник ударил Лясса по лицу. Лясс зашатался, потом выпрямился и, не помня себя от гнева, повалил Левченко на землю. Опомнился он от крика рабочих: «Забил!» Оттолкнув какого-то парня, он убежал. Он решил, что он

убийца и что его жизнь кончена. Две недели он провел в тайге. Потом он узнал, что Левченко жив. Работа ему, однако, наскучила. Он добрался до Владивостока и там попал на английское судно. Он быстро изучил английский язык. Судовой врач взял его себе в помощники. Он начал много читать, занимался и химией и биологией. Война застала его в Америке: он работал над изучением лесных пород в Канаде. У него были недюжинные способности, его величали «профессором», и он хорошо зарабатывал. Его спросили, не хочет ли он воевать против немцев; он ответил, что политика его не интересует.

Он уехал в Нью-Йорк и там сдал экзамен на звание ученого агронома. Ему предложили отправиться в Канзас: теперь он должен был стать и впрямь профессором. Но тогда им снова овладела тоска. Он собрался было в Чили, чтобы заняться там селитрой, когда до него дошли первые вести о русской революции. Он сразу решил ехать домой. Он никак не мог себе представить родной город, полный песен, криков, флагов. Он действительно никогда дотоле не интересовался политикой, но теперь он понял, что с его народом происходит нечто необычайное, и он ответил Мартинесу, который звал его в Чили: «У меня начинается вторая жизнь. И не здесь, а там...»

На пароходе он вдруг с тревогой подумал: «А ведь у меня там нет никого близкого. Сема?.. Но где найти такого Сему? Да, может быть, он и умер...»

Родной город показался ему, несмотря на песни и флаги, тихим, спокойным, сонным. Он пошел на митинг. Ораторы говорили о чем-то непонятном. Он спросил соседа: «Что такое корниловщина?» Тот не ответил. Он понял, что революция — это странное и чужое ему дело. С месяц он похандрил, а потом взялся за свою работу. У него был теперь план: изменить лицо русского севера. Он попробовал рассказать об этом на одном из публичных собраний, но какой-то человек в линялой студенческой фуражке начал на него вопить:

— Сейчас решаются судьбы России! Большевики сговорились с немцами! А вы о чем думаете? Вы сумасшедший или провокатор!

Лясс обозвал студента «стоеросовым дураком» и ушел прочь. Вскоре он отправился один в экспедицию — решил

произвести предварительные работы за свой страх и риск.

У него в лесу была палатка: там он хранил книги, чертежи, аппараты. Он редко встречал людей. Он знал, что верстах в ста от его палатки происходят стычки между англичанами и красными. Но это было политикой, а Лясс был ботаником.

Как-то вечером он заметил среди кустарника человека, одетого в русскую солдатскую шинель. Было темно, и Лясс не стал разглядывать человека. Тот спросил:

— Ты кто?

— Ботаник.

— Спрятать можешь? Сейчас англичане придут.

Лясс хорошо знал этот участок леса. Он повел беглеца к яме. Они прошли через лужайку. Лясс поглядел на человека и смутился: лицо показалось ему знакомым. Но узнал его Сема Валуев. Они не смогли ни поговорить друг с другом, ни порадоваться встрече. Лясс сказал:

— Ложись. Здесь не найдут.

Он остался поблизости, чтобы отвлечь англичан разговором. Действительно, вскоре пришел английский унтер с двумя солдатами. Один на ломаном русском языке спросил:

— Большевик приходить?

Лясс заговорил по-английски. Сначала англичане обрадовались, потом начали недоверчиво переглядываться: они приняли Лясса за шпиона. Его отвезли в Архангельск, а там передали белым. Полковник кричал:

— Сволочь, сколько ты от большевиков получаешь?..

Лясс два месяца просидел в тюрьме. Сначала он сидел с чахоточным подростком Зильбергом. Зильберга расстреляли. У Лясса было много свободного времени, и впервые в жизни он думал не о зверях, не о камнях, не о растениях, но о людях. Когда его выпустили из тюрьмы, он стал разыскивать большевиков. Он познакомился с портовым рабочим Холодковым и сказал ему:

— Дайте мне инструкции. Я хорошо говорю по-английски. Я буду агитировать среди ихних солдат.

Холодков ответил:

— Подожди. Завтра обсудим.

На следующий день он сам прибежал к Ляссу:

— Валяй! Листок пиши, что солдаты нам не враги, а бьем мы капиталистов и этого Джоржа...

Месяц спустя англичане спешно погрузились на суда, и Лясс мог снова заняться свойствами различных почв.

Он подготовил обширную записку о продвижении пшеницы на север. Записка потерялась среди других проектов. Объехав полсвета и узнав в жизни всяческие опасности, Иван Никитич плошал перед бумагопроизводством. Он снова почувствовал свое одиночество. Холодков умер от сыпняка. Сема Валуев исчез. Лясс два года проработал в агрономическом институте. Потом он перезимовал на Колгуевом острове. Он вернулся оттуда, полный новых проектов. Но эти проекты были встречены с опаской. Одни говорили: «Фантазии, почти что бред», другие уверяли, что Лясс вредитель. Так, на положении полубезумца, полупреступника, он прожил еще год. Наконец все ему опротивело, и он поехал в совхоз как простой рабочий. Он разводил свиней, тщательно скрывая от заведующего свое прошлое. Там-то он снова встретился с Валуевым. На этот раз они могли всласть наговориться. Сначала Лясс рассказал Валуеву свои похождения:

— Я-то музыкантом мечтал стать. А вот всем был, но только насчет музыки ни-ни. Слуха у меня нет — «Интернационал» с арией тореадора путаю. Зато американским профессором был. А теперь у свиней поросят принимаю. Смехота! Но ты как? Ты ведь в астрономы метил.

Валуев рассмеялся:

— Как ты это помнишь? Я и то позабыл. Ну, у меня жизнь попроще. Работал на строительствах. Колею прокладывали. Вступил в партию. Два годика отсидел. Потом воевал с немцами. Потом выбрали в военно-революционный комитет — Двенадцатая армия. Дрался с белыми. Все как полагается. Потом поставили меня во главе железнодорожного строительства — что называется специалист. Четыре года проработал и взвыл. Понимаешь, знаний нехватало. Говорит со мной инженер и этак презрительно улыбается. Ну, пошел я в обком, говорю: «Освободите для учебы». Это в двадцать седьмом было. Смеются: «Стар ты для этого. Трудно в такие годы начинать». Жена тоже отговаривала: «Стыдно, вместе с Женькой учиться будешь». Сын-то у меня большой: мне, когда я женился,

девятнадцать лет было. Значит, вместе с сыном и поступил во втуз. Сначала я думал, что голова треснет. По ночам приходилось подгонять. Особенно трудно с математикой. Хожу как помешанный. Жена что-нибудь спросит, а я ей из книжки отвечаю. Зато какое удовольствие! Я когда до сопротивления материалов дошел, прямо голова закружилась. Теперь другой я человек. Как будто с глаз катаракту сняли. Вот прислали меня сюда — дорогу проектируем на Сыктывкар, так я теперь сам все вижу, как да что. Эх, чорт побери, Ваня, какую мы здесь штуку накрутим! Через десять лет сами будем удивляться: что это за государство!.. Вот я одного не понимаю, как это ты после такой эпопеи в маленьком совхозе сидишь?

Иван Никитич рассказал Валуеву о всех своих злоключениях. Тот слушал и ругался: «Ух, сволочи, бюрократы паршивые!..» Потом он сказал: «Шестого я в Москву еду, значит, вместе поедем».

Когда Лясс вошел со своим проектом в кабинет человека, лицо которого он прежде знал по портретам, он оробел, как школьник. Он начал бубнить о том, что Северный край заслуживает внимания, что бедность природы — понятие относительное, что нельзя опасаться смелых проектов. Он думал: сейчас остановит, скажет: «Бред». Но вместо этого он услышал: «Товарищ, говорите по существу, как вы представляете себе продвижение пшеницы?..» Тогда Лясс оживился. Он забыл, кто перед ним. Он только спросил: «Сколько вы мне времени даете?» — «Да вот через час заседание». Лясс, однако, проговорил два часа. Он изложил все свои опыты. Сто восемьдесят морозных дней. Созревание невозможно. Пшеницу необходимо яровизировать. Вопрос влажности и температуры. Все это очень просто. За пшеницей смогут последовать и другие культуры. В районе Архангельска легко разводить даже арбузы. Торфяные болота? Разумеется. Но их легко осушить. Не требуется наносить землю или песок. Примешивают известь и минеральные удобрения. Северный край превращается в черноземную область. Наконец на шестьдесят пятом градусе можно разводить абсолютно все: яблоки, даже шелковичные деревья. Он кончил. Глаза ботаника, бывшего золотоискателя и зверолова, встретились с глазами человека, который должен знать все: рост

пшеницы, процент кремния в чугуне, профиль дорог, количество выпускаемых автомобилей и программу средних школ, постройку яслей, борьбу с саранчой, осушение болот и ирригацию пустынь, крепость хорошей стали и слабость обыкновенного человеческого сердца. Лясс заглянул в эти глаза и улыбнулся: он понял, что сегодня его мечта сбылась — пшеница двинется на север.

Лясс работал день и ночь. Проект стал наполовину действительностью. Прошлой осенью 4 октября яровизированная пшеница доспела. Лясс продолжал опыты над различными сортами для яровизации. Путем скрещивания он создал новый сорт и окрестил его «победа». Он знал, что в зоне вечной мерзлоты будут расти помидоры, дыни и малина.

13

Когда у Лясса выпадает свободный час, он берет роман. Романы он читает по-своему — как чужие дневники. Вот ему рассказали еще одну жизнь. Он свято верит в существование всех героев, и когда Лидия Николаевна ему как-то сказала: «Ведь никакого Давыдова и не было — просто это Шолохов придумал», он зацыкал на нее: «Ну, ну, рассказывайте! Такое нельзя выдумать. А потом, зачем выдумывать, если на самом деле что ни человек, то роман?» Но после этого разговора он стал относиться к Лидии Николаевне с легкой опаской. Вот он как-то пошел в театр. Лидия Николаевна играла женщину-комиссара. Она стреляла, потом ее убивали. После он спросил ее: «Вы что же, воевали с белыми?» Она рассмеялась. «Да что вы, я ведь тогда девчонкой была». Лясс призадумался. Лидия Николаевна показалась ему способной на ложь, а лжи он не выносил. Поэтому она и Шолохова подозревает... Но увидав глаза Лидии Николаевны, когда она слушала его рассуждения об яровизации, он успокоился: девчонка, не зря он ее в Мишку произвел. Вероятно, поэтому никогда Иван Никитич не мог почувствовать в Лидии Николаевне женщину: она была для него или ребенком, или актрисой. Когда Ксюша как-то, вздохнув, сказала: «Вот женились бы вы на Лидии Николаевне. Чего зря одинокому жить» — он расхохотался: «Ну и придумала! Как же на ней можно

жениться? Что это тебе — баба? Это актриса. У них свои штуки. Представляют они, вот что...» При всем этом он успел привязаться к Лидии Николаевне, и каждый раз, когда она приходила, он встречал ее таким радостным криком, что немедленно все псы, даже сонный Байбак, начинали восхищенно лаять.

Так было и вчера. Лидия Николаевна забежала на минуту. Оказалось, у нее дело. Иван Никитич смеялся: «Ну какое у вас может быть ко мне дело? Пшеницу на сцене хотите показывать?» Лидия Николаевна объяснила: иностранец здесь, немец, он очень интересуется работами Лясса, просит его принять. Лясс сразу отрезал: «Ни за что! Наверно, журналист. В шею!» Тогда Лидия Николаевна стала его упрашивать. Она делала это вовсе не ради Штрема: Штрем ей был скорей неприятен. После той ночи она ни разу с ним не разговаривала. Только третьего дня он подошел к ней и напомнил об обещании свести его с Ляссом. Ну, скажет: «Лясс не захотел вас принять», и все. Настаивала она по другой причине: ей хотелось, чтобы Лясс исполнил ее просьбу. Пусть потеряет десять минут зря. Тогда она почувствует — уступил, принял ради нее. Она сделала умильную рожицу, а руки подняла вверх: «Видите, служу, как Урс». Лясс попробовал было притвориться сердитым, но не выдержал и рассмеялся: «Чорт с ним! Только имейте в виду, это ради вас действительно исключение. Я ведь никого не пускаю...»

Штрем сейчас никак не походил на призрак белой ночи. Это был обыкновенный немец с нежноголубыми глазами и с бритым, как бы срезанным затылком. Одет он был в просторный дорожный костюм. Из карманчика выглядывала золотая головка вечной ручки. Все в нем свидетельствовало о чистоте и скромности. Он поздоровался с Ляссом вежливо, даже несколько слащаво, как коммивояжер, который понимает, что ему надо завоевать сердце чрезвычайно своенравного клиента. Он улыбнулся не только Ляссу, но и собакам, даже чучелу какого-то зверька, которое мирно дремало на шкафу. Лясс не попросил его присесть. Он только крикнул Урсу: «Замолчи! Тебя здесь нехватало!» Потом, повернувшись к Штрему, сказал.

— Если насчет интервью, — бесполезно.

Штрем, прежде нежели ответить, сел, осторожно положил ногу на ногу и оттянул брюки.

— Я не журналист. Разве я посмел бы побеспокоить вас ради газетной статьи? У меня к вам чрезвычайно серьезное предложение. Несколько дней назад я читал ваше заявление по поводу селекционной станции...

Лясс в изумлении прервал его:

— Это каким образом вы его читали? Оно в печати не было. Это, так сказать, внутренний документ.

Штрем продолжал ласково улыбаться.

— Мне его показали как специалисту. Я знаю теперь, в каких условиях вы работаете. Ученый с вашим именем не может получить средств на оборудование новой лаборатории. Впрочем, я лично нахожу это естественным. Выслушайте меня прежде, нежели протестовать... В Советском Союзе яровизация пшеницы — роскошь. Или реклама. Согласитесь сами, когда половина земель на Украине и на Северном Кавказе вовсе не засеивается, смешно думать о приобщении севера к новым культурам. Другое дело за границей...

Лясс теперь с любопытством разглядывал Штрема.

— Интересно! Я ведь за границей шестнадцать лет не был. Вот затылок у вас выразительный. Это что же, вы по случаю Гитлера побрили? Или индивидуальный акт? А это, значит, вечное перо? Ваттерман? Или у вас теперь новые марки? Так-с! Очень хорошо! Значит, в колхозы вы не верите? Так-с! Ну, а зачем вы собственно говоря ко мне пришли?

Штрем не изменился в лице. Рассуждения Лясса он выслушал все с той же вежливой улыбкой. Когда Лясс замолк, он продолжал свою речь, как будто и не было разговора о затылке или о пере.

— За границей положение иное. Несмотря на мировой кризис пшеницы, имеются страны, которые чрезвычайно заинтересованы вашими работами. В частности Швеция. Да и у нас в Германии много говорят о ваших опытах с шелковичными деревьями. Дело в том, что принцип закрытой экономики торжествует повсюду. В этом вопросе мы ваши ученики. Шведы не хотят покупать канадскую манитобу. Что касается нас, мы хотим все иметь на месте, особенно учитывая возможность военного конфликта. У нас

вы сможете проявить свой научный гений. Фирма Краузе, в частности, просит передать ей семена установленных вами новых сортов и данные об их яровизации. Гонорар вы должны определить сами, причем я гарантирую вам тайну. Деньги будут внесены на ваше имя в один из стокгольмских банков. Я знаю настроения научных деятелей здесь. Вы напрасно возмущаетесь. Я не чекист и не провокатор. У меня имеются рекомендательные письма от ваших заграничных коллег. Директор фирмы Краузе беседовал с министром. Если вы остановитесь на Швеции, вам предлагают кафедру в Упсале и руководство селекционной станцией. Отсюда вы можете получить научную командировку, а потом...

Штрем продолжал говорить, хотя Иван Никитич его больше не слушал. Сначала Лясс смеялся, потом начал быстро шагать из угла в угол, что-то пришептывая, наконец он подошел к Штрему и стал кричать ему в ухо: «Хватит! Хорошенького помаленьку!» Штрем замолк, только когда Иван Никитич в бешенстве крикнул:

— А ну-ка, Пропс, хватай его!

Пропс к людям относился сдержанно: часто рычал, но кусаться не кусался. Штрем обиделся.

— Этого я все же не ожидал. Очевидно, вопрос воспитания...

Он вышел из комнаты, сопровождаемый лаем четырех собак и нарочитым, деланным хохотом Ивана Никитича. Когда Штрем ушел, Иван Никитич в изнеможении опустился на табуретку. Он сидел, нелепо покачиваясь. Что произошло? Может быть, это приснилось ему? Или какой-нибудь дурак решил над ним посмеяться? Но нет, он о кафедре говорил. Упсала! Какая мерзость! Почему таких пускают?.. Наверно, приехал как турист. Или с чужим паспортом... Мерзавец, по-русски здорово говорит! Надо в ГПУ позвонить. Ну и подлец! Испоганил комнату...

Иван Никитич долго не мог успокоиться. Когда же он, наконец, прилег на диван, в окошко робко постучали. Это была Лидия Николаевна. Возвращаясь из театра, она увидела свет в окне, ей захотелось сказать Ивану Никитичу «спокойной ночи». Она сама понимала: глупо мешать, еще, чего доброго, рассердится, но желание оказалось сильней.

Увидав, кто стоит под окном, Иван Никитич закричал:

— Ах, это вы!.. Очень хорошо! Я уж не знаю, работаете ли вы с ним на паях, но только знаете что — уходите! Врать — это, может быть, у вас в театре и полагается, но я этого не люблю. Заврались вы, голубушка! Уходите-ка! И поскорей!..

Он не слышал, ни как Лидия Николаевна лепетала что-то, ни как она вскрикнула: «Вы не имеете права так говорить», ни как она заплакала. С шумом он захлопнул окно и снова свалился на диван.

Несколько минут спустя он опомнился: кажется, зря я ее обругал? Девчонка! Откуда ей знать про махинации с семенами? Просто понравился ей этот немчик, она и согласилась. Напрасно он погорячился. Иван Никитич подбежал к окну и, высунувшись, крикнул:

— Лидия Николаевна! А, Лидия Николаевна!..

Но никто ему не ответил: Лидия Николаевна была уже далеко. Она бежала в гостиницу, стараясь удержать слезы. Она не могла собраться с силами и подумать: почему Лясс прогнал ее? Она просто чувствовала, что потеряла свою последнюю радость. Больше она не сможет приходить к ботанику, играть с Урсом, слушать сказки об ячмене. Все кончено! Да и должно было кончиться: Лидия Николаевна не может быть счастливой. Стоит ей на минуту обрадоваться, как сейчас же ей напоминают: «Помни, милая, свое место». Так было с Лембергом. Так всегда бывало. Ее место — несчастье. Но почему же Лясс?.. Тогда она сразу вспомнила: Штрем! Как она могла сделать такую глупость? Наверно, немец его обидел. Немец — страшный. Он сам не хочет жить и другим говорит о смерти. Он мертвый. Как она. Она не может больше жить. Вот снова кривлялась в театре перед скучающими людьми, говорила о подвиге, а в зале шушукались и зевали. Она не актриса, она вечная заместительница. Другие играют, а она дублирует. Как попугай. Ей надо бы жить с этим немцем. Они друг друга стоят. А ботаник прав... Как он кричал!.. Мушка перепугалась. Теперь, наверно, отдышался, собакам говорит: «Обидели меня». Ну да, обидели не Лидию Николаевну, обидели Лясса. Он очень, очень хороший...

Это Лидия Николаевна думала уже лежа в своей кровати. Она увидела обиженного Лясса и Мушку, которая лижет его руку. Слезы все лились и лились, но теперь они облегчали сердце, и заснула она со словами ласки: они шли к сердитому человеку, у которого щетина на щеках, а глаза грустные и серые.

Штрем чуть было не столкнулся с Лидией Николаевной в дверях гостиницы. Он во-время ее заметил и пережидал за углом. Он сразу понял причину ее слез. Впрочем, эти слезы его никак не занимали. Трудно передать, что происходило в его голове после того, как он вышел от Лясса. Исчез сразу деловитый представитель Краузе, его место занял маниак, самоубийца, докучный призрак, однажды смутивший доброго шведского капитана. Призраку было слишком тесно в просторном дорожном костюме. Он расстегнул пуговицы жилета: он задыхался. Лясса он вспоминал с ненавистью: этот русский прост и крепок, как дерево. Штрем понимает трепет листьев: листья скоро опадут. Но он ненавидит извилины корней. Он ненавидит живучесть.

Придя в гостиницу, Штрем не дотронулся до записной книжки: он был слишком близок к самой сути познания, чтобы анализировать и рассуждать. Он справился в конторе, когда отходит поезд на Москву: он засиделся в этом городе. Потом он сложил вещи и тоскливо посмотрел в окно: все та же нескончаемая белая ночь. А зимой здесь и в полдень темно — тоже невесело! Он громко зевнул, потянулся и достал из саквояжа фляжку с виски. Он налил виски в большую эмалированную кружку, выпил залпом, мучительно поморщился и прилег на кровать. До поезда оставалось еще четыре часа. В полусне он подумал: будь я поэтом, я сейчас написал бы прекрасную поэму. Но разве Краузе поймет такое?.. Впрочем, все, кажется, к лучшему. Надо только двигаться. Самое страшное — ждать... Он уже дремал, но неожиданно вздрогнул: ноги, казалось, двигались сами по себе.

Тревожную ночь провел и Лясс. Он попробовал уснуть, но ничего из этого не вышло. Тогда он сел за работу. К утру он вспомнил о Лидии Николаевне. Ему стало грустно и стыдно. Он решил, что пойдет к ней в гостиницу — мириться. Но в восемь утра его вызвали на стан-

цию. Он просидел там до шести. Оказалось, что с горохом Макеев напутал. Пришлось все проверять сызнова. Около семи он забежал домой, чтобы передохнуть: вечером он должен был делать доклад в комсомольском клубе. Он думал, что доклад назначен на девять, оказалось — на семь. Отдохнуть так и не удалось. Уходя, он сказал Ксюше:

— Если Лидия Николаевна придет, скажи, что не сержусь. Нет, погоди, я лучше для нее записку оставлю.

Иван Никитич пошарил по карманам. Бумаги не нашлось. Он вытащил коробку из-под папирос и написал на ней: «Лидия Николаевна! Знаете что — давайте мириться! Немец ваш подлец, но на вас я зря налетел. Так что произвожу вас в звание Мушки».

Ксюша не знала, что произошло ночью. Она обрадовалась: письмо пишет, значит скоро поженятся!

Лясс делал доклад об яровизации пшеницы. Он показывал фотографии, рисовал на доске границы различных зон, даже семена вытащил из кармана. Кончил он неожиданно:

— Вы что думаете? Большевики — это просто партия? Вот в Америке две партии: демократы и республиканцы, и ни один чорт не знает, в чем собственно говоря разница. Нет, большевики — это племя. Была у нас в Средней Азии пустыня. Нет пустыни — сады. Вот я рассказал вам, как мы здесь болота осушаем. У нас этой вечной мерзлоты и вообще не будет. Что посеем, то и вырастет. Это человечество в пеленках думало, что господь бог творит. А потом говорили — «природа», этак с уважением, ничего, мол, против природы не пропишешь. Ну, а мы, большевики, и природу меняем. Сами себе творим, как господь бог. Реки у нас текли. Если неудобно — мы русло меняем: теки здесь! На севере льды были — и только. Теперь у нас пассажирские рейсы будут: Архангельск — Владивосток. С остановками. Ведь вы поймите, мы эту штуковину только-только начинаем! Из Батума в Мурманск будем в один день перелетать. А сам Мурманск? Я там прошлым летом был — сказка! Выходит человек, смотрит — вчера кочки с лопарями, а сегодня санаторий в этаком новом стиле. Раньше как думали? «Человек — это нечто неизменное». Я помню, отец говорил: «Ну, паровоз изобрели, ну, у англичан конституция, а человек, он — бестия, он

свое знает — слямзил красненькую, выпил стопочку, закусил килькой, и готово — ложись, умирай». А мы не только что пшеницу на полюс приведем, мы и человека переделаем, он себя не узнает. Прочитает, как мы жили, и руками разведет: что это за дикари!.. Как мы — о первобытных людях. Только прежде на это десять тысяч лет требовалось, а мы и в сто управимся. Я вот себя приведу в пример. Чем я только в жизни не был? Шлялся по миру — туда-сюда. Если со стороны послушать — интересно, а на самом деле — пустота. Двигался я много, а внутри у меня холод был, как на полюсе. А когда я увидал большевиков, понял: это, чорт возьми, люди! Со мной в камере мальчонка сидел. Его с наганом допрашивали: «Где типография?» А он в ответ насчет Ленина кричал: какой великий Ленин. Это вам не в клубе доклады читать. Или был у меня приятель с детства — Сема, теперь он товарищ Валуев. Тридцать восемь лет ему было, а он за учебу сел. И когда я увидал такое, я и сам переменился. Как будто привили дичку черенок. Другой я теперь человек, и людей вижу по-другому. Я теперь знаю, зачем все это. Жить очень хочется! Все у нас будет новое: камни новые, растения новые, звери новые, а главное — новые люди. Ко мне вчера один подлец приходил. Иностранец. Рассказывал, как они на наши семена целятся. Валютой думал соблазнить. Так вот, если они сюда сунутся, я, можно сказать, старик, ботаник — сижу с семенами, — я все брошу, стрелять пойду. Потому что это надо во как защищать. Ведь только-только мы начали. А что будет, что только будет!..

Иван Никитич не выдержал, голос сорвался, он махнул рукой и неуклюже слез с трибуны. Вокруг него весело шумели товарищи Мезенцева — комсомольцы и комсомолки.

14

Штрем лежал на верхней полке. Внизу какой-то спец то раскрывал портфель и, обрастая кипами бумаг, бормотал: «Значит, ящично-строгательный с присыпкой», то читал «Правду», грузно похохатывая над фельетоном, то пил чай, причем и это у него звучало мажорно, так он прихле-

бывал, прищелкивал языком, мурлыкал. Проводник, время от времени заглядывая в купе, спрашивал:

— Нальем?

И спец всякий раз победоносно громыхал:

— Обязательно!

Штрем его ненавидел упорно и настойчиво, как он ненавидел теперь весь мир: баб на платформе, нескончаемый лес и кусочек голубовато-молочного неба. Он не мог ни спать, ни думать. Он вытащил записную книжку. Перед ним были ровные строчки, будто напечатанные: чем сильней волновался Штрем, тем старательней он выводил все черточки, восклицательные знаки, завитушки заглавных букв. Он перелистал страничек двадцать.

«180 р. Письмо в Гамбург. Влюбиться в актрису? Не выйдет. Все известно заранее. Прежде бывала минута — я терял контроль над собой. После скандала в Бремене и это кончилось. Остается скучная механика. Лучше тогда отложить до Европы, там по крайней мере соответствующая декорация».

«Говорил с Г. Он хочет 800 в валюте. Я лично считаю это нормальным, но К. скуп, а главное, глуп. Может отказать. Или ответит: «Давайте разделим сумму пополам». Одно из двух: или я действительно компаньон, или обыкновенный служащий. Надоело!»

«Вспомнил почему-то смешную историю. Я позвонил Шульцу: «Я сегодня не приду обедать: гости. Красавица жена одного берлинского адвоката. Она лежит на диване, а кругом розы. Я ей стихи читаю. Завидуешь?» Полчаса спустя позвонил ему снова: «Слушай, я все это выдумал. Никакой дамы нет. А обедать я все-таки не приду: живот болит». Представляю, как он злился».

«Снова недостает двух воротничков, голубую рубашку порвали. Не умеют стирать. Простыни воняют тухлой рыбой. Нельзя спать. Наверно, мыло из тюленьего жира. Мне сегодня снилось, что я утонул».

«Я заметил, что воспринимаю все в зависимости от действия желудка. Может быть, и это материализм? Кстати, разговор с Ш. об идеологии. «Прочтите Маркса, прежде чем судить». Я ему ответил вежливо, что прочту, но, конечно, читать не собираюсь: скучно. Вот это самое страшное: часы тикают, даже попахивает мертвецом. Ш. мне

долго объяснял. Получается, что марксизм — вроде фатализма: ничего не попишешь. Например, если Штрем сволочь, то это естественно: порождение умирающего класса и т. д. Удобно! Хотя лично я предпочитаю револьвер».

«К. думает, что это люди, с которыми можно иметь дело. Идиотизм! Они так и не поняли, что такое деньги. У нас пишут 1 000 000 марок 00 пфеннигов, а здесь просто 1 м. Ясно?»

«Вчера пришлось удовлетворить потребности. Особа немного говорила по-немецки. Ничего примечательного. Спрашивала, какие у нас танцы танцуют. Вела себя корректно. Не все позволяла. Даже хотела уйти: «Я вам не кокотка». Дал ей один фунт и бутылочку одеколона».

«Добиться, наконец-то, свидания с Л. Надоело!»

«Здесь одного субъекта приговорили за растрату к десяти годам. С. показал мне его стихи, он в тюрьме сочинил. Я даже переписал:

Прошение о пересмотре дела
Могу закончить я стихом:
Ужель все, что написано пером,
Рубить придется топором?
Мне десять лет?
О нет!
Верхсуд, Верхсуд,
Мне эти путы просто не идут!

Особенно хорошо второе:

Зачем, зачем я небо вижу?
Зачем я воздухом дышу?
Тебя я, жизнь, ведь ненавижу
И с отвращеньем подхожу.
Жизнь, ты зачем меня взрастила?
Чтоб кинуть здесь почти у гроба?
Мечты ты все похоронила.
Остался насморк, суд и злоба.

Написанное оправдано: денежки-то он прикарманил. О чем мечтаю, то и делаю — этому можно позавидовать».

«Сегодня, наконец-то, состоится свидание с Л. Значит, дня через три-четыре — Берлин. Надоело невыразимо! Постоянная имитация бури. Ну, надо итти к этому огороднику!»

Штрем лениво перечел записи. Это были чьи-то чужие мысли, может быть и забавные. Сейчас его не занимали ни марксизм, ни поэзия. Он думал об одном: умереть, просто и бесшумно. Машинально он проводил рукой по заднему карману, где лежал револьвер. Внизу спец пил чай; сморкался; жизнь шла, и Штрем поддакивал грохоту колес: «мы едем, мы едем, мы едем»; он перебирал замлевшими ногами: двигаться, обязательно двигаться! То, что за окошком мелькали избы, деревья, столбы, его несколько успокаивало. Он мог не думать о том, что будет завтра. Спец пробасил:

— Может, чаю попьете? Вот жена коржей надавала...

Штрем рассмеялся.

— Коржей? А моржей нет? Чаю? Можно и чаю. Можно и без чаю.

Спец испуганно прибрал тонкие листочки с расплывшимися цифрами и притих. Теперь только колеса разговаривали и за него и за Штрема.

Потом была Москва. В посольстве пахло сигарами. Штрем, усмехаясь, говорил:

— По крайней мере одно дело удалось...

Поезд отходил вечером, и Штрем, не зная, как убить время, отправился в ресторан. Быстро он выпил несколько стопок. Икра была склизкая и пахла рыбой: Штрем вспомнил простыни гостиницы. Официант косил; Штрему казалось, что официант все понимает. Штрем снова ощупал задний карман и прошел в уборную. Все в голове спуталось: марксизм; поэт в исправдоме; актерка; плохо работает желудок; проза, неизбежная проза; Краузе будет злиться; а впрочем, кто это Краузе — косой официант, спец с присыпкой?..

Он бежал по длинному кольцу бульваров. Ребята играли в мяч. Какой-то паренек громко целовал девушку в щеку, приговаривая: «Нюточка, а, Нюточка!» Трава была серая, и Штрем не знал, чем ему дышать. Он упал на скамейку. Рядом сидела старушка в платочке. Она ласково поглядела на Штрема:

— Заморился? Все теперь так — бегают как угорелые. Дочка-то у меня...

Штрем не дослушал. Он снова бежал. Ни первые фонари, неуверенно проступившие среди сумерек, ни сами

сумерки, это полузабытое им ощущение темноты, способной снисходительно прикрыть происходящее, ни толика свежести, которую слабый ветерок донес до Штрема, — ничего не помогало. Вдруг Штрем остановился на углу двух уличек. Он вспомнил глаза старушки. Почему она его пожалела?.. Дочка?.. Что же, дочка тоже мечется. В Лесоэкспорте. Или еще где-нибудь. «Я здорово несчастна», — это актриса сказала. С актрисой он поступил по-хамски. Ее теперь допрашивают: почему привела? Хорошо быть абстрактным мерзавцем. Например, взорвать дом или застрелить незнакомого, но обязательно незнакомого. Получается по-марксистски: историческая неизбежность. А с актрисой он просто напакостил. Конечно, по существу и это безразлично. Но руки-то он моет. Даже если через час умереть — руки все равно полагается помыть...

В купе еще до отхода поезда он написал Лидии Николаевне: «Я кругом перед вами виноват. Вы актриса, я коммивояжер. Как вы могли догадаться, зачем я хочу увидеть Лясса? Кстати, этот последний плохо воспитан и чересчур живуч. Вы абсолютно во всем невинны. Вы вроде Дузэ, и если вас нужно уничтожить, то лишь постольку, поскольку людям запретят мучать друг друга интонациями голоса. А я? Я сейчас еду далеко и без всякого резона. Впрочем, это никого не может интересовать. С глубоким уважением Иоганн Штрем».

Он положил письмо на столик, и проводник, который стлал постель, спросил:

— Прикажете отправить?

Штрем ничего не ответил, а, оставшись один, заклеил конверт и потом тщательно его порвал. Клочья он кинул в окно. Перед ним был все тот же бесконечный лес. Он опустил штору и забылся.

Подъезжая к Варшаве, он вдруг взволновался: перед ним добродушно лоснилась физиономия Краузе. Штрема помутило. Он не хочет ехать в Берлин! Он пересчитал деньги: семьсот долларов. Он вылез в Варшаве. В тот вечер он снова много пил. Потом он очутился с какой-то женщиной. Она ему говорила по-немецки:

— Дай доллар!

Он дал ей два и попросил:

— Только не раздевайся.

Она лепетала «коханый». Он зевнул и замер. Потом было утро. Он взял билет в Вену. Кто-то неотвязно спрашивал: «Какая это станция? Какая это станция?» К вечеру зарядил дождь, и грустно мелькали платформы, отсвечивали фонари. Мелькали и люди в различных формах: поляки, чехи, австрийцы. Таможенники залезали в чемоданы. Штрем морщился: у них грязные руки. Каждый раз с удивлением он глядел на свои вещи: на аккуратно сложенные рубашки, на книги, на папки с пронумерованными бумагами. Он никак не мог себе представить, что все это его жизнь. Зачем он так старался жить? Неужели, чтобы теперь бежать неизвестно куда?..

Колеса продолжали свой несмолкаемый рассказ. В их поспешности была поспешность людей. Какая-то дама торопилась в Зальцбург: ее дочь была при смерти. Она доставала из сумочки носовой платок, и оттуда выглядывала страшная телеграмма. Она знала, куда она спешит, она искала одного: слабого дыханья, отсвета жизни в глазах, которые уже покрывались мутью. Колеса твердили: «Успею, не успею». Другим колеса твердили другое: они сулили удачные сделки, работу, веселые каникулы, кроны, злоты, шиллинги, поцелуи. Но Штрему они говорили одно: «Мы едем, мы едем, мы едем...»

Он решил поехать в Париж. Это произошло внезапно: мелькнуло название города и какое-то смутное воспоминание. Штрем был в Париже много лет назад. Он вспомнил ярмарку на большой площади: глаза выедал белый жестокий свет, тянулась в ларьке тягучая нуга, карусель кружилась до одурения. Он сказал носильщику:

— В Париж.

Снова зарябили станции. В буфетах пахло сосисками и солодом. Надрывался мальчик с газетами. Женщина мяла платочек и кричала: «Пиши!» Напротив Штрема сидел человек в пестрой кепке. Он мучительно морщился и хватался рукой за щеку, а глаза у него были пустые от несчастья. Может быть, у него болел зуб? Или он припоминал свое прошлое? Он вылез в Цюрихе, и Штрем раздраженно крикнул ему:

— Вы ничего не забыли?..

Дождь оказался постоянным. Поезд убегал от него, но дождь настигал. Еще таможенники. Еще фонари. Еще

станции. Ночью в купе вошел толстяк и сразу начал дремать. Сон его гнул то направо, то налево. Он пробовал сопротивляться, время от времени вскакивал, отряхался, но сон, плотный и вязкий, снова его засасывал. Он спал, приоткрыв рот, и оттуда исходил легкий свист. Штрем вышел в коридор; из соседнего купе доносился храп. Ночью люди сбросили с себя все человеческое: они сопели, повизгивали, чесались. Их лица, освобожденные от мыслей, казались кусками мяса. Кто-то во сне скрежетал зубами. Штрем вспомнил ночь из Варшавы в Вену и крикнул: «А это какая станция?» Никто не ответил. Ночь длилась, и колеса продолжали доказывать: «Мы едем, мы едем, мы едем».

В Париж он приехал вечером. С удивлением он поглядел вокруг себя: ни ярмарки, ни карусели. Носильщик, кряхтя и поругиваясь, понес его вещи в маленькую гостиницу, находившуюся по соседству с вокзалом. В номере пахло пудрой и мышами. Штрем раскрыл окно. С улицы донесся хриплый тенорок граммофона. Это был романс о неразделенной любви. Штрем вспомнил лоскутки письма: они пробелели где-то среди березок Полесья. Он помылся. На полотенце остались черные пятна: он так и не отмыл дорожной копоти. Он подумал: надо сказать, чтобы дали чистое полотенце, и вдруг впервые за долгое время рассмеялся. Он смеялся легко и доверчиво: чистого полотенца больше не потребуется!

Потом он сел в кресло. С огромным напряжением он подумал: зачем я сюда приехал? Это длилось долго: может быть, час, может быть, два — Штрем не мог понять этих четырех ночей в поезде, доводов колес, своего страха. Он посмотрел — револьвер на месте. Но ведь револьвер был с ним и в Архангельске и в Москве. Тогда он вышел в уборную. Почему же он забрался сюда? Чего он испугался? Комсомольцев, которые горланили на улице? Старушки? Исторической неизбежности? Да, он испугался. Этот путь был необходим. Он никуда не спешил. Он даже никуда не ехал. Он попросту убегал. Париж для него легок одним: далеко отсюда, кто скажет, как далеко до тех берез!..

Штрем вдруг стал деловым, серьезным представителем солидной фирмы. Он привел в порядок бумаги, составил

счет дорожных издержек, написал Краузе. Он не ругал Краузе за бездушье, не просил прощения за возможные хлопоты. Он написал коротко и сухо. На одну минуту его перо замерло: ему захотелось в конце поставить «прощайте». Но он сдержал себя, он старательно вывел: «В ожидании вашего благожелательного ответа, остаюсь с глубочайшим почтением...» После этого он позвонил. Пришел заспанный коридорный. Штрем дал ему письмо и двадцать франков.

— Вы отправите это завтра заказным. А теперь можете итти. — Он добавил тихо, почти задушевно: — И не сердитесь, что я вас разбудил. Спокойной ночи!

15

«Заболонная гниль — это поражение древесины, которое часто развивается от поражения ствола...» Варя записывает, и рука ее чуть дрожит. Лекция кончилась, но она все еще сидит над раскрытой тетрадкой.

Растет ель; она высока и прекрасна. Подходят вальщики с пилой. Потом они ударяют топором. Но красавица ель не стоила работы: ее древесина тронута гнилью. Гниль пошла от незаметной раны, от легкой надрубки. Красавица ель была мертвой.

Лицо Вари сурово и замкнуто. Когда Маруся спрашивает: «Ты что, все фауты записала?» — она молча кивает головой. Надо итти домой. Петр сказал, что вернется рано. Она думает о Мезенцеве, и лицо ее остается суровым. Зачем они повстречались? Зачем ходили расписываться?

У Вари большие серые глаза, а голос грудной и ласковый, как будто ей трудно вымолвить даже самое простое слово: голос идет из глубины. Не раз, обнимая Мезенцева, Варя говорила ему тихо и настойчиво: «Слушай», — и замолкала. Он ждал, потом спрашивал: «Что?» Но Варя молчала. Она не знала, как передать большую тяжелую радость. Это было тогда, когда они еще были счастливы.

Она молча идет рядом с Марусей. Маруся весело щебечет. Ее голос успокаивает Варю: ей кажется, что она в

лесу, раскричались птицы о своем, о птичьем, небо высоко, можно ни о чем не думать. Она не прислушивается к словам Маруси. Та говорит о вечеринке у Черницына, о том, что Женя спуталась с Рожковым, о фаутах, о запани, о Никитине.

— Ты не гляди, что у него морда глупая. Он здорово все понимает. Он вчера мне об Индии рассказывал, какие у них касты. И вообще он...

Маруся смущается и замолкает. Ее молчание приводит в себя Варю. Она смотрит на Марусю и догадывается. Глаза Вари становятся еще печальней, и, прощаясь, ее рука как будто хочет удержать руку Маруси. Кругом нет ни леса, ни птиц. Идут мимо озабоченные люди. Грубо громыхает телега. Маруся спрашивает:

— Ты куда сейчас?

— Домой.

Это первое слово, которое Варя сказала за всю дорогу. Может быть, поэтому ее тоска сказалась в нем. Дома ждет ее Мезенцев. Их встречи теперь мучительны для обоих. Услышав это «домой», и Маруся помрачнела. Она завернула за угол. Она торопилась: в десять она должна встретиться с Никитиным. Но хорошо ли она это придумала? Сначала все улыбаются. А потом будет, как с Варей... Может, не ходить? Она подумала это и сейчас же рассмеялась: значит, не видать его? Ну и глупо! Скорей, не опоздать бы! Маруся теперь чуть-чуть не бежит, а на лице ее все ширится и ширится улыбка, так что Сеня Горев, повстречав ее, гогочет, кричит вслед:

— Ты что ж это, Маруся, орден получила?

А Варя тем временем медленно переходит через широкую площадь. Хоть бы что-нибудь приключилось! Может быть, она встретит Шведова, и Шведов позовет ее на собрание? Или ее переедет автомобиль. Она не может дольше так жить! Вот уже двенадцать дней, как они молчат. Иногда Мезенцев пробует спросить: «Работаешь?» — и, сам чувствуя, что ничего из этого разговора не выйдет, отворачивается. Иногда она его спросит о комсомольских делах. Он отвечает смущенно и коротко. Кто знает, как бы им хотелось поговорить друг с другом! Но у них нет слов. Они молчат сосредоточенно и настойчиво. Они спят в одной комнате. Тот, кому дольше не спится, прислушивается

к дыханию другого. Потом они просыпаются, пьют чай, идут на работу.

Это началось сразу после того короткого разговора. Мезенцев, не сняв кепки, подошел к Варе. На дворе была белая ночь, но в комнате было темно, и Варя, не зажигая света, сидела у окна. Она сидела, усталая за день и полная глубокого счастья. Мезенцев подошел к ней вплотную и сказал:

— Варя, насчет отца это правда?

Он ждал, что она крикнет: «Нет!» Он ждал этого, как спасения. Минута была очень долгой, и казалось, серый полусвет сгущается, твердеет, трудно двигаться, дышать. Наконец Варя ответила:

— Правда.

Тогда Мезенцев раздвинул руки, он как будто хотел прорваться через эти плотные сумерки к самому сердцу Вари. Он почти крикнул:

— Почему же ты мне не сказала?..

Варя молчала: она не умела ответить на этот вопрос. Она только отрывисто дышала, и вся та печаль полубелых, полусерых беглых сумерек, которая жила в комнате, переходила в ее глаза, широкие и слегка изумленные. Неуклюже бились длинные ресницы. А Мезенцев все ждал ответа, он просил, он настаивал, он даже сказал с неожиданной резкостью:

— Боишься?..

Тогда, собравшись с силами, она заговорила:

— Помнишь, возле реки? Ты о кулаках тогда говорил. Я спросила: «Веришь?» Ты сказал: «Верю». Я думала — ты сам понял. А ты больше не спрашивал. Ты думаешь, я сама знаю — почему я не сказала? Наверно, тогда не сумела... А потом ты ни разу не заговаривал. А я об этом и не думала. Слушай, Петр, разве я их выбирала? Тебя я вот выбрала. А они для меня — горе. Я их и понять не могу. Кажется, должна бы любить, все-таки дочь. А я их слушаю и удивляюсь: «родные» — вот уж кто действительно чужой! Жалко мне их, это правда. Но разве меня за это надо осудить? Я, Петя, не преступница, я комсомолка. А сказать тебе — не сказала. Дура я, наверно, вот что. Думала, лучше без этого — зачем тебе такое переживать? Ты вот умней, знаешь куда больше, а в этом я тебя старше. Я тебе

говорю: «Думала, так лучше», а может быть, и неправда. Просто не думала. Жить мне, Петя, захотелось...

Но ее слова не дошли до Мезенцева: в ту минуту он был полон своим. Он видел лица товарищей: как смеялся над ним Геня, как все его пожалели. Что же приключилось? Была жизнь, прямая и ясная, больше нет ее. Разве можно этим шутить: сказала — не сказала? Скрой Варя любовника, он не стал бы ее попрекать: значит, так надо. Но ведь это самое большое, самое чистое: комсомол, борьба, молодость. Теперь все видят, что ради каких-то личных чувств он оказался способным на компромисс, на ложь, на подлость. Нет, это не так. Товарищи поймут: они свои... С ними можно поговорить. Но Варя?..

Мезенцев вспомнил кулаков в Хохле: как они хотели его прикончить. Могло бы случиться и в ее деревне. Отец тащил бы в овражек: «Заголяй! Накладай!» В Красноборске они Юшкова убили. Ночью. А потом смолой вымазали. Разве это люди? А она их жалеет. Конечно, она не такая. Она наша. Но почему же она скрыла? Разве он не мог ее понять? Люби его Варя, она рассказала бы ему все. Сразу. У реки. Когда он ее поцеловал. Выходит, что она его не любит, так только, гуляла...

И Мезенцев злобно сказал:

— Значит, обмануть меня хотела?

Хорошо, что Мезенцев, сам смущенный жестокостью своего голоса, не глядел больше на Варю: он так и не увидел, как наполнились слезами ее милые серые глаза. Но ответила Варя спокойно, все так же тихо, так же изнутри:

— Нет. Если я кого и хотела обмануть — не тебя: судьбу. Счастья мне захотелось...

На этом разговор кончился. Дня три спустя Голубев позвал к себе Мезенцева. Разговаривали они в кабинете Голубева; то и дело прибегали девицы с бумагами. Обрывая фразу на полуслове, Голубев морщился, как обиженный ребенок. Раз он не выдержал и рявкнул:

— Дайте же мне поговорить с товарищем!

Девица вздохнула для приличия и ответила:

— Это из обкома насчет многотиражки.

Тогда Голубев расхохотался:

— Многотиражка раз, производственное совещание два, пловучий дом отдыха три, моторные пилы четыре,

сапоги для леспромхоза пять, путевка Штраубе шесть, договор с «Красным пахарем» семь... Скоро пальцев нехватит!

Девица постаралась улыбнуться:

— Сейчас с бельковской запани звонили насчет комсомольцев...

Голубев махнул рукой.

Он говорил Мезенцеву:

— Насчет жены — вздор. Отца раскулачили — это факт. Его теперь паралич разбил. Жена его торговлей промышляла — тоже факт. Но только дочка с ними не жила. Ей семь лет было, отец отослал ее к сестре. Отец был пьяницей, буянил, сына старшего он чуть насмерть не забил. Какой-то оглашенный: то дерется, то плачет. Белые были — он в белых стрелял. А потом стал против нас мутить. Гулял, и всегда без копейки. Одним словом, дочку он сбыл с рук. Это мне Шестаков рассказал: он в Уйме четыре месяца просидел. Ну, а тетка — наш человек. Я уж не знаю, кто кого обработал: она девчонку или наоборот, но, во-первых, бабе за пятьдесят, а она безграмотность ликвидировала, потом в кандидаты записалась, а теперь ее в председатели колхоза выбрали. Значит, нечего тебе, Мезенцев, нос вешать. Жена у тебя что надо. Мало ли что говорят — на все не ответишь. Мне Пестренко сказал, что ты меланхолию развел. Ну, и глупо. Такая ерунда у всех бывает. Хуже — накинутся, а потом сами удивляются. Ты посмотри — Синицына никто не поддержал. Ребята тебя любят. Ты об этом и не думай. Что называется — за работу!..

Мезенцев должен был широко улыбнуться, пожать руку Голубева, сказать «правильно». Но он был грустен.

— Насчет тетки — это верно. Жена мне рассказывала и потом ребята из Ломоносовки...

Голубев порылся в карманах. Там все лежало вместе: бумаги, образцы веревки, носовые платки, вырезки из «Правды», приготовленные для доклада, желтенькие рублевки, письма, заметки, даже обрезки замши — накануне приехали делегаты с Печоры насчет оборудования второго кожевенного завода. Наконец он вытащил записку, расправил ее и, добродушно усмехаясь, показал Мезенцеву:

— Читай. Это от Синицына.

Геня писал: «Уважаемый т. Голубев! Я хочу еще раз осветить мое выступление в связи с кандидатурой Мезенцева. Я основывался на поверхностной информации, и я считаю товарищеским долгом сказать прямо, что я жалею об этом. Вы не подумайте, что это произошло из мелкой зависти. Но, с другой стороны, в местных условиях я не могу найти возможности как следует приложить мою энергию. Я прошу вас, т. Голубев, помочь мне с переездом в Москву. Что касается вопроса о Варе Стасовой, то я его снимаю и всецело поддерживаю кандидатуру Мезенцева».

Когда Мезенцев кончил читать, Голубев сказал:

— Видишь? Так что все, как говорится, ликвидировано. А Синицын неплохой парень. Вам бы надо подружиться. Он здорово работает. И голова на плечах. Только амбиции много — вот в Москву хочет, здесь ему места мало. Я даже не понимаю, какие вы все неженки выросли. Ему вот сразу в Москву: не понравилось здесь, обиделся. А ты тоже чудак. Ну, брякнул. Что же, ты всю жизнь плакать будешь? С виду вы здоровенные, а сердца у вас какие-то нелуженые. Так ты на Геньку не сердись.

— Да я на него и не сердился. Разве в Геньке дело?..

Мезенцев запнулся. Больше он не мог ничего вымолвить. Голубев чувствовал: разговор кончился не так, как ему хотелось, — что-то не клеится. Он пробовал расспрашивать, Мезенцев молчал. Голубев пошутил. Мезенцев не рассмеялся. А здесь еще люди мешали. Насчет запани позвонили вторично. Надо было составить договор с колхозом. Штаубе кричал, что, если ему не дадут путевки, он «кончится у всех на глазах». Топотали лесорубы, визжал и свистел телефон, девицы носили бумаги на подпись, и бумаги росли, Штаубе кашлял. Где же здесь было говорить о сердечных делах? Голубев вдруг и сам загрустил. Он сказал глухим, надломленным голосом:

— Ладно. Значит, договорились...

Прощаясь с Мезенцевым, он даже не заглянул в его глаза. Мезенцев пошел домой. Вскоре пришла Варя. Он сказал:

— Я у Голубева был. Насчет тебя все в порядке.

Варя ответила как будто равнодушно:

— Вот и хорошо.

Мезенцев тоскливо подумал: нет, не в порядке; но разве кто-нибудь в Варе сомневался? А вот жить вместе они не могут. И этого никто не уладит: ни Варя, ни Синицын, ни Голубев. Значит, разойтись? Мезенцев еще сильней помрачнел. Сколько раз он ловил себя на том, что украдкой поглядывает на Варю, что, когда ее нет с ним, она все же рядом, как живая, и от этого еще грустней. Не может он от нее освободиться! С того вечера он еще больше думает о ней. Надо бы отвыкать, думать о другом, поменьше смотреть на нее, а он, наоборот, сильней к ней привязался. Только что-то прошло между ними, этого не сотрешь. Они друг другу не верят. Стоит одному раскрыть рот, как другой настораживается — будто враги.

Так и сейчас. Варя пришла с лекции, поговорили немного о занятиях, о том, что в газете, о ребятах, которые завтра едут на бельковскую запань, и замолкли. Когда Варя вошла и увидала Мезенцева, на одну минуту она обрадовалась. Так всегда бывало: увидит — и вдруг легко станет на душе. Ведь можно себе представить, что ничего не было. Любят они друг друга, молодые оба — почему же им не радоваться? Но вот снова они сидят молча, каждый в своем углу, насупились; Мезенцев готовит доклад, Варя перечитывает конспект лекции; изредка посмотрят один на другого и сейчас же снова зароются глазами в спокойные ровные буквы.

Варя знает, что Петя ей больше не верит. А как же тогда жить? Может быть, он думает, что и замуж она вышла, чтобы покрыть свое прошлое? Когда он порой ловит ее ласковый взгляд, он сейчас же отворачивается: он, наверно, думает, что она хочет подладиться. Позавчера, когда она поглядела на него, он подошел, молча ее обнял, поцеловал в губы. Ей показалось, что она вскрикнула от радости. Все в глазах помутилось, и только его глаза она видела перед собой. Но сейчас же пронеслось в голове: жалеет! Она слабо оттолкнула его и сказала:

— Не надо, Петя! Так нельзя!.. Стыдно так.

Он не спросил: почему стыдно? Ни слова не сказал, отошел, чуть сгорбился, сел в темный угол. Значит, и он понимает, что так нельзя. Муж — жена, а что из этого? Раз они друг другу чужие — нельзя целоваться, стыдно, все

равно как на пьянке. Но как же жить вместе?.. Нет, лучше не думать! Работать!

Варя, напрягаясь, читает: «Повреждения древесины...» И снова перед ее глазами большая стройная ель. Кто-то небрежно, мимоходом, сделал надрубку, и ель заболела, ель гнилая — хвоя может долго держаться, но до чего щемит сердцевина! Вальщик сердито сплевывает: вальщик и без лекций знает, что такое гниль. Варя настолько отчетливо видит это перед собой, что даже глаза закрыла. Потом, собравшись с духом, она говорит Мезенцеву:

— Слушай, Петя, вот что я хочу сказать... Надо нам развестись. Так и тебе будет лучше...

Она хотела сказать «и мне». Почему она этого не сказала? Дерево не хочет умирать: сердцевина изгложена, но оно еще шумит хвоей. Варя не сказала «и мне». Мезенцев вскочил, закричал:

— Это ты еще что придумала? Глупости! Почему ты, Варя, такое говоришь? Ну, больно. Отойдет. Мы с тобой не на вечорке: раз-два, и прощай. Я даже не понимаю, что ты говоришь?..

Может быть, скажи Варя «и мне», он бы покорился. Но Варя ничего не сказала о себе. Она как будто искала счастья для Мезенцева, и Мезенцев не хотел этого счастья. Он хотел удержать Варю, но не знал, как это сделать. Его отрывистые громкие слова покружились, прошумели, ушли. Варя на них ничего не ответила.

Еще недавно Мезенцев казался Варе сильным и большим: за такого можно спрятаться. Теперь она чувствует, что Мезенцев боится остаться без нее. Так девочкой она боялась темноты. Этот огромный человек стал сразу ребенком, и в голове Вари мелькают непривычные мысли. Но она им не удивляется. Сказалась ли накопившаяся в сердце нежность, или Варя припомнила свое детство — баб с ребятишками, которые хватались за юбки, долгое унылое «нишкни», детский плач, женские охи и ту нестерпимую духоту, которая может остаться духотой тесной клети и которая может стать высокой духотой любви. Варя знает: она должна думать не о себе — о Пете. Его надо медленно отучить от себя. Он снова втянется в работу, больше не будет думать о Варе. А потом?.. Потом он встретит другую. Лучше Вари. Та не соврет. Да и не будет

у нее нужды врать: ведь есть же на свете счастливые люди! Поженятся... А Варя? Нет, Варя не хочет думать о себе. Правда, слезы подступают к горлу. Но это от усталости. Она не заплачет. Она знает теперь, что ей делать.

Полистав для виду тетрадку, Варя встает:

— Меня ребята в клуб звали. Я скоро вернусь.

Она идет к Голубеву.

— Я на запани уже работала... А мне это очень необходимо... Вы не думайте, я управлюсь...

Голубев не спорит:

— Это ты хорошо придумала. Я и сам хотел о тебе сказать. Но видишь, что здесь делается? Закрутился. А ты тамошних пристыди: что ж они смотрят, черти этакие! Два раза прорвало... А запань построена хоть куда.

Потом он внимательно смотрит на Варю:

— Ну, значит, желаю удачи. А все-таки... Неженки вы, вот что!

Слово «неженки» он выговаривает с такой ласковой усмешкой, что Варя невольно улыбается. Она уходит.

Голубев призадумался: так бывает — вспомнишь что-нибудь, и сразу чуть ли не вся жизнь встанет. Слово «неженка» тоже значилось где-то в жизни Голубева. Это старик Семенов ему сказал: «Неженки вы». Лет двадцать пять назад... Значит, и они были неженками. А от этих не ждали: математика, субботники, прорывы ликвидировать, какая уж тут нежность! А у них, между прочим, сердца нелуженые. Молодость, ничего не попишешь. Говорят — возраст грубый, а он, может быть, самый нежный... Ну, надо с этими пильщиками договориться!

Быстро пронеслись в его голове люди и года. Соня, тюрьма, как ему книжку принесли с передачей и точками в буквах было проставлено: «Насчет Веры поняла, но ложь остается ложью», как умирал Картыгин, и не было письма от матери, а Голубев написал за мать, читал вслух и говорил: «Доктор запретил тебе читать», как потом в Шуе... Но вот и пильщики.

Вернувшись домой, Варя постаралась возможно веселее сказать:

— Знаешь, что произошло? Меня-то на бельковскую запань посылают. Придется нам расстаться. Так, Петр, лучше: месяц, другой поживем врозь, а там и сговоримся...

Эти слова она приготовила, когда шла домой. Она смягчила их грустью глаз. Мезенцев встал и робко подошел к ней. Она его обняла. Они долго молчали.

На следующее утро Варя уехала.

16

Внизу широкая река. Золотые бревна несутся по ней. Но вот они останавливаются, поворачивают, как испуганное стадо, вбегают в хлев. Лес идет с верховьев Двины, с Вычегды, с Сухоны. Иногда он идет тихо и задумчиво. Иногда он возмущается, бревна сердито громоздятся друг на друга, вся река покрывается древесиной, и скрипит запань. Кажется, еще минута — и лес победит, разорвет хомуты, вырвет медведки и кинется дальше, к морю. Но люди сильнее. Они проверяют хомуты. Медведки крепко вкопаны. Запань скрипит, поддается и снова выпрямляется.

На бревнах стоят люди с баграми: они видят издали, какое дерево идет. Они кричат: «Елка! Сосна! Пиловочник! Подтоварник!» Они стоят на скользких бревнах с длинными баграми, похожие на древних жрецов. Если подойти поближе, можно увидеть на их лицах крупные капли пота. Но издали они кажутся равнодушными и величественными. Как бы шутя, они пропускают десятки тысяч бревен. Огромные леса, на опушках которых ютились деревушки, леса со скитами и с разбойниками, леса, в которых играло молодое зверье, а девки пели песни, леса, обозначенные на картах зеленым пятном и через которые пройти все равно как через жизнь, — эти леса побеждены, они плывут вниз, вступают в запань, расходятся по кошелям. Их связывают, как пленников. Буксир подхватывает плоты и несет их к большому городу, где Голубев сейчас справляется о погрузке, где дымят короткими трубами шведы или англичане, где Мезенцев стоит возле большой крикливой машины.

Если глядеть с горы — все это загадочно и просто. Вот девушки вьют вицы. Среди них Варя. Бригадир со станка кричит:

— Черти, вицы давай!

Нет виц: девчата плохо работают. Варя молчит, она не знает, как ей быть. Она хотела итти на сплотку, но Гордин сказал:

— Становись за вицы. Надо девчат подтянуть. Вчера сорокинские станки три часа простояли — виц нехватало.

Рядом с Варей работает Женя Пятакова. Ее тоже прислали сюда. Женя сейчас не думает о судьбе злосчастной певицы. В голове ее одно: скорей! Снова нехватит! Станки остановятся...

Мелькают вицы, мелкают руки. Высокое солнце свирепо, и некогда рукой провести по лбу. Вица нежна и податлива, как девушка; как девушка, она своевольна, хочет высвободиться, перечит пальцам. Но Варя строго сжимает ее.

— Кончайте, девчата!

Варя не уходит. Она еще держится на ногах, руки еще двигаются. Лучше приготовить побольше назавтра, чтобы не было простоя. А то с этими девчатами беда! Верховодят Глаша Попова и Садовцева. Глаша, как только увидела Варю и Женю, сразу начала ворчать:

— Ударницы! Нам обед в окошко подают, а вы под портретами сядете. Только жрать все равно нечего. И зачем это вы из кожи лезете? Гордин перед начальством хвастает, а мы, значит, должны животы надрывать?..

И пошла, и пошла. Варя ничего не ответила. Варя не умела ни спорить, ни учить. Она улыбнулась и начала крутить вицы. Дня три спустя Глаша ей сказала:

— Здорово ты это делаешь! Только я вот думаю: кто на тебе женится? У нас говорят: «Не женись на девице, женись лучше на вице». Разве что так...

Не то она завидовала Варе, не то обижалась на нее. А Варя в ответ сконфуженно улыбалась.

Никогда прежде Варя не знала, что такое ответственность. Она работала прилежно и в деревне, и на заготовках, и на заводе. Ей говорили: сделай то-то, и она делала. Кругом нее были умные, взрослые люди. Теперь Варя чувствует, что все на ней: и вицы, и люди. Еще грустнее стали ее глаза, еще суровей улыбка. Ребята говорят: «Это стасовская бригада», и Варя понимает, что каждая вица — ее дело. С лаской и досадой она поглядывает на Глашу

Попову или на Садовцеву: их судьба теперь связана с ее судьбой. Варя вздыхает. Она знает, как крутить вицы, как бороться с усталостью, но она не знает, как быть ей с Глашей или с Садовцевой. Варя как-то спросила Женю, но Женя ответила:

— А что ты с ними поделаешь, если они все сами понимают? Шкурницы!..

Жене хорошо: она работает, шутит, потом читает романы. Ей и в голову не придет огорчаться оттого, что Попова шкурница, или оттого, что снова с вицами отстали от сплотки.

Ночью Варя растерянно думает: до чего я глупа! Будь здесь Петя, он рассказал бы... Не знаю я жизни, вот ни на столько не знаю. Люди кругом, а разве поймешь, какие они...

Отдыхать Варя ходит в лес. Лес густой, как жизнь. Краснеет малина, кричат птицы, а мох пахнет так сладко, так пронзительно, что Варя, зарывшись в него лицом, смутно припоминает другие ночи — с Мезенцевым.

Сначала лес успокаивал Варю. Все ей казалось стройным и ясным. Птицы уже готовились к осеннему отлету. Спели брусника и голубика. Деревья жили важно и сосредоточенно, они медленно пили соки земли, наполнялись жизнью, а когда подлетал ветерок, рассказывали длинные, непонятные и все же увлекательные истории. После дождя все казалось новым, как будто и не было до этого ни листьев с их тонким абрисом, ни ромашки, ни неба. В лесу Варя отходила. Разрыв с Мезенцевым ей казался простой размолвкой: пронеслась весенняя буря, пообломала ветки, напугала крикливых гусей, и вот снова теплый ветерок играет с молодыми листьями.

Шли недели, и в ночи начала закрадываться темнота. Солнце садилось в десять, красное и огромное. Среди черноты еще сильней томили Варю лесные запахи, и мир казался еще прекрасней. Но она больше не верила в доброту леса. Совы хватали мышей. Ястреб кружил над крохотными рябчиками. Синицы ловили мошек. Одно дерево вытесняло другое, как люди в очереди. Лес был полон борьбы и коварства. Пошли ночи с зарницами, и огненные росчерки казались Варе грозными: так объявляют войну. Мир был глухим и частым, как лес. А с утра смеялась Глаша,

Садовцева приговаривала: «Выслуживается», и снова отчаянно кричали сплотщики: «Черти, где же вицы?..»

Когда Варя глядела теперь на запань, она радовалась. Она радовалась победе над лесной чащей, над ходом реки, над темными и слепыми страстями людей, которые испокон века жили в Белькове. Ночью запань пылала. Здесь были больница, столовка, клуб, в одном из бараков печаталась газета «Красный сплавщик». Это была частица той большой, стройной и отчетливой жизни, которая меняет русла рек и побеждает тундру. Варя знала, что ей не по пути ни с караваном гусей, ни с Садовцевой, ни с бельковскими бабками, которые приговаривали: «И зачем эта запань? Ловили рыбу, а большевики придумали...» Варя глядела с высокого берега вниз, взволнованная и по-новому счастливая: это была ее битва, ее победа.

На том же берегу она оказалась как-то вдвоем с Глашей Поповой. Они забрели сюда после ужина. Сначала Глаша, как всегда, подтрунивала. Потом она примолкла. Молчала и Варя. Вечерело, потянуло с лугов сырой травой. Глаша загрустила. Сколько еще крутить эти вицы! А потом на лесозаготовки. Десять деньков — больше ей не прогулять. Хорошо, если Павлика пошлют на тот же участок. А может, Павлик и не поедет: его в Устюг зовут. Там у него брат на щетинной фабрике. Погуляет с Глашей и бросит. Как Никитка. Жизнь Глаши не складывается. Хотела она отложить рублей сорок, чтобы купить красивое платье, но не так-то легко даются эти проклятые вицы. Руки опускаются. А здесь еще глупые разговоры: какая-то «честь». Комсомолок понаслали. И никому не придет в голову, что ей, Глаше, просто хочется жить...

Они лежали рядышком. Глаша зло посмотрела на Варю.

— От вас вся беда. Как вы приехали, начали нас мытарить. Я, Варька, тебя не понимаю. Ты что это — орден себе зарабатываешь? Разве ты баба? Ты инструмент. Вот повертись еще годок, кто с тобой гулять станет? Или тебе это не интересно? Поглядеть на тебя — баба. А может, ты из другого теста сделана? Дроля-то у тебя где? Или ты только книжки читаешь?

Обычно Варя отвечала на такие насмешки улыбкой. Но не мало времени прошло с того дня, когда впервые она

отсюда глядела на запань, многое переменилось и в самой Варе. А здесь еще душно пахла трава и, как светляки, порхали внизу первые огоньки запани. Она посмотрела на Глашу и вдруг увидала, что Глаша — славная. Глаза у нее смешливые, но добрые. Варя сказала:

— Слушай, Глаша, зря ты надо мной смеешься. Муж у меня в Архангельске. Только не поладили мы. Любим друг дружку, а жизнь не утряхается...

Глаша теперь не смеялась. Она слушала с тем вниманием, за которым легко почувствовать участье и теплоту. Варя рассказала ей всю свою жизнь. Даже то, чего она не сумела рассказать Мезенцеву, она рассказала этой острой на язык девушке, которая столько раз ее изводила.

Потом заговорила Глаша: про Никитку, про Павлика. У них была одна печаль, а может быть, и одна судьба. Варя сказала:

— У Толстого это очень хорошо описано: мучается и все про себя...

Ночь опустилась, а они все еще разговаривали. Варя рассказала об Анне Карениной. Потом они припомнили детство, много оказалось смешного. Они смеялись. Какая-то пичуга испуганно выпорхнула из травы. Небо все покрылось звездами. Они замолкли, и тогда-то показалось слово, всегда разъединявшее их. Варя скорее себе, нежели Глаше, сказала:

— Боюсь, завтра виц не будет. Обещали привезти ночью, да я на Зотова не очень-то полагаюсь...

Глаша не усмехнулась, не сказала: «Мне-то какое дело, ну прогуляем денек». Нет, смущаясь и в то же время по-деловому, она ответила:

— Привезут. А нет — сами поедем. Знаешь, сегодня как-то лучше шло. Все время подавали, даже осталось...

На следующее утро Глаша не отставала от Вари. Она так прикрикнула на Садовцеву, что и та задвигалась. Теперь сплотщики не поспевали за ними: вицы лежали готовые.

Вечером Варя задумалась. Почему Глашу не могли убедить ни Гордин, ни доклады, ни попреки? Может быть, она подчинилась чужому напряжению, той воле, которая заставляет реку менять русло? Или несколько слов на лугу растормошили ее сердце? Казалось, не было связи

между любовными горестями и вицами, но вот голос Вари дошел до Глаши. Все теперь переменилось. И Варя поверила в силу слов, в силу чувств, в тот отзвук, который рождает короткая скупая ласка, порой взгляд, того меньше — вздох.

Дней через десять Варю перевели на сплотку: работа с вицами была налажена. В первый же день Варя поспорила с Журавлевым. Журавлев считался хорошим сортировщиком. Его имя значилось на красной доске. Но Варя относилась к нему с недоверием: только о себе думает, хочет пролезть вперед, все кошеля забил дровяником, а для другой древесины нет места. Пришлось сплотщикам заняться разгрузкой кошелей. Журавлев глядел и усмехался. Варя сказала ему:

— Что же ты сам не понимаешь? Куда экспортный девать? А пропсы? Тебе лишь бы кричать: «На двести двадцать сверх нормы!»

Журавлев разозлился:

— Ты мне лекции не читай! Я, кажется, не маленький. Сам знаю, что мне делать. Каждый пусть за своим товаром смотрит. На всех не угодишь.

Варя вышла из себя:

— Так только кулаки говорят: «Мой двор, а на остальное мне наплевать».

Сказав это, она покраснела: вспомнила раннее детство, пьяницу отца, большую холодную избу в Уйме и то, как Мезенцев, заглянув ей в глаза, спросил: «Правда?»

О Мезенцеве она думала часто и все по-разному. Иногде он ей казался слабым и беспомощным. Он заблудился в любви, как в лесу. А разве трудно было понять Варю? Глупая девчонка. Прикрикнул бы, а потом смеялись бы оба. Но он такого не понимает. Книги понимает, машины, все может рассказать. А простой жизни не видит. Варя, и та может ему помочь. Когда Варя так думала, лицо ее мягчало, показывалась улыбка, шевелились губы — она что-то про себя бормотала. В одну из таких минут она повстречалась с Сергеевой. Сергеева шла к докторше — мальчишка кашляет. Варя поглядела на сына Сергеевой: ему было года два, смешно оттопыривалась нижняя губа, а глазенки лукаво посвечивали. Неожиданно для себя Варя громко вздохнула, сказала Сергеевой:

— Хорошо, когда такой... Весело...

Но чаще, думая о Мезенцеве, Варя чувствовала себя маленькой. Она расспрашивала его, просила совета, ждала, что он ее разругает. Она могла часами с ним разговаривать, ни Женя, ни Глаша об этом не догадывались. Вот он корит ее за глупость, вот погладил по плечу...

За два месяца, проведенных на запани, Варя повзрослела, окрепла. Не только стали сильнее ноги и руки — сердце возмужало. Она больше не дичилась людей, научилась спорить, отругиваться. Она даже выступила как-то в клубе. Потом все ее поздравляли. Никто не подумал, что, когда она запнулась на «ошибках в сплотке», ей стало так страшно, что она чуть было не разревелась. Ее портрет был напечатан в газете «Красный сплавщик». Варя выглядела печальной: фотограф ее измучил. Она хотела послать фотографию Мезенцеву, но раздумала: грустная я на карточке, он подумает — убиваюсь, лучше подождать, скоро сам увидит, какая я... В бараке перед маленьким зеркальцем она недоверчиво разглядывала загоревшее, обветренное лицо: пожалуй, Петя и не признает! Скажет: «Это что за колхозница?..»

Как-то она возвращалась с работы. Дождь лил теплый и шумливый. Она сняла ботинки и шла босиком, ногам было весело. Она ни о чем не думала, день был трудный, и она переживала усталость. Вдруг в кустах раздался мужской голос. Кто-то говорил нежно и взволнованно:

— Скажи! Нет, скажи!..

И сразу она вспомнила Петю. Слезы полились. Она шла и бормотала: «Петя! А, Петенька!» Никто не отвечал ей, только дождь бился о деревья, а на щеках капли дождя смешивались со слезами. Горело лицо, голова кружилась, она боялась: не дойду! Потом она пришла в барак и до полуночи стыдила себя: эх ты, баба!..

На сплотке Варя подружилась с Борей Бахматовым. Это был толковый парень. На запань он приехал из Вологды. Глаза у него были зеленые и веселые, но смеялся он редко, а говорил все больше о книгах. Варе он прочитал стихи Есенина: «Я пришел на эту землю, чтоб скорей ее покинуть». Варя выслушала и ушла: ей захотелось поплакать. Бахматова Варя уважала: молодой, а столько

знает! На запани он считался первым, и ребята доверяли ему больше, чем комсоргу. Он не только умел читать доклады, он и с людьми умел разговаривать: знал, как к кому подойти. Он нашел дорогу и к сердцу Вари. Ни с Глашей в ту памятную ночь, ни с Мезенцевым, ни с кем на свете она так не разговаривала, как с Борей. Кажется, все могла бы ему рассказать. Вечером они часто ходили на берег. Как-то Бахматов робко обнял Варю. Она высвободилась.

— Нет, Боря, не нужно...

Он не настаивал, не просил. Он знал, как ждет Варя встречи с Мезенцевым. Если он решился обнять Варю, то в этом была повинна черная духота августовской ночи. Услышав слова Вари, он сразу опомнился. Он боялся теперь взглянуть на Варю: сердится! Когда наконец-то он заставил себя повернуть голову, он увидел, что Варя плачет. Тогда он совсем растерялся.

— Варя, да что же ты?.. Не сердись!.. Не нужно на меня сердиться! Я не буду больше...

Варя вытерла рукавом лицо и сказала:

— Я не сержусь. Просто грустно стало. Не понимаешь? Ну, а сказать я не умею...

Как могла она рассказать о том, что у нее было на душе? Ей было тяжело потому, что она ничем не могла ответить на ласку Бахматова. Перед его горячими глазами, перед частым дыханием, перед настойчивой чернотой еще короткой, но глубокой ночи она чувствовала себя не то скупой, не то нищей.

Когда они возвращались в поселок, Варя сказала:

— Чудно это, Боря. Вот, кажется, все с головой делаем: и запань построили, и заводы. Людей переделываем. А кого как полюбишь — разве это по доброй воле? Конечно, не дворяне мы, это каждый понимает. Полюби я рвача, разве я не справилась бы с чувством? Вырвать из сердца можно. Только, я думаю, сердце после этого пустое. Нарочно ничего не посадишь. Жалко, ты моего Петю не знаешь. Подружились бы. Только он не похож на тебя. Другой. Вот ты слушаешь, все тебе понять хочется: как я, как он, как еще кто. А он все по-своему. У него, понимаешь, мысли длинные, ему некогда смотреть, где и что. Это он правильно делает. Но только я сама объяснить

не умею... Как дойдет дело до чего-нибудь серьезного — нет у меня подходящих слов. С девчатами трещу, как сорока, а рассказать толком не умею. Вот и тебе давеча не смогла объяснить, почему расплакалась. Так и с Петей. Он молчит, и я молчу. Ну, да это глупости. Выходит, что я тебе пожаловалась. А ты, Боря, очень, очень хороший...

В ту ночь угрюмо билось сердце Вари, а три ночи спустя раздался тревожный набат: в колокол била Варя. Ее волосы трепались на ветру. Она кричала, как будто ее крик мог что-либо прибавить к неистовому и дикому рыку колокола. Это была страшная ночь. Она началась для Вари с тоски, с настойчивой мысли о Мезенцеве: не может она без него, вот никак не может!.. Она уже легла было спать, но не спалось, вышла к берегу. Она шла, как лунатик, ничего перед собой не видя, с глазами, широко раскрытыми и пустыми. Иногда, останавливаясь возле деревца, она доверчиво и стыдливо говорила: «Петя!..» Прорвав облака, показалась луна, синяя и неприязненная. Холодно стало: поднялся ветер. Но Варя не глядела ни на луну, ни на реку, покрывшуюся волнами. Она жила теперь с закрытыми глазами и с одним словом, нежным, неотвязным: «Петя!..»

Кто знает, какая сила заставила ее вдруг вглядеться в набухшую синеву реки. Это было продлением той тревоги, которая ее выгнала из барака. Она поглядела и сразу бросилась к запани: ей показалось, что запань плывет. Подбежав, она увидела, что река несет сверху горы древесины. Запань, поддавшись, двинулась.

Варя зачем-то кинулась в воду. И сейчас же подумала: дура! Что это я делаю?.. Она побежала к колоколу. Раздался набат. Казалось, он выражал все: и тоску Вари, и страх, и рев ветра, и скрип запани, и грохот идущего леса. Вся ночь била в колокол, и, просыпаясь, люди вскакивали, как полоумные: ничего не видя перед собой, выпятив вперед руки, бежали вниз. А Варя все еще била в колокол. Когда она выпустила из руки веревку, она увидела Гордина. Гордин кричал:

— Медведку вырвало! Бери лопаты!..

Минуту спустя Варя уже рыла яму. Сколько она так проработала: два часа? четыре? Она ни разу не передох-

нула. Она даже не поглядела, кто с ней рядом. Кругом люди ругались, подбадривали друг друга, но Варя ничего не слышала. Она знала одно: скорей! спасти экспортный! пропсы! медведку! яму!

Потом показалось солнце. Гордин шутил с ребятами. Женя пошла спать. Суровцев хотел послать телеграмму в «Правду севера», но раздумал: все равно не напечатают, места у них мало, а здесь собственно говоря ничего и не произошло.

Запань снова мягко поддавалась и выпрямлялась, чувствуя свою силу. В этой победе над лесом не было ничего героического, никто не отличился, никто не погиб, просто люди поработали еще одну ночь напролет, а бревна, поняв, что не одолеть им людей, уступили.

Варя не могла ни отдыхать, ни радоваться: она все еще не изжила ночного волнения. Помывшись на реке, она сразу пошла к станкам.

Вечером того же дня они сидели с Женей возле барака. Женя неумело курила папиросы, передразнивала девчат, дурачилась. Они говорили о ночной тревоге.

— Я услышала — звонят, как перепугалась...

— А я-то... В воду прыгнула, будто можно поймать... И знаешь, как я в этот колокол ударила — остановиться не могла...

Давясь дымом, Женя говорит:

— Все-таки хорошо, что кончилось...

Варя знает слабости Жени и хочет ее подразнить:

— Опять ты с твоим концом. Прямо ты на этих концах помешалась. Глаша с Сережей в клуб пошли, а ты сейчас же: «Конец хороший». Книжку взяла про немцев. Кажется, интересно. А ты в обиде. «Конец плохой». Вот и с этой медведкой. Здесь интересно, как это было. А ты про конец...

Женя обиделась:

— Очень просто, если без конца — это для одних дураков. Как было? Было. Вырыли. Лушин с ребятами на лодке вперед заехали, подцепили. А что главное? Сберегли лес. Это как, по-твоему, конец или «продолжение следует»?

Варя засмеялась:

— Ты не сердись. Это на меня дурь нашла, а продолжение следует. Пойдет этот лес в Архангельск. Там его

погрузят на английский пароход. Антипов, наверно, будет грузить. Знаешь — славный танцор? Повезут англичане древесину к себе. Построят еще один пароход. Вот зачем им пароходы, я не знаю. Может, стрелять? Да ну их к чорту! Лучше о своем поговорим. Здесь, понимаешь, два продолжения: для них и для нас. Мы на эти денежки машины купим. Большой завод здесь построят. Бумагу будут делать, чтобы тебе письма писали. Это Петя говорил — он знает. Придет на завод еще одна Варя. Прямо из колхоза. Дура дурой. Увидит машины и перепугается. Ну, а потом ее начнут прорабатывать. Там, гляди, она инженером станет. А потом этот инженер встретит какого-нибудь Петю и заревет. А потом... Да так и до утра можно проговорить. Только знаешь, что я тебе скажу? Иди сюда! Давай по пальцам считать. Один — это не счет. Два. Это ты да я. Или я и Петька. Или ты и еще кто. Да не сердись, я ведь не спрашиваю — кто. Три. Ну что три? Три месяца как я здесь. Четыре. Четыре это для тебя — выбирай. Может, у тебя четыре дроли было? Или четыре раза на красную доску записывали? Пять... Да нет, я не играть хотела. Я вот что хочу сказать: какой же это, Женя, конец? По-моему, и нет никакого конца — ни хорошего, ни плохого. Я когда про это думаю, мне кричать хочется — такое это счастье. Стой, Женька, я тебя поцеловать должна! Ты ведь только подумай — идет, идет, как лес по реке, а конца не будет!..

17

Пароход, хотя и отдуваясь, медленно подымается вверх по реке. Кругом все те же леса. Иногда на берегу высятся штабеля бревен. Свистят буксиры с плотами. Лес идет навстречу — это красавица чистоствольная сосна. Изредка пароход подходит к пристани. Бабы продают молоко и чернику. Порывистый гражданин спрашивает пароходного буфетчика:

— Пиво есть?

Тот меланхолично вздыхает:

— Сам бы выпил.

Гражданин произносит грустный монолог среди черники и бревен:

— Третий месяц так. Зимой мы в Червякине работали. Там верст пять до станции. Поезд три минуты стоит. Войдешь в вагон-ресторан и выдуешь пару. Бутерброды с колбасой! А здесь что? Лошадей я должен лечить. Да я скоро сам слягу...

Пассажиры менее привередливы: они удовлетворяются водкой. Люди лежат вповалку на палубе; здесь же узлы, ребята, и булькает, булькает таинственное зелье. Капитан отбивается и от леса, и от клопов, и от пассажиров. У него расчесанная докрасна душа. Напрасно он написал: «Помещаться на мой мостик и ложить вещи воспрещается». Люди громоздятся, как бревна, они не читают плакатов, и они свято верят в благодетельную силу человеческой тесноты. Сплотщик Агафон прыгает через тела, как болотная птица:

— Товарищ инженер, дай папироску!

Идут берега, идут и долгие повести: люди лежат вповалку, вповалку живут, вповалку исповедуются. Давно уже остался на берегу красноносый любитель пива, а лесоруб Макеев говорит Саше:

— Если он ветеринар, он должен лошадей лечить. Я у нас сказал ветеринару: «Не вылечишь, гад, я тебе припомню. Ты тогда не ветеринар, а вредитель». Живот у нее во как раздулся. А он мне отвечает: «Тебе надо газету почитать. Там товарищ Каганович о таких трепальщиках уже распространялся. Я лошадь лечу по любви, а ты не колхозник, ты — стихия». И ты послушай только — лошадь околела, а он, сволочь, ночью на скрипке играет. Вот тебе мое слово! Ну, скажи, Сашка, убить такого?

Сашка чешет живот и говорит:

— Зачем убивать? Может, у коняги какая-нибудь чума была. А насчет товарища Кагановича — это сущая правда. Потому что наука, она пронизывает. У меня брат ходить не мог, а теперь он на лесостоянке работает. Ты лучше погляди, как они, черти, небо разделали. Мы вот глядели: туча, звезды. А у них теперь карты. У них по небу дороги проложены. Летит — и никаких. Я вот читал, что они насквозь летают, то есть через всю атмосферу. А ты — «убить»!..

Булькает водка, пыхтит пароход, капитан покорно вздыхает. Люди расстегиваются, распахиваются, разматывают тряпье и всё говорят, говорят. А над ними звезды.

— Я такой вот — дикое люблю. Объездчиком был. Забираемся мы в эту, значит, чащу...

— С октября фанерный завод пустим. Утвердили. Береза здесь замечательная. Станки я ездил принимать. Ну и станочки — семьдесят два на шестьдесят!.. Весь мир теперь забьем!..

— Раскулаченных у нас цельный поселок. С Украины их навезли. Помидоры сажают. Вкусно. А глядеть на них тошно: он, может, о чем-нибудь таком и думает, только жилы из него повытягали...

— Я там и в ресторане был. Фокстрот танцуют. А один грузин как закричит: «Это не штука — на месте тереться, я вам сейчас покажу, что значит танцовать!» Заведующий перепугался — думал, скандал будет. Но он такую лезгинку закрутил, что все обомлели. Нож даже кинул. Аплодировали ему. А иностранка там была, вроде как туристка, так она заплакала...

— На чистке все и узнали. Егоров сказал: «А между прочим, товарищ Красинский живет с женой товарища Шевелева». Понимаешь, эффект? Шевелев тут же сидит. Все трое тут. Ну, конечно, поговорили, а потом перевели его в кандидаты...

— Тригонометрию? Это я на большой палец!..

— У казахов кумыс прикрытый и все шумит, шумит. А завод какой там построили — глядеть страшно!..

— Вижу — в грунте золото. Обрадовался. А потом посмотрели, говорят: «Нет, не золото...»

— Разрыли они могилы: «Здесь будут огороды тракторно-ремонтных мастерских». Ну, я выступил в горсовете. Говорю: «Я как красный партизан такого не вынесу. Они жизнь отдали за родину, а вы что же, на картошку их променяли...»

— Японцы хитрые. Газов у них пропасть. Только и мы не дураки...

— Детдом устроили. Говорят, «трудно воспитываемые». А они просто беспризорники. Кормить их — не кормят, они и работают на стороне. Положишь кусок хлеба, отвернешься — и готово. А ты потаскай доски натощак...

— Ильин — вот это писатель! Возьмет какую-нибудь личную проблему и как внедрит ее в совокупность...

— Друзей у нас сколько хочешь: каждый вузовец тебе друг. А товарищей нет. Чтобы внутрь войти, он этим не интересуется. Друг тебе может и свинью подложить, а если ты товарищ, так это дело святое...

— Я как вспомню детство — страшно! Угол сырой, сапоги отца грязные, тараканы — и никуда не пойдешь. Так мне и казалось: это мой дом, моя жизнь. А теперь даже голова кружится — столько всего! Знаешь, как я нашу жизнь определяю? Это жилплощадь без стен...

— Приду с завода — мальчонка дома. Вся житуха в нем...

Медленно идет пароход, он везет в Котлас, в Вятку, в Вологду, в Устюг, в Москву сотни различных людей. На остановках парни купаются, а женщины деловито стирают белье. Ночью еще теснее, еще жарче, еще круче тоска и еще сильнее молодая шершавая радость. Кто-то играет на гармошке. Кто-то поет:

Прощай, жена! Прощайте, дети!
Прощай, любимый мой гараж!
Прощай, товарищи шоферы!
Я не увижу больше вас!..

На носу расположились актеры: это любимцы парохода. Их охотно пропускают, носят им кипяток, угощают черникой. Капитан пришел к ним, чтобы отдохнуть от песен и от клопов. Он говорит Лидии Николаевне:

— Вот и реки — каждая по-своему. Сухона спокойная, а Вычегда меняет русло. У Вычегды нрав быстрый...

Лидия Николаевна смотрит на воду и молчит. Хорошо людям, которые не меняют русла! Они сразу нашли свое. А Лидия Николаевна, как Вычегда... Надо бросить театр! Она бездарна и честолюбива. Ужасная вещь — искусство: оно отравляет душу. Стоит побывать разок на сцене, и трудно потом вернуться в зал, сидеть, смотреть, как другие играют. Это — иллюзия, но чем слабее человек, тем сильнее он привязывается к иллюзиям. Кажется, что одну минуту ты провел в той лаборатории, где делается жизнь. Как же после этого сесть снова за машинку и переписывать протоколы? А ведь это ложь. Машинистка, может

быть, больше делает жизнь, чем Лидия Николаевна. Все теперь переменилось: жизнь стала огромной. Он бревна пилит, а в душе у него Шекспир. Вот Лясс — это не театр, это куда выше. Это и есть настоящее искусство. Она бросит сцену. Пойдет в Лесоэкспорт машинисткой. Главное — не кривляться. Все равно через себя не перепрыгнешь. У каждого в жизни свое место...

Капитан смотрит на Лидию Николаевну, в глазах его робкое восхищение. Он хочет спросить ее о театрах, о Москве, о жизни ослепительной и шумной — такое здесь и не приснится. Мигают огонечки буксира. Капитан зажмурился: он видит огни рампы, которые освещают лицо Лидии Николаевны. Сейчас же можно узнать, что это актриса — глаза у нее огромные и печальные... Ему хочется сказать: «Прочтите какой-нибудь трагический монолог», но он ничего не говорит, только снимает фуражку и проводит рукой по голове. Она его не замечает. На берегу — леса, леса. Наконец капитан говорит:

— Надоело вам? Едешь-едешь. Я вот так двадцать семь лет катаюсь. А вам бы отдохнуть не мешало. Я уж не буду вас больше стеснять.

Он пропадает среди черных тел, которые громоздятся на палубе, большой и неуклюжий. Лидия Николаевна глядит ему вслед и почему-то вспоминает Байбака — Иван Никитич говорил: «Байбак — это собачий поэт». Иван Никитич...

Все тянется и тянется глупая песнь:

Прощай, любимая мамаша,
Уж не увижу я семью.
И под колесами мотора
Шофер закончил жизнь свою.

Лидия Николаевна говорит Орловскому:

— Слышишь? Шофер сам себя раздавил. Смешно?

Орловский раскатисто смеется, что-то говорит. Но Лидия Николаевна его не слушает. Она повторяет: «Уж не увижу я семью...» Она думает о ботанике. Вот и у нее был друг. Она могла ему довериться, попросить у него совета. И все сразу кончилось. Перед отъездом она встретила Ивана Никитича. Он ласково улыбнулся, спросил:

— Вы что же не приходите? Я-то тогда погорячился...

Лидия Николаевна не пошла к нему. Ей показалось, что позвал он ее по доброте: встретил и пожалел. А зачем она ему? У него Мушка. У него свое дело, свои люди, своя жизнь. До истории со Штремом она не задумывалась, почему она ходит к Ляссу. А теперь решила: нельзя навязываться.

Жалобно свистит пароход. Лидия Николаевна вздрагивает. Вот еще одна страница. Полгода как она играет. Уезжая из Москвы, она не знала, что ее ждет. Одни говорят о севере — «это край ссылки», другие — «это край будущего». Лидия Николаевна знает: это суровый и трудный край. Здесь люди не боятся ни белых ночей, ни черных дней, ни морозов, ни зноя, ни комаров, ни людских толков. Лясс не раз говорил ей: «Север правду любит». И она попала на север. Все время приходится разучивать новые пьесы. Ролей никто не знает, да и пьесы глупые. Режиссер сам не понимает, чего он хочет. То он кричит Лидии Николаевне, чтобы она пила взаправду горячий чай: «Обжигайтесь! Это гораздо натуральней». То ставит ее возле стены и любуется: «Подымите руку! Замечательная тень! Совсем как в Камерном...» Ну, а до публики ничего не доходит: ни тень, ни чаепитье, ни комсомольцы в теннисных брюках, ни рык Орловского. Играть Лидия Николаевна так и не научилась, только охота пропала. А что у нее помимо театра?

Снова Лясс. Снова Голубев. Снова замечательная жизнь, к которой она никак не причастна. Каких людей она видала на запани! Но у них свои интересы: работа, курсы, газеты, книги. Этим людям она не нужна. Да и кому нужна она?.. Вот чуть было не сошлась с Орловским. У него каждый сезон другая жена, он говорит: «Это судьба истинного художника». С ней он даже не говорил о чувствах — зачем пыл расходовать, пригодится на сцене. Пришел просто в ее номер, сел рядышком, обнял. Ей было так скучно, так ей все казалось безразличным, что она его не оттолкнула. Он одной рукой ее обнимал, а другой снимал воротничок. Лидия Николаевна увидала потную шею с кадыком. Кадык судорожно бился. Ей стало противно. Она отошла к окну и сказала: «Уходи». Он выругался, взял воротничок и ушел. Вот и все. Лясс недаром

говорил: «Эх вы — актерка!» Она и вправду актерка. Зачем только это тянуть?..

Сейчас их послали в колхозы. Два месяца проездят. Декораций не везут. Репертуар — все вперемешку: Шекспир, Афиногенов, Островский и еще какой-то Головченко. Зачем колхозникам «Отелло»? Но Орловский настоял: «Моя коронная роль». Опять будет это ощущение стыда, когда приходится ломаться перед большими и честными людьми.

Так Лидия Николаевна и не вздремнула до утра. Туман окутал реку, но не смягчил тоски. Потом подул ветерок, показались берега, а на них все тот же бесконечный лес. Маленьким казался пароход среди огромного пустынного мира. Нет никому до него дела — летит караван гусей, не все ли равно, куда и зачем?..

— Еще, товарищи, я должен зачитать сообщение, что к нам едут актеры из Архангельска, значит, завтра в этом самом помещении будет большой спектакль. Называется...

Гриша Митин запнулся, взял со стола бумажку: название он позабыл.

— Называется «Отелло», сочинение Шекспира.

Так, вопреки мыслям Лидии Николаевны, кто-то с волнением следил за путем парохода. Зал шумел. Происходило это на совещании представителей колхозов в волостном центре.

— Завтра представлять будут!

Потом перешли к повестке дня. С докладом выступил Митин:

— Значит, прежде всего об удое. Я возьму к примеру наш колхоз «Северную правду». Почему это коровы колхозные дают три литра, а индивидуальная корова колхозника дает семь или восемь? Если вы хозяйку спросите, она вам скажет, что доярки доят по двенадцати коров и, значит, они до конца не додаивают, и это отражается на корове. А доярки говорят, что они тут ни при чем, а хозяйка своей корове даст то да се — словом, уход другой. А что получается в итоге? Свидетельство полной некультурности. Почему это колхозная корова не моя? Мы с этим должны беспощадно бороться, чтобы обобществленная она была, как моя родная, выжечь мы должны эти кулацкие пережитки!..

После Митина взяла слово Дарья Федосеева. Она ругала доярок. Степанова говорила, что доярки ни в чем не виноваты: колхозные коровы хуже индивидуальных, перехитрили — себе оставили поудойней. Черемисов всех обложил: и коров, и доярок, и колхозников. Потом перешли к вопросу о прополке и окучивании. Митин снова обличал:

— В колхозе «Наш коллектив» всю капусту съела белянка. А сколько картошки сорняками задушено? У нас один только раз пропололи. Это, товарищи, полнейший скандал! Мы, можно сказать, в центре внимания. О нас в краевой газете писали. Театр нам посылают. А мы показываем себя малосочными лодырями. Если мы не выработаем железных мер, нас на такую черную доску запишут, что потом и не смоешь...

Старики внимательно слушают Митина: это парень серьезный. Даже Черемисов его уважает, а у Черемисова характер тяжелый: только начнешь что-нибудь говорить, он сразу покраснеет и крикнет: «Нет!» Но вот Митина даже Черемисов слушает. Митин — здешний, старики помнят: бегал, собак гонял. Потом он пошел на лесозаготовки. Чему-то его научили, даже бумагу выдали. Потом в Красной Армии служил. А как вернулся в колхоз, не узнать колхоза — такое развел...

Это веселый светлоглазый парень. Он устроил у себя библиотеку. Книг, правда, мало — Шолохов, Панферов, «Овод», десяток брошюр по животноводству. Зато Митин вырезывает статьи из газет и кладет их в папку. Он и сам недавно написал статейку о мясозаготовках. Послал в «Северную мысль». Кое-где подчистили, но напечатали на первой странице. Смех у Митина громкий, не комнатный смех. С утра до ночи он работает: колхоз для него — Магнитогорск. Сколько здесь делов можно понаделать! Без Митина люди сидмя сидели, это он их растормошил. Скотный двор построил. Из Устюга приезжал фотограф — снимал для какой-то выставки. Чисто, светло, просторно. Стоят коровы веселые, чуть-чуть что не улыбаются. Над каждой дощечка с именем. Имена он дает приятные: «Ударница», «Ира», «Немочка», «Выдвиженка», «Дуся». Жеребца одного окрестил «Боевиком». Свиньи у него и то аккуратные. Вечером он сидит и думает; на столе лист бумаги, как

будто он писатель. Он и вправду, чтобы легче было думать, записывает: «Говорю с Михаилом о супоросе...»

Иногда ребята зовут его гулять. Он выйдет, споет что-нибудь или потанцует и быстро бежит назад: работы много. Мочалов как-то к нему подступил:

— Ты что ж это? Если человек выпил, он для тебя и не человек?..

Митин в ответ только расхохотался:

— Брось, Санька! Я и без водки пьяный. Посмотри на меня. Что, скажешь — скучный?

Митин нравится девушкам, но ни с одной он не гуляет. Говорят, будто в городе у него осталась дроля. Кто знает, правда ли это. Может быть, просто голова у него занята другим, вот и не смотрит ни на Шуру Савкову, ни на Клавдию.

Актеров встречает, разумеется, Митин. Другие сконфуженно теснятся позади. Только ребятишки лезут вперед; один схватил палку Орловского с затейливым набалдашником, другие считают чемоданы — ну и добра!..

В Доме колхозника уже кипит большущий самовар. На столе мед, масло, яйца. Орловский сурово спрашивает:

— Водка где?

Митин улыбается: сейчас! Орловский пьет водку из большой чашки, вздыхая и причмокивая. У Лидии Николаевны голова разболелась, она трет лоб одеколоном. Фадеева зашивает плащ Отелло. Все это настолько необычайно, что Митин притих. Он смотрит на Лидию Николаевну со смутной улыбкой: так ребята смотрели на чемоданы.

Они идут осматривать сцену. Сцена крохотная, и Орловский грохочет:

— Упаду. Обязательно упаду.

На сцене висит большое полотнище: «Задачу подъема животноводства мы решим только на основе укрепления колхозов». Лидия Николаевна предлагает:

— Может, перевернуть?

Орловский смеется:

— Какая разница? Отелло и подъем животноводства — это даже пикантно!

Лидия Николаевна не спорит: вся затея кажется ей нелепой. Вот Красавина не поехала — она могла выбирать. А Лидию Николаевну послали. Разве в городе ей дали бы

роль Дездемоны? Там Красавина. Или Собельская. Играть здесь Отелло! Только Орловский способен такое придумать: ему все равно — лишь бы паясничать...

Вот он уже рычит на сцене. Он путает реплики, но не смущается. То и дело потрясает кулаками. Лидия Николаевна оглядывает зал: в первом ряду одни бороды. Кажется, никогда она не видала столько бородатых людей. Младенец плачет, кругом цыкают. Душно, дышать нечем. Она играет нехотя, машинально. Когда она должна петь песню, ей становится еще грустней. Перед глазами встает утренний туман на реке. Она поет с такой тоской, что ее голос пронизывает зал. Поет она не плохо. Ей в Москве советовали учиться пению: голос прекрасный, только непоставленный. Она не знает, о чем она поет. Разве в песне понимаешь слова? Это то, что словами не выскажешь. О чем горевал человек, который на пароходе пел глупую песню? Может быть, он был и не шофером, но счетоводом или пильщиком. Лидия Николаевна поет об иве. Но нет, она поет о своей жизни; еще раз она рассказывает самой себе длинную и пустую повесть: неудачи, обманы, одиночество.

Когда она кончает петь, раздаются аплодисменты. Они начинаются неуверенно и робко, потом растут, становятся бурей. Этот шум прост и загадочен. О какой тревоге, о каких еще судьбах рассказывают тысячи людей, ударяя по-детски в ладоши? Гриша Митин не в силах сдержать себя. Он даже привстал, а лицо у него теперь строгое.

Аплодисменты заставили Лидию Николаевну очнуться. Она подумала: неужели мне?.. Но думать было некогда. Она снова играла. Но играла она теперь по-другому: она была не только Дездемоной, она была обыкновенной женщиной, Лидией Николаевной; она так любила жизнь, так хотела найти в этой жизни место, но никто ей не поверил. Она говорила глазами, слабым взлетом руки, легкой дрожью голоса. Она говорила о верности, о любви, об одиночестве. Она играла в тот вечер, как большая актриса, и когда спектакль кончился, зрители не сразу зааплодировали. Они сидели неподвижно, потрясенные трагедией человеческой судьбы. Аплодисменты раздались минуту спустя, отчаянные и грозные: люди на чем-то настаивали, спорили, умилялись. Лидия Николаевна в ответ слабо

улыбалась, а Орловский кланялся и подымал руки к потолку.

Лидия Николаевна прошла в правление клуба, где актрисы переодевались. Фадеева сказала:

— Здорово ты разыгралась сегодня...

Но Лидия Николаевна ничего не слышала. Она ощущала острую усталость. Невидящими глазами она обводила комнату: календарь, папки, плакат: «Все на борьбу с сорняками!» Она еще плохо понимала, где она и что с ней. Возвращение к обычной жизни было мучительным. Ее позвали на сцену, но она сослалась на усталость и не пошла.

Она теперь одна в этой крохотной комнатке, которая пахнет смолой. Она робко думает: неужто так? Значит, она может играть? Но тогда все ее сомнения — детские страхи. Но тогда...

Со сцены раздается чей-то громкий голос. Она невольно прислушивается:

— И, значит, от имени всех колхозников мы приносим вам благодарность, и в эту торжественную минуту мы даем обещание поднять удойность, а с прополкой не зевать, чтобы не могли сказать...

Она больше не слушает. Глубокое отчаянье овладело ею. Как она могла поверить в хлопки? Просто эти люди не бывали в театре, вот они и стараются, меда достали, аплодировали. Что им до судьбы Дездемоны? Они заняты другим. Только-только кончился спектакль, а они уже говорят об удойности. Это их жизнь, их страсть. Зачем же перед ними играть?..

Недавний подъем сменился упадком. Фадеева сказала: «К тебе пришли — обязательно хотят тебя поблагодарить». Лидия Николаевна покорно встала: надо выслушать, что-то ответить, лгать, улыбаться. Глаза ее столкнулись с глазами Митина, полными такого восторга, что она вздрогнула и отвернулась. Впереди стоял какой-то бородатый человек. Он долго мялся. Глаза у него были лукавые и грустные. Митин сказал:

— Что же ты, Черемисов?

Тогда бородатый человек заговорил:

— Поблагодарить пришли. Такая у нас радость, что и сказать не умеем. Я вот и подумал, не обиделись ли вы?

Такое вы представляли, а мы вылезли с нашей прополкой. Но только вы не думайте, что мы этого не понимаем. Если мы о таком говорим, это мы вас хотим отблагодарить. Значит, и с нашей стороны обещаем подняться. А наше дело известно какое, раз мы колхозники... Но вы не подумайте, что мы без чувств. Мы понимаем, какая это красота. Вот сидели — плакали. Всех можете спросить — как это вы запели, сил не было удержаться. А если чем обидели, вы уж нас простите...

Лидия Николаевна не выдержала: слезы катились из ее глаз, она рукой обхватила шею Черемисова и поцеловала его. Она смогла выговорить только одно:

— Это вы меня должны простить...

Она хотела рассказать, как неправильно судила этих людей, как ей стыдно и радостно. Но говорить она не могла — мешали слезы. Поцеловав щеку Черемисова, она укололась о бороду. Ей вспомнился отец. В детстве, когда бывало грустно, она взбиралась на колени к отцу. У отца тоже была борода... Но эти воспоминания не были печальными. Огромное волнение охватило ее — что-то менялось в ее жизни, — и это волнение передалось колхозникам. Они поглядывали на актрису смущенно и ласково. А Гриша Митин все шевелил губами, как будто хотел что-то сказать и не мог. Он был счастливей всех. Он радовался, словно это он играл на сцене, он написал пьесу о муках Дездемоны, и вместе с каждым из этих бородатых людей переживал драму жизни.

Когда они вышли из клуба, Митин спросил:

— Вас проводить?

Она кивнула головой. Молча они дошли до Дома колхозника. Лидия Николаевна сказала:

— Мне и спать расхотелось...

Они пошли назад, к реке. Лидия Николаевна попрежнему жила как во сне. Все казалось ей необычайным: и резные ворота, и пронзительный собачий лай, и ласковый голос попутчика. Гриша рассказывал о своей работе, о Хабаровске, о лесе, о молодости. Она чувствовала, как ей дорог этот незнакомый человек. Ей хотелось что-нибудь ему рассказать. Но что? Ее терзания он уже знает: он слышал, как Дездемона говорила за Лидию Николаевну. Надо рассказать ему что-нибудь радостное и необыкновенное. Тогда

она вспомнила Лясса. Она рассказала Грише про работу ботаника:

— Он говорит: «Розы будут в тундре...»

Гриша приостановился и весело улыбнулся:

— Вот, вот, и я об этом говорю. Некогда думать — работаешь с утра до ночи. А если задуматься, такая радость берет, кажется, взял бы и спрыгнул вниз с этого обрыва... Видали Черемисова? Суровый. А сегодня и он не вытерпел — прослезился. Это как вы рассказывали — розы в тундре...

Они зашли далеко от села. Кругом были луга. Кричала где-то ночная птица. Ночь была безлунная, темная, тихая. Потом они сидели молча на берегу. Они обняли друг друга. Пахло ромашкой и сеном. Их ласки были суровы и целомудренны: они любили друг друга, как два подростка, впервые узнавшие, что такое любовь. Никогда в жизни Лидия Николаевна не думала, что может быть такое счастье. Будто ее не было больше, будто и она вошла в эту теплую, тихую темноту. Потом руки разжались. Огромное спокойствие овладело ею — только бы не двигаться, не думать!

Она уснула, положив свою голову на колени Гриши, и Гриша боялся шелохнуться, чтобы не разбудить Лидию Николаевну. Он не думал о том, что произошло: он был слишком полон этим.

Проснувшись, Лидия Николаевна начала смешно тереть кулачком глаза. Гриша на минуту испугался: вдруг она пожалеет, подумает — зачем ей это, обидится на него?.. Но сейчас же он рассмеялся: он увидел сконфуженную улыбку Лидии Николаевны, которая стряхивала с себя кусочки сена.

— Ну и вид у меня, наверно... Как это я уснула?..

Перед Гришей была теперь не Дездемона, но девочка, еще теплая от сна. Она вскочила. Ей хотелось бегать, дурачиться, кидать камни в реку. Она растрепала Гришу. Потом она показала на воронье пугало и шепнула: «Вылитый Орловский». Потом она побежала, крикнув:

— Ну, председатель, догоняй!

Бегала она быстро. Она добежала до перелеска, а там спряталась среди берез. Выскочив, она крепко поцеловала Гришу. Солнце было уже высоко. Вдруг какая-то мысль

заставила ее нахмуриться, но и это у нее вышло весело: так ребята передразнивают стариков. Гриша рассмеялся. Кажется, в последний раз Лидия Николаевна его видела тогда веселым.

Пароход отходил в десять утра. Они это знали. Когда они подходили к селу, веселье прошло. Они думали теперь о том, что должно случиться через час. Неужели они затем и встретились, чтобы сразу расстаться?

Это не прошло без душевного спора. Каждый спорил сам с собой: они шли и молчали. Гриша сказал в отчаянье: «Нет!», но сразу осекся. А когда Лидия Николаевна его переспросила: «Что — нет?», он ей ничего не ответил. Он чувствовал: надо удержать! Это его счастье. Вот случилось так — приехала. Сразу они поняли друг друга. Как же ее отпустить? Здесь-то он сказал вслух «нет». Но потом он подумал, что для Лидии Николаевны его жизнь скучна и неинтересна. Это большая актриса. Она трогает тысячи сердец. Она говорит, а люди плачут или смеются. Он не может ее украсть у других. Уехать?.. Нет, его жизнь здесь, и этой жизни он ни на что не променяет. Вот он сказал «нет», и сейчас же отступил. Больно? Конечно, больно, но ничего тут не поделаешь...

О том же думала Лидия Николаевна. Она переживала молодость Гриши: ему все внове. А она? Она знает жизнь. Остаться здесь? Да, для нее это счастье. Но Грише это ни к чему. Она не сможет жить его жизнью. А начинать все сначала — поздно. Лучше принять горе — это честней. Она знает — никогда она не будет так счастлива, как была этой ночью. Но впереди у нее не только грусть. Она помнит вчерашние слезы: они были живой водой, они ее оживили. Кому-то и она нужна. Вот эти говорили о прополке... Гриша вчера радовался: «Главное, наладить с прополкой...» Это правда. Есть и вторая. Но кто о ней расскажет, кто прочтет, что было у этих бородатых людей на душе? Лидия Николаевна где-то читала, как в старину Шекспира смотрели пастухи и принцы. Они вместе плакали. Принцев у нас нет. А пастухи?.. Что же, эти умеют плакать и за себя, и за мертвых принцев, и за Отелло, и за Лидию Николаевну. Большая у них душа. И жизнь большая. Найдется в ней место и для Лидии Николаевны. Вот проездит еще год, поработает, помучается, и снова выпадет такой

вечер. А счастье? А любовь? Пусть молодые любят. Она все узнала этой ночью. Она может теперь жить жизнью голой и суровой.

Все же, когда сняли мостки, когда среди бревен, загромождавших пристань, среди дыма и тайных, никем не замеченных слез в последний раз проплыло перед ней лицо Гриши, она вскрикнула. Потом она закрыла глаза. Она как будто замерла. Она переживала расставание. Ей страшно было поглядеть на свет, который еще зовут «белым»: в нем больше не было веселого, светлоглазого человека.

Гриша долго стоял на пристани. Река недалеко от пристани поворачивала, и пароход быстро пропал с глаз. Но Гриша все еще глядел на воду — ему казалось, что он может различить на воде слабый след. В страхе он себя спрашивал: неужели это так больно? Здесь можно и раскиснуть! Он медленно пошел в правление колхоза. Там его ждал Мочалов. Завидев его, Мочалов крикнул:

— Гриша, «Малина»-то ожеребилась!

Они побежали в конюшню. Крохотный жеребенок лежал возле матери, смешно двигая верхней губой, будто он был обижен миром. Гриша улыбнулся:

— Красавец!

Мочалов поправил:

— Красавица: это кобылка. Ну, Гриша, крести. Помоему, назвать ее «Представление» — все-таки исторический день.

Гриша все улыбался жеребенку. Он ответил не то шутя, не то с легкой, едва приметной грустью:

— Раз так, лучше — «Дездемоной».

Они оба рассмеялись, и Гриша понял, что он спасен. Некогда здесь раскисать. Сегодня из МТС обещали прислать трактор для молотьбы.

Когда Лидия Николаевна наконец-то решила приоткрыть глаза, больше не было видно пристани. На берегу паслось стадо. Коровы глядели на пароход с легким изумлением. У них были большие красивые и сонные глаза. Лидия Николаевна сидела и смеялась, не коровы ее развеселили, она вдруг поняла, что произошло нечто непонятное и замечательное: она думала, что ее счастье останется на берегу, среди бревен, слез и дыма. И вот это счастье здесь, оно с ней. Она дышит, как никогда прежде не ды-

шала. Она все сейчас может. Кругом сидят, лежат, отругиваются или чешутся сердитые люди. Но она может им нарассказать столько смешного, столько неожиданного, что и они улыбнутся. Этот старый человек, кажется, капитан. Того капитана — «Байбака» — она обидела. Но теперь все будет по-другому. Теперь она рассмешит даже ворчливого капитана. Нет на свете ее счастливей. Она обнимает сейчас Гришу. Она обнимает бородатого колхозника, который вчера говорил о красоте. Весь мир она обнимает.

И Лидия Николаевна машет рукой. Разве она знает кому? На берегу мальчишка. Он пасет колхозное стадо. Он снял картуз и тоже машет в ответ. И она смеется и он. Она думает: говорят, счастье приходит слишком поздно. А как это может быть «поздно» для счастья? Хоть за минуту до смерти, и то во-время, и то оно — счастье. Она думает и все машет рукой и все смеется.

18

Бревно вырвалось, как птица, и быстро понеслось вниз по реке. Может быть, оно дойдет до Вари?.. Отсюда до бельковской запани двести километров. Уж месяц как Мезенцев ничего не слыхал про Варю. Кажется, никогда прежде он не работал с таким ожесточением. Однако он думает о Варе. Он думает о ней настойчиво и нежно. Сердце человека куда больше, чем это кажется. Да и дни больше. Он думает о Варе, когда другие шутят, кидают камни в воду, поют или просто валяются на откосе, рукой загребая высокую траву и лениво следя за ходом облаков. Варя для него постоянная тень, та тревога, которая любой день делает значительным, заставляет прислушиваться к далеким голосам, а под шум дождя подставляет человеческие доводы. Мысли о Варе не мешают ему работать, они приподымают его. Он живет чересчур напряженно, но он в этом неповинен: случилось так, что все тревоги выпали на тот же короткий отрезок времени. Голубев ему сказал:

— Там сорок тысяч кубометров экспортной древесины. Если не отправят до восемнадцатого, — конец! Пойдет она вся на дрова.

Сухона обмелела. Почту привозят на глиссере. Все труднее приходится с отбуксированием. В зное сказывается исступление последних дней северного лета. То и дело осень напоминает о себе. Первые желтые листья — ее повестки. Надо работать сверх сил. Мезенцев это знает, и глаза его теперь блестят по-новому.

Он приехал в Устюг с тяжелым сердцем. Он не знал, как ему понять отъезд Вари: разрыв это или только разлука? Работа не успокаивала его, она его вдохновляла. Он должен был жить залпом. Кто мог остановить бег времени или спад воды? В жарком тумане он видел тот уже не далекий день, когда последний иностранный лесовоз, посвистев, выйдет в Белое море. Это было вне его воли, как Варя. Но он не подчинялся. В поспешность жестов и рук, в сплотку, в сортировку, в скатку, в речи на собраниях, в доводы и в ломовую тягу — во все он вкладывал свое содержание. Он работал, как поэт, и кубометры отбуксированной древесины медленно уходили вдаль, похожие на длинные строки стихов. Он и с Варей не подчинился. Он знал — это не мелкая страстишка, от которой надо поскорее отделаться. Они друг друга не поняли. Это — как залом на реке. Бывает — спадает вода, нагромоздятся бревна, и путь закрыт. Затор ломают. Иногда его взрывают динамитом. Как же быть с Варей?..

Лесостоянку, на которой Мезенцев работает, зовут комсомольской. Судьба древесины связана с дорогим ему именем. Он не умеет любить абстрактно. Чем сильнее чувство, тем больше в нем того, что другие считают «пустяками». Он никогда не может подумать просто: Варя. Он видит то неловкую улыбку, то прядь волос на щеке, то глаза, темные от горя, когда Варя ему сказала: «Жить захотелось». Он полон воспоминаниями о каждой минуте, которую они провели вместе, и эти воспоминания связаны со звучанием, с цветами, с запахами. Разве не началась их любовь с запаха свежераспиленных досок? Он помнит запах лесной малины — так пахли губы Вари. Ее волосы пахли сухой травой. Он помнит все запахи этих недель: запах масляной краски в маленькой комнате, запах бензина, дегтя и рыбы — так пахло на пристани. Огромный мир состоит из множества мелочей. Мезенцев никогда не говорит: жизнь — то или это. Он живет с жизнью вместе,

знает ее привычки, ее жесты, ее смех и дыхание. Чтобы рассказать об этом, надо уметь писать стихи. Когда он говорит «комсомольская запань», он вкладывает в эти слова всю страсть своих двадцати трех лет.

Ему было двенадцать лет, когда он впервые почувствовал, что значит товарищи. Это было в Воронеже. Костя потащил его на собрание пионеров. С того дня он никогда не жил один. Он влюблен в гул собраний, в споры, в ругань, за которой чувствуется любовь, в духоту и в возбуждение: здесь рождается воля. Это просто и загадочно, как рождение человека. Не раз он испытывал обиду: знал, что прав он, но товарищи с ним не соглашались. Он должен был подчиняться, и он нашел радость в этом отказе от себя. Он любит своих товарищей ревниво и упорно. «Комсомолец» — это звучит, как напоминание о родстве. Читая в газете письма незнакомых ему людей, он переживает драму каждого. То, что лесостоянка считается комсомольской, заставляет его еще острей переживать возможную драму. Осталось всего восемь дней. Вчера он видел: древесина начинает поддаваться, появилась верховая синь.

— Ребята! Как же так, ребята?..

В выходной они устроили субботник. Пришли рабочие со щетинной фабрики, вузовцы, кое-кто из служащих. Работали отчаянно. Мезенцеву казалось, что это не лес шумит, когда его скидывают в воду, но время. Что-то надломилось в самом ходе времени. Они окатали тысячу четыреста кубометров. В ту ночь Мезенцев спал спокойно, и Варя с ним разговаривала не о горе последних дней, но о замечательных пустяках: о том, что она сшила себе желтую блузку, и еще о том, что снегири поют лучше канареек.

Несколько дней спустя Мезенцев с комсомольцами разбирал затор. Когда они немного освободили реку, бревна стремительно понеслись. Мезенцев вытянул руки, чтобы сохранить равновесие, с минуту покачался, а потом упал в воду. Он видел, как на него несется лес. Он схватился за несколько бревен, еще лежавших неподвижно, но они подались, и он снова сорвался. Воля не оставляла его. Он добрался до бревен, на которых стоял Паша. Вечером его знобило. Он пил чай и молча усмехался. Он знал, что и

лихорадка не властна над ним. Он мог умереть, заболеть он не мог. Он сказал Паше:

— А затор все-таки доломали...

Говоря это, он думал о Варе: он умел жить сразу разными жизнями. Он думал о Варе с горечью и отчуждением. Почему она не сказала ему правды? Разве важно, что отец у нее кулак? Он полюбил не дочь кулака, а комсомолку... Но дальше начинается темнота, полная шорохов и догадок, несутся озверевшие бревна, молчит река, и небо все покрывается тяжелыми мохнатыми тучами. Воздух уже пахнет осенью. Успеют ли они с древесиной?..

— Паша, ты как думаешь — успеем?..

Дальше идет непонятное: Варя любила, верила, они жили одной жизнью. Но у нее в душе был темный закоулок, туда она не пустила и Мезенцева. Оказалось, они чужие. Неужели вот Паша — свой, а к Варе и дороги нет? Где она теперь? Может, и она разбирает затор среди горя, воды, вскриков. Он ничего не знает о ней.

— Паша, сколько дней осталось?..

Леса осталось еще много. Он гибнет на берегах. Мезенцев, кажется, всех поднял на ноги. Ночью он составляет летучки: залом разобран. Павлов — герой труда. Машкова и Зайцева — дезертирки: в поповский праздник, в Ильин день, бросили работу. Еще окатать столько-то! Еще сплотить столько-то! Вицы! Паровую тягу! Людей! Главное — людей!

Мезенцев сидит на берегу: час отдыха. Можно вздремнуть. Можно и поговорить с товарищами о завтрашнем легком счастье.

Королев усмехается:

— Я когда с девчатами гулял, сколько на это времени уходило! А теперь вот женился, и куда спокойней. Знаю — приду домой, дома жена ждет. Никаких это лишних чувств. Так что и спать ляжешь во-время. Наутро веселый, работа лучше идет. Правильно я говорю, Петя?

Мезенцев отвечает:

— Нет.

— Значит, по-твоему, с чувствами? А работать кто будет? Я вот недавно прочитал один роман, сочинение Тургенева. Люди у него ничего не делают, только что переживают. Ты что хочешь, чтоб и мы так?..

Мезенцев рассердился:

— Ты думаешь, я и сам не понимаю, в чем тут разница? Только я тебе одно скажу: если у Тургенева люди много чувствовали, то мы должны во сто раз больше чувствовать. Как они там ни расписаны, а перед нами они щенки. У него полюбил, например, неудачно или кто близкий умер, вот он и переживает. А у нас что — все удачно любят? Или никто у нас не умирает? Только наши еще при этом работают. Может, он от несчастной любви страдает, а он в стратосферу летит, он в Арктику едет, он Магнитку строит. Я вот о себе скажу. Что я? Мальчишка. А возьми меня, пожалуйста, поставь рядом с тургеневскими героями. Я, может быть, куда больше чувствую. Знаешь, что я тебе скажу? Вожди — ты что думаешь? — они больше нашего чувствуют. Каждый-то из них живой человек. Только, конечно, умеют молчать. Это мне один старый большевик в Воронеже говорил: «Такая наша наука. Ногу тебе режут, сердце на клочки рвут, живьем в землю закапывают, а ты молчи. Поэтому и победили». Я так думаю: чем у человека больше чувств, тем он на вид строже. Только если ты скажешь, что это работе мешает, я тебя цифрами забью. Чувства не вымеряешь, а древесину, пожалуйста, — считай на кубометры. И нет без чувств людей, разве что бревна, да и дерево тоже чувствует...

Мезенцев с такой легкостью говорил о кубометрах потому, что в этот день они обогнали время. Осень теперь может торопиться, река мельчать, Архангельск нервничать: комсомольцы идут впереди. Кубометры тают, как сугробы в апреле. Лес исчезает, пустеют берега. Это победа.

19

Лесостоянка находится недалеко от города. Город зовут Великим Устюгом. Это прекрасный и непонятный город. Такого Мезенцев и во сне не выдумает, хотя сны у него странные: Тургенев играет с пропсами, сосны плачут терпентиновыми слезами, а Варя превращается в тот залом, где, разбирая древесину, люди вскрикивают и гибнут. Можно, конечно, сказать об этом городе: мертвый город. Тени здесь ходят по улицам, века заглядывают в окошко,

дружески стучат ставней. Но секретарь горсовета преспокойно говорит:

— Мы превратим Устюг в образцовый город. Прежде всего надо положить мостки на Красной улице, против Дома пионеров, а то там и пройти нельзя...

Летопись рассказывает, как в 1192 году казанские татары подошли к Великому Устюгу; они лестью взяли город и разграбили его. Потом приехал ханский баскак. Потом нагрянули новгородцы. Потом вероломный князь Василий Косой жег дома и вешал людей. Потом устюжане отбивались от черемис. Потом была чума и моровая язва.

В городе сорок три церкви. Они распадаются, гниют. Это каменные покойники с золотыми нимбами, с райскими яблоками и с тяжелыми медными слезами. Они пахнут плесенью, ладаном, смертью. На изразцах еще можно прочесть: «Дух мой не для ноздрей твоих». Но кто читает старые надписи? У людей и без того уйма дел: они устраивают водный техникум, они стоят в хвосте возле булочной, они читают Гегеля, и они кладут мостки на грязные, размытые дождями улицы.

Шесть раз горел Успенский собор, и шесть раз устюжане строили его заново. Город в страхе поглядывал на Сухону. Подбирая окраинные домишки, он убегал от реки, но река его настигала. Она заливала улицы и подмывала валы.

В горсовете висит старинная люстра; секретарь, глядя на нее, разводит руками:

— И кто такое придумал? А выкинуть нельзя: за Главнаукой. Не то она византийская, не то венецианская, шут ее знает...

Под люстрой сидит Антонина Наумова. Три года тому назад Наумовой поручили уход за двумя обобществленными овцами. Она увеличила поголовье овец в двадцать шесть раз. Секретарь приветствует ее длинной речью. Потом он говорит:

— Чорт возьми, Марков пластинок не достал! А надо бы тебя заснять...

В педтехникуме девушки изучают диамат. Щетинная фабрика работает на экспорт. В театре ставят пьесу: «Жизнь зовет». Недавно открыли летний сад имени Горького, с буфетом и с оркестром. Город живет поспешно и

трудно, как живут тысячи других городов. А тени?.. Тени изредка стучат ставней. Замертво падают дряхлые церкви. Трудно начинать жизнь среди могил. Много мужества для этого надо. От старых плит идет холод.

Не раз приезжал сюда Хрущевский. Он глядел на древние камни, которые рассыпались, и ему хотелось не то плакать, не то ругаться. Он старался говорить спокойно. Он убеждал людей, которые жили будущим, пощадить чуланы истории. Он говорил одним: «Если сделать маленький ремонт, церковь можно использовать под склад для зерна». Он говорил другим: «Надо спасти архивы — вдруг из центра наведут справку...» Он говорил третьим: «Иконы пригодятся для антирелигиозной пропаганды».

Потом он шел в гостиницу, жестокую и зловонную. За тонкой перегородкой какие-то люди толковали о поднятии животноводства:

— Возьми знатных людей. Вот тебе Пашинский — конюх. Его «Артист» за год шестьдесят маток покрыл...

Хрущевский думал о красоте прошлого и мучительно морщился. Случайный сожитель — в номере стояло четыре кровати — соболезнующе говорил:

— Вы положите грелку, сразу полегчает...

Этот город как будто нарочно выдуман для терзаний Хрущевского. Но почему сюда забрел Кузмин? Сколько раз Хрущевский ругал его за недостаточно почтительное отношение к прошлому: «Футурист!» У Кузмина румяные щеки, и он не любит якшаться с призраками. Он приехал в Великий Устюг, чтобы зарисовывать ударников сплава — так сказано в его командировке. На самом деле он бродит по северу, как охотник: его ведет чей-то свежий след.

Подъезжая к Устюгу, Кузмин взволновался: встреча двух миров показалась ему полной пафоса. Но город его обманул: он увидел только энергичного секретаря, лишенцев, которые шептали: «Хлеба не достать», комсомольцев, преданных футболу, и мертвые камни. Два мира сталкивались на каждом шагу, но они не узнавали друг друга.

В течение нескольких дней Кузмин смотрел старую живопись. Это было любованием вчуже. Отроки, сидя вокруг стола, улыбались, одежды были яркими, но невесомыми, ржали загадочные кони, смерть представлялась легким голубовато-серым дымом над розовым морем. Этот мир

когда-то существовал, если не на берегу Сухоны, то в сердце художника. Люди писали лики святых, но кто знает, о чем они думали? О лесе с крупной пахучей земляникой? О свисте разбойника? О девушках? Потом мир окаменел. Улыбка стала каноном. На легкие тела легло золото риз. Этот мир давно умер.

А тот, второй? Он скрипит пилами, поет песни, топочет под окном, смеется и плачет, но все же он нем. Он растет, как трава после дождя: буйно и тихо. Он еще никем не назван. Он прекрасен и лишен формы. Он мелькает на полотне экрана. Но как его закрепить на маленьком отрезке холста?

Когда Кузмин слышит запах скипидара, у него кружится голова, как от водки. Он пробует, хороша ли кисть, и жесткость волоса кажется ему нежной. Он живет цветом, как другие живут идеями, звуками или цифрами. Он твердо знает: можно найти такое соотношение тонов, что все поймут — это счастье. Древние говорили: «Колесница солнца сейчас остановилась». Кузмин как-то подумал: наверно, в такую минуту женщине хочется родить ребенка.

Кузмин не раз встречался с Мезенцевым на запани. Но поговорить они так и не успели. А им легко сговориться: как Мезенцев, Кузмин понимает, что жизнь изумительно подробна. Она начинается с деталей: с борта пиджака, со щеки, тронутой тенью, с обиды одного, с радости другого. Она похожа на солнечные блики под деревом, которые перемещаются от легчайшего ветерка.

Прежде Кузмин верил, что грусть или радость говорят за себя: нет нужды допытываться, кто плачет, кто смеется. Это было в школьные годы. Искусство его подавило. Ему предлагали изготовлять картины, похожие на раскрашенные фотографии. Он чувствовал, что это ложь, и готов был до одурения писать одно и то же яблоко. Он как будто сидел в одиночке. Он мог бы дойти до разрыва с жизнью. Спасла его молодость.

Вернувшись на север, он увидел необычайных людей. Может быть, они выросли за эти годы, может быть, Кузмин научился по-новому глядеть на людей, но все его волновало: и Маркс в избушке лесоруба, и лихорадка запани, и суровая сердечность молодого сплавщика. Кузмину показалось, что он охладевает к искусству. Он даже подумал;

зачем теперь живопись? Новый мир не был миром созерцания. Но борясь с искусством, Кузмин продолжал думать только о нем. Месяца три он вовсе не работал. Он ходил, как больной: образы, формы и цвета его не оставляли.

Редактор краевой газеты предложил ему делать зарисовки. Кузмин сказал себе: только без искусства!.. Но всякий раз, начиная работу, он забывал о принятом решении. Глаза уводили его в чащу противоречий, где стена спорила с тоном волос, а грусть человека с книжкой ударника. Он узнал людей, которые его окружали. Это были большие и сложные люди. Если взглянуть на реку глазами сплавщика, в ней можно найти все цвета и все чувства. Так Кузмин снова вернулся к живописи.

Но теперь он не разлучается с жизнью. Грусть или радость связаны с плотью мира, с трудом, с кубометрами, с заторами. Перед ним все слои дерева: он видит и нежную сердцевину, и грубую, шершавую кору. Он работает, не останавливаясь, как человек, который карабкается вверх по канату: остановиться — значит упасть.

Прошлым летом он сделал большую картину: «Праздник в колхозе». Он написал колхозников перед входом в театр. Плащи смешиваются с рубахами. Небо фисташковое, и в полусвете летней ночи порхают китайские фонари. Смеются коровы: они похожи на персонажей из комедии масок. На переднем плане девушка в темнокрасном платье. Это Венера, доярка и дроля. Кузмин понял, что такое радость.

Но в новом мире еще много неназванных чувств. Они мешают ночью слушать тишину. Это волны радио, которых никто не может поймать. Коротким и нестройным вскриком они напоминают о себе. После похорон на бобриковской запани Кузмин долго не мог опомниться. Он сразу понял: это картина! Он говорил о ней Хрущевскому. Много раз он пробовал ее писать. Но картина не рождалась. Как будто все выходило: и лодка, и фонари, и девушка в гробу. Он говорил Хрущевскому: «Издали это похоже на карнавал — вода, огни, флаги, — чем не Венеция?..» Он писал, и все получалось лживым. Он не мог найти ни тона воды, ни неба, ни того человека. Он хорошо его помнит: все идут, поют, держат флаги, только для одного эта смерть не просто смерть. Он молчит. На нем меховая шапка. Когда

Кузмин писал, получался сухой пересказ. Он не знал, как поставить этого человека, как положить его руки. Он не видел его лица. В моделях не было недостатка: каждый день он ходил на запань, в его альбомах были сотни зарисовок. Нехватало чего-то в самом Кузмине. Он был еще очень молод. Он знал зелень деревьев, радость охры или хрома, смех, кулисы театра, свое ремесло. Но из чего сделано горе — этого он еще не знал.

Кузмин поселился у Егорова. Когда-то Егоров был богатым домовладельцем, либералом и меценатом. Теперь он получает от племянника тридцать рублей в месяц и, подостлав «Правду», чтобы не пропало ни крошки, нарезает полфунта хлеба на тонкие ломтики. Он жует хлеб медленно и восторженно: так дети жуют пряник. Потом он сидит и громко вздыхает.

Егоров как-то спросил Кузмина:

— Вы, может быть, старые иконы ищете?

Кузмин рассмеялся:

— Нет. Куда же это мне!.. Уж если я чего-нибудь ищу, то хорошего горя.

Егоров встает, его колени трясутся, борода у него грязная и нечесаная. Тридцать лет тому назад он произносил речи перед воспитанницами прогимназии, которая была отстроена на его деньги. Он говорит Кузмину:

— За горем не ездят, горя теперь всюду много...

Разве знает Кузмин, чего он ищет? Горя? Что же, и у горя свой цвет. Значит, и горе — радость: этим дышишь, от этого смеешься. Мир пестр и громок. Только у смерти нет ни масти, ни голоса.

20

— Здорово ты обгорел, — говорит Кузмин Мезенцеву.

Мезенцев рассеянно улыбается. Он должен быть счастлив: утром ушли последние плоты. Комсомольцы не осрамились. Завтра — домой. Домой?.. Нет, Мезенцев не счастлив. У него нет дома. Сегодня он понял, что Варя ушла от него навсегда. Она ушла задолго до того, как уехала на бельковскую запань. Она ушла, когда замолчала. Нет, еще раньше: когда не сказала ему правды. Она и не была никогда с ним. Та ночь на берегу была вымыслом: не спал,

а приснилось. Потом? Потом они подозрительно оглядывали друг друга. Теперь все кончено.

Но вдруг он приедет, а Варя в Архангельске?.. На минуту Мезенцеву показалось, что Варя сидит у окна в желтой блузке: такой он ее как-то видел во сне. Он улыбнулся и ответил Кузмину:

— Еще бы здесь не обгореть! В июле-то как палило...

Они могли бы на этом расстаться. Как случилось, что они заговорили о самом главном? Может быть, Мезенцев в тот день был особенно грустен. Как только кончилась работа, он почувствовал себя слабым и растерянным. Может быть, сказалась тоска Кузмина. Картина его преследовала. Он вчера снова хотел писать и не смог. Он не знал, что ему делать. Может быть, во всем был повинен светлый осенний день, когда мир начинает оголяться и прочищаться, когда голоса звучат пронзительно, а деревья на бледноголубом небе горят болезненным золотом, как купола умирающих церквей.

Кузмин попробовал сделать рисунок с Мезенцева — ничего не получилось. Всердцах он захлопнул тетрадь.

Они улыбались; теперь они шли молча, и больше не было разговора ни о сплотке, ни о летнем зное. Потом они заговорили. То, о чем они говорили, никак не было веселым, но они все еще улыбались.

Кузмин говорил:

— Когда затор разбирали, я подумал: если бы и себя этак разломать! Позвали ребят, налегли — и готово. А я вот с прошлого лета не могу избавиться. Девушку хоронили. Пришибло ее. Хочу написать, и не выходит. Как-то по-другому получается: поют песни и поют. Там парень один был. Он так на меня поглядел... Вот и рассказать я не умею. Язык у меня суконный. Кистью должен разговаривать, а оказывается, и кисть неподходящая. Чувствую, а не выходит. Отец у меня в тридцать втором умер. Старый был. Написал: «Приезжай поскорей». А я замешкался. Работу надо было сдать к сроку. Потом билета не достал. То да се. Сказать по правде, я не очень торопился. Приезжаю, говорят: «Шесть дней как похоронили». Я будто обалдел, хожу, говорю, а не могу очухаться. Не то что бы мне его жалко было: старик ведь. Но я все думаю: может, он хотел мне про что-то сказать? Умом понимаю — ну что он

мог рассказать, старый человек, всю жизнь в деревне просидел — глупости! А все-таки грызет Может, он хотел рассказать, что у него там внутри? Это, понимаешь, такая история... Говорят люди что попало, а вот если сосчитать, сколько ты в жизни по-настоящему говорил, — раз, два и обчелся.

Они теперь сидят в комнате Кузмина. Повсюду холсты — все эти недели Кузмин работал без передышки. Река, лодка, гроб. Но Мезенцев не смотрит на картины. Он не смотрит и на Кузмина. Он говорит тихо, как будто про себя, он не решается прислушаться к своим словам. Кажется, он боится умереть через минуту, так и не рассказав никому о самом главном. Он начал с петуний. Он пережил заново короткое счастье. Потом показался Геня:

— Я Голубеву тогда сказал: на Геньку я не сержусь. А это неправда: как он сказал про Варю, я чуть было на него не кинулся. А ведь он должен был это сказать. Но ты послушай! Пришел я домой, а она сидит у окошка...

Он долго говорит. Почему Варя не сказала ему? Он спрашивает, но не ждет ответа. Он знает, что Кузмин не может ему ответить. Потом он на минуту останавливается — забыл, о чем говорил. Он смотрит на большое полотно: оно прямо перед ним — река, фонари, лодка. Какой-то человек возле гроба, лица не видно, большая шапка. А вода серая Он спрашивает:

— Это что — запань?..

Кузмин кивает головой. Мезенцеву становится не по себе: он знает, кажется, все запани. Запани не такие. Да и река не такая. Откуда Кузмин это взял?

— Как-то странно у тебя вышло...

Он не хочет больше смотреть на картину, и все же смотрит на нее. Он бормочет:

— Река какая!.. Так она и не сказала мне. И потом, понимаешь, вот тебе второй вопрос. Это мне только сейчас в голову пришло. Почему я сам не почувствовал? У реки. Я ей насчет Хохла рассказал. А она притихла и сразу такая грустная стала. Я спросил — отмолчалась. Сразу я и успокоился. Не сумел подступиться. Выходит, что ничего я не почувствовал. Какие-то мы шершавые. Еще ничему не научились. Ты поехал на запань и такое увидал. Сколько я там просидел, а вот гляжу на картину и не понимаю.

Я лучше и глядеть не буду. Очень она странная. Я даже не понимаю — грустно мне от этого или наоборот? Только глядеть трудно. Вот попадись Варя тебе, показал бы ты ей картину, сразу и разговорились бы. А что я ей покажу? Дерево она сама знает. Да и тоньше она меня. Я это теперь понимаю. Знаешь, глядишь на человека сзади — идет, песни поет. А забеги вперед, что у него там на лице? Тонкости нехватает: такой Королев тебе скажет, что и не нужно. Я на часовой фабрике был. Там мне показывали — одна пятисотая миллиметра, и от этого зависит, как часы ходят. Даже представить себе страшно. У меня мысли чересчур неповоротливые: задумаюсь и ничего не вижу. Вот ты говорил, девушку деревом зашибло. А я Варю словом зашиб. Сказал — она и замолкла. Хоть бы узнать, что с ней! А ты вот такую нарисовал. Я не понимаю: в гробу лежит, а как будто ей весело...

Кузмин больше не слушал Мезенцева. Его лицо стало сосредоточенным и рассеянным. Работать! Скорей! Сейчас же! Он сидел на табурете, чуть покачиваясь, что-то отвечал Мезенцеву. На самом деле он уже писал заново свою картину. Он теперь чувствовал тон воды. Он видел парня. Он был охвачен печалью, теплой и густой. Она подымалась, как пар с лугов, который глушит голоса и заставляет человека прислушаться к угрюмому стуку своего сердца.

Мезенцев спрашивает:

— Ты что не слушаешь?

Кузмин на минуту приходит в себя.

— Нет. Как же, я все слышу. Ты на меня такую грусть нагнал. Поглядеть — веселый парень — одна радость. А вот оно что... Я даже не думал, что такое бывает.

Мезенцев смотрит на картину: остановилась река, остановились люди, остановилось время. Он долго молчит. Потом он снова говорит о Варе. Он знает, что Кузмин его больше не слушает, но он не может остановиться.

— Наверно, она в Архангельске. На бельковской они должны раньше кончить. Значит, скоро увидимся. Если найти такие слова, чтобы она поняла! Когда Варя уезжала, как она посмотрела на меня! С Генькой надо поговорить. Зря я на него рассердился. Ты вот его не знаешь. А он насчет дорог говорит, как ты о картинах. Может быть, поэтому и мечется. Я про себя все знаю: учиться

надо, работать. А он какой-то особенный. Да я тебя совсем заговорил. Ты что же, пойдешь еще на запань?

Кузмин как будто со сна отвечает:

— Нет, я здесь останусь. Я работать буду.

Мезенцев идет по улицам. Они поросли травой. Белые стены старого монастыря. Белые березы. Белое облако — одинокое, оно, спеша, проходит где-то высоко-высоко.

Возле горкома Мезенцев встречает секретаря. Тот кричит:

— Значит, кончили?

Мезенцев смеется:

— Значит, кончили.

С удивлением Мезенцев замечает, что ему весело. Кузмин сказал: «Ты на меня грусть нагнал». А у него нет грусти. Может быть, он позабыл ее у Кузмина? Он смеется. Нет, про Варю он не забыл. Наверно, и весело ему оттого, что через пять дней они встретятся. Он теперь не спрашивает: а вдруг она не вернется? Он знает, что она должна вернуться. Он скажет ей все. Надо только хорошенько подумать, найти слова, чтобы не запнуться. Они поговорят досыта. А потом?.. Варя хотела на курсы. Его ребята ждут: работы много. Сколько еще всего впереди! Им нельзя бояться жизни. Они для того и сделаны, чтобы драться с судьбой.

Говорят, что осень — это печаль. Жизнь в такой день ломается. Одним время умирать. Они подолгу прислушиваются к шороху листьев. В опустевшем лесу слишком просторно. Ветки теперь похожи на буквы непонятного алфавита. Если вдуматься, можно прочесть про отлет птиц. Вот они пролетают стройным треугольником. А улететь с ними нельзя. Внизу представление закончено. Из Летнего сада выносят полинявшие декорации. Какой-то старичок смотрит на церковь, и еще круче гнется его спина: на церкви трещина, церковь скоро упадет. Здесь его обвенчали с Машей. Это было сорок два года тому назад. Выпадет скоро снег и все покроет: развалины, домишки, следы.

Да, можно в такой день загрустить. Можно и обрадоваться: чистота, голова идет кругом, хочется бежать по полю, махать руками, петь задорные песни. Будет новый снег, новая жизнь, новый май. Хочется скорее сесть за

стол, разложить книжки, нахмурить лоб. Бледноголубое небо соблазняет мудростью. Можно все узнать, а узнаешь — разве после этого станешь плакать? Можно перегнать диких гусей, можно заставить деревья цвести в декабре, можно выстроить новый Устюг — нежный и торжественный. Чего только не может человек! А Мезенцеву всего двадцать три года. Год — это очень много: это лед на реке, это завод, запань, это первый зеленый пух на деревьях, это дерево в лесу и в воде, связанное, теплое, это вся жизнь — один год. Да и день — это много! До Вари еще пять дней. Сколько он успеет передумать! Он напишет статью об итогах работы на лесостоянке. Он еще раз пойдет к Кузмину, чтобы посмотреть на его картины. Он придумает все, что он скажет Варе. А потом... Одно плохо: зачем он расстроил Кузмина? «Грусть нагнал». А Мезенцеву совсем не грустно. Кузмин работать хотел. Как же с такой тоской садиться за работу? Надо бы ему сказать, что все это ерунда. С Варей наладится. Кузмин этого не понимает; да откуда ему знать, что Варя любит Мезенцева? Вернуться? А вдруг он помешает. Кузмин спросит: «Ты зачем?» Можно, конечно, ответить: «Я, кажется, книжку здесь позабыл». Главное, объяснить: так и так.

Мезенцев входит к Кузмину. Он хочет сказать о забытой якобы книжке. Но он ничего не говорит. Он боится шелохнуться. Кузмин его не заметил: стоит, работает. Мезенцев смотрит теперь не на холст, но на Кузмина. Кузмин еще загадочней, чем его картины. Обычно у Кузмина лицо веселое, нос задран кверху, посмеиваются глаза, а щеки розовые. Теперь Мезенцев видит другого человека. Побледнел он, или это только кажется Мезенцеву? Кузмин сурово глядит на холст, как будто перед ним неприятель. Его движения то резки, то вкрадчивы. А глаза... Мезенцев вдруг чувствует на себе эти глаза, и ему становится не по себе: так только слепые смотрят. Художник ведь глазами работает, а Кузмин, кажется, ничего не видит. На кого он смотрит?.. Мезенцев оглянулся, никого позади нет. Наконец-то он решается заговорить:

— Ты не сердись, что помешал. Я подумал, что выводы у тебя не такие. Вот ты насчет грусти говорил. А я считаю, что с Варей все уладится...

Кузмин рассеянно отвечает:

— Да. Да.

Кузмин помнит все. Он не пропустил ни одного слова. Голос Мезенцева доходил до самых его глубин. Он видел: Варя сидит молча у окна. Он видел залом на реке. Он видел Мезенцева, большого и беспомощного. Он понял эту печальную повесть. Теперь он не думает о ней. Она в нем, но он не слышит слов Мезенцева. Что стало с Варей? Он может ответить: Варя стала этим тоном воды. Весь вопрос в воде! А парень повернулся спиной... За него говорит вода. Если удастся сделать воду, все заговорит: и люди, и гроб, и небо. Он расскажет о лесе, о запани, о смерти, о молодости — вода расскажет. Еще одно чувство будет названо, и мир, похожий на необычайную бабочку, которая прорывает кокон, повиснет высоко, как звезда, — отдельный мир, новый и яркий, со своей орбитой, со своими спутниками, с той гармонией, когда пилы пильщиков поют, как птицы, а люди от горя не плачут, но улыбаются.

Мезенцев постоял, потом тихонько вышел.

21

Четыре дня спустя Мезенцев уже был в Архангельске. Он долго готовился к встрече. Он знал теперь, что он скажет Варе. Он начнет с признания: он сам виноват — не сумел спросить! Потом он расскажет, что передумал за это время.

Когда он открыл калитку, ему стало страшно: вдруг ее нет? Он так свыкся с мыслью, что она приехала, что она его ждет, что ничего больше их не разлучит! Он постоял с минуту. Сверху раздался голос Вари:

— Петя!

Он взбежал наверх. Они обняли друг друга порывисто и поспешно, как будто боясь, что через минуту их снова разлучат. Они смеялись, раскрасневшись от радости и от смущения: им было неловко друг перед другом — до того они были счастливы.

О чем они говорят? Об одиночестве? О сомнениях? О прошлом? Нет, Варя рассказывает, как трудно было

вначале с девчатами. Вот Глаша... Они столько не видались, но они говорят о Глаше. Они столько не видались, и они говорят о вицах, о сплотке, о заломе.

— Понимаешь, чуть было все не погибло — синь показалась!..

Они перебивают друг друга. Они спешат рассказать о своей жизни. Это рассказы о древесине.

Вот они, наконец, замолкли. Может быть, Мезенцев сейчас скажет все, что он старательно заготовил еще в Устюге? Но нет, Мезенцев говорит:

— Значит так, Варя?..

И Варя, глядя на него в упор, — у нее глаза стали еще ласковей, еще строже, — Варя отвечает:

— Так.

Вот и все. О чем же здесь больше говорить? Но Мезенцев что-то забыл. Он хочет вспомнить. Он наморщил лоб. Потом он говорит:

— Вспомнил! Я думал, что у тебя блузка желтая...

И, видя удивленные глаза Вари, он не может сдержать смех:

— Это я глупости говорю. Просто приснилась ты мне. После того, как окатывали на субботнике, — это решающий день был. Вот приснилось, что в желтой блузке, я и вспомнил. Но знаешь, Варя...

Он не может договорить. Он ничего не может больше сказать. Да и не нужны теперь слова ни ему, ни Варе.

22

Геня шел с маленьким чемоданчиком, когда его окликнул Мезенцев:

— Погоди, Синицын!.. Я с тобой поговорить хочу... Тогда с Варей... Я ведь перед тобой виноват: погорячился, а ты...

Геня не слушал: он очень спешил.

— Да, да.

Мезенцев еле сдержался, чтобы не обругать его. Он насупился и спросил:

— Торопишься? На тот берег?

Геня рассмеялся:

— На тот свет.

Он был счастлив, и, прощаясь, он пожал руку Мезенцева с такой сердечностью, что тот смутился.

— А секретарь из тебя выйдет замечательный!

На вокзале пассажиры ругались из-за мест.

— Я по броне. Можете посмотреть, вот и бумаги. А на мое место посадили этого гражданина по блату. Он, наверно, к тетке в гости едет, а я от Союзкино...

— И ошибаетесь — не к тетке, а на выставку. Я сам каюр, а собачки премированные. Без меня они передвигаться не могут.

Собаки в багажном вагоне протяжно выли. Старушка плакала, прощаясь с дочкой. Томительно прокричал паровоз. Геня сиял: пыльный, скучный вагон казался ему прекрасным. Он готов был отдать свое место и гражданину из Союзкино, и каюру, и всем его псам. Он ласково улыбнулся старушке, когда поезд тронулся и ее лицо поплыло среди блях носильщиков и фонарей.

С двух сторон — лес. Кажется, Геня знает здесь каждое дерево. Эти деревья долго держали его в плену; теперь он растолкал их, вырвался на волю. Какими ничтожными кажутся ему недавние горести! Мезенцев славный парень, но все-таки хорошо, что Геня никогда больше его не увидит. Страшный край! Где-то жизнь бьет, как нефть из-под земли, люди ищут золото или льют сталь. Что может быть прекрасней мартена? А здесь человеческая жизнь связана с жизнью дерева. Дерево медленно растет: сто, двести, триста лет. Стоит об этом подумать — и жить неохота!

Где-то жизнь не плетется, а летит. Что ни день — люди изобретают новые машины. Дома в двадцать этажей. Под домами грохот, тысячи огней: это строят метро. Огромный шар подымается в стратосферу. Поэты пишут необыкновенные стихи: не знаешь даже, как их читать. А девушки, улыбаясь, с высоты трех тысяч метров несутся вниз на парашютах. Эту жизнь зовут Москвой, и Геня едет в Москву.

Что было в его жизни? Ледяные дороги, неудачное изобретение, Леля, ссоры с ребятами, Красникова, наставления Голубева... Поезд несется все быстрей и быстрей, мимо станций, мимо лесов, мимо домишек, где люди

строгают доски, пьют чай, лениво чешутся. Если прожить всю жизнь в такой избушке, можно даже из глупого вечера у Красниковой сделать драму. Но вот уже нет избушки. Загадочно посвечивает вода. Победно громыхая, поезд пролетает по мосту.

Этот мост кто-то придумал, высчитывал, чертил, боролся за свой проект. Ему было весело. Потом пришли грабари с телегами, таскали землю, давили вшей. Ссорились. Женщины рожали ребят. Люди жили тупо и сонно, как живет дерево. Почему нельзя любить быстро, отчаянно, чтобы — бац вниз и без парашюта?.. Мост долго строили. А вот Геня пролетел по этому мосту. Жизнь надо либо заново выдумать, либо пробежать по ней без оглядки. Геня на минуту смущается: выходит как-то не по-комсомольски. Сколько раз он сам говорил ребятам: «Работать, черти, надо!» Как же это увязать?.. Но колеса стучат, и они прерывают мысли радостным напоминанием: скоро Москва!

Он пробует читать. Он взял на дорогу какой-то роман. С недоверием он смотрит на обложку: «История одной жизни» Мопассана. Он прочел сорок страниц и задумался. Какой писатель, а пишет о пустяках! В Щербаковке кухарка Дуня жила с десятком пильщиков. Кому придет в голову описать жизнь Дуни? А вот Пушкин описал Клеопатру, и вышло замечательно. Значит, все дело в масштабах. Будь Геня поэтом, он написал бы «Магнитострой любви». Он засядет в Москве за изобретение: станок, чтобы сразу перевернуть все производство. Или в области радио. Может пойти и в железнодорожный техникум; ему поручат проложить магистраль через тундру.

Он думал это в полусне. Уснуть он не мог. Внизу кто-то настойчиво похрапывал. На соседней полке лежала девушка. Ей тоже не спалось; она то пробовала читать, то глядела в окошко. Под луной поля синели и дымились. Геня заговорил с девушкой. Она рассказала, что ее зовут Лена Шестакова, она едет в Москву учиться: ее приняли в Институт цветных металлов. Это ее мать плакала на вокзале: они впервые расстались.

Лене было неуютно и радостно. Она расспрашивала Геню о Москве. Он рассказывал, сколько там автомобилей, как строят метро, как все спешат и какие все счаст-

ливые. Геня никогда не бывал в Москве, но сейчас ему казалось, что он видит перед собой и Тверскую, и мавзолей, и театры: Москва была в нем.

Он рассказал и о себе: два года он прокладывал дороги, но в Москве он займется другим — его увлекает обработка металлов. Говоря это, он не сводил глаз с Лены. Он удивлялся: как я ее раньше не заметил? У Лены были черные смешливые глаза, и она глубоко вздыхала.

Поезд остановился на разъезде. Геня открыл окно. Луна успела зайти, и ночь была темная. С лугов потянуло сыростью, и свежий запах вмешался в духоту вагона. Слышно было, как лает собака. Лена загрустила. Она вдруг поняла, что первая часть ее жизни кончилась: домик на окраине города, мама, лес, где столько черники, Сема, который дразнил ее: «А язык у тебя синий...» Теперь она сразу стала взрослой.

Гене казалось, что он влюблен в Лену. Он говорил:

— В Москве давайте часто встречаться. Обработка цветных металлов — это замечательная штука! Там, кажется, профессор Коробков. Я у него собираюсь проконсультироваться насчет изобретения. Видите, как все это здорово вышло! Я, когда в вагон садился, и не думал...

Он хотел сказать: «Мы с вами построим Магнитогорск любви», но фраза показалась ему смешной, и, помолчав немного, он добавил:

— Я и час назад не думал... Вот у Мопассана любовь нестоящая. А какая это тема!

Лена смутилась. Ее пугали и слова Гени, и его глаза: яркозеленые. Но ей хотелось, чтобы он еще говорил о любви. А Геня теперь молчал. Они глядели в окошко: темно, ничего не видать. Оба чувствовали неловкость, боялись вымолвить слово, даже шелохнуться. Наконец Геня заговорил:

— Я вам стихи посвящу: «Эта тема ко мне появилась гневная, приказала: подать дней удила! Посмотрела, скривясь, в мое ежедневное и грозой раскидала людей и дела».

Лена робко сказала:

— Кажется, я читала это...

Геня рассмеялся:

— Наверно, читали: это Маяковского, много раз напечатано было. Я ведь стихов не пишу. Но вы не поду-

майте, что я как попугай повторяю. Я их так сказал, будто они и не были никогда написаны. Глядите, звезд сколько! Выбирайте — какая вам нравится, я и подарю. Лучше, чем какое-нибудь колечко. Это все шутки, а мне не по себе. Мне теперь кажется, что это всерьез. Только я нехороший человек: жить с людьми не умею. По правде говоря, я и любить не должен. Это такая тема...

Лена почувствовала, что ее сердце слишком сильно колотится в груди, и она сказала:

— Поздно. Давайте спать.

Они ехали вместе еще день и ночь, но Геня больше не заговаривал о своих чувствах. Он бегал за кипятком и смешил Лену забавными историями. Она привыкла к нему, и ей казалось, что стоит им еще раз поговорить ночью, когда много звезд и пахнет мокрой травой, и она его по-настоящему полюбит.

— Вот и Москва!

Геня кинулся к выходу. Лена окликнула его:

— Я вам адрес дам. Это подруги, у нее телефон. Вы позвоните?

— Обязательно.

Он рассеянно засунул бумажку в карман. Прощаясь, он даже не поглядел на Лену. При выходе ему пришлось простоять в хвосте несколько минут. Он вспомнил: что-то я ей говорил... «Эта тема...» Да, конечно... Только эта тема не любовь, эта тема... Он не успел закончить мысли: он вышел на площадь и радостно зажмурился — перед ним была Москва.

В одно зарево сливались огни, и небо ночью было розовым, автомобили кричали, предостерегая, как судьба, улицы были непостижимо длинными, и нельзя было ни остановиться, ни задуматься. Древнего города, о котором на севере еще пели песни, не было и в помине. Москва была одной гигантской стройкой. Леса, шахты, канавы, бетон, мусор и острая, как весенний дух, известка. Москвы еще не было. Она делалась на каждом шагу. Ее заново придумывали коммунисты, архитекторы, каменщики, поэты. Ее придумывали и ребятишки, заводя на бульварах загадочные игры. Казалось, что даже московские старожилы — лукавые воробьи — чирикают по-новому. Значит, и Геня будет делать Москву! Стоит ли

тогда огорчаться, если в общежитии тесно, если ребята подтрунивают над его говором, если в сутках слишком мало часов, а математические формулы сбиваются на номера трамваев?

Геня работал исступленно. Он поступил на завод. Вечером он ходил на лекции. От обработки металлов он кидался к радио, от комсомольских собраний к рампе театра. Ночью, когда он сидел над книгами, внизу еще пели запоздавшие трамваи. Шли месяцы, выпадал снег, его подбирали и увозили за город, верещали станки, шелестели страницы книг, а Геня все с тем же восторженным изумлением глядел на город, который ему предстояло завоевать.

Опыт прошлых лет не прошел даром: он знал теперь, что у него тяжелый характер — он не умеет ладить с людьми. Сколько раз ему хотелось перебить на полуслове профессора, показать инженеру, как надо пускать машину, обругать товарищей. Но он сдерживал себя. Минутами он страдал от одиночества. Он попробовал сблизиться с товарищами, ходил на вечеринки, пил водку, ухаживал за девчатами. Он делал все это с огромным напряжением и, однако, равнодушно. Никто его не любил. Говорили: «Синицын?.. Ничего парень». Как-то Геня подумал: вот я и добился своего, никто меня не замечает. Только стоило ли ради этого ехать в Москву?..

Впервые Москва показалась ему страшной. Сколько здесь людей! С утра до ночи по тротуарам идет густая толпа. Ее ничем не остановишь. Вот автомобиль налетел на старушку. Кто-то ахнул, кто-то выругался. А люди все с тем же безразличием идут дальше: одни с Арбата, другие на Арбат. Разве можно в такой толпе кого-нибудь распознать? Геня теперь всматривался в лица. Ему хотелось запомнить людей. Но нет, никогда в жизни он больше не встретит этого рыжего паренька! Скольких он знает в Москве? Сто человек, двести. А Москва — это миллионы. И никому нет дела до других. Если и спросят, то только: «Вы, гражданин, на этой сходите?..»

Он понял — спасение одно: как-нибудь выделиться. Еще упорней он засел за работу. Он сделал проект новой конструкции приемников. Ему дали премиальные: триста рублей, а проект отклонили. Геня позвал Челнышева

в ресторан. Челнышев привел Сашу Степанову. Они ужинали втроем. Официант вежливо нагибался: «Еще графинчик?..»

Кто-то пел: «Мура, моя Мура». Кто-то кричал: «Плевать мне на твое удостоверение!» Степанова кокетничала с Геней, Челнышев злился. Но Геня и не поглядел на Степанову: он жадно хлебал водку, он хотел как можно скорей забыться. Когда они возвращались домой, он кричал непотребные слова, а потом испуганно оглядывался:

— Нехорошо — Лелька может услышать...

Ему казалось, что он в Архангельске. Он проснулся с головной болью, не хотелось ни вставать, ни думать. На заводе сотни премированных. В институте сотни сидят — изобретают. Это — как толпа на улице. Геня барахтается и тонет.

Он прочитал в немецком журнале статью о канатных мостах, и что-то озарило его. Он сел за работу. Пришлось налечь на высшую математику. Он перестал спать. Он отвечал невпопад на вопросы. Семенова сказала:

— Ты что, Генька, втюрился в кого-нибудь?

Он ответил с улыбкой смущения:

— Кажется.

Он проработал четыре месяца. Потом он послал проект в научно-исследовательский институт. Он долго ждал ответа, как собачка бегал за Шарковым, который раздавал письма, кричал, задыхаясь, в телефонную трубку: «Когда же?..»

Наконец его позвал к себе профессор Щеглов. Геня стоял и злобно мял свою шапку.

— Да вы садитесь. Разговор у нас длинный...

Щеглова заинтересовал этот человек. Он расспрашивал, где Геня изучал математику и механику.

— Способности у вас недюжинные. Нельзя только так разбрасываться. Вот посмотрите, с детерминантами...

В проекте были ошибки. Щеглов их объяснил. Геня не стал спорить. Он стоял, опустив голову и тяжело дыша. Тогда Щеглову стало его жалко. Он сказал:

— У нас вообще это неосуществимо: таких канатов не производят. Практического значения это, следовательно, не имеет. А вам теперь необходимо заняться математикой, тогда вы...

Геня прервал Щеглова:

— Почему же вы мне раньше не сказали, что канатов нет? Тогда и разговаривать не о чем.

Выйдя на улицу, Геня подумал: все-таки я напутал!.. Без знаний нельзя. А сесть за все сначала — этого он не может. Как прекрасно грохотал поезд! Но жизнь идет иначе. Конечно, в Москве люди торопятся, только это — рябь на воде. В кабинете Щеглова было тихо. Он, наверно, сидит годы и думает. Такому Щеглову за пятьдесят, понятно, что он все знает. Но что делать Гене? Читать? А жизнь пока что будет итти? Так можно рехнуться.

В тот вечер Гене было особенно сиротливо. Он не знал, куда ему деться, хотел было пойти к знакомым девчатам, но раздумал: с такой мордой в гости не ходят. Всю ночь он сидел на койке и, глупо шевеля губами, писал стихи. Хотя больше других поэтов он любил Маяковского, стихи у него получались гладкие, с рифмами «печаль» и «сталь», «станок» и «одинок». Утром он увидел исписанные листки и покраснел от стыда. Так нельзя жить — надо работать! Он шел на завод, стараясь подобрать под свои шаги новые, бодрые мысли. На душе у него было смутно. Он, может быть, покорился, но никак не успокоился.

Стихов он больше не писал, но дня три спустя сел за очерк для многотиражки. В Архангельске говорили, что Синицын здорово пишет, а редактор половину статьи зачеркнул, да и в другой половине он изменил чуть ли не каждую фразу. Геня написал: «Ольга ласково обтирала тряпкой станок — так в деревне она гладила свою корову». Редактор вместо этого поставил: «Вчерашняя колхозница Ольга быстро справляется с чисткой станка». Геня в бешенстве скомкал газету.

Он написал другую статью: о быте молодежи. Он высмеивал вечорки, любовь под фокстрот, культ галстуков. Перечитывая статью, он вдруг заметил слово «дроля». Он быстро зачеркнул его и поставил «девушка». Ему было стыдно, точно он проговорился. Он вспомнил Лелю: Леля и вправду была дролей. Как он тогда хорошо жил!..

Он послал статью в «Комсомольскую правду». Ответа не последовало. Тогда Геня растерялся. В Архангельске

он знал: Мезенцев против него. Они ссорились, потом мирились. Ребята звали его «самодуром», он о них думал — «бараны». Но все-таки они друг друга любили. А здесь некого обругать, некому и пожаловаться.

Как-то Геня сказал Кудряшеву:

— Мог бы за станком присмотреть.

Кудряшеву было пятьдесят шесть лет. На заводе его уважали. Старый московский рабочий, он любил рассказывать о том, как мастеровые жили прежде, о забастовках пятого года, о дури хозяев. Работал он исправно, и никто никогда ему не делал замечаний. Кудряшев с усмешкой поглядел на Геню.

— Ты, прежде чем кричать, спроси. Павел здесь работает и Шкатов. Твои — комсомольцы. Они и постарались. Сколько раз я это говорил: не знаешь — спроси меня или Синицына. А они все сами хотят. Вот и результаты. Я даже не понимаю — что это за народ? В наше время спросил бы, тебя бы к чортовой матери послали. А теперь — пожалуйста, и инженер объяснит, и книжки выпускают, и на курсы зовут. А им все некогда. Ты вот мне скажи: куда они спешат? Если ты коммунист, ты должен помнить о главном. Прежде большевики — о чем они думали? О решетке. Поймали с листком, и готово: под замок. А эти о портфелях думают: как бы поскорей выдвинуться.

Геня сказал:

— Все это не так. То есть так, да не так. Ты вот орден получил, а я сижу за решеткой. Не понимаешь? Разве я об этом мечтал? Для меня что здесь работать, что в тюрьме сидеть. Ты что глядишь на меня? Что я, сумасшедший?

Кудряшев ответил не то со злобой, не то с жалостью:

— Калечный ты, чорт! И откуда вы этакие беретесь?

Работая над мостом, Геня отбился от комсомола. Теперь он поговорил с Цандером, и Цандер поручил ему сделать доклад о роли политотделов. Геня давно не выступал на собраниях. Он увлекся и начал говорить о международном положении, о фашизме, о революционной романтике. После собрания произошло объяснение с Цандером.

— Доклад как? — спросил Геня.

— Ничего. Только воды подпустил. Надо было лучше подготовиться. Ребята говорят, что фактического материала мало.

— Ясно, привыкли, чтобы им все разжевывали. А я на это не гожусь. Другой раз пусть Орлов выступает.

— Ты что? Обиделся? Это, брат, оставь! Скажу Орлову, Орлов выступит. А я вот тебе предлагаю в связи с кампанией по воздушной обороне...

— Не буду! У меня «вода». Пусть Орлов говорит: у него, будь спокоен, все «фактическое» — что вчера прочитал в газете, то и преподносит.

— Отказываться ты не можешь. Какая же тогда дисциплина?

— Плевать мне!.. Комсомольцы вы, а хуже бюрократов.

— Слушай, Синицын, не бузи! Хорошо, ты мне это говоришь. Очень просто: за такое могут и вычистить.

— Да ты не стесняйся, вычищай! Этот сор не для ваших хором!..

Геня хлопнул дверью. В тот же вечер Цандер беседовал с Варнавиным о Гене:

— Парень толковый, но какая амбиция, и ничего не хочет слушать...

Варнавин решил образумить Геню. Но Варнавин был молод и неопытен. Ему хотелось сказать: «Слушай, Генька, чего это ты взъелся? Давай разберем! Хочешь что — скажи. У нас тебя ценят. Вот и Щеглов говорил Цандеру: «Это парень с будущим». Так что, если что есть — сгладится, а мы все-таки товарищи, надо друг за дружку держаться...» Но Варнавин думал, что так говорить нельзя: это детский разговор, и, встретив Геню, он сказал:

— Мы вот решили выпрямить тебя. Нельзя без воздействия коллектива...

Его голос, тихий и ласковый, как-то не шел к сухим словам. Геня ничего не ответил, только махнул рукой и ушел прочь.

На первомайской демонстрации Геня шел с товарищами по заводу. Они несли огромный громкоговоритель, разукрашенный бумажными гирляндами. Проходя мимо

трибуны, Геня подумал: если бы поглядеть так, чтобы они заметили!.. Он может сделать куда больше того, что он делает. Но никто этого не знает: ни Варнавин, ни Цандер, ни профессор Щеглов, ни редактор «Комсомолки». Гене не дают ходу. Вдруг кто-нибудь его сейчас заметит, позовет, скажет: «Ну, Синицын, выбирай!..»

Он зло рассмеялся: а чем он лучше других? Никто его не затирает. Щеглов с ним два часа проговорил. Премировали. Доклады предлагают читать. Если он не выдвинулся, это его вина. Мост никуда не годится. С приемником он тоже ошибся, проект Бродовского куда лучше. Стихи он не умеет писать, а статьи пишет, как стихи. Да и организатор плохой: ребята его не любят. В Архангельске он еще мог выкарабкаться: там все люди наперечет. А здесь таких Генек сто тысяч, все идут, все поют и поворачивают головы к трибуне.

От этой мысли ему стало страшно. Он закрыл на секунду глаза и сейчас же приоткрыл их: все небо гудело. Над площадью пролетали самолеты. Это было настолько прекрасно, что Геня сразу забыл о своих терзаниях. Он умел быстро переходить от радости к горю и от горя к радости. Он шел теперь, увлеченный ритмом шагов. Он был счастлив, что проходит по Красной площади, что на трибуне стоят люди, которых он прежде знал только по портретам и которые казались ему огромными и непонятными, как даты истории.

Радостное чувство весь вечер не оставляло Геню, оно позволило ему хотя бы на один день стать простым, человечным. Встретив Кудряшева, он сказал:

— Ты на демонстрации был? Здорово как шли!.. И самолеты...

Потом снова пошли будни. Геня знал: для него нет выхода. Прежде он думал, что можно научиться в год или в два. Учение ему казалось опасной атакой. Теперь он увидел, что учение — это окопы: сиди и не двигайся. По партийной линии ему тоже не выдвинуться: это долгий и трудный путь. Он не умеет измерять движений, глядеть, куда он ставит ногу, рассчитывать дыхание. Взбежать сразу наверх или свалиться! Тогда?.. Тогда работай, как все. Вечером гуляй с девчатами или ходи в кино. Можно и жениться, будут дети. Потом устроят празднество:

«двадцатипятилетие трудовой деятельности товарища Синицына». Как все это мелко, тупо и страшно!

Он стал выпивать. В пьяном виде он бывал нежен и назойлив. Он вспоминал то Лелю, то Маяковского с простреленной грудью, то тундру, над которой летают мириады комаров, похожие на грозовую тучу.

Как-то он пришел пьяный в кафе. Лисицкий играл в шахматы с Серовым. Геня подошел к ним и сказал:

— Зачем это вы мучаетесь? Мало вам в жизни «шах и мат»?

Лисицкий в ужасе прикрывал доску, боясь, что Геня опрокинет фигуры. Геня стоял и бубнил:

— У меня не шах и не мат. А как это называется?.. Обожди, сейчас вспомню. Пат. Вот именно — пат: у короля нет хода. «Инцидент, как говорят, исперчен...»

В кафе было много народу; одни смеялись, глядя на Геню, другие настаивали, чтобы его вывели. На следующий день Геню вызвали в ячейку. Цандер сказал:

— Тебе это не подходит. Ты должен пример подавать, а беспартийные смеются: «Ну и комсомольцы!..»

Геня стоял смирно, как провинившийся ребенок: он понимал, что Цандер прав. Он еле-еле выговорил:

— Я больше не буду.

Он действительно перестал пить. Он не ходил теперь на вечорки. Лениво бродил он по улицам или перелистывал роман, не следя даже за интригой. Огромное любопытство к жизни сменилось безразличием. Трудно было его вывести из оцепенения, но писателю Кроткову это удалось.

Кротков выступил в клубе с докладом о литературе. Он кокетливо улыбался и, откидывая назад голову, обрамленную поэтическими кудрями, кричал:

— Мы можем представить на ваше одобрение план продукции на ближайший квартал: романы, посвященные освоению техники и строительству, романы из жизни колхозов, углубление марксистской критики, а на поэтическом фронте...

У него был галстук бабочкой, а слово «продукция» он произносил нараспев, любуясь тембром своего голоса. Геня на доклад попал случайно. Вначале он мирно зевал. Но улыбка Кроткова, его голос, его манеры раздражали Геню. Кротков пел:

— Индивидуальность особенно ярко расцвела в условиях второй пятилетки...

Геня не выдержал, послал докладчику записку: «Зачем врать? Конечно, вашему брату хорошо. Индивидуальность цветет, например, писатели пьянствуют, да еще как — см. статью в «Известиях». Но, между прочим, не все на свете писатели. Я вот прежде так жизнь любил, что во рту пересыхало, а теперь я со скуки дохну. Может быть, вы объясните подобное явление?» Дойдя до записки Гени, Кротков усмехнулся.

— Я получил еще одну записку чисто полемического свойства. Среди нас имеется товарищ, который считает, что жить в нашу исключительную эпоху скучно. Я попрошу его встать и развить перед нами эти оригинальные взгляды.

По залу пронесся гул. Пока Кротков говорил, все чинно дремали: теперь наступало нечто занятное. Слушатели обводили глазами ряды. Но никто не вставал. Геня сидел весь красный, прикрыв лицо газетой. Ему хотелось уйти, но он боялся, что обратит на себя внимание. Он досидел до конца доклада. Потом он подумал: почему он не выступил? Кротков, ясное дело, пошляк. Но что он мог ему ответить? Все перепуталось: идеи у него комсомольские, а в душе — гниль. Как будто он болен, другие здоровы — работают, танцуют, играют в шахматы. О чем же ему говорить?..

На следующий день Геня сказал Вере Горловой, к которой он теперь частенько захаживал:

— Я вчера против одного писателя выступил. Пошляк! Ударение на личности. А что за этим, кроме «Маши у самовара» и румбы? Нельзя жить без пафоса. Пока человек чувствует опасность, мускулы напряжены, он и на канате удержится. Но стоит отвлечься — и бац. А мы не эквилибристы — сетки под нами не держат. Ты почему на меня так смотришь? Не согласна?

Вера тихо ответила:

— Не знаю. Я об этом не думала. Просто гляжу... Ты за последнее время очень изнервничался.

Слова Веры показались Гене обидными: она его жалеет. Может быть, она чувствует, что он неудачник? Этого

Геня боялся пуще всего. Он болезненно следил за глазами Веры, за оттенками ее голоса, за малейшими движениями. Вначале это было вспышкой, казалось бы, отгоревшего честолюбия: как на Красниковой, он решил проверить на Вере, может ли он еще кого-нибудь увлечь. Он не спрашивал себя, нравится ли ему Вера. Он учел, что среди вузовок она выделяется умом, способностями, знаниями. Профессора относятся к ней с подчеркнутым вниманием. Ребята при ней стараются не ругаться, даже Костя Волков ее спрашивает: «Есть пойдешь?» — хотя другие у него обязательно «шамают». У Веры на столе странные книги: история Византии, Пруст, стихи Тютчева. Другие девчата говорят о «кавалерах», «мальчиках», «хахалях». Вера молчит. Геня проверил это, как анализ руды: порода была добротной, и он решил влюбить в себя Веру. Он стал ходить к ней, рассказывал ей о своей работе, спорил о книгах. Работа в его рассказах менялась, а говорить приходилось о книгах, которых Геня никогда не читал. Он начал лгать и, запутавшись во лжи, больше не мог из нее выбраться.

Все началось с недомолвок. Рассказав Вере о своем разговоре с профессором Щегловым, Геня не упомянул о детерминантах. Вышло так, что его проект был безупречен, но, как назло, у нас не производят канатов нужного диаметра. Он не понимал, что лжет: он забыл о своих ошибках. Он часто спрашивал себя: почему Щеглов о самом главном сказал только к концу разговора, и ему казалось, что профессор хотел над ним посмеяться.

В другой раз он рассказал Вере, что написал статью о комсомольском быте. Вера спросила:

— Где ее напечатали? У тебя есть экземпляр?

Геня обрадовался темноте: они разговаривали в сумерках, не зажигая огня. Он покраснел. С минуту он помолчал, не зная, что ему ответить. Наконец он сказал:

— Поищу. А в общем это ерунда. Такие статьи легко писать. Я хотел бы писать стихи, как Маяковский. Только у меня нет...

Он запнулся: он чуть было не сказал «таланта», но, вовремя спохватившись, пробормотал:

— Только у меня нет на это времени.

Часто он спрашивал себя: верит ли мне Вера? Наверно, верит, а то не звала бы. Вот и сегодня она сказала: «Завтра придешь?» Он думал, что Вера разговаривает с ним только потому, что он изобретатель, общественник — словом, человек, о котором завтра будут писать в газетах. Он не мог рассказать ей ни о своем одиночестве, ни об обидах, ни о той непонятной болезни, которая разъедала его душу. Входя в ее комнату, он надевал маску энергичного и счастливого человека, а когда тоска все же прорывалась, скашивая лицо в усмешку, похожую на звериный оскал, поспешно пояснял:

— Не обращай внимания, это нервное — заработался.

Он обдумывал каждое слово, каждое движение. Иногда ему казалось, что он влюблен в Веру: играл-играл и доигрался. Но тотчас же он отгонял эти мысли: так было и с Красниковой... Он считал себя человеком, все в жизни испытавшим: он больше не способен на ребяческие чувства. Нет, он не влюблен в Веру, но своего он добьется: Вера в него влюбится. Эта девушка, которая говорит по-французски, которая читает какие-то странные и скучные книги, которая слывет недоступной, будет перед ним робеть и стесняться, будет просить его: «Сядь рядом», будет ему говорить глупые наивные слова, как простая колхозница. Она скажет «милый». Он засмеется и заставит ее сказать «дроля» — так выйдет еще глупей. То, что он унизит Веру, его успокаивало: он мечтал об этом, как о реванше.

Шли недели, но ничего не менялось в их отношениях: игра оказалась сложной и долгой. Вера так и не говорила ему: «Сядь рядом». Бывали минуты, когда он едва сдерживался, чтобы не подойти и не обнять ее. Но блестели зеленые глаза, кривился рот, судорожно разбегались руки, и, совладав с собой, Геня шептал:

— Нервничаю, надо бы передохнуть...

Он помнил, что Леля позвала его первая. Он теперь хотел разгадать законы любви. Он читал Стендаля, как учебник. Он решил, что если Вера заподозрит его в каких-нибудь чувствах, он от нее ничего не добьется, кроме жалости или презрения.

В мартовский вечер Геня, как всегда, шел к Вере. Она жила на Зубовском бульваре, он возле Воронцова

поля. Путь был длинный. Но Геня не сел в трамвай. Он шел по бульварам. Хлюпал умирающий снег. Капало с деревьев. Все кругом было черное, мокрое и взволнованное. Это был один из первых вечеров ранней весны, когда в сыром и теплом тумане расплываются зрачки людей и газовые фонари.

Весенний дух понемногу проникал в Геню. Он дышал напряженно, как будто его легкие не могли выдержать слишком резкого воздуха. Он останавливался возле фонарей и подолгу глядел на голубоватое мутное полыхание. В подворотне шепталась влюбленная парочка. Обычно такие сцены раздражали Геню. Но сегодня он почему-то ласково усмехнулся: он готов был пожелать счастья этим неизвестным чудакам. Он поймал себя на том, что его губы шевелятся, — он повторяет: «Эй, Большая Медведица, требуй, чтобы нас взяли на небо живьем!..» Он знает, как на него действуют эти короткие фразы с их ритмом, похожим на одышку альпиниста, и с внезапными ударами рифм. Он должен быть сухим и жестким: ему предстоит бой с Верой. И вот он снова шевелит губами... Это уже не Геня Синицын, это чудак на пустом и мокром бульваре, среди слабого снега, среди черных пятен земли, среди деревьев, которые, как и он, смущены, взволнованы, настороженны. Он глядит на деревья: они как будто мертвы. Но Геня знает: они живы, они тянутся к розовому небу от огней. А под мокрой корой сладко ноет сердцевина. Почему он так ненавидел деревья? Это его земляки. Им можно сейчас сказать: а Вера-то — дроля.

Но что, если ему снова все померещилось? Как с той девушкой в вагоне. Он даже не помнит, как ее звали...

Надо взять себя в руки! Он скажет сегодня Вере: «Меня посылают в ответственную командировку». Он будет внимательно следить за ней, и она сорвется: дрогнет голос, или с нарочитым равнодушием она скажет: «Когда же ты едешь?» — а руки при этом забьются, как рыбы, выхваченные из воды. Он войдет и сразу скажет: «Завтра еду!» А вдруг ее нет дома? Вчера она говорила: «Может, Муся достанет билет на «Три сестры»...» Неужели ее нет?

Геня больше не думает: влюблен он или не влюблен? Он ускорил шаг. Он почти бежит. Он видит глаза Веры, серые, с темными ресницами; губы чуть приоткрыты, трудно не подойти, не поцеловать. Странно, что Вера москвичка. Она — как весна на севере: серая, розовая и туманная. Слабая на вид, а руки у нее крепкие. Геня как-то попробовал шутя ее повалить. Мало говорит. Ей бы жить где-нибудь на Онеге: там тоже мало говорят — молчат или поют. А чувствовать — там чувствуют куда больше, чем здесь; только без слов...

Вот и шоколадный, весь облезший дом. Неужели ее нет?.. Он будет ждать. Он простоит здесь всю ночь. Темная, холодная лестница, пахнет кошками и керосином. На дверях пометки: сколько раз к кому звонить. Геня как-то ошибся; осипший гражданин в тюбетейке долго на него кричал. Открыть дверь, и то трудно!.. Впрочем, и Геня такой же. Неужели ее нет дома? Ему кажется, что звонок кричит за него. Он прислушался: тихо. Вера ушла в театр. Он один на лестнице. Ему незачем прикидываться счастливым. На его лице мучительная гримаса. Он стоит, не зная, что ему делать. Тогда раздаются шаги. Кто-то подымается по лестнице. Он нехотя глядит. Это Вера. Мокрый меховой воротник. Глаза светятся. Она говорит: «В лаборатории задержали», но Геня ее не слушает.

Они тихонько идут по длинному коридору. Кричит ребенок. Геня на что-то натолкнулся. Вера взяла его за руку. Вспыхивает свет, и вот снова глаза Веры. Геня отходит в угол. Он должен сейчас сказать: «Меня посылают в командировку». Но он ничего не говорит. Они стоят молча в разных концах комнаты. Потом, не помня себя, Геня подбегает к Вере. Он обнял ее. Он чувствует, как ее тело тяжелеет в его руках: кажется, она сейчас упадет. Он целует ее грустно и поспешно. Он что-то при этом говорит, но не понимает своих слов. Потом Вера, высвободившись, смотрит на него. Он стоит, вытянув по швам руки, опустив голову. Он ждет — сейчас она скажет «уходи». Но она ничего не говорит. Она его целует.

Пошел дождь; все течет, тает, каплет с крыш, весна торопится. Сколько еще дел у людей, сколько надо домов построить и сколько надо сказать ласковых слов! Весна

порывисто дышит, и от ее дыхания — на стекле муть. Она любит этот большой и неспокойный город. Весна знает: в этом городе у людей нет времени. Они не успевают ни отдохнуть, ни задуматься, ни вздремнуть. У них нет времени и на любовь, оттого любовь здесь такая порывистая, чистая и горькая. Быстро здесь сгорают люди, и в каждом поцелуе есть привкус разлуки, а может быть и скорого конца. Весна это знает, она ласково торопит людей, она досказывает за них длинные монологи, и она вынимает из большой широкой руки отвертку, циркуль, перо, чтобы на минуту вложить в нее другую теплую руку.

Геня не сразу пришел в себя; счастье было для него туманом этого весеннего вечера, и туман понемногу рассеивался. Проступали тяжелые громады привычных мыслей. Когда он, наконец, задумался, что произошло, он почувствовал себя слабым и потерянным. Он ничего не понимал; он даже не знал, счастлив он или нет. Он знал одно: без Веры ему теперь не жить. Но Веру он потерял: Вера увидала, что он беспомощен, как ребенок. Он хорошо помнит: он первый ее обнял. Он вымолил у нее любовь. Она теперь его презирает. Она чувствует, что он не может обойтись без нее. У нее хорошее сердце: она не прогнала его. Но сейчас она скажет: «А теперь уходи». Он должен что-то сделать. Он должен показать себя другим. Геня мог расчувствоваться, но Вера незнакома с Геней. Вера знакома с другим человеком: холодным и уверенным в себе.

Геня не смотрит на Веру: он боится, что, увидав ее глаза, снова собьется с толку. Он небрежно листает книжку и говорит:

— В первый раз это кажется катастрофой, в сотый — это просто замечательная история. Вот мне двадцать пять лет, а я уже потерял остроту восприятия. Я читал где-то, что Пушкин составил список: все женщины по именам. У нас, конечно, другие заботы. Но сегодня я шел к тебе и думал — была у меня одна история с девчиной в поезде, а я даже не помню, как ее звали. Ты не удивляйся — это вполне естественно...

Он осторожно, искоса смотрит на Веру: он ждет — сейчас она заплачет. Но Вера сидит неподвижно, положив голову на руки. Тогда Геня говорит:

— Вот Вера у меня, кажется, первая...

Вера встала. Она подошла к Гене. Она подошла вплотную, так что он снова слышит на своей щеке ее дыхание. Она тихо говорит ему:

— Зачем ты это говоришь?

— Затем, чтобы тебя не обманывать. Ты, может быть, думаешь, что я голову потерял. А я, я...

Он не находит слов, старается пренебрежительно усмехнуться. Вера не отходит, говорит:

— Это неправда. Я знаю, что это неправда. Я только не понимаю — зачем ты это говоришь? Не надо...

Она целует Геню. Он стоит и чувствует, что не в силах ни ответить, ни уйти. А она продолжает:

— Не надо. Ты себя мучаешь. Да и меня... А я и без слов понимаю...

Когда Вера сказала это и еще раз поцеловала Геню, случилось нечто непонятное: из глаз Гени побежали слезы. Он был настолько измучен, настолько всем потрясен, что не понимал даже, что плачет. Дотронувшись рукой до щеки, он вскрикнул. Никогда в жизни он не плакал. Он помнит: отец больно бил его, а он глядел на отца сухими злыми глазами. Он твердо знал, что никогда в жизни не расплачется. Однажды он увидел, как плакал слесарь Егоров: жену похоронил, Геня тогда подумал: все-таки нехорошо, бабе еще куда ни шло, но большой, взрослый человек не может плакать. И вот он стоит и плачет. Какой позор! Теперь Вера все поймет. И, вытерев лицо рукавом, Геня выбежал из комнаты. Он не помнит, как пробежал по длинному коридору, как нашел задвижку, как спустился вниз. Он очнулся на улице, среди дождя. Он поднял воротник: холодная вода затекала за шиворот. Его знобило, но он не пошел домой. Он все ходил по пустым улицам, не смея ни подумать о том, что произошло, ни призвать на помощь серые глаза, которые остались где-то в другом мире.

Он не приходил к Вере четыре дня: он уговаривал себя, что может разделаться с чувством. Но он не переставал думать о Вере. Много раз он шел к ней, а на полпути поворачивал назад: боялся, что Вера его прогонит. Он хотел восстановить минуту за минутой тот вечер. Но многого он не помнил. Он теперь понимал, что Вера

сошлась с ним не от жалости. Он видел, что без нее он не находит себе места — ходит, как угорелый; прохожие, и то замечают: что-то с человеком неладное. Но почему Вера сказала «неправда»? Откуда она может знать, что у него в жизни ничего не было, кроме Лели да глупой истории с Красниковой? Может быть, она вообще ему не верит? Но тогда она не стала бы его целовать... Он терялся в догадках. Он не мог оставаться дольше без Веры и не смел показаться ей на глаза.

Когда он, наконец, снова позвонил у ее двери, он был настолько измучен, что Вера увидала больного, осунувшегося человека. Она не стала его расспрашивать. Она положилась на время.

И действительно, с каждым днем Геня становился спокойней. Любовь к Вере захватывала его все больше и больше. Он забывал о своих мыслях. Минутами ему казалось, что он счастлив.

Но, оставаясь один, он попрежнему спрашивал себя: знает ли Вера, что он ей лжет? За кого она его принимает? Он старался больше не лгать. Он не рассказывал ей о своих изобретениях, не хвастал, не прикидывался счастливым. Когда он теперь улыбался, это не было с трудом давшейся гримасой; нет, он улыбался потому, что ему и вправду было хорошо с Верой.

Вера много рассказывала ему о себе. Ее жизнь началась рано. Отец Веры был адвокатом. Она смутно помнит бронзовые статуэтки — подарки клиентов, словарь Брокгауза, шубы в передней, за которыми она пряталась, напыщенных гостей. Когда началась революция, Вере было шесть лет. Она ходила тогда в детский сад, и ее учили плести из кусочков бумаги какие-то скатерки. Потом в доме стало тревожно. Мать прятала кольца и брошки. Отца ночью увезли. Вера спросила «куда», мать ответила «далеко» и заплакала. Потом отец вернулся, он кричал, что его заели вши. Когда Вере было девять лет, она ходила с матерью на Сухаревку. Они держали на руках большие, кружевные покрывала для кровати. Ругались бабы. Мать боялась милиционеров. Какой-то старик увел Веру в сторону, ущипнул ее, а потом дал ей пирожок. Вера заплакала.

Ей было двенадцать лет, когда она вдруг поняла свою жизнь. Это было на школьном собрании. Маруся предложила протестовать против Ивана Григорьевича, который заставляет ребят зубрить названия рек. Вера сказала: «По-моему, он хорошо учит». Тогда Маруся в раздражении ответила: «Для буржуйских детей, может быть, и хорошо». Вера ничего не сказала и ушла домой. Через год отец умер: до последнего часа он вспоминал завтраки в «Славянском базаре» с прокурором Васильевым и проклинал «хамов». Мать на дому шила шляпки женам частников. Вера не говорила ни с ней, ни с товарищами. Она много читала. Никто не знал, как она растет. Когда она кончила десятилетку, мать сказала: «Я пойду к Фомину. Папа когда-то защищал его на процессе. Я у него выпрошу, чтобы тебя приняли в университет». Вера коротко ответила: «А я не пойду».

Как-то она вернулась домой позже обычного. Мать спросила: «Ты где была, в библиотеке?» Вера сказала: «Нет. На фабрике», — она поступила работницей на Краснохолмскую мануфактуру. Вначале ее чуждались, но она была приветлива со всеми. Она быстро вошла в среду работниц. Ее хотели выбрать в районный совет. Она сказала: «Нет, рано еще... Вам это просто дается. А мне еще надо многое продумать». Она проработала на фабрике три года. Потом ее приняли в вуз, на механическое отделение. Мать умерла. Перед смертью она сказала Вере: «А ты их все-таки перехитрила». Вера поглядела на нее далекими, чужими глазами и вдруг поняла, что можно быть равнодушной даже к смерти.

Она встречалась с Ширяевым. Ширяев писал в газете «За индустриализацию». Он говорил с Верой о технике, о борьбе, о жизни. Она была очень одинока, и Ширяев сумел ее растрогать. Как-то он повез ее за город. Они ходили по лесу и дурачились. У Веры никогда не было детства, и она была благодарна Ширяеву за один этот день. Вскоре Ширяев увлекся другой. Вера записалась на аборт. Она ушла с головой в работу.

Она мечтала об Урале. Она знала куда больше товарищей, но она была скромна и редко высказывалась. Ребята ее любили, и Николадзе как-то спросил ее: «Почему в комсомол не идешь?» Она смутилась и ответила: «Та-

кой, как я, лучше показать свою преданность делом. Я вот должна работать больше, чем все, не то — стыдно жить. Мне все кажется, что я живу по блату. Но это не так. Душой...» Она не договорила, но Николадзе ее понял, покраснел и пробормотал: «Молодчина!»

Геня теперь знал жизнь Веры. Он все понимал в ней. Но одного он так и не понял: верит ли ему Вера? Спросить нельзя, она сразу догадается. Он уговаривал себя: конечно, верит! Прошло почти два месяца с того времени, когда Геня неожиданно заплакал. Он был спокоен, даже весел. Но в глубине души он терзался попрежнему. Он не говорил с Верой о себе. Выходило, что жизнь его сразу остановилась: он изобретал, писал статьи, выступал на собраниях — и вдруг ничего. Спросит его Вера: «Ты что вчера делал?» — он отвечает: «Ничего». Чтобы как-нибудь объяснить эту перемену, Геня говорил: «Вот как началось с тобой, я и работу забросил». Вера отвечала: «Это нехорошо. Тогда нам лучше расстаться». Он краснел, путался, заикался и долго объяснял, что это временное, что Вера для него «зарядка» и что скоро все пойдет еще лучше, чем прежде.

Так настал вечер, когда он решился, наконец-то, заговорить. Он завел разговор об изобретениях — давно он не говорил с Верой об этом. Вера молчала. Ее лицо ничего не выражало, и Геня снова терялся в догадках. Когда он на минуту замолк, Вера заговорила с ним о работе на заводе. Он вспылил:

— Ты меня не сбивай! Я тебя спрашиваю, как рассматривать поведение такого Щеглова? Почему они не производят канатов? Ты понимаешь, что это значит? Проект был, что называется, на ять... Не мост — красота!

Вера сказала:

— Слушай, Генька, почему тебе не заняться серьезно математикой? Я давно тебя хотела об этом спросить. Помнишь, когда мы говорили о моей работе, ты спросил, что такое векторное исчисление? А сколько ты бился, чтобы рассчитать систему линейных уравнений! Без алгебраических навыков тебе нельзя. Вот ты ругаешь Щеглова, а Щеглов говорил мне, что ты исключительно способен. Если в твоем проекте и были...

Генька встал и, глядя искоса на Веру, быстро проговорил:

— Стой! Значит, насчет моста знаешь? А что ты еще знаешь?

Вера ничего не ответила, только голова ее чуть наклонилась, а глаза стали такими грустными, что Геня понял все без слов.

— Почему в таком случае ты со мной оставалась?

Тоска, гордость, обида, все, что было в Вере, все, что она должна была так долго скрывать от Гени, — всё прорвалось в одной фразе, гневной и горестной:

— Если ты сам не понимаешь, нам и говорить не о чем...

Любовь ушла вглубь, она едва значилась в сером тумане зрачков. Геня мог подойти к ней, сказать «понимаю», еще не все было досказано: слово оставалось за ним. Но Вера не дождалась этого слова: Геня вышел молча, ничего не ответив Вере, даже не попрощавшись. Его уход походил на бегство: он позабыл на столе свою записную книжку, которую вынул, чтобы показать Вере проект моста.

Вера не позвала его, не заплакала. Она нашла в себе достаточно сил, чтобы час спустя сидеть над книгой: через несколько дней у нее начинались экзамены. Ее жизнь — так казалось ей — сводилась теперь к коротким формулам: товарищи, труд, страна. Об остальном она не должна думать. Она вышла из мира мертвых: она помнит запах духов и нафталина — так пахла квартира адвоката Горлова. Она вырвалась из этого мира, но, наверно, он мстит ей, он — в ней, оттого она чересчур много думает о своих чувствах, оттого она читает Пруста или Достоевского, оттого она привлекает к себе то, чему нет места в новом, живом мире. Геня молод, но он сбился с пути. Она его увлекла тем, что в ней есть самого страшного. Он врал, а она его не останавливала: берегла свою любовь. Это недостойно. Она срезалась на экзамене: она думала, что усвоила новую жизнь, что освободилась от чувств, которые душны и тяжелы, как шубы в передней адвоката Горлова. Оказалось, нет — они ее держат. Значит, надо отказаться от личного счастья. Сдать экзамены, и скорей на завод! Работать восемнадцать часов в сутки, жить голо,

просто, сурово. Забыть о любви. Вера помнит библию: мать заставляла читать ей вслух. Там рассказано о племени, которое блуждало сорок лет, прежде нежели войти в обетованную землю. Старые вымерли, вошли новые. Ей двадцать три года по паспорту. На самом деле ей очень много лет, ей столько лет, сколько всем этим книгам, анализам, раздвоениям и тоске. Она любит новый мир: это ее мир. Она любит товарищей: это ее люди. Но пусть никто не знает, что она прокаженная. Она будет делать свое дело, радоваться, смеяться, будет, как все. Только одного у нее не будет: своих чувств, своего угла, своей судьбы — этого она недостойна.

Геня больше не приходил к ней. Она не знала, что с ним. Она старалась как можно меньше о нем думать. Днем это удавалось: днем она работала. Ночи были трудными: иногда она долго не могла уснуть; иногда просыпалась и с надеждой глядела на часы: может быть, уже утро, но часы показывали два или три. Она сидела на кровати, без сил, без воли, она говорила с Геней, убеждала его стать радостным и простым, просила у него прощения за свое молчание, гладила его жесткие волосы. Потом наступало утро, зеленые глаза терялись среди формул и чертежей.

О чем думал Геня? Как он заполнял свои вечера? Говорил ли он с Верой в долгие, бессонные ночи? Этого никто не знал. Он попрежнему работал на заводе, но на лекции он больше не ходил. Вечером он сидел дома. Иногда товарищи его спрашивали: «Ты что, болен?» Он говорил: «Нет». В первые дни после разрыва с Верой он еще думал, что это удар, который скоро забудется; он еще связывал свое будущее с прошлым; он был еще прежним Геней. Потом он понял: приключилось что-то очень важное, и он притих. Жизнь скрылась внутрь, жизнь запутанная, поспешная и отчаянная. Геня долго боролся с собой. На улице была весна, мальчишки продавали сирень, парни вечером играли на гармошке и обнимали девушек. Потом наступили жаркие дни. Вечером, и то было душно. Геня выходил на улицу, но тотчас же возвращался назад: ему казалось, что все его отвлекает, а он должен теперь много думать. Мысли были неповоротливыми: начиная думать об одном, он вдруг сбивался, вставало

прошлое — Леля, Даша, Архангельск. Один только раз он обмолвился простой и внятной фразой. Кудряшев сказал:

— Ночи-то какие короткие! Уснуть не успеешь — и светло...

Тогда Геня вдруг радостно усмехнулся и сказал:

— У нас еще светлей. Такое ночью делается, ходят, гуляют, а небо розовое...

Он сказал это и сейчас же снова погрузился в свои мысли. Казалось, он мог, сидя так, придумать десять мостов, составить множество докладов, сочинить большую книгу. Но он только написал письмо Вере. Это было уже в июле, накануне его отъезда из Москвы. Он написал его сразу, ничего не исправляя и не зачеркивая, а увидав перед собой несколько страничек, исписанных сверху донизу, он вдруг почувствовал себя свободным и веселым. Он шутил с ребятами, пошел к Москва-реке купаться, он радовался всему: и крику детворы, и тем домам, которые успели вырасти, пока он сидел и думал, даже неистовому летнему солнцу. Другие жаловались: «Печет, сил нет», а он благодушно улыбался: «Это хорошо — насквозь пропекает...»

Вера получила письмо уже после его отъезда. Он носил его дня три, а в ящик опустил только на вокза́ле. Он писал:

«Дорогая моя Вера! Ты прости, что пишу. Знаю, у меня на это нет права. Но никак не могу справиться с этим желанием. Раньше думал — не буду писать, так и уеду, зачем Веру растравлять? Но вот пишу — не могу не попрощаться. Я понимаю, что ты теперь мне не веришь и это письмо ты можешь принять тоже за ложь. Так я, значит, и не узнаю, поверила ты мне или нет? Когда я думаю: ты и я, мне даже странно. Такая ты большая и настоящая, дорога у тебя прямо-прямо идет, я не скажу — легкая, нет, очень трудная, другие давно бы свернули, но прямая. А у меня вот оказались какие-то тропинки — блуждал я, блуждал. Кажется, теперь выбираюсь. Если смогу тебе написать, как чувствую, ты поймешь, что пишет тебе другой человек, не тот Генька, которого ты знала. Общего у него со старым Генькой одно: и Генька тот тебя любил, и этот любит. Видишь — говорю не стесняясь. Хотя, конечно, о чувствах глупо говорить, это надо

на деле доказать, а я как раз с тобой доказал обратное. Логически выходит, что я тебя и не любил. Но это не так, и, может быть, ты это поймешь, ты ведь столько книг читала, наверно где-нибудь такие случаи описаны. Понимаешь, я был с вывихом. Я не понимаю, как со мной люди разговаривали, не говоря уже о тебе!.. Таких надо на цепь сажать, вот что! Очень я бестолково пишу, постараюсь сейчас все рассказать по порядку. Когда я у тебя расплакался — помнишь, это во мне что-то заговорило. Я, конечно, не понял: думал — стыд какой, а все-таки с того дня я уже не мог успокоиться. Это ты меня, Вера, растравила. Так и шло неопределенно: хотелось сказать тебе всю правду, начать жить, как люди живут, работать, учиться, с ребятами по-новому встретиться. А вот мешало проклятое самолюбие. Значит, удар был недостаточным. Любовь меня так и не вытащила. Потребовалось другое. Я много позднее понял, почему ты меня не прогнала. Я так думаю: каков человек, такова у него любовь, дело не в силе, но в человеческом достоинстве. Если ты страдала со мной, все-таки это не зря. Счастья ты не получила, а одного человека выручила. Слушай, Вера, я тебе никогда не рассказывал о моем детстве. Да и никому я об этом не говорил. При случае отвечал: «Происхождение пролетарское». Собственно говоря, это не вполне так. То есть фактически это так, но все же и здесь дело с обманом. Отец у меня был метранпажем, он в Архангельске работал, он сам с Онеги. Так что на анкеты я мог отвечать, не смущаясь. А психология у него была особенная. Зарабатывал он неплохо, но говорил: «Это все черный хлеб, а Генька пусть сдобу жрет». Он мне говорил, что надо вперед пробиваться. Я, конечно, не особенно его слушался, но все-таки западало. В школе я на стенку лез, только чтобы быть первым. Был у нас мальчонок Соловьев, тихий такой, но здорово учился. Я страницы из его тетрадки выдирал, книжки его раз на помойку закинул — вот до чего доходил. И ни с кем я не водился. Только все о себе думал, как и потом. Мне говорили: «Ты способный», а я думал: «Зачем хвалите? Я вас скоро всех забью!» В пионерский отряд пошел не просто, а сразу прикинул: я там первым буду. Долго колебался: учиться или не учиться? Что выгодней: спецом или по партийной линии? Решил сразу

на все фронты. Но никогда я по-настоящему не учился. Я раз хотел тебе написать, это после того, как разревелся у тебя, и думаю: нельзя ей писать, она увидит, сколько у меня ошибок. Я даже не понимаю, почему Щеглов или в Архангельске Кранц со мной разговаривали? Наверно, жалели меня, как ты. Ведь я такую ахинею нес. Стыдно теперь подумать. А комсомолец я был никакой. Коммунист должен товарищей любить — это уже самая простая вещь, без этого мы никакого социализма не построим. Я прочитал, что после смерти Ленина Крупская сказала: «Он народ любил». Я раньше не понимал этих слов, а теперь как вспомню — дух захватывает: понимаешь, до чего это просто и трудно, так трудно, не знаешь даже, как подступиться! Можно доклад хороший составить или еще что-нибудь, а здесь задача ясная: пока ты людей не любишь, ты и не товарищ, а так, с боку припека. Разве я когда-нибудь над чужой жизнью задумывался? В голову мне это не приходило. Я так себе представлял: все чувствуют, как я, все хотят друг дружку перегнать, значит — при! Вроде как в трамвае. У нас в Архангельске был Мезенцев. Я о нем думал: дурак. А почему? Очень просто — он с людьми считался. Спросит ребят: как, что? От этого и чувства другие получаются, спайка, тогда ребят не разнять. Почему у нас Магнитку построили? Разве в плане дело или в том, что были гении? Ничего подобного! Вместе шли — в этом вся разгадка. Если завтра нам воевать придется, такой Мезенцев впереди пойдет, и не один, с ним все ребята пойдут. Воевать — это не просто, это не руку поднять на собрании, здесь столько чувств нужно, что люди сразу или зверьми становятся, или на десять голов растут. А я вот Мезенцева ненавидел, хотел его потопить — развел историю с женой, будто она кулачка. Кулаком, между прочим, был я. Я вот ни разу не заинтересовался, как ты все переживаешь. Ты сначала для меня была вроде как экзамен: выдержать! То казалось важным, что ты ни с кем из парней не гуляешь, что у тебя культурный уровень выше и прочее. Грязно это, но я ничего не хочу скрывать. Я только одно скажу, не в оправдание, но чтобы ты лучше поняла: я думал, что я хитрый, что у меня план, а оказался мальчишкой, дураком. Впрочем, об этом ты сама знаешь. В личной жизни — это

второе крушение. Я тебе как-то сказал, что Лелю я не любил. Это, конечно, не так. Любил я ее очень. По-другому, чем тебя. С тобой получилась драма, а там все легко далось, не будь моего характера, могли быть с ней счастливы. Не было у меня в этом никакого взлета, и я не жалел бы, что мы с ней расстались, если бы не смерть Даши. Вот это у нас было настоящее. Мы тогда друг друга не понимали, но у меня, несмотря на всю амбицию, что-то человеческое появилось. Только это была короткая вспышка, а потом все пошло насмарку. С тобой много крепче. Я пишу тебе сейчас совсем спокойно, каждое слово взвешиваю — достаточно я об этом думал. Трудно употреблять такие большие слова, как-то не подходит это к нам, но я все-таки скажу, что тебя я полюбил совсем. Понимаешь? Больше такого не может быть в жизни — никакое сердце не выдержит. И вот я говорю это, расставаясь с тобой навсегда. Я хотел притти проститься, но считаю это подлостью: может быть, ты уже начала меня забывать, а здесь я все заново растревожу. Да и себе я не доверяю: вдруг увижу, и сил не будет, чтобы уйти? А уйти мне необходимо. Видишь ли, в таком состоянии, как я находился, я мог совершить любое преступление: убить кого-нибудь, или деньги растратить, или со злости поломать машину. Это мне просто повезло, что я ничего такого не выкинул. Суду судить меня не за что, но я-то про себя все знаю. Я ищу не наказания, а выхода. Я решил поставить себя в самые жесткие условия. Здесь, в Москве, слишком много людей, все тебя отвлекает, получается какое-то мелькание. Поэтому я и придумал, что уеду туда, где людей мало, и постараюсь перестроиться, так в газетах пишут о таких, как я — они каналы роют, ну, а я другое буду делать и не по приговору, это, собственно говоря, неважно. Людей кругом будет мало, и я постараюсь подойти к ним, забыть о себе, стать настоящим, честным коммунистом. Просижу год зимовщиком, чтобы нельзя было раньше вернуться и чтобы писем не получать, может быть удастся вернуться другим человеком. Только ты лично обо мне забудь. У тебя должна быть совсем другая жизнь и счастье другое. Хотя ты много пережила, но сердце у тебя, по сравнению со мной, какое-то неисписанное — ты еще можешь столько пере-

жить нового и замечательного! А если ты была способна даже меня настолько полюбить, какая ты будешь необыкновенная, когда встретишь настоящего человека! Я тебе этого желаю, и это не формула приличия, не те фразы, которые старый Генька произносил к случаю, чтобы показаться умней, это, Вера, от всего сердца. И раз я дошел до этого, то позволь мне в мыслях в последний раз поцеловать тебя — вот так, чтобы выразить все-все, чего не сумел сказать. Когда вернусь, может быть зайду к тебе, чтобы показать, что не зря ты со мной мучилась. Но не думай, что если я встречу другого, то буду ревновать или расстроюсь. Я к этому уже себя подготовил, и прощаюсь я с тобой всерьез. Я не знаю даже, как ты сдала все экзамены? Что решила — ехать на Урал, как хотела, или останешься в Москве? Я спрашиваю, но не жду ответа — просто я сказал «позволь поцеловать» и почувствовал, что ты рядом, вот и говорю. Ну, надо кончать — не знаю, как ты будешь это читать, очень плохо пишу, лампа далеко, и рука устала. Через четыре дня я уезжаю в Архангельск, а оттуда дальше, на остров Вайгач — в управлении Северного морского пути меня взяли помощником радиста; радист я плохой, зато механик, а там это пригодится. Значит, другая жизнь начинается. После этого не знаю, что и сказать, только обнять тебя хочется, Вера, и спасибо тебе за все, за все. Твой Генька».

Вера прочитала это письмо два раза подряд. Она хмурила брови от напряжения, а пальцы стали сразу холодными. Она не услышала, как постучали в дверь — это Киселев принес книгу. Увидев Веру, он молча, на цыпочках, вышел из комнаты. Когда Вера, перечитывая письмо, дошла до слов «позволь поцеловать тебя», из ее глаз хлынули слезы. Она долго плакала над листочками, вырванными из тетрадки, и ей казалось, что она никогда не перестанет плакать. Ее слезы были горестными и в то же время легкими, как тот внезапный ливень, который сваливается на город в душную июльскую ночь.

Несколько дней спустя она сказала Николадзе:

— Слушай, ты меня насчет комсомола спрашивал. Я теперь в Свердловск еду. Но дело не в этом, а понимаешь — если у ребят нет возражений, я хочу войти в комсомол. Чтобы совсем вплотную... Понимаешь?

23

Когда Лясс выступал в клубе комсомольцев с докладом о продвижении пшеницы на север, он не думал, что вскоре ему придется искать у этих людей защиты. Давно миновало то время, когда белые рыскали по окрестным лесам. Если порой где-нибудь в овражке находили человека с размозженной головой — селькора, убитого кулаками, или комсомольца, с которым хулиганы свели свои счеты, — пятнышко крови казалось загадочным и непонятным среди вспаханных полей и мирных стад. Борьба, однако, продолжалась; она ушла теперь вглубь: в лесные заросли, в шахты, в цеха, в папки с бумагами.

Голубев хватался за голову:

— Где же они запань поставили? Кто это место выбрал? Вся древесина ушла...

Вернувшись из Устюга, Мезенцев рассказывал секретарю крайкома:

— Черти, сплавщиков тухлой рыбой кормят! Ясное дело, люди разбегаются. А им хоть бы что...

На бельковской запани Орлов с трудом раздобыл одеяла для рабочих. Сабанеев украдкой пощупал одеяло и начал истошно вопить:

— Сколько они нас мучить будут? Пашку-то придавило. А кому охота умирать? Не хотим мы больше мытариться — это не лагерь, мы тебе не воры! А одеяла, ребята, забирай — нечего им здесь валяться! До весны сгниют. Оплатили мы их нашей кровушкой.

Варя крикнула:

— Индивидуал ты проклятый! Не смеешь ты этого говорить! Не твои одеяла, народные...

Сплавщики молчали: они не знали, кто прав. Одеяла они все же унесли.

Инженер Щербовский говорил Минаеву:

— Конечно, профиль дороги никуда не годится. Но зачем мне кровь себе портить? У них все липовое — сойдет и так...

Лясс сказал комсомольцам: «Мы и природу меняем», а в старых деревянных домишках люди осторожно дули на блюдечко и торжественно потели. Они хотели новый мир взять измором, хищный орел стал синевой и черво-

точиной, гнилым ремнем, несмазанными частями машины, шведской мухой или стеблевой блохой.

Лясс привел пшеницу на север. Он думал, что это победа. Но на севере было не мало людей, обиженных жизнью, тупых или суеверных. Пшеница была для них непрошенной гостьей, выдвиженкой, большевистской выдумкой, и они возненавидели пшеницу, как ненавидели трактор, электрическую лампочку и слово «товарищ».

Они пробовали смеяться: «На Кубани, видать, пшеница больше не растет», «Скоро заместо коров верблюдов разводить прикажут». Они доказывали, что пшеница — это баловство: как сеяли рожь, так и будем сеять. «С калача личико пухлое да дряблое, а со ржи красное, дубленое, ничего не боится». В колхозе «Красный май» кривой Аршинин вопил:

— Тесть мой посеял пшеницу, а через три года у него пшеница в рожь обратилась. Потому — такая земля. Зачем же нам зря стараться?..

В колхозе «Комбайн» председатель Силкин смешал селекционные семена с местными. В колхозе «Сознание» агроном Ивашев при протравлении понизил всхожесть чересчур концентрированным раствором формалина. Потом тот же Ивашев говорил:

— Здесь пшенице не расти! Это все городские придумывают...

Завьялов писал в журнале, посвященном агрокультуре: «О продвижении пшеницы на север могут говорить только маниаки или преступники». Профессор Пищаков утверждал, что глубина вспашки не оказывает никакого влияния на урожай пшеницы: надо вспахивать не глубже, чем на восемь сантиметров. Перечитав свою статью, Пищаков улыбнулся и сказал жене:

— В общем надоело...

Профессор Орлов высмеивал работы Лясса. Он говорил, что яровизация пшеницы — выдумка недоучки: она противоречит здравому смыслу.

Лясс был ученым, а не политиком. Сокращение вегетационного периода растений казалось ему теорией, способной изменить облик земли. Больше всего на свете он любил свои опыты. Но как только дошли до него

первые вести о походе на пшеницу, он бросил все: он принял бой.

Он никак не походил на классического «ученого» — все в жизни его интересовало. Как-то в Архангельск приехал московский поэт. Поэт зашел к знаменитому ботанику, наговорил ему комплиментов, а потом преподнес книжку своих стихов:

— Это последняя, может быть вы еще не читали...

Лясс смутился: чорт возьми, вот какой он неуч! Поэт, наверно, знаменитый, а Лясс даже имени его не слыхал. Что он понимает в стихах? Стыдно сказать, но он до сих пор Пушкина почитывает... До этих так и не дошел. Времени мало. А надо бы приналечь... Он раскрыл книжку, и смущение его возросло: строчки были все разной длины, а он думал, что стихи теперь, как прежде: строчки ровные... Он хотел прочесть какое-нибудь стихотворение, но раздумал: не пойму, а он еще спросит: «Ну, как?..» Лясс сказал:

— Печатают у нас плохо. Вот поглядите — читать трудно. А если глаза слабые или колхозник какой — не привык читать, он и совсем не разберет. Почему это? Краска, что ли, плохая или пригнать не умеют?

Поэт улыбнулся:

— Право, не знаю. Я, по правде сказать, и не был никогда в типографии.

Здесь Лясс оживился. Он дружески обнял поэта:

— Чудак вы! Вот такие только поэты бывают. Вам что же — неинтересно? А вот пиши я стихи, я бы и набирать научился. Чтобы за всем присмотреть. Книжка-то не сразу выходит. Написали, подчистили там, а потом — ведь это чертовски интересно, как на линотипе стучат, приправляют, машины разные... Все-таки — ваше это дело или не ваше?..

Швецов сказал Ляссу:

— Слушай, Иван Никитич, по-моему, ты должен ответить Орлову. Он тебя каким-то сумасшедшим изобразил. Пошли статью в Москву.

Лясс с удивлением посмотрел на Швецова:

— Это ты еще что придумал? Может быть, и Пищакову отвечать? Этак в строго научном стиле объяснить, что пшеница не любит сорняков? Здесь, брат, не в науке

дело. Результаты налицо — тридцать центнеров с гектара. Так что и спорить не о чем. Здесь нужно другое...

Несколько дней спустя Лясс выступил на конференции комсомольцев. Он теперь не рассказывал ни о своем отце, ни о реках, которые меняют русло. Он начал прямо с дела:

— Ребята, я вот что предлагаю: комсомол берет шефство над пшеницей.

На конференции были Мезенцев, бывшая жена Гени — Леля Татаева, Васильев, Яковлев, Миша Шоломов, Варя — словом, все те, что работают на лесопилках, осушают болота и на запанях стерегут драгоценную древесину. Не мало было и приезжих из колхозов. После речи Лясса составили программу: перевыполнить план засева, бороться с агитацией кулаков, самим следить и за вспашкой и за прополкой. Шоломов в конце попросил слово:

— Забыли мы про парикмахеров. Надо создать таких объездчиков, чтобы они хватали парикмахеров.

Лясс глаза на него выпучил:

— Это я что-то не понимаю. Какие такие парикмахеры?

— Очень просто, что кулацкие — стригут колосья, а потом мутят, что собрали мало.

Борьба длилась долго. Лясс ездил по селам. Он показывал, как запахивать, как пропускать через триеры. Он смешил баб — такое скажет, что все прыснут. Раскурив свою короткую трубочку, он заводил с бородатыми колхозниками длинные разговоры о жизни. Он даже поспевал с ребятами поиграть. Когда он приезжал в село, большой и шумный, колхозники глядели на него с опаской: «Этот чорт у них главный». А потом и отпускать не хотели: «Лошадей нет. Поживи еще денек». Кроме прочих даров, был у него один редчайший: он безошибочно находил дорогу к человеческому сердцу.

Он подобрал десяток комсомольцев. Через месяц они уже разбирались и в сортах семян, и в слухах, которые ползли из деревни в деревню. Они подняли на ноги весь комсомол. Лясс не был одинок в своей борьбе за пшеницу: бок о бок с ним билась молодость. И Лясс выиграл битву. В крайкоме ему показали цифры: пшеницы было посеяно на шестьдесят восемь процентов больше, нежели в преды-

дущем году. Лясс выслушал поздравления секретаря и хмыкнул:

— Так...

Улыбнулся он потом — шагая домой.

Что сегодня делается в маленьком деревянном домике! Урс лает. Мушка подпрыгивает: ей хочется обязательно лизнуть Лясса в нос. А Лясс стоит посреди комнаты и приговаривает:

— На шестьдесят восемь... Ясно? А в будущем году будет на...

Он хмурит лоб и смотрит на Байбака. Может быть, он принимает Байбака не только за поэта, но и за математика? Нечего скрывать: с цифрами Лясс не в ладах. Он долго множит шестьдесят восемь на два. Потом он обращается к Пропсу — Пропс смотрит на мир грустно и недоверчиво, как подобает старому псу. Иван Никитич говорит:

— Слушай ты, скептик, нечего меня презирать. В будущем году будет на сто тридцать шесть процентов выше... Тьфу, высчитал!

Васильев теперь работал на заготовках, Варя на фанерной фабрике, Шоломова послали в Ухту. Только Леля попрежнему частенько заглядывала к Ляссу. Можно сказать, что она заняла место Лидии Николаевны. Леля пришла к нему вскоре после своей ночной встречи с Геней. Она жила еще прошлым. Ночью она тихонько плакала, вспоминала Дашу. Нюта взяла с нее слово, что она не будет больше думать о Гене. Но минутами Леле казалось, что она любит Геню попрежнему. Она взялась за работу в комсомоле; она вспомнила Котлас: так она жила до встречи с Геней. Работа и товарищи помогали ей забыть горе. Но все же она еще не могла радоваться. Печаль теперь стала безотчетным состоянием, воздухом, тембром голоса, серым деньком, без дождя и без солнца.

К Ляссу она пришла за инструкциями: ее посылали в Верхне-Тотемский район. Лясс рассказал, как надо поставить дело с прополкой.

— Ты их поджучивай!..

Потом он посмотрел на Лелю и спросил:

— Ты что скучная такая? Случилось что?

Леля хотела улыбнуться, но это не вышло. Она сказала:

— Нет, ничего не случилось. Только и веселой быть не с чего.

— Как это не с чего? А что челюскинцев спасли — это не в счет? Я вот вчера прочел и не вытерпел, Ксюшу позвал, ей все прочитал и еще захотелось в третий раз, только никого не было — пришлось собакам почитать, благо там ихняя братья тоже поработала. А ты говоришь — радоваться не с чего! А что весна такая — это что, между прочим? А что ты едешь человечество просвещать — это что, каждый день случается? Ты вот подумай — такая, как ты, — лет пятьдесят назад, — ну куда бы тебя послали? Гусей бы ты сторожила. Или — это уже с высшим образованием — вышивала бы на... Забыл, чорт, как их зовут!.. Вроде пальцев... А теперь ты десять колхозов перевернешь. Сколько тебе лет? Двадцать три? Девчонка! Так и не улыбнешься? Скажите, какой меланхолик! Посмотри на меня.

Лясс хотел показать, какое у Лели грустное личико. Он сморщил лоб, а губы выпятил. Но какая же это Леля, это старый пес. А здесь еще он схватился за щеку и зарычал:

— Ух ты, побриться надо!..

Пропс посмотрел на него и залаял: то, что Лясс не походил на самого себя, показалось Пропсу оскорбительным: он был старым, серьезным псом и не понимал таких шуток. Ну, а раз Пропс залаял, надо ли говорить о том, что и другие псы подхватили. Такой лай раздался, что Иван Никитич заткнул уши и сам начал вопить:

— Да замолчите вы, черти! Товарищу, может быть, не до вас...

Тогда «товарищ» не выдержал: впервые за долгое время Леля рассмеялась.

— Ну и смешной вы!..

Лясс громко вздохнул:

— Ты уж меня, пожалуйста, тыкай: на условиях взаимного обмена. А то с вашим братом нехорошо получается: я им «ты», они мне «вы», вот и начинаю о своих годах подумывать. Мне ведь не то сорок три, не то сорок четыре.

Так они подружились. Леля заходила на станцию или в домик, где жил Лясс, глядела на ботаника, слушала его громовой голос и как-то оживала. Лясс смотрел на семена, прищурив один глаз и что-то мурлыча. Иногда на его лице показывалась улыбка, такая нежная, что в первое время Леля краснела: на кого это он смотрит?.. Но Лясс смотрел на ячмень. Ел он с таким смаком, что собаки роняли слюну. Он мог жевать ломоть хлеба восторженно, как самое изысканное блюдо. Урс, не выдержав, тявкал, Лясс кидал ему кусок. Урс обнюхивал хлеб и, опустив хвост, шел прочь. В эту минуту они не понимали друг друга: Иван Никитич не знал, что Урс уже поел у Ксюши мясных щей, а Урс никак не мог себе представить, почему Лясс вкусно причмокивает, глотая сухой, скучный хлеб. Иногда Лясс читал книгу — это было тоже бурно и неожиданно. Он раз встретил Лелю криком:

— Стой, ты Стендаля читала?

На беду оказалось, что Леля не читала Стендаля. А Лясс шумел:

— Понимаешь, какая-то ерунда выходит: влюблен как будто и нет, главное — ему чтобы в окошко влезть. Ломака такой, что противно. Я уже его за всех его баб ругал. А интересно, Леля! Я тебе признаюсь — всю ночь читал. Беда! Теперь, как увидишь у меня роман, тащи к себе, а то некогда — я ведь должен эту историю с прикрытием яблонь заново проверить...

Леля смотрела на него и смеялась. Кто бы прежде подумал, что Леля веселая? Геня говорил: «Она на кого хочешь тоску наведет — плакса...» А вот теперь Ксюша не зовет Лелю иначе как «хохотушей». Она докладывает Ивану Никитичу: «Опять эта хохотуша заходила. И с чего она такая веселая?..»

Ксюша долго вздыхала по Лидии Николаевне. Теперь она начала присматриваться к Леле: может, Иван Никитич на этой женится? Нельзя ему одному. Вот переведут Ксюшу на другое место, кто за ним ухаживать будет? Человек немолодой, знаменитый, из Москвы ездят, а присмотреть и некому... Хохотуша-то на него заглядывается. Только больно молода. Актерка была посерьезней. А эта лишь бы прыснуть в кулачок.

О чем разговаривали Иван Никитич и Леля? О разном:

об американских заповедниках, о комсомольцах, о царской России, о кулаках, даже о дрессировке тюленей. Никогда они не говорили о себе. Лясс знал, что у Лели умерла дочка, и он ее не расспрашивал о прошлом. Да Леле теперь и не хотелось об этом вспоминать: она жила другой жизнью. Иногда Лясс упоминал о своей бурной молодости, но говорил он при этом не о себе, а о встречах с людьми или о диковинных странах. Леля знала, что он исколесил весь свет и что у него было много разных профессий. Вот и все. Нет, конечно, не все. Она знала о нем сотни различных вещей: как он пришивает пуговицу, как он выезжает с Мушкой в экспедицию, как он вдруг начинает ругаться по-английски, чтобы никто не понял, как он слушает, когда Леля ему рассказывает что-нибудь интересное, и наклоняет голову вбок, точь-в-точь, как его собаки. Леля знала о нем больше, чем он мог бы ей сам рассказать, и она к нему привязалась. Он казался ей не человеком, но добрым чудовищем, не то огромным ребенком, не то гением — она часто думала: наверно, поэты такие... Ей повезло — она встретилась в жизни с человеком, который всех понимает и который ни на кого не похож.

Как-то Ксюша сказала Леле:

— Я думаю — поженитесь. Ты не хохочи — это тебе не шутки шутить! Погляди, как он на тебя смотрит...

Леля продолжала смеяться:

— Ну и глупости ты говоришь, Ксюша... Да разве я ему пара — я ведь девчонка. Его в Москве знают. Ты понимаешь, с кем он там говорил!.. О нем весь мир знает... А ты говоришь — он на меня смотрит. Он на всех так смотрит. Очень глаза у него ласковые. Я тоже прежде думала, что он с выражением смотрит. А он и на картошку так глядит. Он, Ксюша, о своем думает: мысли у него большие. А ты вдруг говоришь «поженитесь» — смешно!..

Леля не могла знать, что накануне Лясс просидел весь вечер, грустно перебирая какие-то цифры: ему сорок три, нет, уже сорок четыре. Значит, двадцать один год разницы. У него могла быть такая дочь. Очень просто! Вот женился бы в двадцать лет. Сколько ему теперь: сорок три или сорок четыре? Год рождения — 1891. Сорок три. Скоро сорок четыре. Нет, нечего думать!.. Как это он за собой не присмотрел? Значит, он и вправду старик: в книгах пишут, что

старикам нравятся молоденькие. Надо выкинуть это из головы. Дурь какая! Жил, жил и вот, извольте, на старости лет влюбился в «хохотушку».

Проснулся Лясс с мыслями об ячмене, и, когда он припомнил ночную тревогу, ему стало смешно: чего только не померещится человеку! Но днем он снова подумал о Леле и перепугался: вот сижу и думаю — придет она или не придет? Что это за наваждение! Может, уехать? Или сказать: «Слушай, Леля, ты теперь не приходи — у меня работы много»?

Лясс долго не мог разобраться, что с ним происходит. Разговаривая с Лелей, он теперь старался не глядеть на нее, да и говорил куда меньше прежнего. Только всякий раз, когда Леля собиралась уходить, он вдруг оживлялся и ворчал: «Ты завтра обязательно загляни — может быть, на станции что-нибудь интересное будет...»

Он сидит и разговаривает сам с собой. Нечего валять дурака — влюбился! Как с Мери. Только тогда это не было так смешно. Сколько мне тогда было? Двадцать пять или двадцать шесть. Молодой. А тоже ерунда вышла. Мери говорила: «Вы замечательный человек». Но понравился ей Доран. А теперь и совсем смешно. Кому я могу понравиться? Женщины смеяться должны. Мушка, ты чего это надо мной не смеешься? Юмора у тебя мало. Как это вышло?.. Все равно, теперь ничего не поделаешь... А чем чорт не шутит — вдруг?.. Вот актриса как будто его жаловала. Но актрисы, они особенные: им не люди нравятся — персонажи. Лидия Николаевна, наверно, и меня видела по-своему: этакой герой трагикомедии «Пшеница и коварство». Смешно! Леля, она простая, она все так видит, как есть. Веселая...

Иван Никитич уныло вздыхает. Притихли собаки. За окном белая ночь — снова, как тогда... Лидия Николаевна стояла у окошка. Вот с пшеницей у него вышло, а с жизнью нет... Может быть, сказать Леле? Глупо — она рассмеется. И действительно, как не рассмеяться: старый ботаник влюбился в комсомолку!..

Свет не дает ни уснуть, ни позабыться. С улицы доносятся веселые голоса: это молодые гуляют. Лясс сидит и думает: что же такое старость? Он изменил срок созревания растений. Он учитывал годы, месяцы, даже дни. А о

себе он не подумал. Старость подошла незаметно. Еще недавно он повсюду оказывался самым молодым. В Архангельске — на первых заседаниях о той же пшенице. Сколько ему тогда было?.. Тридцать один. Кругом сидели почтенные люди... А теперь он всегда самый старший. Место уступают. Нехорошо! Может быть, все дело в цифре? Может быть, он вовсе и не состарился? Иван Никитич подходит к зеркалу: седая щетина, под глазами большие мешки, да и глаза стали мягкие, вроде как у Пропса. Конечно, он еще поработает! Но вот когда они ездили в Нюксеницу, Лясс взбежал наверх и вдруг как схватится за сердце: не может он больше бегать в гору. Там какой-то человек сказал: «Вы бы себя поберегли...» Ну да, это все понимают: сорок четыре — это не двадцать два. А он вот разлетелся — Леле предложение делать, не угодно ли!..

Однако ирония не помогала. Леля твердо вошла в жизнь Ивана Никитича. Он уже знал, что это всерьез. Мало-помалу он начал уступать себе. Он только изредка цедил сквозь зубы: «Ну и глупо!» Наконец он решил рассказать Леле про все. Пусть посмеется — может быть, хоть это его излечит. А вдруг?.. Иван Никитич никогда не договаривал себе, что может быть «вдруг», он только начинал бессмысленно улыбаться.

Но как ей сказать? Ведь она сразу рассмеется... Лучше начать издалека... Лясс обрадовался, придумав фразу: «Как ты думаешь, большая это разница, если, скажем, двадцать три года и сорок три или сорок четыре?» Он начнет с этого.

Леля два дня не приходила, а когда она пришла, Лясс так обрадовался, что Леля спросила:

— Что это ты сегодня веселый?..

Он рассердился на себя и начал кричать, что Леля не слушает, когда он что-нибудь рассказывает, что опыты с искусственным климатом... Он говорил-говорил, а потом вдруг рассмеялся. Никакого серьезного разговора не вышло.

На следующий день Лясс совсем было решил: сегодня скажу. Но в последнюю минуту он растерялся и объявил, что едет на станцию. Он работал до двух ночи. Когда он пришел домой, у него сильно разболелась голова. Лясс никогда не хворал, и когда ночью у него сделался жар, он

решил: это я умираю. Он заставил себя подняться, привел в порядок все счета о подотчетных деньгах, написал Иголкину, чтобы тот послал семена ячменя в Москву, и снова лег. Повернувшись лицом к стенке, он стал ждать, когда все кончится. В ушах стоял гул, а голова как будто разрывалась. Он впервые осмелился подумать о Леле просто, не смеясь над собой и не ругая себя. Он даже представил себе, что она сидит рядом. Он приподнялся, чтобы обнять ее, и сейчас же упал на подушки. Потом он ничего не помнил. Он проснулся от тихого тявкания Мушки. Он посмотрел и улыбнулся: все четыре собаки сидели смирно, не сводя глаз с Лясса; ждали, когда он проснется. Сколько же времени? Он поглядел на часы. Что такое?.. Нет, идут... Часы показывали двенадцать. Тогда он вспомнил ночь: что-то с ним было неладное. Он должен был утром зайти в крайком... Как это глупо вышло! Надо поскорее встать! Он поднялся, но стоять не мог — ноги как будто уходили. Пришлось снова лечь. Вскоре заглянула Ксюша; она перепугалась и побежала за врачом. Врач выслушал Ивана Никитича:

— Ничего серьезного... Обыкновенный грипп. Сердце у вас немного того... Вам сколько лет?.. Ну, это пустяки. Так-то вы крепкий. Надо отдохнуть. Я вот вам капли пропишу...

Когда он ушел, Иван Никитич подумал: грипп, кажется, у всех бывает. Почему же он меня о годах спрашивал? Неужели это начало конца? Столько надо еще сделать! Да и жизнь теперь такая — трудно оторваться. Вот день провалялся, и то кажется — что-то пропустил... А умирать и совсем глупо. Леля еще... Но, может, это пройдет? Он капли выпьет... Отдыхать? Ну, пролежит до завтра, отдохнет.

Пришла Ксюша:

— Доктор-то что сказал?

Лясс рассмеялся:

— Сказал — такие до ста лет живут, да и то потом их травить приходится. Ерунда — грипп. Еще про сердце что-то говорил... Шут его разберет. Вот у дерева бывает такая болезнь — двойное сердце. Это значит — внутри две сердцевинные трубки, понимаешь? Может, и у меня так — слишком я уже распространился, надо и честь знать...

На следующий день он работал как всегда. Он больше не думал ни о двойном сердце, ни о каплях. Вечером ждал Лелю, но Леля не пришла. Он теперь твердо решил: как только она придет, он сразу ее спросит. Леля не приходила всю неделю. Наконец-то — это было утром в выходной — он услышал ее голос. Он вздрогнул и, как школьник, повторил: «Сорок четыре и двадцать три».

Леля пришла с каким-то парнем. Лясс нахмурился: значит, снова не удастся поговорить! Он спросил:

— Это что товарищ — по делу?

Леля покраснела. Иван Никитич невольно подумал: «Красивая она!..»

— Это Вася Ляшков. Я тебе о нем еще не говорила. Он давно хочет с тобой познакомиться. Только стеснялся. Я его уговорила. Ты не сердишься?..

Лясс улыбнулся:

— Чего же здесь сердиться? Ну, значит, будем знакомы. Это вот Урс. Тоже молодняк...

Лясс увидел, как Леля смотрит на Ляшкова, и сразу все понял. Вот и спрашивать не пришлось, жизнь сама ответила: сорок четыре — не двадцать три. В арифметике он слаб, а насчет старости — это он должен был знать. Так и дерево высыхает. А если у дерева два сердца, то ему и лет вдвое больше — две системы годовых колец.

Он побоялся, что сам загрустит, да и на Лелю тоску нагонит.

— Мне сегодня в Холмогоры надо — насчет ячменя. Давайте вместе поедем. У меня катерок — в дороге и поговорим.

Леля и Ляшков не переставали улыбаться: как повезло им! Не только Лясс не рассердился, но еще с собой взял. Леля играла с Мушкой — Мушка, в качестве личного секретаря, разумеется, сопровождала ботаника. Лясс сначала рассказывал об опытах освоения иного климата. Верблюды из Таджикистана прекрасно выносят здешние холода. Так и со многими растениями. Он устроил лаборатории с искусственным климатом... Ляшков слушал Лясса восторженно, чуть приоткрыв рот и часто моргая. Это был белобрысый веселый паренек с веснушками и с бледноголубыми глазами.

Потом Лясс вскарабкался на крышу катера. Он сел, свесив вниз ноги, глядел на воду. Оглянувшись, он увидел Лелю. Ветер трепал ее волосы. Одной рукой она все хваталась за волосы, точно старалась их удержать, а другую положила на руку Ляшкова. Лясс снова глядел на воду. Подошла Мушка и осторожно лизнула его руку. Он вздрогнул и пробурчал:

— Дура ты... Нет, это я так... Ты у меня умница... А вот я дурак. Старый дурак...

Он думает о Леле,о старости, об одиночестве. Как будто шумно было в доме — гости, пили много, танцовали, а потом все ушли, и сразу стало ясно, что и дом пустой, и хозяин стар, и конец не за горами. Внизу сереет вода. Ветер доносит брызги.

Они ехали долго, и Лясс мог вволю погрустить. Никто об этом не знал: его грусть была глубокой и тихой. Потом он вдруг чихнул, вынул платок, громко высморкался и слез вниз. Он улыбнулся Ляшкову и Леле.

— Холодно там — расчихался. Ну что, товарищ Ляшков, можно сказать — повезло тебе. Леля-то у нас особенная...

В Холмогорах это был тот веселый и шумный Лясс, которого Леля хорошо знала. Старик Смирнов, выслушав Лясса, сказал:

— Ну и человек! Он об ячмене говорит, будто это золото. Даже поглядеть захотелось, какой такой его ячмень...

В совхозе он осматривал коров. Оказалось, что он и в коровах разбирается.

— У такой должно быть жиров — три запятая восемь. Порода замечательная!

На обрыве возле реки Лясс показал Леле блестки:

— Слюда. Это не здешняя: здесь грузили. На экспорт. Лет четыреста назад. Теперь-то здесь тихо, а тогда такое делалось! Слюду нашу очень ценили: «московское стекло». Вот тебе и выходит, что не вчера жизнь началась. Только разве они думали, какие мы здесь дела развернем! Прежде ходу не было. А теперь — выдумал, и валяй. Ну, а мужики были умные. Вот мы на тот берег переедем, я вам пруд Ломоносова покажу. Очень я его уважаю: все успевал. Науки развел, сам строил, стихи писал. Я-то в стихах ничего не

понимаю, но иногда вспомнишь — кажется, ерунда, в гимназии зубрили, а нет — за сердце хватает. Вот вы послушайте: «И воздух огустить прозрачный, и молнию в дожде родить». Глупо, а как это замечательно сказано!

Потом они пили молоко в правлении колхоза. Ляшков и Леля засыпали от усталости, но Лясс потащил их гулять.

Он довел их до ручья.

— Я здесь в позапрошлом году месяц просидел. Мне тогда говорили: «Здесь скотина пить любит». И очень просто — соль здесь. Я говорил нашим геологам. Обидно — почему это у человека только две руки? Кто Лясс? Ботаник, и точка. Я вот недавно подумал: у дерева два сердца бывает — это болезнь. А если бы нам по сто сердец, чтобы все успеть! Здесь и железо найдется. На Ровдинской горе. Я давно спрашивал Зыкова: «Почему гора Ровдинская — это по-фински железом пахнет?» Я по Карелии лето проходил, немного подучился языку. Так и оказалось — железо. Магнитки, пожалуй, у нас не выйдет, а все-таки Холмогоры мы еще здорово растрясем...

Ляшков не выдержал и спросил:

— Как это вы все знаете?

Лясс рассмеялся:

— Ничего я не знаю. Учиться мне надо, а нет времени. Вот построим мы социализм, расчистим у человека нутро, а тогда и за время возьмемся. Раз жизнь хорошая, нечего человеку умирать. Говорят: все дело в годах. А выходит наоборот... Вы что это примолкли? Леля, а, Леля! Ты-то чего пригорюнилась? Тебе грустить не полагается. Кажется, у вас жизнь так вытанцовывается, что я сейчас от радости как возьму, да как зареву...

Леля сказала:

— Вовсе мы не грустные. Я не знаю, как Васька, но, по-моему, и он заморился. Только он не скажет — гордый. А я прямо на ногах не стою...

Тогда Лясс сконфузился, подостлал свое пальто и сказал:

— Садитесь, будем отдыхать. Дурак я — не подумал!.. Как будто это я похвастать хотел, что молод еще. Даже неприлично. Вот доктор говорит: «Сердце, сердце...» А может быть, и вся история в том, что сердце у меня двойное?

24

Час ночи — улицы Москвы опустели. Повалил снег, пушистый и крупный. Он рассеянно кружится, точно раздумывая, присесть ли ему на шапки редких прохожих, или улететь снова вверх. Закончены представления в театрах: спящая красавица уже проснулась, дама с камелиями уже умерла. В шашлычной два подвыпивших гражданина еще уныло спорят о том, что такое жизнь и как обернется дело с Надей: угробит она Васютку или, наоборот, он ее угробит. А снег резвится и кружится. Еще во многих окнах видны огни: среди снега они кажутся золотыми и горячими. Что делают люди в этот поздний час? Изучают гиперболические функции? Чертят планы городов, которые завтра вырастут где-нибудь в Малоземельной тундре? Читают о пути ледокола «Литке»? Пишут стихи? Или, может быть, шепчут слова, золотые и горячие? Москве не спится: ее сердце бьется за всех, и среди снежных равнин полыхают ее взволнованные огни. Кажется, она молчит: тихо на улицах, снег глушит шаги, никто не поет, не куролесит. Но где-то далеко и от театров и от шашлычных люди сейчас жадно ловят ухом каждый мельчайший звук. Ночь гудит; этот гул ничего не выражает: так говорит время, когда человек падает без чувств. Люди знают, что скоро четкий голос вмешается в гул: это будет голос Москвы.

Стены, обитые материей. Яркий свет. Стулья расставлены рядами. Может быть, это концертный зал? Но нет, никто не играет. В комнате так тихо, что слышно чье-то ровное дыхание: это девочка лет восьми уснула, положив голову на колени матери. У людей усталые лица. Они похожи на путешественников, которые ждут поезда. С ними много ребят; ребята трут глаза, ерзают, то приподнимаются, то снова садятся: они борются со сном.

У микрофона стоит человек. Он говорит отчетливо, равнодушно, его голос кажется нечеловеческим: так можно говорить только с потомками или с тенями.

— Говорит Москва. Начинается перекличка родственников с зимовщиками. Радиостанция Мыс Желания. С доктором Шпильманом будет говорить его мать — гражданка Шпильман.

К микрофону подходит старая женщина. Она комкает в руке платок. Шляпа слезла набок.

— Сережа!..

Видно, как она борется с собой: глаза у нее мокрые, но она старается говорить спокойно. Она держит листок: все написано заранее, чтобы не забыть. Но она не читает. Она кричит:

— Сережа, все здоровы. Папа тоже хотел приехать, но я его не пустила. У нас тепло. Я не знаю, как ты там. Мерзнешь? Сережа, Люба вышла замуж за Тупина. Он теперь работает на Электрозаводе. Они ищут комнату. Я боюсь, что ты меня плохо слышишь. Мы тебя ждем летом. Шрамченко просил тебе сказать, что он написал работу о борьбе с рыбным ленточником. Я записала, так что это точно. Сережа, будь здоров, береги себя — я тебя умоляю!..

Она отходит от микрофона, и теперь слезы катятся вовсю. Она шепчет какой-то чужой женщине:

— Забыла сказать, что у Ани девочка родилась!..

Работница «Шарикоподшипника» Маша Котелина говорит с мужем: он радист на Маточкином Шаре. Она бодро читает по бумажке:

— На заводе у нас много новостей. Построили столовку на пятнадцать тысяч обедов. Сейчас на очереди вопрос о бане. Я работаю, как и прежде, в сборочном. Хожу на вечерние курсы. Я хочу еще сказать, что я очень горжусь твоей работой. У меня висит карта, где видно, как далеко Маточкин Шар. Петька здоров, он в пионерах. Он сейчас будет говорить с тобой.

Петька кричит:

— Ты меня слышишь? Мне сказали, что ты меня будешь слышать, а я ничего не буду слышать. Папа, привези мне белого медвежонка. А если нельзя возить, так ты его сними и привези фотографию.

Потом говорит молодая женщина: она приехала из Полтавы. Ее муж находится на Медвежьем острове. Потом инженер Чернов говорит с братом.

— Время ограничено: три минуты...

За три минуты можно передумать всю свою жизнь, можно влюбиться, состариться и приставить дуло к виску. Но можно ли за три минуты рассказать о том, что Лида

поступила на рабфак, что Павлик теперь ударник, что у Ирочки прорезались первые зубки, что Долгов придумал новый способ получения концентрата, что Клячко снимается для кино?..

А для тех, что ждут своей очереди, время тянется слишком медленно. Они собрались сюда с вечера. Перекличка началась в два, сейчас четыре. Они перезнакомились друг с другом. Они знают теперь, кто где работает, какие девушки вышли замуж, какие дети родились. Одного они не знают: кто за этот год умер. Долог, очень долог год — от августа и до августа. Они не знают, как кто плачет. Об этом нельзя говорить у микрофона: пусть те, что слушают, улыбаются.

Над страной, занесенной снегом, над льдинами, над новыми городами, над золотым прахом устюжских монастырей, над чумами лопарей, ненцев, чукчей, над миром, белым и темным, несутся взволнованные слова: Бухта Тихая, это ты? Ты, Маточкин Шар? Москва говорит! Москва! Женя говорит, Шура, мама, Васька: все милые, свои, родные. Русская гавань? С коллективом комсомольцев будет говорить Цека... Где-то далеко отсюда, среди льдов, люди сбились в крохотные поселки. Сколько их там? Здесь сто, там тридцать, там двадцать душ. Они стерегут дорогу будущего: Великий северный путь.

— Мама не смогла притти, у нее ночная работа. Говорю я — Боря. У нас все хорошо. Папа, мы тебя очень ждем!

Пусть гидролог Андреев на Маточкином Шаре не знает, что его жена умерла еще в декабре. Темна полярная ночь, трудно человеку ее вынести. Пусть на минуту его обогреют слова надежды.

На острове Вайгач, в становище Долгая Губа, зимует Геня Синицын. Каждый день он принимает радио. Он слушает, как растет страна, как заседает Съезд советов, как в горах Астурии гибнут последние повстанцы, как в Дюссельдорфе палач отрубает голову коммунисту, как в Краматорске открывают новый завод и музыка играет «Интернационал». Он слушает, как говорит жизнь: это его перекличка с родными. Он ведь знает, что по ту сторону льдов никто о нем не думает, никто его не вспоминает. Он жил быстро и неразборчиво. Он не связал своей судьбы с

судьбой других людей. Скрывать не перед кем, да и не к чему: он любит Веру. Но он сам ей сказал: «Обо мне ты забудь». В становище Долгая Губа он начал свою вторую жизнь. Он видит: жизнь ширится и шумит. Она шумит, как будто остров среди льдов — это широкая площадь Москвы. Геня каждый день шлет радио Москве. Он сообщает о том, что добыча цинка растет, что комсомольцы построили в становище театр и что ненка Домна Моготысая выбрана в совет. Геня долго искал жизнь, он нашел ее: она может пахнуть ворванью, от нее может захватывать дух, как от пятидесятиградусных морозов, но Геня теперь знает, что она прекрасна.

Стоит ли после этого говорить о минутах слабости, когда глаза хотят различить на небе хотя бы слабый след солнца, когда, вспоминая Веру, Геня прячется от редких людей, когда человеческое сердце, которое на жестоком морозе, на тоске, на мыслях, отчетливых и ясных, уже давно закалилось, как сталь, вдруг превращается в обычный комок, способный отчаянно колотиться, ныть и замирать? Такие минуты выпали на долю Гени и сегодня. Кущенко, Андреев, Ставров — все сейчас будут слушать голоса родных: кто жены, кто сына, кто матери. Только Геню никто не вызовет... Что же, и в этом своя правда; говорят, любовь надо заслужить, как скирд хлеба или как орден.

Полчаса пятого.

— Гражданка Вера Горлова из Свердловска...

Вера приехала в Москву вчера вечером. По дороге были заносы, и она в страхе думала: неужто опоздаю? Поезд подолгу стоял среди снежных полей, люди ругали железнодорожников, зевали, заводили длинные разговоры, играли в шашки. Вера боялась, что кто-нибудь с ней заговорит. Она делала вид, что читает книгу. Она теперь не могла ни с кем разговаривать: слишком близка была минута, когда она заговорит с Геней. Всю дорогу она говорила с ним. Она напоминала ему, как хорошо им было в тот дождливый весенний вечер, когда Вера опоздала из лаборатории. Она шептала, что разлука не в счет. Она молила его вернуться в августе, и ослепительный, знойный август метался среди снежных полей.

— Генька! Милый!..

Она повторяла столько нежных слов, что, кажется, вылети они на свободу, они забились бы в этом душном, жарко натопленном вагоне, как стая испуганных птиц. Чем ближе была Москва, тем сильнее Вера волновалась. Она никак не могла себе представить, что она скажет Гене. Предстоящий разговор страшил ее. Слова полетят во все стороны. Их будут слушать сотни тысяч неизвестных людей. Так можно говорить о работе завода, о местонахождении ледокола, может быть о смерти. Но ей надо сказать о любви. А о любви трудно говорить даже с глазу на глаз, когда слышишь рядом частое дыхание.

Она не помнила, как провела этот день в Москве. Остановилась она у Сони Неверовой. Она так волновалась, что едва заставила себя спросить:

— Твои-то здоровы?..

Что ни минута — она глядела на часы и бессмысленно шевелила губами: кажется, она уже вызывала далекий Вайгач.

С виду она мало изменилась за эти полгода, только уверенней стала походка, громче голос. Душой она настолько выросла, что подчас сомнения и тревога прежней Веры заставляют ее самое удивляться. Впервые она живет большой и ответственной жизнью. Ей кажется, что прежде она учила спряжения и склонения. Чужой язык не легко ей дался... Она думала, что никогда не сможет на нем свободно говорить. И вот теперь она пишет на этом языке стихи. В Москве она знала, что можно работать хорошо, даже страстно, но работа для нее оставалась одной стороной жизни. Теперь она не может отделить той лихорадки, которая ее охватывает, когда она входит в цеха, от мыслей о Гене. Музыка, которую она всегда любила и которая теперь доходит до нее в смутном косноязычном пересказе громкоговорителя, томик стихов, наконец воспоминания о своем личном прошлом, о тех годах, когда она росла, мучительно и неровно освобождаясь от условностей, — все это она узнает в повседневной работе, в станках, в листах толя, в грохоте и в шлаке. Она говорит «Верх-Исетский завод» взволнованно и нежно, как она могла бы сказать «Геня Синицын».

Она работает с кружком комсомолок. Она знает личную жизнь каждой работницы. Учебник алгебры, первые шаги какого-нибудь годовалого Мишки, любовная драма с ночными диалогами, со слезами и с разрывом, обновка, полученная от любимого человека, — брошка или блузка, тысячи пустяков, создающих жизнь, неразрывно связаны с миром, который когда-то казался Вере если не скучным, то сухим и рассудочным. Ощущение этой связи настолько ее приподняло, что она стала другим человеком. Она теперь может сказать «да» и «нет». Она больше не спрашивает себя — достойна ли она войти в новую жизнь? Она эту жизнь делает.

Директор завода говорит: «Горлова? Замечательный инженер». Но любовь остается любовью, и, подойдя к микрофону, «замечательный инженер», то есть Вера, вдруг растерялась, как семилетняя Наташа, которая говорила незадолго до нее. Наташа сказала: «Папа, где ты?» — и, испугавшись тишины, начала громко реветь. Ее увели прочь, а человек с нечеловеческим голосом сказал:

— Говорит Москва. Ваша дочка здорова. Она испугалась непривычной обстановки. Сейчас с вами будет говорить ваш сын...

Мальчик не плакал, он говорил об уроках, о тюленях, о волейболе. После них позвали Веру. Она стоит у микрофона, и ей хочется заплакать, как Наташе. Это длится несколько секунд. Вера чувствует: драгоценное время уходит.

— Здравствуй, Геня! Я приехала из Свердловска. Я там работаю с лета. На Верх-Исетском заводе. Оборудование частично старое, но за полгода завод сильно изменился. Мы надеемся его поднять на уровень современных. Работа у меня очень интересная. Вообще ты за меня не волнуйся: бытовые условия прекрасные. Я хочу тебе еще сказать, что с августа я вступила в комсомол. По этой линии я тоже много работаю. Когда приедешь, обо всем поговорим...

Она вдруг запнулась и замолкла. Перед ней был микрофон. Гени перед ней не было. Обитые сукном стены. Тишина. Для кого она говорит? Ее слушают чужие равнодушные люди. А Геня? Может быть, он ее и не слышит.

Осталось всего полминуты. Как же ему сказать самое важное, то, ради чего она приехала в Москву? Наконец она собралась с силами и снова заговорила:

— Слушай, Геня! Это говорит Вера Горлова... Твоя жена. Ты меня понял, Геня? Я тебя жду. Ну вот, кажется, все.

Она подошла к стулу и грузно на него опустилась: от напряжения кровь стучала в виски, а перед глазами шли круги света.

— Остров Белый. С каюром Ипатовым будет говорить его жена.

Вера обвела глазами комнату, и вдруг все эти незнакомые люди показались ей близкими, родными. Ей хотелось расцеловать и жену каюра Ипатова, и маленькую Наташу, которая испугалась непривычной обстановки, и брата Чернова, усталого, сутулого, в пальтишке легком, не по сезону. Но она не двигалась с места; только по ее лицу порой проходила улыбка, легкая и смутная.

Кружится рассеянно мохнатый снег. Снова тихо в мире. Гудение. Это не Москва говорит, это говорит время. Над льдами все та же ночь. Она не вчера началась, и не завтра она кончится. Но на одну короткую ночь эта долгая ночь все же стала короче: перекличка закончилась. Обычное будничное утро, гидролог сидит над записями, каюр запрягает собак, доктор Шпильман выслушивает старого ненца.

— Что с тобой? — спрашивает Кущенко Геню. — Будто напился. Новости, что ли, интересные?

Геня ничего не может ответить. Он только подходит к Кущенко, берет его за руки, и зеленые глаза полны счастья.

25

Прошло больше года с того дня, когда Мезенцев, вернувшись из Устюга, стоял у калитки и когда Варя его окликнула. Деревья стали на год старше: еще одно кольцо прибавилось; а у дерева много колец, их трудно сосчитать. Человек живет куда меньше. Зато он бегает, задыхается, смеется. Сегодня утром Мезенцеву сообщили, что его

направляют в пограничный отряд. Маленькая комната сразу наполнилась радостной суматохой.

Мезенцев любит эту комнату. Из окошка видны сугробы, кирпич селекционной станции, на которой работает Лясс, развалившаяся церквушка. Вороны на снегу пишут свои загадочные эпитафии. Комната пахнет еловыми шишками. Она светла даже в этот короткий декабрьский день. Она светла оттого, что Мезенцев научился спрашивать, а Варя отвечать, оттого, что они теперь понимают друг друга без слов, оттого, что в углу, за шкафом, с раннего утра криком кричит новый, непонятный и любимый человек, которому всего пять месяцев и которого Варя зовет «Петенькой», а Мезенцев «Петром Петровичем».

— Ну как, Петр Петрович? Выспался?

Петр Петрович показывает голые пятки и кричит.

— Варя, погляди на карту — видишь, где Хабаровск? Ты что же загрустила?

Варя тихо говорит:

— Как же так, Петька? А вдруг тебя убьют?

Мезенцев смеется:

— Еще что придумаешь? Так и жить нельзя. На запань — вдруг зашибет? В колхоз — вдруг кулаки кокнут? Мы, Варя, живучие. А я думал, ты обрадуешься... Посмотри лучше, где это... Разве не интересно?..

Варя пристыженно улыбается, но глаза у нее мокрые.

— А ты не слушай. Мало ли я что говорю... Нет-нет, а вдруг баба проглянет. Просто как-то сразу это, я не ожидала, вот и все. Погляди — уже прошло. Конечно, это не на запань, это такое доверие... Подумать только, как я за тобой бегала! А сказать боялась. Ты тогда сам заговорил — помнишь, что Шурка болтает «дроля», ну и пошло. Не будь этого, кажется, никогда не сказала бы. А теперь все видят, какой ты... Ты думаешь, Петя, я сама знаю, отчего плачу?..

Мезенцев не может сидеть на месте. Его руки упираются в потолок. Он не помещается в этой комнате. Он смотрит на карту и обнимает Варю.

Вечером он идет к Голубеву: надо перед отъездом поговорить о заводских делах. Он входит в кабинет Голубева веселый и возбужденный. Он опрокинул стул с газетами и долго подбирает их. Ему хочется крикнуть: «Я завтра еду!»

Но он смущен: Голубев даже не посмотрел на него. И Мезенцев сразу приступает к делу:

— Дилсы-то — двадцать пять процентов с синью. Не окатали во-время, вот и результаты. Приходится на третий сорт переводить. А какие убытки...

Голубев его обрывает:

— Это я сам знаю. Ты лучше про Яковлева расскажи. Там у вас шведский станок поставили — как он, освоил?

— А то как же не освоил? Парень с головой. Вот бригада Фомина совсем распустилась. Обрадовались, что про них все кричат, и второй месяц сами себя чествуют...

Мезенцев теперь говорит спокойно и обстоятельно. Он, кажется, позабыл, что он завтра едет. Он с жаром рассказывает о Фомине, о мостовых брусьях, об использовании отхода. Голубев сидит, опустив голову; не то он записывает, сколько сдано дилсов, не то машинально водит карандашом по бумаге. Раз или два он бегло взглянул на Мезенцева, и Мезенцеву показалось, что Голубев смотрит на него неприветливо. Закончив разговор, Мезенцев встает, но Голубев его удерживает:

— Значит, завтра едешь? Это хорошо. Там, говорят, чудеса делают: весь край перевернули. Понятно, что у японцев глаза разгорелись. Завидую я тебе. Я в Сибири был, но только это до революции: другая музыка. Три года в Туруханске проторчал...

Теперь он глядит в глаза Мезенцева, и Мезенцев смущенно улыбается.

— Смешно, как это вы быстро подросли! Вот сидишь, о станке Болиндера рассуждаешь. А я все еще не могу привыкнуть, что вы взрослые. В октябре, в Москве это было, возле почтамта, идем мы цепью, бахаем, вдруг — ребятишки. Понимаешь, стервецы — игру затеяли под пулеметами. Я как закричал: «По домам, не то ремнем отлуплю!» Дурачье — пулеметов не боялись, а ремня струсили. Так вот, мне все кажется — живем мы, работаем, скрипим, а вы у нас между ног бегаете. Когда с твоей Варей эта ерунда вышла, мне и грустно было на вас глядеть, и смех брал. То ты приходишь, волком смотришь, то она прибегает: «Пошлите на запань!» Удержался, а хотелось мне позвать вас обоих да как крикнуть: «Какого вам еще беса надо?» Ну, а выросли вы как раз во-время. Сдавать мы на-

чинаем. Страшно газету раскрыть: опять кто-нибудь умер. Страшно не умереть — это пустяки, страшно недоделать. Ты какое хочешь дерево возьми, пила все равно перепилит. Прежде в газетах писали: «Смена, смена». А вот и действительно смена. Чуть еще подучишься и на мое место сядешь. Это ничего, что вы в сердечных делах ни черта не понимаете. Это приложится. Я по этому предмету до сорока лет в приготовишках ходил. А работать вы можете. Значит, все-таки дотянули. Ну, разболтался, а здесь еще Шейман ждет...

Предстоящий отъезд, слезы Вари, разговор с Голубевым — все это как-то приподымало Мезенцева. Он вошел в свою комнату, рассеянный и отчужденный. Варя спала: она работала в ночной смене. Мезенцев не стал ее будить. Он не мог сейчас говорить о пустяках или заниматься привычным делом. Ему хотелось побеседовать с кем-нибудь о большом и важном. Он прошел в угол за шкаф.

Петр Петрович глядит на мир светлыми, как будто прозрачными глазами. Мезенцеву кажется, что мальчишка играет со своими ногами, перебирает ими, а на губах показываются пузыри восхищения.

— Играешь, Петр Петрович?

Мезенцев садится на сундучок рядом с кроватью. Он задумался. Вдруг начинает говорить. Это тот собеседник, о котором он мечтал: Петька не может ни переспросить, ни ответить. Он глядит на отца все теми же, чересчур ясными глазами, и минутами Мезенцеву кажется, что Петька его понимает. Тогда Мезенцев краснеет и отворачивается.

— Вот тебе и еще одна смена. Третья. Он сказал: «Как это вы выросли?» А у нас уже дети растут. Это правда, что мы у них в ногах бегали. Они стреляют, а мы смотрим — интересно! Мамонтов когда налетел — отца увели. Так я его больше и не видал. Если меня только убьют, ты и помнить не будешь. Что ты губы выпятил? Совсем как Варя... Я долго жить буду. Я это к тому, что и мы горя понюхали. Тебе сколько? Пять месяцев? А мне девять лет было. Я уже все понимал. В Задонске солому жрали. Очень просто. Тебя во-время не покорми — орешь. Варя по часам смотрит. А тогда, Петр Петрович, молчали. В тридцать первом

я нагляделся. Это мы раскулачивали. Чего только тут не было: они — нас, мы — их. Это хорошо, что ты такого не увидишь. Нам бы только еще десять лет продержаться, тогда никто не подступится. Знаешь, Петр Петрович, куда я еду? На Дальний Восток. Понимаешь — на «дальний!» Стой, рот у тебя мокрый. Надо вытереть. Очень трудно во всем разобраться. По-твоему, я, взрослый, должен все понимать. А сколько раз я себя спрашивал: как тут быть? Если насчет техники, можно книгу взять, с жизнью хуже. Ты еще маленький. Тебе это можно сказать. Варе не говорил. Никому не говорил. Разве я прежде понимал, что это — с девушкой жить? Как зверь: попадется, и готово. Щелков мне когда-то говорил: «Это они для проформы плачут». Хорошо еще, что Варю встретил. У вас, Петька, другая будет жизнь — настоящая. Мы как выросли среди стрельбы, так и остались стреляные. Голубев прошлым летом сказал: «Вы неженки». Он умный. Все понимает. Я думал, он меня позабыл, а он даже не удивился, что мы с Варей вместе. Только он добряк, все в розовом свете видит. Какие же мы неженки? Мы здорово грубые. Если взять Корнева или Гаврюшку — это понятно: живут люди в лесу. Заготовки — это тебе не ножками дрыгать. Кто угодно корой обрастет. Но и в городе не лучше. Если мы неженки, то с самими собой. Как я Варю мучил! «Отчего не сказала?..» Даже не знаю, стал я теперь умней или нет. С Никитиной — это в Воронеже... Довели. Дразнили, что примазалась, психология мелкобуржуазная, губы мажет, шкурница... А какая же она шкурница, если она отравилась и ребятам записку оставила, что не по-товарищески? Вот погляди, какая чепуха!.. А ребята ведь хорошие. Я их знаю. Сколько мы вместе поработали! Вы этого и не заметите. Голубева всегда будут уважать: тюрьма, Сибирь, Октябрь они сделали. А в каких условиях мы строили — это дело десятое. Конечно, обидно. Хочется, чтобы ты и про нас прочитал. В общем это ерунда. Главное — достроить. Слушай, Петр Петрович, я тебе одну вещь скажу. Хорошо, что Варя спит... Чорт этих японцев поймет, какие у них минсейто или вроде. Но я о тебе буду думать: а третья смена? А Петр Петрович? Он жить хочет. Мы для тебя такую жизнь устроим, что сейчас и представить нельзя. Варя говорила, что ты инженером будешь. Я не ответил: рано

загадывать. Но раз мы по душам говорим, я тебе скажу. Сейчас это замечательно — быть инженером: строят, монтируют, пускают в ход. Но ведь когда ты подрастешь — это пятая пятилетка будет. Столько мы планов выполним, столько всего понастроим, что и строить будет нечего. Поставим такие машины: нажал, и готово. Я вчера весь город обегал — ножик для бритвы искал. Тебе хорошо, а у меня борода растет. Но когда будет десять заводов, чтобы ножики делать, кто над этим станет голову ломать? Ты знаешь, кем ты будешь? Это по секрету, смотри не болтай! Скажи я кому-нибудь, засмеют. Ты у меня художником будешь, Петр Петрович. Я видел в Устюге картину, убей, а не смогу рассказать. То есть рассказать просто: река, лодка, гроб, ребята, один, кажется, муж. Только разве в этом дело? Так это нарисовано, что даже о правде забываешь. Похороны — тема как будто грустная, а поглядишь, и еще сильней жить хочется. Я даже потом подумал: не пойди я тогда к Кузмину, все могло бы иначе повернуться. Необыкновенный он человек! Стоит с кистью, и глаза — как будто он ничего не видит. А он видит больше всех. Вот, Петр Петрович, ты таким будешь. Я думаю, тогда все лентяи инженерами заделаются. А чтобы приподняться, нужно будет другое. Картин никогда не может быть слишком много. Это как с девчатами: каждому своя нравится. Вот ты нарисуешь Дальний Восток или просто ерунду — ну, меня или дерево. А к тебе придет человек....

Мезенцев вздрогнул и оглянулся: Лясс! Он держит какой-то большой сверток. Мезенцев не расслышал, как Лясс вошел в комнату.

Лясс стоит и смеется:

— Ты с кем это разговариваешь?

Мезенцев сердито отвечает:

— Ни с кем не разговариваю. Варя спит. А больше здесь никого нет.

— Нет так нет. А я вот почему пришел: утром Ляшков забегал, знаешь — механик, Лелин муж. Он мне и сказал, что ты во Владивосток едешь. Давай чайку попьем, я ведь в тех местах бывал — поговорим. Погоди, не забыть бы...

Лясс разворачивает пакет: одна газета, вторая, третья. Кажется, и нет ничего, кроме старых газет. Наконец он

снял последнюю газету. Мезенцев видит горшок с золотыми яркими цветами. Он удивленно спрашивает:

— Это что?

Лясс смеется:

— Да ты не бойся. Не японская бомба. «Уголек в огне». На нашем языке: адонис верналис. Одним словом, цветок. Хотел поглядеть, выгоню ли в декабре. Конечно, чепуха, но я это между прочим...

От смеха Лясса Варя проснулась. Она сидит на кровати, еще плохо соображая, о чем Лясс говорит. Она то закрывает глаза, то их широко раскрывает: никак не может проснуться. Увидав в руке Лясса горшок с цветами, она спрашивает:

— Цветы-то откуда?

— «Откуда»! Ясно откуда — из-под земли. Держи, это я тебе принес.

Он поворачивается к Мезенцеву:

— Они цветы любят. Вот и Леля — на ячмень фыркает, а увидит цветы и уходить не хочет. Поэты! Ну, а мы будем чай пить — очень уж холодно на дворе. Мы, значит, грубая проза жизни...

1934—1935

ЧТО ЧЕЛОВЕКУ НАДО

1

В ФАШИСТСКОМ ГОРОДЕ

В доме булочника кривой Хесус еще отстреливался. Фалангисты подожгли солому, и едкий дым ворвался в узкое оконце. Потом они выволокли мертвого Хесуса на площадь. Хесус глядел большим кровавым глазом на белое небо, а мулы, привязанные к ржавым кольцам, беспокойно кричали.

Секретарь фаланги Васкес пил пиво. Прибежал Куррито:

— Маноло в Лериде!

Васкес ответил «ерунда» и сплюнул на стол косточку от маслины. Он задыхался от зноя; мокрый воротник жал шею, как веревка.

Звонарь ударил в колокол. Из церкви выплыла расфуфыренная богородица; она улыбалась бледными злыми губами. Васкес нес бархатный шлейф и пел:

— «На-а-а-дежда всех отчаявшихся...»

У него был тонкий голос кастрата.

На балконе показался полковник Лопес, тучный андалузец с выпуклыми рачьими глазами. Он поднес руку к козырьку и растерянно улыбнулся. Утром, когда фалангисты осаждали Народный дом, он лежал с грелкой на животе и шептал:

— Влипли!

Васкес швырнул шлейф богородицы, пропахший нафталином, в лицо молоденькому офицеру, а сам подбежал к балкону:

— Ваше превосходительство, несколько приветственных слов!

Лопес побагровел; его глаза еще явственней отделились от лица. Он выкрикнул:

— Испанцы, вперед!..

Увидев труп Хесуса, жена Васкеса замахала кружевным веером:

— Почему не убрали?

Капитан услужливо прикрыл лицо Хесуса мешком из-под муки.

Васкес с трудом вскарабкался в беседку для музыкантов. Он думал об империи Карла, над которой никогда не заходило солнце, и, составляя пышные фразы, шевелил мясистыми губами. Снова прибежал Куррито:

— Хочешь посмотреть?..

Арестованных загнали во двор ремесленного училища. Фалангисты подталкивали их штыками. Васкес сразу спросил:

— Карраско где?

Переплетчик Карраско считался вождем красных. Куррито развел руками:

— Удрал. Зато сына взяли.

Сыну переплетчика было четырнадцать лет — большие, оттопыренные уши, пальцы, замаранные чернилами. Васкес наставил на него револьвер:

— Где?

Мальчик молчал.

— Я тебя спрашиваю — где твой отец, сын потаскухи?

Приподняв брови, мальчик равнодушно ответил:

— Стреляй!

Раздался выстрел. Куррито теперь торопил Васкеса:

— Неудобно — Лопес ждет...

До ночи кричали фалангисты; трубачи играли «Королевский марш»; священники кропили водой пыльные грузовики; и стиснутый толпой полковник Лопес крохотным платочком вытирал широкое мокрое лицо. Потом все стихло. Рядом с мертвым Хесусом, уткнув лицо в горячую пыль, храпел фалангист. На луну набежали мелкие облака; в изнеможении орали коты, поблескивая зелеными глазами.

Незадолго до рассвета раздался одинокий выстрел. Сонный Лопес не хотел одеваться. Жена торопила его. Громко вздыхая, он стал застегивать мундир не на ту пуговицу. Молодой лейтенант повторял: «За Испанию! За Испанию!» Женщина плакала навзрыд. По пустырям бежал Васкес и вопил:

— Это Маноло!..

Они остановились в двух километрах от города. Фургоны «Перевозка мебели», ослы с пулеметами, барселонские такси, лимузины, скрипучие таратайки. Грузовики обложены тюфяками. Патроны, курдюки с вином, гитары.

На машине Маноло написано: «В Уэску».

— Пулеметы ставь!

— Ставь сам.

Кто-то крикнул:

— Ты с Маноло не шути: он в комитете.

— А я что — не комитет?

Девушки в туфельках на высоких каблуках неловко карабкаются по камням; они едва волочат тяжелые винтовки. Позади облако пыли: идут металлисты, солдаты, ткачихи из Сабаделя, бухгалтеры, торреадоры, почтовики. У кого револьвер, у кого ружье, у кого кухонный нож. Старуха бежит с вилами.

— Бей их! Бей!

Подъехали крестьяне из соседней деревни верхом на мулах. Один горделиво показывает мушкет:

— Кабанов бил, теперь буду бить генералов.

Старый анархист, которого все зовут «Кропоткиным», суетится:

— Куда флаг поставить?

У «Кропоткина» длинные седые локоны и галстук, повязанный бантом.

Маноло спрашивает:

— Сколько нас?

Никто не отвечает.

Мальчишка швырчул ручную гранату и убил барана. «Кропоткин» рассердился.

— Жизнь заслуживает уважения!

— Сволочи, сколько нас?

К Маноло подошел гитарист Антонио:

— Покажи, как из ружья стрелять, а то скандал — ничего не получается.

Крестьяне угрюмо повторяют:

— Говори, где фашисты? Пора стрелять — они из экономии молотилку вывезут.

Они стоят на рыжих камнях перед городом. Ни деревьев, ни травы — пустыня. Кричат люди, кричат мулы. Никто никого не слушает.

Маноло идет вверх.

— Бей их!..

Осторожно мулы ступают над обрывом.

Свист, грохот, рыжая пыль — разорвался снаряд. Все бросились вниз. Маноло кричит:

— Стой!

Остался только «Кропоткин» с флагом.

— Стой!

Убили Антонио; он лежит с раскрытым животом под розовым ранним солнцем — Антонио, веселый гитарист, гордость барселонской Параллели [1].

— Антонио!

Это его окликает Маноло; и вдруг, озверев, Маноло кидается вдогонку за беглецами:

— Антонио... Слышите, сволочи, Антонио убили!..

Они остановились, растерянно переглядываются. Крестьянин с мушкетом лопочет:

— Не видно, откуда стреляют — поэтому...

Еще снаряд. Теперь никто не двинулся с места. Маноло идет вверх; за ним другие. Пулеметы. Вскрикнула женщина. Мул сполз вниз. Солдат подпрыгнул и перевернулся.

— Бей их! Бей!

Пулеметы фашистов на колокольне. Люди падают. Ползут новые. Сзади кричат: «Бей!» Маноло карабкается по отвесной скале. Вдруг он видит фашиста. Он кричит от радости. Они долго ворочаются в пыли. Потом Маноло встает, трет рукой колено и заботливо осматривает винчестер.

— Бей!..

---

[1] Параллель — главная улица в рабочем квартале Барселоны.

Они ворвались в город. Ревут мулы, звенит стекло, старая женщина судорожно смеется от радости и от страха. Мертвый осел скалит желтые зубы.

Полковника Лопеса нашли в исповедальне; старик убил его топором. «Кропоткин» взобрался на колокольню и повесил большой красно-черный флаг.

На паперти лежит богородица; она попрежнему зло улыбается, и крестьяне в ожесточении рвут ее тяжелое бархатное платье. Треуголки гвардейцев, береты, круглые шапчонки семинаристов, ангелы с отбитыми крыльями.

Жена Васкеса сует «Кропоткину» деньги:

— Спасите!

«Кропоткин» выпрямился, откинул рукой седые локоны:

— Работать надо! Шить рубахи! Сажать картофель!

Кредитки летят на мостовую. Ребятишки подбирают.

— Жгите их! Жгите мразь!

На площади костер: горят херувимы, деревянные венчики, розы. «Кропоткин» швыряет в огонь сотенные:

— Уничтожим навеки эксплоатацию!

По ветхим пыльным щекам бегут слезы.

Убитых положили в беседку, где вчера играли музыканты. На груди у Антонио — гитара. В почетном карауле две девушки. Подошел смуглый парень:

— Красавица, где талончики на обед дают?..

Он ушел; девушка говорит:

— Ночью, если боя не будет, пойду целоваться...

Насупившись, другая отвечает:

— Я ни за что!

Девчонка тащит даму в капоте:

— Фашистка, она меня по щекам била!..

Дама в страхе заслоняет лицо руками — на солнце горят багровые полированные ногти:

— Я не фашистка, я нервная.

Аптекарь Хосе кричит матери:

— Плевать мне теперь на твое причастие!

С площади доносится дискант «Кропоткина»:

— Жги!..

Крестьяне развалились в кожаных креслах «Коммерческого клуба». Они задумчиво улыбаются. Статуи, люстры, вазы... Вдруг один вскочил:

— Едем! Они молотилку вывезут...

К Маноло подходит старый звонарь, улыбаясь беззубым ртом, говорит:

— Записывают где? Хочу бить фашистов.

Солнце было уж высоко, и немилосердная жажда мучила Маноло. Он достал курдюк, раскрыл рот. Тоненькая струйка, вино теплое. Он долго бродил по городу. На базаре продавали дыни и салат. Маноло зашел в ремесленное училище; там лежали тела расстрелянных фашистами.

В подвале училища нашли отца Мигеля. Это толстяк с круглой головой, шеи у него нет. На нем разодранная сутана. Он уныло почесывает голую волосатую грудь. Его привели к Маноло. Оба молчат. Маноло смотрит на сына переплетчика. Большие синие мухи облепили детский затылок. Маноло доверчиво говорит:

— Страшно!

— Сказано: «Смерть нас пасет, как овец...»

Отец Мигель по привычке потирает руками. Тоска охватила Маноло. Он спрашивает:

— Значит, хочешь умереть?

Отец Мигель поспешно отвечает:

— Не расчет: вы — меня, они — вас. А кто может поручиться...

Он не договорил — Маноло выстрелил. Маноло смотрит на красные плиты — сколько у толстяка крови!

— Грузовик почему бросили?

— Да ты не волнуйся, машин хватит.

Сердито сплюнув, Маноло лезет под грузовик. Он провозился добрый час.

— Готово!

Он вытирает рукавом лицо; пыль, смешавшись с маслом, стала липкой, как глина.

— Я на «Испано-суисе» шесть лет просидел, каждую косточку знаю. А ты говоришь: «Не волнуйся»...

2

БЕРНАР ЕДЕТ В ИСПАНИЮ

Наверху шел горячий дождь августа. Такси кружились по голубой площади. За мокрыми стеклами мелькали куклы, жемчуга, огромные грозди винограда. Вокзал находился под землей; здесь было душно и сыро. С трудом Бернар протиснулся к вагону. Кто-то крикнул: «Отдыхай!..» Бернар вспомнил: а ведь правда, теперь каникулы... Сквозь туман он увидел пятно плаката: девушка в голубом трико, песок, парус. Сколько народу! А его никто не провожает.

Он выглянул в окно. Все закачалось. Женщина на платформе подняла кулак. Поезд вырвался из-под земли. Дождь.

Дня два или три назад Сонье спросил Бернара:

— Ты что там будешь делать? Плакаты?

Бернар рассмеялся:

— Какие плакаты? В пехоту.

Это началось с митинга. Ораторы говорили, как всегда, — громко и красиво. Потом выступил старый испанец. Он путал слова, мучительно останавливался, пил воду.

— В Хаене они убили товарища, а жена его записалась в отряд...

Зааплодировали. Испанец грустно моргал близорукими глазами.

Тогда-то Бернар сказал Жермен:

— Еду.

В маленькой, насквозь прокуренной комнате он долго объяснял: нельзя сидеть сложа руки, а он служил в пулеметной команде, здоров... Помолчав, он сердито добавил:

— Все равно поеду.

За день до отъезда Бернар вдруг заметил на мольберте недописанный натюр-морт: букет лакфиолей. Кажется, неплохо... Вот только этот угол надо поправить... Он улыбнулся: глупости! На столе стояли завядшие цветы.

Люди, разодранные рубахи, солдаты целятся — это не картина Гойи. Так было в Бадахосе... Поль рассказывал, что в Памплоне карлисты праздновали победу. Впереди шел горбун, а на горбе было написано красной краской: «Бог и король».

Когда Бернар служил, лейтенант говорил ему: «Ты плохой солдат». Бернар тогда думал о живописи; ему хотелось написать стену казармы, флаги, дерево. Жаль, букета не кончил!.. Глупости, этого не было. Жермен тоже не было. Теперь он будет хорошим солдатом. Женщина из Хаена пошла на место мужа... Если французы дадут самолеты... Чорта с два, они едут на каникулы... Но кому подымали кулак? Этот поезд идет до границы. Может быть, рядом — товарищ?

Бернар всматривается в лица попутчиков. Старик с корзиной. Он поднял крышку; в корзине оказался большой всклокоченный голубь. Ласково причмокивая, старик позвал его: «Южен!» Девушка читает роман. Толстяк — наверное, коммивояжер — продает кишки для колбас или фиксатуар. Две дамы с девочкой. Влюбленная парочка; они заслонились газетой и шепчутся. Бернар слышит обрывки фраз:

— Завтра будешь купаться в море...

— Мне идет эта шляпа?..

— Жермен!..

Смешно — ее тоже зовут Жермен...

Бернар прошел к окну. Дождь омолодил позднее лето. Среди темной зелени лежали коровы, белые и черные. Яблони клонили ветки, тяжелые от капель и плодов. Потом стемнело; воздух стал еще свежее. На маленькой станции под фонарем цвели большие чайные розы. Старуха второпях обнимала сына. Бернар, не отрываясь, думал о Жермен.

Это был последний день его парижской жизни. Утром, когда Жермен протянула ему чашку с кофе, ее пальцы дрожали.

— Не нужно, Жермен!.. Я скоро вернусь.

— Я должна тебе сказать...

— Что?

— Не могу...

Потом она сказала: Готье. Это началось весной; они тогда втроем поехали на Луару. Она пробовала бороться с собой. Два месяца они не встречались. Но что же ей делать?.. Она не виновата.

Бернар, задумавшись, переспросил:

— Что?..

Она быстро ответила:

— Ты можешь меня ударить.

— Жермен, зачем ты так говоришь?.. Нет, ты ни в чем не виновата.

Тогда она стала упрекать его: виноват он. Разве он когда-нибудь подумал, как она живет? Он сидел у себя, работал. Он скучал, когда она ему рассказывала о людях, вещах, о своих заботах. Готье проще, зато он с ней. Это — жизнь взаправду. (Жермен несколько раз повторила: «Взаправду».)

Бернар сбоку поглядел на Жермен: зеленые туманные глаза, пухлые губы, на груди смуглый треугольник загара. Он скомкал папиросу.

— Ты что... спала с ним?

— Да.

Он медленно вышел из комнаты. Несколько часов он кружился по узким кривым улицам. Пошел дождь. Он стал под навес возле зеленной лавки и закрыл глаза. Продавщица спросила: «Вам дурно?» Он ответил: «Что вы!» — и улыбнулся.

Он застал Жермен в той же позе: как будто она не двинулась с места. Он старался быть веселым. Прикрыв ладонью глаза, она следила за каждым его движением.

— Я тебе напишу из Барселоны. Ты переедешь к нему?

Вместо ответа она расплакалась. Он стоял возле стола; потрогал вещи: старый мундштук, приглашение на выставку, ракушки. Той, прежней жизни больше не было.

Они простились дома: Бернар побоялся вокзальной тоски, свистков, лжи последних минут.

Поезд несется мимо городов. Жизнь — это несколько огней; нет даже времени подумать — что там? Толстяк храпит. Бернар один в коридоре; он завяз в прошлом.

Это было весной. Он поехал с Жермен в деревню. Там были старые вязы. Он хотел писать, но разленился, лег под дерево, голова на коленях Жермен. Сквозь зеленое кружево — небо. Должно быть, это и было счастьем...

Начало светать. Показались озера, пепельно-розовые. В коридор вышел человек — дорожная куртка, сухое лицо со шрамом, проседь, похож на иностранца. Наверное, турист...

— Не помнишь? В комитете...

Бернар радостно схватил его руку:

— Конечно, помню! Ты ведь англичанин?

— Нет. Немец. Вальтер.

Они стали говорить о войне. Немцы прислали Франко сорок «юнкерсов». О чем думает Блюм? У наших мало специалистов. Вальтер служил в артиллерии...

Бернар улыбается — это, как Жермен говорила, взаправду!..

— А я думал, кого провожали? Там твоя жена была?

— Нет. Товарищ из комитета, она принесла письмо. Жена в Германии. В Дармштате. В тюрьме.

Туннель — и снова солнце.

— Не знаю... Может быть, они ее убили...

Вальтеру сорок один год. Он смутно помнит мир до 1914 года: речка с пескарями; зеленый клеенчатый картуз школьника; мать варила варенье из смородины. Потом Вальтера призвали. Он был возле Диксмюде с братом Карлом. Карл кричал в темном госпитале: у него отняли ногу.

Вальтер — коммунист. Он — загнанный зверь, кругом — охотники; стреляют из-за угла, стреляют из окон. Он говорит... Удивительно, сколько может человек говорить, охрипший, с красными глазами, в дыму пивнушек! Гамбург, грузчики, узкие улицы, девки, медный тазик над лавкой цырюльника. Пуля попала в ногу; Вальтера унесли товарищи. Стреляли те...

И те победили. Вальтер прятался на пивном заводе среди бочек. Его выдал бывший товарищ; сосал трубку, нежно поглядывал и — выдал. В концлагере была липкая глина. Аптекарь Мюллер бил Вальтера ремнем. Вальтер очнулся, потрогал рукой лицо — липкое...

Он убежал. В лесу куковала кукушка; было много черники; хотелось лечь и ни о чем не думать. Париж... Он говорит, а кругом равнодушные люди. Он поселился в маленькой гостинице. Была ярмарка; с утра до ночи под его окном вертелась карусель. Он ждал письма от Луизы. Почтальон приносил много писем, — не ему, другим.

Это было в воскресенье. Нехотя он развернул газету: скачки, лотерея, матч футбола. Вдруг он увидел: «В Испании»... Он пришел первый. Секретарь растерянно бормотал: «Мы еще не договорились...» Вальтер настаивал: он старый артиллерист. Рана? Вздор, он почти не хромает.

Озеро... Как-то он поехал с Луизой за город — выпал свободный день. Луиза гребла. Француз — славный малый. Нет, на этот раз мы их расколотим! Эмма обещала, если будут известия о Луизе, она напишет. В Барселоне много анархистов... Что же, это — рабочие, они поймут... Он никогда не думал, что море может быть таким синим — как нарисованное. В переднем вагоне едет русский, бывший белый. Смешная штука жизнь! У себя сражался против нас, а теперь... Значит, снова война! У Карла тогда отняли ногу... Карл пошел с ними, он — враг. Врагов много, никому нельзя верить, даже камням. Хорошо здесь — камни, рыбацкие сети, виноградники, тишина. Что человеку надо? Вздор! Много надо, очень много. Еще туннель. Вот и война!..

Разгоряченная Барселона теряла голову от гнева, от разлуки, от счастья. Женщины несли флаги, как простыни: сыпались монеты, крестики, обручальные кольца. Взобравшись на крыши автобусов, анархисты вопили: «Долой милитаризм! Все на фронт!» Возле обугленных церквей старухи продавали красно-черные платки, морских полипов, приторный лимонад. Калеки, собирая милостыню, гнусавили «Смелее в бой!» На неразобранных баррикадах дети играли в войну. Автомобили врезались в толпу; из них торчали иглы штыков. На перекрестках, где погибли бойцы июля, лежали груды магнолий. По Рамбле проезжали самодельные броневики, и женщины им аплодировали, как в театре. Шли дружинники в трусах, с ручными гранатами.

Девушки руками подталкивали древние пушки. Люди стреляли в окна, в призраков, в небо. С балконов лились длинные флаги: кровь, расплавленное золото, чернь. Проносили открытые гроба; мертвецы щерились или улыбались. Тысячи труб, флейт, сопелок пели о будущем мира.

Колонна «Свобода» уходила на фронт. Дружинники шли нестройно: один отставал, чтобы выпить стакан пива, другой обнимал невесту, третий, забежав вперед, пел один на пустой площади. Жены старались итти в ногу с мужьями; глотая слезы, они громко смеялись; ребятишки размахивали игрушечными пистолетами.

Бернар пел не умолкая. Он не глядел на женщин, он ни о чем не помнил, он шел и пел. Вальтер шагал впереди колонны. В толпе, пестрой и крикливой, он сразу выделялся: он был солдатом. Бойкая смуглая баба с крохотными усиками продавала конфеты. Когда Вальтер поравнялся с ней, она вздохнула — бедняжка, никто его не провожает!.. Она всунула в руку Вальтера конфету. Он растерянно наморщил лоб. Шоколад таял в руке. Вальтер быстро проглотил конфету, облизал пальцы и рассмеялся.

3

МАНОЛО

Комитет постановил, ввиду начала новой эры, объявить проституцию упраздненной и закрыть публичный дом, находящийся на улице Фирмина Галана.

Дом закрывали торжественно: кроме членов комитета, пришли Маноло, «Кропоткин» и десяток дружинников-анархистов. Женщины собрались в зале, где стояли чахлые пальмы. Кто-то вздумал сыграть на разбитом пианино «Сыновья народа», но Маноло прикрикнул:

— Без хамства!

Женщин было одиннадцать. Хозяйка заведения убежала вместе с племянником, который совмещал обязанности буфетчика и вышибалы. На стенах висели картины; одни изображали святую Терезу, другие — охотников с гончими. Женщины, не понимая, чего от них хотят, пробовали кокетливо улыбаться. Толстая брюнетка, которую звали Пепитой, испуганно прижимала к животу золотой

медальон. Секретарь прочитал постановление. Потом встал Маноло и огромным кулачищем ударил по столу:

— Б..., с сегодняшнего дня вы возвращаетесь в лоно человечества. Понятно? Так что собирайте ваши пожитки и шагом марш! А здесь мы устроим художественную школу.

Женщины попрежнему сидели вдоль стены с застывшими улыбками. Пепита всхлипнула и положила медальон на стол:

— Чорт с вами, берите!

Маноло стало скучно, он громко зевнул, выстрелил в окно и ушел.

Откашлявшись, «Кропоткин» начал бабьим голосом увещевать:

— Надо сажать картофель, шить рубахи, воспитывать новых людей!

Вдруг одна из проституток, женщина лет сорока, с ярко вишневым лицом, кинулась на «Кропоткина»:

— Я здесь четырнадцать лет проработала, а ты, бесстыдник, меня на улицу гонишь?

Она расцарапала лицо «Кропоткину». Ее едва оттащили.

Комитет обсуждал вопрос о контрреволюционном выступлении бывшей проститутки Консепсион Кабаньес. Секретарь угрюмо буркнул:

— Расстрелять.

Маноло засмеялся:

— А идеи где? Мы должны убеждать...

Он пошел в публичный дом. Завидев его, женщины разбежались. Осталась только преступница; она сидела на кровати в разодранной кофте и тяжело дышала. Маноло закурил, вытащил револьвер, постучал по столу и благодушно сказал:

— Ты, бабушка, лучше добром уходи. Теперь, если кому с кем спать, это от чувств, а деньги мы будем жечь. Понимаешь?

Женщина ответила:

— Ну и уйду. Скучно мне на вас глядеть...

Маноло вернулся в комитет. Среди ящиков с гранатами стояли проститутки. Секретарь ворчал: «А что мне с ними делать?» Сверху доносился вопль «Кропоткина»:

— Пускай рубашки шьют!

В Маноло вцепилась жена арестованного дантиста:

— Четвертый день его держат, а он ни при чем, это его дядя давал деньги на фалангу...

— Подай заявление. «Четвертый день...» Я полтора года при короле сидел, да при республике восемь месяцев, и ничего — жую.

Сзади раздался радостный визг: секретарь ущипнул толстуху Пепиту. Маноло нахмурился и увел секретаря наверх.

— Если еще раз замечу, пристрелю. И другим скажи — запрещается до полной победы. У меня у самого в Барселоне...

Снизу свистнули.

— Маноло здесь? На Уэску людей давай — они артиллерию подвезли.

Маноло поправил револьвер, болтавшийся на животе, и бросился вниз.

Маноло смотрит в бинокль: розовый дом, мешки с землей, — там пулеметы фашистов.

— Наши где?

Часовой лениво показывает на речку: дружинники забрались в воду. На берегу винтовки, гранаты, штаны — все вперемешку.

— Вылезай!

Никто не вылез — полдень, жарко... Речка мелкая, люди лежат, не шевелясь, на брюхе. Маноло выгнал одного. Это тощий человек. С головы тонкой струйкой стекает вода.

— Вылезай, они ударить могут...

— Зачем? Они тоже купаются — у них там пруд.

— Вылезай! Не то стрелять буду.

Бойцы нехотя вылезают из воды. Чубастый Луис орет:

— Анархист! Офицеры и то лучше!..

Теперь все кричат:

— Довольно нами командовать!

— Он в автомобиле катается...

— Мы тебе не солдаты, мы сами записались!..

Маноло равнодушно насвистывает. Луис обозлился, он полез на Маноло с кулаками. Его тащат назад.

— Маноло не знаешь? Убьет.

Матео выбежал вперед.

— Поглядел бы я на вас без Маноло! В Каспе кто впереди шел? Я вас спрашиваю, подлецы, кто Каспе взял? У него жена молодая, а он первый под пули лезет...

Другие поддакивают:

— Маноло молодец!

— Он храбрый...

Луис надел подштанники, расчувствовался и обнимает Маноло; а Маноло попрежнему свистит. Потом он идет к дому.

— Пулемет на чердак тащи!

Он говорит крестьянке:

— Уходи. Тебе в Барбастро комнату дадут. А здесь нельзя, здесь они стрелять будут.

Женщина зевает:

— Уже стреляли. Все утро стреляли. А куда я пойду? У меня коза объягнилась.

Грохот. Чашки на буфете всхлипывают. Женщина принесла миску. Ее голос теперь нежен и загадочен: она зовет кур.

Маноло долго глядел в бинокль; он узнавал улицы Уэски. Что с Мартином? Может быть, его сейчас ведут на расстрел? Гвардейцы лениво скручивают сигаретки. Один говорит: «С Маноло знался? Получай!» Чорт, а ведь город рядом! Видны сады, балконы; на веревках сушатся простыни... Одно непонятно — где у них артиллерия?..

Фашисты с утра обстреливали часовню и два дома. Капитан Морено сказал: «Лучше отступить — невыгодное положение. О том, чтобы взять город, нечего и думать. У них две батареи». Маноло ответил: «Не за тем приехали, чтобы назад переть...»

Он сидит мрачный. Как просто было в Барселоне! Фашисты стреляли из пулеметов. Что же, Маноло разогнал машину — под пули. Майора задушил. Вот этот бинокль у него взял. А здесь ничего не понятно. Где у них батареи?

Морено говорит: «Две». Но можно ли верить Морено? Офицер. Они все хороши! Такого лучше прихлопнуть...

К Маноло подошел высокий худой человек; плохо говорит по-испански.

— Француз?

— Нет. Немец. Я насчет артиллерии — надо открыть огонь по дороге на Айэрбе.

— А где она?..

— Отсюда не видно. Вон за тем холмом...

Маноло вышел из себя:

— Что ты мне голову морочишь? Не видно, а стрелять... Ты откуда взялся? Марксист?

Вальтер смеется:

— Конечно. Только это к делу не относится. Я в артиллерии служил. Можно рассчитать...

Вальтер объяснял. Маноло внимательно слушал.

— Ладно, — командуй! Только смотри у меня — без идей. Наплевать мне на вашу дисциплину!..

Вальтер ушел. Маноло нагнал его:

— Стой! А отступать не надо?

— Зачем отступать? Мы завтра попробуем их выбить из розового дома.

Маноло подошел к капитану Морено:

— Поручения есть? Жене или еще кому-нибудь? Не понимаешь? Очень просто, я тебя сейчас пристрелю. Говорил ты «отступать» или не говорил? А мы их завтра из розового дома вышибем. Ну, становись!

Капитану Морено за пятьдесят. Он неудачник: в молодости не угодил генералу; потом, при африканской кампании, его рота сдалась в плен; он так и остался в капитанах.

Морено покорно стал возле двери и ладонью вытер седые жесткие усы. Маноло поглядел на него и вдруг опустил револьвер:

— Слушай, Морено... Чорт тебе в душу влезет! Но если ты завтра их не расколотишь, пристрелю, вот тебе мое слово — пристрелю...

Он дружески похлопал Морено по спине.

Артиллерия работала до ночи. Потом все притихло; только блеял козленок. Маноло проверил посты. Он заглянул в сарай. Вальтер спал на соломе. Маноло осторожно

прикрыл дверь, чтобы не разбудить Вальтера, посмотрел на спокойное лицо со шрамом и рассердился:

— Слушай, немец, почему это тебя зовут «майором»? Мы званий не признаем. Ты что думаешь — показал, как стрелять, значит и командовать будешь? Мы этот поганый домишко и без тебя возьмем. Уэску возьмем, Бургос возьмем, на Партугалию двинемся...

Вальтер оборвал его:

— Спать надо. С шести откроем огонь.

Но Маноло не мог спать. Он бродил по неостывшим камням. Ночь была душной. Желтая луна висела над недоступным городом. Маноло в тоске подумал: не возьмем, ни за что не возьмем! Надо бы сразу, а теперь у них батареи. У них таких Вальтеров тысячи. Как рассветет — пойдем... Хоть бы скорее ночь кончилась!

Среди камней сидел Луис с девушкой из отряда. Они целовались. Маноло в ярости ударил ногой по ящику. Луис обернулся и сейчас же снова обнял девушку. Маноло сел возле фонаря и стал писать; он изорвал всю тетрадку — письмо не выходило. Он хотел рассказать Кончите о войне, об Уэске, которая рядом, о сухом костлявом немце. Вместо этого он написал:

«Дорогая моя Кончита!

Ты знаешь, что мы, анархисты, за полную свободу, так что теперь каждый волен делать все, что ему вздумается. Но я тебя очень прошу: не сходись ни с кем! Я как подумаю, что ты с другим, у меня все в голове вертится. А мы их скоро расколотим.

Твой Маноло».

Утром — еще не было пяти — Вальтер пошел к речке мыться. Он сказал Маноло:

— Считай тридцать минут на артиллерийскую подготовку. Потом пойдешь.

Маноло его не слушал: он думал об одном — хоть бы скорей! Облачко закрыло розовый дом.

— Вперед!

Все бросились вслед за Маноло. Затрещали пулеметы. Маноло оглянулся — никого. Пришлось повернуть назад.

Вальтер ругался:

— Тебе сказали тридцать минут, а ты через три минуты выскочил.

Матео говорит:

— Маноло — молодец, один пошел...

Маноло встал, расстегнул рубаху — жарко.

— Не молодец, а дурак. Погорячился. Что знаю то знаю. Прошлой осенью, когда решили убрать Лагирре, туман был, а я не промахнулся. Я прежде пулемета в глаза не видал, теперь, пожалуйста, подходите. Ну, а здесь дело стратегическое. Вот и осрамился... Только вы не подумайте, что Маноло расчета просит. Я дурак, но и вы не умнее. Почему вы назад повернули? Экая важность — пулеметы!.. Потом, раз я командую, вы обязаны итти за мной, иначе у нас ни черта не получится. Принято?

Все закричали:

— Принято!

— Еще одно дело. Товарищи женского пола, я вас прошу войти в положение. Теперь в Барселоне снаряды делают, это штука для вас. А здесь людей хватит. Я никого не хочу обидеть, но она и стрелять не умеет и человека расстраивает. Так что товарищей женщин отправим по домам. Ну как, Луис, принято?

Луис взглянул на Маноло, помолчал и ответил:

— Чорт с тобой, принято.

Вальтер пришел по делу, а Маноло ни с того ни с сего начал рассказывать:

— Я в Линаресе девушку встретил, два года из-за нее страдал. Каждый день брился. А она возьми да выйди замуж за того самого парикмахера. Я чуть с ума не сошел. Решил...

Он смеется.

— Решил переменить парикмахерскую. Ты не обижайся — у нас в Андалузии всегда так — пойми, что шутка, а что всерьез.

— А что фашисты вчера мельницу заняли — это шутка или всерьез? Очень просто — твои ребята на ночь в деревню уходят...

У Вальтера глаза серые, но сейчас они зеленые от злобы. Маноло швырнул на пол шапку:

— Врешь, никто не уходит! Я сам пойду караулить... Да как они смеют уходить? Всех перестреляю! Война это или не война?..

4

В ТОЛЕДО

Штаб колонны помещался в бывшем монастыре. На стене висел образ пылающего сердца Иисуса, а под ним план города, исчерченный красным карандашом. Землемер Флоренсио сидел на низком церковном стульчике, вытянув непомерно длинные ноги. Кругом валялись кадильницы и патроны.

— Зачем молоко? Я сказал — молоко только для детей. Убери.

Он жевал сухой хлеб и ожесточенно водил карандашом по карте.

Кто бы мог подумать, что мечтатель из пыльного захолустного Сиуда Реаля станет командиром? Он писал памфлеты на губернатора, безнадежно влюблялся в жен мукомолов и виноторговцев, говорил акцизным чиновникам, засыпавшим от духоты и скуки, о великих принципах федерализма, а потом сел на коня и с отрядом крестьян помчался по степям Ла Манчи.

В штаб пришел Люсиро — наборщик, командир батальона «Пасионария». Люсиро сказал:

— Надо заложить мину, другого выхода нет. Зря снаряды расходуем, — они сидят внизу и смеются.

Флоренсио встал. Это высокий человек, с длинным изможденным лицом, с острой бородкой и мутными блуждающими глазами. Он посмотрел на низенького Люсиро сверху, как на ребенка.

— Слушай, Люсиро, там женщины... Наши женщины, их женщины. На нас теперь смотрит весь мир. Ты знаешь, как об этом будут писать через сто лет? «Мирный народ — пастухи, гончары, виноделы сражались против могущественной армии...» Нет, мы не замараем высоких страниц кровью невинных!

Он говорил глухо, торжественно, сам прислушиваясь к своему голосу, и Люсиро на минуту поддался его словам. Потом Люсиро опомнился:

— Это все разговоры. А пока что они продвигаются. Надо, наконец, на что-нибудь решиться.

Но Флоренсио не слушал. Он вытер рукавом высокий лоб, снова сел на стульчик и, отвернувшись от Люсиро, начал бормотать:

— Я в Вальдепеньясе убил Мартина... Мы с ним жили, как брат с братом. Он пошел с фашистами, и я его застрелил... Но здесь женщины... Женщины!.. Это они хитро придумали... Очень хитро...

Люсиро, отчаявшись, крикнул:

— Заложить мину — раз, авиацию — два.

Флоренсио не ответил. Люсиро постоял еще и вышел. В коридоре его ждал Бернар.

— Ну как?

Люсиро махнул рукой:

— Женщины! А у меня что, нет жены? Я тебе говорю — перережут нас всех, как собак. Идем пить кофе.

Алькасар казался мертвым: камни, мусор, столбы пыли, пронизанные солнцем. В одном из погребов полковник, друг генерала Франко, проверял пулеметы. К нему подошел фельдфебель, бледный, обросший курчавой бородой, с глазами яркими от голода и страха:

— Люди просят...

Он поперхнулся коротким горячим словом «хлеба». В темноте кричала роженица. Сверху доносились беззаботные звуки «Марша Риего». Прогрохотал снаряд, как поезд по мосту. Не глядя на фельдфебеля, полковник ответил:

— Людей здесь нет, здесь солдаты. Можешь итти.

За мешками с песком, в плюшевых креслах дремлют дружинники. В полусне они судорожно сжимают раскаленные стволы винтовок. Иногда один вскакивает и стреляет в камни. По пустой площади, роняя язык, кружится плешивая собака. Нестерпимо жарко.

Люсиро спрашивает:

— Кто ответственный?

Ему показывают — Педрито. Это смуглый, красивый подросток, похожий на цыганенка. Он спит в качалке под большим зеленым зонтиком.

— Зачем зря стреляете?

— Если не стрелять, они там зажиреют.

— Плюют они на ваши пули.

— Вот я тебе сейчас покажу, как они плюют...

Педрито выбежал на площадь. Он старательно целится. Выстрелить он не успел — винтовка выпала из рук, ноги расползлись: пуля попала в щеку.

На минуту все ожило: крики, выстрелы, звон стекла. И снова тихо. Бойцы отворачиваются друг от друга; в глазах злоба и стыд. Принесли Педрито; вместо глаза — кровавая впадина. Глухой голос диктора: «На эстремадурском фронте мы захватили две походных кухни...» Залихватские звуки марша. Духота.

— Все равно им крышка — у них хлеба нет!..

— Из Барселоны выслали две колонны...

— Скоро все кончится...

— Я в штабе был... Только это военная тайна, никому не говорите!.. Их снизу взорвут.

Сгибаясь под пулями, крадется боец; глаза его блестят, рот приоткрыт. Он шепчет:

— Взорвут? У меня там сынишка... Шесть лет ему...

Флоренсио в темной келье вспоминал свою молодость: зной степи, сухую растрескавшуюся землю, жужжание мух, мечты о Перу, о славе, о женщинах. Прожекторы впивались в развалины Алькасара; война казалась театром.

Люсиро развернул большую карту. Флоренсио замотал головой:

— Погоди! Все изменилось — они просят прислать им священника.

Люсиро развел руками:

— Доигрались! А мороженого они, часом, не просят?

— Брось шутки! Я только командир одной колонны. Но я говорил с командующим сектором. Я говорил с Мад-

ридом. Если мы откажем, общественное мнение Европы возмутится. Ты думаешь, Толедо сейчас маленький провинциальный город? На нас смотрит вся Европа...

— Пошли ты Европу к чорту! А Мадриду надо сказать, чтобы вместо попа прислали авиацию — сотню бомб...

— Ты знаешь, Люсиро, кто ты? Фантазер, поэт, дон Кихот! Ты живешь в абстрактном мире. Они хотят причаститься, они накануне гибели, а ты говоришь «бомбы». Потом — если бомбы не разрушат подземелий, они бесцельны. А если разрушат... Но мы обязаны спасти женщин. Даже если нам суждено погибнуть...

Ройо вышел на площадь; он с удовлетворением осматривает груду камней:

— Здорово мы их раздолбали!

Рядом фашистский лейтенант:

— Красная сволочь! Сын потаскухи!

Стрелять нельзя: перемирие. Ройо отвечает:

— Сам ты сын потаскухи и к тому же дурак!

Подошли другие дружинники. Лейтенант кричит:

— Бандиты! Мы за бога и за народ!

— Бога можешь себе оставить, а за народ мы.

— Врешь, мы! Подлецы — курят, а мы вторую неделю без табака...

Ройо молча вынимает пачку папирос. Лейтенант закуривает.

— Попа выписали? Значит, решили умирать?

— Скоро придут наши, тогда мы вам покажем.

— Жди второго пришествия!

— Ваши бегут, как зайцы.

— Враки! А ты почему бороду запустил? В рай хочется?

— Чем прикажешь бриться? Саблей?

Один дружинник вынимает из кармана пакет с ножиками для бритвы:

— Держи, собака! Побрейся перед смертью.

Лейтенант берет ножик и заботливо кладет его в карман.

— Скоро мы вам перережем шею.

На площадь вышел священник. Одет он в штатское. Ройо хохочет:

— Отпустил им грехи?

Священник пугливо озирается и подымает дряблый кулак.

Лейтенант дает Ройо конверт:

— Жене полковника, она у вас в городе.

Выстрел — перемирие кончено.

Флоренсио читает: «Дорогая супруга! Я здоров и уповаю на господа...»

Кто-то спрашивает:

— Арестовать жену?

Флоренсио долго шагает по тесной келье.

— Отнеси письмо. Если они звери, мы обязаны быть благородными. Мы предадим суду полковника: он нарушил присягу. Я его сам расстреляю. Но жена... Женщина... Или ты забыл, что мы испанцы?

Ночью Флоренсио позвонили: ранен Люсиро. Флоренсио пошел в госпиталь. Он глядел в горячечное лицо Люсиро и молча шевелил губами. Утром он сказал генералу:

— Пусть пришлют авиацию...

Из Алькасара выбежала женщина, жена бородатого фельдфебеля, который просил у полковника хлеба. Она держала за руку ребенка. Фашисты открыли огонь. Женщина упала посередине площади. Бернар пополз и дотащил ребенка до парапета. Мальчику было лет шесть-семь. Он бился и кричал. Бернар понес его в дом. Старуха засуетилась:

— Молока нет...

Мальчик схватил большой круглый хлеб, стал быстро есть и вдруг уснул с куском в руке. Старуха заплакала.

Утром в городе говорили:

— Закладывают мину...

— А заложники?

— Поздно спохватились — фашисты в Македе...

— Брось, все равно им крышка!

Как всегда, завитые девушки кокетливо прогуливались парочками. Из окон торчали пулеметы. В длинных очередях старухи шушукались о чудодейственных слезах бого-

родицы. Ройо разрисовывал знамя центурии Бакунина: солнце, тигр и букварь.

Бернара остановил старик:

— Француз? Я гидом был, водил французов... Вот сюда водил.

Бернар зашел в темную прохладную церковь. Пахло мышами и ладаном. Сначала Бернар ничего не видал, кроме туманных колонн. Потом глаза привыкли к темноте. Бернар вздрогнул — какая живопись! Бутылочная зелень, кармин одежд, жженая сьенна земли казались нестерпимо яркими. Он узнавал знакомый ему мир: рыцарей с чересчур длинными лицами, святых, похожих на эфебов, шутов, юродивых. Они корчились, кружились, рвались из золота рам. Бернар долго глядел на одного — борода, мутный, тоскливый взгляд. Флоренсио... Святые подставляют грудь под копье; воины держат мечи, как розы; небо зеленое, а смерть вся в серебре... К чорту!

Бернар повторил вслух:

— К чорту!

Старик заботливо прикрыл чугунную дверь.

— А туристам нравилось... Конечно, теперь другое дело — война. Я так думаю: или мы их, или они нас.

Бернар раздраженно ответил:

— Все так думают. Поэтому сидят в качалках и ждут.

Старик усмехнулся:

— Ты испанцев не знаешь...

Под вечер получили приказ — отвести бойцов назад: в семь часов начнет работать авиация; расстояние между Алькасаром и позициями невелико; возможны ошибки.

Бернар спрашивает:

— Почему не уходите?

— Уходи, если тебе страшно. А мы посидим. Разве можно уйти? Они убегут.

— Никуда они не убегут — все пулеметы на месте.

Дружинники не послушались. Они сидели в креслах, под зонтиками, полные тоски и ненависти. Одна бомба убила троих. Никто не двинулся с места. Они ждали чуда: вот-вот, перепуганные самолетами, выбегут из-под земли капитаны, лейтенанты, фельдфебели. Они сидели, как охотничьи псы возле норы зверя, тяжело дыша, боясь шелохнуться.

Ночью Бернар говорит:

— Так ничего не выйдет... Надо атаковать.

— Это зачем? Все равно им крышка. Хочешь итти, иди. А нам не к спеху, мы подождем.

Все смеются.

По деревне метались марокканцы; они тащили петухов, медные ступки, скатерти. Разожгли костер: солдаты жарили козленка. Запахло можжевельником и жильем. Возле колодца, над опрокинутым ведром, голосила старуха: увели ее внучку. Араб с длинными редкими волосами на макушке кружился вокруг костра и вскрикивал: «Кгх... Кгх...»

В доме священника тучный майор ел яичницу. Привели девушку:

— Ружье у нее нашли.

Майор вытер салфеткой рот и лениво спросил:

— Говорить будешь?

Девушка глядела горячими злыми глазами.

— Веди.

Под окном раздался выстрел. Майор поморщился. Он ел виноград, аккуратно выплевывая в руку кожицу. Потом он достал из саквояжа одеколон, помочил виски. День был длинным и утомительным. Попрежнему горланили марокканцы. Майор вытянул замлевшие ноги и стал думать о мирной жизни. Он вспомнил дворик в Кордове, журчание воды, прохладу, глицинии. Он задремал. Разбудил его денщик: приехал немецкий советник.

Немец брезгливо отодвинул тарелку с остатками еды и разложил на столе карту.

— Почему не на Торрихос?..

Майор вздрогнул:

— Может, закусите? Ветчина здесь первосортная.

— Я вас спрашиваю: почему вы не повернули на Торрихос? Одна глупость за другой! И потом, что означает этот привал?

Майор поглядел на карту, на жесткие, ежиком стриженные волосы немца и встал:

— Сейчас двинемся...

Из Толедо удалось уйти немногим: гарнизон Алькасара ударил в тыл. Легионеры выволокли раненых из лазарета. Люсиро закололи на пустой белой площади. По дорогам бежали женщины, ночью горели крестьянские дома, африканская конница рубила отстававших.

На камне возле дома сидит Флоренсио. Его рубаха разодрана. Он часто дышит; видно, как двигаются ребра. Кругом лежат измученные ходьбой женщины. Бойцы пьют теплую воду и ругаются.

Флоренсио ничего не слышит. Он, кажется, еще не понял, что случилось. Он рассеянно смотрит на тела людей, на огни, на звезды. Вдруг среди спящих он увидел жену Люсиро. Он окликнул ее, она не отозвалась. Он подошел и рукой осторожно дотронулся до ее плеча:

— Муж где?

Она поглядела на него, но не ответила. Флоренсио ушел прочь. Возле грузовика он встретил Ройо. Флоренсио сказал:

— Пулеметы поставишь здесь. Собери людей. Из Мадрида выслали колонну. Надо продержаться до утра.

— А ты что? В Мадрид?

Флоренсио махнул рукой. Он тихо пробирался среди спящих. Выйдя из деревни, он повернул на юг. Он долго шел в темноте; потом он увидел направо от дороги легионеров. Он лег и начал стрелять. Его окружили. Патронов больше не было. Он метнулся в сторону и крикнул. Солдат прикончил его прикладом.

Рассвело. Вдалеке розовеют башни потерянного города. Флоренсио лежит на колючей сухой траве. Мертвый, он кажется крохотным, как ребенок. Вокруг его лица суетятся кузнечики.

5

КОМАНДИР МАРКЕС

У Маркеса молодая жена, ребенок. До войны он был архитектором. Он говорил: «Архитектура — та же музыка, только в пространстве, и всякая удача строителя, будь то Парфенон или купол святой Софии, заставляет нас забыть о самом понятии времени». У него приподнятые

брови, точно он всему удивляется, зеленые глаза, веснушки. С весны он стал ходить на собрания коммунистов, а когда началась война, записался в 5-й полк.

Товарищей он поражает спокойствием — как будто не в бой идет, а сидит у себя в мастерской с циркулем. Возле Гвадаррамы (это было еще в начале августа) он напал на фашистов; забрал пулемет. Его стали поздравлять — расспрашивают, удивляются. Он попросил воды, выпил целый кувшин, потом начал распределять: кому итти в разведку, кому в деревню за провиантом. Один товарищ спрашивает:

— Неужели не страшно?

Маркес еще выше приподнял брови:

— Какое там «не страшно». Я чуть со страху не умер.

Собрались несколько командиров, работники коммунистической партии. Что такое 5-й полк? Горсточка бойцов. А кругом бегут сломя голову центурии, отряды, колонны. На совещании все нервничали, перебивали друг друга, винили правительство, штаб, анархистов. Только Маркес сохранял спокойствие:

— Необстрелянные... Привыкнут.

Жена Маркеса работала в 5-м полку машинисткой. Она присутствовала на совещании. Ей кто-то шепнул:

— До чего невозмутим!

Она покачала головой:

— Разве вы не заметили — он вынул папиросу и не закурил... Он сейчас очень волнуется.

Маркеса послали на юг с приказом замедлить продвижение неприятеля. В первый день четверть бойцов выбыла из строя. Непривыкшие к огню дружинники сразу расстреляли все патроны. Маркес приказал рыть окопы.

С Маноло он встретился на позициях. Маноло протянул свою широкую руку:

— Маноло. Анархист.

Маркес улыбнулся:

— Это хорошо. Только бегут твои анархисты... Как здесь? Удержишься?

Маноло рассердился:

— Сопляк, это твои бегут! Они вот под землю прячутся.

Маркес хлопнул Маноло по спине:

— Значит, удержишься?

— Надо удержаться.

Это не прежний Маноло: за месяц он осунулся, постарел. Ему нет и тридцати, а на вид все сорок. Только улыбка, как прежде, детская, но он теперь редко улыбается.

Они лежат в поле за маленьким холмом. Тишина раннего утра. Стрекочут цикады.

Легкое гудение. Глаз различает в небе несколько точек; потом точки растут. Бомба, другая. Четыре бомбардировщика медленно кружат над холмиком. Один вдруг падает вниз; он обдает холм пулеметным огнем. Лежат люди, живые и мертвые. Снова кружат самолеты. Снова бомбы. На траве капли крови и мозга. Рыжий Альварес, столяр из Таррагоны, он умел делать кораблики... Пепе, его звали «балериной» — он хорошо танцовал... Заика Хименес... Великан Хосе... Искромсаны тела. А бомбардировщики все кружат и кружат. Матео не выдержал, вскочил; он стреляет из винтовки в небо; потом злобно швыряет винтовку на землю и бежит; за ним другие.

Что тут поделаешь — бегут! Талавера, Санта-Олалья, Маледа, Кисмондо... Маноло кричит в ярости:

— Куда?

— Они бомбы сбрасывают...

— У них конница...

— У них танки...

Маноло обошел оливковую рощу:

— Окопаться.

Дружинники презрительно фыркают:

— Зачем? Пусть только сунутся!

Они дали слово Маноло: не побегут. В пять часов утра фашисты открыли орудийный огонь. Сначала шли перелеты, потом пристрелялись; один снаряд убил шестерых. Маноло смотрит в бинокль: три танка медленно подымаются к роще. Вызвался Молина, высокий красивый парень. Он из Хероны; говорят, по нем все девушки плачут. Молина пополз с гранатами. Танк его раздавил. Еще один снаряд попал в рощу. Побежали. Бегут по дороге, а сзади стреляют.

Наконец остановились. Руис сел на землю, обнял колени руками и вдруг говорит:

— Детство... Чорт его побери, это детство!

Мальчишки собирали в коробку кузнечиков, девчонки прыскали в кулачок, купаться ходили на речку... Потом мы им записки писали: «Любовь, любовь...» А вот лежит Молина, как лепешка. Дерьмо!

На околице деревни толпятся крестьяне:

— Нам, значит, пропадать?

Маноло молчит. Старый крестьянин подошел к нему, шепчет:

— Дай мне винтовку! Почему они бегут? Молодые. Молодой жить хочет. А я все видал, меня хоть к чорту пошли, я не побегу. Дай мне винтовку!

Маноло молчит: винтовок нет.

Он сидит в пустом доме нотариуса. Хозяин ушел с фашистами. Кресла в чехлах, щеточка, чтобы сметать со стола крошки, на буфете фарфоровый китайский болванчик. Мимо дома едут грузовики, и болванчик насмешливо кивает головой. Маноло развернул карту. Конечно, здесь можно укрепиться... Но побегут, обязательно побегут. Нет самолетов, нет танков, да и бойцов нет — разве это армия? По лицу Маноло катятся большие редкие слезы.

Матео вошел, постоял минуту и вышел. На улице дружинники едят колбасу. Матео говорит:

— Если еще побежим, застрелюсь.

— Какая тебя муха укусила?

— Смеешься, подлец? А Маноло...

Договорить он не может.

Маноло кричит в полевой телефон:

— Давай подкрепления! Коммунистов давай, все равно кого, лишь бы дрались!..

Штаб. Люди спят на полу. В маленькой комнате красивый седой полковник еще работает. Свеча в бутылке. Карта.

— Господин полковник, кофе сварить?

— Почему «господин?» Товарищ.

Лейтенант Ласага говорит:

— Вы отсылаете Маноло в Уманес, а противник собирает кулак возле Навалькарнеро.

— Разумеется.

Ласага недоуменно смотрит на полковника; тот медленно закуривает черную едкую сигару.

— Зачем говорить о военных операциях? Вы сами видите, это не армия, это чернь. Они только и могут, что удирать.

Он закашлялся от дыма.

— Я знал вашего покойного отца. Мы вместе служили в полку Сан-Фернандо. У нас должны быть свои понятия о чести...

Ласага наконец-то понял. Он взволнованно шагает по комнате. Пламя свечи бьется.

Входит Маноло:

— Артиллерию даете?

— Конечно. Противник должен ударить на Уманес. Левый фланг мы можем спокойно оголить...

Маноло жмет руку полковника:

— Ну, спасибо.

Он ушел. Отвернувшись, Ласага бормочет:

— Лучше пусть сразу убьют... Противно!

В Мадриде весело и шумно. По улице Алкала, как всегда, прогуливаются фаты. Полны кафе. Газеты, много газет.

— Взять Сарагоссу, а потом на Бургос...

— Нет, основной удар по Кордове...

Актеры спорят о репертуаре нового народного театра. В особняке беглого маркиза поэты устраивают образцовую читальню; надо поставить сосуды с водой, чтобы не портились книги. На улицах плакаты: «Не дарите вашим детям оловянных солдатиков — они пробуждают любовь к милитаризму!» «Жить, будучи больным, все равно, что не жить — украшайте дома отдыха!» Музееведы осторожно сдувают пыль с картин XVII века, найденных на чердаке богатого мукомола. Эсперантисты созывают «Первый всеиберийский конгресс ревнителей универсального языка». В тенистых парках, радуясь свободе, целуются влюбленные.

Барский дом, платаны, бассейны, беседки. Среди мраморных Цирцей и Селен бегают золотушные дети в синих передниках. Красивая женщина с ласковыми глазами говорит:

— Вот тот — сын фашиста, а Бланкита — дочка нашего товарища, погибшего на фронте. Мы хотим воспитать всех вместе, создать новых, свободных людей.

В министерстве — бархат, бронза, пыль. Усталый человек повторяет:

— Нас поддержат все демократии мира. Мы уничтожим фашизм...

Журналисты пьют кофе с молоком и передают друг другу последнюю сенсацию.

— Английская эскадра завтра объявит блокаду Кадиса...

Штаб. У телефона дряхлый генерал. Он задыхается от астмы и страха:

— Да... Да... Подкрепления будут посланы. Не теперь, через неделю...

На улицах продают флаги, шапчонки дружинников, чехлы для револьверов, брошки с серпом и молотом, бумажники с инициалами анархической федерации, зажигалки в виде танков, портреты Маркса и Бакунина, трактаты о свободной любви.

Газеты пишут: «Мы разбили противника на Эстремадурском фронте», и победоносно ревут громкоговорители: «Разбили! Разбили!»

Заслышав топот марокканской конницы, деревни снимаются с места. Они несутся к столице. Беженцы спят на пустырях. Они принесли с собой тряпье, вшей, тоску разгрома.

Генерал диктует очередную сводку: «На Эстремадурском фронте...» Вдруг он останавливается и шепчет секретарю:

— Они под Мадридом.

Вражеские самолеты кружат над площадями, над базарами, над скверами.

На экране джентльмен целовал блондинку. До утра из кинотеатра вытаскивали куски туловищ. Другая бомба разорвалась возле молочной; женщины с кувшинами ждали молока для детей. Третья попала в детский дом.

В мертвецкой трупы лежат по росту: этому десять лет, рядом поменьше, еще меньше.

Город ослеп; ни одного огня. Надрываясь, кричат сирены. Красивая женщина с ласковыми глазами тащит детей в погреб. Холодно; пищат крысы.

Бернара послали к Маркесу. Он лежит у пулемета; на лбу крупные капли.

— Окружили...

Маркес говорит:

— Ничего, Маноло поспеет...

Он знает, что на Маноло трудно положиться, но он хочет приободрить Бернара.

— Снова лезут!..

Бернар приговаривает:

— Коровы! Ах, коровы!

Марокканцы бегут, падают.

Десять минут передышки. Бернар схватился за фляжку:

— Ни капли! Ах, коровы!..

Маркес вдруг говорит:

— Видишь тот дом? Он без крыши куда красивей...

Снаряд.

— Это сто пятьдесят пять. Коровы!..

Их осталось человек сто. Батальон марокканцев карабкается на холм. Справа — легионеры; они открыли пулеметный огонь.

— Живей, Бернар!

Та-та-та. Та-та-та.

Вдруг Бернар запнулся:

— Коровы! Коро...

Не работает пулемет.

— Я тебе говорил, что...

Но Маркес уже кричит:

— Гранатами!

Серый дым над оливами. Крики. И вдруг крики слабеют. Еще раз отбили.

— Коровы! Они, наверное, думают, что здесь полк.

— Погоди. Теперь оттуда... Гранатами!

Маркес бежит вперед; вслед за ним бойцы.

— Стой!

Маноло схватил офицера за рукав.

— Ты должен пример подавать, а ты, трус, бежишь?

— Ты кто, чтобы командовать?

— Я?

Маноло выхватил револьвер. Офицер вскрикнул и упал.

— Ух, предатель!

Бегут. Нет, всех не перебить!

— Стой! Стой!

В его голосе такое отчаянье, что люди на минуту останавливаются. Маноло бежит вперед.

— Там наши танки!

Танков нет, но бойцы бегут вслед за Маноло. Речка. Через речку. Вот и они!

Фашисты, не ожидавшие удара, поворачивают назад.

— Огонь!

Гремят орудия. Загорелся сосновый лесок. Жара, дым. Шесть километров пробежали без передышки. Матео что-то спрашивает, но Маноло не может ответить; он шевелит губами и вдруг, после долгих недель тоски, весело смеется.

— Наши!

Бернар схватил чью-то фляжку и пьет не отрываясь.

— Понимаешь, пулемет подвел. Ах, коровы!..

Перевязывают раненых.

— Подлецы, Вальяда убили!

Маркес обнимает Маноло:

— Я говорил, что ты поспеешь...

Маркес пришел с женой. Бернар его ждал в столовой. Прежде здесь помещался дорогой ресторан. Стены расписаны: море, горы, пальмы. Чучело рыси. Пустые бутылки от французских ликеров. Барабан джаза, рядом винтовки.

— На первое — горох, на второе — горох и, ввиду нашего высокого положения в республиканской армии, на третье — тоже горох.

Они смеются не умолкая. Нет, на одну минуту они замолкли. Это когда Бернар сказал:

— Тогда Вальяда был с нами...

О Вальяде нельзя говорить: он был любимцем отряда. Он играл на дудке; он всем рассказывал про какую-то девчонку из Сантандера; у него были большие розовые уши и глаза мечтателя.

Но вот они снова смеются:

— А ведь, кажется, удержим!..

— Глупая история! Подумать, что все это могло быть не под Мадридом, а где-нибудь под Талаверой. Ну, разве не смешно?

Они не только повторяют «смешно», они и вправду смеются. Бернар смотрит на стену: замок, скала, ручеек.

— Кажется, маэстро любуется живописью?

— Я думаю, на той горке невредно бы поставить пулемет...

Смешно! Как будто они и не жили раньше, как будто вот это — жизнь: пулемет, поспеет Маноло или не поспеет, треск гранат, труп Вальяды, а потом миска с горохом.

Жена Маркеса сидит молча. Она смотрит то на мужа, то на Бернара: она хочет понять. Наконец она спрашивает:

— Но что здесь веселого?

Они озадаченно оглядывают друг друга, — действительно, что здесь веселого? А минуту спустя снова смеются.

6

В МАДРИДЕ

К Маноло привели дезертиров.

— Мы по своей воле записались. А теперь хватит — хотим домой.

Маноло смотрит на них в упор:

— Давай винтовки! Профсоюзные билеты давай! Я в газете имена напечатаю, пусть все знают, какая вы сволочь...

Они отдали и винтовки, и билеты: они готовы все отдать, лишь бы спасти жизнь.

— Портки снимай! Не ваши — народные.

Они остались в белье.

— Товарищ Маноло, теперь можно итти?

— Врешь! Матео, вези их в Мадрид. Без штанов, чтобы все видели...

Две крестьянки остановились, испуганные. Матео объясняет:

— Это фашисты — с фронта удирают.

Женщины хохочут:

— Бесстыдники!

Маноло зовет «Кропоткина»:

— Пиши для газеты: «Мы должны ввести абсолютную дисциплину».

«Кропоткин» задумался:

— По-моему, Маноло, надо добавить: «Свою собственную анархическую дисциплину».

— Я тебя зачем взял? Если я говорю, ты обязан писать — и точка. А то я и тебя без портков прокатаю. Ты думаешь — полторы книжки написал и командовать будешь? Да если у нас не будет вот этой абсолютной дисциплины, фашисты нас всех перевешают, и на одном дереве, не спросят, какие у кого идеи. Тебя, дурака, первого повесят. Рядом с Маркесом. Ты у меня и не то еще напишешь! Бери перо! Валяй: «Абсолютную военную дисциплину». Написал? Молодец! Я всегда говорил: «Кропоткин» — это голова!

Дежурный офицер сказал:

— Одевайтесь и по домам.

Матео ушел злой: почему он отпустил предателей? Никому нельзя верить! А самому трудно... Вчера его спросили: «Ты какой партии?» Он ответил: «Я с Маноло». Все смеялись... Откуда ему знать, какой он партии? Он до весны ходил за быками графа. Конечно, такой офицер все знает. Но он предатель или трус. Поэтому и отпустил...

Матео злобно оглядывает прохожих: гуляют!.. Хорошие здесь дома. Жили тихо, спокойно. Таких на фронт не загонишь. Да им и не нужно, они фашистов с музыкой встретят. Маноло говорил, — они самолетам сигналы подают — светят из окон.

Стемнело. Улицы сразу опустели. Пропали дома; Мадрид теперь похож на поле. Вдруг Матео увидел в верхнем окошке свет. Не помня себя, он взбежал наверх. Дверь открыл пожилой человек в коротком потрепанном халате.

— Сигналы зачем подаешь?

Человек в халате молчит.

— Я тебя спрашиваю, зачем ты сигналы подаешь?

— Забыл опустить штору... Я палеонтолог Валье. Может быть, вы слыхали?

Матео прошел к столу. Книги. Все звери, звери... Никогда Матео не видал таких страшных зверей. Он недоверчиво спрашивает:

— Книги фашистские?

Валье оживился:

— Что вы! Это по моей специальности. Видите — палеотерий.

— Ничего я не вижу. Я и в школу не ходил... Но ты мне скажи, — почему вы все предатели? Если ты столько знаешь, почему ты окна не завесил? А может, ты сигналы подаешь — куда бомбы скидывать?

Валье подошел к Матео и забормотал:

— Они вчера кидали... Страшно!

Матео стало жаль его:

— В поле еще страшней. На что наши храбрые, а сколько раз бегали! Один Маноло не боялся. Теперь, конечно, привыкли. А у вас хорошо — убежища. Ты как услышишь — гудит, беги вниз. Понимаешь?

Матео повеселел: вот и он что-то знает, даже старика научил. Сколько здесь книг!

— Читаешь?

Валье молчит.

— Мешают они тебе... Но ты погоди, у нас теперь дисциплина, мы их живо прогоним. И потом...

Он шепнул на ухо:

— Это тайна: пушка такая — стреляет вверх. Понимаешь? Ну, ладно, читай!..

Он вышел на цыпочках.

Валье сел на кровать и поджал под себя босые ноги. Попался хороший человек, другой застрелил бы... А не за-

стрелят — попадет бомба. Ему пятьдесят два года, но умирать все же не хочется. Почему другие не боятся? Должно быть, он трус, обыкновенный трус.

Он лег и долго прислушивался: гудят трубы, проехала мотоциклетка, кошка кричит. Все звуки были неприязненными. Потом он увидал человека с ружьем: «Сигналы подаешь?..» Человек выстрелил. Валье упал, но не умер. Он все слышит. Мария принесла белье. Под рубашками — бомба. Она ее швыряет на пол... Валье вскочил. Что за дурацкий сон? Минуту спустя он снова услышал грохот.

Убежище находилось на соседней улице. Валье не решился выйти из дому. Он стоял, согнувшись, под винтовой лестницей. Жизнь казалась ему унизительной. Хоть бы сразу!.. А то покалечат... Он вспомнил больницу, запах хлороформа, стоны.

Днем он пытался работать. Он прочитал несколько фраз, написанных накануне, и задумался. Вышла ли книга Дауса об олигоцене? Он увидел розовое, чисто выбритое лицо англичанина. Там никаких бомб... Даус принял ванну, попил чаю, сейчас пишет. Под окном в садике играют дети. Неужели Валье никогда больше не увидит обыкновенной жизни? Работать? Но кому теперь нужна палеонтология? Глупо быть старым чудаком, ученым, которого рисуют карикатуристы. О чем же тогда мечтать? О пушке, которая стреляет вверх? Об одной спокойной ночи?

Что это?.. Валье подошел к окну. Два трубача дули в трубы на пустой улице, среди холодной пыли. Дружинники несли раскрытый гроб. Позади шла маленькая женщина.

Валье повязал шею кашне и вышел. Он не глядел, куда идет. Он смутно вспоминал покойную жену, полонезы Шопена (жена хорошо играла на рояле), кафе «Ла Гранха», старый, уютный Мадрид.

Он остановился — трехэтажный дом был рассечен бомбой; комнаты казались театральными декорациями. На полке Валье увидел пузатую чашку с незабудками, она одна уцелела. Среди мусора лежала кукла в кружевном платье. Валье поднял ее и заметил на кружеве рыжее пятнышко.

Людей на этой улице не было: одни уехали из города, другие перекочевали в восточные кварталы. Вдруг Валье

увидел старую женщину. Она чинила сиденье соломенного стула.

— Ты почему не уехала?

Женщина улыбнулась, показав Валье два кривых зуба:

— Сын-то воюет, теперь я за него... Если есть что починить, неси...

Валье повернул домой. Каждый день он будет ходить по этим улицам. Он будет работать, как эта старуха, как все...

Ночью он проснулся от знакомого грохота. Он накинул халат и сел к столу. Он был занят одним: хоботом палеотерия. Он написал две страницы. Рассвело. Валье помылся и жадно закурил папиросу.

Начались необычайные дни. Никогда, кажется, он не был так счастлив. Мария жаловалась: нет сахара, нет хлеба, ничего нет... Он в ответ застенчиво улыбался. На улице он любовно оглядывал встречных: они были с ним в заговоре, они тоже знали тайну счастья. Никто не звонит, не приносят писем, телефон стал пыльной смешной игрушкой. Величавый, стройный палеотерий носится по опустевшим проспектам любимого города.

Газетчик на углу сказал Валье:

— Не сдадим!

Валье с жаром ответил:

— Ни в коем случае!

К Валье пришел молодой человек в кожаной куртке:

— Правительство республики постановило эвакуировать вас в Валенсию.

Валье запротестовал:

— Зачем? Мне и здесь хорошо. Я сейчас в самом разгаре работы...

— Товарищ Валье, дисциплина!.. Правительство республики не может жертвовать выдающимися умами.

Он говорил с Валье, как старший, растягивая слова и забавно выставляя вперед губы.

Перед отъездом ученых устроили собрание. Старый рабочий говорил о культуре, о развалинах, о счастье. К Валье подвели бомбометчика Гомеса; незадолго до того Гомес подбил четыре танка. Он стал рассказывать.

— Ползешь вперед, потом ложишься...

Валье его подбадривал:

— А дальше? Интересно, очень интересно!

Гомес понравился Валье: улыбка подростка, стесняется (ректор его поздравил, а он покраснел), чуб — то и дело он приглаживает волосы, но чуб не поддается. Когда Гомес кончил, Валье спросил:

— Вы всегда таким храбрым были?

Гомес засмеялся:

— По правде сказать, каждый раз страх берет. Лежишь, а на душе скучно... Все дело в выдержке.

Шоссе на Валенсию. Вдалеке слабо ворчат пушки. Навстречу едут грузовики: это подкрепления. Бойцы весело здороваются, и Валье в ответ подымает кулак. Горы. Пусто. Ветрено. Валье рассказывает своему соседу о работе Дауса, об олигоцене, о палеотерии. Тот внимательно слушает. Вдруг Валье запнулся — с кем это он говорит? Как будто профессор Санчес... Но у Санчеса очки...

— Простите, вы ведь биолог?

Сосед улыбается; под черной шляпой весело посвечивают черные глаза.

— Нет, композитор. Впрочем, это все равно...

Снова грузовики. Бойцы поют:

Умер мой осел.
Туру-туру-туру...

Матео рассказывает Маноло:

— Я в Мадриде к старику попал. Сколько у него книг! Понимаешь, все время читает.

— Мне Вальтер в Альбасете книжку дал. Это книжка!

Маноло читает, вдохновляемый звучанием слов:

«Когда артиллерия уничтожила огневые точки противника, пехота...»

Матео говорит:

— Здорово! А у старика про другое... Я у него картинку видел, понимаешь, вроде как баран, только нос вот этакий...

Он мечтательно улыбается.

7

ИНТЕР-БРИГАДА

Ночью улицы Альбасете похожи на окопы: темно, ямы, гуськом идут люди с винтовками. Кто-то кричит что есть мочи: «Это есть наш последний...» Ледяной ветер.

В большом грязном кафе тусклая лампа расплывается среди дыма. Солдаты дремлют, разморенные теплом. Вопль (так на востоке кричит муэдзин):

Севилья, башни и ласточки,
Севилья, моя отрада!..

Это поет Пако — земляк и приятель Маноло. Стиснутый овчинами, старый болгарин уже добрый час, не отрываясь, смотрит на маленькую выцветшую фотографию.

— Es gibt genug Mädels auf der Welt...

— Sta bene!

— Le travail ça me connait...

— A ja jestem zdrów, jak byk...

— Está borracho o qué?

Степан Ковалевич держит на коленях крохотную шахматную доску.

— Хочешь королевами меняться? Пожалуйста! Завтра еду назад, в Лас Росас.

— А нас перебрасывают. Твой ход. Что ты?..

Степан встал. Полетели на пол короли и пешки.

— Анте!

Анте Ковалевич не похож на брата. Степан высокий, широкоплечий, тяжелые металлические глаза, мясистый нос, седые усы, Анте лет на десять моложе. Он худой, удивленно моргает близорукими глазами, из-под шапки выползают светлые локоны. Они расстались восемь лет тому назад. Это было в Загребе. За Степаном тогда ходили шпики. Они стояли возле освещенной витрины часовщика. Шел дождь. Степан сказал: «Шрифт я оставил Марвичу. Мать обними!» Рука была мокрой от дождя, а за мутным стеклом большая секундная стрелка кружилась по циферблату. Потом Степан уехал в Америку.

— Анте!.. Да откуда ты?

— Из Загреба. А ты?

— Я из Филадельфии.

— Трудно было выбраться. Через Сплит... Смешно, Степан, вот и встретились! Ты где?

— В четырнадцатой бригаде.

— А я в двенадцатой. Вчера из Мадрида.

— Мать как?

Анте молчит. А Пако не унимается:

Севилья, башни и вороны,
Севилья, моя могила!

Вальтер говорит Степану Ковалевичу:

— Послали из Картахены двенадцатого. Ясно, что кто-то спер. Мы должны уезжать, а куда мы поедем без винтовок? Я позвонил Санчесу. Он отвечает: «Не волнуйтесь, все уладится» — наверное, я попал, когда он обедал. Придется тебе съездить в Валенсию.

Уходя, Степан говорит:

— Брата увидишь, скажи, что я уехал.

— Какого брата?

Степан рассказывает:

— Братишка, кажется, ничего. А мать умерла.

Вальтер вдруг вспомнил: Келлер дал ему утром письмо. Когда Степан ушел, он вынул конверт. Из Парижа... Наверное, что-нибудь о Луизе. Может быть, переслали ее письмо?.. Вальтер улыбнулся, но тотчас отложил конверт. Ее убили, он знает, что ее убили! Он все же заставил себя прочесть письмо: «Мы еще не получили ответа насчет твоей жены. Как только что-нибудь будет, я тебе напишу...»

Стучат. Вальтер поспешно сует письмо под бумаги.

Худой, смуглый француз. Глаза у него розовые: не то он спал, не то плакал. Вальтер его допрашивает:

— Имя?

— Бланжон Жюль. Двадцать три года. Металлист.

— Был безработным?

— Нет, я у Пежо работал. Я в день сорок пять франков зарабатывал.

— Состоял в какой-нибудь партии?

— Нет. Погоди!.. В «Красном спорте» — я вратарь в команде.

— Газеты читал?
— Больше насчет кино...
— Почему приехал?
Он удивленно смотрит на Вальтера:
— Я тебе сказал — я у Пежо работал... Токарь...
— Это все?
— А что еще?..
— Почему решил ехать?
— Очень просто, пришел Дарю, слесарь, рассказал про Испанию. Я в кино собирался. Мы с Люси договорились встретиться возле кассы. Я ей сразу сказал: «Еду...»
— Почему приказа не выполнил?
— Я сражаться приехал, а не чистить картошку.
— Не хочешь подчиняться дисциплине, твое дело. Завтра отправим тебя домой. Можешь итти.
Он не уходит. Он смотрит на Вальтера то возмущенно, то нежно. Наконец он говорит:
— Провинился? Хорошо, посади меня под арест. А назад я не поеду. Ты думаешь, я сдуру приехал? Я все передумал, только об этом не стоит говорить... Отошлете назад, я застрелюсь, очень просто. А я мог бы фашиста убить...
Он не выдержал и вытер кулаком глаза.
— Пошли меня к ним... с динамитом.
— Завтра обсудим, что с тобой делать. Ступай.
Француз утер пальцем нос, поднял по-военному кулак и вышел.
Вальтер прикрыл рукой глаза. Он устал: Уэска, Мадрид, бригады... На минуту все в его голове смешалось: письмо из Парижа, Степан, француз. Он бормочет про себя: «Вздор!»
Пришел лейтенант Пиве:
— Ну что, допросил мушкетера?
— Допросил. Он теперь будет и картошку чистить. Хороший парень. Я его сверлю глазами, а самого смех берет... Мальчишка! Ковалевич здесь брата нашел — в двенадцатой...
Пиве смеется:
— У меня братишка тоже просится, только молод — шестнадцать лет. Мушкетеры!
Вальтер тихо говорит:
— А у меня брат предатель — фашист.

Четыре дня спустя батальон Вальтера выступил на Теруэльский фронт. Разместились в нищей деревушке. Ветер, крупа, холодно. В темных домах боязливо трещат сырые поленья. Ни вина, ни кофе, ни мяса. Одни старики остались. Одеты они по старинке: коротенькие штаны, на голове платок. Штаб помещается в бывшем доме священника. Вальтер пишет; он едва сгибает пальцы, застывшие от холода. На столе огромная церковная свеча, украшенная розанами. Прикрывшись фиолетовой сутаной, спит майор Каншин.

Каншин приехал в Испанию вместе с Вальтером. Шутя, он отрекомендовался: «Зверь редкой здесь породы — русский беляк».

Когда-то Каншин сражался в степях Кубани. Ему было тогда двадцать три года. В знойный день молодая казачка гладила его мягкие шелковые волосы и плакала. Потом она пошла к колодцу за водой, а он уехал. Как в песнях поют — «кудри»... Теперь он лысый. Он любил тогда стихи Блока. Любил танцовать лезгинку. Потом он попал в Турцию, набивал папиросы, плавал на призы, мыл в духане посуду. В Париже он поступил на автомобильный завод — делал поршни. Он сдружился с товарищами; вместе ходили на собрания, Каншин громче всех пел: «Это есть наш последний...» Он женился на француженке. О прошлом он вспомнил только недавно, когда товарищи заговорили про Испанию. Он сразу сказал:

— Еду. Я, так сказать, прошел школу. Могу пригодиться.

Прежде он сутулился, брился раз в неделю; все считали его растяпой. А теперь разве кто-нибудь подумает, что он простоял тринадцать лет в цеху? Как будто всю жизнь человек воевал. (Вальтер ему сказал: «Это твоя третья жизнь». Каншин поморщился: «Нет, первая».)

Свеча то и дело умирает: фитиль тонет в воске. Каншин проснулся. Он смеется:

— Слушай, Вальтер, ведь это сцена из «Чапаева». Придется нам исполнить дуэт...

— Ты лучше скажи, пойдет бригада Мартинеса или не пойдет?

— А кто их знает? Могут пойти. Бойцы у него хорошие. Могут и назад побежать. Про нас когда-то французы

говорили: «Их невозможно понять, это «славянская душа». Значит, считай, что здесь «испанская душа».

Вальтер прозевал: свеча погасла. Он шарит рукой — где спички — и бормочет:

— Вздор! Народ замечательный.

— Разве я говорю, что плохой? Только понимаешь, Вальтер, земля другая. В этом вся штука...

Вальтер рассердился:

— Земля всюду та же. А вот как быть с Мартинесом?

Хосе набрал хвороста. Он греется вместе с Каншиным возле огромного камина.

— Как по-испански «пулемет»? Не понимаешь? Из чего Педро стреляет?

— А! Ametralladora.

— Ну, этого я никогда не выговорю.

— А как по-русски «fascista»?

— Фашист.

Оба смеются. Хосе просит:

— Поговори по-русски! Ничего, что я не понимаю. Хочется услышать, как говорят по-русски...

Каншин смущенно молчит; потом начинает рассказывать; он увлекся — наконец-то он нашел хорошего собеседника.

— Зима у вас не настоящая. Что это такое — пойдет снег и сразу растает, вроде как в Париже, скучно! У нас снега вот столько, и крепкий... Я давно по-русски не говорил, отвык, а, конечно, хочется поговорить. Слова не такие, понимаешь? Возьми самое простое. Улица — Пречистенка, это в Москве. Я тебе сейчас все переулки скажу: Левшинский, Штатный, Мансуровский, Еропкинский, Мертвый, Всеволожский... Один, кажется, забыл. Или птицы... По-вашему: «пахарос». Есть малиновка. Есть иволга. Есть трясогузка. Понял? А имена какие! Вот я — Каншин. Вы говорите «Канчин». А я, между прочим, Вася. Ва-ся. Красиво? Или еще: Таня, Катя, Маруся. Это все — даты. Забыл я, конечно, что и как, но было замечательно!.. Вот ты — Хосе, попросту говоря Осип. Ничего, тоже красиво. Теруэль... Это я понимаю... Испания! Красоты у вас сколько хочешь. Скалы, пропасти, ущелья, замки. Поэзия...

Но слушай, Осип, если взять, к примеру, березовый лесок, и чтобы летом, когда солнце... Все белое-белое, весело, разная чертовщина кричит, долбит, скандал; и речка, скажем, даже небольшая... А как это все пахнет!..

У Каншина голос такой убедительный, что Хосе невольно поддакивает. Потом Хосе спрашивает:

— Когда у вас была революция, ты много фашистских городов взял?

Каншин сразу помрачнел. Он грустно глядит на свои темные заскорузлые руки:

— Теруэль надо взять, вот что!..

Сбили фашистский истребитель. Летчик, немец, спустился на парашюте. Вызвали Вальтера как переводчика.

— К какому аэродрому вы прикреплены?

Летчик глядел на Вальтера исподлобья. У него были светлые волнистые волосы, лицо красное от солнца, синие глаза.

— Зачем мне отвечать? Все равно меня убьют.

Вальтер усмехнулся:

— Республиканцы не убивают пленных.

Летчик нервничал, вытирал платком лицо, испуганно оглядывался по сторонам. Потом он робко попросил папиросу, закурил и вдруг пробормотал:

— Все-таки вы не армия, а красные бандиты!

(Он повторил фразу, прочитанную накануне в газете.)

Вальтер невольно засмотрелся на него, летчик походил на молодого хищника. Но минуту спустя летчик залепетал:

— Правда, меня не убьют?

Его бил озноб надменности и страха. Он прославлял фашизм, а потом говорил:

— Я сейчас нарисую план сарагосского аэродрома...

Вдруг он выкрикнул:

— Марксисты не доросли до понятия человека.

Испанский полковник грустно улыбнулся:

— Спросите, у него есть родственники в Германии?

Летчик заплакал. Вальтер схватил бумаги, полистал их и сердито буркнул:

— Вздор!

Высморкавшись, летчик ответил:

— Мать и две сестры. В Вернигроде...

На одну минуту перед Вальтером встало детство: запах елки, сизый туман, коньки. Он быстро отогнал эти мысли и сказал:

— Успокойтесь. Полковник вас спрашивает, какие именно города бомбила эскадрилья Фейхтера?

Ветер кружил столбы колючего снега. Люди бежали вперед, как слепые. Буря покрывала дробь пулеметов. В полдень батальон Вальтера занял высоту 1215. С запада наступал 4-й батальон — молодые крестьяне из округа Куэнка, никогда дотоле не бывшие в бою. Они заняли поселок Санта-Ана. Они замерзли, измучились. В деревне они достали вина, развели огонь и уснули. К вечеру фашисты ворвались в Санта-Ана и перебили спящих.

Вальтер кричит в телефон:

— Командира четвертого батальона... Алло!..

— Не отвечают. Боюсь я за них. Если Мартинес не двинется...

Каншин говорит:

— Я сейчас туда поеду. Этого Мартинеса не поймешь: то весь день сидит в штабе, ковыряет во рту зубочисткой, то лезет под пули, как унтер.

— Смотри, ты не лезь. Говоришь про Мартинеса, а сам... Глупо!

Каншин весело отвечает:

— Разумеется, глупо.

Мартинес выслушал Каншина и сказал:

— Насчет Санта-Аны я предвидел. Ничего из этого не выйдет...

Они поехали на позиции. 3-я рота должна была занять холмик над дорогой. Прежде там была часовня; ее снесли снаряды. Снег на минуту перестал падать, просветлело. Каншин в бинокль увидел фашистов: они петлями сбегали с холма.

Каншин кричит:

— Ушли! Надо скорей!..

Лейтенант пожал плечами:

— Не пойдут.

Каншин смотрит — хорошие ребята, смеются...

Ветер снова хлещет лицо жестким снегом. На холм бежит Каншин, за ним человек сорок. Скользко; камни под ногой срываются вниз. Люди падают, ползут на четвереньках. Фашисты открыли с дороги ружейный огонь. Каншин кричит:

— Ложись!

Еще немного! Вот и камни часовни... Боец говорит Каншину:

— Закрепляться?

Тот переспрашивает и вдруг падает — пуля попала в живот.

Его долго волокли вниз; потом положили на грузовик. Перевязочный пункт помещался в крестьянском доме. Дым от печи, холодно. Каншин лежит на черном щербатом столе.

— Здесь ничего нет. Придется оперировать без наркоза...

Он ни разу не вскрикнул. Только под утро открыл глаза и по-русски сказал:

— Пить!

Санитар не понял и покрыл Каншина еще одним одеялом.

Вальтеру сказали по телефону:

— Часовню заняли. Но пошла только третья рота, фланги оставались неприкрытыми, так что ночью мы ее очистили. Потерь у нас мало. Твоего ранили — майор Канчин или Кончин. Погоди, здесь говорят, что он умер, значит, считай, что убили.

Каншина хоронили 30 декабря. Из деревни пришли крестьяне. Одна старуха причитала: «У него, говорят, жена!..» Цветов не достали; кто-то принес сосновых веток, их перевязали красным лоскутком — вышло вроде венка. Утро было ясное и холодное. Рыжие голые горы, дома без окон, над ними дым. Долго рыли могилу: земля была

жесткой, яркорыжая земля. Вальтер вдруг вспомнил, как Каншин ему сказал: «Земля другая», и помутнели люди, дома, горы... А рядом с ним толстяк Пако всхлипывал, как ребенок.

Встречают Новый год. Утром приехал грузовик с почтой; много пакетов — это все подарки к празднику. Разбирает посылки Ян, старый поляк, шахтер.

— Мариусу Леграну из Марселя.

— Давай сюда!

— Владиславу Стрижевскому из Парижа.

— Убили его.

— Степану Ковалевичу из Валенсии.

— Ты что, не знаешь? В госпитале.

— Жюлю Бланшону из Бельфора.

— Третьего дня убили.

— Карлу Машеку из Праги.

Никто не отвечает. Ян угрюмо говорит:

— Читай теперь ты. Я не разбираю...

Вот и Новый год.

— За победу! За Испанию!

Они поют песни — французы, болгары, поляки, немцы — мирные песни: о любви, о деревьях, о свадьбах. Вальтер забился в угол, молчит, ничего не пьет.

— Вальтер, спой что-нибудь...

Он поет по-немецки. У него глухой, надтреснутый голос:

Нет, мы не потеряли родины,
Наша родина теперь Мадрид...

Пако говорит:

— Хорошая песня! Про девушку?

— Про родину.

Пако улыбается:

— А у меня дома теперь тепло...

Он начинает завывать:

Севилья, твои башни и ласточки,
Севилья, моя отрада!..

Вальтер налил в большую чашку коньяку:

— Вздор!

8

ВОТ И ВОЙНА...

Над Хуанито посмеивались — как он ружье держит. Пробовали его учить, он не слушал, ходил грустный, всех сторонился. Как-то его послали в Мадрид за бобами. Он привез ящичек и сразу пошел в штаб к Маркесу:

— Дай, я тебе ботинки почищу!

До войны Хуанито был чистильщиком сапог. Как же он наваксил ботинки Маркеса! Он тер их тряпкой, разными щетками, бархатом. Ботинки пищали. Наконец Хуанито прищурился:

— Красиво! Давно я этого не видел...

Все смеялись — зачем здесь чистить ботинки, кругом грязь непролазная? А Маркес стал расспрашивать Хуанито, что лучше ваксить — бокс или шевро? Потом сказал:

— Я прежде дома строил...

Хуанито с этого дня не узнать: веселый, заводит со всеми длинные разговоры. Маркес хочет его произвести в капралы:

— Только читать научись.

У Маркеса большое хозяйство. Надо достать грузовики. На отдых увели чорт знает куда — деревню каждый день бомбят! Как бы втолковать комиссару, чтобы он попроще разговаривал с бойцами? Маркес никогда не кричит, не суетится.

Это было в декабре; бригада стояла возле Боадильи. Маркес говорит Льяносу:

— Белый дом видишь? Вон там... Нет, правей, с плоской крышей. Это я строил...

Полчаса спустя артиллерия начала стрелять по дому. Маркес смеется:

— Здорово! Три попадания сряду.

Кузнец Перес силач, он в руке гнет медяки. Лучше всех он умеет петь андалузские песни. Его жена осталась в Гренаде; он не знает, что с ней.

Переса послали в Мадрид с пакетом. Он увидал на проспекте автомобили, охрану, толпу: это вывозили фашистов, засевших в одном из посольств. Перес крикнул:

— Маркиза! Ей-богу, маркиза! Жена у нее работала...

Он хотел подойти ближе, его не пустили:

— Они под охраной посольства.

— Везут куда? В тюрьму?

— Зачем в тюрьму? В Париж.

Вечером Перес вернулся в Морату. Он не помнил себя от злобы. Как она на жену кричала: «Наволочка! Наволочка!» Восемь песет удержала, сука! Они в окопах гниют, а такую...

Ночью Перес вспомнил, что в церкви сидит пленный. Он полз по мокрой глине и боязливо оглядывался. Часовой дремал. Перес вошел в церковь и чиркнул спичкой. Розовый ангел глупо ухмылялся. Перес долго бродил по битому стеклу. Наконец он увидал фашиста. Марокканец спал на соломе. Он показался Пересу непомерно маленьким. Пленный проснулся, вскочил и начал быстро говорить. Перес не понимал слов, но от жалостливого голоса ему стало скучно. Он выругался и ушел.

Он разбудил Хуанито:

— Сволочи, убить их мало! Ну, хорошо, пускай ее, суку, везут в Париж. Но почему он, как птица, кричит?.. А Хесуса убили...

Всю ночь Перес просидел на земле, а утром сказал Маркесу:

— Товарищ командир, в газете пишут, что мы за правду истекаем кровью. А где она, правда?

Маркес увел его к себе. Они долго разговаривали. Когда Перес вернулся, Хуанито спросил:

— О чем говорили?

— О песнях... Чорт с ними, пускай кричат! Воевать надо...

Командир Льянос слывет чудаком. Он высокий, лицо медное от загара, короткие седые волосы. Никогда не замечает, что ест. Может пообедать два раза сряду, а бывает, проходит весь день натощак. В Морате к нему пристал кот; Льянос прозвал его «Басилио». На ночь он стелет коту свое одеяло: «А как же?.. Коты от сырости линяют». Льянос еще не оправился от ранения, прихрамы-

вает. Маркес подарил ему трость, и Льянос в атаку идет с тросточкой, как будто гуляет.

Одиннадцать дней дерутся за пригорок. Сегодня весна. Утром артиллерия замолкла; налетели откуда-то птицы; люди вдруг заметили зеленый пух на земле.

Рамон разулся и греет на солнце отмороженные, распухшие ноги. Он говорит Льяносу:

— Отпусти меня домой! На месяц. У нас теперь сеют. Только-только мы взяли землю, а здесь говорят — воевать. Я ее и не видал как следует...

Он говорит о земле нежно и ревниво, как будто оставил дома молодую жену. Льянос его утешает:

— Скоро увидишь.

Льянос рассказывает о пшенице, которая вызревает в мае, о диковинных маслинах — они с детства приносят плоды, о пробке, о мериносах. Рамон слушает и недоверчиво улыбается.

Двенадцатый день. Они добежали до макушки, начали закрепляться. Под вечер неприятельская авиация закидала бомбами позиции. Пришлось снова очистить пригорок.

Ночью Льянос пошел к Маркесу. Они долго толковали о зенитках, о транспорте, о пополнениях. Потом Маркес рассказал о Пересе.

— Ты с ним поговори. Интересный человек. Сможешь его описать. Ты ведь писатель?

— Кто это тебе рассказал? Я здесь попробовал написать для бригадной газеты, и ничего не вышло. Я до войны служил в банке. Мечтал когда-то стать композитором, а вместо этого — актив и пассив. Впрочем, так лучше — нет позади зацепки... Ты знаешь, о чем я сейчас думаю? Рамона жалко. У нас все стали чертовски суеверными — скажет слово и сейчас же схватится за дерево. «Судьба...» А это даже не судьба, это стерва! От меня все отскакивает. Ну, что нога? За неделю зажило. А он про землю говорил... Там и остался, не успели унести...

Бернар теперь бойко говорит по-испански; все забыли, что он француз; да он сам об этом не помнит; только, когда его разозлят, ругается по-французски. Ему кажется, что он всю жизнь прожил в окопах.

Он взял недавно газету. «Правительство Блюма...» В Париже вечером на улицах светло. Кто-то готовит картины к весеннему салону. Сестра вздыхает: «Опять потолстела, и это несмотря на слабительное...» Блюм, кажется, носит пенсне... А ведь скучно такому Блюму!

Война для Бернара это пригорок напротив — взять и удержаться. Он сроднился с пулеметом. Пулемет строптив и послушен, как зверь; нужно заслужить его любовь. Фашисты бегут, кричат. В голосе пулемета спокойствие, уверенность. Снова поползли... И здесь, не вытерпев, Бернар по-французски кричит: «Ах, коровы!..»

Недавно пулеметчик Торрес ездил к себе домой. В бригаде много солдат из Ла Манчи. Все обступили Торреса. Он не успевает отвечать:

— Тебе сестра кланялась... Ничего, торгуют, я у них сахар достал... Вино берут по твердым ценам... Там комитет теперь, они платят шесть песет... Рыжий? У него седельная мастерская была? Как же, жив...

Хуанито, смеясь, говорит:

— А жену свою нашел? Теперь ведь свобода...

Торрес серьезно отвечает:

— Не такая она.

Бернар вдруг задумался. Впервые после многих недель он вспомнил Жермен. Она лежит на кушетке и читает рассказы Хэмингуея. Волосы растрепаны; она сейчас похожа на мальчишку. Она говорила: «Все люди чуточку сумасшедшие...» Тогда почему Готье?.. Он инженер, у него, наверное, квартира из четырех комнат... Нет, лучше об этом не думать! Бернар сердито ковыряет ножом трубку, но Жермен не уходит. Они сидят возле речки. На другом берегу белеет овечье стадо; слабо тявкает овчарка. Солнце уже низко; под деревьями синева, и глаза у Жермен синие. Она взяла его за руку. «Жермен, у тебя холодные руки. Тебе холодно?» Она тихо говорит: «Ты ничего не понимаешь. Мне хорошо...»

Когда Льянос окликнул Бернара, тот спросил по-французски: «Что?» Он не помнил, где он. Льянос рассмеялся:

— Спал? Как у тебя? Торрес приехал?

Это был четырнадцатый день боев за пригорок. Фашисты пустили четыре танка. Один танк сразу подбили; три дошли до позиций. Батальон Льяноса попятился.

Маркес привел 4-й батальон. Кое-где дошло до рукопашной. К вечеру фашисты отошли на исходные позиции. Бернар все время работал на правом фланге; там не отступали. Отдышавшись, он щелкнул языком:

— Лежат, голубчики...

На ночь его сменили. Он пошел к санитарам. На одной землянке была вывеска: «Кабаре веселая Севилья» — это дурачились андалузцы. Бернар смеялся.

— У вас здесь роскошь! Тепло, красиво, колбаса...

Пришел Перес, мрачный; потом выпил вина, отогрелся и начал петь «фламенго». Бернар тоже выступил с номером: фальшивя, спел: «Все в порядке, госпожа маркиза...» Он бился об заклад с Луисом, кто лучше кудахчет. Жюри признало, что Бернар способен обмануть даже петуха. Ему дали в награду еще вина. Он заставил Луиса играть на гребенке фокстрот и доупаду танцовал с санитарами. Когда Луис взмолился, Бернар стал рисовать углем бегемотов с бакенбардами. Луис раздобыл бутылку коньяку. Пили за Бернара, за Маркеса, за Льяноса, за Луиса, за санитаров, за какую-то Кончиту, за Пепиту, за Анхелиту, за Габриэлу.

Бернар кричит:

— Черти, весь календарь перебрали! Ничего не поделаешь, придется выпить за Жермен.

Он пьет и смеется.

Маркес искал в записной книжке фамилию врача 15-й бригады. Записная книжка старая, он купил ее прошлой весной. Адреса: Мадрид, Сан-Себастьян, Севилья. Проект театра в Саламанке. Иногда несколько бегло написанных строк: книжка заменяла Маркесу дневник. Случайно он напал на одну из этих записей. «Неужели дорога к справедливости идет через ложь, низость и малодушное молчание?» Он усмехнулся: все же и у войны иногда есть свои преимущества: можно о многом не думать. А вот и фамилия врача...

Девятнадцатый день боев. Пригорок вчера заняли. Удержатся ли?.. Командный пункт на холме. Домик скрыт серыми, как бы расщепленными маслинами. Противник начал стрелять по холму. Снаряды ложатся направо, в

ложбине. Позади холма батарея 75. Только что фашисты пробовали атаковать пригорок. Они дошли до рощи на левом склоне и там залегли. Надо их выбить.

Прибегает Луис:

— В первом батальоне две роты отказываются итти.

Маркес отвечает:

— Расстрелять командиров. Об исполнении донести мне. Послать батальон Льяноса.

Льянос идет, опираясь на свою тросточку. Пулеметы противника работают без перебоя.

— Выбили!

Снаряд упал рядом. Маркес рассеянно оглянулся и смахнул с рукава известку. Домик пуст — два стула и над окном клетка с канарейкой. Грохот: это батарея 75. Еще снаряд.

— Товарищ командир, может, уйдем?

— Нет. Отсюда все как на ладони...

Канарейка поет, не умолкая, среди грохота, треска, гула. Грохот ее волнует, и она отвечает на него своим чириканьем. Маркес вдруг говорит:

— Непонятно... Кто ее здесь кормит?

Противника отбросили на четыреста метров от пригорка. Маркес осматривает захваченные окопы. Трупы, трупы — нельзя ступить. Банки от консервов, клочья рубах, испражнения. Санитары несут раненых.

Льянос сидит на земле и бессмысленно улыбается.

Снаряд. Ничего не видно. Потом встает с земли Льянос, его тросточка на месте. Вдруг он кинулся к Маркесу:

— Что с тобой?

— Пустяки. Оцарапало руку...

Ночью бригаду увели на отдых. Маркеса заставили лечь в госпиталь. На стене оленьи рога, морды кабанов — это охотничий павильон. Кабаны противно скалят рыжие зубы. Болит рука.

— Товарищ Маркес, вам письмо.

От Тересы... Он не сразу вскрыл конверт: на него нашла суеверная тревога. Прочитав письмо, он поморщился и закрыл глаза. Сиделка спросила:

— Позвать врача? Он впрыснет морфий.

— Не нужно.

А кабаны все скалят зубы...

— Можно?

Это Льянос.

— Болит?

— Пустяки. Всех разместил? Ты теперь давай им отпуска, пускай развлекаются. Может быть, из Мадрида привезут кино?

Он забыл про письмо. Только, прощаясь, он удерживает в здоровой руке руку Льяноса и говорит:

— А ты, старик, прав: кажется, лучше без зацепки...

«Вот и война», — сказал Вальтер, переехав границу. Это было давно — летом. В пограничной деревушке Порт Боу беззаботные дачники еще загорали на пляже.

Вот и война. Теперь это вправду война: в Университетском городке, возле Лас Росас, на Хараме. Здесь 11-я бригада, там 72-я. Говорят, скоро будут дивизии. Пустеют города и поселки. Как испокон веков, тоской и разгулом полны песни новобранцев. Саперы роют окопы. Танки поводят железными усищами. В небе истребитель, окруженный врагами, прикидывается мертвым, падает вниз, а потом стремительно подымается. Трудно сбить самолет. Трудно подбить танк. Трудно взять клок земли, развалины дома, мельницу или кладбище. Мало снарядов, мало пушек, мало угля, мало хлеба. Людей много. Погиб Рамон, тот, что мечтал о земле, а на прошлой неделе из его деревни прислали восемь новых бойцов. Маркес говорит: «Сейчас надо выиграть не пространство, а время», и война идет за время — продержаться. Позади, в тылу, монтируют авиационные заводы, выгружают из трюмов противотанковые пушки, учат солдат бегать цепью и метать гранаты.

Люди начали вторую жизнь. Чистильщик сапог Хуанито в окопе сидит над букварем; загадочные слова кажутся ему присягой. Города учатся древней темноте. Напрасно пылятся в магазинах люстры. Кому они теперь нужны, яркие и хрупкие? Люди покупают карманные фонарики. Исчезли романы, шляпы, галстуки, поезда, конфеты, спички. На смену им пришли стихи, зажигалки, желудевый кофе, кожаные куртки. Все теперь одного защитного цвета: погонщики волов, актеры, бухгалтеры.

Упоминая чье-нибудь имя, люди невольно добавляют: «Как он — жив?» Мадрид привык к смерти, он над ней подтрунивает. Рядом с окопами — кино, и боец плачет над вымышленным горем американской актрисы. Вчера на улице де Пресиадос бомба разрушила дом № 31. Сегодня в дом № 33 пришел маляр с ведрышком и кистями. Он белит потолки — люди хотят, чтобы дома было светло и уютно. В окопах Университетского городка кушетки, граммофоны, кофейники. Мальчик лет семи говорит своему сверстнику:

— Здесь фонарь горел.

Тот недоверчиво отвечает:

— Но это давно... До войны.

9

В БАРСЕЛОНЕ

Маноло растерянно оглядывает улицы Барселоны. Сколько народу! На террасах кафе люди пьют вермут. Играет шарманка. Кажется, ничего не изменилось с тех пор, как он уехал.

Маноло сел за столик. Прежде он часто бывал в этом кафе. Он улыбается — хорошо!

О чем говорят люди за соседним столиком?

— Там дают две песеты за каждый добавочный час...

— Если Франсиско не порвет с ней, я перееду к брату...

— Мне яйца привозят из Игулидада...

Легкий ветерок с моря. Прошли, обнявшись, две девушки, поглядели на Маноло и фыркнули. Он все еще улыбается.

— Маноло! Откуда?

Это Грау, секретарь союза рабочих транспорта. Не дождавшись ответа, Грау говорит:

— А здесь что творится! Вчера они сняли с трибунала наш флаг. «Кропоткин» приехал? Скажи ему, что завтра в шесть совещание. Я спешу — надо всех предупредить.

Маноло рассердился. Убили Муньоса. Забрали у фашистов два броневика. Теперь бригаду перебрасывают на

Арагонский фронт. Обещали дать автоматические ружья. Есть о чем поговорить... А он убежал!..

Все теперь злит Маноло: и цветы в витринах, и нарядные женщины, и медовые блики освещенных окон. Надо сейчас же пойти насчет ружей...

— Никого нет — ушли.

— Вермут пьют?

Сторож гладит сонную кошку.

— Кто их знает, может быть, пьют...

Перед подъездом мешки с землей.

— Это зачем?

— Бомбили.

Маноло так захохотал, что кот в страхе унесся прочь.

— Это кота бомбили. А вас еще побомбят — двести кило на каждого дармоеда.

Маноло ушел. Сторож бежит к соседям:

— Фашист приходил, говорит: «Все разнесем!»

Маноло кидает монету: орел или решка? Угадал — значит Кончита дома.

Она ничуть не изменилась: светлые волосы; на лбу челка; бегают проворные пальцы (она хорошо шьет).

— Кончита!

— Погоди!.. Сумасшедший... Дай на тебя посмотреть!

— А на что тут смотреть? Жив, и точка. Слушай, Кончита...

Он боится спросить. Сколько раз он думал об этой минуте! Сейчас она скажет: «Дура я, чтобы ждать...» Он сжал ее руки.

— Пусти! Больно... Не видишь, что ждала?

Он виновато целует ее руки, а потом замирает, большой, неуклюжий, пристыженный.

— Мне все говорили: глупо ждать, два раза молодой не будешь. А я вот ждала.

Она ждет, что Маноло ее похвалит. Но он задумался. Он стоит у окна. Двор, балконы, сушится белье, ребята... У Муньоса осталось четверо...

— С Муньосом глупо вышло... Хоть бы в бою, а то на отдыхе — бомбили...

Кончита не знает, о ком он говорит. На минуту она стала грустной. Потом обнимает Маноло:

— Ты сегодня со мной? Правда? Сейчас поужинаем, потом пойдем в кино, потом...

Он вскочил, прижал ее к себе.

— Сумасшедший!.. Я теперь тебя боюсь.

В кино стреляли гангстеры. Актеры смешно держали ружья, и Маноло сказал:

— Балаган.

На него зацыкали. Тогда он положил голову на плечо Кончиты и сразу уснул.

— Бедный!.. Идем домой.

Он проснулся среди ночи и удивленно оглядел комнату, зеленую от луны, открытки на стенах, пену кружева, крохотную женскую руку. Что за ерунда? Где он? Приподнявшись, он увидел раскрытые глаза Кончиты.

— Маноло, я еще ничего не успела тебе рассказать, а завтра ты снова уедешь. Знаешь, сколько мы не виделись? Семь месяцев.

Она пугается, говорит про все сразу:

— За мной Бахес ухаживает. Он в отделе военной промышленности. Помнишь, он ходил с Тересой? У него пробор посередке... По-моему, он противный, но его теперь все уважают. Они хотят тебя затереть, пользуются, что ты на фронте. Конечно, Тереса — дура, но она повторяет за другими. Она мне заявила: «Маноло храбрый, но для руководства он не годится — он легко поддается влиянию коммунистов...» Понимаешь? Я рассказала об этом Бафарулю, он ничего не ответил. Считается, что Бафаруль твой друг, а я его отсюда едва выставила. Пришел будто бы спросить о тебе, а потом с нежностями: «Тебе одной скучно...» Хосе звал меня в театр, я не пошла — начнут болтать. Вот о Тересе все говорят, что она спуталась с Мартином. Представляю, что скажет муж, когда приедет! Конечно, одной трудно... Теперь настоящих заказчиц мало, я беру переделки. А ты не можешь себе представить, как все вздорожало. Кофе только на Пасео и сорок песет кило! Говорят, что это спекуляция. Пепе заработал на мыле триста песет. Элиос рассказывал...

Маноло вздрогнул. Он давно не слушает Кончиту. Элиос!..

— Его брат побежал. Давно, у Македы... Я его пристрелил.

Кончита боязливо смотрит на широкую руку Маноло. Она замолкла. Он тоже молчит. Ему хочется сказать Кончите что-то очень важное, но он не знает, с чего начать. Кончита робко гладит его руку:

— Маноло, о чем ты сейчас думаешь?

— Не знаю... Я до тебя зашел насчет ружей. Сволочи — семь часов вечера, и никого нет, один кот заседает! Мало вас здесь бомбили! Что вот такой Элиос делает? Да по сравнению с ним его брат — герой. Побежал, это правда. Так разве там, как здесь?.. Антонию помнишь? Гитариста? Это еще в самом начале... Кишки вырвало. Да и вообще!..

Он обнимает Кончиту угрюмо, почти злобно.

— Сумасшедший!.. Маноло, что с тобой?..

Все стало розовым: и кружево на столе, и обои, и пальцы Кончиты — светает.

Матео контузили возле Араваки. Он оглох. Его хотели отослать домой, но он упросил Маноло — его оставили в бригаде. Он идет по Рамбле. Ларьки с цветами: туберозы, магнолии, ландыши. Продавцы певчих птиц. Птицы в клетках свистят, чирикают, щебечут. Матео чуть наклонил голову набок. Он жадно разглядывает птиц; ему кажется, что он слышит их пение. Мир в его сознании еще наполнен звуками: поют трамваи, смеются девушки, газетчики кричат: «Эль нотисьеро!» «Ля ноче!» Но стоит закрыть глаза, как сразу наступает молчание. Он где-то в степи; летний полдень; только цикады верещат (этот звук непрерывен и назойлив; ночью он преследует Матео). О чем говорят эти люди? О фашистах? О Мадриде? О Маноло?

Матео вспоминает последние звуки, услышанные им в жизни: грохот снарядов. Он знает эти звуки, он мог бы о них говорить, как мадридский старик о своих зверях...

Уличный певец. Вокруг стоят любопытные. Солнце. На домах блеклые флаги.

Ее губы говорили: нет.
Ее глаза говорили: да.
О Лолита, моя Лолита!..

Все подтягивают. Матео помнит песню: ее пели на улицах Мадрида. Наверное, ее поют и здесь. Матео подхватывает:

Это есть наш последний...

Убежал певец, разошлись зеваки. Только один мальчишка остался: он стоит с поднятым кулаком. А Матео поет. Голос у него чистый и звонкий.

— Митинг о поднятии военной промышленности? Но почему от коммунистических профсоюзов три оратора, а от синдикалистов только два? Это политическая интрига...

У Химено изможденное лицо. Когда он упоминает о кознях противников, его рот скашивает нервный тик.

Просит слово «Кропоткин». Он откашлялся, поправил локоны.

— Конечно, на первом месте должны стоять наши принципы. Маноло иногда забывает, что мы не солдаты, но вольные дружинники. Однако военная промышленность заслуживает нашего внимания. Трудно воевать без снарядов...

Химено перебил его:

— Ты оторвался. Своим-то они дают снаряды! Надо поставить вопрос ребром...

— Дай мне договорить! Мы одну деревню взяли. То есть потом фашисты ее снова заняли — так все время, это страшное дело! Я с Маноло был. Возле церкви — расстрелянные: женщины, две девочки... Маноло от злобы ревел. Я ведь не военный, я вообще этого не могу видеть... Фалангисты на стене написали: «Мы перебьем всех русских!» А какие там русские? Крестьяне. Там и наши были анархисты. По-моему, Химено, надо найти компромисс, не то они нас всех перебьют. Ведь марокканец получил пять песет и режет всех без разбора... Я недавно говорил с Маркесом...

Химено засмеялся:

— Ты, «Кропоткин», — младенец! Ты знаешь, о чем мечтает такой Маркес? Как бы нас посадить за решетку. Мы с тобой вместе сидели в тюрьме, тебе я доверяю. Ты

должен следить за Маноло, чтобы он не снюхался с коммунистами...

«Кропоткин» закрыл руками лицо:

— Я с Маноло под пулями был... Разве это можно забыть?

Педро выслушал Маноло и усмехнулся:

— Автоматические ружья? Кое-что есть. Но нельзя выпускать. У коммунистов здесь тысячи три вооруженных и гвардия с ними. Фронт фронтом, а все может решиться здесь.

Маноло выругался и ушел. В комитете его не захотели выслушать: обсуждался вопрос о коллективизации парикмахерских. Он отозвал в сторону Фоскаду. Тот начал кричать:

— Я вообще за то, чтобы отозвать наших бойцов. Зачем нам сражаться за какую-то демократию? Если фашисты придут сюда, мы будем защищать каждую улицу, каждый дом...

Маноло ответил:

— Хочешь бомбы кидать? Пожалуйста, — поезжай в Сарагоссу. Эх, вы, не нюхали, что такое война, а треплете языками! Точка.

Тишина, ковры, бронза. Толстяк вынул из несгораемого шкафа сигары.

— Гаванские. Вы говорите, автоматические ружья? Это очень сложный вопрос, если угодно, это вопрос о взаимоотношениях между нами и центральным правительством, это, так сказать, разветвление основного вопроса, который...

Маноло сердито грызет горькую сигару. Наконец ему надоело слушать ласковый бас толстяка:

— С ружьями как?

— Да я об этом и говорю. Может быть, при предстоящей реконструкции правительства, если нам удастся изменить соотношение различных секторов...

Маноло швырнул сигару на ковер.

Придется ехать без ружей! Он теперь идет не глядя куда. Он забрел на окраину. Осталось еще два часа...

Ребятишки играют в войну. Одни спрятались за стену полуразрушенного дома, другие наступают. Защитники кидают в наступающих гнилую картошку. Маноло остановился; он увлечен игрой. Он кричит:

— Дурачье! Отсюда надо — с фланга...

Он перебегает через канаву. Ребята в восторге визжат. Летит картошка. Защитники, посрамленные, убежали в сарай. Выходит женщина, она качает головой:

— И не стыдно тебе? Чему-нибудь хорошему научил бы, а он их учит кидаться картошкой...

Маноло сконфуженно улыбается. Он взял на руки малыша.

— Мы, мамаша, дикими стали, это правда. Твой красавчик? Вот бы мне такого!

Ребята обступили Маноло. Один надел его шапку; другой вытащил из чехла бинокль. Маноло смеется:

— Ты куда лезешь? К револьверу? Нет, брат, это не для тебя. Это, брат, такая штука...

Бьет семь. Вот и хорошо, значит едем! Забежать только к Кончите. Она скажет: «Сумасшедший!» А потом? Потом все спокойно — фронт.

10

ГВАДАЛАХАРА

Итальянцев разместили в гимназии. Вечером приехал генерал. Он простудился в дороге и пил грог. Он долго стоял на кафедре, выжидая, когда наступит тишина: все кашляли, чихали. Жители Сигуэнсы не запомнят такой весны: мокрый снег, грязь, холод.

У генерала крохотное высохшее личико; он похож на летучую мышь. Однако он старался быть величественным и, подымая голову, показывал солдатам худую морщинистую шею.

— Легионеры Рима, вы освободили красавицу Малагу. Теперь вы освободите...

Он закашлялся и еле договорил:

— Мадрид.

Буссоли думал о бараньей туше, которую пронесли на кухню. Конечно, мяса у барана не бог весть сколько; офи-

церы могут его прикончить в один присест. Тогда плохо — снова одни макароны...

Буссоли всю свою жизнь жил впроголодь и к еде относился суеверно. Когда перепадает вкусный кусок, он мучительно думает: а что будет завтра?.. Недавно он разбудил товарища: «Окорок помнишь? В Монтилье. Когда хозяйка пошла за водой... Дураки мы!..»

Он родом из Неаполя; ему тридцать лет; у него четверо ребят, и он в страхе рассказывает: «Кажется, пятого готовит... Ты Джульетту не знаешь!» Прежде он был штукатуром — это давно, тогда еще строили дома. Он умеет лазить, как обезьяна, класть полы, доить коз. Читать его не научили; он разбирает только цифры и всегда смотрит на расписке — сколько, прежде чем поставить крестик. Он хорошо поет неаполитанские песни; от голода его голос становится томным, и поет он про любовь.

Как-то Буссоли не пошел на рождество в церковь; два дня спустя околела коза. С этим нельзя шутить! Летит пуля, она может пролететь мимо, может и убить. В Севилье солдатам выдали жалованье, и Буссоли поставил богородице большую свечу. Конечно, обидно — мошенники содрали три песеты, но умирать не охота.

Соседи говорили: «Другие разбогатели в Африке, а ты мух кормил. Смотри, теперь не прозевай!» Разве он мог подумать, что на войне так страшно? Пули, гранаты, снаряды. Кажется, все кончилось, сядешь покурить, а здесь сверху падают бомбы...

Лейтенант сказал им (это было под Малагой): «Пойдете вслед за танками». Танку хорошо — он железный. А у Буссоли жена, дети... Он забрался под мостик и пролежал там до ночи. Малагу все-таки взяли, и Буссоли с гордостью думает: это наши итальянцы! Он — фашист, у него дома большой портрет Муссолини: Муссолини красивый, не то, что этот генерал. Куда их поволокут завтра? Джованни сказал: «Мадрид брать...» Удастся ли снова куда-нибудь спрятаться? А жене ничего не платят. Этакие надувалы! Да и харч скверный. Это офицеры прикарманивают... У них каждый день курятина. Будь здесь Муссолини!.. Они от него скрывают. Сами сидят позади, а Буссоли должен брать Мадрид. Зачем ему Мадрид? Он и в Малаге ничем не поживился. У офицеров все чемоданы

набиты: часы, рубашки, меховые горжетки. А ему оставили один портсигар из фальшивого золота. Конечно, если дуче хочет, чтобы Буссоли взял Мадрид, это другое дело... Только пусть впереди идут танки, а за ними офицеры. Ради дуче Буссоли готов...

Он слышит крики: «Да здравствует дуче!..» Это генерал кончил речь. Буссоли широко раскрывает рот и вопит: «Да здравствует!..»

Потом его зовет лейтенант:

— Разыщи Манчини.

Буссоли идет вверх по крутой скользкой улице. Где же искать Манчини, как не у девок? Механическое пианино, песни, ругань.

— Лейтенант зовет...

Манчини смеется:

— Ничего, потерпит. Как говорил великий Виргилий, сначала Венера, а потом пулеметы. Ну, Буссоли, выбирай... Вот эта крошка тебя не прельщает?

Буссоли в смущении снял шапку. Он бормочет:

— Стану я зря деньги тратить. Я лучше жене пошлю...

— Это, брат, за счет испанского наследника. Ну-ка, еще бутылочку освободителям Малаги!

Глаза Манчини блестят, волосы прилипли ко лбу, белые узкие руки судорожно бьются. Манчини красив; когда он идет по улице, девушки оглядываются. Он частенько сидит на гауптвахте: пьянствует, буянит, не выходит на сборы; но в бою отличился: под Малагой весь батальон опешил, а он побежал вперед. Лейтенант поздравил Манчини, он ответил: «Мне наплевать!»

Буссоли быстро охмелел, он причмокивает:

— Вкусно!

Манчини подвел к нему девушку. Буссоли сопит и вдруг начинает стаскивать с себя сапоги:

— Разве что задарма...

Пришли фалангисты. Они тоже пьют коньяк и кричат:

— Да здравствует Италия!

— А куда пропала Кети?

Манчини выволок из соседней комнаты высокую женщину с красным рубцом на щеке. Он хочет обнять ее, но она швыряет на пол бутылку. Вбегает, запыхавшись, Джованни:

— Скорей! Выступаем...

Буссоли грустно спрашивает:

— Куда?

— Туда.

Лейтенант сказал:

— Эту усадьбу красным никогда не взять, это настоящий форт.

В лесу — батальон «Гарибальди». Два раза гарибальдийцы пробовали подойти к дому. Манчини кидает гранаты. Гранаты маленькие и яркокрасные, они похожи на игрушки. Кинешь — дымок, и кто-нибудь падает.

Манчини был в Абиссинии. Там англичане роздали винтовки босым дикарям. Ничего, управились... Одного абиссинца повесили вниз головой. Он со страху кричал: «Да здравствует дуче!» В Абиссинии было хорошо, только жарко. А здесь холод, да какой — у всех грипп. Никогда этим баранам не взять усадьбы! Наши подойдут с танками. Красные — трусы! Манчини в Малаге перебил шестерых.

У отца Манчини гостиница в Сьенне. Дела идут плохо, отец жалуется: «Прежде англичане приезжали. С англичанами нельзя ссориться — у них много денег». Он отвечает отцу: «Зато у нас дуче. Мы еще завоюем англичан, как абиссинцев». Отец хотел, чтобы он стал врачом. Послали в университет. Скука — кости, книги, экзамены... А потом что? Писать рецепты. Нет, лучше воевать! Конечно, могут убить; зато когда после боя схватишь миску с супом, и вдруг все тело чувствует — жив, жив! — вот это счастье! Ездишь по свету. Новые города. Ни о чем не нужно заботиться. Хочешь вина — пошарь в погребе, девушку — тащи...

Лейтенант сказал, что в лесу — беглые итальянцы, преступники и коммунисты. Пусть только попробуют! Манчини берет в зубы гранату — ну, подходи!..

Гарибальдийцы прозвали Качетто «барышней»; он легко краснеет — выругается кто-нибудь или посмотрит на него в упор, он тотчас вспыхнет. Ему двадцать шесть лет; отца убили на войне, воспитал его дядя, наборщик. До

прошлого года Качетто жил в Милане; он был конторщиком в банке. Никто его не замечал; он приходил во-время; что-то писал ровными, точеными буквами — ни клякс, ни описок; вежливо со всеми здоровался. О нем говорили: «Честный, но дурак». Друзей у него не было; изредка он встречался с ветеринаром Росси: они вместе мечтали о кругосветном путешествии. Потом Росси арестовали. Никто не знал, что случилось — человек исчез. Говорили, будто он раскидывал прокламации против войны в Абиссинии. Качетто никто не тронул, его даже не вызвали на допрос. Прошла неделя — исчез Качетто. Послали к нему курьера, позвонили в полицию — никто ничего не знал.

Качетто перебрался через границу. В Париже он разыскал знакомых.

— Почему ты уехал?

Он молчал. Ему нашли работу. Он жил впроголодь, но ходил всегда аккуратный, а как только выпадал свободный час, бежал в библиотеку: он любит читать. Когда началась война в Испании, он накопил денег на билет и, ни с кем не простясь, уехал.

В батальоне он считался хорошим солдатом, в точности исполнял приказы. Но он не умел скрывать своих чувств: нервничал, когда налетала авиация; увидит раненого и побледнеет. Товарищи относились к нему снисходительно: «барышня!»

Гарибальдийцы кинулись вперед. Многие падали от пулеметного огня, но никого это не останавливало. Двух фашистских пулеметчиков взяли живьем. Манчини забрался в кладовку: там был запас гранат. К кладовке никто не мог подойти — Манчини троих уложил. Он высунулся в оконце и крикнул:

— Эй, земляки, получайте гостинцы!

Качетто выбежал на дорожку. В него стреляли с чердака, он даже не согнулся. Он ворвался в кладовку и руками (винтовку он оставил на поляне) совладал с Манчини: сжал ему шею так, что тот побелел. Потом он вытащил Манчини на дорожку — теперь стреляли в обоих — доволок его до леса, связал и побежал назад к усадьбе. Вскоре все стихло: сдались последние.

Пленные сидят в лесу на ящиках. Они подымают кулаки; некоторые поют «Красное знамя». Одного майора

убили, другого ранили в ногу. Его хотели перевязать, он укусил санитара. Манчини сидит не двигаясь. Когда кто-нибудь проходит мимо, он отворачивается.

Суматоха. Считают трофеи: пулеметы, мортиры, машины. Целый арсенал забрали! В окопах перед домом жидкий снег, трупы, одеяла. Не успели опомниться, как команда: «Вперед!»

По дороге один клич: «Итальянцев бьют!» Проехала бригада Маркеса — на Бриуэгу. Крестьяне кричат: «Молодцы! Бей их!» Тащат в Мадрид итальянские танки. Хуанито раздобыл ящик сигарет. Он всех угощает, потом сам закурил и плюется:

— Империя!.. А курят дерьмо.

Товарищи обступили Качетто.

— «Барышня»-то!.. Полез — и никаких...

Качетто молча жует колбасу.

— С чего это тебя взяло?..

Он тихо отвечает:

— Я как услышал, что он кричит: «Земляки», в глазах потемнело...

Пленных отослали в Гвадалахару. Льянос отрядил с ними двадцать бойцов, среди них Хуанито и Переса.

Буссоли нюхает: кажется, будут кормить... Принесли миски. В супе мясо. Буссоли ест сосредоточенно и громко. Потом он беседует с Хуанито. Трудно, конечно, договориться, но попробуешь пять слов, одно наверняка поймет. Буссоли допытывается:

— Харч какой?

— Мясо с горохом. Вчера ел рис с курицей.

Буссоли вздыхает. Потом он спрашивает Хуанито:

— А с домами как у вас?.. Может быть, строят? Мне бы только работу...

Ночью Перес сказал Хуанито:

— Сволочи! Один рассказывал — они, как придут в город, со всеми бабами спят. А у меня там жена... Что мне теперь делать?

Перес злобно поглядел на пленных и вышел. Рядом с казармами дом, разрушенный авиацией. Мусор, доски,

битое стекло. Темно, Перес чуть не свалился в яму. Он долго топчет осколки стекла и повторяет: «Сволочи!»

Буссоли мирно храпит. Ему снится поле и корзина с розовыми помидорами.

За столом сидели Маркес, переводчик, машинистка. Ввели Манчини. Он успел оправиться; приветливо он со всеми поздоровался. Маркес подумал: красивый парень, и лицо у него хорошее. Он спрашивал Манчини о составе дивизии, о потерях, о танкетках. Манчини отвечал охотно: он гордился своими военными знаниями.

— Позвать следующего?

— Нет, погоди.

Маркес снова обратился к Манчини:

— Зачем вы сюда приехали?

— Все ехали... Муссолини сказал, что надо освободить Испанию. А потом, что мне дома делать? Здесь — война...

Он сказал это, чуть улыбаясь. Маркес глядел ему в глаза, он не опустил глаз. Маркес задумался.

— Сколько вам лет?

— Двадцать четыре. Я два года в университете потерял...

— Вы, значит, учились, привыкли думать... Я хочу понять — зачем вы сюда приехали? Вы фашист?

— У нас все записаны в партию. Это не имеет значения...

— Я видел здесь, в Гвадалахаре, женщину с ребенком, она его кормила. Прилетел ваш летчик, убил обоих. Что это?.. Я теперь вас спрашиваю не как испанский офицер, но как человек.

Манчини попрежнему улыбался.

— Поглядите в окно — развалины... В Мадриде погибли сотни детей. Жили люди, как вы, учились, работали, женатые, дети были... Ну, что ж это такое?.. Почему вы не отвечаете? Я вас спрашиваю: зачем это все?..

Манчини вытянулся по-военному и сказал глухим, безразличным голосом:

— Господин майор, я выполнял приказ. А дети или не дети — это не мое дело...

Машинистка, старая невзрачная женщина, вдруг забыла про протокол. Тридцать два года она писала, глядя только на клавиши машинки. Теперь, не выдержав, она поглядела на итальянца. Манчини почувствовал на себе ее взгляд и отвернулся.

11

В ВАЛЕНСИИ

Широкий бульвар обсажен апельсиновыми деревьями, и золотые плоды валяются на мостовой. В порту гниют горы апельсинов: никто их не берет. Беженцы спят в банковских конторах, в амбарах, в церквах. Днем они заполняют узкие коленчатые улицы, магазины, кафе.

— Есть только один выход — синдикальное правительство...

— Надо защищать не Мадрид, а побережье...

С рисовых полей идет сырой зной, и спорщики покрыты испариной.

— Мы пропали, — сказал толстяк Антонио, выйдя утром из дома, — это как пить дать, они двинутся на Кастельон и отрежут нас, — он ткнул коротким пальцем в карту, пеструю от флажков.

Как всегда, на площади Кастелар было людно, старики кормили голубей, девушки кокетничали с военными, в кафе к вермуту дали ракушки. Антонио сказал приятелю:

— Мы пойдем на Бадахос и разрежем их, это как пить дать.

На площади висит полотнище: «Отсюда всего 150 километров до фронта». Буквы давно выгорели. О войне город вспоминает ночью. Сразу гаснут огни, и только сигарета освещает путь запоздалого пешехода. Среди пальм мешки с землей. Вот завыла сирена. Глухо лают зенитки. По лестнице шлепают босые ноги; и кричит что есть мочи разбуженный ребенок.

В доме с колоннами жил богатый купец; он продавал англичанам апельсины и лук. На стене остались портреты: старик с баками, молодая женщина в кружевном чепце. На стуле, согнувшись, спит комиссар. Вчера он полз на гору

впереди своего батальона. Его не могут разбудить ни телефоны, ни щелканье машинок.

— Отошлите прожекторы в Картахену...

— Если снять бригаду, они смогут нажать...

— Тебя назначили в девятую дивизию...

— Хаен требует пулеметы...

Чертежи — авиационные моторы. Программа курсов для политкомиссаров. Листовки к марокканцам на арабском языке. Кинопередвижки для фронта. Сахар. Табак. Торпедные катеры.

К дому подъезжают машины; они пестро расписаны, это камуфляж; они в пыли и в глине. Вот кузов, пробитый пулями. Гонсалес приехал из Дон-Бенито. Семьсот километров по степи, по ухабам, по горам. Он торопил шофера.

— Каждый день бомбят, и ни одной зенитки...

В коридоре он встречает Фернандо.

— Откуда?

— Из Астурии. Только что прилетел. Надо туда забросить продовольствие...

Гостиница. Здесь живут иностранцы: дипломаты, коммерсанты, журналисты. Они жалуются на скуку и на желудочные заболевания («Ах, это оливковое масло!»); пьют коктейли, играют в покер. Юркий поляк торгует швейцарскими франками и бразильскими паспортами. Оглядываясь, нет ли поблизости официанта, он шепчет:

— Скоро Франко придет!

Подагрический дипломат рассказывает:

— Я уже видел нечто подобное... В Вологде. Откровенно говоря, ничего интересного...

Мисс Симсон приехала из Ливерпуля; у нее ослиная челюсть, а на шее прыщи. Когда раздается гудок сирены, она глотает бром и шепчет: «До чего это все монотонно!» В спокойные часы она пишет на машинке роман: «Большевик Кариба, прославленный своими зверствами, дрогнул, увидав невинные глаза молодой маркизы...»

За Эльзой ухаживали все обитатели гостиницы. Она была влюблена в испанского майора, говорила: «Если он меня бросит, я сойду с ума!» Как-то, вернувшись вечером,

она сразу прошла к себе. Это была беспокойная ночь: город обстреливали с моря; один снаряд повредил водопровод. Утром заплаканная Эльза сказала: «Он меня бросил» — и попросила минеральной воды, чтобы помыться. Два часа спустя ее арестовали. Мексиканский консул надел визитку и поехал в министерство. Ему вежливо ответили:

— Вот ее письмо с планом береговых укреплений...

На военном заводе 64 работают в три смены. Анхелина недавно поступила на завод. Отец ее был кондуктором трамвая в Мадриде. Его убило зимой: осколок бомбы попал в вагон. Анхелина кормит мать и сестренку. Она небольшого роста, бронзовая кожа, а глаза синие. Ей все говорят: «Ты — красотка!» Она отрезает: «Не время!» Она увлечена работой — в Мадриде жаловались: «Мало патронов», а она набивает гильзы. Мелькают проворные руки. Сегодня мастер принес с базара розы:

— Анхелина, это тебе...

Она даже не поглядела.

Ничего не изменилось в жизни акцизного чиновника Рамоса. Как прежде, он ходит на службу. Те же лица, те же цифры. Иногда жена жалуется: «Мяса не достать», или: «Надо запасаться рисом, говорят, анархисты выступят». Рамос отвечает: «Ничего не поделаешь — война». Он читает вслух газету: «Наша доблестная авиация...» Жена вяжет. Потом они говорят о своих делах: Рафаэль получил по математике плохую отметку, за Хуанитой ухаживает сын Педрина. Когда ночью бывает тревога, они молча сходят в погреб. Они привыкли к войне, и только одно их смущает: пришлось потесниться — в комнате Рафаэля поселился беженец, какой-то ученый.

Валье помолодел, глаза стали живыми, походка легкой. Попрежнему его стол завален книгами. Он описывает чудесный век палеотерия. Утром, волнуясь, он разворачивает газету — Мадрид держится. Он поздно возвращается домой, и это пугает Рамосов. Композитор Плаха, встретив Валье, не сразу его узнал:

— Что с вами?

Валье стесненно улыбнулся. Его жизнь стала сложной и непонятной. На столе среди листов рукописи лежит начатое письмо. «Тереса! Я счастлив, и я ненавижу это счастье...»

Тереса Маркес жила до войны спокойно, мало о чем думая. Она вышла замуж, когда ей было девятнадцать лет. Маркес не показывал своих чувств, он стыдился не только слабости, но и счастья. Тересу он любил мучительно и ревниво, но она часто спрашивала себя — зачем я ему? Родился ребенок. Тереса страстно за ним ухаживала. Андрес рос. Он начал играть с другими детьми; убегал от матери в сад. Только когда он хворал, Тереса снова чувствовала, что ее жизнь оправдана.

Началась война. Маркес сразу ушел на фронт. Тереса не спала, прислушиваясь к шагам на лестнице. Она пошла работать в 5-й полк. Когда Маркес приезжал на несколько часов, она не отходила от него. До чего он изменился! Громко разговаривает, смеется, по-другому ест. Рядом с ней был чужой человек. Ей хотелось крикнуть: «Возьми меня с собой!» Она понимала, что это глупо, и беспомощно повторяла: «Только будь осторожней! Ради Андреса...» Он тоже не знал, что ей сказать. Он в тоске целовал ее руки, а минуту спустя рассказывал, как они поймали двух рекете, и смеялся.

Маркес отправил семью в Валенсию. Тереса поместила Андреса в детскую колонию, а себе нашла комнату у старухи. Это крохотная каморка, похожая на тюремную камеру: беленые стены, узкая койка, распятье. Тереса работала в редакции: вырезывала из английских газет статьи об Испании. Она никогда не дочитывала до конца этих статей, не читала и газеты, где работала. Еще до войны Маркес пробовал говорить с ней о политике. Она слушала, чтобы не обидеть его. Теперь она думала: почему люди убивают друг друга? Она чувствовала себя одинокой и несчастной. Перед отъездом из Мадрида она видела Маркеса; он даже не посмотрел на нее. По воскресеньям она ездила к Андресу. С завистью она глядела на воспитательниц: они отняли у нее последнюю радость.

Тересе тридцать один год. Она высокая, русые волосы, серые глаза. Ее часто принимают за иностранку. Когда она улыбается, ее нельзя узнать — девчонка, готовая на любую шалость.

С Валье она познакомилась в редакции, он принес статью об охране научных институтов. Валье поглядел на Тересу и подумал: «Славная...» Они вместе вышли из редакции. Валье говорил о Веласкесе, о весне в Андалузии, о народной музыке. Тереса знала, что Валье — знаменитый ученый, и ей льстило, что он пошел ее проводить.

Они стали часто встречаться. Валье много рассказывал; в эти рассказы он вкладывал всю свою жизнь: книги, города, встречи. Тереса как-то попросила:

— Расскажите о вашей работе.

Он замахал рукой:

— Увольте! Вот этого не умею...

Он никогда не говорил ей о своем чувстве, но о чем бы он ни говорил, во всем сказывалась тяжелая, громоздкая страсть стареющего человека. Тереса понимала все и без слов. Она думала: надо оборвать... Так можно зайти далеко. А муж? Как-то Валье поцеловал ее руку. Она сказала:

— Мы не должны больше встречаться.

Она написала Маркесу письмо, нежное и растерянное. Он не ответил: это было во время боев на Хараме. Она не встречалась с Валье две недели, потом не выдержала и разыскала его. Она успокаивала себя: теперь война, все живут не так, как надо.

Рамосы не знали, что делает по ночам их жилец. Расставаясь с Тересой, Валье бродил по темным пустым улицам. Он был счастлив и боялся этого счастья. Тогда-то он начал письмо Тересе, но так и не дописал его.

Ночь была сырой и душной. Цвели деревья, приторный запах путал мысли. Валье, как всегда, довел Тересу до дому, а потом, не простясь, пропал в темноте.

Напрасно Тереса искала его в Доме культуры, писала записки; Валье не показывался. Тереса переменилась. Она стала болтливой, много смеялась. За ней ухаживали, приглашали ее в кафе. Но на сердце у нее было пусто.

Прошел месяц. Тересу провожал молодой инженер; его все зовут по имени — Хорхе. Он шел в темноте, крепко

прижав ее руку к себе. Она вынула из сумки ключ и отвернулась. Он хотел войти в дом. Она поспешно сказала:

— Нельзя! Старуха увидит.

Он все же вошел. Она стояла возле окна, не поворачиваясь к нему.

— Почему нельзя? Теперь такое время... Завтра прилетит какой-нибудь «капрони»... Тереса!..

У Хорхе по-детски надутые губы; он старается говорить как можно серьезней. Он неловко обнял Тересу. Она его не оттолкнула.

Потом она плачет. Он виновато говорит:

— Я не хотел...

Она закрыла ему ладонью рот. Он смотрит (она погасила свет, но окно раскрыто — луна), Тереса улыбается.

— Теперь уходи, старуха рано встает...

Тереса проснулась утром и сразу все вспомнила. Она рассмеялась от счастья. Долго она шла по солнечной стороне улицы. Она купила на базаре смешной кувшин с единорогом и букет роз. Дома она удивилась: зачем я это купила? И сейчас же подумала: вечером придет Хорхе.

В тот самый день она получила телеграмму от Маркеса: он тревожился, почему от нее нет писем. Маркес любил письма Тересы, сбивчивые и грустные; читая их, он слышал ее голос. Он носит их в кармане среди военных приказов и крошек табаку, как талисман.

Тереса знала — надо сейчас же ответить. Она писала о мелочах, о старухе, которая боится анархистов, о кувшине с единорогом, о погоде — в Валенсии уже лето, она вчера купалась... Вероятно, все, о чем она не хотела писать, чувствовалось в этих пустых, ничего не значащих фразах. Маркес получил ее письмо после того, как был ранен, в госпитале.

Они почти не разговаривали друг с другом. Тереса знала, как Хорхе смеется, как спит, чуть приоткрыв рот, как его веселые глаза вдруг темнеют. Но она ничего не знала об его жизни. Он должен был вскоре уехать на

фронт, ходил на какие-то курсы. Тереса раскрыла тетрадь: пушки, цифры... Она не спрашивала, чему он учится. Она была счастлива, что он рядом. Никогда прежде ей не бывало так легко и просто.

Счастье кончилось негаданно, как началось. Хорхе спал. Она не могла уснуть. Сначала она беспечно подумала, не следует на ночь пить кофе. Часто билось сердце. Ею завладела тревога. Вдруг ей показалось, что Маркеса убили. Она видела его мертвым — кровь на щеке, а брови, как всегда, приподняты. Если его убили, виновата она... Почему? Война, всех убивают... Да, но он на фронте, а она... Это Валье ее погубил, он слишком ласково разговаривал, она потеряла голову. А потом пришел Хорхе...

Тереса, приподнявшись, смотрит на Хорхе. Он ровно дышит. Нет, она не может с ним расстаться, это все равно, что умереть! А Маркес?.. Что же ей делать? Она пытается уснуть, легла на бок, крепко сжала веки. Кричат петухи. (В Валенсии много петухов, ночью они стараются перекричать один другого.) Тереса думает: почему они кричат?.. Она полна суеверного страха. Она снова видит Маркеса. Он сидит усталый на земле и рукавом вытирает лоб. Он смотрит на Тересу. Она молчит. Она не может дольше молчать! Тереса вскрикнула. Хорхе проснулся, смешно потер рукавом глаза и потянулся, чтобы поцеловать ее. Она вскочила:

— Нет! Уходи...

Он спрашивал, уговаривал, просил. Она молчала. Пуще всего она боялась взглянуть на него. Только когда он ушел, она громко заплакала.

Много дней Тереса пролежала в своей каморке с закрытыми ставнями. Когда она вышла на улицу, у нее закружилась голова от солнца. Она поехала за сыном.

— Я его возьму до понедельника.

Андрес вырос, загорел. Он теперь пионер, с гордостью он показал матери красный галстук. Говорит только о войне: «разведка боем, обходное движение, лобовой удар»; смеется над матерью:

— Это не пушки, а зенитки.

Они пошли гулять к морю. Андрес бегал по камням и

расшиб до крови колено. Он не вскрикнул, не пожаловался. Тереса вдруг начала его целовать. Он обрадовался, но сказал:

— Мама, все смотрят...

Это было в пятницу, а в субботу приехал Маркес. Приехал он днем, но не пошел к Тересе, послал Хуанито предупредить, что освободится только к вечеру.

Он нерешительно постучался. Тереса волновалась, переставляла чашки с места на место, закрыла окно, потом снова открыла. Вдруг он заметит?.. Ни за что она не скажет правды! Ему не до этого... Она принудила себя быть веселой, шутила, передразнивала товарищей по редакции. Помогало присутствие Андреса. Он не отходил от отца.

— Погоди, мама!.. Как на Гвадалахаре было?

Он все знал: какие бригады дрались, где был отец, сколько отобрали у итальянцев танкеток.

Андреса уложили. Они молчат. Каждый думает о своем. Маркес вздрогнул: вот и кувшин!.. Он хочет спросить: это правда?.. Он посмотрел на Тересу. Как она плохо выглядит! Бледная, под глазами круги. Ей нелегко... Маркес подошел к ней и, ни слова не говоря, поцеловал ее в щеку. Она расплакалась.

Потом она попросила:

— Расскажи, как там?

Он долго говорил: холодные ночи, заботы — надо было гнать противника дальше, а нехватало грузовиков, говорил о боях, о победе, о пустяках — как Льянос нянчился с котом, как итальянцы, удирая, оставили на печи макароны.

— В Каса де Кампо наши замечательно дрались. Только людей жаль — большие потери...

— Ты знаешь, я в этом ничего не понимаю... Но ты мне все-таки объясни... Вот Андрес... У ребенка корь, и то не спишь, а потом вырастет и на войну... Зачем?

Он не сразу ответил, он закурил, отошел к окну. Он говорил волнуясь:

— Я в Гвадалахаре допрашивал итальянца. Хорошее лицо, молодой, студент. Я его спросил, как ты: «Зачем? Дети в Мадриде...» Знаешь, что он ответил? «Это меня не касается». Разве это люди? Да если они победят, они из

Андреса такого же негодяя сделают! Я товарищам рассказал. Мы с этим в бой шли... Бриуэгу тогда взяли...

Тереса доверчиво слушает: ей теперь спокойно. Вдруг Маркес встает:

— Мне надо в штаб — совещание.

Маркес послал Хуанито на завод с письмом. Он хотел уехать в тот же вечер, но его задержали до понедельника. Он пошел в комитет партии. Там обрадовались:

— Завтра уходит новая бригада. Ты скажи им несколько слов.

На один час Валенсия переменилась: исчезли дамы, адвокаты, спекулянты. Народ громкий, возбужденный. Все говорят о недавней победе: итальянцев разбили... Пришли рабочие со знаменами союзов: металлисты, типографы, булочники, портные. Девушки натащили на площадь цветов, и запах разогретых солнцем роз смешивается с запахом бензина: идут новые грузовики. Вот и бригада, все молодежь, крестьяне из Аликанте, из Гандии, из Мурсии. На трибуне — Маркес. Рядом с ним разодранное, выгоревшее знамя 5-го полка. Подходя к трибуне, солдаты начинают отбивать шаги; их тела выпрямляются; они поворачивают головы к Маркесу: восхищенно они смотрят на клочок кумача — под этим знаменем дрались те, первые, возле Гвадаррамы, когда не было ни пушек, ни пулеметов, ни винтовок. А теперь... Теперь у нас танки, бомбардировщики. Раз-два. Раз-два. Шаги сливаются, как будто по площади проходит великан в железной обуви, и вдруг, без команды, из двух тысяч глоток вырывается «Интернационал».

Среди артиллеристов — Хорхе. Как все, он восторженно смотрит на Маркеса. Он знает, что Маркес — муж Тересы, но он об этом не думает. Он поет, и песня отдается в виске под горячим полуденным солнцем.

Что не изменилось — это море; такое же оно синее, как и тысячу лет назад, так же равномерно вздыхает. Этот шум успокаивает Валье. Недавно он стоял на площади, любовался осанкой Маркеса, вместе с другими кричал:

«Да здравствует народная армия!» Возле трибуны он увидел Тересу. Она стояла отвернувшись и теребила платок. Валье кажется, что он за эти месяцы прожил вторую жизнь, во второй раз состарился. Он хорошо сделал, что тогда ушел... Счастье не для него.

Вчера он закончил книгу о палеотерии. Он думает: а что мне с ней делать? И вдруг, смеясь, начинает швырять в море камешки. Все очень просто: он положит рукопись в шкаф и начнет другую книгу. Отвоюют и вспомнят о палеонтологии. Так всегда бывало; надо только соблюдать порядок. Неправда, что счастье не для него. Разве сейчас он не счастлив? Он смутно припоминает пенье на площади; оно сливается с гулом моря. Он лег, запустил руку в теплый песок и греется на вечернем солнце, как огромная ящерица.

На пляже пусто. Возле камней сидят Хуанито и Анхелина. Они познакомились вчера на заводе. Хуанито сразу подкупил Анхелину рассказами про Мадрид — она тоскует по родному городу.

Она говорит:

— Прибой...

— Разве это прибой? Я до войны был в Сан-Себастьяне. Я туда на сезон ездил с инструментами. Вот там прибой!

Она смотрит на его веселое курносое лицо и смеется. Чем-то он сумел ее обольстить; ведь она всем отвечала: «Не время», а с Хуанито пошла на пляж. Он ее обнял, она только вздохнула.

— Когда в Мадрид едешь?

— Сегодня вечером. С командиром. Мы теперь в Университетском городке стоим. Знаешь?

— Конечно, знаю, там недалеко тетка жила. Слушай, а не убьют тебя? У меня отца убили...

— Глупая, зачем это меня убьют? Я их буду бить. Я теперь с гранатами здорово наловчился. Смотри!..

Он бросил в море камень. Больше они не говорили о смерти. Он ее поцеловал. Она оглянулась — никого нет, и крепко прижалась к нему.

Шагах в ста от них на опрокинутой лодке сидит голый мальчик. Это Андрес. Он смотрит, задумавшись, на море; вдалеке дым и паруса.

12

СУДЬБА ВАЛЬТЕРА

Город спал. Маслины под луной казались серебряными. Из пасти дельфина струилась вода. На фасаде собора ангел сжимал каменную лютню. Раздался взрыв. Все выбежали из домов полураздетые. Одна бомба попала в церковь, — и ангел бился среди огня. Люди бросились прочь от города; некоторые тащили одеяла, узлы, клетки с птицами.

Бомбардировщики улетели на заправку. Тишина, и снова грохот. Женщины прижимают к земле детей. Одна стала на колени, молится. Крикнул грудной младенец; мать цыкает: «Тс-с-с!» Третий залет, четвертый...

Потом рассвело, солнце быстро согрело землю. Андалузская весна — цветут дикие гиацинты, нарциссы; тысячи различных запахов; все горячее, пестрое, яркое. Носятся жаворонки. Согнувшись от страха, люди идут назад в город. Собор еще дымится; на земле ангел, у него черные обугленные руки. Перед домом туловище Гонсалеса без головы; одна нога босая: Гонсалес одевался. Из-под камней вытащили девочку; открыт рот; на лице синие пятна. Старик Карреро смотрит: вместо дома — мусор; у него помутился рассудок; он сел на кучу и запел. Соседки плачут.

Дня через два расчистили улицы. Аптекарь закрыл окна тюфяками. Начали работать на прядильне. Открылись лавочки. Цырюльник Рубио мылит щеки. В субботу, как всегда, приехали на базар крестьяне, привезли козий сыр, помидоры, чеснок. Днем город живет привычной жизнью: на солнце греются старики в широкополых шляпах, гуляют девушки, мальчишки продают лотерейные билеты. Но только зайдет за гору солнце, как улицы сразу пустеют: все уходят в поле. Теперь ночуют подальше от города — одна бомба упала возле кладбища и убила двух женщин. Поздно показывается ущербная луна. Город обычно бомбят незадолго до рассвета. Сильварио с утра жаловался: «Плохо мне, жжет внутри». Его все же увели — как оставить одного?.. Он дошел до мельницы и умер. Жена кривого Педро вчера родила в поле. Она кричала, а мать пришептывала:

— Не кричи — услышат...

Вчера город бомбили днем. Все с опаской поглядывают на небо — солнце не слаще луны.

— Летят!

Три бомбардировщика, истребители. Вдруг выбегает Педро:

— Наши!

Люди, забыв страх, повысыпали на улицы. Десяток истребителей идет с севера навстречу фашистам. Бомбардировщики описали полукруг и скрылись; они не скинули ни одной бомбы. А в небе бой. Один самолет падает, и город ревет от радости:

— Сбили!

Другой! Нет, этот упал, а потом поднялся. Над ним — наш. Или не наш?.. Солдат говорит:

— Наш — курносый...

— Еще сбили...

— Чего радуешься — это наш.

Не понять, где наши, где враги; вертятся, кувыркаются; трескотня, гул; и вдруг — никого, все пропали.

За горой нашли остатки двух «фиатов»; летчики погибли. Сбит один наш. Летчик спустился на парашюте. Когда его отыскали, он чесал бок и смеялся. Его понесли на руках в город. Женщина совала ему кувшин с молоком:

— Пей, милый! Парное...

Все спрашивали: как сбил? Корнехо рассказывает:

— Вижу, ведомые отстали. Я — назад. Потом «пикнул» его, до земли догнал. Он, конечно, маневрирует, но я эти фокусы знаю. Он вверх, и я. Тут Пашков дал очередь. Я его бросил, только когда огонь увидал...

Женщина спрашивает:

— И не страшно?

— Снизу глядеть страшней. Я свое знаю — гляди в оба. Видишь, мамаша, какая у меня шея. Мы ведь шеей работаем...

Он выпил молока и пошел в штаб. Женщина его догнала.

— Тебе что, мамаша?

— Ничего... Спасибо сказать...

Вечером все остались в городе: теперь не прилетят! Кривой Педро макает хлеб в красное вино.

— Здорово их облупили!

Цырюльник Рубио отвечает:

— Если каждый день так, они быстро выветрятся.

— Им новых пришлют. Сволочи люди! У нас управляющий был из Хаена. Это давно, я тогда мальчишкой был. Он что сделал? Растолок стекло, посыпал на мясо и — собаке. Ее кровью рвет, а он стоит обхохатывается. Вот и эти так... Порода!..

В комнате темно. За перегородкой ворочается жена Педро; она еще не оправилась после родов. Рубио говорит:

— А я как увижу такое, ночь не сплю — думаю. Голодные они, что ли? Поел ты, выпил вина, отдохнул, не пойдешь ты после этого детей давить. Дай каждому осла, домишко, маслин, чтобы на табак было, и пускай все живут, как хотят...

— Они и живут. Нам только жизни нет. Бить их надо, вот что! Правильно летчик говорил: ворочай шеей. Без разговоров. Поправится жена, я тоже пойду. Я их одним глазом высмотрю...

Проснулся ребенок, закричал. Педро принес его и качает. Мальчик успокоился; на губах у него радужные пузыри.

Батальон Вальтера стоит на гребне гор. Напротив — враг. Между ними зеленая долина; камни, козы, цветы. Каждую ночь приползают крестьяне из деревень, занятых фашистами. Вчера Ян чуть было одного не убил. Это старик, ему под шестьдесят, но он еще крепкий. Зовут его Марин.

— Мальчишка со мной, сын. Он сейчас коз гонит к часовне. Мы сговорились — я посвищу, он тогда пройдет.

Марина отвели к Вальтеру. Он протянул сухую жилистую руку и сказал:

— Я с Пепе работаю. Пепе знаешь? Третьего дня поезд под откос пустили. Итальянцы ехали. Шума сколько было! Смехота... Я сначала один в горах был, с сынишкой. Зря ходили, только что одного гвардейца застукал. Потом встретил Курро, он говорит: «Идем с Пепе работать, у нас динамит...»

Пришел сын Марина, мальчик лет двенадцати. Он пригнал сто семьдесят коз.

— Графские, из экономии. Пепе сказал: «Нашим пригони». Расписку дай. Только правильно пиши, мы читать не умеем, а Пепе прочтет.

Марин с восхищением разглядывает револьвер Вальтера:

— Хорошая штука!

— Итальянский. Полковника убили... Держи. Держи, тебе говорят! У меня есть другой не хуже!

Марин, растерянный, берет револьвер, потом улыбается:

— Вот и взял. У нас с этим плохо. Итальянский, говоришь? Мы когда поезд свернули, у них человек сто спаслось. Разбежались, как тараканы. А здесь можно было ухлопать... Они что делают? Приедут в деревню, баб в сторону и бац, бац... У меня старшего сына убили. Он ученый был. Я у него в кармане приказ нашел с печатью. Он у нас в деревне главным коммунистом был...

Марин достал из большого рыжего кошелька аккуратно сложенную бумажку. Это билет на вход в Народный дом имени Маркса.

— Написано что?

Вальтер бормочет:

— Приказ.

Он обнял Марина. Мальчик дергает отца за рукав:

— Идем, скоро светать начнет!

Фашисты наступают. В городе никого не осталось, кроме штаба и глухой старухи. Окопы возле самой прядильни. Что прежде пощадили бомбы, разрушают снаряды. На колокольне было гнездо аиста; колокольню сбили; среди мусора валяется мертвая птица с раскрытым клювом. Орудия громят прядильню; пробили стены. Каждую ночь марокканцы выползают из окопов. Город прикрывает батальон горняков. Девять дней, десять, одиннадцать... Люди забыли, что такое сон; у всех красные, распухшие глаза; замучили вши; есть нечего — одни сухари.

Неприятель решил окружить город. Он нажимает теперь на шоссе. Дорогу защищает батальон Вальтера. Вчера потеряли кладбище, сегодня утром снова заняли.

Снаряды разворотили могилы; торчат кости, а рядом — трупы: некогда хоронить.

— Надо очистить город. Подкреплений нет и не будет. Люди устали. Если они захватят дорогу, все окажутся в мышеловке. А как ты хочешь ее удержать? У них по меньшей мере четыре тысячи марокканцев.

Вальтер отвечает:

— Есть приказ, значит и разговаривать не о чем.

— Они еще подкинули. Ночью снова полезут.

— Вздор! Вот сигарет бы достать — это дело...

Ночь холодная. Тихо. И вдруг — огонь. Такого еще не было... Фашисты решили во что бы то ни стало прорваться на шоссе. Наши отвечают слабо: мало снарядов, берегут. Марокканцы закидали окопы гранатами. Атаку все же отбили.

Утром к Вальтеру прибежал Гомес. Он не может говорить от волнения.

— Ушли...

Напротив — пустые окопы; трупы, тюфяки, проволока. Две недели боев сломили противника, ночная атака прикрывала отступление.

— Вперед!

Они прошли за день двенадцать километров. Фашисты, отступая, изредка открывали вялый огонь. На ночь разместились в деревне. Когда марокканцы наступали, крестьяне разбежались кто куда. Теперь они вернулись в деревню; несут бойцам вино, хлеб, яйца.

Вальтера позвали к себе испанцы. Командир батальона Пардо — молодой шахтер из Линареса. Он спрашивает Вальтера:

— А ты в Москве был?

— Был.

Они молча едят.

— Ты, может быть, и Сталина видел?

— Два раза. Он на трибуне стоял.

Пардо отодвигает тарелку:

— Умирать не хочется!.. Ничего я еще в жизни не видел...

Вальтер смеется:

— А зачем умирать? Вздор!

— Здорово ты по-испански научился.

Горняки смеются:

— Какой он немец, он испанец! Гляди — из кувшина пьет, ни капли не пролил.

— А ты испанские песни умеешь петь?

Они поют хором. Мелодия грустная, но всем весело. Они поют о том, что никогда, никогда не пройдут мавры через Французский мост. Куда им, они и на дорогу не вышли!.. Все забыли ночи в окопах, дождь, голод; даже спать неохота; поют, кричат, дурачатся.

— Слушай, Вальтер, ты что будешь делать, когда война кончится?

— Уеду.

— Зачем тебе уезжать? Ты теперь испанец. У нас хорошо будет...

— А у меня? Нет, я еще повоюю.

Пардо смущенно говорит:

— Тогда и мы к вам поедем... Как ты...

Теперь они поют о садах Гренады, о насмешливой девушке, о пастухе, который нашел золотую подкову. Вальтер сегодня веселый; ничего у него нет позади — ни разгрома, ни тюрем, ни одиночества. Луиза жива, она скоро приедет в Испанию. Город отстояли. Скоро возьмем Кордову. Вокруг хорошие, храбрые люди. Фриц говорит: «дети». Конечно, дети. А что лучше детей? Вот Вальтер и нашел счастье в маленькой, наполовину разрушенной деревушке.

Где-то блеет овца. Вальтер лежит на мокрой соломе и в темноте улыбается.

Вальтер умер, не проснувшись: осколок бомбы раздробил череп. Возле гроба стоит поляк Ян и сморкается: его душат слезы.

На рассвете батальон выступил. Ковалевич собрал всех.

— Командир...

Неизвестно, что он хотел сказать. Он молча постоял, махнул рукой и крикнул:

— Вперед!..

Вчера батальон шел с песнями; сейчас тихо. У всех в голове одно: командир... После обеда дошли до первых

позиций неприятеля. Надо было взять гору. Дрались ожесточенно; лезли под огонь. Фашисты отступили.

Вечер. Все сидят возле костров.

— Командир...

Тело Вальтера отвезли в город. Только вчера отогнали фашистов, а город уже очнулся. Приходят жители. Кое-где расчищают улицы, чтобы пройти к уцелевшим домам. Работницы осматривают машины: четыре станка попорчены.

Гроб встречает полковник. Он стоит, вытянувшись, кулак у козырька; от волнения дрожат губы. Потом робко подходят работницы. Они нарвали в поле маков; кажется, что гроб забрызган кровью. Все молчат. Наконец Ян спрашивает:

— Куда нести?

Гроб поставили в школе. Потолок пробит бомбой. Буйное солнце в зале; жужжат шмели. Одна работница тихо говорит полковнику:

— Завтра станем на работу — военный заказ... — И вдруг прибавляет: — Немца жалко.

Гроб повезли в Валенсию. В деревнях прибегали крестьяне:

— Кого везут?

Ян отвечал:

— Солдата.

Женщины с кувшинами на голове останавливались и всхлипывали. В одной деревне безногий старик заиграл на трубе зорю. Начались горы; шумели весенние ручьи; пахло мятой. Пастухи снимали шапки, и звонко звенели колокольчики. В степях Ла Манчи дул теплый ветер. Легкая серебряная пыль, как туман, застилала дорогу. Бросая лопаты, крестьяне подымали кулаки. Женщины говорили ребятам: «Видишь». Никто не знал, кого везут, и Ян, как прежде, коротко отвечал: «Солдата».

Проехали Альбасете, где находился штаб интернациональной бригады. Пришли немцы, англичане, французы; все пели на разных языках «Интернационал». Раненый негр с марлей на голове тихо повторял:

— Товарищ Вальтер!..

Он был с Вальтером под Теруэлем.

В Валенсии перед гробом шли музыканты; солдаты молча отдавали честь; не колыхались приспущенные флаги.

Речь должен был произнести Лавиада. Он знал, что над гробом принято говорить о жизни человека. Он спросил Фрица:

— Что он до войны делал?

Фриц ответил:

— Не знаю.—И потом добавил:—Что делал—воевал...

Лавиада не умеет говорить. Это астуриец; он был забойщиком; теперь он танкист. Он помнит сухое, костистое лицо Вальтера, шрам на лбу, ровный голос и вдруг (это, чтобы не выдать своих чувств): «вздор».

Лавиада говорит:

— Товарищ Вальтер пришел к нам на помощь. Он всю свою жизнь воевал против фашистов и умер на войне.

Позади кто-то плачет. Темная зелень лавра, розы, штыки.

13

МАНОЛО МНОГОЕ ПОНЯЛ

Деревня Вега лежит на крутой горе. В знойный день женщины, обливаясь потом, тащат наверх кувшины с водой. В домах пусто, темно; зимой крестьяне жгут хворост, и стены закопчены. Один дом почище других — занавески, часы с боем. Здесь жил священник. Теперь здесь помещается комитет; сидит Хасинто, перед ним револьвер и большая печать. До войны все ходили в церковь; священник был строгий, он говорил бабам: «Будешь, стерва, на вечном огне гореть», а детей бил по щекам. Жили бедно; работали на графа; управляющий платил песету за день. Богачом считался Виньес: у него был мул. Школы в Веге нет, и грамотных мало. Сын Виньеса Альфонсо учился четыре года в духовном училище; он писал письма за всю деревню.

Когда началась война, в других деревнях ходили с флагами, пели. В Веге никто рта не раскрыл — ждали, что будет. Пришли дружинники, спрашивают: «Где у вас комитет?» Посмеялись и ушли. А вскоре приехал Хасинто.

Его отвели в дом священника, принесли молока, яиц — думали ублажить; но он сразу стал наводить порядок:

— У кого деньги есть, неси сюда.

Никто не знает, откуда взялся Хасинто. Одни говорят, что он был боцманом и объездил чуть ли не весь свет, другие — что он сидел в тюрьме за налеты. Когда стали записывать добровольцев, Хасинто пошел в «Железную колонну». С месяц он просидел под Теруэлем, потом ему надоело воевать; он заехал в Вегу и там остался.

Крестьяне Веги работают, как прежде, от зари до зари. Вместо управляющего теперь — комитет. Заправляет всем Хасинто; у него помощники: Санчес и Альфонсо. Деньги комитет отменил. Крестьянам выдают талоны — на хлеб, на молоко, на спички. Хасинто осмотрел каждого и записал в тетрадку, сколько кому давать хлеба. Вначале люди жаловались, но Санчес всем отвечал:

— Не я высчитал — Хасинто, а он понимает...

Недавно в комитет пришла баба, просит молока, Хасинто говорит:

— Тебе молоко ни к чему, у тебя дыхание хорошее.

Сахар Хасинто поделил между членами комитета:

— Мы головой работаем, нам без фосфора невозможно.

Кое-кто из молодых уверовал, что Хасинто святой человек. Своим приверженцам он роздал ружья, револьверы. Альфонсо выписал брошюру Бакунина. Он ее прочитал раз десять и всем теперь говорит: «Суть в безначалье». В комитете он повесил таблицу, сколько кому причитается растительного масла или табаку, а наверху написал: «Распределение земных плодов».

Беда пошла от Аны, вдовы солдата, убитого в Африке. Альфонсо ей дал талон на табак. Она этот талон выменяла на две кружки молока. Ее вызвали в комитет. Альфонсо спрашивает:

— Презренные серебренники хочешь воскресить?

— А что мне с табаком делать? У меня дочка слабая...

Хасинто крикнул:

— Ты мне зубов не заговаривай! Девочка свое получает по плану. Не хочешь курить, верни талончик. А за спекуляцию вот что полагается...

Он постучал револьвером по столу. Ана выбежала и завопила:

— Убивают! За кружку молока! А сами пьют кофе с сахаром...

Собрался народ. Пабло крикнул:

— Разогнать комитет!

Хасинто собрал своих:

— Назад хотят повернуть. Графа им надо...

Ану заперли в сарай при доме священника. Деревня взволновалась. Вечером к комитету пришли женщины:

— Ану отпустите! Не то мы вас подожжем.

Санчес испугался:

— Пальни разок в воздух.

Альфонсо выстрелил и ранил старуху. Женщины разбежались. Санчес пошел домой, но сейчас же прибежал назад:

— Они ружья достали!.. Пабло кричит: «Мы их всех перебьем!»

Хасинто сказал Альфонсо:

— Беги в Фуэнте — там ребята Маноло. Скажешь, что фашисты выступили. Только живей! А ты из деревни выскочишь?

Альфонсо усмехнулся:

— Чтобы я, анархист, баб испугался?

В полдень приехали два грузовика с солдатами. Альфонсо шел впереди, он показывал дорогу. Пабло караулил на колокольне. Он выстрелил. Альфонсо упал навзничь. Тогда солдаты начали стрелять. Из комитета выбежал Хасинто:

— Сюда!

Пабло стащили; он отбивается, все лицо в крови. Крестьян загнали на площадь перед церковью. С Аной еле справились — она кусалась. Плачут дети. Солдаты ругаются:

— Мы за них кровь проливаем, а они с фашистами спутались.

— Сами вы фашисты! Николаса убили. Детей кто будет кормить?

Внизу гудит машина — это приехал Маноло.

— Кто стрелял?

— Фашисты. Назад хотят повернуть... Вот главный.

Хасинто показывает на Пабло; тот вытирает рукавом лицо и плюется. Маноло подошел к нему:

— Ты стрелял? Говори.

— А что говорить? У вас рука руку моет. Я до войны солому ел и теперь ем, вот я какой фашист. А они за ячмень три тысячи получили. У меня мальчик больной, я его хотел к доктору везти, а Хасинто отвечает: «Его природа лечит». Потом твои приехали... Николаса убили. Стреляй, хуже мне не будет. Насмотрелся я на вашу свободу!

Крестьяне кричат:

— Правильно!

Маноло смотрит на Хасинто и вдруг тихо спрашивает:

— Ты что — сумасшедший или подлец?

Хасинто завопил:

— Я в тюрьме сидел за идеи! Мы революцию проводим, а они Альфонсо убили. Назад гнут! С попами снюхались!..

Один из солдат говорит:

— И Маноло с ними...

Это Луис.

Маноло командует:

— Вниз! На дорогу.

Ушли не все, человек десять осталось. Хасинто их подговаривает:

— Бей фашистов!

Маноло выстрелил в упор. Хасинто не успел даже вскрикнуть. Солдаты медленно спускаются с горы на дорогу.

Маноло идет в дом Николаса. На земляном полу сидит женщина, рядом с ней три девочки. Темно, грязно; куры бродят; пахнет кислым молоком. Женщина спрашивает:

— Ты начальник?

Он кивает головой. Он взял на руки девочку, она испугалась и кричит.

— Кормить их кто будет?

Он молчит.

— Кормить их кто будет?

Он бормочет:

— Я этого не оставлю... Министру напишу... Сам буду...

Он не знает, что сказать. Он сел на землю возле женщины. Он просидел так с час, грыз щепку и молчал. Потом прошел по деревне; крестьяне, увидав его, расступились; никто не сказал ни слова. Внизу, возле грузовиков, сидели солдаты; они молча глядели на Маноло.

Он ехал в открытой машине. Горячий ветер жег лицо. В Фуэнте товарищи спросили: «Как?» Он не ответил, сразу сел за работу.

Проснувшись среди ночи, он вспомнил женщину. Хоть бы она плакала! Свои убили... Маноло встал. Бойцы спят. Он увидел Луиса. Луис был с ним под Уэской, они вместе удирали из Македы, вместе потом били фашистов. А теперь... В злобе Маноло говорит:

— Эх, вы!.. Товарищи...

Никто не шевельнулся — спят.

Обсуждали предложение Маноло: ночной атакой выбить фашистов из деревни Рио Кларо. Собрались все: Маноло, начальник штаба Морено, «Кропоткин», офицеры. Маноло сказал:

— У них там человек сто...

Его перебил «Кропоткин»:

— Надо сперва поговорить о Веге. Бойцы недовольны. Я связался по телефону с Барселоной... Говорят, что Хасинто был хорошим работником. По-моему, Маноло, ты погорячился...

Маноло ответил:

— Хасинто твой — бандит. А мы не для этого собрались. Хочешь говорить о Рио Кларо, говори.

На следующее утро Маноло пришел к «Кропоткину»:

— Придется тебе уехать. Ты на меня не сердись. Ты хороший человек. Эх, если бы все такими были! Ты вот над Хасинто плачешь. А здесь, «Кропоткин», война, здесь тебе нечего делать. Пиши книги, победим — будет что читать.

«Кропоткин» лопотал:

— О чем ты говоришь?.. Я не понимаю. Куда ехать?..

— В Барселону. Это твой чемодан? Вот и хорошо. А машину я приготовил. К вечеру будешь дома.

«Кропоткин» пробовал упираться, спорил, кричал. Маноло довел его до машины.

— Ну, «Кропоткин», прощай! Грустно мне с тобой расставаться. Когда теперь увидимся...

Он хотел обнять «Кропоткина».

— Отойди!.. Ты мне больше не друг... Ты изменник!

Маноло обошел позиции. Он всматривался в лица бойцов. Ночью они должны пойти в атаку. Пойдут ли?.. Маноло не мог избавиться от тоски. Всем он теперь враг: и вдове из Веги, и «Кропоткину», и этим... Даже девочка его испугалась. Обычно веселый, здоровый, он не находил себе места. Вечером он решил, что пойдет с бойцами в атаку.

Морено сказал:

— Глупо. Ты не имеешь права рисковать жизнью.

Маноло виновато посмотрел на него:

— Сам знаю, что глупо. Но так уж складывается...

Они ползли по горе, поросшей частым кустарником; казалось, никогда не доползут. Люди боялись кашлянуть. В деревне залаяла собака. Не сговорившись, они остановились; потом снова поползли. Маноло, приподнявшись, увидал тусклый огонек. Значит, близко... Наверху раздался выстрел, кто-то крикнул. Маноло побежал вперед.

Треск. Фашисты убегают. Темно, ничего не видать. Пепе чуть было не попал гранатой в своих. Все кричат. Маноло повалил человека и рукой ищет — где винтовка. Кто-то посветил фонариком. Фашист встал, хныкнул, как ребенок, и поднял кулак.

Взошла луна. Теперь можно осмотреться. Взяли два пулемета, много патронов. Из сарая выполз старик: с перепугу он не может говорить, только челюсть трясется. Бойцы сели на землю; сразу всех скосила усталость. Кто-то смеется:

— В домах пошарь — они, может, сигары забыли...

Рядом с Маноло — Томас. Когда-то они вместе сидели в тюрьме. Томас закурил и улыбается:

— Ничего поработали!..

Маноло рад, как будто Томас похвалил его. Он сует Томасу руку, а у самого страх — вдруг не пожмет?.. Но Томас весело трясет руку Маноло.

— Ребята, теперь закрепляться!

Два дня спустя бригаду увели на отдых. Приехал новый комиссар. Он собрал всех, говорил он горячо, с сердцем:

— Я в Бильбао был. Это большое горе!.. У фашистов авиация. А у нас ни черта... Надо, товарищи, помочь баскам!..

Когда он кончил, сзади крикнули:

— Почему «Кропоткина» отослали?

Встал Маноло:

— «Кропоткина» я отослал, меня ругайте. Я в Веге одного бандита пристрелил. Такой все равно что фашист. А «Кропоткин» начал мутить. Он хороший человек, только он смотрит, какой кто партии. В Барселоне это полбеды, а на фронте должна быть только одна партия — за победу. Хотите другого командира, говорите прямо. А против крестьян я не пойду.

Все молчали.

Днем Маноло сидел у речки и вырезывал из дерева лодочку для ребят; он любил делать игрушки, смеялся: «Скоро мастерскую открою». За кустами купались бойцы; они не видели Маноло, и он их не видел; доносились голоса, плеск воды. Вдруг Маноло отложил нож.

— Они назад хотят повернуть. В Вильянуэве все было общее, а теперь спрашивают: чья курица? У одного десять кур, а у другого ни одной. Какая же тогда справедливость? Почему Маноло отослал «Кропоткина»? Правда глаза колет...

— Он в генералы метит. Был анархистом, а теперь за кулаков вступается. Товарища не пожалел...

Маноло узнал голос Томаса... Он больше не слушает, с ожесточением он долбит дерево.

— Ребята, кто попотеть хочет? Надо крестьянам помочь...

Маноло набрал тридцать человек. Они поехали в Вегу. Крестьяне встретили их с опаской; но солдаты смеялись, играли с ребятами, приехали они без ружей, и крестьяне быстро успокоились.

Машин не было, жали серпами. Маноло до девятнадцати лет прожил в деревне. Он поглядел на полосу, усмехнулся и снял рубаху. Зной его веселил; он ласково приговаривал: «Ну и печет!..» По голой спине ползли крупные капли.

Кончили работать, когда стемнело. Крестьяне смущенно улыбались: «Отблагодарить вас нечем». Они заставили солдат поужинать с ними. Диего играл на гитаре; бойцы танцовали с девушками.

Маноло привез вдове Николаса муки, сахару. Он нашел кусок проволоки и смастерил для девочки человека на лошади.

— Смотри, хвостом двигает...

Девочки больше не боялись Маноло. Они кричали: «Начальник, иди сюда!» Он смеялся: «Какой я вам начальник?» Он заметил, что дверь в дом не запирается, хотел сказать: «Сейчас видно — хозяина нет», но во-время спохватился, принес инструменты, починил. Ему хотелось все время что-нибудь делать. Женщина сказала:

— Устал ты, посиди.

Он сел, сгорбился. Девочка теребит его за рукав, он не смеется.

Женщина вздохнула:

— Что? Плохо воюете?

Он встал:

— Воюем хорошо. Рио Кларо взяли. Ехать мне пора...

— Ребята хорошие. Только их поджучивают. «Кропоткин» тоже постарался... А у меня времени не было — я воевать учился. Если их рассовать по другим бригадам, они будут замечательно драться.

Варгас спросил:

— Маноло, а тебя куда?

— Я одно дело задумал — надо у них в тылу пошарить... Дай мне человек десять. Я эти места, как свои пять пальцев знаю — полтора года прожил. Там у них один мост по мне скучает... Видишь?

Маноло вытащил карту.

Он уехал из Барселоны рано утром; только-только начинало светать. С необычной для него нежностью он обнял Кончиту. Она перепугалась:

— Куда едешь?

Он растерянно поглядел на нее и сейчас же улыбнулся:

— В Валенсию, к министру. Видишь, пиджак надел.

14

ВОЙНЕ СКОРО ГОД

Стоят горячие душные дни. Тяжелые орудия громят Мадрид. В госпиталях нет свободной койки; женщины, старики, дети. Продавщица универсального магазина на Гран Вие показывает летчику шелковые рубашки.

Оба прислушиваются:

— Близко...

Потом, улыбаясь, девушка говорит:

— Вот последняя модель...

Дети спорят:

— Это не сто пятьдесят пять, это двести двадцать!

Они различают калибр снарядов по звуку. Они перестали играть в войну; играют они в старые игры, в прятки или в пятнашки.

Под домами Карабанчеля люди живут, как кроты: они закладывают мины. Учительница музыки Кармен продолжает давать уроки, и вдруг из открытого окна доносятся гаммы и сердитый счет: «Раз-два-три». Идет немолодая женщина с кульком. Услышав женские шаги, слепой солдат по привычке чмокает губами:

— Красотка!

В газетах каждый день огромные заголовки: «Да здравствует наступление!» Все чего-то ждут.

— Что пишут?

— В Париже убили двух итальянцев...

Над десятью фронтами — палящее солнце. Вчера астурийцы отбили атаку на Грульос. Возле Пеньярои утром была занята высота 820; после обеда противник перешел в контрнаступление, и высоту пришлось очистить. Ломо Верде переходит из рук в руки. Возле Аранхуэса сдался в плен фельдфебель. В Карабанчеле взорвали два дома. Авиация бомбила Чинчон; восемь убитых. В Каса де Кампо артиллерия обстреляла холм Габитос. Большой стол завален телефонограммами. Полковник диктует:

— На всех фронтах без перемен.

Телеграф выстукивает: «Хосе Гарсия тревожусь сообщи здоровье мама». Хосе вчера убили возле Поркуны.

Танкист Баррио пишет открытку: «Аделита! Если ты мне не ответишь, я умру!»

В Мадриде люди не спят от духоты и ожидания. По выбоинам злосчастных дорог несутся грузовики. Штаб формирует новые дивизии. Все шушукаются: «Через месяц... Через неделю... Завтра...» Войне скоро год.

Полдень. Деревня вымерла; раскаленный камень; тишина. Льянос зашел в дом и попросил воды. Молодая женщина с черными яркими глазами принесла кувшин. Льянос пил не отрываясь. В комнате было темно и прохладно.

— Машина сломалась. Шофер в Кольменар пошел за грузовиком.

Женщина смотрела на обветренное лицо Льяноса и улыбалась. Почувствовав на себе ее взгляд, он смутился:

— Я по деревне похожу.

— Жарко ходить...

Она смотрит и улыбается.

— Ты что смотришь?

— Все воюете и воюете...

Она согнала с дивана кошку:

— Садись. Устал?

Он покачал головой. Женщина села рядом. Льянос, задумавшись, гладил кошку. Потом он вдруг сказал:

— Руки у тебя белые...

Он погладил ее руку. Она вздохнула и положила голову на его плечо.

Он смотрит на беленый потолок; трещины кажутся затейливым рисунком: парус, рыба, глаза. Женщина лежит рядом. Тихо. Жужжат мухи.

— Как тебя звать?

— Мария.

Он закрыл глаза. В полусне он услышал знакомое гудение. Он нехотя встал, подошел к окну. Солнце ударило в глаза, сначала он ничего не видел. В окно выскочила кошка. Людей на улице не было. Кошки, злобно мяукая, неслись в поле. Напротив дома выла собака. Кричал осел, привязанный к столбу.

Мария, придерживая на груди кофточку, шепчет:

— Что там?

Он не ответил, снова закрыл ставни и лег.

Услышав грохот, Мария хотела встать; он ее удержал:

— Лежи.

Она заплакала. Он осторожно погладил ее по голове.

Снова тихо. Жужжат мухи.

Уходя, Льянос увидел на комоде фотографию: молодой солдат, а позади нарисованный танк.

— Муж?

Она кивнула головой.

Он вышел. Все тот же зной. На углу толпятся люди, кто-то всхлипывает — здесь упала бомба. Осел лениво отгоняет хвостом мух. А грузовика все нет.

Маркес опоздал на открытие пленума. Когда он вошел, выступал представитель Арагона:

— Коммунисты должны оградить крестьян от произвола различных «комитетов»...

Потом делегат Южного фронта говорил о копях Альмадена, о защите Пособланко, о связи с партизанскими отрядами.

Маркес внимательно слушал доклады. Все эти месяцы он жил мелочами войны; пререканиями из-за грузовиков, борьбой за крохотный холмик, потерями, пополнениями. Теперь он увидел, что этим жили и другие. Война распадалась на тысячи горестей и удач; в нее входили добыча ртути, ремонт паровозов, центнеры пшеницы, и она была стройной, как архитектурный проект. Страсть, ненависть, мужество, страх были теми камнями, из которых люди строили бригады и дивизии.

— Слово принадлежит товарищу Маркесу.

Он не успел подняться на трибуну, как все встали; ему улыбались, аплодировали, кричали: «Да здравствует Маркес!» Обычно спокойный, он растерялся. Он много пережил за последнее время. В штабе его обозвали «дилетантом». Весеннее наступление провалилось. Он думал, что потерял Тересу. Он привык, скрывая волнение, улыбаться одной и той же обязательной улыбкой. Но сейчас он не владел собой. Он закусил губу и часто моргал. Ему хоте-

лось не то смеяться, не то плакать, сжимать десятки рук, самому бить в ладоши. Наконец он выговорил:

— Все готово для предстоящего наступления...

Льянос улыбается — наконец-то наступаем!

Как всегда, он пошел впереди со своей тросточкой. (Нога давно зажила, но тросточку он сохранил — привык к ней, привыкли к ней и другие.)

Противник не ждал атаки. Артиллерия работала хорошо. Первую линию они заняли почти без потерь. Они теперь вклинились в расположение неприятеля: слева на шоссе Гренадский полк, справа, на склоне отлогого холма, табор марокканцев. Льянос знал, что удержаться нелегко. Он рассчитывал, что первый батальон ударит на марокканцев. В девять утра прилетела вражеская авиация; к счастью, потери были небольшие. Марокканцы два раза пробовали атаковать, но их останавливали пулеметным огнем. В полдень наступило затишье, а час спустя фашисты открыли огонь с шоссе.

— Наверное, подвезли резервы...

Второй залет авиации. Наша батарея вдруг замолкла. Льянос кричит в телефон:

— Держимся. Пришлите...

Он бросил трубку, не договорив — с шоссе идут танки. Льянос нервничает.

— Это они называют противотанковой пушкой? Курам насмех...

Бомбометчики поползли навстречу танкам. Один танк повредили. Пушка все же начала работать. Танки остановились, постреляли и ушли назад. Льянос берет трубку:

— Я тогда не договорил — слышимость была плохая. Пришлите, если можно, авиацию...

Двадцать минут спустя снова показываются танки. Солдаты ползут с шоссе. Почему пулеметы молчат?.. Льянос кричит Бернару:

— Сморкачи, так вы работаете?..

— Фашисты подошли к сторожке. Если сейчас двинутся марокканцы, могут отрезать... Чорт бы их взял, где авиация? Почему первый батальон не двигается?..

— Бернар, голубчик, живее!..

— Марокканцы!..

В штабе корпуса, не умолкая, трещит телефон.

10 часов 15. Возле Навалькарнеро авиация обнаружила автоколонну — около тридцати грузовиков.

10 часов 40. В районе Брунте спокойно.

11 часов. От Араваки по шоссе продвигается примерно батальон. Сейчас их будут бомбить.

У генерала глаза распухшие: он не спал три ночи. Карта на столе засыпана пеплом: генерал закуривает одну сигарету о другую.

— Ясно, что резервы сосредоточены вокруг Навалькарнеро. Я говорил Росесу, а он спорил...

Он шагает из угла в угол.

— Позвони Маркесу, пусть кончают.

— Осторожно!

Маркес нагнулся — стреляли с шоссе. Льянос ему издали крикнул:

— Отбили!

Он смеялся, забыв тревогу дня. Маркес сказал:

— Это хорошо, что отбили. Но здесь оставаться нет смысла — клин слишком тонкий, да и коммуникации отвратительные. Как стемнеет, отведи батальон на исходные позиции.

Льянос, растерявшись, спросил:

— То есть как отвести?.. Значит, не наступаем?

— Хотели только пощупать. А с воздуха в это время наблюдали — откуда они начнут подтягивать резервы. Понимаешь?

Льянос ударил тростью куст.

— Понимаю.

Утро. Льянос моет в речке ноги. Рядом Хуанито стирает рубаху.

— Переса жалко. Хорошо пел...

Переса убил осколок бомбы. Хуанито с ожесточением выжимает рубаху. Льянос молчит.

— А все-таки авиация — дерьмо! Конечно, человека

убить они могут. Но позицию им ни за что не занять. Летают...

Он глядит на Льяноса и снова начинает терзать рубаху.

— Переса жалко. Он все насчет жены беспокоился: ждет или не ждет. А выходит, лучше не ждала бы...

Льянос не отвечает.

Весь день он проходил угрюмый, ни о чем не думал, не разговаривал с товарищами. Вечером вдруг вспомнил, что не обедал, и достал сухари.

Они спят на сене; в домах — духота. Жарко, разделись догола. Комары изводят, пищат над ухом. Льянос лег и вдруг вспомнил, как бомбили деревню. Женщины часто плачут. А отчего?.. Может быть, у них чувств больше?.. Льяносу тридцать шесть лет. Он всегда жил один; хотел жениться давно — ему тогда двадцать лет было, но девушка передумала. У нее тоже были черные глаза. А руки другие — темные. Мать Льяноса ее звала «Смуглянкой». Мать, наверное, плачет. Он ей ни разу не написал. Сейчас она гладит белье или штопает: она не может сидеть без дела, — то козу чистит, то поливает грядки. Пришли соседки, она жалуется: «Мой-то пропал...»

Льянос пошел в дом, разыскал лист бумаги и сел писать письмо.

«Дорогая мама!

Ты за меня не волнуйся, я живу далеко от фронта. Здесь большой сад, прохлада, много птиц и цветов. Я не знаю, что тебе еще рассказать? Я сейчас вспомнил, как я лежал больной, а ты мне принесла огромную грушу. Где ты ее взяла? Я потом никогда не видал таких груш. Напиши мне, как ты живешь? Коза твоя еще бодается или нет? Я сколько помню, у тебя козы всегда бодаются. Это оттого, что ты их распускаешь, нет дисциплины. Я скоро приеду, тогда увидишь, какой я стал красивый и важный. Спокойной ночи, мама!»

Он писал это письмо, как трудное сочинение, ворочал губами, сосал карандаш, а написав, пошел назад, на сеновал. Бойцы спали. Какая-то собачонка скулила возле изгороди. Льянос поглядел на нее, почесал щеку и сказал:

— Ну, что тут поделаешь?.. Давай спать!

Бернар смотрит — кругом камни, камни, ничего, кроме камней. Если прищурить глаза, камни оживают, становятся замком, всадником, стадом. Яркий свет дрожит. Камни растут, ворочаются, двигаются. Ни травинки. Как здесь живут люди?

Шофер говорит:

— Я сказал Пепите — кончится война, поженимся...

Бернар улыбнулся. Для него эта земля — пулемет, атаки, стратегические пункты. А на ней живут люди, влюбляются, женятся, рожают детей. Вот и здесь живут, среди этих камней, доят коз, дарят девушкам бусы, умирают от старости. Разве не смешно?..

Они высоко поднялись. Вдалеке виден Мадрид; он кажется игрушечным. Вон там фашисты. Они тоже сейчас смотрят на Мадрид... Надо сосчитать: ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь... Теперь скоро! Маркес вчера сказал: «Будем наступать...»

— Свернуть или прямо поедем? Они здесь постреливают...

Бернар говорит:

— Как знаешь.

— Крюк большой. Чего там, проскочим!..

Шофер разогнал машину и весело крикнул:

— Сто тридцать в час!

Снаряд разорвался перед машиной. Бернар потом ничего не помнил, кроме яркого света, — свет дрожал. Его отнесли в крестьянский дом, там помещался штаб батальона.

Он то приходит в себя, то снова впадает в забытье. Что с шофером? Надо известить Маркеса. Обидно — как раз, когда все начинается!..

Тусклая лампочка мигает. Бернар смотрит на свет, тогда не так болит. Как будто рвут тело клещами... Почему стучат? Опять Жермен переставляет буфет. Бернар просит: «Жермен, не нужно!» За стеной голоса. У нее гости...

— А мясо вам давали?

— Какое там мясо! Горох. Мясо офицеры кушают.

— Как население относится к фашистам?

— Молчат. Они чуть что — к стенке. Весной было крушение возле станции Гумиэль. Так они схватили начальника станции и...

Кто-то кричит:

— Врешь! Отца?..

Теперь все тихо. Бернар напряженно думает: кто ест горох? А за стеной человек чавкает. На лице Бернара мухи, он не может их согнать — стоит двинуть рукой, как все внутри разрывается. Он закрыл глаза. Он следит за одним: как по его лицу передвигаются острые лапки.

Он попал к фашистам. С него содрали кожу, а теперь щупают. «Рост один метр семьдесят два. Годен». Бернар говорит Жермен: «Значит, снова еду...» Она смеется: «Глупости, ты болен, у тебя жар, надо принять аспирин». Почему она покрасила волосы? Она теперь похожа на тетю Луизу. Он не знает этой квартиры. Должно быть, она переехала. Он спрашивает, она опять смеется: «Ну да, мы в Монпелье». Почему в Монпелье? Это очень далеко от Мадрида. А машина делает сто, нет, сто тридцать... Жермен легла рядом. Теперь ночь, надо спать. Вдруг приходит человек в берете. «Познакомьтесь, это мой муж». Бернар спрашивает: «А он не фашист?» Она смеется, и муж смеется. Какой он муж, это шофер! Значит, его не убили. Но шофер хотел жениться на Пепите из Эскуриала...

Наверное, он болен. Голова тяжелая... А здесь что?.. Нет, нельзя шевельнуться — грудь, плечо, рука... Его только что ранили. Как глупо вышло! Надо было свернуть... Но это ничего, он принял аспирин, сейчас все пройдет.

Они зашли справа... Давай триста! Чорт, лента кончилась... Сюда! Ах, коровы! Получили? Еще? Хорошо, вот вам еще! Еще!

Бернар вскрикнул. Вошел санитар:

— Потерпи. Сейчас машина приедет.

Бернар поглядел на него и тихо ответил:

— Отбили.

15

КОНЕЦ МАНОЛО

Возле террасы кафе женщина с грудным младенцем продает газеты: «Наши блестящие победы!» Франкистские офицеры пьют коньяк и смотрят на девушек — это час, когда все гуляют. Девушки нарядные; на многих кружевные мантильи. Господин в соломенной шляпе говорит толстяку:

— Лиссабон предлагает вагон папиросной бумаги — сорок восемь с доставкой.

Пришли музыканты в малиновых фраках; они играют сначала «Королевский марш», потом танго «Коварная блондинка». Толстяк мусолит карандаш;

— Десять снимет майор... Что же нам останется?

Пришли немецкие летчики. Официант принес ведерко с бутылкой. Летчики встали, торжественно чокаются.

Наискось от кафе — собор. На паперти нищие; у одного вместо носа дыра; другой показывает прохожим обрубок ноги в струпьях. В церкви много женщин; они толпятся возле алтаря чудодейственной богородицы; некоторые подвешивают к статуе крохотные руки и ноги из воска: они благодарят богородицу, которая залечила раны мужа или сына. Звенит колокольчик; все стали на колени. Худой монах в дерюге начинает проповедь:

— Огнем испытует отец любящих его...

Сеньора Рибера пишет письмо сыну в действующую армию: «Я обливаюсь слезами...» Муж приписывает: «Будь достоин мундира, который ты носишь. Да здравствует генерал Франко! Любящий тебя отец».

По бульвару ведут пленных. Это крестьяне Арагона: они едва шагают от усталости.

В парфюмерном магазине продавец объясняет актрисе Лоле: «Это самые лучшие духи берлинского производства. Французских мы больше не держим—французы помогают красным». Лола говорит: «Да, они известные мерзавцы», но духов не берет.

Жена губернатора решила поднести золотой кубок полковнику фон Сасницу. Девушки обходят магазины с подписным листом: «На героических летчиков». Владелец книготорговли дал десять песет. Ювелир ответил: «Нет мелких».

Вчера в кино показывали шведского короля, он играл в теннис. Старый рекете встал и крикнул:

— Да здравствует король Испании!

Четыре фалангиста набросились на него; один проткнул ножом его щеку. Администратор, чтобы успокоить публику, пустил пластинку с «Джовинецой».

В штабе сидит генерал Очандо, человек тучный и слабохарактерный. Больше всего на свете он любит бридж. Полковник фон Сасниц говорит:

— Вы отправили в Кинто абсолютно негодный полк. Ваши офицеры, вместо того чтобы обучать новобранцев, тратят три часа на завтрак и три часа на обед. Солдаты снова не пошли в атаку. Почему мы должны жертвовать нашей авиацией?

Генерал молчит. Ему хочется сказать заносчивому немцу: «Я не позволю разговаривать со мной, как с мальчишкой. Кто открыл Америку — вы или мы? Кто прогнал Наполеона? Мы старая нация...» Вместо этого он говорит:

— Ничего не поделаешь... Мы давно не воевали; мы отсталая нация... Я скажу, чтобы выполнили все ваши указания...

Директор «Арагонского кредита» отправил семью в Париж:

— Это долг главы дома. Теперь я готов умереть на посту.

Каждый день в город привозят раненых. На прошлой неделе открыли два новых лазарета. Жена бухгалтера Мендеса плачет:

— Второй месяц нет писем...

Соседка ее утешает:

— Говорят, что папа предложил перемирие.

Все спрашивают друг друга: «Когда же это кончится?» Ясновидящая Тереса гадает за песету. Иногда она говорит: «Через сто и один день»; иногда: «Через семь лет». Вчера опять призвали двести человек. К тюрьме никого не подпускают; а в комендатуре говорят: «Справок об арестованных не даем».

За железнодорожником Пелайо пришла полиция: донесли, будто он слушает радиопередачи красных. Его ведут по двору. Во всех окнах перепуганные лица. Булочник Алехандро говорит жене:

— Значит, их снова расколотили.

Ночью кто-то написал углем на стене гимназии: «Скоро придут наши!»

Барабаны — это солдаты идут на фронт. Впереди на лошади толстый майор; солнце бьет ему в глаза, и он жмурится.

В сторожке возле моста унтер и три фалангиста играют в карты.

— До чего подлецу везет! Снова девятка...

Часовые громко зевают. Внизу едва шевелится желтая река: мост перекинут через глубокое ущелье.

Маноло говорит:

— Надо подождать.

Он хочет убрать заставу без выстрелов — недалеко деревня, там стоит отряд гражданской гвардии.

Фернандо пошел в разведку. У него все карманы набиты удостоверениями, а на груди ладанка.

— Кончили играть. А те ходят...

Далеко крикнул петух. Из ущелья потянуло сыростью. Скоро два часа...

— Сходи еще.

Возле моста Фернандо окликнули; он показал документы:

— В город за мукой...

Он говорит Маноло:

— Трое. Остальные спят.

Они поползли вниз. Один фалангист успел вскрикнуть. Ему ответило эхо.

Маноло торопился:

— Давай шашку!

Он работал с любовью, заботливо, как будто чинил мотор.

— Бегите.

Он поджег шнур и побежал наверх. Весь день они пролежали в пещере. Блеяли овцы, собака лаяла. Под вечер Маноло сказал:

— Отсюда двадцать километров, дойдете до света. Как увидите крест на горе, поворачивайте направо. Там ни души.

— Здесь аэродром недалеко. Они в пять вылетают... Беспроигрышная лотерея, обязательно расшибутся. Только это надо делать одному. Вы идите, а я завтра перейду.

Фернандо отозвал Маноло в сторону:

— Я останусь.

— Зачем это тебе? Ты молодой...

— Какой молодой? Двадцать лет. Кажется, не мальчик... Что хочешь говори, а я без тебя не пойду...

Фернандо до войны был чертежником; на фронт он пошел вместе с Маноло. Он белобрысый, лицо в веснушках, вечно в кого-нибудь влюблен, худой, но ест за троих, а смешлив, как девчонка.

Маноло поглядел на него и улыбнулся:

— Чорт с тобой, оставайся!

Они простились с товарищами на перевале. Сюда не заходят даже пастухи. Камни. Внизу — те же камни, река, редкие деревушки.

— Педро, зайди к Кончите, скажи: «Маноло здоров»,— и точка.

— Да ты сам скоро приедешь...

— Все равно зайди.

Он кричит вдогонку:

— Увидите кого из бригады, скажите, чтобы не разговаривали, а кто треплется — по носу!

Позднее солнце розовым огнем обдает широкое скуластое лицо Маноло.

Педро кричит:

— До свиданья!

В шесть часов утра фон Сасница разбудил телефон:

— Господин полковник, два «юнкерса», которые должны были бомбить Куэнку, потерпели аварию. Экипаж погиб, за исключением радиста Милау...

Фон Сасниц тотчас поехал к генералу:

— После моста — аэродром!.. Ваш город буквально кишит красными. Это безобразие! Мы не хотим больше жертвовать нашими людьми.

Генерал не думал оправдываться. Он сидел в халате, небритый, нечесаный и громко вздыхал.

Допросили пилотов, служащих, солдат. Один немец видел, как ночью прошли два испанца. Они сказали, что кончили чинить провода и показали бумагу за подписью коменданта.

Генерал приказал устроить облаву. Обыскали весь рабочий квартал, рощу за городом, даже кладбище. Полицейские били железнодорожника Пелайо:

— Говори, кто провода чинил?

Пелайо молча плакал.

Маноло и Фернандо были в десяти километрах от города.

На Маноло куртка убитого унтера. Он бодро шагает и поет солдатские песни.

Фернандо улыбается:

— Выбрались!.. Когда немец остановил, я думал — крышка. Вечером двинемся?

Маноло качает головой:

— Нет, я еще поработаю. Видел резервуар с горючим? А ты иди, зачем тебе это?

Фернандо вздохнул, потом рассмеялся:

— Резервуар так резервуар! Через неделю привыкну...

Фернандо схватили сразу, он не успел даже вытащить револьвер. Маноло за камнями отстреливался. Он убил гвардейца, расстрелял все патроны, а когда на него кинулись, вскрикнул и ударил одного револьвером по голове. Гвардейцы, кряхтя, навалились на него. В город его повели со связанными руками. Висели клочья рубахи, замаранные кровью. Лицо было в ссадинах; один глаз закрылся. Он шел и ругался; он повторял все скверные слова, какие только знал, и ногами бил камень дороги.

Когда его ввели в кабинет, генерал Очандо, испугавшись, сказал гвардейцам:

— Не уходить.

Он спросил Маноло:

— Ты кто?

Маноло засмеялся; этот неожиданный смех еще больше напугал генерала.

— Смеяться нечего. Говори, кто ты?

Маноло пожал плечами и равнодушно ответил:

— Настройщик роялей.

Генерал крикнул:

— Дать ему раз!

Гвардеец ударил Маноло ремнем по лицу. Генерал отвернулся.

— Теперь отвечай — кто ты?

Маноло молчал.

Вошел фон Сасниц. Он внимательно оглядел арестованного.

— Это вы приходили на аэродром?

Маноло молчал.

— Допросим второго.

После Маноло скромный, аккуратно одетый Фернандо показался генералу симпатичным. Он добродушно спросил:

— Как ваше имя?

Фернандо не ответил.

Фон Сасниц сказал:

— Вы не похожи на преступника. Я убежден, что вас насильно втянули в эту историю. Вы можете спасти вашу жизнь.

Фернандо уговаривали, угощали сигаретами, кофе. Он молчал. Тогда генерал сказал гвардейцам: «Поучить» — и вышел из кабинета. Когда он вернулся, Фернандо лежал на полу; из его рта капала кровь. Гвардеец сказал:

— Молчит, подлец...

Фернандо унесли. Фон Сасниц предложил:

— Попробуем еще раз первого... Он, бесспорно, главный.

Фон Сасниц вежливо предложил Маноло сесть.

— Почему вы упорствуете? Вы еще молоды. Наверное, у вас жена или невеста? Мало ли в жизни приятного — друзья, работа, развлечения, вино...

Маноло вдруг весело рассмеялся.

— Поверю я, что ты умеешь пить вино! И какая это девушка на тебя посмотрит? Сопля старая, а еще думаешь меня пронять разговорами!..

Фон Сасниц покраснел:

— Молчать!

Маноло задумчиво сказал:

— Немец, а чувствительный...

Генералу Очандо стало скучно. Он забыл и про мост, и про «юнкерсы». Какие грубые люди! Перед смертью надо молиться, а этот бандит ругается. Да и немец не лучше... Когда же кончится война? Генерал тоскливо зевнул:

— Даю тебе пять минут. Не хочешь говорить — к стенке.

Тогда Маноло рассвирепел. Его зычный голос разнесся по длинным коридорам штаба:

— Стану я с вами разговаривать! У меня с вами один разговор — бил, пока мог, взяли — стреляйте, и точка. А придут наши, как свиней вас перережут, это будь спокоен!..

Его волокли, он еще ревел:

— Весь ваш кабак раздолбают!..

Фернандо тихо сказал:

— Сейчас придут...

Маноло ласково посмотрел на него: молодец — не сказал!..

Маноло не знает, как ему высказать свои чувства:

— Я говорю — молодец! Ты знаешь, сколько мы дел наделали? Мне один рассказал — два самолета грохнулись... Будь здесь бригада, ты бы у меня батальоном командовал...

Фернандо молчит. Маноло думает: он, может быть, таится? Молодой, такому страшно умирать...

— Слушай, Фернандо, давай кричать. Когда кричишь, легче...

Он кричит:

— Да здравствует революция! Да здравствует Мадрид! Да здравствует наступление! Говори, что еще кричать?

Они кричат вместе:

— Да здравствует динамит! Да здравствует Барселона! Да здравствует Параллель! Да здравствует Кончита! Да здравствует...

Входит лейтенант:

— Идите.

Маноло шепчет:

— Не горюй, сейчас все кончится... Эх, Фернандо!..

Его голос дрожит, но сейчас же, спохватившись, он начинает петь. Он кричит:

— Подтягивай!

Он боится одного — Фернандо молодой, ему страшно.

Их повели полем. Вдруг Маноло замолк. Впервые он задумался: сейчас — конец. Старик из маленькой лейки поливал грядку с луком. Маноло взглянул на зеленые сте-

бельки, на капли воды, на сгорбленную спину старика и улыбнулся. Хорошо все-таки жить! Он думал о жизни со стороны, и с его лица не сходила все та же смутная улыбка. Он чувствовал силу своих глаз, ног, голоса. Он поглядел на солдат. Они хмуро топтались на месте. Тогда, как будто он командир, который ведет своих в атаку, он крикнул:

— Стреляй!

16

НАСТУПЛЕНИЕ

С командного пункта видна была огромная равнина, рыжие, словно ржавчиной покрытые камни, клубы пыли, четырехугольники неубранных полей, сосны. Позади подымались горы, покрытые редким кустарником. Когда на минуту смолкали орудия, земля казалась незаселенной или брошенной. Но среди ржавых камней шла жизнь: люди перебегали с места на место, зарывались в землю, падали. Синее небо вдруг покрывалось мелкими облаками: это рвались снаряды зениток. Бой начался на рассвете. Тысячи полуголых людей то тихо ползли среди колосьев, то с ревом бежали вперед. Наступление, о котором столько говорили шопотом и бессвязно, как в бреду, стало перебежкой каждого бойца, прицелом, зигзагом в поле, пóтом, жаждой, борьбой за крохотный клочок земли, за крестьянский дом, за груду камней, за ельник.

На командном пункте битва была сложной и кропотливой работой. Маркес приехал ночью; стояла глубокая тишина; трещали цикады; слышно было, как по мягкой пыли ступают солдаты. В четыре часа утра батареи открыли огонь. Вскоре рассвело. Маркес жадно следил за разрывами. Батарея 75 обстреливала деревню, где были укрепления и пулеметные гнезда. Орудия 155 искали вражескую батарею. Это было поединком двух артиллерий. Неприятель отвечал, и батарея была теперь окружена полукругом воронок. Прислуга работала сосредоточенно, молча, только офицер приговаривал: «Так. Так». Когда орудия неприятеля замолкли, Маркес еще выше приподнял свои брови: день начинался хорошо.

Авиация должна была прилететь в пять часов тридцать. В пять часов сорок ее еще не было. Маркес вздрогнул — проехала мотоциклетка... Пять часов сорок пять. Авиации все нет. Он мучительно пережил эти четверть часа. Он успокаивал других: «Сейчас прилетят», но про себя думал — снова сорвется! Сколько раз так бывало: то опоздает авиация, то танки замешкаются, то не пойдет пехота. Надо поставить вопрос... Он не закончил начатой в голове фразы — воздух ожил, наполнился настойчивым гудением. Четыре эскадрильи легких бомбардировщиков шли в сторону неприятеля. Дым от бомб был сине-сизым; он медленно сходил с поля. В бинокль Маркес увидел, как марокканцы перебегали через маленькую ложбину.

В шесть часов тридцать, как значилось в приказе, двинулись танки; семь пошли к деревне, четыре повернули налево (оттуда можно было ожидать ответного удара). Танки били по огневым точкам. Один дом перед деревней распался, как будто он был карточным. Два танка вплотную подошли к окопам: Маркесу даже показалось, что они зашли в тыл неприятеля. Противотанковые орудия подбили один танк, он лежал среди камней, как мертвый зверь.

Дорога была занята неприятелем. Бойцы продвигались полями. Они шли, согнувшись, иногда петлями перебегали открытое место, иногда падали на землю. Издали их движения казались какой-то неизвестной игрой. Потом бойцы побежали вперед. Отдельные, незаметные, затерявшиеся среди камней, они вдруг стали плотной массой. Они бежали, несмотря на заградительный огонь. Замолкли орудия, и тогда донесся человеческий рев. Среди обрывков проволоки, проваливаясь в воронки, люди душили друг друга, рвали тела штыками и, разъяренные, неслись дальше.

Маркес говорит:

— Первое задание выполнено: деревню взяли.

Летчики пьют теплое пиво и курят. Сегодня горячий день. Утром сбили Родригеса. Неустанно трещит телефон:

— Бомбить позиции неприятеля в двух километрах на юг от Сан-Мигеля. С тысячи метров — наши рядом, как бы не вышло ошибки.

— Педро, ты? Пошли разведку — откуда идут резервы...

— Это Маркес говорит. Надо почистить шоссе — там какая-то сволочь топчется.

По сигналу они кидаются к машинам. Хосе вылетает в третий раз. Они сопровождают тяжелые бомбардировщики. Навстречу идут четырнадцать «генкелей». Истребители кидаются на них. Хосе пикирует. «Генкель» падает вниз. Кажется, отогнали... Бомбардировщики кладут бомбы. Деревня пропала в сером облаке.

Снова «генкели». Один повис над Хосе. Хосе делает мертвую петлю. Стреляют сзади. Чорт, мотор!.. Нет, мотор работает.

Вот и поле. Хосе не может выйти: пуля пробила ногу. Он попробовал встать и еле сдержался, чтоб не крикнуть.

Прибежал Педро:

— Молодец! С земли показали, что сшиб...

Хосе через силу улыбается.

И снова телефон:

— Летят четыре «юнкерса» по направлению к Кольменару.

Отогнали... Рамон сидит на корточках и поет «фламенго». Песня кружится на месте, как пыль.

— Рамон!

По шоссе идет батальон марокканцев. Рамон бреющим полетом чистит дорогу. Люди мечутся, кричат, падают.

Хосе пронесли в санитарную машину. Он говорит:

— Пехота-то у нас какая! Наступают...

Командный пункт корпуса.

— Позвони, чтобы послали авиацию на Вильянуэву.

— Маркеса оставим возле шоссе.

— Надо подкинуть к Рио Фрио. Где шестьдесят четвертая?

— Давай еще раз танки.

Приехал Маркес:

— Каковы дальнейшие задания?

— Посмотрим, что они будут делать. Лучше не зарывайся — слишком узкий прорыв. Сейчас будем жать на Вильянуэву.

Снова загрохотали орудия. Деревня была окружена проволочными заграждениями. Дрались за каждый домишко. Валяются тюфяки, рубахи, каски. В проволоке — трупы. Ведро, лоханка, в стойке мычит теленок; рядом трупы, один на другом. Здесь погибли восемнадцать бойцов. Другой двор — и снова трупы, третий двор, десятый...

Мадрид. Военный корреспондент Вильямс, просмотрев сводку, кричит в телефон:

— Республиканцы заняли небольшую деревню. Имя деревни даю по буквам: Виктор, Исидор, Леонард, Леонард, Альфред...

Они ползут. Хуанито руками приминает колосья. Пепе вздохнул:

— Хлеб не убрали...

Потом Льянос кричит:

— Вперед!

Пепе упал. Хуанито знает: нельзя остановиться.

— Гранатами!

Он швыряет гранату. Он на бугорке, люди — под ним. Он видит, как один марокканец целится в него. Он не знает выстрелил ли марокканец; он только запомнил гримасу — оскал рта.

Потом они лежат в воронке. Потом снова бегут.

В деревне никого не осталось. Хуанито открыл дверь дома — мертвый. Вот еще двое: один — наш, другой — фашист; они как будто обнимаются. Хуанито переступает через трупы. Воды бы!.. Но воды нет. Его давно мучает жажда. Во фляжке глоток, он бережет его. Но теперь нет больше сил — запеклись губы, во рту горечь. Возле церкви сидит боец из батальона Тельмана. Немец жадно смотрит на фляжку:

— Глоточек!

— Пей!

Немец взял фляжку, но не пьет:

— Тебе не останется...

— Пей! У меня еще есть.

Хуанито с завистью смотрит, как немец пьет, потом говорит:

— Вам хуже, вы не привыкли...

Снаряд снес половину церкви. Немец лежит, вокруг кровь. Хуанито постоял с минуту, позвал санитара и побежал догонять своих.

Возле лесочка стоят танки. На них накиданы масличные ветки.

— Там один танк застрял — перед окопами... Надо вытащить.

Бежит боец; на руке кровь.

— Перевязочный пункт налево.

— Какой перевязочный! Мне командира танков. От Маркеса. Вот записка...

Командир кричит:

— Заправляться!

Потом он спрашивает бойца:

— С рукой что?

— Это когда я бежал... Они вон оттуда стреляют. А танки ваши замечательно работали! Я ведь сзади шел...

Командир смеется:

— Работали ничего. Значит, наступаем?

Ночь прошла спокойно. Маркес обошел позиции. Кто-то ему сунул хлеба, колбасы. Он жевал и говорил:

— Надо пулеметы переставить.

Утром он был на командном пункте, потом снова пошел на позиции.

Мертвые на солнце съежились, сгорели — все теперь кажутся марокканцами. Смрад. Санитары заливают трупы известью.

Все ждали утром контратаки, но противник казался растерянным. Его батареи стреляли вяло и беспорядочно. Льянос спросил Маркеса:

— Двигаться?

— Ни в коем случае.

Полчаса спустя фашисты открыли ураганный огонь на левом фланге, где стояла бригада Бельо: хотели прорваться на дорогу и отрезать обе бригады.

Огонь сразу стих. Марокканцы. Теперь все поле покрыто ими. Они снесли пулеметы и катятся дальше. Бригада Бельо не выдержала удара. Бойцы убегают.

— Кажется, окружили...

Тогда навстречу марокканцам кидается бригада Маркеса. Он стоит на бугорке возле дороги. Он все время двигает руками от волнения.

— В штыки!

Никто не слышит команды. Все смешалось вместе. Огромный человеческий клубок бьется среди камней. Но вот с края потекла живая река: марокканцы убегают.

— Вперед!

Это Льянос. Долговязый, он скачет по полю, как болотная птица. Потом, смеясь, показывает Хуанито свою шапку:

— Зря пули расходуют...

Ведут пленных. Они еще не понимают, что случилось; у них тусклые, сонные глаза людей, вырванных из боя.

Солнце высоко, страшное солнце. А воды нет.

— Глоточек!..

Это Хуанито взмолился. Льянос показывает пустую фляжку.

— Я сам выпил бы... Холодного пивка.

Едет танк. Из люка выглядывает голый смуглый парень.

— Немецкий... Сейчас мы его пустим в оборот.

Тягачи тащат захваченные орудия. Бойцы считают пулеметы. Один принес Маркесу кусок желто-красной материи — трофеи.

Маркес задумчиво теребит лоскут. Он сел на камень: не держится на ногах от усталости. Льянос удивленно на него смотрит:

— Что с тобой?

У Маркеса мокрые глаза. Он ничего не может ответить. Он только встал, обнял Льяноса и снова сел на камень.

17

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Бернар провел месяц в госпитале. Рана зажила, но он не может двигать левой рукой — осколок снаряда задел плечевую кость. Эти недели он прожил смутно, ни о чем не вспоминал, не задумывался, что будет делать, когда

выздоровеет. Он много ел; кусая ломоть хлеба, он как будто вгрызался в возвращенную жизнь. Засыпая, он радовался сну, а утром с восхищением глядел на деревцо, зеленевшее перед окном.

В Париж он приехал рано утром. Улицы были еще пустые; в скверах кричали дрозды; чердачные оконца светились теплым розовым светом. Потом показались школьники. Мальчишки взобрались на подножку автомобиля и стали гудеть. Из кафе вышел шофер, красный, толстый; он добродушно выругался и подмигнул Бернару:

— Ничего не поделаешь — молодость...

Загрохотали ручные тележки с бобами, с малиной, с розами. Прошла девушка. Бернар удивленно на нее посмотрел; она смутилась. Он останавливался возле каждой витрины, он любовался всем: скрипками, бонбоньерками, шарфами. Ему хотелось есть пирожные, слушать музыку, писать длинные несвязные письма девушке, которая только что прошла мимо. Его лицо горело от бессонной ночи и волнения. Впервые он подумал: хорошо отделался, могли бы убить...

Он снял комнату в небольшой гостинице на берегу Сены. Комната была тесной и неопрятной, но, поглядев в зеркало, Бернар увидел свое счастливое лицо и сказал хозяйке:

— Прекрасная комната.

В окно видна была река. Сидел рыболов с удочкой. На барже женщина развешивала белье; кот терся об ее ноги.

Под вечер Бернар пошел в кафе, где обычно бывал Сонье. Они расцеловались.

— Бернар!.. А здесь рассказывали, будто тебя убили. Ну, как там было?

Бернар задумался:

— Это страшная штука...

Сонье сочувственно кивнул головой. Бернар стал рассказывать о Хуанито, о том, как ему пришлось ехать верхом на осле, о санитарах, которые устроили в землянке кабаре. Рассказывая, он вспоминал множество забытых им мелочей и громко смеялся.

— Ты говоришь, что страшно, а смеешься...

Бернар ответил:

— Да, ты прав... Я сам не понимаю...

Он помнил марокканцев, смрад окопов, мертвого Переса, но он не мог об этом говорить. Он начал объяснять, как из хаоса центурий вышли первые бригады. Он увлекся:

— Ты пойми, там люди не уступают, а борются! В этом все дело!..

Вдруг он заметил, что Сонье его не слушает.

— Ты торопишься?

— Нет.

Они долго молчали. Потом заговорил Сонье:

— Здесь тоже много нового. В салоне самый большой успех у Кремье. По-моему, дрянь, но его расхвалили. Я сделал панно для выставки...

Сонье рассказал Бернару все новости. Бернар отвечал: «Да, да».

Когда Сонье ушел, он тоскливо съежился.

Он сидит один на террасе маленького кафе и пьет коньяк. В поезде он думал: сниму комнату, пойду к хорошему хирургу, куплю холстов, красок, буду много работать... Теперь, усмехаясь, он вспоминает о недавних мечтах. Может быть, он вовсе не купит красок?.. Он будет долго сидеть под этим деревом, залитым едким светом газа, и слушать, как нищий пьяным фальцетом поет один и тот же романс.

Он все же попробовал работать. Прежде он любил писать воду. Он сел у окна. Сена казалась густой и неподвижной. Он начал с жаром, он вспомнил мастерство, чувствовал — могу... Четверть часа спустя он бросил кисти — ему вдруг стало невыносимо скучно. Он подумал: что со мной? Может быть, я болен?.. Он пошел за газетой, прочитал: «Республиканские войска снова подошли к Брунете» — и с отвращением повернул холст к стене.

Теперь он не знал с утра, что ему делать; прочитывал в десяти газетах все те же короткие телеграммы из Испании и снова ложился на кровать. Ему опротивели разводы обоев. Он был у хирурга, тот осмотрел плечо и сказал: «Это история на годы...» У Бернара много было приятелей. Все с ним радостно здоровались. Он больше не пытался рассказывать про Испанию. Он терпеливо выслуши-

вал рассуждения о роли искусства или сплетни и, пробормотав несколько слов, уходил.

Вечером его пугал яркий свет улиц. Он вспоминал черный Мадрид с тоской, как родную деревню. Спокойствие людей выводило его из себя. Он вдруг грубил или затевал длинные бессмысленные споры. Он говорил себе: глупо, здесь нет войны, люди живут, как могут. Но через минуту ему снова казалось, что это не люди, что люди остались там, в душной темноте последней испанской ночи.

Сонье затащил его на выставку:

— Там несколько картин на испанские темы...

На выставке был Соланж. Кокетливо нагибая голову и прислушиваясь к своим словам, он говорил Бернару:

— Наши друзья пытались кистью передать то, что вы делали штыком...

Когда Бернар выходил, его задержал молоденький монтер, который чинил электричество:

— Правда, что вы были в Испании? Как наши? Держатся?

Он спросил это с таким волнением, что Бернар просиял:

— Еще как держатся! Сейчас наступают. Здесь из газет ни черта нельзя понять, но все-таки видно, что наступают. Наверное, наша бригада тоже там — ее всегда пускают, где горячо...

Монтер вышел с Бернаром. Он слушал, боясь упустить слово, а когда Бернар, усталый, замолк, спросил:

— Скажи, как туда пробраться? Говорят — контроль, не пускают... Я могу через горы, все равно как, лишь бы доехать!..

Вернувшись домой, Бернар раскрыл газету и тотчас с досадой ее отбросил. Непонятно, где теперь наши? Да и вообще все непонятно... Война не кончилась, его бригада на фронте, почему же он здесь, в Париже? Рука? Воевать можно и с одной...

Бернар написал Жермен. Он не мог освободиться от чувства к ней: видел ее глаза, улыбку, руки. Это воспоминание было теплым, как дыхание, но письмо он написал

холодное, и встретились они, словно чужие — оба боялись проговориться. Она спрашивала, как он жил. Он шутил, рассказывал о товарищах. Они сидели в кафе, кругом были люди.

Жермен сказала:

— Теперь мы будем встречаться. Хорошо?

Он улыбнулся:

— Я завтра еду назад.

Жермен прожила эти десять месяцев в суеверном страхе: каждый день ей казалось, что Бернара убили. Только когда ей сказали, что Бернар вернулся, она пришла в себя, зажила своей жизнью. И вот теперь он снова едет туда...

— Зачем?

Он почувствовал ее смятение и ласково ответил:

— Так надо, Жермен.

— Кому надо?

— Мне.

На вокзале его окликнули. Он удивился — кто может его провожать? Он увидел монтера, который работал на выставке:

— Еду с тобой! Вот счастье!..

В пограничном поселке Бернара встретили, как старого друга.

— Француз назад приехал!

Кругом дома разрушенные бомбами виноградники, море. Рыбак зовет Бернара:

— Иди к нам кофе пить!

Пришел пограничник, отдал честь Бернару и сказал:

— Мы с ним осенью вместе дрались. Под Талаверой.

Старуха поглядела на Бернара и начала причитать:

— Как ты воевать будешь одной рукой? Убьют тебя!

Бернар смеется:

— Ничего, бабушка, научусь и одной рукой...

Шофер остановил машину, срезал большую гроздь и дал Бернару. Виноград сладкий и теплый.

Бернар долго разыскивал свою часть. Его посылали из одного поселка в другой: никто не знал толком, где теперь бригада Маркеса. Наконец в маленькой деревне, недалеко от фронта, Бернар увидел Хуанито, который сидел на скамейке и яростно чистил рыжие ботинки. Бернар вскрикнул от радости.

Они долго хлопают друг друга по спине.

— Бернар!

— Хуанито!

Потом они идут в дом; это постоялый двор. Кричат ослы. Два солдата играют в карты. Девочка поет. Они пьют из кувшина красное терпкое вино.

— Мы тогда чуть в ловушку не попали. Бригада Бельо побежала. Хорошо, Льянос выручил — мы стояли направо...

— Погоди, что Льянос?

— Ничего. С тросточкой... Мы теперь недалеко отсюда стоим — на второй линии. Он и здесь кота завел. Этот не Басилио, а Херонимо. По-моему, Льяносу надо жениться...

— Смотри, Хуанито, у кого что болит...

— А я, Бернар, женился. Она в Валенсии, на заводе работает. Не успели даже поссориться. Ты что смеешься?.. Вот в Париже, наверное, девушки!.. Ты, может, тоже женился?

— Куда мне! Я старик.

— Хорош старик! Помнишь, как ты возле Мораты на гору взбежал?..

— Еще бы не помнить! Тогда Перес у них пулемет забрал!..

— Переса жалко... Он все насчет жены беспокоился. А, по-моему, жена — это особое дело...

— Смотри, Хуанито! Ты сколько женат — месяц или неделю?

Они смеются.

— А Маркес?

— Маркес теперь герой. Я его портрет видел в газете. Вот это человек! Никогда из себя не выйдет. Когда нас окружили, я возле него стоял... Ничего — смотрит. Здорово, Бернар, что ты приехал! Мы их скоро опять бить будем. Новых бригад много из Мурсии, из Ла Манчи —

все говорят: «Обязательно будем бить». Льянос как тебе обрадуется, Маркес, все обрадуются! А как там — в Париже? Ты что не рассказываешь? Весело?

— Нет. То есть, может быть, весело, не знаю... Я парнишку с собой привез. Монтер. Мы когда перетащили его через границу, он от радости запрыгал. Я его в Альбасете отослал. Что, Хуанито, пойдем к нашим?

Они идут, обнявшись, по прямой белой дороге. Направо, налево камни. Солнце. Тишина. Навстречу прошла женщина с кувшином.

— Жарко, попей...

Они идут и поют:

Две красавицы, два села,
Два товарища, два седла,
Два товарища, пуля одна.
Эх, война, война, война!..

1937


РАССКАЗЫ

Из книги
«ТРИНАДЦАТЬ ТРУБОК»

ТРУБКА КОММУНАРА

Есть много прекрасных городов — всех прекрасней Париж, в нем смеются беспечные женщины, под каштанами франты пьют рубиновые настойки, и тысячи огней роятся на зеркальном аспиде просторных площадей.

Каменщик Луи Ру родился в Париже. Он помнил «июньские дни» года 48-го. Ему было тогда семь лет, и он хотел есть. Как вороненок, он молча раскрывал рот и ждал, и напрасно ждал, — у его отца, Жана Ру, не было хлеба. У Жана Ру было только ружье, а ружье нельзя было съесть. Луи помнил летнее утро, когда отец чистил свое ружье, а мать плакала, вытирая нос передником. Луи побежал вслед за отцом — он думал, что отец с вычищенным ружьем застрелит булочника и возьмет себе самый большой хлеб, больше Луи, хлеб — с дом. Но отец встретился с другими печальными людьми, у которых тоже были ружья. Они начали вместе петь и кричать: «Хлеба!»

Луи ждал, замирая, что в ответ на такие чудесные песни из окон посыплются булки, рогалики, лепешки. Но вместо этого раздался сильный шум, и посыпались пули. Один из людей, кричавший «хлеба!» — крикнул «больно!» — и упал. Тогда отец и другие люди стали делать непонятные вещи — они повалили две скамейки, притащили из соседнего двора бочонок, сломанный стол и даже большой курятник. Все это они положили посередине улицы, а сами легли на землю. Луи понял, что печальные люди играют в прятки. Потом они стреляли из ружей, и в них тоже стреляли. А потом пришли другие люди. У них также

были ружья, но они весело улыбались, на их шапках блестели большие, красивые кокарды, и все называли их «гвардейцами». Эти люди взяли отца и повели его по бульвару Святого Мартына. Луи думал, что веселые гвардейцы накормят отца, и пошел за ними, хотя было уже поздно. На бульваре смеялись женщины, под каштанами франты пили рубиновые настойки, и тысячи огней роились на аспиде зеркального тротуара. Возле ворот Святого Мартына одна из беспечных женщин, сидевшая в кофейной, закричала гвардейцам:

— Зачем вы ведете его так далеко? Он может и здесь получить свою порцию...

Луи подбежал к смеявшейся женщине и молча, как вороненок, раскрыл свой рот. Один из гвардейцев взял ружье и снова выстрелил. Отец закричал и упал, а женщина смеялась. Луи подбежал к отцу, вцепился в его ноги, которые еще двигались, как будто отец лежа хотел итти, и начал страшно визжать.

Тогда женщина сказала:

— Застрелите и щенка!

Но франт, пивший за соседним столиком рубиновую настойку, возразил:

— Кто же тогда будет работать?

И Луи остался жить. За грозным июнем пришел тихий июль, больше никто не пел и никто не стрелял. Луи вырос и оправдал доверие доброго франта. Отец Жан Ру был каменщиком, и каменщиком стал Ру Луи. В широких бархатных штанах и синей блузе из полотна он строил дома, строил летом и зимой. Прекрасный Париж хотел стать еще прекрасней, и Луи был там, где прокладывались новые улицы — площадь семилучной Звезды, широкие бульвары Османа и Малерба, обсаженные каштанами, и парадный проспект Оперы, со строениями, еще покрытыми лесами, куда нетерпеливые торговцы уже свозили свои диковины — меха, кружева, ценные каменья. Он строил театры и лавки, кофейни и банки, строил прекрасные дома, чтобы беспечные женщины, когда на улице дует холодный ветер с Ламанша и в рабочих трущобах тело костенеет от зимних туманов, могли бы попрежнему беспечно улыбаться, строил бары, чтобы франты не переставали в темные ночи пить свои рубиновые настойки. Подымая тяжелые камни, он

строил легчайший покров города, прекраснейшего из всех городов мира — Парижа.

Среди тысяч блузников был один, по имени Луи Ру, в бархатных штанах, припудренных известкой, в широкой плоской шляпе, с глиняной трубкой в зубах и, как тысячи других, он честно трудился над великолепием Второй Империи.

Он строил чудные дома, а сам днем стоял на лесах, ночью лежал в зловонной каморке, на улице Черной Вдовы, в предместье Святого Антония. Каморка пахла известкой, пóтом, дешевым табаком, а улица Черной Вдовы, как и все улицы предместья Святого Антония, пахла салом жаровен, на которых торговцы жарили картошку, пресным кровяным запахом мясных, с лиловыми тушами конины, селедками, отбросами выгребных ям и дымом печурок. Но ведь не за улицу Черной Вдовы, а за широкие бульвары, благоухающие ландышами, мандаринами и парфюмерными сокровищами улицы Мира, за эти бульвары и за семилучную Звезду, где днем на лесах качались блузники, прозван Париж прекраснейшим из всех городов мира.

Луи Ру строил кофейни и бары, он носил камни для «Кофейни Регентства», облюбованной шахматистами, для «Английской Кофейни», которую посещали владельцы скаковых рысаков и знатные иностранцы, для «Таверны Мадрид», собиравшей в своих стенах актеров свыше двадцати различных театров, и для многих других столь же достойных заведений. Но никогда Луи Ру, со дня смерти своего отца, не подходил близко к достроенным кофейням, и ни разу он не пробовал рубиновых настоек. Когда он получал от подрядчика несколько маленьких белых монет, эти монеты брал старый кабатчик на улице Черной Вдовы, вместо них он давал Луи несколько больших черных монет и наливал в бокал мутную жидкость. Луи залпом выпивал абсент и шел спать в свою каморку.

Когда же не было ни белых, ни темных монет, ни абсента, ни хлеба, ни работы, Луи, набрав в кармане щепотку просыпавшегося табаку или отыскав на улице окурок сигареты, набивал свою глиняную трубку и с ней ходил угрюмый по улицам предместья Святого Антония. Он не пел и не кричал «хлеба», как это сделал однажды его отец Жан

Ру, потому что у него не было ни ружья, чтобы стрелять, ни сына, раскрывавшего рот, подобно вороненку.

Луи Ру сделал столько, сколько мог для того, чтобы женщины Парижа могли беспечно смеяться, но слыша их смех, он испуганно сторонился — так смеялась однажды женщина в кофейне на бульваре Святого Мартына, когда Жан Ру лежал на мостовой, еще пытаясь, лежа, итти. До двадцати пяти лет Луи не разговаривал ни с одной молодой женщиной. Когда же ему исполнилось двадцать пять лет и он переехал из одной мансарды улицы Черной Вдовы в другую, с ним случилось то, что случается рано или поздно со всеми людьми. В соседней мансарде жила молодая поденщица Жюльетта. Луи встретился вечером с Жюльеттой на узкой винтовой лестнице, зашел к ней, чтобы взять спички, так как его кремень стерся и не давал огня, а зайдя — вышел лишь под утро. На следующий день Жюльетта перенесла две свои рубашки, чашку и щетку в мансарду Луи, она стала его женой, а год спустя в тесной мансарде появился новый жилец, которого записали в мэрии «Полем-Марией Ру».

Так узнал Луи женщину, но в отличие от многих других, которыми справедливо гордится прекрасный Париж, Жюльетта никогда не смеялась беспечно, хотя Луи Ру ее крепко любил, как может любить каменщик, подымающий тяжелые камни и строящий прекрасные здания. Вероятно, она никогда не смеялась потому, что жила на улице Черной Вдовы, где только однажды беспечно рассмеялась старая прачка Мари, когда ее везли в больницу для умалишенных. Вероятно, она не смеялась и потому, что у нее были только две рубашки, а Луи, у которого часто не было ни белых, ни темных монет и который угрюмо бродил с трубкой по улицам предместья Святого Антония, не мог ей дать хотя бы одну желтую монету на новое платье.

Весной 1869 года, когда Луи Ру было двадцать восемь лет, а сыну его Полю два года, Жюльетта взяла две рубашки, чашку и щетку и переехала в квартиру мясника, торговавшего конским мясом на улице Черной Вдовы. Она оставила мужу Поля, так как мясник был человеком нервным, и, любя молодых женщин, не любил детей. Луи взял сына, покачал его, чтобы он не плакал, покачал неумело, ибо умел подымать камни, но не детей, а потом пошел

с трубкой в зубах по улицам предместья Святого Антония. Он крепко любил Жюльетту, но понимал, что она поступила правильно — у мясника много желтых монет, он может даже переехать на другую улицу, и с ним Жюльетта начнет беспечно смеяться. Он вспомнил, что отец его Жан, уходя в июльское утро с вычищенным ружьем, сказал своей плачущей жене, матери Луи:

— Я должен итти, а ты должна меня удерживать. Петух ищет высокий шест, корабль — открытое море, а женщина — спокойную жизнь.

Вспомнив слова отца, Луи еще раз подумал, что он был прав, удерживая Жюльетту, но и Жюльетта была права, уйдя от него к богатому мяснику.

Луи снова строил дома и нянчил сына. Но вскоре настала война, и злые пруссаки обложили Париж. Больше никто не хотел строить дома, и леса неоконченных построек пустовали. Ядра прусских пушек, падая, разрушали многие здания прекрасного Парижа, над которыми трудились Луи Ру и другие каменщики. У Луи не было работы, не было хлеба, а трехгодовалый Поль уже умел молча раскрывать рот, как вороненок. Тогда Луи дали ружье. Взяв его, он не пошел петь и кричать «хлеба», он стал, как многие тысячи каменщиков, плотников и кузнецов, защищать прекраснейший из всех городов — Париж — от злых пруссаков. Маленького Поля приютила добрая женщина, владелица зеленной лавки, госпожа Монò. Луи Ру, вместе с другими блузниками, в зимнюю стужу, босой, у форта Валериана подкатывал ядра к пушке, и пушка стреляла в злых пруссаков. Он долгие дни ничего не ел, потому что в Париже был голод. Он отморозил себе ноги, потому что в зиму осады стояли невиданные холода. Прусские ядра падали на форт Валериана, блузников становилось все меньше и меньше, но Луи Ру не покидал своего места возле маленькой пушки, потому что он защищал Париж. И прекраснейший из всех городов мира стоил такой защиты. Несмотря на голод и стужу, роились огни бульваров Итальянского и Капуцинов, хватало рубиновых настоек для франтов, и не сходила беспечная улыбка с лиц женщин.

Луи Ру знал, что больше нет императора и что теперь в Париже Республика. Подкатывая ядра к пушке, он не

мог задуматься над тем, что такое «республика», но блузники, приходившие из Парижа, говорили, что кофейни бульваров, как прежде, полны франтами и беспечными женщинами. Луи Ру, слушая их злое бормотание, понимал, что в Париже ничто не изменилось, что «республика» находится не на улице Черной Вдовы, а на широких проспектах семилучной Звезды, и что, когда каменщик отгонит пруссаков, маленький Поль будет снова открывать свой рот. Луи Ру знал это, но он не покидал своего места у пушки, и пруссаки не могли войти в Париж.

Но в одно утро ему приказали покинуть пушку и вернуться на улицу Черной Вдовы. Люди, которых звали «Республика» и которые, наверное, были франтами или беспечными женщинами, впустили злых пруссаков в прекрасный Париж. С трубкой в зубах угрюмый Луи Ру ходил по улицам предместья Святого Антония.

Пруссаки пришли и ушли, но никто не строил домов. Поль, как вороненок, раскрывал свой рот, и Луи Ру начал чистить ружье. Тогда на стенах был расклеен грозный приказ, чтобы блузники отдали ружья, потому что франты и беспечные женщины, которых звали «Республикой», помнили июньские дни 48-го года.

Луи Ру не хотел отдать своего ружья, а с ним вместе все блузники предместья Святого Антония и многих других предместий. Они вышли на улицы с ружьями и стреляли. Это было в теплый вечер, когда в Париже едва начиналась весна.

На следующий день Луи Ру увидел, как по улицам тянулись нарядные кареты, развалистые экипажи, фургоны и телеги. На телегах лежало всякое добро, а в каретах сидели люди, которых Луи привык видеть в кофейнях Больших Бульваров. Здесь были крохотные генералы в малиновых кепи с грозно свисающими усами, молодые женщины в широких юбках, обрамленных кружевами, обрюзгшие аббаты в фиолетовых сутанах, старые франты, щеголявшие вороньими, песочными и рыжими цилиндрами, молодые офицеры, никогда не бывшие ни у форта Валериана, ни у других фортов, важные лысые лакеи, собачонки с бантиками на гладко причесанной, шелковистой шерсти и даже крикливые попугаи. Все они спешили к Версальским Воротам. Когда Луи Ру вечером пошел на

площадь Оперы, он увидел опустевшие кофейни, где франты больше не пили рубиновых настоек, и заколоченные магазины, возле которых больше не смеялись беспечные женщины. Люди из кварталов Елисейских Полей, Пасси и Святого Жермена, раздосадованные блузниками, не хотевшими отдать ружей, покинули прекрасный Париж, и даже аспидные зеркала тротуаров, не отражая погасших огней, грустно чернели.

Луи Ру увидел, что «Республика» уехала в каретах и в фургонах. Он спросил других блузников, кто остался вместо нее — ему ответили «Парижская Коммуна», и Луи понял, что Парижская Коммуна живет где-то недалеко от улицы Черной Вдовы.

Но франты и женщины, покинувшие Париж, не хотели забыть прекраснейший из всех городов мира. Они не хотели отдать его каменщикам, плотникам и кузнецам. Снова ядра пушек стали разрушать дома, теперь их слали не злые пруссаки, а добрые завсегдатаи кофеен «Английская» и других. Луи понял, что ему надо вернуться на свое старое место у форта Валериана. Но владелица зеленной лавки, госпожа Моно̀, была не только доброй женщиной, она была и доброй католичкой. Она отказалась пустить в свой дом сына одного из безбожников. Тогда Луи Ру взял трубку в зубы, а своего сына Поля на плечи и пошел к форту Валериана. Он подкатывал ядра к пушке, а Поль играл рядом с пустыми патронами. Ночью мальчик спал в доме сторожа водокачки. Сторож подарил Полю новенькую глиняную трубку, точь-в-точь такую, какую курил Луи Ру, и кусочек мыла. Теперь Поль, когда ему надоедало слушать выстрелы и глядеть на плюющуюся ядрами пушку, мог пускать мыльные пузыри. Пузыри были разных цветов — голубые, розовые и лиловые. Они походили на шарики, которые покупали нарядным мальчикам в Тюильрийском саду франты и беспечные женщины. Правда, пузыри сына блузника жили одно мгновение, а шарики детей из квартала Елисейских Полей держались целый день, но и те и другие были прекрасны, но и те и другие быстро умирали. Пуская из глиняной трубки мыльные пузыри, Поль забывал раскрывать свой рот. Подходя к людям, которых все называли «коммунарами» и среди которых находился Луи Ру, он важно сжимал в зубах пустую трубку,

подражая своему отцу. И люди, на минуту забывая о пушке, ласково говорили Полю:

— Ты настоящий коммунар.

Но у блузников было мало пушек и мало ядер, и самих блузников было мало. А люди, покинувшие Париж и жившие теперь в бывшей резиденции королей — в Версале, подвозили каждый день новых солдат — сыновей скудоумных крестьян Франции и новые пушки, подаренные им злыми пруссаками. Они все ближе и ближе подходили к валам, окружающим город Париж. Уже многие форты были в их руках, и больше никто не приходил на смену убитым пушкарям, вместе с Луи Ру защищавшим форт Валериана. Каменщик сам подкатывал ядра, сам заряжал пушку, сам стрелял, ему помогали только два уцелевших блузника.

В бывшей резиденции королей Франции царило веселье. Открытые наспех дощатые кофейники не могли вместить всех желавших рубиновых настоек. Аббаты в фиолетовых сутанах служили пышные молебствия. Поглаживая грозно свисающие усы, генералы весело беседовали с наезжавшими прусскими офицерами. И лысые лакеи уже возились над господскими чемоданами, готовясь к возвращению в прекраснейший из всех городов. Великолепный парк, построенный на костях двадцати тысяч работников, день и ночь копавших землю, рубивших просеки и осушавших болота, чтобы не опоздать к сроку, назначенному Королем-Солнцем, убирался флагами в честь победы. Днем медные трубачи надували свои щеки, каменные тритоны девяти больших и сорока малых фонтанов проливали слезы лицемерия, а ночью, когда в обескровленном Париже притушенные огни не роились на аспиде площадей, сверкали среди листвы торжествующие вензеля плошек.

Капитан национальной армии Франсуа д'Эмоньян привез своей невесте Габриели де Бонивэ букет белых лилий, свидетельствовавший о благородстве и чистоте его чувств. Лилии были вставлены в золотой портбукет, украшенный сапфирами и купленный в Версале у ювелира с улицы Мира, успевшего в первый день мятежа вывезти все свои драгоценности. Букет был поднесен также в ознаменование победы — Франсуа д'Эмоньян приехал на день с парижского фронта. Он рассказал невесте, что инсур-

генты разбиты. Завтра его солдаты возьмут форт Валериана и вступят в Париж.

— Когда начнется сезон в Опере? — спросила Габриель.

После этого они предались любовному щебетанию, столь естественному между героем-женихом, прибывшим с фронта, и невестой, вышивавшей для него атласный кисет. В минуту особой нежности, сжимая рукой участника трудного похода лиф Габриели, цвета абрикоса, Франсуа сказал:

— Моя милая, ты не знаешь, до чего жестоки эти коммунары! Я в бинокль видел, как у форта Валериана маленький мальчик стреляет из пушки. И представь себе, этот крохотный Нерон уже курит трубку.

— Но вы ведь их всех убьете, — прощебетала Габриель.

Франсуа д'Эмоньян знал, что он говорил. На следующее утро солдаты его полка получили приказ занять форт Валериана. Луи Ру с двумя уцелевшими блузниками стрелял в солдат. Тогда Франсуа д'Эмоньян велел выкинуть белый флаг, и Луи Ру, который слыхал о том, что белый флаг означает мир, перестал стрелять. Он подумал, что солдаты пожалели прекраснейший из городов мира и хотят помириться с Парижской Коммуной. Три блузника, улыбаясь и куря трубки, ждали солдат, а маленький Поль, у которого больше не было мыла, чтобы пускать пузыри, подражая отцу, все же держал во рту трубку и тоже улыбался. А когда солдаты подошли вплотную к форту, Франсуа д'Эмоньян велел трем из них, лучшим стрелкам Савойи, убить трех мятежников. Маленького коммунара он хотел взять живьем, чтобы показать своей невесте.

Горцы Савойи умели стрелять, и, заняв, наконец, форт Валериана, солдаты увидели трех людей с трубками, лежавших возле пушки. Солдаты видали много убитых людей и не удивились. Но, увидев на пушке маленького мальчика с трубкой, они растерялись и помянули — один святого Иисуса, другие — тысячу чертей.

— Ты откуда взялся, мерзкий клоп? — спросил один из савойцев.

— Я настоящий коммунар, — улыбаясь, ответил Поль Ру.

Солдаты хотели приколоть его штыками, но капрал сказал, что капитан Франсуа д'Эмоньян приказал доставить маленького коммунара на один из одиннадцати пунктов, куда сгоняли пленных.

— Сколько он наших убил, этакий ангелочек! — ворчали солдаты, подталкивая Поля прикладами.

Маленький Поль, который никогда никого не убивал, а только пускал из трубки мыльные пузыри, не понимал, отчего эти люди бранят и обижают его.

Пленника-инсургента Поля Ру, которому было четыре года от роду, солдаты национальной армии повели в завоеванный Париж. Еще в северных предместьях отстреливались, погибая, блузники, а в кварталах Святого Жермена, Оперы и в новом квартале семилучной Звезды люди уже веселились. Был лучший месяц — май, цвели каштаны широких бульваров, а под ними, вокруг мраморных столиков кофеен, франты пили рубиновые настойки, и женщины беспечно улыбались. Когда мимо них проводили крохотного коммунара, они кричали, чтоб им выдали его. Но капрал помнил приказ капитана и охранял Поля. Зато им отдавали других пленных — мужчин и женщин. Они плевали в них, били их изящными палочками, а утомившись, закалывали штыком, взятым у одного из проходивших мимо солдат.

Поля Ру привели в Люксембургский сад. Там, перед дворцом, был отгорожен участок, куда загоняли пленных инсургентов. Поль важно ходил меж ними со своей трубкой и, желая утешить некоторых женщин, горько плакавших, говорил:

— Я умею пускать мыльные пузыри. Мой отец Луи Ру курил трубку и стрелял из пушки. Я настоящий коммунар.

Но женщины, у которых остались где-то в предместье Святого Антония дети, может быть тоже любившие пускать пузыри, слушая Поля, еще горче плакали.

Тогда Поль сел на траву и начал думать о пузырях, какие они были красивые — голубые, розовые и лиловые. А так как он не мог долго думать и так как путь из форта Валериана до Люксембургского сада был длинным и трудным, Поль скоро уснул, не выпуская из рук трубки.

Пока он спал, два рысака везли по Версальскому шоссе легкое ландо. Это Франсуа д'Эмоньян вез свою

невесту Габриель де Бонивэ в прекрасный Париж. И никогда Габриель де Бонивэ не была столь прекрасна, как в этот день. Тонкий овал ее лица напоминал портреты старых флорентийских мастеров. На ней было платье лимонного цвета с кружевами, сплетенными в монастыре Мельхерина. Крохотный зонтик охранял ее матовую кожу, цвета лепестков яблони, от прямых лучей майского солнца. Воистину она была прекраснейшей женщиной Парижа, и, зная это, она особенно беспечно улыбалась.

Въехав в город, Франсуа д'Эмоньян подозвал встречного солдата своего полка и спросил его, где помещается пленник из форта Валериана. Когда же влюбленные вошли в Люксембургский сад и увидели старые каштаны в цвету, плющ над фонтаном Медичи, черных дроздов, прыгавших по аллеям, сердце Габриель де Бонивэ переполнилось нежностью, и, сжимая руку жениха, она прошептала:

— Мой милый, как прекрасно жить!..

Пленные, из числа которых каждый час кого-нибудь уводили на расстрел, с ужасом глядели на погоны капитана, — всякий думал, что наступил его черед. Но Франсуа д'Эмоньян не обращал на них внимания, он искал маленького коммунара. Найдя его спящим, он легким пинком разбудил его. Мальчик, проснувшись, сначала расплакался, увидев же веселое лицо Габриели, не похожее на грустные лица других женщин, окружавших его, он взял в рот свою трубку, улыбнулся и сказал:

— Я — настоящий коммунар.

Габриель, удовлетворенная, промолвила:

— Действительно, такой маленький! Я думаю, что они рождаются убийцами, и надо теперь истребить всех, даже только что родившихся...

— Теперь ты поглядела, и можно его прикончить, — сказал Франсуа и подозвал солдата.

Но Габриель попросила его подождать. Ей хотелось продлить усладу этого незабываемого дня. Она вспомнила, что, гуляя однажды во время ярмарки в Булони, видела барак с подвешенными глиняными трубками; некоторые из них быстро вертелись. Молодые люди стреляли из ружей в глиняные трубки.

Хотя Габриель де Бонивэ была из хорошего дворянского рода, она любила простонародные развлечения и, вспомнив об ярмарочной забаве, попросила жениха:

— Я хочу научиться стрелять. Жена боевого офицера должна уметь держать в руках ружье. Позволь мне попытаться попасть в трубку этого маленького злодея.

Франсуа д'Эмоньян никогда ни в чем не отказывал своей невесте. Он подарил ей жемчужное ожерелье, стоившее тридцать тысяч франков. Мог ли он отказать ей в этом невинном сельском развлечении? Он взял у солдата ружье и подал его Габриели.

Увидав девушку с ружьем, пленные разбежались и столпились в дальнем углу отгороженного участка. Только Поль спокойно стоял с трубкой и улыбался. Габриель хотела попасть в двигающуюся трубку, и, целясь, она сказала мальчику:

— Беги! Я буду стрелять!..

Но Поль часто видел, как люди стреляли из ружей, и он продолжал спокойно стоять на месте. Габриель в нетерпении выстрелила, и так как она стреляла впервые, вполне простителен ее промах.

— Моя милая, — сказал Франсуа д'Эмоньян, — вы гораздо лучше пронзаете сердца стрелами, нежели глиняные трубки пулями. Глядите, вы убили гаденыша, а трубка осталась невредимой.

Габриель де Бонивэ ничего не ответила. Глядя на небольшое красное пятнышко, она чаще задышала и, прижавшись крепче к Франсуа, предложила вернуться домой, чувствуя, что ей необходимы томные ласки жениха.

Поль Ру, живший на земле четыре года и больше всего на свете любивший пускать из глиняной трубки мыльные пузыри, лежал неподвижный.

Недавно я встретился в Брюсселе со старым коммунаром Пьером Лотрэком. Я подружился с ним, и одинокий старик подарил мне свое единственное достояние — глиняную трубку, из которой пятьдесят лет тому назад маленький Поль Ру пускал мыльные пузыри. Пьер Лотрэк, в майский день, когда четырехлетний инсургент был убит Габриелью де Бонивэ, находился в загоне Люксембургского Сада. Почти всех, из числа бывших в нем, версальцы расстреляли. Пьер Лотрэк уцелел потому, что какие-то

франты сообразили, что нужно будет кому-нибудь работать и что прекрасному Парижу, который захочет стать еще прекрасней, еще понадобятся каменщики, плотники и кузнецы. Пьер Лотрэк был сослан на пять лет, он бежал из Кайенны в Бельгию и через все мытарства пронес трубку, подобранную им у трупа Поля Ру. Он дал мне ее и рассказал все, записанное мною.

Я часто прикасаюсь к ней сухими от злобы губами. В ней след дыхания нежного и невинного, может быть и след лопнувших давно мыльных пузырей. Но эта игрушка маленького Поля Ру, убитого прекраснейшей из женщин, Габриелью де Бонивэ, прекраснейшего из всех городов мира, Парижа, — говорит мне о великой Ненависти. Припадая к ней, я молюсь об одном — увидев белый флаг, не опустить ружья, как это сделал бедный Луи Ру, и ради всей радости жизни не предать форта Валериана, на котором еще держатся три блузника и пускающий мыльные пузыри ребенок.

1922

ТРУБКА СОЛДАТА

Тишайший свет звезды несется тысячи лет, прежде чем показаться людям, но короток век человека: детство с играми, любовь и труд, болезни, смерть.

Была война. Когда-нибудь подберут эпитет «великая» или «малая», чтобы сразу отличить ее от других войн бывших и будущих. Для людей, живших в тот год, была просто война.

Была война, и на крохотном пространстве, близ груды камней, называвшихся прежде бельгийским городом Ипром, сидели, ели и умирали чужие пришлые люди. Их называли 118-м линейным полком французской армии. Полк этот, сформированный на юге, в Провансе, состоял из крестьян, — виноделов или пастухов. В течение шести месяцев курчавые темные люди ели и спали в глинистых ямах, стреляли, умирали, вскинув руки, и на штабной карте корпуса было помечено, что 118-й линейный полк защищает позиции при «Черной переправе».

Напротив, в пятистах шагах, сидели другие люди, и они тоже стреляли. Среди них было мало курчавых и черных. Белесые и светлоглазые, они казались крупней и грубей виноделов; говорили они на непохожем языке. Это были хлебопашцы Померании; их называли в другом штабе 87-м запасным батальоном прусской армии.

Это были враги; а между врагами находилась земля, которую и виноделы и хлебопашцы называли «ничьей». Она не принадлежала ни Германской империи, ни Французской республике, ни Бельгийскому королевству. Разво-

роченная снарядами, изъеденная вдоль и поперек брошенными окопами, круто начиненная костьми людей и ржавым металлом, она была мертвой и ничьей. Ни одной былинки не уцелело на ней, и в июльские полдни она пахла калом и кровью. Но никогда ни за какой благословенный сад с тучными плодами и с цветами теплиц люди так не боролись, как за этот вожделенный пустырь. Каждый день кто-нибудь полз с земли французской или немецкой на землю, называвшуюся «ничьей», и замешивал глину вязкой кровью.

Одни говорили, что Франция воюет за свободу, другие, что она хочет похитить уголь и железо; но солдат 118-го линейного полка Пьер Дюбуа воевал только потому, что была война. А до войны был виноград. Когда шли слишком часто дожди или на лозы нападала филоксера, Пьер хмурился, он стегал собаку, чтобы она его не объедала. А в хороший год, продав выгодно урожай, он надевал крахмальную манишку и ехал в ближний городок. Там, в кабачке «Свиданье принцев», он веселился как мог, хлопал служанку по широкой спине и, бросив в машину два су, слушал, приоткрыв рот, попурри. Один раз Пьер болел, у него сделался нарыв в ухе, это было очень больно. Когда он был маленьким, он любил ездить верхом на козе и красть у матери сушеные фиги. У Пьера была жена Жанна, и он часто любовно сжимал ее груди, крутые и смуглые, как гроздья винограда. Такова была жизнь Пьера Дюбуа. А потом Франция начала сражаться за свободу или добывать себе уголь, и он стал солдатом 118-го линейного полка.

В пятистах шагах от Пьера Дюбуа сидел Петер Дебау, и жизнь его была непохожей на жизнь Пьера, как непохожа картошка на виноград, или север на юг, и она была бесконечно похожей, как похожи друг на друга все плоды земли, все страны и все жизни. Петер ни разу в жизни не ел винограда, он только видел его в окнах магазинов. Музыки он не любил, а по праздникам играл в кегли. Он хмурился, когда солнце пекло и не было дождей, потому что тогда травы желтели и коровы Петера давали плохое молоко. У него никогда не болело ухо. Однажды он простудился и с неделю пролежал в сильном жару. Мальчиком Петер играл со старой отцовской таксой и картузом ловил солнечных зайчиков. Его жена, Иоганна, была бела, как

молоко, рыхла, как вареный картофель, и Петеру это нравилось. Так жил Петер. Потом — говорили одни, что Германия сражается за свободу, другие, что она хочет похитить железо и уголь, — Петер Дебау стал солдатом 87-го запасного батальона.

На ничьей земле не было ни свободы, ни угля — только кости и ржавая проволока, но люди хотели во что бы то ни стало завладеть ничьей землей. Об этом подумали в штабах и упомянули в бумагах. 24 апреля 1916 года лейтенант призвал к себе солдата Пьера Дюбуа и отдал приказ в два часа пополуночи проползти по брошенному окопу, прозванному «Кошачьим коридором», вплоть до германских позиций и установить, где расположены неприятельские посты.

Пьеру Дюбуа было двадцать восемь лет. Это, конечно, очень мало — тишайший луч звезды несется много веков. Пьер, услышав приказ, однако, подумал, что была филоксера, губившая виноград, и болезни, губившие человека, а стала — война, и что человеку надо теперь считать не годы, а часы. До двух пополуночи оставалось еще три часа и пятнадцать минут. Он успел пришить пуговицу, написать Жанне, чтобы она не забыла посыпать серой молодые лозы, и, громко прихлебывая, выпить кружку черного кислого кофе.

В два часа пополуночи Пьер пополз по скользкой глине завоевывать ничью землю. Он долго пробирался окопом, прозванным «Кошачьим коридором», натыкаясь на кости и колючую проволоку. Потом коридор кончился. Направо и налево шли такие же брошенные окопы, сиротливые, как брошенные дома. Раздумывая, какой выбрать, — правый или левый — оба вели ведь к смерти, — Пьер решил передохнуть, он закурил свою трубку, бедную солдатскую трубку, испачканную глиной. Было очень тихо — люди обычно громко стреляли днем, а ночью они убивали друг друга без шума, посылая разведчиков, как Пьер, или роя подкопы. Пьер курил трубку и глядел на густое звездное небо. Он не мерил и не гадал, не сравнивал миров со своей деревушкой в Провансе. Он только подумал, — если на юге такая же ночь — винограду хорошо, и Жанне тоже, Жанна любит теплые ночи. Он лежал и курил, всей теплотой своего тела радуясь тому, что здесь, на мертвой,

ничьей земле, он еще жив, дышит и курит, может пошевельнуть рукой или ногой.

Но Пьер не успел раскурить хорошенько трубку, как из-за угла показалось перед ним чье-то лицо. Кто-то полз навстречу. Пьер видел лицо — светлое и широкое, непохожее на лица виноделов или пастухов Прованса, Пьер видел чужое лицо и чужой шлем и чужие пуговицы. Это был Петер Дебау, но для Пьера он был просто врагом, как просто — война. Он не знал, что вечером германский лейтенант вызвал к себе солдата Петера, что Петер тоже чинил свою шинель, писал Иоганне, чтобы она не забывала стельных коров, и, чавкая, хлебал похлебку. Пьер не знал об этом, а если б и знал, все равно не понял бы — ведь в тот год была война. Для Пьера Петер был просто врагом, и, увидев врага, приползшего навстречу, Пьер изогнулся, готовый вцепиться в добычу. И рядом Петер, увидев врага так близко, что он слышал, как бьется чужое сердце, выпростал руки, подобрал ноги, размеряя лучше прыжок.

Они лежали друг против друга. Каждый ждал и не хотел начинать. Руки обоих были на виду, и, не глядя на лица, оба зорко следили за вражескими руками.

А трубка Пьера курилась. Враги лежали рядом, не желая убивать, но твердо зная, что убить необходимо, лежали мирно и громко дышали друг другу в лицо. Они, как звери, принюхивались к чужой шерсти. Запах был родной и знакомый, запах промокшей шинели, пота, скверного супа, глины.

Пришедшие из дальних земель, из Прованса, из Померании, на эту землю, ничью и чужую, они знали: нужно убить врага. Они не пытались разговаривать: много чужих земель и чужих языков. Но они мирно лежали рядом, и трубка Пьера курилась, и Петер, который не мог закурить своей, зная, что нельзя шевельнуть рукой, жадно вдыхал табачный дым, и тогда Пьер еще ближе выпятил свою голову. Петер взял трубку зубами из зубов. А глаза обоих попрежнему не отпускали чужих рук. Затянувшись, Петер возвратил трубку Пьеру, и тот в свою очередь, уже не дожидаясь просьбы, после затяжки предложил ее врагу. Так они делали несколько раз, сладко куря солдатскую трубку, два врага на ничьей земле, которую надо было во что бы

то ни стало завоевать. Они затягивались осторожно, медленно, очень, очень медленно. Тишайший луч мчится тысячи лет, а они знали, что для одного из них это — последняя трубка. Случилось несчастье, — трубка, не додымив до конца, погасла. Кто-то из двух задумался и во-время не продлил своим проглоченным вздохом ее короткой жизни. Был ли это Пьер, вспомнивший смуглую Жанну, или Петер, прощавшийся с белесой Иоганной? Кто-то из двух... Они знали, что достать зажигалку нельзя, что малейшее движение рукой — борьба и смерть. Но кто-то первый решился. Пьер ли, защищавший Французскую республику и в заднем кармане хранивший кремень с длинным шнуром, или Петер, у которого были спички и который сражался за Германскую империю? Кто-то из двух...

Они начали друг друга душить. Трубка выпала, завязла в глине. Они душили и били один другого молча, катаясь по земле. Наконец они затихли, они снова мирно лежали рядом, только без трубки, мертвые, на мертвой и ничьей земле.

Вскоре перестали быть зримыми тишайшие лучи, идущие от звезд к земле; рассвело, и, как каждый день, люди, убивавшие ночью молча, увидев солнце, начали убивать громко, стреляя из ружей и пушек. В двух штабах занесли в списки пропавших без вести имена, столь различные и сходные, двух солдат, а когда снова пришла ночь, поползли на землю, называвшуюся ничьей, новые люди, чтобы сделать то, чего не сделали ни Пьер, ни Петер, потому что в тот год была война.

В деревушке Прованса смуглая Жанна, посыпая серой виноград, плакала над Пьером, а поплакав, она пустила в свой дом другого мужа — Поля, ведь кто-нибудь должен был подрезать лозы и сжимать ее груди, крутые, как гроздья. И очень далеко от нее, но все же куда ближе, чем звезда от звезды, в деревушке Померании, плакала белесая Иоганна, подсыпая корм стельным коровам, и, так как коровы требовали много забот, а ее тело, белое, как молоко, не могло жить без ласки, на ферме появился новый муж, по имени Пауль.

В апреле 1917 года ничья земля, пахнувшая калом и кровью, перестала быть ничьей. В теплый ясный день на ней умерло очень много людей из разных земель, и желтая

глина, замешанная кровью, сделалась чьей-то, собственной, законной землей. Впервые по окопу, носившему название «Кошачьего коридора», люди прошли спокойно, не сгибая даже головы. На повороте, там, где кончался «Кошачий коридор» и ветвились направо и налево другие окопы, не имевшие прозвищ, они увидели два скелета, обнимавшие друг друга. Рядом с ними валялась маленькая трубка.

Вот она передо мной, бедная солдатская трубка, замаранная глиной и кровью, трубка, ставшая на войне «трубкой мира»! В ней еще сереет немного пепла, — след двух жизней, сгоревших быстрее, чем сгорает щепотка табаку...

1922

ТРУБКА ПЛЕМЕНИ ГОБУЛУ

Осенью 1920 года бельгийский миллионер Ван-Эстерпэд поехал в Конго, не ради каких-либо коммерческих целей, а исключительно для того, чтобы привести в порядок свою нервную систему, сильно утомленную светскими приемами, покером, чересчур обильными ужинами и чересчур длительным сном. Выбор места не должен показаться удивительным: каждый совершает поездку согласно своим средствам. Если владельцы десятков тысяч франков едут в Остендэ или в Спа, а обладающие сотнями тысяч доплывают до Алжира и Египта, то ворочавшему многими миллионами Ван-Эстерпэду было даже неприлично выбрать для своих каникул страну более близкую, нежели Конго. Длительность путешествия его не смущала, так как он должен был ехать на прекрасно оборудованном пароходе, где, кроме обычных удобств, имелись скэтинг-ринг и джаз-банд, в отменной компании, состоящей из четырех миллионеров и трех услужливых молодых людей, подававших все надежды стать миллионерами в самом ближайшем будущем.

Во время плаванья Ван-Эстерпэду не удалось отдохнуть, так как он чересчур много ел и чересчур много спал, играл в покер, слушал джаз-банд и за две недели только раз удосужился подняться на лифте на верхнюю палубу, что скорей напоминало воскресную поездку в Остендэ, нежели путешествие в Конго. Прибыв в Альбертвиль, пять миллионеров и три кандидата в миллионеры, с чековыми книжками и с плоскими чемоданами, хранившими все

предметы первой необходимости от блестящих цилиндров для премьер туземных театров до нагреваемых электричеством усовершенствованных клизм, — переехали в отель «Брюссель», где продолжали свои повседневные труды, прерванные пятиминутным переездом в прекрасных лимузинах.

Путешественники уже собирались возвращаться в Бельгию, когда одному из молодых кандидатов в миллионеры, который вследствие своего пристрастия к теннисной обуви и кожаным шапкам слыл спортсменом, пришла счастливая идея дополнить осмотр страны небольшим путешествием вверх по реке Конго в очаровательной яхте «Бельжик». Разумеется, будучи счастливой, эта идея была всеми одобрена, и миллионеры, кандидаты в миллионеры, чековые книжки и плоские чемоданы перебрались в уютно обставленные каюты яхты «Бельжик». Отдыхая от джаз-банда и от парадных обедов, они честно продолжали выполнять свои прочие обязанности: на яхте были — лучший повар отеля «Брюссель», фаршировавший крохотные омары спаржей, ананасами и очень молодыми, еще не оперившимися рябчиками, скрипач, не позволявший ленивцам забыть о требовательных музах, и лакей, взбивавший до легкости белков горы перин из пуха юных гагар. Единственное, от чего путники были освобождены, это трудные оброки, возлагаемые на миллионеров, как и на всех смертных, безответственными представительницами иного пола. Это было вызвано категорическими пожеланиями консилиума брюссельских профессоров, нежно заботившихся о восстановлении нервной системы Ван-Эстерпэда и других утомленных тружеников.

Яхта «Бельжик» плыла вверх по реке три дня и находилась уже на значительном расстоянии от морского побережья. В конце третьего дня, когда путники слушали скрипку, передававшую все оттенки томных жалоб баядерки, а слушая, думали о своем возвращении в Брюссель, то есть в различные будуары с пеньюарами, приключился инцидент печальный, но, увы, не редкий в диких странах.

Яхта «Бельжик» накренилась от резкого толчка, за ним последовали второй и третий. Скрипка, разумеется, умолкла, а миллионеры принялись визжать и жаловаться ничуть не хуже баядерки. Затем произошло нечто невнят-

ное, Ван-Эстерпэд помнил лишь, что сначала увидел каких-то животных, похожих на огромных черных свиней, и удивился туземным людям, позволяющим свиньям свободно гулять повсюду, а также туземным свиньям, находящим удовольствие в купании поздно вечером, когда вода в реке несомненно ниже двадцати семи градусов. Далее он почувствовал, что кругом все мокро, и сообразил, что он попал в положение туземной свиньи. Наконец он очутился на берегу, чему способствовали толчки тех же странных животных. Он был доволен сухостью земли, но опечален толчками, которые болезненно отразились на некоторых частях его нежного тела. Почесывая свой зад, он мог наблюдать картину, редкую по живописности и неподдельной силе, за которую любой кинооператор дал бы дюжину крушений поездов: 28 октября 1920 года стадо бегемотов (ибо странные животные были именно бегемотами, о чем Ван-Эстерпэд догадался в конце концов, вспомнив свое детство и посещения зоологического сада), резвясь и невинно играя, опрокинуло яхту «Бельжик», причем молодые бегемоты, почувствовав сильный аппетит, пренебрегая традициями и советами старых бегемотов, съели не только четырех миллионеров, трех кандидатов в миллионеры, скрипача, повара, лакея, но и плоские чемоданы с цилиндрами, с электрическими клизмами, за что поплатились трехмесячным запором и изжогой.

Указанные болезненные явления испытывали бегемоты. Но Ван-Эстерпэд, лежа мокрый на берегу и видя гибель своих друзей, почувствовал нечто иное, а именно — медвежью болезнь. Все же страх, что животные, у которых, как он ясно помнил с гимназических времен, были не жабры, а легкие, могут выйти на сушу и заметить его, — победил слабость и заставил миллионера спешно удалиться от берега в лежавший неподалеку пальмовый лесок. Был тихий теплый вечер. Присев под пальмой на мягкий мох, Ван-Эстерпэд почувствовал себя в зимнем саду ресторана «Рен Элизабет». Какая-то тропическая полуночная птица вполне удовлетворительно заменяла солиста румына. Прерванное столь неприятно пищеварение возобновилось, и Ван-Эстерпэд спокойно уснул.

Проснувшись, он начал искать кнопку звонка, но прижал огромного рогатого жука, сильно ущемившего его

палец. Он позвал лакея яхты — Гастона, но в ответ с пальм посыпались большущие орехи, сбрасываемые рассерженными обезьянами. Раздумывая, стоит ли тереть вспухшим пальцем шишки на лбу, Ван-Эстерпэд мало-помалу вполне очнулся и вспомнил происшедшее. Меланхолично вздохнув, но отнюдь не теряя присутствия духа, он побрел по лесу, разыскивая местное почтовое отделение, чтобы телеграммой выписать из Брюсселя пароход, врача и чемодан с предметами первой необходимости.

Ему повезло — через несколько часов он увидал пред собой если не почтовое отделение, то все же крохотного, черного и совершенно голого человека. Ван-Эстерпэд сразу понял, что это грум большой гостиницы, и, будучи утомленным, потребовал, чтобы черный человечек повез его на плечах, ввиду отсутствия автомобиля. Но грум, исключительно невоспитанный, слушая миллионера, нагло улыбался и, вместо того, чтобы присесть, как это делают дрессированные верблюды, начал фамильярно щекотать живот Ван-Эстерпэда, срывая с часовой цепочки брелloки. Раздосадованный Ван-Эстерпэд решил пожаловаться гостиничной администрации, а пока что, проявив хорошие способности, хотя никогда до этого времени не садился ни на человека, ни на лошадь, он оседлал грума и закричал: «Гоп, гоп!» Грум не двигался с места. Миллионер, пришпорив его узкими носками туфель, бил набалдашником палки по голове, но в результате грум, вместо того чтобы продвигаться к гостинице, корчась, упал на землю. Делать было нечего, и Ван-Эстерпэд отправился дальше пешком.

Вскоре он добрел до лачуги и услышал приятный запах пищи. Вспомнив, что за весь день он еще ни разу не ел, и не желая оставаться тупым бездельником, миллионер вошел в хижину, которая легко могла бы оказаться туземным рестораном последнего разряда. На огне жарились куски мяса, а вокруг них прыгала старая женщина, также совершенно черная. Ван-Эстерпэд заказал себе порцию отбивных котлет с горошком, но это не произвело на старуху никакого впечатления.

Правда, забыв о мясе, она начала прыгать вокруг Ван-Эстерпэда, но не делала при этом никаких приготовлений к тому, чтобы накрыть стол, кстати, вовсе отсутствовавший. Ван-Эстерпэд готов был серьезно задуматься над нравами

местных жителей, но запах мяса напомнил ему о невыполненных обязанностях, и, пренебрегая всеми приличиями, пользуясь тем, что четыре миллионера и три кандидата в миллионеры, съеденные бегемотами, не могли увидеть его позора, он взял руками кусок мяса и скушал его, как сэндвич во время пикника. Старуха принялась визжать и даже царапаться. Ван-Эстерпэд, оскорбленный тем, что она сомневается в его кредитоспособности, дал ей билет десятифранкового достоинства. Когда же старуха, неудовлетворенная, продолжала свое неприличное поведение, миллионер, вспомнив игру в футбол, которую он наблюдал неоднократно, с редкой ловкостью ударил ее ногой в живот столь сильно, что жадная владелица туземного ресторана покатилась на землю.

Сильно укрепленный сознанием исполненного долга, а также куском мяса, Ван-Эстерпэд заглянул в соседнюю лачугу и увидел молоденькую девушку, опять-таки черную. Ему стало совершенно ясно, что большинство людей, населяющих эти места, отличаются черным цветом кожи и, по всей вероятности, являются неграми. В дальнейшем его поведении сказались результаты советов консилиума брюссельских профессоров и отсутствие на яхте «Бельжик» особ женского пола. Ван-Эстерпэд, глядя на тело девушки, подумал о работах, давно им заброшенных, и, устыдясь, решил, вместо праздных ожиданий будуаров с пеньюарами, снизойти до простых, черных и совершенно голых женщин. Осмотрев девушку, он убедился в том, что ее устроение не отличается от устроения девушек белого цвета и что достаточно закрыть глаза для того, чтобы не заметить перемены страны, климата и народонаселения. Девушка отчаянно отбивалась и пребольно кусала подбородок Ван-Эстерпэда, но миллионер, вспомнив различные приемы опытных брюссельских актрис, не удивился этому и даже похвалил ее искусство. Что касается подбородка, то, вспухший, он вполне соответствовал лбу, хранившему следы обезьяньих игр. Когда Ван-Эстерпэд, утомленный, собирался покинуть хижину, он заметил, что девушка злобно визжит, точно так, как это делала старуха. Такой способ выражать свои чувства удивил миллионера — голая девушка, прикрытая лишь одним поясом, да и то сделанным из ничего не стоящих листьев, не могла быть осо-

бенно дорогой куртизанкой, и посещение Ван-Эстерпэда, радующее даже примадонн Брюссельского королевского театра, должно было только льстить ей. Вынув из кармана чековую книжку, он щедро выписал ей чек за № 406186:

«В Бельгийский королевский банк. Выплатить предъявительнице сего — черной голой девушке — пятьсот франков». Но листок не успокоил девушку, и Ван-Эстерпэду вновь пришлось прибегнуть к спортивным жестам. Выйдя из хижины, он присел под пальмой на мох, уже доказавший свое право заменять перины, которые столь искусно взбивал лакей Гастон, и задремал. Проснулся он от чудовищного шума. Шагах в пятидесяти от него черные люди били палками в натянутые на шесты звериные шкуры и издавали при этом рыканье, напоминавшее весь зоологический сад в целом.

Для уяснения дальнейших событий необходимо перейти от переживаний неунывающего миллионера к нравам и обычаям черных людей, которые, по совершенно правильной догадке Ван-Эстерпэда, принадлежали к неграм, а более точно, к племени Гобулу. Как это и не покажется странным, негры племени Гобулу, живущие на огромном расстоянии от Брюсселя и других культурных центров, не имеющие ни гостиницы, ни скромного почтового отделения, являлись людьми крайне моральными. Все они, даже крохотный негритенок, погибший под туфлями и палкой Ван-Эстерпэда, прекрасно знали, что на свете существуют добро и зло. Но не обладая ни трудами отцов церкви, ни сводами законов, они не знали, как отличить добро от зла и зло от добра. Для этого им служила священная трубка с изображением бога Кабалаша, умевшего различать все вещи, в том числе неразличимые добро и зло. У Кабалаша, как у всех богов, были глаза, уши, нос, рот, но познавал он мир своим огромным разверстым пупом. Познание богом Кабалашем вещей непостижимых мало удовлетворяло людей племени Гобулу. Гораздо сильнее радовало их то, что при помощи священной трубки бог Кабалаш передавал им крупицу своей мудрости и помогал определить, что в человеке зло и что добро. Делалось это следующим образом. В трубку, вырезанную из твердого кокосового дерева, вернее в ту ее часть, которая представляла из себя разверстый пуп бога Кабалаша, вкладывалось несколько

зерен конопли. Затем самый благочестивый человек племени Гобулу подносил к своим губам длинный ствол трубки. Зажигая угольком конопляные зерна, он плавно вдыхал и выдыхал душистый дым. К судье приводили человека, подлежащего испытанию, и судья, куря священную трубку, долго глядел на пуп испытуемого. Мало-помалу мудрость бога Кабалаша передавалась судье. Если человек сделал злое дело, судья, глядя на его пуп, видел сначала копошащегося червяка, потом змейку, и наконец, огромного удава — такого человека праведные люди племени Гобулу убивали и мясо его кидали шакалам. Если человек был добр, судья видел птицу, овцу и слона, такому человеку давали барана и пальмовое вино. Так священная трубка помогала людям племени Гобулу блюсти справедливость, карать виновных и награждать достойных. Заменяя теологические трактаты и уголовные уложения, она не требовала никаких умственных усилий, превращающих цветущих юношей юридического и богословского факультетов в преждевременных старцев, и вместе с тем не допускала столь частых, увы, судебных ошибок.

Ударяя палками в натянутые на шесты звериные шкуры и потревожив этим послеобеденный отдых Ван-Эстерпэда, люди племени Гобулу думали о вторжении в их поселок белого человека, убившего мальчика, обокравшего и убившего почтенную мать судьи и изнасиловавшего его младшую дочь. Черные люди, ударяя в шкуры, созывали все племя Гобулу на совет, как победить белого человека. Было решено, что десять самых искусных охотников на львов, леопардов и носорогов, с копьями, дротиками и отравленными стрелами выйдут в лес, сопровождаемые всем племенем.

Охотники тотчас взяли свои смертоносные орудия и выступили гуськом, причем впереди шел судья, грозный Канджа, испуская отчаянный утробный гром. За ним рычали, мычали, цокали, блеяли, ржали, верещали, ревели и мяукали все люди племени Гобулу. Не успели они исполнить первого куплета боевой песни, как навстречу им показался белый человек, щуривший глаза и сладко позевывавший. Грозный Канджа приготовился к страшному поединку и поднял копье. Но Ван-Эстерпэд, которому очень понравилась праздничная процессия туземцев, оче-

видно — членов какого-нибудь общества хорового пения, весело улыбаясь, вполне миролюбиво приближался к грозному судье. Канджа стал выжидать прыжка этого белого зверя. Взглянув на браслет с часами, Ван-Эстерпэд увидал, что уже пять часов, и понял, чем вызвано его легкое томление. Потрепав обезумевшего от ужаса Канджу по щеке, он сказал ему:

— У вас здесь очень, очень мило. Но скажи мне, где бы я мог получить пятичасовый чай с легким кексом?

Оправившись, Канджа схватил белого человека. Подбежавшие смельчаки крепкими жилами лиан связали миллионера и потащили его к хижине судьи. Ван-Эстерпэд понял, что происходит нечто неприятное, напоминающее вчерашний ужин бегемотов, и тихонько запищал:

— Полицию! Позовите полицию!

Конечно, если бегемоты съели электрические клизмы, люди племени Гобулу могли бы сразу съесть пленного, но этому помешали все те же этические наклонности этих праведников. Они твердо верили, что всякая пища, входящая в человека, возвышает или унижает. Съесть сердце льва или печень кондора значит приобрести храбрость. Съесть уши зайца или хвост лисы значит стать трусом. Поэтому люди племени Гобулу никогда не ели незнакомых людей и мясо злодеев, как уже было сказано, кидали шакалам, дабы эти гнусные отродья стали еще гнусней.

Не съесть белого человека намеревались туземцы, а судить его, то есть с помощью бога Кабалаша узнать, что несет он племени Гобулу — добро или зло? Канджа взял трубку и, вложив в пуп бога зерна конопли, закурил ее. Сразу на его лице обозначилась улыбка удовлетворения божественной мудростью. Другие люди племени Гобулу принялись сдирать с Ван-Эстерпэда жилет, чтобы обнажить его пуп, ибо именно на пуп должен был смотреть мудрый Канджа. Миллионер, не понимая, почему туземцы так интересуются его животом, решил, что это доктора, и, по старой привычке, пока негры, одолевая слишком сложные для них пуговицы, всячески толкали его, зажмурясь шептал:

— Нет, не болит... и здесь не болит... Все в порядке...

Поглядев на обнаженный пуп белого человека, Канджа ничего не увидел. То есть он увидел то, что видели все: волосатый живот с кружочком, но под ним не было никаких признаков добра или зла. Обеспокоенный столь странным обстоятельством, мудрый Канджа спросил:

— Человек ли это?..

Тотчас же люди племени Гобулу начали проверять: человек ли Ван-Эстерпэд, дергать его за волосы, заглядывать в рот, щекотать подмышками, лизать нос. Догадливый миллионер сообразил, что это, по всей вероятности, осмотр, и скромно предъявил свой паспорт, карточку избирателя, пароходный билет и даже приглашение на завтрак к бельгийскому королю. Но все эти бумажки не удовлетворили черных людей, продолжавших проверять достоверность существования Ван-Эстерпэда руками, ногами и языком. Наконец они ответили судье:

— Да, это человек.

Канджа закурил вторую трубку и снова ничего не увидел, кроме волосатого живота с кружочком. Им овладел страх, он спросил:

— Правда ли, что я, Канджа, живу и курю священную трубку бога Кабалаша?

На этот раз сразу черные люди ответили:

— Да, ты, мудрый Канджа, живешь и куришь уже вторую трубку бога Кабалаша.

Тогда Канджа закурил третью трубку и впился глазами в пуп Ван-Эстерпэда, тщась найти под ним хоть маленького червячка зла или крохотного птенчика добра. Но все его усилия были напрасны. В ужасе он отложил священную трубку и воскликнул:

— Бог Кабалаш видит все. Но не видит бедный Канджа, даже когда он курит трубку бога. Белый человек — не простой человек. Я не знаю, добро ли в нем, или зло. Но если в нем добро — оно больше земли, и мои слабые глаза в нем заблудились. А если в нем зло — оно больше воды, и мои слабые глаза утонули в нем.

Так говорил Канджа, ибо мудрый человек знает, что вечером не солнце умирает, а слепнут глаза; он равно славит бога Кабалаша днем, когда различает далекие облака на небесах, и ночью, когда не может различить даже блох на своей собственной груди.

Люди племени Гобулу благоговейно выслушали слова Канджи и опустились на корточки, чтобы хорошенько подумать о них. Подумав, они сказали Кандже:

— Если Канджа не может увидеть белого человека, может быть, белый человек может увидеть Канджу.

Ван-Эстерпэду подали священную трубку. Сначала он вежливо отказался, так как курил только легкие египетские папиросы. Но черные люди были упрямыми людьми, и, вспомнив о различных неприятных жестах, которыми они сопровождают свои слова, Ван-Эстерпэд предпочел взять в зубы ствол трубки. Тотчас же он испытал сладость, неизвестную ему доселе, и нежно улыбнулся. Глаза его закрылись, потом снова раскрылись шире обычного, и миллионер стал глядеть на пупы людей и вещей. Прежде всего он увидел пальмы, более высокие, нежели все его дома в Брюсселе. Затем он поглядел на пуп озера и забыл о всех принятых им в жизни ваннах. Он взглянул на птицу, и в памяти замолкли все джаз-банды, все скрипки, все арфы театров, кофеен, гостиниц. Закончив этот предварительный осмотр, Ван-Эстерпэд, безмерно потрясенный, стал рассматривать людей племени Гобулу.

Через пуп черной женщины он познал необычайную любовь, о которой никогда никто не слыхал в Брюсселе, — он увидел, как эта женщина своими руками схватила ядовитую змею, хотевшую укусить черного человека, которого она любила, чужого человека и чужого мужа; он увидел, как два мужа, свой и чужой, били эту женщину крепкими лианами, но любовь не выходила из нее.

Глядя на пуп старика, он увидел великое мужество: этот дряхлый человек, спасая черного ребенка, прыгнул на разъяренного носорога и маленьким дротиком просверлил ему мозг.

Другие пупы на животах юных и старых, мужских и женских открыли ему все, чем жив человек: страсть, нежность, ненависть, благородство, предательство, ревность, сластолюбие, страх, скорбь. Миллионер понял, что теперь он воистину родился и увидел мир. От радости он стал плясать, прыгать, визжать и реветь. Вокруг него, упоенные прыжками и рявканьем белого человека, пели и плясали черные люди племени Гобулу. Ван-Эстерпэд чувствовал — да, выкурив священную трубку, он начал даже чув-

ствовать, — что ему не хочется больше ни пятичасового чая с кексом, ни пеньюаров в будуарах, что он не станет искать почтовое отделение, дабы выписать пароход, доктора и чемоданы. Он скинул с себя в детском весельи все свои сложные одежды: шляпу, пальто, пиджак, жилет, брюки, подтяжки, воротничок, галстук, рубашки, верхнюю и нижнюю, фуфайку, кальсоны, туфли, носки, подвязки и многое иное, а скинув все, нежно розовый, катался в густой траве, фыркал и целовал пупы, научившие его радости жизни.

Черные люди захотели, чтобы белый человек, закурив вторую трубку, взглянул на Канджу, и Ван-Эстерпэд увидел целое стадо гадюк, кокетливо высовывающих свои язычки. Канджа был мудр и зол. Убив многих невинных, он стал предводителем племени Гобулу. Ван-Эстерпэд закрыл лицо рукой, глубоко вздыхая. Черные люди поняли, что белый человек увидел в Кандже зло, и, будучи людьми праведными, они убили Канджу, а тело его бросили шакалам.

Шакалы ели мясо Канджи, люди же племени Гобулу ничего не ели, и поэтому они были сильно голодны. Присев снова на корточки, они задумались, и тогда самому мудрому, а может быть и самому голодному, пришла счастливая идея:

— Белый человек — святой человек. Если мы съедим его мясо, его сердце и его печень, мы тоже станем святыми людьми.

Будучи счастливой, эта идея была, разумеется, одобрена, и бедного Ван-Эстерпэда, подобного розовому новорожденному младенцу, ибо он всего полчаса тому назад увидел мир, за сорок предшествующих лет не заметив ничего, кроме тарелок и перин, нежного, весело кувыркавшегося в траве, черные люди племени Гобулу съели, съели в надежде стать святыми, а также чувствуя сильный голод, съели, как съели бегемоты накануне его бедных товарищей.

Но черные люди были жестоко наказаны: человек должен быть осторожнее бегемота. Они забыли, что белый человек, куря священную трубку бога Кабалаша, не мог взглянуть на свой собственный пуп. А если бы он мог взглянуть, то ничего бы под ним не увидел, как ничего

не увидел съеденный шакалами мудрый Канджа. Они съели тощие ягодицы белого человека, и через эту пищу в их душу вошло ничтожество. От них ушли навек любовь и ненависть, храбрость и нежность. Черные люди племени Гобулу стали ленивыми, сонными, подобными сытым бегемотам, дремлющим в речной тине.

Не удивительно, что военная экспедиция, посланная на розыски исчезнувших пяти миллионеров и трех кандидатов в миллионеры, легко завладела селением людей племени Гобулу, убила мужчин, обесчестила женщин, увезла с собой в Брюссель маленького негритенка, молодого бегемота, который, все еще переваривая электрическую клизму, не мог сдвинуться с места, и священную трубку бога Кабалаша.

Маленький негр стал грумом в ночном кабаре «Фи-фи»; бегемота отдали в зоологический сад, а священная трубка попала к антиквару на улице д'Ор. Там я отыскал ее среди дамских панталон эпохи Директории и ночных туфель бухарского эмира.

1922

Из книги

«ВНЕ ПЕРЕМИРИЯ»

1

Я жил в большой гостинице. Ночью у всех дверей стояли ботинки. Они хранили форму ноги: упрямые полуботинки спортсменов, туфли старых дев, разношенные штиблеты циников. Я знал не людей — обувь. Вспыхивали сигнальные лампочки, красные и зеленые. За двойными дверьми кто-то задыхался от астмы. Утром подавали яичницу. На тарелках дрожали сотни оранжевых дисков. В вестибюле было душно, как под землей. Продавали сигары, галстуки, пудру. Крохотные грумы до одурения выкрикивали: «Шесть — три — один», «Три — восемь — шесть» — это были номера комнат. У входа в гостиницу останавливались автобусы. Их цифры рябили в глазах. Лондон, горячий и сырой, обступал меня, как туман.

Я ходил по записанным адресам. Меня любезно выслушивали. Я знал, что эти люди — враги, и все же я им улыбался. Потом я часами бродил по улицам. Рослые лакеи прогуливали маленьких японских собачек. Нищие художники на тротуарах рисовали замок, рощу и луну. Как мухи, дети облепляли ведра с отбросами. В нежно-зеленых парках дремали кляузники и маклера. У меня было свое горе, и я радовался, что в этом городе люди не замечают друг друга. Я написал в Москву, что я бодр и весел. Я опустил письмо в ящик. Рядом пальцы, узловатые как сучья, сжимали длинный конверт. Я успел прочитать адрес: письмо было в Австралию. На набережной Темзы спал человек, подложив кепку под голову. Свистели буксиры; потом свистнул молодой полицейский: ока-

залось, человек мертв. Я видел безработного шахтера. Он глотал перед зеваками куски угля. К нему подошел человек с белыми пустыми глазами. Он спросил: «Что будет потом?..» Безработный ответил: «Потом я буду собирать деньги». Человек вежливо поблагодарил и пошел дальше. На Риджен-стрит стояли проститутки. Их губы тревожно краснели сквозь частую сетку дождя. Никто с ними не заговаривал. Я привык к этому городу и перестал вглядываться в лица людей.

С Целлером я столкнулся в душный отвратительный вечер. Я знал его по Берлину. Он писал тогда книгу о московских музеях, а по воскресеньям ходил с женой на рабочие митинги и подымал кулак. Это был тщедушный тихий человек с глазами лунатика. Штурмовики долго били его шомполами. Ночью они пришли в камеру, чтобы вынести труп. Целлер вдруг зашевелился и поднял кулак. После побоев он оглох на одно ухо. В лагере возле Любека он рыл землю. Ему удалось убежать в Данию. Мне говорили, что в Лондоне он ходит по домам и продает карманные фонарики. Я крикнул: «Ну, как живешь?» Он не ответил. Я снова крикнул: «Сегодня очень душно!» Он поморгал и тихо выговорил: «Очень».

Он спросил меня, куда я иду. Я не знал, что ответить: я бродил без цели по длинным, ненавистным мне улицам. Он попросил: «Можно с тобой?..» Мы не глядели друг на друга, и никто не глядел на нас. Он нес в маленьком чемоданчике непроданные фонарики. Я заговорил о музеях. Он молчал; может быть, я говорил слишком тихо. Потом он предложил: «Пойдем к Смитсу. Это хороший парень. Он обрадуется».

Мы долго разыскивали дом, в котором жил Смитс: он походил на сотню окрестных домов, а Целлер забыл номер. Горничная провела нас в гостиную. Я рассматривал альбом с выцветшими фотографиями Ниццы. За стеной играли гаммы. Наконец вышел Смитс. Это был плотный человек с лошадиными зубами. Он радостно крикнул Целлеру: «Здорово!» — и потряс ему руку. Я сразу понял, что он нас ненавидит. Гудели мухи. Оскалив приветливо зубы, Смитс сказал: «У меня теперь много работы. В субботу я поеду к морю. А вы?» Целлер ответил: «Я еще не знаю».

«В кино слишком душно, — сказал Целлер, когда мы

вышли на пустую горячую улицу, — зоологический сад сегодня открыт ночью». Среди листвы неестественно блистали фонари. Звери прятались в глубь клеток. Люди в смокингах судорожно зевали. Мы пошли к хищникам. Запах звериной мочи смешивался с духами. Дама с голой спиной стояла у клетки. Тигр исступленно метался. Потом он остановился и поглядел на даму желтыми сумасшедшими глазами. Дама сказала своему спутнику: «Он глуп». Медведь сухим языком лизал железные прутья. Мне хотелось пить. Шакал, окруженный толпой, по-детски всхлипывал. Я не мог дольше вынести молчания Целлера. Мы пошли в бар.

На скамье у стены сидели грустные пьяницы. Они молча пили портер. Один из них сказал: «Эта цыпка мне не по карману». Другие отрывисто рассмеялись. Хозяин крикнул: «Джентльмены, время закрывать!» На улице я вытер платком мокрый лоб, платок стал черным: это дышал Лондон.

Я рассказывал Целлеру о моих делах. Он бормотал: «Да». Я расспрашивал его о Берлине, о друзьях, о фонариках. Он отвечал коротко и невпопад. Возле моей гостиницы он остановился и взял меня за рукав. Мне показалось, что он хочет что-то сказать. Но он ничего не сказал, постоял и пошел дальше. У входа в гостиницу я с ним простился. Он несколько раз повторил: «Запиши телефон». Потом вдруг сказал: «Знаешь что, я переночую в гостинице».

Как всегда, визжали грумы: «Четыре — восемь — один». Дамы волочили бальные платья среди чемоданов, облепленных пестрыми наклейками. Яркие клетки лифтов взвивались вверх и стремительно падали. Я пожал руку Целлера, она была мягкой и холодной. Поднявшись к себе, я начал письмо: «Ты можешь обо мне не беспокоиться, я живу очень хорошо...» Я выставил ботинки за дверь и до утра метался на горячей измятой простыне.

Когда я отдавал портье ключ, я увидел Целлера с чемоданчиком. Мы вышли вместе. Он сказал: «Вчера умерла жена. В больнице. Я не мог ночевать дома».

Он вскочил в автобус и крикнул: «Тебе нужно доехать на 69 до Оксфорд-серкус!..»

1936

2

Меня разбудил жестокий шум: музыканты репетировали галопы. В Сен-Жюстене была ярмарка. На большой площади выросли карусели, палатки фотографов, ларьки с тягучей нугой, балаган, где показывали мартышек и женщину-змею. Несмотря на июльский зной, чиновники и служащие местного банка надели крахмальные воротнички. Они неуклюже ворочали головами. Серая пыль садилась на черные платья женщин. Нужда и заботы значились на лицах. Вокруг карусели стояли бледные золотушные дети. Они пересчитывали зажатые в кулак монеты. Один сказал: «Я буду визжать...» Он кружился на деревянной свинье и старательно визжал; другие молча на него глядели. Парикмахер дразнил обезьян, он засовывал в клетку дымящийся окурок. Обезьяны кашляли и грустно чесались. Женщина-змея показывала посетителям свои плечи, покрытые чешуей. У нее было лицо старой поденщицы, измученной работой. Она пела непристойные куплеты, и парикмахер громко смеялся. Потом ламповщик зажег фонари. В зеленоватом свете площадь казалась огромным аквариумом. Трубачи, со вздувшимися на лбу жилками, глотали теплое пиво. Заполночь люди еще танцовали, зевая от усталости и духоты. Молодой рабочий, с глазами неудачника, обнимал остроносую болезненную девушку. Она пыталась улыбнуться, и губы ее от напряжения дрожали.

Несколько месяцев спустя я был в Париже на выставке картин. Холсты твердили о скудости жизни. Это были портреты людей с чертами навеки застывшими. Казалось, все человечество скучает в переполненном вагоне метро. Оливковые щеки с неожиданным багрянцем, припухшие фиолетовые веки, грязно-синие тени, крупные мазки, передававшие рыхлость нездорового мяса. Я поглядел на другую стену. Здесь была жалкая зелень парижских предместий, палисадники, пропитанные запахом бензина, землистые дома, квадратные гаражи и облака, похожие на несвежую вату. Вдруг я улыбнулся: пестрые флажки взлетали к фисташковому небу, доверчиво смеялись коровы карусели, на синем мяче стояла девушка; у

нее была шея розовая и горячая, как пена варенья. Я раскрыл каталог: «Поль Аньер. Праздник в Сен-Жюстене».

Я познакомился с Аньером. Это был человек лет сорока, с большим кадыком. Он жил на бульваре Гарибальди в глубине темного двора, где весь день скрежетала лесопилка. В мастерской художника валялись старые подрамники, банки из-под лекарств, сношенная обувь. Черный всклокоченный кот злобно шипел.

Аньер показал мне свои работы. Смеялись полногрудые огородницы. В скверах прыгали дети, похожие на тропических птиц. Голубые солдаты пили вино под китайскими фонариками. Мне запомнился один пейзаж: беседка, бледнозеленый водоем и мраморная спина богини. Я спросил: «Это Рим?» — «Нет, это двор — из моего окна». Я вспомнил мои старые счеты с искусством и сердито сказал: «Вы были в Сен-Жюстене?» Он ответил: «Конечно. Я пишу только с натуры. Я иногда меняю краски, но я никогда не меняю соотношения тонов».

Я предложил ему пойти в кафе. Он смущенно шепнул: «Мне нельзя пить», но тотчас согласился. Мы пили коньяк у цинковой стойки, изъеденной кислотами. Ругалась пьяная старуха; сквозь ее пальцы сочилось красное вино. Аньер не умел пить, после первой же рюмки он охмелел. Я узнал, как он живет. Женщины смеются над его кадыком. У него язва желудка; он ест только картофельное пюре. Его кот никогда не мурлычет.

Он проглотил вторую рюмку и неумело, по-детски выругался. Я забыл о холстах; мне стало жаль больного, заброшенного человека. Я хотел его утешить и сказал: «Зато у вас интересная работа». Он рассердился. Его голос стал писклывым: «Я ненавижу живопись! Почему я не родился монтером или птицеводом? Каждое утро я говорю себе: Аньер, надо работать, и я отвечаю: дудки! Так проходит час или два. Потом я берусь за кисти. Я не знаю, счастлив ли я, пока работаю. Это все равно, что спросить человека, счастлив ли он, когда спит. Но когда я кончаю работу, мне хочется кричать. Я не могу глядеть на свои холсты — это как пустые бутылки после попойки. Я взял как-то тюбики с красками и начал их давить. Мне казалось, что я душу врага. Я смешал все краски. Потом я плакал: у меня не было красок, и я не знал, как проживу день»...

Больше он ничего не сказал. Он простился со мной вежливо, но равнодушно, и зашагал чересчур прямой походкой нетрезвого человека, среди круглых зонтиков, под мутными рожками газа.

1936

3

Развалины храма казались каменной растительностью; здесь были стволы, купы, корни. Белый зной выедал глаза. Только ящерицы не отступали перед этим приступом полдня. Старый сторож уныло бормотал: «Тут она пригуляла Энея. Хромой, разозлясь, плевался огнем. Все-таки он выковал байстрюку меч и щит...» Помолчав, сторож добавил: «Мало туристов, а на фабрике дела дрянь». Он раскрыл обожженную грудь, которая поросла длинными белыми волосами, и лег возле алтаря Гефеста.

Внизу вздыхало море. Этот постоянный шум напоминал о времени. Я просидел часа два или три, тупо пытаясь понять жизнь. Я не мог вспомнить ни встреч, ни страстей; только где-то вдали проступало детство, зеленое и сырое, как частый лес: дача на Клязьме, запах грибов и левкоя.

Я обошел город. Мясники в черных фартуках сгоняли больших звонких мух, облеплявших бараньи туши. Ругаясь, кузнец раздувал меха. Я вспомнил рассказ сторожа о ревнивом боге. На ослах были бирюзовые ожерелья. Кувшины горшечников казались найденными при раскопках. Я зашел в церковь. Блистала древняя мозаика, и Христос, ворочая огромными расплавленными глазами, летел с купола в гниль крипта. Краснолицый дородный поп набирал в ведро воду. Потом он поставил ведро на землю и обдал меня ароматом чеснока: «Здесь Юстиниан, покорив нечестивцев, омыл свои ноги». Он показал на тонкую нитку высохшего ручья, плюнул и потребовал двадцать драхм. Зажав бумажку в грязной потной руке, он пошел в соседний кабак. Вино пахло дегтем, и кровь от него еще громче стучала в висках.

Рядом с попом сидел молодой рабочий. Хозяин звал его Костой. Он бережно сжимал в руках запотевший стакан с холодной водой. Развернув газету, он стал читать

вслух: «Конфликт существует не между формой и содержанием вообще, а между старой формой и новым содержанием...» Хозяин спросил: «Это кто придумал?» Коста хитро прищурил один глаз и поднес палец к губам: «Сталин». Поп, быстро допив вино, ушел. Я глядел, как он прыгал по камням, придерживая рукой полы развевавшейся рясы. Хозяин сказал Косте: «Если ты будешь говорить такие слова, тебя убьют». Коста рассмеялся.

Фабрикант Критос раскладывал пасьянс. У него была вставная челюсть, и, когда он смеялся, его зубы ходили слева направо. Он сказал мне: «Итальянцы не берут больше второй сорт, англичане подняли пошлины вдвое, а у греков нет денег на сигареты. Я должен понизить все ставки». На стенах висели фотографии с видами Парижа и большой портрет английской королевы. Критос завел граммофон. В зал ворвался грохот джаза. Критос улыбнулся, и его челюсть закачалась в такт музыке.

Четыре дня спустя рабочие Критоса забастовали. Они заняли фабрику и вывесили на чердаке флаг. Триста шестьдесят восемь рабочих и семьдесят работниц сидели среди табачной пыли и замолкших машин. Вокруг фабрики день и ночь стояли женщины. Иногда из окон спускались корзины. Женщины клали в них хлеба, овечий сыр и бледнорозовые луковицы. Критос говорил: «Пусть сидят», — он верил в силу времени.

На шестнадцатый день упаковщица Василиса, которая вместе с другими работницами сидела на фабрике, разрешилась от бремени. Ночью женщины слышали крик, а утром Коста, высунувшись из верхнего окна, показал им новорожденного. Красные ноги младенца двигались, как клешни, и, глядя на них, Коста смеялся.

На двадцать четвертый день Критос вызвал к телефону губернатора. Фабрику взяли с боя. Рабочие швыряли из окон железные бруски. Женщины с растрепавшимися волосами стояли у дверей цеха. Мать новорожденного кричала: «Стой!» Ее волокли по чугунной лестнице, и она билась, как огромная рыба. Офицер скомандовал: «Снять флаг». На чердаке стоял Коста. Пять минут спустя возле ворот валялся клок коленкора. Косту несли два солдата. Из его рта текла яркая кровь.

Это было утром. После обеда сторож уныло рассказывал приезжим: «Здесь он потащил ее под землю, но старуха Деметра начала ругаться...»

Я видел. мать Косты. Она сидела одна на мраморной скамье, глядя прямо перед собой. Слезы прорыли на ее сожженном лице глубокие колеи. Вокруг были розовые горы с белыми пятнами овец. Свежая могила пахла землей.

1936

4

Я не мог разыскать Гушека. Я узнавал магазины, скверы, статуи. Город был знакомым и неизвестным. Жара не спадала. Люди шли ничего не видя, у них были мутные глаза рыб. Я вспомнил старые адреса. Старуха, приоткрыв дверь, в испуге ее захлопнула. Дети, смеясь, кричали. «Такого нет!» Человек, судорожно пристегивая подтяжки к брюкам, поглядел на меня и сказал: «Я ничего не покупаю». Я пошел в кафе, где когда-то бывал Гушек. Люди задыхались, окунув лица в газеты. Я спросил потного официанта, не видал ли он Гушека. Шатаясь, он повел меня в дальний угол. На плюшевом диване дремал Кнап. Он отряхнулся и сказал: «Идем ко мне».

У него изменился голос. Он говорил теперь глухо и равнодушно, разделяя слова утомительными паузами. Я помню, как он вышел из тюрьмы. Он тогда дурачился, лаял, утверждая, что разговаривает со встречными собаками, отвешивал незнакомым церемонные поклоны, становился в позу перед каждым памятником, передразнивая бронзовых проповедников и полководцев. У него был чуб. У него оказались мягкие волосы и пробор. Он сказал мне, что работает юрисконсультом в Аграрном банке. Он разговаривал неохотно. Я спросил: «Может быть, ты занят?» Он поспешно ответил: «Нет», взял меня под руку и повел к себе.

Кресла были в чехлах, шторы опущены. На столе тускло посвечивала ваза с виноградом. В комнатах стояла летняя тишина. Кнап сказал: «Через три дня мы едем в Татры».

Его жену звали Людмилой. Она улыбалась, как на экране. Острые зубы и розоватые глаза делали ее похожей на белую мышь. Она глядела на Кнапа недоуменно и восторженно, как будто видела его впервые. Несколько раз Кнап снисходительно погладил ее стриженый затылок. Я спросил: «Где Гушек?» Помолчав, Кнап ответил: «Я дам тебе его адрес». Он стал рассказывать анекдоты: о любовниках, о евреях, о министрах. Людмила попрежнему улыбалась. Кнап глядел на меня в упор и уныло спрашивал: «Смешно?» Я отвечал: «Очень». Потом я спросил: «Где Франтишек, Вайга? Ты ведь встречаешься с ними?» Он молчал. Жужжали мухи. Я отодвинул вазу с виноградом. Наконец он ответил: «Разве ты не слыхал, что я вышел из партии? Я не согласен с их тактикой...» Он вспомнил еще один анекдот: о старой кокотке. Я выслушал и встал. Он засуетился: «Сейчас ты все равно никого не найдешь. Это за городом, поедешь завтра. Пойдем в «Савой».

Несмотря на жару, Кнап заказал сливяную водку. Он бормотал: «Дураки! Делают одну ошибку за другой. Ты меня спрашивал о Франтишеке. Это баран. Без инструкции он не способен и высморкаться. Вайга стал депутатом, все это неинтересно».

Я вспомнил Кнапа на трибуне. Он как будто отрывал слова от себя, слова были косматыми и теплыми; слушая его, люди плакали. Я сказал: «Раз мы встретились, лучше вспомнить прошлое...» Он замотал головой: «Нет». Он пил теперь водку залпом. Угрюмо обличал он своих прежних друзей. Людмила, как эхо, повторяла последние слова его длинных тирад: «ослы», «разгром», «предательство».

На столе стояли тарелки с застывшим салом. Пахло потом и косметикой. Две полуголые девушки с длинными грудями, как заводные, качались на эстраде. Под ногами валялись рыжие раздавленные розы. Толстяк, вытирая салфеткой мясистые губы, целовал женщину. Кнап охмелел. Неожиданно он сказал: «Насчет разногласий — чепуха. Но я не хочу жить для истории. Может быть, я грязное животное, но я чертовски люблю жизнь. Два раза мы не живем, понимаешь?» Людмила улыбнулась: «Это правда». Кнап раздраженно крикнул: «Ты в этом ничего не понимаешь...» Он не глядел на меня. Танцовали танго.

Круглые стеклянные глаза Кнапа чуть посвечивали в темноте. Он водил пальцами в такт музыке, потом он прикрыл глаза и громко зевнул.

К Гушеку я попал на следующий день под вечер. Он находился в санатории. Врач сказал мне: «Половина одного легкого...» Больные лежали на веранде. Их щеки были белыми или неестественно багровыми. Увидав меня, Гушек радостно засмеялся. Врач позволил ему сойти в сад. Он восторженно повторял: «Огромные успехи!..» Он расспрашивал о Москве: «А как на Электрозаводе». Он говорил о парижских рабочих на площади Бастилии и о крестьянах Эстрамадуры, которые взяли землю. Задыхаясь, он рассказывал мне о Франтишеке, который ведет башмачников и батраков к победе. Я не слышал больше свиста, выходившего из его больной груди. Я забыл, что он умирает. Я спорил, рассказывал, смеялся. Садовник поливал газон, и зеленая свежесть окружала нас. Гушек сказал: «Столько работы, а приходится валяться», и сейчас же спохватился: «Ничего, вылечат».

Зазвонил колокольчик, надо было расставаться. Я вспомнил, что Гушек женился, и спросил: «Жена твоя где?» Он спокойно ответил: «Мы разошлись. Когда я заболел... Она теперь с Кнапом». Он смутно улыбнулся и, помолчав, сказал: «А Вайга здорово выступил — ты видел газеты?..» Прощаясь, он весело хлопнул меня по плечу и в дверях еще раз крикнул: «Кланяйся нашим!»

Я вышел из ворот. Прямая белая дорога обдала меня пылью и пустотой. Мне вдруг показалось, что жизнь осталась позади, в горячей руке Гушека.

1936

Из книги
«РАССКАЗЫ ЭТИХ ЛЕТ»

АКТЕРКА

Когда молодой актрисе Лизе Белогорской сказали: «Вы поедете на фронт», она готова была разрыдаться от счастья. Ее извели сомнения. Кому нужны монологи выдуманной героини, когда каждый вечер хриплый голос репродуктора твердит о взорванных городах, об убитых детях? Лиза писала в своем дневнике: «Я вышла в жизнь, когда жизнь затемнили».

Она играла в небольшом, прежде тихом городе, переполненном беженцами: они жили, как на полустанке, боясь продать чемоданы и забыть прошлое. У всех были близкие на фронте. Шаги письмоносцев, усталых и замерзших, звучали, как шаги судьбы. Армия отступала. Возле здания горкома люди слушали сводку, не смея заглянуть друг другу в глаза. Домашние хозяйки, жены майоров, консерваторки ожесточенно рыли землю и готовили снаряды.

В театре ставили старые трагедии, военные мелодрамы. «Зачем это?» — спрашивала себя Лиза. Все казалось ей ненужным и стыдным: яркий свет рампы, румяна, реплика героини: «Если любишь, весь мир в тебе, а смерти нет...» Когда Лиза бывала свободной, она прислушивалась к разговорам в фойе; говорили о хлебе, о раненом муже или брате, о том, что немцы в Краснодаре. Лиза шла к себе. Она жила в темном углу, среди старух и детей; там она писала: «Я не могу больше кривляться».

Что приковывало ее к сцене? Она допрашивала себя с той взыскательностью, которая присуща очень молодым

и честным натурам. Не честолюбие, а слепое и, как ей порой казалось, глупое преклонение перед искусством. «Ломака», — говорила ей когда-то мать. Лиза не ломалась: она чувствовала себя то Анной Карениной, то тургеневской Асей, то слепой цветочницей с экрана. Ее считали холодной, а она терзалась, не спала по ночам. Эта смуглая синеглазая дикарка была одинока; мать давно умерла; товарищи ее чуждались; чем-то она их тяготила. Перед войной инженер Пронин сказал ей: «Давайте жить вместе». Это было вечером в городском саду. Инженер ей нравился; а может быть, и не он — май, жасмин, молодость. Он обнял ее, она вырвалась и стала говорить о том, как трудно друг друга понять. Он усмехнулся: «Актерка...» Больше они не встречались.

Она часто ругала себя актеркой. Она проклинала сцену, и все же, входя утром в театр, вдыхая холодный пыльный воздух, запах клея и сырости, глядя на черные пустые кресла, в которых сидели призраки, музы, понимала, что ей от этого не уйти.

Говорили, что есть у нее талант, что она сможет стать настоящей актрисой; но она чувствовала: чего-то ей нехватает. Чем больше она думала над ролью, тем дальше уходила от пьесы, от партнеров, от зрителей. Иногда она обвиняла репертуар: она играла то девушку, в давние времена сгоревшую от любви, то партизанку, которая между боями произносит длинные речи. Лизе казалось, что любви больше нет и что нельзя так красиво говорить, когда рядом умирают. Мир заполнился другими героями. Разве не переживает Лиза подвига Гастелло? Разве не идет с Зоей на виселицу? И Лиза писала: «Жизнь стала такой большой, что в ней нет места для искусства».

И вот ей сказали, что она поедет на фронт. Она шла и улыбалась: неужели это правда? Неужели я смогу хотя бы на минуту порадовать чистых и больших людей?..

Актеры ехали радостные и взволнованные; потом все притихли — они увидели то, о чем прежде только читали: трубы сожженных сел, обломанные деревья, черные пятна на снегу, женщин с детьми, которые копошились в пепле.

Заночевали в уцелевшей избе. Хозяйка, молодая, изможденная, с чересчур большими глазами на узком увяд-

шем лице, рассказывала: «Я моего в снегу схоронила. Потом думаю — замерзнет мальчик. Взяла его в дом обогреться. Пришел паразит, кричит: приказ — угонять. Я держу, не пускаю. Здесь он стоял, у печи... Как ударит мальчика... Бросилась я к нему, а он меня не признает. До ночи промучался...» Женщина вздохнула и стала мешать угли в печи. Лиза забыла о том, для чего она приехала. Рядом с таким горем исчезали все слова, все жесты. Не улыбаться, не говорить, а если что делать, то только стрелять, — думала Лиза, ворочаясь ночью в жарко натопленной избе. Утром она увидела трупы, развороченные машины, обрубки лошадей. Везли раненых; они молча глядели на пустое зимнее небо; ездовой бил в ладоши. Лиза сказала певцу Бельскому: «Зачем мы приехали? Нас прогонят...»

Концерт устроили в здании школы; при немцах здесь помещалась комендатура. В комнате, куда провели актеров, валялись автоматы, жестянки от консервов, немецкие бумаги. Лиза сняла ватник, валенки. Ее рука дрожала, когда она клала краску на сухие, растрескавшиеся губы. Она надела длинное шелковое платье. Ее испуг показался искусной игрой, и зрители насторожились. Это были саперы; еще вчера они ползли по снегу, выискивая мины. Волнуясь, как никогда дотоле, Лиза читала стихи о любви, которая убивает, о верности. Она вдруг почувствовала, что каждое ее слово доходит до этих хмурых небритых людей. Ей долго аплодировали; она в ответ улыбалась слабо и беспомощно. Вернувшись в комнату, где сидели актеры, она ответила Бельскому: «Не знаю, кажется, хорошо», — и схватилась за косяк двери, чтобы не упасть.

Они выступали на аэродромах, в госпиталях, в лесу. Иногда концерт обрывался на крике: «Воздух!» Лиза узнала, как рвутся фугаски. Ей пришлось лежать на вязкой рыжей глине. Она ночевала в блиндажах, и канонада стала для нее привычным, почти домашним шумом. Толстый генерал поил Лизу мадерой, приговаривая: «Я ведь старый театрал, в Свердловске я не пропускал ни одной премьеры...» Летчик, подросток с золотой звездой на груди, самоуверенный и застенчивый, говорил ей: «Вы мне напомнили мою первую любовь...» Пришел май, с его

внезапными громкими ливнями, с кукованием в лесу, когда хочется что-то загадать, с глупыми шутками и с головокружением.

В один из последних вечеров Лизу провожал майор Доронин. До войны он был студентом химиком. Они говорили о весне, о Толстом, о том, что у всех когда-то было детство; говорили, потому что боялись молчать. И все-таки наступила минута, когда они замолкли.

Они встретились четыре дня назад. Доронин тогда помогал актерам разместиться в деревне. Лиза сразу им залюбовалась, хотя он и не был красив. Проверяя себя, она спрашивала: почему? Ведь я видела многих, как он... — И тотчас возражала себе: — Неправда! Впервые я встретила такого человека. Конечно, на вид он обыкновенный, он не актер. Но все в нем необычно. И строгие глаза, и слова о Лермонтове, и то, как он сказал: «Вы не рассердитесь, если я буду вас звать Лизой?..»

«Значит, завтра уезжаете?» — Доронин остановился. Тогда Лиза положила руки на его плечи и первая его поцеловала. По черному небу шла зеленая ракета, как одинокая и заблудившаяся звезда.

Когда Лиза вернулась в свой город, все ей показалось чужим и непонятным. Она не могла слушать разговоры о распределителе или о том, что Валя сошлась с директором. Один из актеров сказал: «Сегодня пустая сводка — ничего не взяли...» Лиза вспылила: «Нельзя так говорить! Ведь это — бой, кровь...» Театр показался ей будничным: скучают, по привычке хлопают и спешат к вешалке... Как она тосковала по тем зрителям!.. Она носила на груди талисман: номер полевой почты. Не хотела писать, ждала, что напишет он; потом смирилась: ему некогда, они наступают... Она написала короткое письмо, стараясь скрыть свою страсть, ревность, тревогу. Ответ пришел ласковый, но горький. Лиза в гневе скомкала листок. Доронин писал, что в жизни много детского, что он показался ей интересным на фронте, но, когда кончится война, она найдет его скучным и заурядным, она ведь актриса, ее ждет бурная жизнь («сто жизней», писал он), а Доронин, если не вмешается в дело мина или пуля, станет обыкновенным химиком.

Она оскорбилась, хотела вырвать из сердца чувство, уговаривала себя: он прав. Я играла и заигралась, я не умею отличить правду от вымысла... Минуту спустя она сдавалась: он говорит так потому, что не любит. А я теперь знаю, что одно дело — играть умирающую, другое — умирать. Так металась она неделю, а потом написала Доронину страстное, бестолковое, как она сама говорила, «бабское» письмо; она клялась в любви, писала: «Если ты захочешь, я брошу сцену. Я могу жить без искусства, но не без тебя...» Когда она опустила письмо в ящик, ей стало страшно: вот и конец актерки!

Она долго ждала ответа. Наконец пришел письмоносец, привыкший к вскрикам радости и страха, равнодушно он протянул ей то письмо, которое она с трепетом опустила в ящик. На конверте было написано: «Выбыл из части». Она пролежала весь день. Вечером она играла, дурно играла, машинально повторяя затверженные фразы. Она знала, что Доронин убит. Началась поддельная жизнь; вставала, одевалась, репетировала, обедала, чувствуя, что все это — вымысел.

Потом снова пришел письмоносец, и она прочитала: «Дорогой товарищ! Я должна сообщить вам печальное известие. Ваш жених, майор Доронин, скончался в нашем эвакогоспитале. Мы делали все, чтобы спасти его, но ранение было очень тяжелое. Он был мужественным до конца, просил меня написать вам и переслать его ручные часики. Я старая женщина, и я, как мать, прижимаю вас к своему сердцу...»

Лиза сказалась больной. Ее не видели два дня. Потом она пришла в театр. Она играла нелюбимую роль; но было в Лизе что-то новое. Когда она сказала: «Если любишь, весь мир в тебе, а смерти нет», зал замер. Ей устроили овацию. Режиссер, лысый и грустный, говорил: «Лизанька, вы очень выросли, вы стали большой актрисой...» Она беззвучно отвечала: «Не нужно...» Вернувшись домой, она в сотый раз перечитала письмо незнакомой женщины. Он сказал ей, что он — мой жених... Она глядела на часы Доронина. Стрелка медленно сползала вниз. И вдруг Лиза подумала: а все-таки я актерка...

1943

ИСКУССТВО

Что такое Франция? Может быть, это петухи на сельских колокольнях, или ярмарка, где кружатся голубые кони карусели, или деревянный кувшин, опоясанный медными кольцами, а в нем густое терпкое вино? А может быть, Франция — это звонкие имена деревень: Ольнэ, Соланж, Монморильон и хохотушка Марго, которая в деревянных башмаках прошла по всей Лоррени?

Для Пьера Франция была длинным залом театра, где в тумане мерцали сотни глаз. Каждый вечер он пел:

Я хотел бы сказать про ласку,
Но нет в моем сердце слов,
Как зимой не найти ни красных,
Ни синих, ни белых цветов.

Зрители смеялись или плакали, аплодировали, свистели, целовались, ели апельсины, грызли китайские орешки и, упоенные, кричали: «Ах, шельма!»

Что приключилось в тот страшный год? Стоят, как вкопанные, кони карусели. Пустой кувшин растрескался. А театр открыт, только публика не та — немцы не плачут и не смеются, они сидят неподвижно, как понятые. Тучная брюнетка Жаклин попрежнему поет о коварстве матроса, хотя нет больше ни матросов, ни тех девушек, которые, слушая песенку, простодушно сморкались. Попрежнему Фиже показывает тещу и подвыпившего сенатора. Только Пьера нет; его заменил марселец Жюль; он поет про рыбака, который влюбился в сирену, а поймал осьминога.

Немцы равнодушно слушают, потом громко встают и уходят.

Пьер иногда стоит возле театра, он глядит на синюю лампочку, на тень офицера. Пьер знает, что в зале сидят немцы. Он знает, что музы, нарисованные на занавесе, плачут. Он мог бы о многом рассказать, но с тех пор, как пришли немцы, никто от него не слышал ни слова. Он глядит на окружающих кротко и отрешенно: их речи больше не доходят до него. «Беда», — говорит жена Пьера, тихая Мари; «беда», — повторяют сердобольные соседки. А Пьер молчит.

Господин Корно возмущен поведением некоторых сограждан. Почему краснодеревцы с мебельной фабрики прикидываются чернорабочими? Почему учитель словесности стал могильщиком? Почему Леруа, вместо того чтобы сидеть на электростанции, торгует зажигалками? Слепцы, они хотят остановить колесницу истории! Но мы им покажем!.. Кто срывает со стен приказы комендатуры? Кто поджег на запасном пути два вагона? Кто изувечил немецкого вестового? Да, может быть, тот же Леруа. Ведь неспроста он отказался от высокого оклада...

Как ни подозрителен господин Корно, ему не в чем упрекнуть Пьера: бедняга после пережитого оглох и лишился дара речи. Доктора говорят: «Поражение нервных центров». Послушать их — выходит, что от всех событий можно даже ослепнуть. А вот господин Корно не ослеп и не оглох; он поставляет немцам овощные консервы и купил дом на улице Гамбетта. Он говорит: «Нужно шагать в ногу с веком», — ему хочется прослыть философом; но какие-то озорники ночью пишут на его двери: «Шлюха».

Пьер копал картошку, мыл окна, мастерил из брошенных жестянок игрушки и сам продавал их на базаре, ничего не поделаешь — у него жена и сынишка. Давно проданы и буфет, и фрак Пьера, и бирюзовый браслет Мари.

Она не была злой, эта бледная, болезненная женщина, похожая на отражение весеннего дня в мутном зеркале, и она любила Пьера. Но порой у нее опускались руки. Нужно раздобыть Жако башмачки. Нужно достать картошки или брюквы. Нужно вставить стекла. Господи, до чего много нужно человеку! А жизнь цепляется, заедает и скрипит, невыносимо скрипит. И, не выдержав, Мари

ночью шептала Пьеру: «Это глупо. Я понимаю, когда упираются генералы или Леруа. Но кто ты? Куплетист. Ты должен подумать обо мне. Я больше не могу».

Пьер гладил ее мягкие волосы и чувствовал, что даже эти волосы несчастны. Он задыхался в своем молчании. «Я хотел бы сказать про ласку, но нет в моем сердце слов». Только теперь он понял, о чем пел в дни счастья.

Событие, потрясшее город, произошло в ночь на воскресенье. Аптекарь и все жители квартала Сен-Флор проснулись от выстрелов. Утром на базаре только и говорили, что о покушении: убит шофер, а коменданта отвезли в госпиталь.

Около десяти часов утра полицейские начали обыскивать прохожих, проверяли документы. Пьера потащили в комендатуру. Его заперли с другими арестованными; были здесь и крестьяне из соседних сел, и ротозеи, и священник церкви Сен-Флор.

Смеркалось, когда Пьера повели на допрос. Он увидел немецкого офицера, рыжего и безбрового, с отвисшим затылком. Гестаповец жевал окурок погасшей сигары. У окна сидел господин Карно. Взглянув на Пьера, он улыбнулся: «Полицейские перестарались! Вот вам, господин майор, забавный казус: этот человек был певцом, а после бомбежек оглох и лишился дара речи. Теперь он не может даже мычать». Немец захохотал; его затылок трясся, как малиновое желе. «Глухой — это еще ничего, и Бетховен был глуховат, но певец на положении рыбы — это действительно забавно». Он гаркнул: «Рихтер!» А господин Карно, продолжая беседу, сказал: «Я начал бы список с Леруа. Что касается Гижеля...» Вошел Рихтер, и Пьера выпроводили.

Следовало поспешить домой, успокоить Мари. Но Пьер побежал на окраину, где жил Леруа. Увидев инженера, он крикнул: «Бегите!» Леруа было некогда думать, почему глухонемой заговорил. Да и Гижель не стал расспрашивать Пьера, кто его вылечил.

Пьер побежал в кафе «Кадран», где по вечерам собирались рабочие мебельной фабрики. Не глядя ни на кого, он крикнул: «Кто не поладил с этими господами, уходите!» Наступила тишина. Одиноко прозвучал голос хозяйки: «Господи, да ведь это глухонемой!»

А Пьер уже спешил к Мари. Теперь он ей скажет все.

Он ничего не сказал: его задержали, когда, волнуясь, как перед первым свиданием, он поднимался по винтовой лестнице. В комендатуре его долго, угрюмо били. Он молчал. Когда его привели к рыжему гестаповцу, он не походил на себя. Его чистое светлое лицо, к которому так шла фрачная манишка, превратилось в сгусток крови. Гестаповец сказал: «Вы плохой актер, вы не сумели доиграть до конца». Может быть, вы расскажете о покушении на улице Сен-Флор? Или вы еще намерены прикидываться глухонемым?»

Пьер улыбнулся. Так он улыбался, когда пел песенку о цветущей вишне. Нестерпимой была эта улыбка среди трупов расстрелянных. Гестаповец отвернулся. А Пьер сказал: «Нет, теперь я могу говорить. Я только не знаю, о чем вы меня спрашиваете? Я не был на улице Сен-Флор. Вы меня принимаете за героя, а я не герой, я маленький актер, я исполнял куплеты. Конечно, в Париже поют лучше, но, когда я пел, люди смеялись и плакали. Это были обыкновенные люди, и в те времена они были счастливы. Они работали, ревновали, ссорились, но все-таки они были счастливы. Они приходили вечером в театр, и вот я, маленький актер, я им пел о вишне, о любви, о счастье. Я столько чувствовал, что у меня срывался голос. Сударь, это и есть искусство. Вам этого не понять, вы ведь мучаете людей. Как я мог петь перед вами? Теперь и вишни должны засохнуть. На улице Сен-Флор были другие — лучше меня. Хорошо, что вы их не поймали. А меня вы можете убить, я ведь только актер...»

Его били всю ночь. Теперь он не молчал; но все, что он говорил, выводило из себя палачей: они думали, что он прикидывается. Он вспоминал то высокий вяз, то прядь волос на лбу Мари, то музу, которая выплакала свои мраморные глаза.

Когда его повели на казнь, он зажмурился и громко запел:

Я хотел бы сказать про ласку...

А кругом цвели цветы Франции — маки, ромашки, васильки — до самого неба, до рая.

1943

ДЖО

Я знал Джо до войны. Это был молодой пес, который, высунув язык, носился по заснеженным переулкам Замоскворечья. Видимо, его предки не отличались родовой спесью: у Джо были кривые короткие лапы и косматая непомерно большая голова. Мальцева дразнили: «Где вы такого лауреата достали?..» Даже Тамара говорила: «Я понимаю — завести хорошую овчарку...» Она любила театр и красивую жизнь. А Мальцев был сутулым неразговорчивым филологом. Его увлекали толстые и скучные книги.

Джо знал, что нельзя тревожить Мальцева, когда он сидит у стола. Порой это было очень трудно: когда звонили, и хотелось с лаем кинуться в переднюю, или когда с кухни доносились дивные звуки — Лена скребла сковородку. Но Джо не решался приоткрыть дверь; он только посапывал от душевного напряжения. Зато, когда Мальцев вставал, Джо начинал в восторге описывать по комнате круги. Этот пес был большим фантазером и жизнь пополнял вымыслом. Он закапывал камень в снег, потом разрывал воображаемую нору и, упоенный, мчался с добычей к хозяину. Мальцев научил его относить газету старику Гнедину, который жил в соседнем переулке; и Гнедин смеялся: «Так сказать, собачья почта...» Мальцев молчал: он знал, что никто не поймет его привязанности к этой криволапой кудлатой дворняжке.

Пришла война, и Джо очутился вместе со своим хозяином в лесах Смоленщины. Майор Соколовский острил:

«Вы, может быть, немцев думаете собакой испугать?..» Мальцев кротко отвечал: «Джо не дурак...» Рассказывая об этом, Соколовский хохотал: «Лейтенант Мальцев рассчитывает на стратегические способности своего мопса, честное слово!» А Джо тем временем бегал между деревьев и разрывал прелые листья — он еще не понимал, что такое война.

Потом все затряслось. Земля полетела к небу... Мальцев лежал в грязи, и это особенно испугало Джо — он почувствовал, что происходит нечто ужасное. Люди глядели на небо. Джо тоже поднял голову и, не выдержав, завыл. Мальцев рассмеялся: «Что, брат, струсил?» Увидев веселое лицо хозяина, Джо успокоился, он стал бить хвостом о землю, обрадованный и пристыженный. Но тогда снова раздался грохот. Джо увидел, что один из товарищей Мальцева схватился за голову. И Джо овладел страх. Ему хотелось убежать. Но он тихо лежал, прижав голову к земле, и не сводил глаз с хозяина. Убежать? Нет, Джо не подлец! Он не будет выть — Мальцев сказал ему: «Тише!» Джо еле слышно повизгивал. Он понял, что жизнь изменилась, что больше никогда не будет ни коврика, на котором он спал, ни Лены, ни часов блаженства, когда Мальцев шуршал страницами книги, а Джо снились чудные сны — то сосиски, выпавшие из кошелки старухи, то погоня за кошкой.

Так Джо победил страх. Налетали бомбардировщики. Рвались снаряды. Противно, будто кто-то стучит в дверь, трещал пулемет. Джо знал, что смерть повсюду — в небе и на земле. Но Мальцев не боится, значит не нужно бояться. Хозяину тоже нелегко; наверное, ему приятней читать книги или гулять по набережной с Тамарой... В Москве Джо порой забывал про хозяина, когда гонял галок или когда дрался с нахальным бульдогом, жившим в соседнем доме. Здесь Джо не отставал ни на шаг от Мальцева. Он любил его той простой всепоглощающей любовью, которую люди снисходительно называют «собачьей» и по которой они тоскуют всю свою жизнь.

Мальцев не сразу привык к фронтовой обстановке. Смерть его не пугала, но он боялся, что не сможет как следует воевать, не найдет слов, способных приподнять бойцов: был он человеком книжным и малообщительным.

Тамара писала редко, и письма были холодными. Мальцев знал, что пройдет месяц-другой и она перестанет писать, — ведь никогда она его не любила, только позволяла любить себя. Время было тяжелое; приходилось отступать; люди спрашивали друг друга: «Когда же остановят?..» Мальцев воевал, сжав зубы. Джо напоминал ему о прежней счастливой жизни, о книгах, мечтах, о молодости.

А Джо переменился; он теперь казался неизменно озабоченным. Давно привык он к артиллерийскому огню, научился ползти по открытой местности, прятаться в воронках. Как-то в деревне рыжая собачонка кинулась к нему с вызывающим лаем. В былое время Джо не уклонился бы от драки — был он вспыльчив. Но теперь он прошел мимо, даже не отругнувшись.

Он спал в палатке и проснулся оттого, что Мальцев его погладил. В ту ночь Мальцеву было особенно горько. Накануне один из бойцов сказал: «Да разве их остановишь?» Мальцев знал, что немцев можно остановить, но слова малодушия остались в голове, как привкус во рту, они не давали уснуть. Джо понял, что значит эта неуклюжая скупая ласка, и он прижал свой сонный шершавый нос к ладони Мальцева.

Зима в тот год была ранней и суровой. Когда Мальцев ходил на КП в деревню Журавлевку, Джо поджимал озябшие лапы. Больше недели они стояли на холме у замерзшей речонки. Джо перебегал от одного пулемета к другому. Бойцы с ним свыклись: он придавал видимость уюта и спокойствия.

Джо было холодно и грустно. Он не понимал, почему они не идут в деревню. Там — толстый майор, он каждый день играл с Джо... А сегодня что-то случилось. Джо не знал, что немцы прорвались к дороге на Круглово. Он не знал, что есть приказ — стоять насмерть. Джо только видел, что Мальцеву не до него, и, прижав виновато уши, Джо старался стать незаметным.

Мальцев был внешне спокоен, но все в нем кипело. Боеприпасы на исходе. Нужно открыть артогонь по дороге на Круглово... А рация не работает. Проволочная связь оборвалась, Мальцев попробовал послать двух бойцов в Журавлевку; одного убили, другой приполз назад ране-

ный. Мальцев думал об одном: остановить немцев! Открыть огонь по дороге на Круглово — в этом был весь смысл той жизни, которая прежде ему казалась непостижимо сложной.

И вдруг Мальцев понял: нужно послать Джо. Он смастерил из рубашки маскхалат для собаки. К ошейнику привязал записку: «Боеприпасы кончаются. Продержимся до 16.00. Огонь по дороге на Круглово, левее рощи». Он показал Джо: «Беги! К майору беги!» Но Джо не понимал. Он видел, что хозяину нужна его помощь, но не знал, что он должен сделать. Не отрываясь, он глядел на Мальцева, и в его собачьих глазах была тоска. Тогда Мальцев дал ему старую газету, оставленную на раскурку. Джо схватил в зубы газету и поглядел — куда? Он догадывался, что нужно пойти в деревню, куда ходил каждый день с хозяином. Мальцев показал: беги! И Джо пополз.

До Журавлевки было три километра. Джо полз, останавливался, нырял в снег и снова выплывал. Он боялся потерять газету, и ему трудно было дышать. Вначале он полз ложбинкой, потом начался подъем. Джо хорошо помнил дорогу. Было тихо. Он свернул направо и стал ползти зигзагами — так он ходил с Мальцевым. Вдруг он почувствовал сильную боль. Он замер. Осколок мины раздробил его задние лапы. Он лежал неподвижный. Потом сознание вернулось к нему. Он взвизгнул и сразу вспомнил: нужно отнести газету. Он напрягся и пополз, вернее поплыл, загребая снег передними лапами.

Он поспел во-время: КП перебирался на новое место. Майор, прочитав записку, крикнул: «От Мальцева!» Происходило это в крайней избе, где жил майор. «Свяжись с Редько... Пирогову скажи: левее рощи...» Майор был взволнован и торопил адъютанта. Возле избы стояла «эмка». Никто не обращал внимания на Джо. А он видел, что газета, ради которой он приполз сюда, валяется на полу. Он тявкал, хотел сказать: подымите газету! Но людям было не до него. Майор и трое других вышли из избы. Джо остался один. Он с трудом пополз — хотел вернуться к хозяину, но не мог открыть дверь. Он пролежал в избе вечер, ночь и день. Его мучила жажда: сухим языком он лизал разбитые лапы. Шумели тараканы. Джо с тоской думал: где Мальцев? Снова стемнело, и пес по-

чувствовал всю тяжесть одиночества. Он хотел завыть, но не смог. Потом он забылся; ему показалось, что он — щенок, а мать ушла. Он искал ее и не мог найти; и в бреду он плакал — где Мальцев?..

А Мальцев был счастлив. Когда начался обстрел дороги на Круглово, он понял, что Джо добрался. В шестнадцать ноль ноль было уже темно, и рота Редько пришла во-время. Мальцев спросил: «Где собака?» Никто не знал. Редько пришел из Некрасовки. На рассвете немцы пробовали атаковать, их отбили. Потом пошли в атаку две роты — Мальцева и Редько. Им удалось отбросить немцев от дороги на Круглово.

Когда стемнело, Мальцев отправился в Журавлевку; связи не было, и он думал, что КП на старом месте. В пустой избе, где прежде жил майор, он увидел Джо. Пес очнулся и хотел вскочить, но не мог приподнять головы. Только хвост его чуть вздрогнул, и все, что было в его собачьей душе, выразилось в глазах — он взглянул на Мальцева. Мальцев отвернулся. Потом он наклонился, погладил Джо, помолчал, еще раз погладил и, выхватив из кобуры револьвер, выстрелил. Он вышел из избы не оглядываясь. Нужно было разыскать КП.

1943

МАРГО

Звали ее все Марго. Она, кажется, сама не помнила, что в ее бумагах значилось: «Маргарита-Луиза Монробер». Хозяйка шляпной мастерской говорила: «Марго, сделайте модель позабавней — это для той сумасшедшей американки». Старик почтальон улыбался: «Вам письмецо еще не написали, мадемуазель Марго». И бедняга Жан, сжимая теплую доверчивую руку девушки, вздыхал: «Марго!.. А, Марго!»

Вздернутый носик, маленький круглый рот, вишневый от помады, смешливый взгляд, на лбу челка. Мало ли таких мастериц в Париже? Но Марго всем нравилась. Когда она шла по улице, прохожие оглядывались, а угольщик Жюль щелкал языком: «Ну и шельма!..» Консьержка, сварливое существо с рыбьими глазами и с пальцами, похожими на вязальные спицы, попрекала своего мужа: «Перестань пялить на нее глаза...»

Все это было давно: до войны. Иногда Марго снится веселая толпа, визг, карусели, хризантемы, голубые сифоны на столиках кафе и певец, который на площади Итали поет: «Париж, моя деревня...» Просыпаясь, Марго долго трет кулачком глаза, а потом плачет. По улицам ходят солдаты в серо-зеленых шинелях, злые и чужие, нет сил сказать — до чего чужие. Зачем они пришли? У немцев тяжелые башмаки, и они ступают, как будто хотят вытоптать синий асфальт. А Жан — в плену. Старик почтальон, виновато улыбаясь, говорит: «Мадемуазель Марго, письмо немцы съели». Жюль стал скучным и чистым.

Вывеска «Уголь» осталась, но угля нет. Консьержка перестала пилить мужа. Только хозяйка мастерской не унывает: «Марго, нацепите что-нибудь такое на зеленую шляпу. Это для жены немецкого полковника».

Марго думает: где же Париж? Все на месте: и улицы, и каштаны, и церковь Мадлен, и кафе «Рояль». На террасе немецкие офицеры пьют коньяк, хохочут, пишут открытки. А Парижа нет. И Марго нацепляет оранжевый бант на шляпу: это для жены немецкого полковника.

Люси спрашивает:

— Что грустная? Думаешь о Жане?

— Нет. Я ни о чем не думаю.

Хозяйка жалуется:

— Ходят без шляп, как в Испании... Не знаю, что с нами будет?

Марго отвечает:

— Выживем. Или умрем.

Ей двадцать лет, но она рассуждает, как бабушка.

Вечером она подымается к себе. У нее комната под самой крышей: душная, раскаленная клетка. На столе золотая корона из бумаги; подарок Жана. Это было на масленой перед войной. Она танцовала до утра... А на стене яркие открытки, виды Парижа: несутся красные машины, бьют фонтаны, и треплется трехцветный флажок.

В горячий вечер августа Жюль зазвал ее к себе. Она не хотела итти. Жюль подмигнул:

— Ты такое услышишь...

Жюль угостил ее шоколадом и ликером. Откуда он только раздобыл? Она выпила рюмку, и вдруг ей стало смешно: ведь был Париж, она танцовала с Жаном, пила ликер. Ничего больше нет. Она выпила еще рюмку. Жюль поспешно ее обнял. Она покачала головой:

— Не нужно.

Он смутился:

— Ждешь Жана?

— Нет. Я больше ничего не жду. Знаешь, Жюль, я любила целоваться. А теперь нельзя. Теперь у меня нет сердца... — Она вдруг вспомнила: — Ты звал меня что-то послушать?

Он посмотрел на часы:

— Через пять минут... Садись сюда, а то не услышишь: они заглушают. Я тихо пускаю. Соседей нет, но все-таки страшно — вдруг пронюхают!..

Раздался смутный вой, как будто где-то очень далеко кричала сирена. Потом проступили слова: «Французские партизаны и франтиреры...» Марго удивленно наморщила лоб:

— Откуда партизаны?..

— Слушай...

Марго припала к деревянной коробке: «Боритесь с немцами... вредите... уничтожайте...»

— Жюль, зачем они это говорят?

— Чтобы боролись.

— А ты?

Он рассердился:

— Я слушаю радио, это уже кое-что. Только смотри — никому ни слова

Два дня спустя, увидев Марго, Жюль обомлел. Глаза ее лучились, вишневый рот выделялся, как свежая рана. Жюль в злобе спросил:

— Значит, сердце нашлось?

— Нашлось.

Перемену заметили и в мастерской, дразнили, допытывались: кто? Марго отшучивалась. Так продолжалось несколько дней: Марго цвела, а Жюль, мастерицы, кумушки ломали себе голову: с кем она спуталась?

Тайну раскрыла консьержка. Рано утром, потрясая шваброй, она в десятый раз рассказывала:

— Нет, вы никогда не догадаетесь... Это такая дрянь, я что-то почувствовала, встала... И можете себе представить — это был немец, настоящий немец!..

Соседки негодовали:

— Подумать только!..

— Он в плену, а она не скучает...

— Таких скоро высекут, разденут и высекут, как в восемнадцатом.

Жюль, увидав Марго, сказал:

— Вот для кого твое сердце?

Она спокойно ответила:

— Да. Для него.

Консьержка караулила всю ночь, подымалась по лестнице, прислушивалась. В комнате Марго было тихо. Утром девушка, как всегда, пошла в мастерскую. Хозяйка уже знала о ночном происшествии. Поджав лиловые губы, она сказала:

— Говорят, что Марго нашла себе покровителя.

Все мастерицы смотрели на Марго. Она ничего не ответила. Из мастерской она пошла в кафе «Рояль». Там ее и схватили. Она пила коньяк с немецким офицером и задорно улыбалась. Полицейские сжали Марго руки.

Напрасно офицер запротестовал: «Это очень хорошая девушка», полицейские поспешно втолкнули Марго в машину.

Они долго подымались по узкой винтовой лестнице. Полицейский спросил:

— Где выключатель?

— Лампочка разбита.

В комнате было нестерпимо душно. Полицейский судорожно зевнул. В окно была видна желтая ущербная луна. Полицейский посветил карманным фонариком. Стол, на нем лоскутки, крошки хлеба и большая золотая корона. На стене цветные открытки. На кровати спит немецкий офицер эсэсовец. Полицейский поднес фонарик к лицу и сразу отдернул руку: тонкая полоска засохшей крови шла от рта до пола.

— Ножом?

Марго покачала головой:

— Нет. Я взяла у консьержки молоток и сказала, что нужно прибить штору — пропускает свет. Ножом — это после... Мне показалось, что он дышит, тогда я перерезала шею. Молоток я отдала, а нож не тот, что вы взяли. Этот — чтобы резать хлеб — он в шкафу...

Допрашивал ее полковник, седой и голубоглазый. Он все время глядел на свои длинные отполированные ногти. Чорт знает что, эта девчонка ему нравится! Настоящая парижанка... Он отгонял от себя эти мысли. Он спрашивал с подчеркнутым равнодушием:

— Женщина Монробер Маргарита-Луиза, расскажите, как вы совершили преступление?

— Я уже говорила... Сначала он не хотел итти, говорил, что лучше в гостинице. Но я ему сказала, что я не

такая, что я не за деньги, а от чувства. Он пошел за мной. В комнате он хотел меня обнять. Я вырвалась. Он нечаянно разбил лампу. Видно было едва-едва — луна, но окошко маленькое. Я сказала: «Лежи тише, я сейчас разденусь...» Я взяла молоток и очень сильно ударила — по голове. Потом я испугалась, что он очнется. Я его резала, долго резала, пока не рассвело.

— Вы знали прежде штурмбанфюрера Эрнста Шульце?

— Нет, я познакомилась с ним в тот вечер. Я ему улыбнулась. Он предложил пойти с ним в кафе. Я пошла.

— Зачем вы на следующий день после совершенного преступления заговорили с капитаном Рудольфом Зейером?

— Я не знаю, как его зовут. Он сидел в кафе. Я хотела увести его.

— К себе?

— Нет. В гостиницу.

— Зачем?

— У меня был складной нож. Его отобрали полицейские...

Полковник не выдержал и посмотрел на Марго. Она улыбалась. Он сказал:

— Вы производите впечатление душевнобольной.

— Я здорова.

— Тогда зачем вы это сделали?..

— Вы сами сказали... Я — Маргарита-Луиза Монробер. А тот был враг. В кафе сидел враг. И вы — враг. Я сделала, что смогла...

Полковник больше ее не слушал. Он крикнул: «Увести!» и подошел к окну... Он долго глядел на желтый обломок луны и повторял: «Сумасшедшая». Ему было не по себе.

Марго повели на казнь ранним утром, когда сквозь серо-розовый туман едва проступали далекие дома с прикрытыми ставнями и несколько чахлых, как бы обглоданных деревьев. Ей хотелось еще раз взглянуть на Париж, но она вздохнула: Парижа нет. Может быть, он в плену, как Жан? Или в горах, где партизаны? Она вспом-

нила школьную книгу; сейчас нужно петь «Марсельезу», но она не знает слов, а нужно петь — не то они подумают, что она боится. И Марго запела: «Париж, моя дорогая деревня...» Фельдфебель крикнул: «Петь запрещается!»

Кругом враги. Ни одного француза... Испуганный топотом солдат, с дерева поднялся воробей. И Марго, шевеля губами, распрощалась с ним: «До свидания, милый...»

1943

СЧАСТЬЕ

Когда генерал Брянцев смеялся, казалось, что жизнь его переполняет. Годы не тронули его черных жестких волос. Он был неизменно весел. В те горькие дни, когда бойцы, задыхаясь от пыли и тоски, отступили к Дону, Брянцев говорил: «Скоро развернемся», и смертельно усталые люди улыбались. Начальник штаба, полковник Сиренко, смотрел на Брянцева с удивлением: вот оно, счастье!

Сиренко был неуживчивым, его боялись. Может быть, ожесточила его болезнь — язва желудка. Он выносил только молоко; и на одном из штабных грузовиков, среди кроватей, столов и ящиков, передвигалась лысая корова, выпуклыми равнодушными глазами глядевшая на зловещие картины войны. Страсть к работе помогала полковнику справляться с болезнью: над картой он оживал. Он видел все изгибы земли, все возвышенности и лощинки; знал силы противника, изучил его привычки и слабости. Брянцев говорил: «Я без Сиренко как без глаз». А полковник считал себя глубоко несчастным: он был прикован к штабу. Он жил боем, но не видел боя. Уныло, надтреснутым голосом он кричал в телефон: «Дайте обстановку!» Не было у него ничего в жизни, кроме этой исполосованной карандашами карты. Он не ждал ни от кого писем. Дочь его умерла; с женой он давно развелся.

Сиренко старался не глядеть на Брянцева, когда тот читал длинные письма. Полковник знал, что жена Брянцева Мария Ильинишна живет в розовом домике над Вол-

гой и что в саду у нее яблони. Об этом не раз рассказывал Брянцев. Рассказывал он также, что жена работала в музыкальной школе, но теперь хворает, что она до самозабвения любит их единственного сына Олега. Застенчиво улыбаясь, Брянцев добавлял: «Мальчик он хороший...» Сын Брянцева был младшим лейтенантом. Сиренко как-то сказал генералу: «Сын у тебя боевой. Только послушай, Николай Павлович, не похож он на тебя — молодой, а грустный». Брянцев рассмеялся: «Я в двадцать лет за басмачами гонялся. А он стихи пишет. Он у меня в Машу...»

Шла обычная артиллерийская перестрелка. Прилетела «рама», пошумели зенитки. В блиндаже зажгли лампу. Брянцев отдыхал. Сиренко перечел сводку, поговорил по телефону с майором Соболем и вдруг забеспокоился.

— Надо обязательно «языка» достать, — сказал он Брянцеву. — Что-то они задумали. Почему они перебросили танки в лесок у завода?

Сиренко впился длинным ногтем в зеленое пятнышко. Он, не отрываясь, глядел на красные и синие круги, на стрелы, ромбы, спирали — карта для него была нотами: он ее слышал.

Было это в душный летний вечер, когда люди, изнывая, ждали грозы. Брянцев пил из кувшина теплую воду и говорил: «Хорошо, если начнут... Я вот только боюсь за Смирнова — народ у него необстрелянный...»

Около полуночи вошел возбужденный адъютант:

— Товарищ генерал, разведчик здесь. Фельдфебеля приволокли.

Брянцев радостно закричал:

— Тащи его сюда!

Пленного привел лейтенант Хомяков. Он начал докладывать: «Товарищ генерал, на обратном пути...» Брянцев оборвал: «Потом скажете. Надо его допросить».

У пленного было зеленоватое лицо, мутные, безжизненные глаза. Бледным сухим языком он облизывал губы и повторял: «Я ничего не знаю. Я казначей...»

У Сиренко был очередной припадок; не стерпев боли, он выругался. Немец вздрогнул, облизал губы и вдруг сказал:

— У меня дети... Начнут в три часа, тридцать четвертый полк и танки. Только не нужно меня убивать!..

Сиренко сразу забыл о боли:

— Видишь? Танки у завода. Ясно! А тридцать четвертый — это против Смирнова.

Все завертелось. Сиренко ругался: «Розетка? Дрыхните вы там! Дайте Оку. Живее!» Брянцев крикнул: «Алеша, заводи!..» Он сказал Сиренко:

— Я поеду к Смирнову. Не знаю, как там будет со связью. Сейчас поговорю с Сердюком. Разведчик здесь?

Лейтенант Хомяков неестественно громко сказал:

— Товарищ генерал, разрешите доложить, при переходе через линию, у высоты сто десять, гвардии младший лейтенант Брянцев погиб смертью героя.

Он выговорил это одним духом и утер ладонью лицо. Сиренко вскрикнул: «Что?..» В блиндаже было очень тихо; только всхлипывал пленный. Заговорил Брянцев:

— Иван Сергеевич, ты скажи Сердюку — начать в два ноль ноль. А я поеду...

Сиренко заметался:

— Николай Павлович, как же ты?..

Машина с треском понеслась по ухабам. Нечем было дышать. А сухая растрескавшаяся земля, освещаемая фарами, казалась снегом.

Еще было темно, когда орудия разодрали ночь. Потом рассвело, но земля была покрыта дымом. Горел ельник. Столбы пыли вращались как фонтаны. В четыре часа двинулись немецкие танки.

Смирнов отбил первый удар. Немцы бросили танки на Журавлева. Брянцев угадал маневр, он успел подкинуть два батальона в Ивановку. Танки прошли, но пехоту остановили. Повар Яковенко остолбенел, увидав перед собой «тигра». Бронебойщики подбили семь танков, остальные повернули назад. На правом крыле немцы продвинулись до большака. Под вечер с фланга ударил Соболь. Били ручными гранатами, штыками, прикладами. Брянцев неистовствовал: «Отстают с огнем! Дай мне Сердюка!» Час спустя он кричал в телефон: «У мельницы. Ты меня слышишь — у мельницы». И вскоре бомбардировщики прошли над его головой. Капитан Шепелев дотянул до аэро-

дрома: из рукава его капала кровь; он сказал: «Запиши — два «мессера». А Бирюка сбили...» Сержант Красин, в прошлом бухгалтер Мосторга, раненный миной, дополз до воронки; там он умер; перед смертью ему казалось, что он дома, пришли гости и шумят, шумят... Хирург Ройзен, в забрызганном кровью халате, при тусклом свете лампы, пилил ногу капитана Рашевского; это была шестнадцатая операция за день. Засыпало рацию Наумова; у него шла кровь из ушей, но он раздельно говорил: «Артамьян просит коробочки, коробочки, коробочки...» Три бойца вели пленных; все они припадали к земле при разрыве, потом шли и снова падали. Старшина Васильев ухмылялся: «Эх, фрицы...» — он поджег танк, и майор Соболь ему сказал: «Сегодня же представлю...» Старший лейтенант Беляев нервничал: в его роте осталось не больше двадцати человек, и Беляеву казалось, что немцы где-то прорвались. А Брянцев заделывал бреши, направлял удары с воздуха, перебрасывал полки, придвигал и отодвигал артиллерийский огонь, срезал клинья, подгонял машину, терзал телефон и приподымал всех своей неуемной силой.

Сиренко заносил на карту различные фазы битвы. «Опять я позади», — в тоске думал он. Коптилка вздрагивала от разрывов. Он отмечал каждое движение. Он знал, что противник подбросил на правый фланг новый полк, снятый недавно с другого фронта. Он знал, что Брянцев ни на минуту не потерял спокойствия. Восхищенно Сиренко говорил себе: «Наступают немцы, а инициатива в руках у Брянцева!» Вдруг он оторвался от карты: вспомнил глаза Брянцева, когда тот услыхал о смерти Олега. Он смутно подумал: «А счастье?..» Засвистел телефон, и Сиренко крикнул: «Дайте обстановку!»

Брянцев приехал поздно вечером, когда в битве наступила пауза. Он загрохотал:

— Ты бы посмотрел возле Ивановки! Там их помяли. В общем нигде не прошли. Подсчитали — девятнадцать танков и, понимаешь, шесть «тигров». Что Фомин говорит? Подбрасывают?..

— Замечена колонна у Балашевки — тридцать машин. Сосед в девятнадцать ответил, что пленные из прежних частей. Продвинулись они только у Журавлева — до мельницы...

— Завтра восстановим. Ты бы прилег хоть на час, Иван Сергеевич. Вид у тебя поганый. Болит?

— Ничего не болит. — Сиренко рассердился. — Ты лучше о себе подумай. Отдыхай.

Брянцев сел и другим, необычно мягким голосом сказал:

— Попробую Хомякова вызвать. Узнать, где случилось...

Он молча ждал Хомякова, курил за папиросой папиросу. Сиренко заслонился газетой, боялся, что его присутствие в тягость Брянцеву.

— Товарищ генерал, гвардии лейтенант Хомяков сегодня убит у Ивановки. Разрешите быть свободным?

Брянцев подсел к Сиренко:

— Давай поработаем. Есть у меня план насчет Журавлева...

Неожиданно для себя он сказал:

— Не знаю, как Маше напишу...

Сиренко увидел, что глаза Брянцева, всегда живые и веселые, полны слез. Брянцев смутился.

— Глаза у меня болят. Придется завести очки... Старость, Иван Сергеевич.

Сиренко сжал его руку. Они начали работать.

1944



СТИХОТВОРЕНИЯ

СТИХИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

СОРОК ПЕРВЫЙ

Мяли танки теплые хлеба,
И горела, как свеча, изба.
Шли деревни. Не забыть вовек
Визга умирающих телег,
Как лежала девочка без ног,
Как не стало на земле дорог.
Но тогда на жадного врага
Ополчились нивы и луга,
Разъярился даже горицвет,
Дерево и то стреляло вслед.
Подымались камни и стога,
И с востока двинулась пурга,
Ночью партизанили кусты,
И взлетали под ногой мосты,
Била немцев каждая клюка,
Их топила каждая река,
Их закапывал, кряхтя, мороз,
И луна их жгла, как купорос.
Шли с погоста деды и отцы,
Пули подавали мертвецы,
И косматые, как облака,
Врукопашную пошли века.
Шли солдаты немца колотить,
Как ходили прежде молотить,
Смерть предстала им не в высоте,
А в крестьянской кровной простоте,
Та, что пригорюнилась, как мать,
Та, которой нам не миновать.

Затвердело сердце у земли.
А солдаты шли и снова шли,
Шла Урала темная руда,
Шли, гремя, железные стада,
Шел Смоленщины дремучий бор,
Шел худой зазубренный топор,
Шла винтовка, верная сестра,
Шло глухое, смутное «ура»,
Шли пустые тусклые поля,
Шла большая русская земля.

1942

* * *

Они накинулись, неистовы,
Могильным холодом грозя.
Но есть такое слово «выстоять»,
Когда и выстоять нельзя,
И есть душа — она все вытерпит,
И есть земля — она одна,
Большая, добрая, сердитая,
Как кровь тепла и солона.

1942

* * *

Я помню — был Париж. Краснели розы
Под газом в затуманенном окне,
Как рана. Нимфа каменная мерзла.
Я шел и смутно думал о войне.
Мой век был шумным, люди быстро гасли,
А выпадала тихая весна,
Она пугала видимостью счастья,
Как на войне пугает тишина.
И снова бой. И снова пулеметчик
Лежит у погоревшего жилья.
Быть может, это все еще хлопочет
Ограбленная молодость моя?
Я верен темной и сухой обиде,
Ее не пережить мне никогда,
Но я хочу, чтоб юноша увидел
Простые и счастливые года.
Победа — не гранит, не мрамор светлый —
В грязи, в крови, озябшая сестра,
Она придет и сядет незаметно
У бледного погасшего костра.

1942

БАБИЙ ЯР

К чему слова и что перо,
Когда на сердце этот камень,
Когда, как каторжник ядро,
Я волочу чужую память?
Я жил когда-то в городах,
И были мне живые милы,
Теперь на тусклых пустырях
Я должен разрывать могилы,
Теперь мне каждый яр знаком,
И каждый яр теперь мне дом.
Я этой женщины любимой
Когда-то руки целовал,
Хотя, когда я был с живыми,
Я этой женщины не знал.
Мое дитя! Мои румяна!
Моя несметная родня!
Я слышу, как из каждой ямы
Вы окликаете меня.
Я говорю за мертвых. Встанем,
Костями застучим: туда,
Где дышат хлебом и духами
Еще живые города.

1944

ОТРЫВОК

Она не только чудная страна —
От тундры, где цветок убогий дорог,
До крымских рощ. Она — родимый город
И жимолость у милого окна.
Она тот домик, где Никита вырос,
И растревоженная совесть мира.
Мечту мы строили, как строят дом,
Большие камни на себе носили
И падали. Она в тебе самом,
И та Россия больше, чем Россия,
На карте тесно ей, но погляди —
Ты уместил ее в своей груди.

1944

* * *

Бывала в доме, где лежал усопший,
Такая тишина, что выли псы,
Кричал младенец, в мыле билась лошадь,
И слышно было, как идут часы.
И на кровати чересчур громоздкой
Торжественно покойник почивал,
А смерть родные ублажали воском
И слепотой завешенных зеркал.
Они, с любимым существом прощаясь,
Припоминали звуки и цвета,
Но прошлое казалось им случайным,
А достоверной только пустота.

В пригожий день, среди кустов душистых,
Когда бы человеку жить и жить,
Я увидал убитого связиста.
Он все еще сжимал стальную нить,
В глазах была привычная забота,
Как будто, мертвый, опоздать боясь,
Он торопливо спрашивал кого-то,
Налажена ли прерванная связь.
Быть может, здесь, в самозабвенье сердца,
В солдатской неразгаданной судьбе
Таится то великое бессмертье,
Которое мерещилось тебе?..

1942

* * *

За что он погиб? Он тебе не ответит.
А если услышишь, подумаешь — ветер.
За то, что здесь ярче густая трава,
За то, что ты плачешь и значит жива,
За то, что есть дерева грустного шелест,
За то, что есть смутная русская прелесть,
За то, что четыре угла у земли,
И сколько ни шли бы, куда бы ни шли,
Есть, может быть, звонче, нарядней, богаче,
Но нет вот такой, над которой ты плачешь...

1945

В МАЕ 1945

1

О них когда-то горевал поэт:
Они друг друга долго ожидали,
А, встретившись, друг друга не узнали
На небесах, где горя больше нет.
Но не в раю, на том земном просторе
Где шаг ступи — и горе, горе, горе,
Я ждал ее, как можно ждать любя,
Я знал ее, как можно знать себя,
Я звал ее в крови, в грязи, в печали.
И час настал. Закончилась война.
Я шел домой. Навстречу шла она.
И мы друг друга не узнали.

2

Она была в линялой гимнастерке,
И ноги были до крови натерты.
Она пришла и постучалась в дом.
Открыла мать. Был стол накрыт к обеду.
«Твой сын служил со мной в полку одном.
И я пришла. Меня зовут Победа».
Был черный хлеб белее белых дней,
И слезы были соли солоней.

Все сто столиц кричали вдалеке,
В ладоши хлопали и танцовали.
И только в тихом русском городке
Две женщины торжественно молчали.

1945

ИСПАНИЯ

1

Нет ни дерева, ни куста,
Только камень и духота.
Надо выползти, добежать.
(Как звала тебя в детстве мать?)
Камень ожил. Дым голубой.
Побежали. Короткий бой.
Пулемет. Потом тишина.
Здесь я встретил тебя, война.
Одурь полдня. Глубокий сон.
Край отчаянья, Арагон.

1938

2

В кастильском нищенском селеньи,
Где только камень и война,
Была та ночь до одуренья
Криклива и раскалена.
Артиллерийской подготовки
Гроза гремела вдалеке.
Глаза хватались за винтовки,
И пулемет стучал в виске.
А в церкви — экая морока! —
Показывали нам кино.
Среди святителей барокко

Дрожало яркое пятно.
Как камень сумрачны и стойки,
Молчали смутные бойцы.
Вдруг я услышал — русской тройки
Звенели лихо бубенцы,
И памятью меня измаяв,
Расталкивая всех святых,
На стенке бушевал Чапаев,
Сзывал живых и неживых.
Как много силы у потери,
Как в годы переходит день!
И мечется по рыжей сьерре
Чапаева большая тень.
Земля моя, земли ты шире,
Страна, ты вышла из страны,
Ты стала воздухом, и в мире
Им дышат мужества сыны.
Но для меня ты — с колыбели,
Моя земля, родимый край,
И знаю я, как пахнут ели,
С которыми дружил Чапай.

1939

3

«Разведка боем» — два коротких слова.
Роптали орудийные басы.
И командир поглядывал сурово
На крохотные дамские часы.
Сквозь заградительный огонь прорвались,
Кричали и кололи на лету.
А в полдень подчеркнул штабного палец
Захваченную утром высоту.
Штыком вскрывали пресные консервы.
Убитых хоронили, как во сне.
Молчали. Командир очнулся первый:
В холодной предрассветной тишине,
Когда дышали мертвые покоем,
Очистить высоту пришел приказ,
И, повторив слова «разведка боем»,

Угрюмый командир не поднял глаз.
А час спустя заря позолотила
Чужой горы чернильные края.
Дай оглянуться — там мои могилы,
Разведка боем, молодость моя!

1938

4

На Рамбле возле птичьих лавок
Глухой солдат (он ранен был)
С дроздов, малиновок и славок
Глаз восхищенных не сводил.
В ушах его навек засели
Ночные голоса гранат.
А птиц с ума сводили трели,
И был щеглу щегленок рад.
Солдат, увидев в клюве звуки,
Припомнил звонкие поля,
Он протянул к пичуге руки,
Губами смутно шевеля.
Чем не торгуют на базаре?
Какой не мучают тоской?
Но вот, забыв о певчей твари,
Глухой солдат махнул рукой.
Не изменить своей Отчизне,
Не вспомнить, как цветут цветы,
И не отдать за щебет жизни
Благословенной глухоты.

1938

5

Гроб несли по розовому щебню,
И труба унылая трубила.
Выбегали на шоссе деревни,
Подымали грабли или вилы.

Музыкой встревоженные птицы,
Те свою высвистывали зорю.
А бойцы, не смея торопиться,
Задыхались от жары и горя.
Прикурить он больше не попросит,
Не вздохнет о той, что обманула...
Опускали голову колосья,
И на привязи кричали мулы.
А потом оливы задрожали,
Заступ землю жесткую ударил.
Имени погибшего не знали,
Говорили коротко: «Товарищ».
Под оливами могилу вырыв,
Положили на могиле камень.
На какой земле товарищ вырос?
Под какими жил он облаками?
И бойцы сутулились тоскливо,
Отвернувшись, сглатывали слезы.
Может быть, ему милей оливы
Простодушная печаль березы?
В темноте все листья пахнут летом,
Все могилы сиротливы ночью.
Что придумаешь просторней света,
Человеческой судьбы короче?

1938

6

Нет, не забыть тебя, Мадрид,
Твоей крови, твоих обид.
Холодный ветер кружит пыль.
Зачем у девочки костыль?
Зачем на свете фонари?
И кто дотянет до зари?
Зачем живет Карабанчель?
Зачем пустая колыбель?
И сколько будет эта мать
Не понимать и обнимать?

Выходит прямо в небо дверь,
И, если хочешь, в небо верь.
А на земле клочок белья,
И кровью смочена земля.
Стекла злосчастного озноб.
И улица ведет в окоп.
Идет на фронт любой трамвай,
Идет, поет «не забывай».
А пушки говорят всю ночь,
Что не уйти и не помочь,
Что зря придумана заря,
Что не придут сюда моря,
Ни корабли, ни поезда,
Ни эта праздная звезда.

1938

7

Зной жестокий. Шли солдат ряды.
В ржавой фляжке ни глотка воды.
На дороге (им уйти нельзя)
Распластались мертвые друзья.
Я запомнил несколько примет:
У победы крыльев нет как нет,
У нее тяжелая ступня,
Пот и кровь от грубого ремня,
И она идет едва дыша,
У нее тяжелая душа,
Человека топчет, как хлеба,
У нее тяжелая судьба.
Но крылатой краше этот пот,
Чтобы сапу вырыть, будто крот,
Чтобы доползти исподтишка,
Добежать до ближнего леска,
Чтобы в яму, к чорту, под откос,
Только б целовать ее взасос!

1939

8

На ночь глядя выслали дозоры.
Горя повидали понтонеры.
До утра трещали пулеметы.
Над рекой летали самолеты.
С гор, раздроблены, сползали глыбы.
Засыпали, проплывая, рыбы.
Умирая, подымались люди,
Не оставили они орудий,
И зенитки, заливаясь лаем,
Били по тому, что было раем.
Другом никогда не станет недруг.
Будь ты, ненависть, густой и щедрой,
Чтоб не дать врагам ни сна, ни хлеба,
Чтобы не было над ними неба,
Чтоб не ластились к ним дома звери,
Чтоб не помнить, не глядеть, не верить,
Чтобы жалость нас не обманула,
Чтобы дулу отвечало дуло,
Чтоб прорваться с боем через реку
К утреннему розовому веку.

1938

9

Батарею скрывали оливы.
День был серый. Ползли облака.
Мы глядели в окно на разрывы,
Говорили, что нет табака.
Говорили орудья сердито,
Про войну был их громкий рассказ.
В доме прыгали чашки и сита,
Штукатурка валилась на нас.
Только б этих горластых не слышать!
(Раскричалась в то утро война.)
А хозяйка, та пальцами уши
Затыкала, и выла она.
Что здесь делают шкаф и скамейка,
Эти кресла в чехлах и комод?
Даже клетка, а в ней канарейка,

И, проклятая, громко поет.
Не смолкали дурацкие трели,
Стоит пушкам притихнуть — поет.
Отряхнувшись, мы снова смотрели:
Перелет, недолет, перелет.
Но не скрою — волненье пичуги
До меня на минуту дошло,
И тогда я припомнил в испуге
Бредовое мое ремесло,
Эту спазму, сжимавшую горло,
Чтоб сидеть запершись до утра.
Сколько чувств заслонила, затерла
Слов и звуков пустая игра!
Канарейке ответила ругань,
Полоумный буфет завизжал,
Показался мне голосом друга
Батареи запальчивый залп.

1939

10

Где люди ужинали — мусор, щебень,
Кастрюли, битое стекло, постель,
Горшок с сиренью, а высоко в небе
Качается пустая колыбель.
Железо, кирпичи, квадраты, диски,
Разрозненные смутные куски.
Идешь — и под ногой кричат огрызки
Чужого счастья и чужой тоски.
Каким мы прежде обольщались вздором!
Что делала, что холила рука?
Так жизнь, ободранная живодером,
Вдвойне необычайна и дика.
Портрет семейный — думали про сходство.
Загадывали, чем обить диван.
Всей оболочки грубое уродство
Навязчиво, как муха, как дурман.
А за углом уж суета дневная,
От мусора очищен тротуар.
И в глубине прохладного сарая

Над глиной трудится старик гончар.
Я много жил, я ничего не понял,
И в изумлении гляжу один,
Как, повинуясь старческой ладони,
Из темноты рождается кувшин.

1938

11

В сырую ночь ветра точили скалы.
Испания, доспехи волоча,
На север шла. И до утра кричала
Труба помешанного трубача.
Бойцы из боя выводили пушки.
Крестьяне гнали одуревший скот,
А детвора несла свои игрушки,
И был у куклы перекошен рот.
Рожали в поле, пеленали мукой
И дальше шли, чтоб стоя умереть.
Костры еще горели пред разлукой,
Трубы еще не замирала медь.
Что может быть печальней и чудесней —
Рука еще сжимала горсть земли...
В ту ночь от слов освобождались песни,
И шли деревни, будто корабли.

1939

ФРАНЦИЯ

ПАРИЖ ЛЕТОМ 1940

1

Глаза погасли, и холод губ,
Огромный город, не город — труп,
Где люди жили, растет трава,
Она приснилась и не жива.
Был этот город густым, как лес,
Простым, как горе, и он исчез.
Дома остались, но никого.
Не дрогнут ставни. Забудь его.
Ты не забудешь, но ты забудь,
Как руки улиц легли на грудь,
Как стала Сена, пожрав мосты,
Рекой забвенья и немоты...

2

Над Парижем грусть. Вечер долгий.
Улицу зовут «Ищу-полдень».
Кругом никого. Свет не светит.
Полдень далеко, теперь вечер.
На гербе корабль (черна гавань).
Его трюм — гроба, парус — саван.
Не сказать прости, не заплакать.

Капитан свистит. Поднят якорь.
Девушка идет, она ищет,
Где ее любовь, где кладбище.
Не кричат дрозды, молчит память.
Идут, как слепцы, ищут камень.
Каменщик молчит, не ответит,
Он один в ночи ищет ветер.
Иди, не говори, путь тот долгий,
Это весь Париж ищет полдень.

3

Номера домов, имена улиц,
Город мертвых пчел, брошенный улей.
Старухи молчат, в мусоре роясь.
Не придут сюда ни сон, ни поезд,
Не придут сюда от живых письма,
Не всхлипнет дитя, не грянет выстрел.
Люди не придут. Умереть поздно.
В городе живут мрамор и бронза.
Нимфа слез и рек (тишина, сжалься!)
Ломает в тоске мертвые пальцы.
Маршалы, кляня века победу,
На мертвых конях едут и едут.
Мертвый голубок (что ему снится?),
Как зерно, клюет глаза провидца.
А город погиб. Он жил когда-то,
Он бьется в груди забытых статуй.

4

Не для того писал Бальзак.
Чужих солдат чугунный шаг.
Ночь навалилась горяча.
Бензин и конская моча.
Не для того — камням молюсь! —
Упал на камни Делеклюз.

Не для того тот город рос,
Не для того те годы гроз,
Цветов и звуков естество,
Не для того, не для того.
Лежит расстрелянный без пуль.
На голой улице патруль.
Так люди предали слова.
Траву так предала трава.
Предать себя, предать других.
А город пуст, и город тих.
И тяжелее чугуна
Угодливая тишина.
По городу они идут,
И в городе они живут,
Они про город говорят,
Они над городом летят,
Чтоб ночью город не уснул,
Моторов точен грозный гул.
На них глядят исподтишка,
И задыхается тоска:
Глаза закрой и промолчи,
Идут чужие трубачи,
Чужая медь, чужая спесь.
Не для того я вырос здесь!

1940

НАКАНУНЕ

Кричали вечером мальчишки,
Дожди поили резеду,
И мы влюблялись понаслышке
В чужую страшную беду.
Как годы обернулись в даты?
И почему в горячий день
Пошли небритые солдаты
Из опустевших деревень?
Опять горластая тревога
Кричит над городом ночным.
Друзья, перед такой дорогой
Присядем малость, помолчим,
Как в старину, как домочадцы —
Пока еще горит окно,
И пчелы в пчельнике роятся,
И винодел несет вино.

1939

ИЛЬ ДЕ ФРАНС

Обрывки проводов. Не позвонит никто.
Как человек, подмигивает мне пальто.
Хозяева ушли. Еще стоит еда.
Еще в саду раздавленная резеда.
Мы едем час-другой. Ни жизни, ни жилья.
Убитых шлемы. Клок солдатского белья.
Размолот камень и расщеплен старый бук.
Дома без крыш и нимфа дикая без рук.
А в мастерской, средь красок, кружев и колец,
Гранатой замахнулся на луну мертвец,
И синевой припудрено его лицо.
(Как трудно вырастить простое деревцо.)
Опять развалины — до одури, до сна.
Невыносимая пустая тишина.
Скажи, неужто был обыкновенный день,
Когда над детворой еще цвела сирень?

1940

* * *

Как дерево в большие холода,
Как зябкий вяз, когда реки вода
Не может двинуться, и ходит вьюга,
Как дерево обманутого юга,
Что, слушая метель и ветра вой,
Зеленой бредит и густой листвой,
Зовет малиновок и в смертной муке
Иззябшие заламывает руки,
Ты в эту зиму спишь и ты не спишь
Как старый вяз, большой, чужой Париж.

1940

* * *

Умереть и то казалось легче,
Был здесь каждый камень мил и дорог.
Вывозили пушки. Жгли запасы нефти.
Падал черный дождь на черный город.
Женщина сказала пехотинцу
(Слезы черные из глаз катились):
«Погоди, любимый, мы простимся»,
И глаза его остановились.
Я увидел этот взгляд унылый.
Было в городе черно и пусто.
Вместе с пехотинцем уходило
Темное, как человек, искусство.

1940

МЫ ПОБЕДИМ

Ты тронул ветку, ветка зашумела,
Зеленый сон, как молодость, наивен.
Утешить человека может мелочь:
Шум листьев или летом светлый ливень,
Когда, омыт, оплакан и закапан,
Сияет мир в одной повисшей капле,
Когда доносится медовый запах
Цветов, что прежде никогда не пахли.
Я знаю наших лет проломы, бреши,
Дорог крутых, как виселицы, петли,
Нет, человека нелегко утешить.
И все же я скажу про дождь, про ветки:
Мы победим! За нас вся свежесть мира,
Все жилы, все побеги, все подростки.
Все это небо синее — на вырост,
Как мальчика веселая матроска,
За нас все звуки, все цвета, все формы,
И дети, что, смеясь, кидают мячик,
И птицы изумительное горло,
И слезы простодушные рыбачек.

1939

ВЕРНОСТЬ

Верность — прямо дорога без петель.
Верность — зрелой души добродетель.
Верность — августа слава и дым,
Зной, его не понять молодым.
Верность — вместе под пули ходили,
Вместе верных друзей хоронили.
Грусть и мужество — не расскажу.
Верность хлебу и верность ножу.
Верность смерти и верность обидам.
Бреда сердца не вспомню, не выдам.
В сердце целься! Пройдут по тебе.
Верность сердцу и верность судьбе.

1939

ПЕРЕД РАССВЕТОМ

(Отрывок)

...И видит он, как на стене беленой
Трепещет тень взволнованного клена.
Деревья Франции, вы, вековые
Могил и колыбелей часовые,
Вы здесь, вы не покинули поста,
Платаны и смоковницы густые
С узором сложным тонкого листа.
На площади Парижа, дик и страстен,
Томится вяз, он помнит: пушкари
Коммуну защищали. Страж зари,
В долине ночи голубеет ясень,
Под ним рыдала Эмма Бовари.
Свидетели былой любви и славы,
Прозрачные французские дубравы...

1943

ЕВРОПА

Летучая звезда и моря ропот,
Вся в пене, розовая, как заря,
Горячая, как сгусток янтаря,
Среди олив и дикого укропа,
Вся в пепле, роза поздняя раскопок,
Моя любовь, моя Европа!

Я исходил петлистые дороги
Твои, твое глубокое вчера,
С той пылью, что старее серебра,
Я знаю теплые твои берлоги,
Твои сиреневые вечера
И глину под ладонью гончара.
Надышанная тихая обитель,
Больших веков душистый сеновал,
Горшечник твой, как некогда Пракситель,
Брал горсть земли и жизнь в нее вдувал.

Был в Лувре небольшой невзрачный зал.
Безрукая доверчиво, по-женски
Напоминала всем о красоте.
И плакал перед нею Глеб Успенский,
А Гейне знал, что все слова не те...

В Париже средь машин по-деревенски
Шли козы. И свирель впивалась в день.
Был воздух зацелованной святыней.

И мастерицы простодушной тень
По скверу проходила, как богиня.
Твои черты я узнаю в пустыне,
Горячий камень дивного гнезда,
Средь серы, средь огня, в ночи потопа,
Летучая зеленая звезда,
Моя любовь, моя Европа!

1943

* * *

Ты говоришь, что я замолк,
И с ревностью, и с укоризной.
Париж не лес, и я не волк,
Но жизнь не вычеркнуть из жизни.
А жил я там, где, сер и сед,
Подобный каменному бору,
И голубой, и в пепле лет,
Шумит, поет великий город.
Там даже счастье нипочем,
От слова там легко и больно,
И там с шарманкой под окном
И плачет и смеется вольность.
Прости, что жил я в том лесу,
Что все я пережил и выжил,
Что до могилы донесу
Большие сумерки Парижа.

1945

* * *

«Во Францию два гренадера...»
(Я их, если встречу, верну.)
Зачем только чорт меня дернул
Влюбиться в чужую страну?
Уж нет гренадеров в помине,
И песни другие в ходу,
И я не француз на чужбине,
От этой земли не уйду:
Мне все здесь знакомо до дрожи,
Я к каждой тропинке привык,
И всех языков мне дороже
С младенчества внятный язык.
Но вдруг замолкают все споры,
И я — это только в бреду, —
Как два усача гренадера,
На запад далекий бреду,
И все, что знавал я когда-то,
Встает, будто было вчера,
И красное солнце заката
Не хочет уйти до утра.

1947

ЛИРИКА

1

Мальчика игрушечный кораблик
Уплывает в розовую ночь.
Если паруса его ослабли,
Может им дыхание помочь,
То, что домогается и клянчит,
На морозе обретает цвет.
Одолеть не может одуванчик
И в минуту облетает свет,
То, что крепче мрамора победы,
Хрупкое, не хочет уступать,
О котором бредит напоследок
Зеркала нетронутая гладь.

1939

2

Была трава, как раб, распластана,
Сияла кроткая роса,
И кровлю променяла ласточка
На ласковые небеса.
И только ты, большое дерево,
Осталось на своем посту, —
Солдат, которому доверили
Прикрыть собою высоту.

И были ветки в муке скрещены,
Когда огонь тебя подсек,
И умирало ты торжественно,
Как умирает человек.

1945

3

Чужое горе, оно, как овод,
Ты отмахнешься — и сядет снова,
Захочешь выйти, а выйти поздно,
Оно — горячий и мокрый воздух,
И, как ни дышишь, все так же душно,
Оно не слышит, оно — кликуша,
Оно приходит и ночью ноет,
А что с ним делать — оно чужое.

1945

4

Я смутно жил и неуверенно,
И говорил я о другом.
Но помню я большое дерево,
Чернильное на голубом.
И помню я больную женщину.
Не знаю, кто кого любил,
Но суеверно и застенчиво
Я руку взял и отпустил.
И все давным-давно потеряно,
И даже нет следа обид,
И только где-то то же дерево
Еще попрежнему шумит.

1945

5

К вечеру улегся ветер резкий,
Он залег в тенистом перелеске,
Уверяли галки очень колко,
Что остался он у юной елки,
Он играл с ее колючей хвоей,
Говорил: на свете есть другое,
А не только эти елки-палки,
А не только глупенькие галки,
Говорил, что он бывал на Тибре,
Танцовал с легчайшими колибри,
Обнимал высокую агаву,
Но нашлась и на него управа.
Отвечала молодая елка:
«Я в таких речах не вижу толку,
С вами я почти что незнакома,
Нет у вас ни адреса, ни дома,
Может по миру гулять просторней,
Но стыдитесь — у меня есть корни,
Я стою здесь с самого начала,
Как моя прабабушка стояла.
Я не мельница, зачем мне ветер?
У меня, наверно, будут дети.
На мои портреты ротозеи
Смотрят в краеведческом музее...»
Вздрогнули деревья на рассвете —
Это поднялся внезапно ветер,
И завыла на цепи собака
Оттого, что ветер выл и плакал...

1947

6

Когда я был молод, была уж война,
Я жизнь мою прожил — и снова война.
Я все же запомнил из жизни той громкой
Не зорю горниста, не грохот, не бомбы,
А где-то в рыбацком селеньи глухом

К скале прилепившийся крохотный дом.
В том доме матрос расставался с хозяйкой,
И грустные руки метались, как чайки.
И годы и годы мерещатся мне,
Все те же две тени на белой стене.

1945

7

Умру — вы вспомните газеты шорох,
Ужасный год, который всем нам дорог.
А я хочу, чтоб голос мой замолкший
Напомнил вам не только гром у Волги,
Но и деревьев еле слышный шелест,
Зеленую таинственную прелесть.
Я с ними жил, я слышал их рассказы,
Каштаны милые, оливы, вязы.
То не ландшафт, не фон и не убранство,
Есть в дереве судьба и постоянство.
Уйду — они останутся на страже,
Я начал говорить, они доскажут.

1945

8

Самоубийцею в ущелье
С горы кидается поток,
Ломает траурные ели
И сносит камни, как песок.
Скорей бы вниз! И дни и ночи,
Не зная мира языка,
Грозит, упорствует, грохочет.
Так начинается река,
Чтоб после плавно и лениво
Качать рыбацкие челны
И отражать то трепет ивы,
То башен вековые сны.

Закончится и наше время
Среди лазоревых земель,
Где садовод лелеет семя
И мать качает колыбель.
Где день один глубок и долог,
Где сердце тишиной полно
И где с руки усталый голубь
Клюет пшеничное зерно.

1939



ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящий том сочинений включены повести, рассказы и стихи, написанные в разные годы и имеющие существенное значение в творческой биографии И. Эренбурга.

Повести «День второй» и «Не переводя дыхания» знаменуют поворот И. Эренбурга к современной советской теме. Мир социализма и образы советских людей, его строителей, отныне прочно входят в творчество писателя.

Повесть «Что человеку надо», рисующая борьбу испанского народа с итало-германскими интервентами, посвящена битве двух миров — социалистического гуманизма и буржуазного варварства, — теме, которая находит свое дальнейшее развитие в романах «Падение Парижа», «Буря» и «Девятый вал».

Раннее творчество Эренбурга представлено в данном томе тремя новеллами из «Тринадцати трубок», где ненависть писателя к буржуазному миру соединяется с декларативно выраженной мечтой о грядущем возмездии капитализму. В этих рассказах еще нет развернутого образа нового героя — борца за переустройство мира. В своем автобиографическом романе «Книга для взрослых» писатель так характеризует этот период своего творчества: «Я мстил Западу не только за миллионы судеб, за срам людей, я мстил ему также за мои сомнения. Уйти от него я не мог. Я знал каждый камень на дорогах Европы, каждый ручеек, каждое заблуждение. Я не писал для близких. Я писал против тех, которых ненавидел. Я продолжал жить словом «нет» («Книга для взрослых», М. 1936, стр. 188).

Повести, рассказы и стихи, помещенные в томе, дают представление об Эренбурге как о непрерывно растущем художнике, прошедшем большой и сложный путь.

Повесть «День второй» написана в 1932—1933 годах. Впервые вышла в 1934 году отдельной книгой в издании «Советский писатель». Печатаемый в настоящем издании текст повести отредактирован автором.

«День второй» написан под впечатлением поездки в Кузнецк, совершенной писателем в 1932 году.

В Кузнецке Эренбург воочию увидел трудовой героизм миллионных рабочих масс, равного которому еще не знала история. Посещение одной из строек первой Сталинской пятилетки стало для него открытием нового мира и нового человека.

«В «Дне втором» я писал о землянках и домнах. Я всегда думал, что нужно иметь большое мужество для того, чтобы достойно жить. В Кузнецке я увидел, что моя страна нашла это мужество. С этого времени я как будто помолодел. Я долго разыскивал миры, которые не значатся на картах. Я нашел человека, в нем оказалось все то, что я искал в идеях и в образах. Теперь, как тридцать лет назад, я знаю, зачем живу» («Книга для взрослых», М. 1936, стр. 190).

Перед современным читателем «День второй» предстает как волнующий документ, запечатлевший трудовой пафос строителей и суровость дней первой пятилетки.

Не сразу и нелегко вырастают новые корпуса заводов и домны. Не сразу рождаются и новые люди — носители социалистической морали. Эренбург показывает, как в процессе самоотверженного труда в человеке формируются черты нового, как рождаются технические кадры и возникает советская интеллигенция.

Рожков, Смолин, Крамов и другие комсомольцы обрисованы лишь эскизно. Эренбург еще недостаточно знает открытого им нового человека и не в состоянии дать реалистических, глубоко психологических портретов своих героев. Тем не менее писатель сумел заметить и показать главное, существенное в них. Все они не могут жить вне коллектива, вне созидательного труда. Жизненные цели каждого из них неразрывно связаны с социалистическим строительством. Созидание социалистического общества определяет смысл их личного существования, и они хорошо знают, зачем и для чего живут.

В «Дне втором» Эренбург столкнулся с новым для него материалом. Он избегает углубляться в детали. В повести сплетается, включаясь в общее историческое движение, большое количество человеческих судеб, намеченных в значительной степени лишь схема-

тично. Множественность эпизодов придает повести некоторую композиционную раздробленность.

Лишь один персонаж выделяется автором — Володя Сафонов, — личность отнюдь не распространенная и далеко не характерная для стройки Кузнецка. Тем не менее он является необходимым персонажем в этом произведении Эренбурга. Сафонов выступает все время как лицо, отрицающее историческое значение происходящего. Он — человек, который все еще продолжает говорить «нет», когда действительность и автор повести утверждают «да». Сафонов, наделенный эрудицией и острым аналитическим умом, стоит на позициях вчерашних героев Эренбурга, таких, как Хулио Хуренито («Необычайные похождения Хулио Хуренито», 1921).

Разоблачая Володю Сафонова, Эренбург сводит счеты с этими героями своих прежних книг. Сафонов, подобно Хулио Хуренито и многим реальным представителям буржуазной интеллигенции, отождествляет гибель капитализма с закатом европейской культуры. Социалистическая революция представляется им заранее обреченной попыткой приостановить процесс всеобщего одичания. По их мнению, подлинная культура, истинная поэзия безвозвратно погибли. Они — скептики и нигилисты даже по отношению к столь чтимым ими культурным ценностям прошлого. Но от подобной любви к этим ценностям один шаг к их разрушению. Володе Сафонову не случайно приходит мысль о поджоге библиотеки. В высшей степени симптоматично его неожиданное желание отправиться в Китай и поступить там в армию *«все равно в какую»*. Эренбург мог бы еще точнее сформулировать приговор своему герою, показав его прямую связь с идеологией нарождающегося фашизма.

Этот приговор могли бы произнести более сильные и эрудированные противники, чем Ржанов, Ирина, Смолин и другие положительные герои повести. Тем самым Эренбург избавился бы от справедливого упрека, неоднократно делаемого ему критиками, — в романе нашли бы отражение представители советской молодежи, не уступающие в интеллектуальном развитии Володе Сафонову. А такие люди уже учились в университетах и работали на стройках.

Вместо этого писатель противопоставил Сафонову юношей и девушек, которые мужественно живут, преодолевая трудности, жадно и быстро учатся, но еще не достигли зрелости. Эти персонажи, представляющие молодую поросль новой культуры, в основном намечены верно, но им недостает плоти, индивидуального своеобразия, психологической глубины. Напротив, Володе Сафонову — типичному представителю буржуазной интеллигенции, автор уделяет слишком много

внимания, заставляя читателя жить мыслями и сомнениями отрицательного героя и проследить до конца его путь.

Выдвигая Сафонова в центр произведения, автор противоречит основному замыслу своей книги, невольно нарушая реальное соотношение сил нового и отживающего. В этой повести, посвященной рождению нового мира и нового человека, неправомерно много места уделено переживаниям представителя отживающей буржуазной цивилизации. Это противоречие, обусловленное полемикой Эренбурга с героями своих прежних произведений, является одним из недостатков повести «День второй».

Эти недостатки повести признавал сам Эренбург. В 1934 году, выступая на обсуждении своего произведения, писатель говорил: «Я считаю, что написать «Хуренито» было легче, чем написать «День второй»... Мне трудно писать о новых людях, потому что они разрывают ту форму, к которой мы привыкли... лучше сейчас построить дом, о котором будут говорить, что он незавершен, чем строить дом старой архитектуры. Лучше сделать фильм с большими промахами, чем сделать мелодраму на американский лад. Лучше сделать слабую книгу, но свою книгу, чем взять немножко от Золя, от Льва Толстого и немножко от советской действительности» («Литературный критик», 1934, № 7—8).

Но при всех своих недостатках «День второй» представляет бесспорную ценность. Показывая в этой повести рождение небывалой культуры социализма и глубоко веря в ее великое будущее, автор разоблачает попытки противопоставить ей буржуазную цивилизацию как нечто непревзойденное. Развенчивая философию исторического пессимизма, Эренбург в «Дне втором» по существу борется с фашизмом, призывающим разрушать и убивать под предлогом «защиты культуры» капитализма как «высшей» ступени цивилизации.

«День второй» по праву входит в число произведений Эренбурга, объединенных согласно его выражению «одной темой — защитой человеческих ценностей от того затемнения, которым угрожают культуре люди, проповедующие ненависть, расовое и национальное чванство, культ грубой силы» (см. предисловие И. Эренбурга к настоящему изданию).

Повесть «Не переводя дыхания» написана в 1933—1934 годах. Впервые напечатана в журнале «Знамя» в 1935 году. Отдельной книгой вышла в издательстве «Художественная литература», Москва,

1935 год. Текст, помещенный в томе, заново отредактирован автором для данного издания.

«Не переводя дыхания» является непосредственным продолжением «Дня второго», хотя там изображены другие люди и иные судьбы. Попрежнему Эренбурга продолжает занимать тема становления нового человека.

В центре повествования находится молодой комсомолец Геня Синицын. Этот образ служит писателю живым примером для решения одной из важнейших задач новой морали — преодоления индивидуализма и воспитания подлинного коллективиста, полноценного члена социалистического общества. Индивидуализм Синицына именно в той форме, в которой показал его Эренбург, наиболее стойкий и типичный из пережитков прошлого, проявляющийся в советских условиях. На примере Гени Синицына становится очевидно, что мало быть ударником-энтузиастом стройки и знать великие идеи, определяющие жизнь страны. Этого еще недостаточно, чтобы не быть похожим на человека буржуазного мира. Нужно уметь забыть себя в огромном деле: работать ради науки, как ботаник Лясс, или искусства, как художник Кузмин, уметь жить для другого, как Леля или Вера. Речь идет о преодолении инерции эгоистического сознания, об искоренении веками сложившейся разобщенности людей, ибо без этого невозможно ни построение социалистического общества, ни создание нового человека. Для Эренбурга, много лет прожившего среди людей собственнического мира и ненавидящего буржуазного человека с его ханжеской «любовью к ближнему», который на деле следует волчьему закону борьбы за существование, открытие нового мира, где индивидуалист, подобный Гене Синицыну, обречен на одиночество и несчастье, было преисполнено глубоким смыслом. «В прошлом году я писал за моего Геньку покаянное письмо. Я написал его залпом, как свое признание. В этом письме есть такие строки: «Коммунист должен товарищей любить — это уж самая простая вещь, без этого мы никакого социализма не построим. Я прочитал, что после смерти Ленина Крупская сказала: «Он народ любил». Я раньше не понимал этих слов, а теперь, как вспомню, дух захватывает, до чего это просто и трудно» («Книга для взрослых», стр. 190—191).

Воспитанию чувств нового человека — подлинного коллективиста — и посвящена повесть «Не переводя дыхания». Судьбы Мезенцева, Вари, Лидии Николаевны, Лясса и других служат Эренбургу материалом для решения той же задачи. Так же, как Геня Синицын,

все они становятся лучше и обретают счастье в дружбе и единении с другими людьми. Лишь один Штрем — буржуазный делец, посетивший Советский Союз, возвратившись в Париж, пускает себе пулю в лоб. Это логический конец пути буржуазного индивидуалиста, на который чуть было не вступил Геня Синицын, — смерть от одиночества. Конец Штрема — отрицательный пример, тем не менее работающий на основную тему Эренбурга — воспитания человека новой морали.

В повести «Не переводя дыхания» образы советских людей гораздо более конкретны и глубже психологически разработаны, чем в «Дне втором». Перед нами уже не зарисовки очеркиста, старающегося передать картину стройки. Общий план строительства все чаще сменяется показом реальных человеческих судеб. Конспективные биографии заменяются портретами людей. «Не переводя дыхания» представляет дальнейший этап на пути к тому подлинному реализму, которым отмечены лучшие произведения Эренбурга — «Падение Парижа», «Буря», «Девятый вал».

Повесть «Что человеку надо» написана в сентябре 1937 года. Впервые напечатана в журнале «Знамя» в 1937 году. Отдельной книгой вышла в издательстве «Художественная литература», Москва, 1937 год. Помещенный в томе текст заново отредактирован автором для данного издания.

1936—1937 годы Эренбург пробыл в Испании. Он был свидетелем героической борьбы испанского народа с итало-германскими фашистами-интервентами. Повесть «Что человеку надо» возникла под непосредственным впечатлением испанских событий. Она была закончена и вышла в свет еще до поражения войск законного республиканского правительства. Трагические эпизоды падения Испанской республики: деятельность пятой колонны, гнусное предательство французских правителей, закрывших границу перед республиканцами и отдавших их в руки Франко, заключение во французские концлагери бойцов интернациональных бригад, еще не могли быть показаны в повести. Впоследствии Эренбург рассказал об этом в романе «Падение Парижа», написанном в 1941 году.

Несмотря на свои симпатии к бойцам-антифашистам, Эренбург нигде не преуменьшает трудностей, стоящих перед республиканскими войсками и не вселяет в читателя надежду на легкую победу над фашизмом. Жизненная правда, изображенная писателем, выглядит

весьма сурово. Нехватка боеприпасов, почти полное отсутствие танков и самолетов, плохая дисциплина, слабое верховное командование — такова обстановка республиканского лагеря, вселяющая тревогу и опасения.

Хотя в повести показано, как анархия сменяется единоначалием, беспорядок — железной дисциплиной, как партизанские отряды превращаются в организованные бригады, сражающиеся под руководством опытных командиров, все это еще не гарантирует быстрой победы. Финал повести так же тревожен, как и ее начало. И все же книга Эренбурга оптимистична. Борьбу в Испании он рассматривает как один из этапов великой всемирной борьбы с фашизмом, и повесть, вовсе не стремящаяся доказать, что победа в этой борьбе будет достигнута именно в Испании, проникнута огромной верой в конечное торжество народного дела.

Повесть «Что человеку надо» — обвинительный акт фашизму. Это книга негодования и утверждения; в ней Эренбург объясняет, в чем смысл жизни и счастье честных простых людей нашего времени. «Что человеку надо?.. Много, очень много!» — думает немецкий коммунист Вальтер, когда поезд несет его в Испанию.

Книга Эренбурга подтверждает мысли Вальтера. Многое человеку нужно. Только мелкие и ничтожные люди способны удовлетвориться эгоистическим мещанским счастьем, когда в мире идет борьба. Личное счастье обретается в борьбе за независимость и счастье народов.

В повести «Что человеку надо» Эренбург развивает на новом этапе ту самую тему о человеческом счастье, которая проходит и в «Дне втором» и в особенности в «Не переводя дыхания». Счастье приходит лишь в мужественной борьбе за ясно осознанные цели.

Книга рассказов «Тринадцать трубок» впервые издана в издательстве «Новелла», Ленинград, 1924 год.

В том включено три рассказа, текст которых отредактирован автором.

Книга рассказов «Вне перемирия» вышла в издательстве «Художественная литература», Москва, 1937 год.

В том включено четыре рассказа. Их текст отредактирован автором.

«Рассказы этих лет» появились отдельной книгой в издательстве «Советский писатель», Москва, 1944 год.

Из этой книги автором включено в том пять рассказов, текст которых им отредактирован для настоящего издания.

«Стихотворения». — Публиковались в сборниках: «Верность» (Государственное издательство художественной литературы, Москва, 1940), «Дерево» («Советский писатель», Москва, 1946).

Б. Емельянов

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

РАССКАЗЫ

Из книги «Тринадцать трубок»

Из книги «Вне перемирия»

Из книги «Рассказы этих лет»

СТИХОТВОРЕНИЯ

Стихи военных лет

Испания

Франция

Лирика

Оформление художника
А. Коджака

*

Редактор А. И. Воинов
Художест. редактор Н. Мухин
Технический редактор Г. Каунина
Корректор Т. Рощина

*

Подписано к печати 22/VI-53 г. А-03601
Бумага 82×108 1/32=10,19 бум. л.
33,41 печ. л. Уч.-изд. л. 31,55.
Тираж 75000. Цена 12 руб.
Заказ № 562.

2-я тип. «Печатный Двор» им. А. М. Горького Союзполиграфпрома Главиздата Министерства культуры СССР. Ленинград, Гатчинская, 26.